А. М. Ремизов

Сочинения



А. М. Ремизов. Берлин. 1923 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



ДОКУКА и БАЛАГУРЬЕ

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2000

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**

Подготовка текста, послесловие, комментарии, приложения **И. Ф. Даниловой**

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Ответственный редактор тома **А. М. Грачева**

Оформление **Г. Л. Шацкого**

Ремизов А. М.

Р 38 Собрание сочинений. Т. 2. Докука и балагурье. — М.: Русская книга, 2000. — 720 с., 1 л. портр.

Во 2-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова «Докука и балагурье» включены основные сборники и циклы его сказок. Для Ремизова мир сказки — отражение народного миросозерцания. Открывает том сборник «Посолонь», где по ходу солнца сменяются времена года, а вместе с ними — фольклорные обряды, сохранившиеся в сказках, загадках, считалках и детских играх. Разные грани народного взгляда на мир отражены в сборниках «Русские женщины», «Докука и балагурье» и др. Ремизова по праву считали лучшим сказочником начала XX века. Его сказки высоко ценили А. Блок, М. Волошин, Андрей Белый и другие писатели Серебряного века.

ISBN 5-268-00484 –0 **УДК 882**
ISBN 5-268-00482-X **ББК 84Р**

Посолонь

СКАЗКИ

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

Посолонь

Вячеславу Ивановичу Иванову

Наташе

Засни, моя деточка милая!
В лес дремучий по камушкам мальчика-с-пальчика,
Накрепко за руки взявшись и птичек пугая,
Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда.
Приветливо нас повстречают красные маки,
Не станет царапать дикая роза в колючках,
Злую судьбу не прокаркнет птица-вещунья,
И мимо на ступе промчится косматая ведьма,
Мимо мышиные крылья просвищут Змея с огненной пастью,
Мимо за медом-малиной Мишка пройдет косолапый…
Они не такие…
Не тронут.

Засни, моя деточка милая!
Убегут далеко-далеко твои быстрые глазки…
Не мороз — это солнышко едет по зорям шелковым,
Скрипят его золотые, большие колеса.
Смотри-ка, сколько играет камней самоцветных!
Растворяет нам дверку избушка на лапках куриных.
На пятках собачьих.
Резное оконце в красном пожаре…
Раскрылись желанные губки.
Светлое личико ангела краше.
Веют и греют тихие сказки…
Полночь крадется.

Темная темь залегла по путям и дорогам.
Где-то в трубе и за печкой
Ветер ворчливо мурлычет.

Ветер… ты меня не покинешь?
Деточка… милая…

1902 г.

ВЕСНА-КРАСНА

МОНАШЕК

Мне сказали, там кто-то пришел, в сенях стоит.

Вышел я из комнаты, а там, гляжу, — монашек стоит.

— Здравствуй! — говорит и смотрит на меня пристально, словно проверяет что-то.

Маленький монашек, беленький.

— Здравствуй, что тебе надо?

— Так, по домикам хожу, — подает мне веточку.

— Что это, монашек, никак листочки!

— Листочки, — и улыбается.

А я уж от радости не знаю, что и делать. Комната, рамы и вдруг эта ветка с зелеными, совсем-совсем крохотными масляными листочками.

— Хочешь, монашек, баранок турецких, у нас тут на углу пекут?

— Нет.

— Чего же тебе, молочка хочешь?

— Нет.

— Ну, яблочков?

— Медку бы съел немножко.

— Медку… Господи, монашек!.. Я тебя где-то видел…

Монашек улыбается.

Крепко держу зеленую ветку. Листочки выглядывают.

Моя ветка, мои и листочки!

Монашек стоит, улыбается.

КРАСОЧКИ

— Динь-динь-динь…
— Кто там?
— Ангел.
— Зачем?
— За цветом.
— За каким?
— За незабудкой.

Вышла Незабудка, заискрились синие глазки. Принял Ангел синюю крошку, прижал к теплому белому крылышку и полетел.

— Стук-стук-стук…
— Кто там?
— Бес.
— Зачем?
— За цветом?
— За каким?
— За ромашкой!

Вышла Ромашка, протянула белые ручки. Пощекотал Бес вертушке желтенькое пузочко, подхватил себе на мохнатые лапки и убежал.

— Динь-динь-динь…
— Кто там?
— Ангел.
— Зачем?
— За цветом.
— За каким?
— За фиалкой.

Вышла Фиалка, кивнула голубенькой головкой. Приголубил Ангел черноглазку и полетел.

— Стук-стук-стук…
— Кто там?
— Бес.
— Зачем?
— За цветом.
— За каким?
— За гвоздикой.

Вышла Гвоздика, зарумянились белые щечки. Бес ее в охапку и убежал.

Опять звонил колокольчик, — прилетал Ангел, спрашивал цвет, брал цветочек. Опять колотила колотушка, — прибегал Бес, спрашивал цвет, забирал цветочек.

Так все цветы и разобрали.

Сели Ангел и Бес на пригорке в солнышко. Бес со своими цветами налево, Ангел со своими цветами направо.

Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки.

Уговор не смеяться, кто засмеется, тот пойдет к Бесу.

Ангел смотрит сурьезно.

— В чем ты грешна, Незабудка? — начинает исповедывать плутовку.

Незабудка потупила глазки, губки кусает — вот рассмеется.

Налево у Беса такое творится, будь ты кисель киселем, и то засмеешься. Поджигал Бес цветочки: сам мордочку строит, — цветочки мордочку строят, сам делает моську, — цветочки делают моську, сам рожицы корчит, — цветочки рожицы корчат, мяукают, кукуют, юлой юлят и так-то и этак-то — вот как!

Незабудка разинула ротик и прыснула.

— Иди, иди к Бесу! — закричали цветочки.

Пошла Незабудка налево.

Тихо у Ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки.

А налево гуготня, — Бес тешится.

Ангел смотрит сурьезно, исповедует:

— В чем ты грешна, Фиалка?

Насупила бровки Фиалка, крепилась-крепилась, не вытерпела и улыбнулась

— Иди, иди к Бесу! — кричали цветочки.

Пошла Фиалка налево.

Так все цветочки, какие были у Ангела, не могли удержаться и расхохотались.

И стало у Беса многое множество и белых и синих — целый лужок.

Высоко стояло на небе солнышко, играло по лужку зайчиком.

Тут прибежало откуда-то семь бесенят и еще семь бесенят и еще семь, и такую возню подняли, такого рогача-стрекоча задавать пустились, кувыркались, скакали, пищали, бодались, плясали, да так, что и сказать невозможно.

Цветочки туда же, за ними — и! как весело, — только платьица развеваются синенькие, беленькие.

Кружились-кружились. Оголтели совсем бесенята, полезли мять цветочки да тискать, а где под шумок и щипнут, ой-ой как!

Измятые цветочки уж едва качаются. Попить запросили.

Ангел поднялся с горки, поманил белым крылышком темную тучку. Приплыла темная тучка, улыбнулась. Пошел дождик.

Цветочки и попили досыта.

А бесенята тем временем в кусты попрятались. Бесенята дождика не любят, потому что они и не пьют.

Ангел увидел, что цветочкам довольно водицы, махнул белым крылышком, сказал тучке:

— Будет, тучка, плыви себе.

Поплыла тучка. Показалось солнышко.

Ангелята явились, устроили радугу.

А цветочки схватились за ручки да бегом горелками с горки —

Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло…

Очухались бесенята, вылезли из-под кустика да сломя голову за цветочками, а уж не догнать, — далеко. Покрутились-повертелись, показали ангелятам шишики, да и рассыпались по полю.

Тихо летели над полем птицы, возвращались из теплой сторонки.

Бесенята ковырялись в земле, курлыкали — птичек считали, а с ними и Бес-зажига рогатый.

КОСТРОМА

Чуть только лес оденется листочками и теплое небо завьется белесыми хохолками, сбросит Кострома свою колючку-ежевую шубку, протрет глазыньки да из овина на все четыре стороны, куда взглянется, и пойдет себе.

Идет она по талым болотцам, по вспаханным полям да где-нибудь на зеленой лужайке и заляжет; лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, — брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Любит Кострома попраздновать, блинков поесть да кисельку клюквенного со сливочками да с пеночками. А так она никого не ест, только представляется: поймает своим желтеньким усиком мушку какую, либо букашку, пососет язычком медовые крылышки, а потом и выпустит, — пускай их!

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Еще любит Кострома с малыми ребятками повозиться, поваландаться: по сердцу ей лепуны-щекотуньи махонькие.

Знает она про то, что в колыбельках деется, и кто грудь сосет и кто молочко хлебает, зовет каждое дите по имени и всех отличить может.

И все от мала до велика величают Кострому песенкой.

На то она и Кострома-Костромушка.

Лежит Кострома, валяется, разминает свои белые косточки, брюшком прямо к солнышку.

Заприметят где ребятишки ее рожицу да айда гурьбой взапуски. И скачут печушки пестренькие, бегут бегом, тянутся ленточкой и чувыркают-чивикают, как воробышки.

А нагрянут на лужайку, возьмут друг дружку за руки да кругом вкруг Костромушки и пойдут плясать.

Пляшут и пляшут, поют песенку.

А она лежит, лежона-нежона, нежится, валяется.

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Спит.

И опять закружатся, завертятся, ножками топают-притопывают, а голосочки, как бубенчики, и звенят и заливаются, — не угнаться и птице за такими свистульками.

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Встает.

Встает Кострома, подымается на лапочки, обводит глазыньками, поводит желтеньким усиком, прилаживается, кого бы ей наперед поймать.

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Чешется.

Так круг за кругом ходят по солнцу вкруг Костромушки, играют песенку, допытывают: что Кострома поделывает?

А Кострома-Костромушка и попила, и поела, и в баню пошла, и из бани вернулась, села чай пить, чаю попила, прикурнула на немножечко, встала, гулять собирается…

— Дома Кострома?
— Дома.
— Что она делает?
— Померла.

Померла Кострома, померла!

И подымается такой крик и визг, что сами звери-зверюшки, какие вышли было из-за ельников на Костромушку поглазеть, лататы на попятный, — вот какой крик и визг!

И бросаются все взахлес на мертвую, поднимают ее к себе на руки и несут хоронить к ключику.

Померла Кострома, померла!

Идут и идут, несут мертвую, несут Костромушку, поют песенку.

Вьется песенка, перепархивает, голубым жучком со цветка по травушке, повевает ветерком, расплетает у девочек коски, машет ленточками и звенит-жужжит, откликается далеко за тем синим лесом.

Поле проходят, полянку, лесок за леском, проходят калиновый мост, вот и овражек, вот ключик — и бежит и недвижен — серая искорка-пчелка...

И вдруг раскрывает Кострома свои мертвые глазыньки, пошевеливает желтеньким усиком, — ам!

Ожила Кострома, ожила!

С криком и визгом роняют наземь Костромушку, да кто куда — врассыпную.

Мигом вскочила Костромушка на ноги, да бегом, бегом, — догнала, переловила всех, — возятся. Стог из цветочков! — Хохоту, хохоту сколько, — писк, визготня. Щекочет, целует, козочку делает, усиком водит, бодает, сама поддается, — попалась! Гляньте-ка! гляньте-ка, как забарахтались! — повалили Костромушку, салазки загнули, щиплют, щекочут, — мала куча, да не совсем! И! — рассыпался стог из цветочков.

Ожила Кострома, ожила!

Вырвалась Костромушка, да проворно к ключику, припала к ключику, насытилась и опять на лужайку пошла.

И легла на зеленую, на прохладную. Лежит, развалилась, валяется, лапкой брюшко почесывает, — брюшко у Костромы мяконькое, переливается.

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!

Там распаханные поля зеленей зеленятся, там в синем лесу из нор и берлог выходят, идут и текут по черным утолокам, по пробойным тропам Божии звери, там на гиблом болоте в красном ивняке Лесньптица гнездо вьет, там за болотом, за лесом Егорий кнутом ударяет...

Песенка вьется, перепархивает со цветочка по травушке, пестрая песенка-ленточка...

А над полем и полем, лесом и лесом прямо над Костро-

мушкой небо — церковь хлебная, калачом заперта, блином затворена.

КОШКИ И МЫШКИ

Путались мышки в поле. Тащили кулек с костяными зубами: немало их за зиму попало от ребят в норку. А теперь приходила пора за зуб костяной отдавать зуб железный, а много ли надо зубов, мышки не знали.

Путь им лежал полем в молоденький березняк. Там под заячьими ушками — ландышами, у Громовой стрелки могли они хорошо примоститься и сладить нелегкое дело. Ни Громовая стрелка, ни белые Заячьи ушки не выдадут мышек.

Прошел вечёр дождик с громом да с молнией, и жарынь, что твое лето.

Подвигались мышки не споро.

Одна мышка во главе шла, казала дорогу хвостиком, — свистуха отчаянная, дурила всем мышкам голову.

— Никого я не боюсь, — егозила егоза, подшаркивала розовой лапочкой, — самому коту на лапу наступлю, ищи-свищи, вывернусь!

Пыхтели мышки, диву давались, да отговор сказывали: накличет еще беды какой, ног не соберешь.

А уж Кот-Котонай и идет с своей Котофеевной, пыжит седые усищи, поет песенку.

Мышка на него:

— Кто ты такой?

— Да я Кот-Котонай! — удивился Кот.

— А я тебя не боюсь.

— Чего меня бояться, — завел Котонай сладко зеленые глазки, — я ничего худого не сделаю.

— А тебе меня не поймать!

— Ну, это еще посмотрим.

— И не смотревши…

Но уж кот наершился, прицелил глаз, хотел на мышку броситься.

А мышка стала на пяточки, поджала хвостик промеж лапок, пошевеливает хвостиком.

— Нет уж, — говорит, — так этого не полагается, ты сядь вот тут на камушек и сиди смирно, а нам давай твою Котофеевну и пускай она меня ловит.

Потянулся Кот-Котонай, мигнул Котофеевне. Пошла Котофеевна к мышкам, сам уселся на камушек, задрал заднюю лапу вверх пальцем, запрятал мордочку в брюшко, стал искаться.

Блоховат был Кот, строковат Котонай, пел песенку.

— Мы с тобой, кошка, станем в середку, а они пускай за лапки держатся и пускай вокруг нас вертятся, я куда хочу, туда могу выскочить, а тебе будет двое ворот, вот эти да эти, ну, раз, два, три — лови!

Пискнула мышка, да с кона от кошки жиг! — закружилась.

Кошка за мышкой, мышка от кошки, кошка налево, мышка направо, кошка лапкой хвать мышку, а мышка:

— Брысь, кошка! — да за ворота, — что, кошка, съела?

Крутится, вертится, мечется кошка.

Крутятся, кружатся, вертятся мышки, держатся крепко за лапки, да дальше по полю, да дальше по травке, да дальше по кочкам.

Заманивает мышка-плутовка кошку под Заячьи ушки.

— Где ты, Кот, где, Котонай! — Котофеевна кличет.

Потеряли совсем Кота-седоуса из виду.

Блоховат был Кот, строковат Котонай, пел песенку.

Кошка из кона в ворота:

— Берегись, мышка, поймаю!

Мышка бегом, сиганула — живо-два — да в кон.

Кошка за мышкой, мышка от кошки, крутятся, кружатся мышки, хитрая мышка, плутиха, вот поддается, уж прыгнула кошка...

Стой! — березняк, Заячьи ушки, Громовая стрелка...

Туда-сюда, глянь, а мышек и нет, — канули мышки.

Изогнула сердито Котофеевна хвостик, надула брезгливо красненький ротик, язычок навострила: «Тут они где-то, а где, не поймешь».

— Чтоб вас нелегкая! — и пошла Котофеевна.

Шла искать Котоная, курлыкала.

Вянули ветры, пыхало зноем.

А мышки оскалили зубки, взялись за зубы.

Полкулька растеряли в дороге, — эка досада! — спросит с них Громовая стрелка, не даст им железные зубы.

Заячьи ушки — белая стенка загораживали мышек.

И тихо качались березы, осыпали на мышек золотые сережки, ви́сли прохладой.

ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Еще до рассвета, когда черти бились на кулачки и собиралась заря в восход взойти и вскидывал ветер шелковой плеткой, вышел из леса волк в поле погулять.

Канули черти в овраг, занялась заря, выкатилось в зорьке солнце.

А под солнцем рай-дерево распустило свой сиреневый медовый цвет.

Гуси проснулись. Попросились гуси у матери в поле полетать. Не перечила мать, отпустила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо нести. Несла яйцо, не заметила, как уж день подошел к вечеру.

Забеспокоилась мать, зовет детей:

— Гуси-лебеди, домой!

Кричат гуси:

— Волк под горой.

— Что он делает?

— Утку щиплет.

— Какую?

— Серую да белую.

— Летите, не бойтесь…

Побежали гуси с поля. А волк тут-как-тут. Перенял все стадо, потащил гусей под горку. Ему, серому, только того и надо.

— Готовьтесь, — объявил волк гусям, — я сейчас вас есть буду.

Взмолились гуси:

— Не губи нас, серый волк, мы тебе по лапочке отдадим по гусиной!

— Ничего не могу поделать, я — волк серый.

Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется.

Волк в те поры точил себе зубы: иступил, лакомясь утками.

А мать, как почуяла, что неладное случилось с детьми, снялась с озера да в поле. Полетела по полю, покликала, видит — перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке.

Стала она думать, как ей своих найти, — у волка были там и другие гуси, — думала, думала и придумала: пошла ходить по гусям да тихонько за ушко дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее, — матернин, а который закукурекает, не ее, — вóлков.

Так всех своих и нашла.

Уж и обрадовались гуси, содом подняли.

Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело.

Тут-то они на него, на серого, и напали. Схватили волка за бока, поволокли на горку, разложили под рай-деревом, да такую баню задали, не приведи Бог.

— Вы мне хвост-то не оторвите! — унимал гусей волк, отбрыкивался.

Пощипали-таки его изрядно, уморились, да опять на озеро: пора и спать ложиться.

Поднялся волк, несолоно хлебавши, пошел в лес.

Возныла темная туча, покрыла небо.

А во тьме белые томновали по лугу девки-пустоволоски да бабы-самокрутки, поливали о д о л е н ь - т р а в у.

Вылезли на берег водяники, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.

Шел серый волк, спотыкался о межу, думал-гадал о Иване-царевиче.

На озере гуси во сне гоготали.

КУКУШКА

Давным-давно прилетел кулик из-за моря, принес золотые ключи, замкнул холодную зиму, отомкнул землю, выпустил из неволья воду, траву, теплое время.

Размыла речка пески, подмыла берег, подплыла к орешенью и ушла назад в берега.

Расцвела яблонька в белый цвет, поблекли цветы, опадал цвет.

Из зари в зарю перекатилось солнце, повеяли нежные ветры, пробудили поле.

Сторожил кулик поле, ранняя птичка, почищал носок.

По полю гурьбой шли девочки, рвали запашные васильки, закликали кукушку.

Кукушечье-горюшечье на виловатой сосне соскучилась, не сиделось кукушке в бору, поднялась в луга.

По дубраве дорожка лежит.

Девочки свернули на дорожку. Под широким лопухом несли к у к у ш к у, плели венки.

За дубравой на красе стоит гора-круча. На той горе на круче супротив солнца стоит березка.

Обливалась росой кудрявая березка.

Посадили девочки к у к у ш к у на березку. Заломили белую, заплели веночком. Схватились рука об руку и пошли, вкруг к у к у ш к и.

— Кукушечка боровая, чего в бору не сидела?

— Воли нету, воды нету.

— Где же воля?

— Пошла воля по лугам.

— Где вода?

— Пошла вода по болотам.

— Лети, кукушечка, лети боровая, в лугах птички поют, соловей свищет.

Сели девочки на примятую траву, поели лепешек, целовались, покумились друг с дружкой и в венках тронулись к речке.

Там разделись и с берега вошли в воду. По воде пустили венки.

Плыли венки, куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?

Ушли обнявшись девочки с речки, закатилось солнце.

Вышла из бора старая старуха Ворогуша, пошла с костылем по полю.

Преклонялось поле, доцветал хлеб.

Перехожая звездочка перешла к горе-круче, заблистала синим васильком.

Плыли венки, куковала кукушка.

— Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?

Красная жар-жаром заря не гасла.

В высокой траве в петушках всю ночь до первых петухов стрекотал кузнец-чирюкан.

У ЛИСЫ БАЛ

У лисы бал.
— Я пес.
— Я бас.
— Я баран.
Это ноты.
Барабан.

Трам-там-там,
Трам-там-там.

По высоким горам,
по зеленым долам
чинно шествуем на бал.
Разбреда-емся,
собира-емся,
переходим ров и вал.
Осел, козел,
олень да лев,

медведюшка —
звери страшные,
звери важные,
сам с усам,
сам с рогам.

Трам-там-там,
Трам-там-там.

У лисы бал.
— Я пес.
— Я бас.
— Я баран.
Это ноты.
Барабан.

Трам-там-там,
Трам-там-там.
Там, там.
Там.

1906 г.

ЛЕТО КРАСНОЕ

КАЛЕЧИНА-МАЛЕЧИНА

Сергею Городецкому

Курица со двора —
Калечина в ворота.

Заберется Малечина в гибкий плетень,
тоненько комариком песню заведет,
ждет:
«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»

У Калечины одна — деревянная нога,
У Малечины одна — деревянная рука,
У Калечины-Малечины один глаз —
маленький, да удаленький.

— Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?

Скок Калечина-Малечина с плетня,
подберется вся — прыг-прыг-прыг…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7!

Да юрк в плетень. Пригорюнится,
тоненько комариком песенку ведет,
ждет:

«Не покличет ли кто Калечину погадать о вечере?»

У Калечины семь братов —
У Малечины семь ветров,
а восьмой неродной — вихорь витной —
миленький, да постыленький.

— Калечина-Малечина,
сколько часов до вечера?

Вечером врывается, крутит вихрь в лесу,
Вечером Калечине весело в виру.
Ночка по небу лучинки зажжет,
Темная, темную нитку прядет...

Курица в ворота —
Калечина со двора.

ЧЕРНЫЙ ПЕТУХ

От недели до недели подоспело лето.

Последняя отлетная птичка прилетела до витого гнездышка. Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шелкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила прямым снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри, золотые подсолнухи. Сухим золотом-стрелками затеплилась липа, а серебряные овсы и алатырное жито раскинулись и вдаль и вширь; неоглядные, обошли они леса да овраги, заняли округ небесную синь и потонули в жужжанье и сыти до-жатвенной жажды.

С цветка на цветок, с травки на травку день до вечера перелетает пчелка, несет праздники.

И не упасть первой росе, а уж щелкает, звонко хлопает в воздухе кнут, звякают коровьи колокольчики — гонят стада.

А за стадом высоко, как дым, подымается пыль вдоль по улице.

И они чахлые и заморенные — Коровья смерть да Веснянка-Подосенница с сорока сестрами пробегают по селу, старухой в белом саване, кличут на голос.

Много они натворили бед — съешь их волк! — то под тыном прикинется — Подтынница, то на дворе пристягнет — Навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряху — Веретенница, то выскочит с болотной кочки — Болотница: им бы портить скотину, вынимать румянец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясьмя трясти тело.

И не гулянье от них ребятишкам: не век же голопузым носить на себе змеиного выползка.

Но и нечисть знает черед.

Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку Пахому, — Пахома изба на краю села: там ей попить, там ей поесть.

В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места, как шальной, кричит по селу. Кричит петух целые ночи, несет змеиные спорыши, напевает проклятый на голову от недели до четверга. Сам Пахом-ведьмак о эту пору в печурке возится, стряпает из ребячьего сала свечу, — той свечой наведет колдун мертвый сон на человека и на всякую Божию тварь. Джурка, Пахомова дочка, не смыкая глаз, летает перепелкой, собирает з о л о т о й   г р и б.

Так от недели до четверга.

В четверг в полночь на пятницу подымается на ноги все село.

С шумом врываются в Пахомов курник, чадят зажженными метлами, ловят черного петуха.

Изловили черного петуха и с петухом идут на другой край села.

Алена верхом на рябиновой палке с мутовкой на плече, нагая, впереди с горящим угольком, за Аленой двенадцать девок с распущенными волосами в белых рубахах с серпами и кочергами в руках и другие двенадцать с распущенными волосами в черных юбках держат черного петуха.

А за ними ватагой и стар и мал.

Шумя и качаясь, вышли девки за село, запалили угольком сложенный в кучу назем, трижды обнесли петуха вокруг кучи.

Тут выхватила Алена от девок петуха и, высоко держа

над головой черноперого, пустилась с петухом по селу, забегая к каждой избе, мимо всех клетей с края на край.

С пронзительным криком, с гиканьем погнались за ней и белые и черные девки.

— А, ай, ату, сгинь, пропади, черная немочь!

Рвется черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце.

Обежав все село, бросила Алена петуха в тлеющий назем.

Кинули за ним девки хвороста, сухих листьев, — и вспыхнул костер, с треском взвились листья и неслись, жужжа, как красные жучки, — неслись красные перья, завивались в косицы, и красная голова пела зимовые песни.

— Сгинь, сгинь, пропади, черная немочь! — скачут вкруг костра хороводом и черные и белые девки, притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет красная голова, не зашипит уж больше ни одно красное перышко.

Сонной сохой по селу протянулась дорога белая от высокого месяца. На месяце все по-прежнему подымал на вилы Каин Авеля.

Шатаясь, шел по вымершему селу ведьмак Пахом, хватался за верею, дыхал гарным петушьим духом.

У Аленина двора со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередь живота, сел на него, подкатил, как месяц, к окну, глазом надел на Алену хомут, шептал в ее след:

— Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка и брюшенько красным опухом окинулись и с зудом.

Притрепался ведьмак, поманул зарю, иссяк, как дым: волю снимать, неволю накладывать.

Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинав, обернулась в галочку, полетела за речку росицу пить.

Занялась заря.

БОГОМОЛЬЕ

Петька, мальчонка дотошный, шаландать куда гораздый, увязался за бабушкой на богомолье.

То-то дорога была. Для Петьки вольготно: где скоком, где взапуски, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит.

И страху же натерпелась бабушка с Петькой и опаски, — пострел, того и гляди, шею свернет, либо куда в нехорошее место ткнется, мало ли! Ну, и смеху было: в жизнь не смеялась так старая, тряхонула на старости лет старыми костями. Умора давай разные разности выкидывать: то медведя, то козла начнет представлять, то кукует по-кукушечьи, то лягушкой заквакает. И озорничал немало: напугал бабушку до смерти.

— Нет, — говорит, — сухарей больше, я все съел, а червяков, хочешь, я тебе собрал, вот!

«Вот тебе и богомолье, — полпути еще не пройдено, Господи!»

А Петька поморочил, поморочил бабушку, да вдруг и подносит ей полную горсть не червяков, а земляники, да такой земляники, все пальчики оближешь. И сухари все целы-целехоньки.

Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка все молитву творила, а Петька Господи помилуй пел.

Так и добрались шажком да тишком до самого монастыря. И прямо к заутрене попали. Выстояли они заутреню, выстояли обедню, пошли к мощам да к иконам прикладываться.

Петьке все хотелось мощи посмотреть, что там внутри находится, приставал к бабушке, а бабушка говорит:

— Нельзя, грех!

Закапризничал Петька. Бабушка уж и так и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила, ну, помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за свое принялся. Потащил бабушку на колокольню колокол посмотреть. Уж лезли-лезли, и конца не видно, ноги подкашиваются. Насилу вскарабкались.

Петька, как колокольчик, заливается, гудит, — колокол представляет. Да что — ухватился за веревку, чтобы позвонить. Еще, слава Богу, монах, оттащил, а то долго ли до греха.

Кое-как спустились с колокольни, уселись в холодке закусить. Тут старичок один странник житие пустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать.

А как свалила жара, снова в путь тронулись.

Всю дорогу помалкивал Петька, крепкую думу думал: поступить бы ему в разбойники, как тот святой, о котором странник-старичок рассказывал, грех принять на душу, а потом к Богу обратиться — в монастырь уйти.

«В монастыре хорошо, — мечтал Петька, — ризы-то какие золотые, и всякий Божий день лазай на колокольню, никто тебе уши не надерет, и мощи смотрел бы. Монаху все можно, монах долгогривый».

Бабушка охала, творила молитву.

1905 г.

КУПАЛЬСКИЕ ОГНИ

Закатное солнце, прячась в тучу, заскалило зубы — брызнул дробный дождь. Притупил дождь косу, прибил пыль по дороге и закатился с солнцем на ночной покой.

Коровы, положа хвост на спину, не мыча, прошли. Не пыль — тучи мух провожали скот с поля домой.

На болоте болтали лягушки-квакушки.

И дикая кошка — желтая иволга унесла на клюве вечер за шумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под черной смородиной.

Теплыми звездами опрокинулась над землей чарая Купальская ночь.

Из тенистых могил и темных погребов встало Навьё.

Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр-

разбойник стоял на корме, помахивал красным платочком. Катили с погостов погребальные сани. Сами ведра шли на речку по воду. В чаще расставлялись столы, убирались скатертями. И гремел в болотных огнях Навий пир мертвецов.

Криксы-вараксы скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили собачий хвост, играли с хвостом.

У развилистого вяза растворялась земля, выходили из-под земли на свет посмотреть зарытые клады. И зарочные три головы молодецких и сто голов воробьиных и кобылья сивая холка подмаргивали зеленым глазом, — плакались.

Бросил Черт свои кулички, скучно: небо заколочено досками, не звонит колокольчик, — поманулось рогатому погулять по Купальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал Черт своих чертяток, глянул на четыре стороны, да как чокнется обземь, посыпались искры из глаз.

И потянулись на чертов зов с речного дна косматые русалки, приковылял дед Водяной, старый хрен кряхтел да осочим корневищем помахивал, — чтоб ему пусто!

Выползла из-под дуба-сорокавца, из-под ярого руна сама змея Скоропея. Переваливаясь, поползла на своих гусиных лапах, лютые все двенадцать голов — пухотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцем. Скликнула-вызвала Скоропея своих змей-змеенышей. И они — домовые, полевые, луговые, лозовые, подтынные, подрубежные приползли из своих нор.

Зачесал Черт затылок от удовольствия.

Тут прискакала на ступе Яга. Стала Яга хороводницей. И водили хоровод не по-нашему.

— Гуш-гуш, хай-хай, обломи тебя облом! — отмахивался да плевал заплутавшийся в лесу колдун Фалалей, неподтыканный старик с мухой в носу.

А им и горя нет. Защекотали до смерти под елкой Аришку, втопили в болото Рагулю — пошатаешься! — ненароком задавили зайчонка.

Пошла заюшка собирать подорожник: авось поможет!

С грехом пополам перевалило за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь.

Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеяла.

Распустившийся в полночь купальский цветок горел и сиял, точно звездочка.

И бродили среди ночи нагие бабы — глаз белый, серый, желтый, зобатый, — худые думы, темные речи.

У Ивана-царевича в высоком терему сидел в гостях поп Иван. Судили-рядили, как русскому царству быть, говорили заклятские слова. Заткнув ладонь за семишелковый кушак, играл царевич насыпным перстеньком, у Ивана-попа из-под ворота торчал козьей бородой чертов хвост.

— Приходи вчера! — улыбался царевич.

А далеким-далеко гулким походом гнался серый Волк, нес от Кощея живую воду и мертвую.

Доможил-Домовой толкал под ледящий бок — гладил Бабу Ягу. Притрушенная папоротником задрала ноги Яга: привиделся Яге на купальской заре обрада — молодой сон.

Леший крал дороги в лесу да посвистывал, — тешил мохнатый свои совьи глаза.

За горами, за долами по синему камню бежит вода, там в дремливой лебеде Сорока-щектуха загоралась жар-птицей.

По реке тихой поплыней плывут двенадцать грешных дев, белый камень алатырь, что цвет, томно светится в их тонких перстах.

И восхикала лебедью алая Вытарашка, раскинула крылья зарей, — не угнать ее в черную печь, — знобит, неугасимая, горячую кровь, ретивое сердце, истомленное купальским огнем.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ

Валили валом густые облака, не изникали, — им сметы нет. За облаками возили копы, и туча шла за тучей, как за копой веселая копа, поскрипывали колеса.

Ветром повеяло б, грянул бы гром! — Не веяли ветры, не крапнул дождик.

Ни звериного потопу, ни змеиного пошипу.

В тихих заводях лебеди пели.

И разомкнулось тридевять золотых замков, раскуталось тридевять дубовых дверей — туча за тучу зашла — затрещало, загикало, свистело, гаркало.

Воробушки — ночные полуночники, выпорхнув, кинулись по небу летать.

Ковал кузнец воробьиную свадебку, ковал крепко-накрепко, вечно-навечно, — не рассушить ее солнцем, не размочить дождем, не раскинет ветер, не расскажут люди.

Ковал кузнец Кузьма-Демьян вековой венок.

И стала перед невестою-воробушкой чужая сторона, не изюмом, горем усаженная, не травой, слезами покрытая.

Узлюлекнула воробушка:

—Понеситесь вы, ветры, с высоких гор! Подуйте, ветры, на звонки колоколы! Вы ударьте, звонки колоколы, по сырой земле, расшатайте пески, раздвоите сыру-землю на могиле матери. Вы сшибите, звонки колоколы, гробову доску! Сдуйте тонко-белое полотенце! Разомкните руки матери, раскройте глаза ее, поставьте ее на ноги. Не придет ли она, не прилетит ли к моему дню, к часу великому.

Летали воробушки, прятались-тулились рахманные под небесные ракиты, под мосты калиновые, нагуливались воробушки до-любви.

Раскунежились, пошли они пляс плясать вприсядку, квасили, жарили друг дружку по носам. Один воробей в трубу скаканул, другой воробей в колодец упал, третий воробей нивесть что наделал.

И падали, кто как попало, бесхвостые, бесклювые с неба на землю, — навалили горы воробьевые. И ничего-то не родила гора, родила воробьева гора один бел-горюч камень.

Заныло сердце, как малое дитятко:

— Родимая моя матушка! Что же ты ко мне не подшатнешься. Призагуньте, призамолкните! Расступитесь, пропустите! Подшатнись-ка ты, посмотри на меня…

Засвирило небо, красно, что жар.

Роскачён жемчуг — васильковая слеза катится на грудь, с груди на траву.

Перекати-поле унесла слезу.

Не разжалила невеста сердце матери: знать, отволила она волю, отнежила негу, открасовала свою девичью красу?

Сердце матери оборотливо, сердце матери обернется, — даст великое благословение.

И раскрылась могила, — стала мертвая.

А там разбили сорок сороков, тридцать три бочки, — и хлынуло пиво-мед пьяное-распьяное.

Все поля и луга, леса, перелески, заборы и крыши до корня смочены.

Первые петухи пропели — полночь прошла. И вторые петухи пропели — перед зарей. И третьи петухи пропели — на самой заре.

А они, неугомонные, справляли великий запой, хмельные ворушили, с пьяных глаз вили воробушки не воробьиное — гнездо ремезовое.

Догорела четверговая страстная свеча, закурились избы, — волоком от трубы до трубы стлались книзу сизые дымы.

Поросятки-викуны рылись под грушей в сладких падалках, а их была целая груда — непочатый край.

БОРОДА

С горки на горку, от ветлы до ветлы примчался ильинский олень, окунул рога в речке, — стала вода холоднее.

Тын зарастает горькой полынью, не видать перелаза.

В садах наливается яблоко: охота ему поспеть к Спасову дню.

И шумя висят, призаблекнувши, листья. Утомленные, клонятся никлые ветви.

Щебетливая птичка научает дитят перелетному лету. Один у нее лад на все прилучья:

— Скоро в путь опять!

Дождется ль рябина студеных дней, нарядная, опустила она свои красные бусы к земле.

Шумный колос стелет по ниве сухое время.

На проходе страда. Подоспели дожинки.

Дожинают и вяжут последний сноп.

Уж кличут на Бороду.

И потянулся народ — белый мак — по селу на жнивье.

А Борода стоит, развевается, золотая, разукладная, много янтаря в ней, много усика долгого, тонкого, острого, как серп.

— Завивать, завивать бородушку!

Разогнули солому, посыпают земли: пусть мать-сыра земля покроет ее материнской пеленой на красное годье, на новое лето, на веселый дород.

— Нивка, отдай мою силу! — причитает-приговаривает жнея, красавая молодка Василиса в длинной белой рубахе с серпом на плече.

И катается молодка по жнивью, просит и молит свою ниву.

Несут девки межевые васильки, подвивают васильками Бороду, расцвечают ее васильками — крестовой слезой. И кругом, как ковер, васильки.

Собрала Борода людей вместе, — поднялось на всю ниву веселье.

Запалили солому, заварилась отжинная каша.

— Нивка, отдай мою силу!

И идут хороводом вокруг Бороды, ведут долгие песни, перевиваются долгие песни пригудкой, и опять на широкий разливной лад хороводы.

Село за орешенье солнце, тучей оделась заря.

А Борода в васильках разгорается.

Берет коновода пляс.

Бросила молодка серебряный серп, подсучила рукава, сбила подпояску, да из кона, пустилась в пляс.

Звенел ее голос, звенела песня.

Катил за облаками Илья, грохотал Громовник на своей колеснице, аж поджилки тряслись.

И сбегался хоровод, разбегался, отклонившись назад, запрокинув голову — это ласточки быстро неслись по земле, черкая крыльями.

Седой ковыль, горкуя голубем, набирался гульбы, устилал, шевелил, шел по полю дальше и дальше за покосы, за болото, за зарю.

И зарей ничего так не слышно, только слышно, только слышно, только слышно, только чутко:

— Нивка, отдай мою силу!

От четырех птиц — железных носов, из-за темных каточин вышла молодая медведица посмотреть на Бороду.

Купена-лупена стращала медведицу тремя пальцами, ровно дите рогатой козой.

Вындрик-зверь стремглав бежал за сине море.

И горел хоровод, пока солнце взошло.

1906 г.

КИКИМОРА

На петушке ворот, крутя курносым носом, с ужимкою крещенской маски, затейливо Кикимора уселась и чистит бережно свое копытце.

— Га! — прыснул тонкий голосок, — ха! ищи! а шапка вон на жерди... Хи-хи!.. хи-хи! А тот как чебурахнулся, споткнувшись на гладком месте!.. Лебедкам-молодухам намяла я бока... Га! ха-ха-ха! Я Бабушке за ужином плюнула во щи, а Деду в бороду пчелу пустила. Аукнула — мяукнула под поцелуи, хи!.. — вся затряслась Кикимора, заколебалась, от хохота за тощие животики схватилась.

— Тьфу! ты, проклятая! — отплевывался прохожий.

— Га! ха-ха-ха! — и только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять, и до умору хохотать.

1903 г.

ОСЕНЬ ТЕМНАЯ

БАБЬЕ ЛЕТО

Унес жаворонок теплое время.

Устудились озера.

Цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарей.

Сорвана бурей верхушка елки. Завитая с корня, опустила верба вялые листья. Высохла белая береза против солнца, сухая, небелая пожелтела.

Дует ветер, надувает непогоду.

Дождь на дворе, в поле — туман.

Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыснуты плеткой.

Скоро минует гулянье.

Стукнул последний красный денек.

Богатая осень.

Встало из-за леса солнце — не нажить такого на свете — приобсушило лужи, сгладило скучную расторопицу.

По полесью мимо избы бежит дорожка, — мхи, шурша сырым серебром среди золота, кажут дорожку.

Лес в пожаре горит и горит.

В белом на белом коне в венке из зеленой озими едет по полю Егорий и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг.

Изунизана жемчугом озимь.

И дальше по лесу вмиг загорается красный — солнце во лбу, огненный конь, — раздает Егорий зверям наказы.

Лес в пожаре горит и горит.

И птицы не знают, не домекнуться певуньям, лететь им за море или вить новые гнезда, и водные — лебеди — падают грудью о воду, плывут:

— Вылынь, выплывь весна! — вьют волну и плывут.

Богатая осень.

Летит паутина.

Катит пенье косолапый медведь, воротит колоды — строит мохнатый на зимовье берлогу: морозами всласть пососет он до самого горлышка медовую лапу.

Собирается зайчик линять и трясется, как листик: боится лисицы.

Померкло.

Занывает полное сердце:

«Пойти постоять за ворота!»

Тихая речка тихо гонит воды.

По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетает в чужую сторонку.

— Счастлива дорожка!

Далеко на селе песня и гомон: свадьбу играют.

Хороша уго́да, хорош хмель зародился — золотой венец.

Богатая осень.

Шум, гам, — наступают грудью один на другого, топают, машут руками, вон сама по себе отчаянно вертится сорви-голова молодуха — разгарчиво лицо, кровь с молоком, вон дед под хмельком с печи сорвался...

Кипит разгонщица каша.

Валит дым столбом.

Шум, гам, песня.

А где-то за темною топью конь колотит копытом.

Скрипят ворота, грекают дверью — запирает Егорий вплоть до весны небесные ворота.

Там катается по сеням последнее времячко, последний часок, там не свое житье-бытье испроведывают, там плачут по русой косе, там воля, такой не дадут, там не можно думы раздумать...

«Ей, глаза, почему же вы ясные, тихие, ненаглядные не источаете огненных слез?»

Мать по-темному не поступит, вернет теплое время…
Сотлело сердце чернее земли.
— Вернитесь!
И звезды вбиваются в небо, как гвозди, падают звезды.

ЗМЕЙ

Петьку хлебом не корми, дай только волю по двору побегать. Тепло, ровно лето. И уж закатится непоседа, деньденьской не видать, а к вечеру, глядишь, и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать, — свернется сурком, только посапывает.

Помогал Петька бабушке капусту рубить.

— Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю, будет нам зимой пироги печь, — твердит таратора да рубить, что твой заправский: так вот себе и бабушке по пальцу отрубит.

А кочерыжки, как ни любил лакома, хряпал не очень много, а все прибирал: сложит в кучку, выждет время и куда-то снесет. Бабушке и невдомек: знай похваливает, думает себе, — корове носит.

Какой там корове! — Стоял у бабушки под кроватью старый-престарый сундучок, железом кованный, хранила в нем бабушка смертную рубашку, туфли без пяток, саван, рукописание да венчик, — собственными руками старая из Киева от мощей принесла, батюшки-пещерника благословение. И в этот-то самый сундучок Петька и складывал кочерыжки.

«На том свете бабушке пригодятся, сковородку-то лизать не больно вкусно…»

Случилось на Воздвиженье, понадобилось бабушке в сундучок зачем-то, открыла бабушка крышку, да так тут же на месте от страха и села.

А как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерыжки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропилась святою водой, да силен, верно, окаянный — змей треклятый.

Стали они нечистые, эти Петькины кочерыжки, пред-

ставляться бабушке в сонном видении: встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. Притом же и дух нехороший завелся в комнатах, какой-то капустный, и ничем его не выведешь, ни монашкой, ни скипидаром.

А Петька диву дается, куда из сундука кочерыжки деваются, и нет-нет да и подложит.

«Пускай себе ест, корове и сена по горло».

Думал пострел, съедает их бабушка тайком на сон грядущий.

Бабушка на нечистого все валила.

И не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился гулена змеев пускать, понасажал их тьму-тьмущую по всему саду, и много хвостов застряло за дом.

Запускал Петька как-то раз змея с трещоткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка:

«Ворона летает, потому что у вороны крылья, ангелы летают, потому что у ангелов крылья, и всякая стрекоза и муха — все от крыла, а почему змей летает?»

И отбился от рук мальчонка, ходит, как тень, не ест, не пьет ничего.

Уж бабушка и то и другое, — ничего не помогает, двенадцать трав не помогают!

«А летает змей потому, что у него дранки и хвост!» — решает, наконец, Петька и, недолго думая, прямо за дело: давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками.

Варила бабушка к празднику калиновое тесто — удалась калина, что твой виноград, сок так и прыщет, и тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим самым тестом-халвой и вымазался, приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке:

— Я, — говорит, — бабушка, змей, на тебе, бери клубок да пойдем подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит.

А старая трясется вся, понять ничего не может, одно чувствует, наущение тут бесовское, да так, как стояла про-

стоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому, — взяла она обеими руками клубок Петькин, пошла за Змием подсаживать его, окаянного.

Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на нее ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, так крантиком, а все же она, нечистая, — и запекаются от страха губы, отшибает всю память.

Влез Петька на бузину.

— Разматывай! — кричит бабушке, а сам как сиганет и — полетел, только хвост зачиклечился.

Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помнит.

— Пала я тогда замертво, — рассказывала после бабушка, — и потоптал меня Змий лютый о семи голов ужасных и так всю царапал кочерыжкой острой с когтем и опачкал всю, ровно тестом, липким чем-то, а вкус — мед липовый.

На Покров бабушка приобщалась Святых Тайн и Петьку с собой в церковь водила: прихрамывал мальчонка, коленку летавши отшиб, — хорошо еще, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул.

«Конечно, все дело в хвосте, отращу хвост, хвачу на седьмое небо уж прямо к Богу, либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снесусь...» — Петька усердно кланялся в землю и, будто почесываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змеев хвостик.

Бабушка плакала, отгоняла искушения.

РАЗРЕШЕНИЕ ПУТ

— Иди к нам, Бабушка, иди, пожалуйста, глянь: наша Вольга уж твердо на ножки встает!

Старая вещая знает: с веревкой дите народилось, крепко-накрепко запутаны ноги веревкой, надо веревку распутать — и дите побежит.

Старая вещая знает, ножик вострит.

Девочка ручками машет, смеется, а ротик зубатый — зубастая щука, знай тараторит...

— Да стой же, постой! — тянутся жесткие пальцы к рубашке, защепила старуха за ворот, разрывает тихонько.

Заискрились синие глазки, светится тельце.

Старая вещая знает, — видит веревку, шепчет заклятье, режет:

— Пунтилей, Пунтилей, путы распутай, чтобы Вольге ходить по земле, прыгать и бегать, как прыгает в поле зверье полевое, а в лесе лесное. Сними человечье проклятье с младенца...

И девочка ножками топ-топ топочет. Вот побежит... не поспеть и серому волку!

— Бабушка, ты за плечами распутай, бабушка... чтобы летать...

Старая вещая знает. Ножик горит под костлявой землистой рукой.

Девочка вся задрожала... Шепчет старуха:

— Будет летать.

ПЛАЧА

Красное солнце, высоко ты плаваешь в синих сумрачных реках небес — там волнистые поля облаков неустанно бегут.

И ты, сын красного солнца, белый мой свет, ты озаряешь мать-землю.

И ты, ухо ночи, подруга — луна, ты тихо восходишь, идешь над землею, следишь за ростом трав, за шумом леса, за плеском рек, за моим сном.

И ты, семицветная радуга, бык-корова небесных полей, ты жадно пьешь речную студеную воду.

Пожелайте счастья мне от матери-земли, сколько на небе осенних звезд!

Пожелайте счастья мне от светлого востока, сколько белых цветов земляники!

Пожелайте счастья мне от синих сумерок запада, сколько алых лепестков диких роз!

Пожелайте счастья мне от ледяного севера, сколько зеленых цветов смородины!

Пожелайте счастья мне от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна!

Пожелайте счастья мне от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне!

Пожелайте счастья мне от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц!

Пожелайте счастья мне от темного бора, сколько зреет ягод в бору!

Пожелайте счастья мне от топких болот, сколько сосен стоит кругом!

Пожелайте счастья мне, солнце! белый свет! луна, радуга!

Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног.

1902 г.

ТРОЕЦЫПЛЕНИЦА

С дерева листье опало, раздувается ветром.

По полям ходит ветер, все поднимает, несет холод и дождик.

Протяжная осень.

Запустели сады, улетают последние птицы. Приунывши, висят сорные гнезда.

Попрятались звери. Некому вести принесть на хвосте: скрылся в нору хомяк, залег лежебока.

Намутили воду дожди, не состояться воде, река — половодье.

И по тинистым ямам, где раки зимуют, сонные бродят водяники.

Протяжная осень.

Все пути и дороги исхожены, — невылазная грязь.

Черти торят пути, не траву — трын траву, очертя голову, косят, да на межевом бугорке, на черепках в свайку играют.

Волей-неволей, без прилуки летают стадами с места на место черные галки, падают на́кось, кричат. Воробьи, гоняя собак, почувыркивают.

Пошла непогода. Ненастье.

Бедовое время в теплой избе.

В свины-поздни, лишь засмеркалось, трубой ввалились в избу непорочные благоверные вдовы.

Наглухо заперли двери.

Бросили вдовы свои перекоры, прямо с места уселись за стол.

На Хватавщину вдовы угощались блинами — поминали родителей, на Семик собирали сохлые старые цветы, а теперь черед и за курицей: не простая курица — т р о е ц ы п л е н и ц а. Троецыпленица — трижды сидела на яйцах, три семьи вывела: пятьдесят пять кур, шестьдесят петухов — добыча немалая!

Чинно роспили вдовы бутылку церковного, поснимали с себя подпояски, обмотали подпояской бутылку и пустую засунули Кузьме за пазуху.

Долговязый Кузьма, по-бабьи повязанный, петухом петушится, улещает словами, потчует вдов наповал.

И в полном молчании не режут — ломают курицу вдовы, едят по-звериному, чавкают.

Так по косточкам разберут они всю троецыпленицу, да за яичницу.

А она глазунья и трещит и прыщет на жаркой сковородке, обливается кипящим душистым салом.

Досыта, долго едят, наедаются вдовы.

Оближут все пальчики, да с заговором вымоют руки и до последней пушинки все: косточки, голову, хвост, перья и воду соберут все вместе в корчагу.

И зажигаются свечи.

Мокрыми курицами высыпают вдовы с корчагой на двор.

Вырыли ямку, покрыли корчагу онучей, закапывают курочку.

И все, как одна, не спеша с пережевкой, с перегнуской затянули вдовы над могилкой куриную песню.

Песней славят — молют троецыпленицу.

Тут Кузьма, не снимая платка, избоченился.

Не подкузьмит Кузьма, вьет из себя веревки, хочешь пляши по нем, только держись!

И разводят вдовы бобы, кудахчат, как куры, алалакают.

Обдувает холодом ветер, помачивает дождик.

Вцепляется Бес в ребро, подает Водяной человеческий голос.

Темь, ни зги. Скоро петух запоет.

Мольба умолкает. В избе тушат огни.

Протяжная осень.

На задворках щенята трепали онучу, потрошили священные перья троецыпленицы.

Растянувшись бревном, гнал до дому Кузьма, кукурекал.

А дождь так и сеет и сеет…

Протяжная осень.

НОЧЬ ТЕМНАЯ

Не в трубы трубят, — свистит ветер-свистень, шумит, усбушевался. Так не шумела листьями липа, так не мели метлами ливни.

Хунды-трясучки шуршали под крышей.

Не гавкала старая Шавка, свернувшись, хоронилась Шавка в сторожке у седого Шандыря, — Шандырь-шептун пускал по ветру нашепты, сторожил, отгонял от башни злых хундов.

В башне шел пир: взбунтовались ухваты, заплясала сама кочерга, Пери да Мери, Шуды да Луды — все шуты и шутихи задавали пляс, скакали по горнице, инда от топота прыгал пол, ходила ходуном половица.

Бледен, как месяц, сидел за столом Иван-царевич.

За шумом и непогодой не было слышно, сказал ли царевич хоть слово, вздохнул ли, посмотрел ли хоть раз на невесту царевну Копчушку.

В сердце царевны уложил ветер все ее мысли.

Прошлой ночью царевне нехороший приглазился сон, но теперь не до сна, только глазки сверкают.

Ждали царевича долго не год и не два, темные слухи кутали башню. Каркал Кок-Кокоряшка: «Умер царевич!» — А вот дождались: сам прилетел ясный сокол.

Всем заправляла Коза: известно, Коза — на все руки, не занимать ей ума, — и угостить, и позабавить, и хохотать верховая.

А ветер шумел и бесился, свистел свистень, сек тучи, стрекал звезду о звезду, заволакивал темно, гнул угрюмо, уныло густой сад, как сухую былину, и колотил прутья о прутья.

Ходила ведьма Коща вокруг башни, подслушивала.

Плотно в башне затворены ставни, — чуть видная щелка. Покажется месяц, западет в башню и бледный играет на мертвом — на царевиче мертвом.

Давным-давно на серебряном озере у семи колов лежит друг его, серый Волк, и никто к серому не приступится. Отгрызли серому Волку хвост, — не донес серый Волк до царевича воду! — и рядом с Волком в кувшинчиках нетронутая стоит живая вода и мертвая: не придет ли кто, не выручит ли серого! А Иван-царевич за крепкими стенами, и

никто к нему не приступится. Ивана-царевича — уж целая ночь прошла — за крепкими стенами повесили.

— Пронюхает Коза, догадается… скажет царевне, возьмет, вспрыснет царевну: «С гуся вода, с лебедя вода…» — тут ведьма Коща поперхнулась, крикнула Соломину-воромину.

Соломина-воромина тут-как-тут.

Села Коща на корявую да к щелке. Отыскала сучок, хватила безымянным пальцем сучок — украла язык у Козы:

— Как сук не ворочается, как безымянному пальцу имени нет, так и язык не ворочайся во рту у Козы.

И вмиг онемела Коза, испугалась Коза, бросила башню. Ушла Коза в горы.

Черви выточили горы. Червей поклевали птицы. Птицы улетели за теплое море.

Пропала Коза. И никто не знает, что с Козой и где она колобродит рогатая.

А ведьма Коща вильнула хвостом и – улизнула: ей, Коще, везде место!

И кончился пир.

Пери да Мери, Шуды да Луды — все шуты и шутихи нализались до чертиков, в лежку лежали.

Хунды-трясучки трясли и трепали седого шептуна-Шандыря. Мяукала кошкой Шавка от страха.

Сел царевич с Копчушкой-царевной, поехали.

Едут.

А ночь-то темная, лошадь черная.

Едет-едет, царевич, едет, да пощупает: тут ли она?

Выглянет месяц. Месяц на небе, — бледный на мертвом играет. Мертвый царевич живую везет.

Проехали гремуч вир проклятый.

А ночь-то темная, лошадь черная.

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет, — говорит, — не боюсь.

Проехали чертов лог.

А ночь-то темная, лошадь черная.

И опять:

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет, — говорит, — не боюсь, — а сама ни жива, ни мертва.

У семи колов на серебряном озере, где лежит серый Волк, у семи колов как обернется царевич, зубы оскалил, мертвый — белый — бледный, как месяц.

— Милая, — говорит, — моя, не боишься ли ты меня?

— Нет...

А ночь темная, лошадь черная...

— Ам!!! — съел.

СНЕГУРУШКА

Не стучалась, не спрашивала, шибко растворила она мои двери, такая совсем-совсем еще крохотная с белыми волосками.

— Вставай! — крикнула, а синие глазки так и играли, снежинки не глазки.

— Снегурушка!

— Снегурушка.

— Ты мне принесла?..

— Морозу! — и на пальчиках белый сверкнул у Снегурушки первый снежок, а глазки так и играли, снежинки не глазки.

— Снегурушка, возьмешь ты меня? Мы поедем шибко-шибко на санках с горки на горку...

— Вот как возьму! — она протянула свои светлые ручки и, крепко обняв, прижимала носик и губки к моим губам.

— А кого еще мы возьмем?

— Серого волка.

— А еще?

— Ведмедюшку.

Я поднес Снегурушку к моему окну, в окно посмотреть.

Шел снег белый, первый снежок.

— Шатается, — показала пальчиком Снегурушка, вытянула губки, — ветер... ветрович шатается.

— А когда перешатается, мы и покатим на санках шибко-шибко с горки на горку…

— По беленькой травке?

— При месяце.

— Месяц будет белый, в беленьком платочке… — и она твердо спрыгнула наземь.

— Так ты не забудешь?

— Не забуду.

— Прощай!

— Прощай, Алалей.

И так же шибко захлопнулись двери, — Снегурушка скрылась.

Шел снег белый, первый снежок.

1906 г.

ЗИМА ЛЮТАЯ

КОРОЧУН

Дунуло много, — буйны ветры.
Все цветы привозблекли, свернулись.
Вдарило много, — люты морозы.

Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб, как белый цветок.

Катят и сходятся пухом снеговые тучи, подползает метелица, порошит пути, метет вовсю, бьет глаза, заслепляет: ни входу, ни выходу.

И ветер Ветренник, вставая вихорем, играет по полю, врывается клубами в теплую избу: не отворяй дверь на мороз!

Царствует дед Корочун.

В белой шубе, босой, потряхивая белыми лохмами, тряся сивой большой бородой, Корочун ударяет дубиною в пень, — и звенят злющие зюзи, скребут коготками морозы, аж воздух трещит и ломается.

Царствует дед Корочун.

Коротит дни Корочун, дней не видать, только вечер и ночь.

Звонкие крепкие ночи.

Звездные ночи, яркие, все видно в поле.

Щелкают зубом голодные волки. Ходит по лесу злой Корочун и ревет, — не попадайся!

А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуя голос, идут к нему звери без попяту, без вороту.

Непокорного — палкой, так что секнет надвое кожа.

На изменника — семихвостая плетка, семь подхвостников: раз хлеснет — семь рубцов, другой хлеснет — четырнадцать.

И сыплет и сыплет снег.

Люты морозы, — глубоки снеги.

С вечера петухи кричат, с полудня метелица, к белому свету люты морозы.

Люты морозы, — глубоки снеги.

Не скоро Свету — солнцу родиться, далек солноворот. Хорошо медведю в теплой берлоге, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок.

А дни все темней и короче.

На голодную кутью ты не забудь бросить Деду первую ложку, — Корочун кутью любит. А будешь на Святках рядиться, нарядись медведем, — Корочун медведя не съест.

И разворчался, топает, месяц катает по небу, стучит неугомонный, — Корочун неугомонный.

Старый кот Котофей Котофеич, сладко курлыкая, коротает корочуново долгое время, — рассказывает сказки.

МЕДВЕДЮШКА

1

Среди ночи проснулась Аленушка.

В детской душно. Нянька Власьевна храпит и задыхается. Красная лампадка нагорела: красное пламя то вспыхнет, то погаснет.

И никак не может заснуть Аленушка: страшно ей и жарко ей.

«Папа поздно пришел, — вспоминается Аленушке, — я собиралась спать, папа и говорит: “Смотри, Аленушка, на небо, звезды упадут!” И мы с мамой долго стояли, в окно глядели. Звезды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холодно у окна, долго нельзя стоять. Когда идешь с папой к ранней обедне, тоже холодно: колокол звонит, как к покойнику. Власьевна вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой во сне ее ловит… А звезд много на небе, звезды разговаривают, только не слыхать. Дядя Федор Иваныч говорит, будто ле-

тает он к звездам и ночью слушает, как звезды поют тонко-тонко. Днем их нет, днем они спят. Тоже и я полечу, только бы достать золотые крылья... А папа подошел и говорит: “Аленушка, звезда падает!” И золотая ленточка долго горела на небе и потом пропала. Холодно звездочке, где-нибудь лежит она, плачет, — моя звездочка!»

Аленушке так страшно и так жалко звездочки, заныла Аленушка.

— Попить, няня, по-пи-ть!

И когда Власьевна нянька подает Аленушке кружку, Аленушка жадно пьет, вытягивая губки.

Теперь Аленушка свернулась калачиком и заснула.

И кажется ей, летит она куда-то к звездам, как летает дядя Федор Иваныч, попадаются ей навстречу звездочки, протягивают свои золотые лапки, сажают ее к себе на плечи и кружатся с ней, а месяц гладит ее по головке и тихо шепчет на самое ушко:

«Аленушка, а Аленушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Аленушка!»

Аленушка щурит глазыньки, а все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя Федор Иваныч.

— Что тебя не добудишься, вставай скорее! — это мама, мама наклонилась над кроваткой, щекочет Аленушку.

2

Аленушкина звездочка долго летала и упала, наконец, в лес, в самую чащу, где старые ели сплетаются мохнатыми ветвями и страшно гудят.

Проснулся густой, сизый дым, пополз по небу, и кончилась зимняя ночь.

Вышло и солнце из своего хрустального терема нарядное, в красной шубке, в парчовой шапочке.

Прозрачная, с синими грустными глазками, лежит Аленушкина звездочка неподалеку от заячьей норки на мягких иглах: вдыхает мороз.

А солнышко походило-походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем.

Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться.

Дребезжащим голосом затянул ветер-ворчун свою старую зимнюю песню.

Глухая метель прискакала, глухая кричит.

Снег заплясал.

Дремлет у заячьей норки бедная звездочка, оттаявшая слезинка катится по ее звездной щеке и замерзает.

И кажется звездочке, она снова летит в хороводе с золотыми подругами, им весело и хохочут они, как хохочет Аленушка. А ночь хмурая старой нянькой Власьевной глядит на них.

3

Выставляли рамы.

Целый день стоит Аленушка у раскрытого окна.

Чужие люди проходят мимо окна, ломовые трясутся, вон плетется воз с матрацами, столами и кроватями.

«Это на дачу!» — решает Аленушка.

А небо голубое, чистое, небо Аленушке ровно улыбается.

— Мама, а мама, а когда мы на дачу? — пристает Аленушка.

— Уберемся, деточка, сложим все и поедем далеко, дальше, чем прошлым летом! — сказала мама: мама шьет халатик Леве, и ей некогда.

«Поскорее бы уехать!» — томится Аленушка.

На игрушки и смотреть Аленушке не хочется, такие деревянные игрушки, скучные. Игрушкам тоже зима надоела.

Долго накрывают на стол, стучат тарелками.

Долго обедают. Аленушке и кушать не хочется.

Приходит дядя Федор Иваныч, говорит с мамой о каких-то стаканах, смеется и дразнит Аленушку.

А Аленушка слоняется из угла в угол, заглядывает в окна, капризничает, даже животик у ней разболелся.

Не дожидаясь папы, уложили ее в кроватку.

И сквозь сон слышит Аленушка, как за чаем папа и мама и дядя Федор Иваныч в столовой толкуют об отъезде на дачу в лес в дремучий, где деревья даже в доме растут, над крышей растут. Вот какие деревья!

Головка у Аленушки кружится.

Ей представляется большая зеленая елка, ярко освещенная разноцветными свечками, в бусах, в пряниках, елка идет на нее, а из темных углов крадутся медведи белые и черные в золотых ошейниках, с бубенцами, с барабанами и падают, летают вокруг медведей золотые звездочки.

«А где та, моя, где моя звездочка? — вспоминает Аленушка, — дядя сказал, вырастет из нее такая же девочка, как я, или зверушка. И что это за такая зверушка?»

— Ну что, Аленушка, как твой животик? — это папа, папа тихонько наклонился над Аленушкой, крестит ее.

— Не-т! — сквозь сон пищит Аленушка.

— Выздоравливай скорей, деточка, на дачу завтра едем, горы там высокие, а леса дремучие!

Аленушка перевернулась на другой бок, крепко-крепко обняла подушку и засопела.

4

Как-то сразу замолкли вихри, и разлившиеся реки задремали.

Зарделись почки, кое-где выглянули первые шелковые листики.

Седые, каменные ветки оленьего моха бледно зазеленелись, разнежились; поползли на цепких бархатисто-зеленых лапках разноцветные лишаи; медвежья ягода покрылась восковыми цветочками.

Птицы прилетели, и в гнездах запищали маленькие детки — птички.

Проснулась у заячьей норки и Аленушкина звездочка. За зиму-то вся покрылась она шерстью, как медведюшка. На лапках у ней выросли острые медвежьи коготки, и стала звездочка не звездой, а толстеньким, кругленьким медвежонком.

Хорошо медвежонку прыгать по пням и кочкам, хорошо ему сучья ломать, наряжаться цветами.

Скоро научится он рычать по-медвежьи и пугать маленьких птичек.

— Сидите, детки, в гнездышках, — учит мать-птица, — медведюшка ходит, укусить не укусит, а страху от него наберетесь большого.

Целыми днями бродит медвежонок по лесу, а устанет — ляжет где-нибудь на солнышке и смотрит: и как муравьи с своим царством копошатся, и как цветочки да травки живут, и как мотыльки резвятся, — все ему мило и любопытно.

Полежит, поотдохнет медвежонок и пойдет. И куда-куда не заходит: раз чуть в болоте не завяз, насилу от мошек отбился, и смеялись же над ним незабудки, мхи хохотали, поддразнивали. А то повстречал чудовище... птицы сказали, — о х о т н и к.

— Человека остерегайся, глупыш! — долбил дятел, — человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовича изловили, за решеткою теперь, воли не дают. Летал к нему — «Жив, пищит, корму вдосталь, да скучно». У них все вот так!

А медвежонку и горя мало, прыгает да гоняется за жуками, и только, когда багровеет небо и серые туманы идут дозором и месяц выходит любоваться на сонный лес, засыпает он, где попало, и до утра дрыхнет.

Как-то медвежонок и заблудился.

А ночь шла темная, душная.

Птицы и звери ни гугу в своих гнездах и норках.

Ходил медвежонок, ходил, и так вдруг страшно стало, принялся выть, — а голоса не подают. И собрался уж под хворост лечь, да вспомнился дятел.

«Еще сцапают, да в цепь закуют, пойду-ка лучше!»

По лесу пронесся долгий, урчащий гул, и листья затряслись, ровно от ужаса. Голубые змейки прыгали на крестах елей и что-то трескалось, билось у старых, рогатых корней.

Как угорелый, пустился медвежонок, куда глаза глядят, бежал-бежал, исцарапался, дух перевести не может, хвать — голоса, огонек. Обрадовался.

«Птичье гнездо!» — подумал.

А огонек разгорался, голоса звенели.

Раздвинул медвежонок кусты и видит: огромный светлый зал, много чудовищ — охотников, едят охотники и что-то лопочут.

— Ты, Аленушка, — говорит мама, — одна в лес не ходи, там тебя медведи съедят. Дядя Федор Иваныч намедни пошел на охоту, а ему медвежонок навстречу, крохотный, с тебя!

— Папа, а папа, — обрадовалась Аленушка, — поймай ты мне этого медвежонка, я играть с ним буду!

А медвежонок, как услыхал, зарычал и вышел.

— Смотрите, смотрите, — кричала мама, — вон медвежонок!

Тут все бросились из-за стола, папа суп пролил.

— Медведюшка, иди, иди к нам, ужинать с нами, медведюшка! — прыгала Аленушка.

И медведюшка подошел, нюхнул, — очень уж понравилась ему беленькая девочка.

И Аленушке медведюшка очень понравился: усадила она его рядом с собою, гладила мордочку, тыкала в нос ему белый хлеб. А он ласково смотрел в ее светлые глазки, сопел: так устал и напугался.

— Ну, вот и медвежонок у тебя, играй с ним, а теперь отправляйся в кроватку, и так засиделась!

— И он со мною? — робко спросила Аленушка.

— Нет уж, иди одна, его к кусту папа привяжет!

Мама сердилась на папу за суп, и Аленушка, едва сдерживая слезы, одна пошла в детскую.

Долго не спалось ей, все она думала о медвежонке, как они вместе в лес будут ходить, как ягоды сбирать, — бояться некого, никто с медвежонком не съест.

— Медведюшка, миленький мой медведюшка, бедненький! — шептала Аленушка и засыпала.

5

Как проснется Аленушка, прямо бежит к медведюшке, отвяжет его от куста и чего-чего только не делает: и тискает его и надевает папину старую шляпу и садится верхом или долго водит за лапку и разговаривает.

Медведюшка все понимает, только говорить не может, рычит.

Так незаметно проходят дни.

С Аленушкой хорошо медведюшке, а привязанный он тоскует, вспоминает птиц и зверей разных.

Подошла осень, захолодели ночи. Уж изредка топили печи.

Медведюшка слышал, как папа и мама разговаривали об отъезде домой, да и Аленушка брала его за лапку, гладила, целовала в мордочку.

— Скоро один останешься, — говорила она медведюшке, — папа и мама не хотят тебя брать, ты кусаться будешь.

А сегодня мама сказала Аленушке, чтобы она не очень-то водилась с медведюшкой.

— Дядя вон погладил твоего медведюшку, а он его за нос и цап!

«Уж не удрать ли в лес, а то убьют еще!» — раздумывал медведюшка, и так ему было тоскливо, и больно, и жалко Аленушку.

Собирались уезжать.

Вечером приехали гости, и мама играла на рояли.

Когда же дядя запел, начал и медведюшка подвывать из куста. И вдруг рассвирепел, оборвал ошейник, да прямо в зал.

Все страшно перепугались, словно пожара какого, бросились ловить медвежонка, а когда поймали его, тяпнул он маму за палец.

Тут все закричали.

— Мой медведюшка, не троньте его! — визжала Аленушка.

А медведюшку связали и потащили.

— Куда вы дели моего медведюшку? — всхлипывала Аленушка, вытягивала длинно-длинно свои оттопырки-губки.

— Ничего, деточка, — утешала Власьевна, — в лес его пустят ходить, там ему способнее будет. Спи, Аленушка, спи, утресь домой поедем, игрушки-то поди соскушнились по тебе!

— Не надо мне игрушков, медведюшка мо-ой, какие вы все-е!

Личико ее раскраснелось, слезы так и бегут...

6

Частые-частые звезды осенние из серебра, золотые, тихо перелетают, льются по небу.

Месяц куда-то ушел.

Трещат сучья. Улетают листья, гудят.

— Медведюшка идет, прячьтесь скорее! — перекликаются птицы и звери.

С шумом раздвигая ветви, выходит медведюшка: на шее у него оборванная веревка, и торчит клоками шерсть. Насупился.

Так подходит медведюшка к берлоге, разрывает хворост, спускается в яму, рычит:

— Спать залягу, да поотдохну малость!

И раздается по всему лесу храп: это медведюшка лапу сосет, спит.

Стаями выпархивают птицы, собираются в стаи, улетают птицы в теплые страны, покидая холод, оставляя старые гнезда до новой весны.

Лампадка защурилась, пыхнула и погасла.

Серый утренний свет тихомолком подполз к двойным рамам окон, заглянул украдкой в детскую, и ночная тьма поседела и медленно побрела по потолку и стенам, а по углам встали тени — столбы мутные, какие-то сонные.

Котофей Котофеич, черный бархатный кот, приподнялся на своих белых подушечках-лапках, изогнулся, и сладко зевнув, прыгнул к Аленушке на кроватку.

Аленушка таращила заспанные глазыньки: уж не медведюшка ли бросился съесть ее?

А Власьевны нет…

На кухне глухо стучат и ходят.

Кот подвернул лапки, вытянул усатую мордочку и запел.

Теперь совсем не страшно.

«Господи, — мечтает Аленушка, — хоть бы Рождество поскорее, а там и Пасха, к заутрене пойду, на Пасху хорошо как!»

Опухшие за ночь губки сурьезничают, а личико светит-

ся, и улыбается Аленушка, словно вот уж волхвы идут со звездою, большущую тащат елку, в пряниках.

1900 г.

МОРЩИНКА

1

В чистом поле жили-были две мышки: Алишка-кургузка и Морщинка-долгоуска. Старая Алишка ходила на промысел добывать себе на день пищу, а молоденькой наказывала, чтобы сидела себе дома, убирала постельки.

Постельки у мышек были из листьев, подушки из цветочков, одеяльца из душистой травки.

Хорошо было Морщинке в тесной норке, да не весело. Крошечное окошечко из мотыльковых крылышек пропускало чуть маленький желтый светик. Темно было в норке.

Усядется мышка на сырой подоконник, грызет морковку и думает, либо усиком по стеклышку выводит тонкими буковками ч и с т о е п о л е.

Никогда не видала Морщинка чистого поля.

В теплый полдень возвращалась с добычи Алишка, приносила еды, угощала Морщинку.

Сидели мышки, в молчании кушали.

А потом в постельки ложились.

— Тетушка, тетушка, расскажи мне про чистое поле, — приставала Морщинка-долгоуска.

— Про чистое поле? — зевала Алишка, трудно было кургузке рассказывать после обеда, — чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, за полем топкое болото, там живут незабудки, за болотом дремучий лес, за лесом быстрая речка, за речкой гора — курган, на горе Забругальский замок.

— Ой, ой, как страшно, вот бы туда! — пищала Морщинка.

— А Носатая птица?

— Какая Носатая!?

— А такая, сидит на болоте. Словит тебя, да и скушает.

— А я не поддамся!

— Один такой не поддался! — отстраняла сердито сонная Алишка.

В щелку дверки проходил ветерок, приносил с поля пыльцу душистую. Мышек морило.

— Тетушка, а тетушка, расскажи мне про Носатую птицу!

Но уж тетушка задавала храп во всю Ивановскую.

2

Раз замешкалась старая Алишка в поле. Морщинка одна осталась, убрала Морщинка постельки и скуки ради зубки точила. Точила-точила и выглянула из норки. И ей понравилось. Повела Морщинка долгим усиком — да в чистое поле.

Вот она, листик за листик, кусток за кусток, мимо Носатой птицы, мимо чудищ, по болоту, по лесу, по речке на горку — курган и очутилась у Забругальского замка.

Долго ли, коротко ли, — пришла Алишка домой, принесла кулек разных съедобных, хвать-похвать, а Морщинки нет в норке.

Не пила старая с горя, не ела, достала из-под подушки карты, стала гадать.

— На кого ты меня покинула! — плакала Алишка, утиралась платочком из листьев.

Выходило по картам такое, что страсть: и Клешня и Носатая птица и какие-то раки…

— На кого ты меня покинула! — плакала Алишка, да так и проплакала вплоть до глубокой ночи.

А Морщинка походила-походила вкруг страшного замка, шмыгнула в ворота и попала в чистую кладовую.

А в чистой кладовой чего-чего не было: и пирожки слоеные сладкие, и ветчина с горошком, и мыло розовое, и разноцветные свечки.

Всего Морщинка отведала. Досыта наелась, села в уголок, посидела, запела песенку да подумала.

И уходить неохота. Не жизнь, а масленица!

Взяла мышка свечку под мышку, да и за ворота.

С горки по речке, с речки по лесу, из леса в болото, с болота по полю мимо Носатой птицы, мимо чудищ — прибежала домой Морщинка, говорит Алишке:

— Тетушка, тетушка, что мы в этой в своей противной норке холодаем да голодаем. Пойдем-ка в Забругальский замок.

— Да ты что, с ума что ли спятила? — всплеснула руками Алишка.

А Морщинка на тетушку: рассказала ей о замке, о зубчатых стенах, и какая остроносая башня и какие ворота, рассказала про чистую кладовую и про все сладкие лакомства.

Не тут-то было. Старую не уломаешь.

Ела старая свечку, похваливала, на своем стояла.

— А Носатая птица меня и не скушала! — хвасталась Морщинка.

— А Клешня одноглазая?

— Какая одноглазая!?

— А такая, в речке живет. Сцапает тебя, защемит головку в колени, да всю с косточками и проглотит.

— Ан не проглотит! — пищала Морщинка.

Утро вечера мудренее.

Тихо лежали мышки в постельках.

Тихий дождик в поле шел, кропил цветочки да травки да ягодки.

— Тетушка, а тетушка, расскажи мне про Клешню одноглазую!

А тетушка уж седьмой сон видела, горы городила.

3

Еще до свету подняла Алишка Морщинку с постельки. Ночью старой сон снился: приходила к ней Коза-золотые рога, хороводилась.

Видеть Козу во сне — хорошо, а Козла — неприятность.

Принарядилась старая, и Морщинка принарядилась.

Долго мышки вертелись у зеркальца, зеркальце у мышек — росинка, охорашивались мышки.

Уж солнце взошло, когда вышли мышки из норки в свой опасный путь.

Полем шли хорошо.

Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье, от ночного дождя глазки у травок горели и развевались кудряшки на синих цветочках.

— Тетушка, тетушка, чистое поле! — пищала Морщинка.

Старая застилась лапкой.

— Тетушка, сколько цветочков на поле!

Старая думала думу: голубело под носом топкое болото.

Мышки притихли, мышки согнулись.

— Чего вы тут шляетесь! — окрикнула Носатая птица.

Большие были передряги в болоте. Ползком ползли мышки.

— Мы только в замок, — шептала Алишка: колотилось у мышек сердечко.

— А! так вы в замок... — разинула клюв Носатая птица.

Едва улизнули от Птицы.

— Наказание с тобою, — ворчала Алишка, оступаясь о кочки.

В тревоге достигли мышки дремучего леса.

Откуда ни возьмись Коза-золотые рога.

— Куда, — говорит, — вы, мышки, путь держите?

Сели мышки в холодок под кустик, все Козе рассказали.

— Ну, идите, Бог с вами, только моих козляток не трогайте! — погрозила Коза пальчиком.

— Да уж не тронем, что ты, Коза! — в голос сказали мышки, попрощались с Козой и пошли себе дальше.

А дальше лелеялась быстрая речка.

Сели мышки в лодочку, поехали. Ехали, мочили в воде лапки, перемигивались с рыбками.

Хорошо на речке, вода студеная, любо поплавать под солнышком.

Захотелось мышкам выкупаться в речке.

И только что собрались они причалить к берегу, Клешня цап-царап! — прямо на мышек и защемила им хвостики.

Восплакались мышки:

— Пусти, — говорят, — пусти нас, одноглазая!

— Не пущу, — говорит, — откупитесь.

Мышки и серебра ей и золота и яхонтов.

— Не надо, — говорит, — мне ни серебра вашего, ни золота, ни яхонтов.

Насилу от Клешни отбоярились, пообещали ей полцарства отдать.

Целое полцарство мышиное!

Села Клешня на рака, нырнула в речку, а мышки на горку полезли.

— Пес ее знает! — оправлялась Алишка: закрутили раки ушки у старой, — с тобою, Морщинка, еще и последний хвост потеряешь.

А Морщинка торопит:

— Тетушка, тетушка, вон замок белеет, вон остроносая башня!

Карабкались мышки, карабкались, помаленьку и влезли.

Обошли мышки вкруг страшного замка, изловчились — шмыгнули в ворота и прямо в чистую кладовую попали.

А в чистой кладовой чего-чего не было.

— Вон, тетушка, пирожки слоеные сладкие, вон ветчина с горошком, вон мыло розовое, вон разноцветные свечки...

И только что успела Морщинка сказать о свечках, как защелкал замок в кладовую.

И где-то над самой головой с треском распахнулась ставня, а из дыры с потолка стало вываливаться маленькими колбасиками что-то ужасное: змея не змея, рак не рак, Бог знает что.

Вываливалось чудовище, скалило зубы.

— Опять эти противные мыши! Ищи их, Фингал, раздави, растопчи!

— Хорошо, раздавлю, растопчу! — отвечал пес Фингал.

Алишка в миску, Морщинка под миску, сели мышки ни живы, ни мертвы, сидят.

Вываливалось чудовище — колбаска за колбаской, кусок за куском.

— Ну, пойдем, Фингал, мыши ушли.

С треском захлопнулась ставня.

Защелкнул замок.

Час и другой и десятый высидели смирно ошарашенные мышки, не пискнули.

Первая вылезла Морщинка из-под миски.

— Тетушка, тетушка, пойдем скорее. Хоть бы нам сахарную голову сулили, больше никогда не пойдем в этот замок.

А старая завязла в варенье, трясется: хвостик у бедняжки отвалился от страха.

Кое-как выбрались мышки и давай Бог ноги.

Бежали, бежали, а как скатились с горки — кургана, в лужу и сели.

Едет Клешня на раке, раком погоняет. И защемила Клешня головки мышкам.

— Подавайте, — говорит, — мне полцарства, сию минуту, мышиное!

А на мышках лица нет, на все соглашаются.

Видит Клешня, и без нее им попало, пощипала Клешня, попиявила мышек и выпустила.

Покупаться бы теперь мышкам, да не до того уж.

Сели мышки в лодочку, поехали. Переплыли речку благополучно, в лес вступили.

Хотели они с Козой поговорить, а Коза козляток кормила, только глазами поздоровалась.

А уж Носатая птица кричит с болота:

— Давайте мне ваши головы на отсечение или сами полезайте немедленно в клюв!

Струхнули мышки пуще прежнего, съежились комариком, закрыли глазки, да драла, куда попало.

Бежали они, бежали, бежали-бежали, прибежали в норку общипанные, обглоданные, облупленные. Сели.

И уж там и сидят, в своем мышином подполье, благодарят Бога.

1906 г.

ПАЛЬЦЫ

Жили-были пять пальцев — те самые, которых всякий на руке у себя знает: большой, указательный, средний, безымянный — все четверо большие, а пятый мизинец — маленький.

Проголодалися как-то пальцы, и засосало.

Большой говорит:

— Давайте-ка, братцы, съедим что-нибудь, больно уж морит.

А другой говорит:

— Да что же мы есть будем?

— А взломаем у матери ящик, наедимся сладких пирожных, — кажет безымянный.

— Наесться-то мы наедимся, — заперечил четвертый, — да этот маленький все матери скажет.

— Если скажу, — поклялся мизинец, — так пусть же я не вырасту больше.

Вот взломали пальцы ящик, наелись досыта сладких пирожных, их и разморило.

Пришла домой мать, видит: слипшись, спят пальцы, один не спит мизинец.

Он ей все и сказал.

А за то остался навеки сам маленький — мизинец, а те четверо с тех пор ничего не едят, да с голодухи голодные за все хватаются.

1907 г.

ЗАЙЧИК ИВАНЫЧ

1

Жил человек, и у того человека было три дочери, — как одна, красавицы и шустрые, не знали они над собою страха.

Старшую звали Дарьей, середнюю Агафьей, а меньшую Марьей.

Изба их стояла у леса. А лес был такой огромадный, такой частый, — ни пройти ни проехать.

Без умолку день-деньской шумел лес, а придет ночь, загорятся звезды, и в звездах, как царь, гудит лес грозно, волнуется.

Много страхов водилось в лесу, а сестрам любо: забегут куда — аукают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи.

Такие веселые, такие проворные, такие бесстрашные — Дарья, Агафья и Марья.

Как-то старшая Дарья мела избу, свалился с полки клубок, покатился клубок по полу, да и за дверь. Схватилась Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошел по кочкам скакать, по хворосту, привел в самую чащу и стал у берлоги.

А из берлоги Медведь тут-как-тут.

Как увидел Медведь Дарью, зубы оскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Согласилась Дарья. Осталась у Медведя.

Вот живет она себе поживает, ходит с Медведем по лесу, показывает ей Медведь разные диковины.

У Медведя терем. В терему три клети.

Раскрыл Медведь первую клеть, а в ней серебро рекой льется. Раскрыл Медведь вторую клеть, а в ней живая вода ключом бьет.

Говорит Медведь Дарье:

— Третью клеть я не покажу тебе, и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Целый день нет Медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит.

Ходит Дарья у запретной клети, заглянуть смерть хочется.

А сторожил клеть Зайчик Иваныч.

Пробовала Дарья с Зайчиком Иванычем заговаривать, да отмалчивался бесхвостый, — хвостик зайцу Медведь для приметы отъел, — отмалчивался Зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину.

И не раз вгорячах пхала Дарья Зайчика по чем ни попа-

ло, таскала за серебряные заячьи ушки. А отляжет сердце, примется целовать зайца, а то и в пляс пустится. Зайчику — потеха, мяучит. И сам когда-то горазд был, да лапки уходились — не выходит.

Раз Зайчик Иваныч и прикурни на солнышке, заметила Дарья, да в клеть. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась — в глазах помутнело: в огромной клети кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото, сунула она палец, и стал палец золотым.

Пришел Медведь, принес малины. Сели за стол. Пьют чай.

Медведь говорит Дарье:

— Что это, Дарья, у тебя палец-то золотой?

— Да так себе, — отвечает Дарья, — золотой сделался.

Тут Медведь из-за стола встал и съел Дарью, а косточки в угол бросил.

2

Тосковали сестры. Рыскали по лесу, по-птичьи кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала, — не слышит.

И год прошел и другой прошел. Ни духу, ни слуху.

Как-то середняя Агафья подметала избу, сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за клубком Агафья. Шлашла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь, — Медведь.

Стал на дыбы Медведь, щелкнул зубами и говорит Агафье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Агафья и так и сяк, да ничего не поделаешь, осталась жить у Медведя.

Водил ее Медведь по лесу, деревья выворачивал, медом пичкал и всякие медвежьи шутки выкидывал.

У Медведя терем. В терему три клети.

Растворил Медведь клети. Глазела Агафья на серебро и живую воду.

— А третью клеть я не отворю тебе, — говорит Медведь, — и ходить в нее я не велю, а не то я тебя съем.

Загрустила Агафья, ума не приложит, как бы так клеть

посмотреть, чтобы Медведь не узнал. А тут этот Зайчик трется, глаз не сводит. Подходила Агафья к Зайчику Иванычу, щекотала ему малиновый ус, а Зайчик и в ус не дует: мяучит себе по-заячиному, ни слова путного.

Выбежал однажды Зайчик Иваныч на закат полюбоваться, а Агафья стук в клеть. Взглянула — остолбенела, да в столбняке-то и ткни палец в золото, и стал палец золотым.

Охала и ахала Агафья, как быть, увидит Медведь — съест живьем. Побежала к Зайчику. Сидел Зайчик Иваныч, напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у Зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец.

Вот пришел Медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за стол.

— Что это у тебя, Агафья, с пальцем? — спрашивает Медведь.

— Ничего, — говорит Агафья, — набередила, вот и обвязала тряпочкой.

— Давай вылечу.

Поднялся Медведь, развязал тряпку. А под тряпкою золотой палец.

И съел Медведь Агафью, а косточки в угол бросил.

3

Убивалась Марья.

— Сестры, сестрицы мои родимые! — куковала Марья по-кукушечьи.

Только лес шумит, царь-лес!

Так год прошел и другой прошел. Нет сестер.

Как-то подметала Марья пол, скатился клубок и в лес. Шла Марья за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги.

Выскочил из берлоги Медведь, зарычал, ощетинился. Говорит Медведь Марье:

— Хочешь моей женой быть, а не то я тебя съем.

Не сразу далась Марья, заупрямилась. Диву дался Медведь и полюбил ее пуще всех сестер.

Ходит косматый по лесу, собирает цветы, венки плетет.

А выйдет с Марьей гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берложные хитрости кажет. А то ляжет на спину, перекатывается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку медом вымазал.

У Медведя терем. В терему три клети.

Все показал Марье Медведь — и серебро и живую воду, а в третью клеть не повел.

— И ходить в эту клеть я тебе не велю, а не то я тебя съем.

— Съем! Съел один такой! — фыркнула Марья, а сама думает, как бы этак Медведя провести?

А Зайчик Иваныч ей глазом мигает. Зайчик Иваныч в Марье души не чаял.

Бывало, уйдет Медведь, а Марья к Зайчику:

— Зайчик, заинька, научи меня, серенький, как мне быть, погибли сестры, погибну и я: заест меня Медведь.

А Зайчик Иваныч подопрется лапкою, лопочет что-то по-своему.

Так и проводили дни: сядут где на крылечке и сидят рядком, горе горюют.

Раз Зайчик Иваныч лучину щипал: самовар пить собирались.

Известно, примется Зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает, такая повадка у Зайчика.

Зайчик весь двор лучинкой закидал.

Марья пособляла Зайчику. И такая тоска на нее нашла, свету она невзвидела, пошла бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестер, да с отчаяния туркнулась в запретную клеть. И ослепило ее золото, закружило голову. Да не сплоховала Марья: опустила лучинку в золото. А лучинка, как жар, горит.

— Сестры, сестрицы мои родимые! — всплакнула Марья.

Запрятала Марья золотую лучинку в красный сафьянный башмачок, отдала башмачок Зайчику. Пошел Зайчик в погреб за молоком да дорогой и сунул башмачок в свою старую норку.

Пришел Медведь. Сели брагу пить, все честь честью по-хорошему. И пошла жизнь по-прежнему.

4

Пораскидывал умом Зайчик Иваныч, горе горюя с Марьей на крылечке.

Раз и говорит Зайчик:

— Не умею я по-человечьему сказывать, а то бы сказал.

Тем разговор и кончился.

Бродит Марья по терему, плачет над костями сестер, заглядывает то в одну, то в другую клеть.

И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полон рот живой воды, вспрыснула сестрины кости. И встала перед ней Агафья жива-живехонька.

Что делать, куда деваться? Марья к Зайчику, так и так, говорит.

— Хорошо, — говорит Зайчик, — сию минуту.

Взял Зайчик Агафью за руку, да в дупло и запрятал, а сам ей принес туда груш да яблоков и всякого печенья. И дело с концом.

Пришел Медведь. Стал к Марье ластиться. А Марья и говорит:

— Рычун, мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу.

— А ты наперед скажи, что тебе сделать, а то ты, может, третью клеть посмотреть хочешь, так я тебя съем.

— Батя мой завтра именинник, хочу пирогов ему испечь, а ты снесешь.

— Это можно, пеки.

Обрадовалась Марья, да опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто и, когда все было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами.

Говорит Агафье:

— Сядет Медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты и скажи: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Чуть только солнышко взошло, взвалил Медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу.

Полднем вздумалось Медведю поотдохнуть маленько, свалил он мешок наземь, стал развязывать.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — как закричит из мешка Агафья.

Вскочил Медведь, повел ухом.

«Ишь, — подумал, — и голос же у моей Марьи, все видит, и сесть тебе не полагается!..»

И пустился Медведь дальше. А как добежал до избы, шваркнул мешок у калитки, да во все лопатки домой обратно.

Долго ли, коротко ли, не много не мало, а год, другой прошел.

Вспрыснула Марья сестрины кости. И встала перед ней Дарья жива-живехенька. Опять Марья к Зайчику. Запер Зайчик Дарью в чулан.

А вечером Марья говорит Медведю:

— Мамушка моя именинница, испеку я ей пирогов в день ангела, снеси ты их, косолапушка.

А сама Дарье шепнула:

— Как рассядется Медведь, ты ему крикни: «Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу».

Все так и случилось. Сел было Медведь посидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел, да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок, и опять домой восвояси.

5

— Зайчик, Заинька, научи меня, серенький, что мне делать, не могу больше у Медведя жить, хочу к сестрам!

А Зайчик Иваныч и рад бы что посоветовать Марье, да сказать-то ничего Зайчик не может. А уж так привязался, так привязался он к Марье, на шаг от себя не отпустит. Прямо влип.

Что наработал за долгую зиму, все Зайчик отдал Марье, какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марье. Летось к Медвежьему дяде за тридевять земель скакал, выпросил у старого хрустальную туфельку да жемчугов горстку, все Марье отдал.

Когда с весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала Зайчику Марья:

— Ну, Зайчик Иваныч, придумала! Уйду я от Медведя.

Зайчик насупился.

А Медведь вечером спрашивает Марью:

— Что ты, красавушка, что ты такая веселая?

— А как мне веселой не быть, батю с мамушкой во сне видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Еще дрыхнуть ты будешь, я затворюсь в терему, подымусь на вышку, буду следить за тобой, а как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь, ты не зови меня, я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь.

Послушал Медведь, лег спать спозаранку. А Марья испекла пирогов, позвала Зайчика, сказала Зайчику:

— Прощай, Зайчик Иваныч, прощай, миленький!

Насупился Зайчик, не пускает Марью, уцепился лапками за передник, на глазах слезы.

И вдвоем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Марье Зайчик свою заячью жизнь, как была когда-то у Зайчика норка и как Медведь его выгнал из родимой норки и пришиб зайчиху, и как пришибленная помирала покойница Зайчиха Ивановна.

И плакал Зайчик Иваныч, и о каких-то лисятах поминал сквозь слезы... Он ли их съел, они ли детей его слопали, понять мудрено было.

На рассвете юркнула Марья в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнес Зайчик Иваныч мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крылечке караул держать. И когда Медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался Зайчик в свою старую норку, вынул из кованого ларчика красный сафьянный башмачок, поставил к себе на столик и залился горькими слезами:

— Сестры, сестрицы мои родимые! На кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние заячьи дни одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас — и все ушли, забыли меня. Сестры, сестрицы мои родимые!

А Медведь шел, шел, задумал присесть, развязал мешок.

— Не садись, муженек, на пенек, все вижу, все слышу! — закричала из-под пирогов Марья.

— Слышу, слышу! — рявкнул Медведь и во всю прыть дальше помчался.

А как добежал до калитки, шлепнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге.

6

То-то радость была.

Снова вместе все трое, три сестры, три красавицы — Дарья, Агафья и Марья.

Пошли расспросы да россказни.

До полночи сестры глаз не сомкнули.

А в полночь весь в звездах, как царь, загудел лес, грозный, заволновался. И поднялась в лесу небывалая буря. Трещала изба, ветром срывало ставни, дубастило в крышу, а вековые деревья, как былинку, пригибало к земле, выворачивало с корнем столетние дубы, бросало зеленых великанов к небу, за звезды.

Это — Медведь, Медведь крушил и ломал свою пустую берлогу, сворачивал бревна, разбрасывал в щепки высокий покинутый терем.

А чуть только свет задымился на небе, Медведь издох от тоски.

1906 г.

ЗАЙКА

1

В некотором царстве, в некотором государстве, в высокой белой башенке на самом на верху жила-была Зайка.

В башенке горели огни, и было в ней светло и тепло и уютно.

Лишь только солнце подымалось до купола и в саду Петушок-золотой-гребешок появлялся, приходил к Зайке старый кот Котофей Котофеич. Впрыгивал Котофей в кроватку и бережно бархатной лапкой будил спящую Зайку.

Просыпались у Зайки синие глазки, заплетала Зайка свою светлую коску. Котофей Котофеич пел песни.

Так день начинался.

Зайка скакала, беленькая плясала. С ней скакала Лягушка-квакушка с отбитою лапкой, плясали две Белки-мохнатки. А гадкий Зародыш садился на корточки в угол, хлопал в ладошки, да звонил в серебряный колокольчик.

То-то веселье, то-то потеха!

И обедать готово, а Зайку за стол не усадишь.

Завязывал Котофей Котофеич Зайке салфетку, и принималась Зайка кушать зайца жареного да козу паленую, а на загладку пупки Кощея, такие сладкие, такие вкусные, малиновые и янтарные, — весь ротик облипнет.

Тут Лягушка-квакушка себе мух ловила, а Белки-мохнатки орешки грызли.

Но вот заходило за домик Барабаньей-Шкурки красное солнце, проходила мимо башенки старуха Буроба, проносила Буроба огромный мешок за плечами.

Не дай Бог повернет Буроба в башенку! Подымется Буроба наверх по лестнице, возьмет Зайку в мешок, унесет с собою, да и съест.

Которые дети спать не ложатся, Буроба в мешок собирает.

Котофей Котофеич уж охаживал кроватку, усатой мордочкой грел пуховую Зайкину думку, сон нагонял.

Зайка зевать начинала, просилась в кроватку.

Выползал из ямки Червячок. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромадного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

В окне показывался Кучерище, подпирал Кучерище скулы кулаками, ел Зайкины игрушки.

А Зайка расплетала свою светлую коску, скидывала с себя платьице и чулочки да в кроватку бай-бай ложилась.

И подымался из-за угла гадкий Зародыш, залезал Заро-

дыш в фонарик, дул в огонек. И огонек становился огоньчком с ноготок Зайкин.

Васютка, сынишка Кучерищев, затягивал в трубе тонко песенку, — сонную песенку.

Так вечер кончался, ночь начиналась.

Ночью нередко Зайка ловила рыбку.

И чихал же наутро старый кот Котофей Котофеич, не пел песен.

А бедная Зайка замирала от страха: по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, пробиралась Буроба наверх к Зайке.

Которые дети по ночам ловят рыбку, Буроба в мешок собирает.

2

По праздникам, когда Петушок-золотой-гребешок пел голосистей, а Курочка-кудахточка несла золотое яичко, и солнышко ярче и светлее светило в башенку, вылезал из отдушника кум Котофея Котофеича — Чучело-чумичело.

Чучело-чумичело до самого обеда ходил на голове перед Зайкой, — все животики надрывала себе Зайка от хохота, а после обеда Чучело усаживался на шесток вместе с Котофеем Котофеичем, и у них разговор начинался.

Прислушивалась Зайка, но понять ничего не могла.

Чучело-чумичело все рассказывал о крысах, да о мышах, да о мышатах маленьких. А Котофей Котофеич себе под нос мурлыкал.

Раз Котофей Котофеич говорит куму:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, беда мне с Зайкой, да и только! Сам видишь, обносилась вся, локотки продраны, чулочки все в дырках, а какие были кружевца на штанишках, давно от них и помину нет, все обшаркались.

— Эх, кум, кум, — отвечал укоризненно Чучело, — чего ж ты загодя не сказал: приходил вчера ко мне Волчий Хвост, предлагал Хвост кубышку с золотом, да на что мне золото, я и без золота Чучело.

— Может, опять придет?.. — замурлыкал Кот, — ни зайца у нас жареного, ни козы паленой, ничего нынче на обед не было, а одними пупками Кощея сыт не будешь, да и пупков всего ничего осталось.

Призадумался Чучело-чумичело да и говорит Котофею:

— Так ты, кум, вот что, как пойдешь ужотко за мышами, загляни ко мне в отдушник, там я тебе пошепчу на ушко что-то.

Рано легла баиньки Зайка, а глазки все не спали, — глядели, а ушки все не спали, — слушали.

То Червячок из ямки покажется.

То Васютка в трубе запищит.

— Велите дать говядинки, говядинки! — пищал из трубы Васютка.

Так Зайку все и разгуливало.

Уж Котофей Котофеич все свои песни перепел, все сказки порассказал, а Зайка все ворочается, перекладывается то на один бочок, то на другой.

— Спи, деточка, а то люди ночь разберут, — уговаривал Кот.

Только когда Петушок-золотой-гребешок прокукарекал полночь, а в домике Барабаньей-Шкурки труба закурилась, Зайка засопела носиком и завела далеко-далеко свои синие глазки: прямо на пруд… ловить рыбку.

А Котофей Котофеич прыг с кроватки да тихонько к отдушнику.

Покликал Кот Чучелу-чумичелу. Высунул Чучело мурло из отдушника. И шептались они долгое время.

3

Наутро Котофей Котофеич не чихал, не пел песен, снаряжал Котофей свою Зайку в путь-дорожку.

Говорил Кот Зайке:

— Зайка беленькая, отправляйся, моя курнопяточка, в темный лес, иди все прямо-прямо, и будет тебе избушка Бабы-Яги. Заглянуть к Яге в окошко можно, а входить не входи в избушку. Яга тебя без шапки-невидимки заметит и съесть захочет. Ты иди лучше мимо избушки наискосок по

тропинке, пролезай через шиповник, не бойся, пальчиков не оцарапаешь. Так-то, Зайка, так-то, беленькая! Встретит тебя птица Гагана, поздоровайся с птицей: Гагана тебе птичьего молочка даст. Покушаешь молочка и снова в путь трогайся. К полночи придешь к подземелью, не туркайся в дверь, а залезай прямо на дерево и жди, что будет. Пройдет мимо дерева слепышка Листин, прошуршит листьями, не бойся: Листин не страшный, Листин только пугать любит. Пролетит мимо дерева Сорока-белобока, проскачет Коза-рогатая, ты не бойся: больно Коза не забодает, — жди, что дальше будет. Выйдут из подземелья двенадцать черных разбойников, ты слушай, что станут говорить разбойники, заруби их слова себе на носике, а когда пропадут разбойники, спускайся в подземелье и скажи то, что они говорили.

Простилась Зайка с Котофеем Котофеичем, простилась с Лягушкой-квакушкой, простилась с Белками-мохнатками, простилась с гадким Зародышем и с Червячком из ямки.

Все дружно проводили Зайку до самой последней ступеньки, назад в башенку вернулись, и занялся всякий своим делом.

Лягушка-квакушка мух ловила, Белки-мохнатки орешки грызли, Зародыш в ладошки хлопал да звонил в серебряный колокольчик, Червячок выползал из ямки, рос, надувался, превращался в огромадного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал в ямку.

А Котофей Котофеич по башенке с топориком похаживал, приводил все в порядок, подшивал и подглаживал, а то заберется в Зайкину кроватку и там лапкою гостей замывает.

Каждый вечер все в кружок садились, пили чай — дули на блюдечко, вспоминали свою беленькую Зайку.

Васютка, сынишка Кучерищев, в трубе скучал-насвистывал.

— Зайка-Зайка, вернись-перевернись! — насвистывал из трубы Васютка.

Кучерище в окне игрушки ел.

4

Как сказал старый кот Котофей Котофеич, так все и вышло.

Не успела Зайка оглянуться в лесу, попался ей Медведь с Мужиком: Медведь с Мужиком стояли на палочке, ковали железо, пели песни. Поздоровалась Зайка с Медведюшкой и дальше пошла. Шла Зайка, шла и видит, стоит избушка на курьих ножках, на собачьих пятках. Заглянула Зайка в окошко, а в избушке Баба-Яга спит, распустила длинные уши: одно ухо вместо подушки, а другим, будто одеялом, с головкою покрыта. Показала Зайка пальчиками нос Бабе-Яге да скорее наискосок по тропинке. Выпорхнула из шиповника птица Гагана, ударила оземь красным крылом. Поздоровалась Зайка с Гаганой, взяла у птицы кувшинчик с птичьим молочком, выпила молочко и дальше тронулась в путь.

Вот видит Зайка подземелье, подходит она к двери, а дверь из человечьих костей и скрипит и светится. Забоялась Зайка да на дерево. Вскарабкалась, ждет — навострила ушко.

Прошел слепышка Листин, прошуршал листьями, пролетела Сорока-белобока, проскакала Коза-рогатая, упала с неба сестричка-звездочка, и растворилась дверь из человечьих костей, — задрожали у Зайки поджилки, — и двенадцать черных разбойников вышли из подземелья и сказали разбойники в один голос:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

И тотчас дверь подземелья закрылась.

Постояли разбойники, позевали на месяц. Сказали разбойники в одно слово:

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток!

И тотчас дверь подземелья раскрылась.

А как пропали разбойники, спрыгнула Зайка с дерева да все слова разбойничьи и повторила.

И дверь снова раскрылась и Зайка вошла в подземелье.

Видит Зайка огромный хрустальный зал, по углам банки, в банках золотые рыбки плавают. Хотела Зайка хоть одну рыбку поймать, да одумалась. Подошла к семивинтовому столу. На семивинтовом столе — черная шкатулка, на черной шкатулке — шитое разноцветными шелками полотенце, а по полотенцу беленькая Мышка-хвостатка бегает. Поздоровалась Зайка с Мышкой-хвостаткой, подала ей Мышка золотой ключик. Приняла Зайка от Мышки золотой ключик, отперла шкатулку. А как открыла крышку, глазенки так и забегали: вся шкатулка до самого верху была полна бисерными кошельками. Взяла Зайка один кошелек с голубенькими цветочками, — больно уж кошелек ей понравился, хотела Зайка его в сумочку положить, а из кошелька вдруг золото орешками и посыпалось. Схватилась Зайка подбирать золото, а двенадцать черных разбойников встали с своего места да всю шкатулку Зайке и отдали.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказал Зайка по-разбойничьи.

Дверь раскрылась.

И Зайка была такова.

5

Вся башенка поднялась на ноги, когда Петушок-золотой-гребешок прокричал о беленькой Зайке:

— Беленькая Зайка домой бежит!

Все спустились по лестнице вниз и на пороге встретили Зайку.

Зацеловали беленькую, задушили курнопяточку: так были все рады-радехоньки.

А Зайка едва дух переводит, закраснелась, запыхалась вся, все штанишки спустились, по земле волокутся, а волоски взбились хохликом.

Подала Зайка шкатулку Котофею Котофеичу, говорит Коту:

— Вот тебе, Кот, находка, разбирайся!

А сама села присесть да, как убитая, тут же на месте и заснула.

И спала Зайка целых три дня и три ночи без просыпу.

Вышел из отдушника Чучело-чумичело, стал ходить на голове перед Зайкой. Видит Чучело, не обращает Зайка на него внимания, пошушукался с Котофеем Котофеичем и опять в отдушник забрался.

Котофей Котофеич загреб золото, стал считать. И день считал и другой считал, все со счета сбивается, — ничего не выходит.

Побежал кот к Барабаньей-Шкурке за мерой.

— Дай, — говорит, — мерку мне на минутку.

— А зачем вам мера? — спрашивает Барабанья-Шкурка.

— Кощеевы пупки считать.

— Хорошо, — ухмыльнулась Барабанья-Шкурка, — дам я вам меру, только смотрите, не затеряйте.

А сама думает:

«Тут дело нечисто, кто ж это пупки Кощеевы мерой считает — пупки в коробках на фунты продаются!»

А чтобы вернее дознаться, что будет Кот мерять, намазала Шкурка дно у своей меры липким медом.

Взял Котофей Котофеич Шкуркину меру и домой в башенку.

И уж мерял Кот, мерял, мерял-мерял — конца краю не видно. А как вымерял до последнего золотого, отнес меру Барабаньей-Шкурке, накупил платьецев и игрушек, нарядил Зайку и сел себе тихомолком гостей замывать.

Тут пошел такой в башенке пляс, хоть образа выноси из дому.

Не плясали, а бесновались. Больше всех отличалась Лягушка-квакушка, до того дошла Квакушка, что под вечер еще одну лапку себе отбила и осталась всего о двух лапках задних.

Ну и Чучело-чумичело, нечего сказать, постарался — Чучело-чумичело лицом в грязь не ударил: ходивши на голове, мозоль натер себе Чучело на самом носу.

То-то веселье, то-то потеха!

А Барабанья-Шкурка не моргала. Как принес ей Котофей Котофеич меру, Шкурка всю меру во все глаза огляде-

ла и на самом донышке нашла золотой, — прилип золотой к меду.

И порешила Шкурка разведать, откуда такое богатство попало в руки Зайки.

Много годов живет на белом свете Барабанья-Шкурка, сундуки Шкурки доверху золотом завалены, а такого золота она глазом отродясь не видала, ни слухом не слыхала: не простое золото, а серебряное!

И стала Барабанья-Шкурка подсылать к беленькой Зайке двух своих жогов подручных: Артамошку — гнусного да Епифашку — скусного.

6

Нос крючком, голова сучком, брюшко ящичком, а все само жилиное и толкачиком, — такие эти были Артамошка с Епифашкой.

В первый раз пришли они чуть свет в башенку. В другой раз — в сумерки, в третий раз — поздно вечером, и повадились. И днюют и ночуют пакостники, отбоя нет.

Придут они в башенку, рассядутся на кухне и клянчают. Немытые, нечесаные, — страсть взглянуть.

Разжалобили жоги Зайку.

Пробовала Зайка посылать им грибков да щавелику, — не помогает, все свое тянут, все еще клянчают. Еще больше разжалобили Зайку.

И стала Зайка их в комнаты пускать.

А как влезли они в комнаты, — тут уж ничем их не выживешь.

Зайка скачет, беленькая пляшет, а они мороками по башенке бродят, все трогают, все нюхают, а то в игры свои играть примутся: либо угощают друг дружку мордой об стол, либо в окно выбрасываются, — такие эти были Артамошка с Епифашкой.

Остерегал Зайку старый кот Котофей Котофеич:

— Ой, Зайка, ой, беленькая, не водись ты с этими полосатыми: шатия эта шатается, не будет прока, помяни ты мое котово верное слово... с Буробою они знаются, те-

тенькою Буробу величают, сам слышал, тоже и башмачок твой намедни сожрали, да то ли еще натворят, ой, Зайка, ой беленькая!

А Зайка хохочет.

— Старый ты, старый ворчун, все б тебе ворчать, иди-ка ты лучше да мышек топчи.

— Не могу я больше мышек топтать, — грустно вздыхал Котофей Котофеич и снова принимался журить Зайку.

Раз села Зайка в ванночку мыться. Котофей Котофеич головку ей мылил, банные песни пел. И случись такой грех: попало едкое мыло коту в глаз.

Пошел Котофей Котофеич в кухню глаз промывать, а Артамошка с Епифашкой стук к Зайке в ванночку.

— Расскажи да расскажи, Заинька, откуда бисерные такие кошельки у тебя разноцветные да откуда золото такое не простое, а серебряное?

Зайка все язычком и выболтала.

Вернулся из кухни Котофей Котофеич, а уж Артамошки с Епифашкой и след простыл.

И с той поры сгинули они из глаз, полосатые, словно никогда их и земля не носила.

Призналась Зайка Котофею Котофеичу.

Встревожился Котофей Котофеич.

— Пропали мы, пропали все пропадом! — одно твердил старый Кот.

Проснется Зайка ночью попить, покличет Котофея Котофеича, а Кота нет у кроватки: Котофей Котофеич целыми ночами напролет перешептывался с Чучелой-чумичелой, куму свое горе поверял.

Всякий праздник, как всегда, вылезал из отдушника Чучело-чумичело, ходил до обеда на голове перед Зайкой, а после обеда, сидя на шестке с Котофеем Котофеичем, оба об одном рассуждали и на разные лады умом раскидывали, как из беды Зайку выпутать: неспроста приходили полосатые, наделают они дел, не оберешься.

— Пропали мы, пропали все пропадом! — твердил старый Кот.

7

Артамошка с Епифашкой потирали себе руки от удовольствия: так ловко провели они Зайку и носик ей натянули курносенький.

Получили жоги в награду от Барабаньей-Шкурки старую собачью конурку на съедение. Засели в конурку, лакомились да облизывались.

А Барабанья-Шкурка намотала себе на ус разговор полосатых и, недолго думая, снарядилась в поход за шкатулкой: добывать себе черную шкатулку с не простым, а с серебряным золотом.

И случилось с Барабаньей-Шкуркой то же, что и с беленькой Зайкой.

Пришла Шкурка в полночь к подземелью, влезла на дерево. Вышли из подземелья двенадцать черных разбойников, постояли разбойники, позевали на месяц, сказали заклинание и пропали.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — повторила Барабанья-Шкурка разбойничьи слова.

Дверь раскрылась, и Шкурка вошла в подземелье.

Обошла Шкурка весь хрустальный зал, все переглядела и все перетрогала, забрала с семивинтового стола черную шкатулку да к двери.

А дверь не раскрывается.

И барабанила Шкурка, колотила в дверь из всей мочи.

А дверь не раскрывается.

Забыла Шкурка впопыхах разбойничье заклинание.

А разбойники встали с своего места, окружили Шкурку да всю ее и измяли.

И превратилась Барабанья-Шкурка в кожу, а из кожи сапогов да башмаков понаделали, и пошла Шкурка по мостовым шмыгать, да ноги натирать, — пропала Шкурка пропадом.

8

Именины Зайки совпали с известием, — мухи рассказывали, что Барабанья-Шкурка в кожу превратилась.

Бегал Котофей Котофеич в домик к Шкурке, но ни единой души не нашел в домике: Артамошка с Епифашкой в лес улизнули и там свили гнездо себе, живут-поживают, творят пакости да народ смущают.

Три дня праздновали в башенке именины, и пир горой шел.

На третий день, когда Кучерице объелся игрушками, а Чучело-чумичело голову потерял, прокралась незаметно в башенку старуха Буроба да за суматохой все добро и поклала себе в мешок.

И лишилась Зайка серебряного золота и черной шкатулки и бисерных кошельков.

Только наутро хватились, — туда-сюда, да видно уж чему быть, того не миновать.

Ну хоть бы тебе что, словно в воду кануло!

Мрачный ходил Котофей Котофеич, завязывал ножку у стола и снова и снова принимался пропажу искать.

— Не завалилось ли куда! — мурлыкал Кот.

И с отчаяния Кот обмирал на минуту и опять ходил мрачный.

Ночью покликал Котофей Котофеич Чучелу-чумичелу. Чучело долго не отзывался.

— Трудно тебе, кум, без головы-то? — соболезновал Кот.

— Страсть трудно, не приведи Бог.

— А я тебе, кум, мышиной мази принес, ты себе помажь шею, оно и пройдет.

— Мажусь, не помогает.

— А у нас, кум, несчастье.

— Слышал.

— Подумай, кум, выручи.

— Ладно.

Отошел Кот от теплого отдушника, обошел вдоль и поперек всю башенку, потрогал засовы, — крепко ли держатся, — успокоился и замурлыкал.

В окне сидел Кучерище, давился, — больше не ел игрушек.

Покатывался со смеху гадкий Зародыш, катался в фонарике.

И шалил огонек: то вспыхнет, то не видать.

А по лестнице шлепала-топала старуха Буроба с огромным мешком за плечами, шарила в потемках Буроба, метила в башенку, подымалась на пальчики, подступала тихонько к двери, отмыкала волшебным ключом тяжелый засов, приотворяла дверь…

— Кис-кис! — плакала Зайка от страха.

Которые дети любят поплакать, Буроба в мешок собирает.

9

Много ломал голову Котофей Котофеич с Чучелой-чумичелой: жалко им было беленькую Зайку, не было у Зайки ни кошельков бисерных, ни зайца жареного, ни козы паленой, ни пупков Кощея, и личико у Зайки стало такое грустненькое, глазки заплаканы.

И порешили Котофей с Чучелой: опять идти Зайке к подземелью и проделать все, что в первый раз делала, и тогда все пойдет как по маслу, — будет и черная шкатулка, будут бисерные кошельки, будет и золото не простое, а серебряное.

— Только смотри, Зайка, будь осмотрительна! — напутствовал Кот свою Зайку.

Не тут-то было.

Шагу не сделала Зайка, попала в беду.

Ну, заглянула Зайка в окошко к Яге, ну и хорошо, идти бы ей себе дальше, нет, не утерпела. Захотелось ей поближе посмотреть. Отворила Зайка дверку да шасть в избушку. И это бы ничего, с полбеды, а то возьми да и ущипни Ягу за ушко. Яга проснулась, Яга осерчала, села Яга в ступу да за беленькой Зайкой мигом в погоню.

Боже ты мой, чего только не натерпелась бедняжка! И с дороги-то Зайка сбилась и сумочку Зайка потеряла и наго-

лодалась и продрогла вся. Спасибо, Коза-рогатая на пути попалась, а то хоть ложись да помирай, вот как! Шла Коза бодать, приметила под кустиком Зайку, накормила Зайку молочком, взяла к себе на закорки да на дорогу и вынесла.

Вот она какая Коза-рогатая!

Шла Зайка, шла, пришла к подземелью, влезла на дерево. Вышли двенадцать черных разбойников сердитые-пресердитые, сказали заклинание и скрылись.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказала Зайка по-разбойничьи.

И когда растворилась дверь, и Зайка попала в подземелье, захлопала Зайка в ладошки от радости: все как стояло на своем месте, так и осталось стоять, — и семивинтовой стол, и черная шкатулка, и банки с золотыми рыбками.

Узнала Зайку Мышка-хвостатка, бросилась к Зайке с золотым ключиком. Взяла Зайка у Мышки ключик, и захотелось ей наперед рыбку поймать, только одну, самую маленькую. А как поймала Зайка рыбку, — Буроба тут-как-тут.

— А, — говорит, — попалась!

Тут Зайка сложила ручки крестиком да бултых в банку прямо к рыбкам.

И рыбкой, не Зайкой поплыла.

10

Двенадцать родилось молодых месяцев, и один за другим двенадцать ясных они рождались слева. С левой стороны показывались месяцы, рогатые, старому коту Котофею Котофеичу. И Кот вздыхал тяжко.

Недоброе предвещали месяцы: не было Зайки, не возвращалась Зайка беленькая к себе в башенку.

И бросили Белки каленые орешки грызть, помчались в лес разыскивать Зайку, но и Белок не было, не возвращались Мохнатки в башенку.

И сидела в Зайкиной кроватке Лягушка-квакушка под Зайкиной думкой, квакала.

— Кис-кис! — кто-то кликал, как Зайка, в долгие ночи.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, выручи! — мяукал жалобно Котофей Котофеич, не отставал от Чучелы.

Но Чучело, измазанный мышиной мазью, без головы ничего не мог выдумать.

— У меня, кум, что-то вроде мышиной головы пробивается, и я боюсь, ты меня поймаешь и съешь.

— Да не съем, — клялся Кот, — провалиться мне на месяце, не съем тебя, только выручи!

— Ладно.

Неладно было в башенке, пусто: ни стрекотни, ни говора, ни смеха.

Только Васютка, сынишка Кучерищев, свистел в трубе, пересвистывал визгливо.

И ночь приходила, приникала к окну темными лохмами, застила свет, а Котофей Котофеич все сидел у окна, пригорюнившись, не спускал глаз, глядел на дорогу.

В окне сидел Кучерище.

Привязался Кот к Кучерищу, а Кучерище к Коту.

Оба в оба глядели.

— Надоумь меня, Демьяныч! — мяукал Кот.

Кучерище ощеривался:

— Дай сроку, Котофеич, все устроится.

И молча выползал Червячок из ямки. Рос Червячок, распухал, надувался, превращался в огромадного страшного червя, потом опадал, становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку.

— Кис-кис! — кто-то кликал, как Зайка, из ночи и грустно и жалостно.

Огонечек в фонарике таял.

11

Ранним-рано, еще Петушок-золотой-гребешок не примаслил головки, вышел Котофей Котофеич из башенки выручать свою Зайку.

Всю дорогу по наущению Кучерищи Демьяныча и Чучелы-чумичелы шел Кот степенно, заводил умные речи. Никого не обошел он, со всяким хлеб-соль кушал. Встретились Коту

по дороге два Козла-барана, ударялись Козлы-бараны друг о друга стычными лбами. Кот и Козлов не забыл, помяукал бодатым. Переночевал он ночь у Бабы-Яги, с Ягой крысьи хвостики ели. Посидел часок-другой у Артамошки с Епифашкой, осмотрел их гнездо, похитрил чуточку.

— Зайка теперь рыбкой плавает, доловилась! — ехидничали полосатые.

— А я ее съем! — подзадорил Кот.

— Ан не съешь!

— Ан съем, и очень просто съем!

— Да как же ты ее съешь? Разбойники ее караулят!

— Ну и пускай себе караулят.

— Разве что Коза... — почесался Артамошка.

— Конечно, Коза! — подхватил уверенно Кот, будто зная, в чем дело.

— А даст ли Коза холодненькую водицу? — усумнился Епифашка.

— За водицей дело не станет, Гагана обещала! — сказал Артамошка.

Слово за слово, всю подноготную Кот и выведал.

Насулили Коту Артамошка с Епифашкой золотые горы, пошли Кота проводить, да на другую дорогу и вывели: не к подземелью, а нарочно опять к Зайкиной башенке.

Вот они какие, полосатые!

Уж и плутал Кот, плутал, только на осьмую ночь пришел Кот к подземелью.

Все, как водится, вышли двенадцать черных разбойников, сказали разбойники заклинание и скрылись.

— Чучело-чумичело-гороховая-куличина, подай челнок, заметай шесток! — сказал Кот по-разбойничьи, и вошел в подземелье.

Вошел Кот в подземелье, да хвост поджал.

Неласково встретили Кота двенадцать черных разбойников.

— Иди, Котофей, — сказали разбойники, — отправляйся, Котофеич, подобру-поздорову домой, пока цел, нет у нас тут для тебя никакой корысти.

— А Зайка? — замяукал Кот.

— Зайка! — заартачились разбойники, — не отдадим

мы тебе Зайку никогда! Зайка у нас рыбкой плавает, и мы на ней все женимся: такая она беленькая, беляночка.

— Ну, вы меня хоть чаем угостите, а я вам сказку скажу, — будто сдался Кот.

Согласились разбойники, велели самовар подать, а сами расселись вкруг Кота, рты разинули.

Кот пил вприкуску, передыхал, сказывал.

Рассказывал Кот длинную-длинную сказку о каких-то китайских яблочках и о купце китайском, запутанную сказку без конца, без начала.

Разбойники слушали, слушали Кота и заснули. А как заснули разбойники, опрокинул Кот чашку на блюдечко, да и пошел по банкам ходить, искать Зайку.

— Кис-кис! — тихонько покликала Зайка.

Котофей Котофеич и догадался, выловил Зайку лапкой, обернул в платочек, да себе в карман и сунул.

А разбойники дрыхнут, ничего не видят, ничего не слышат.

Тут загреб Котофей Котофеич в охапку черную шкатулку, сказал заклинание, да поминай как звали.

— Э-эх! — укорял дорогой Котофей свою Зайку-рыбку.

— Да я, Котофей Котофеич, только одну хотела рыбку поймать, самую маленькую.

— Ну и стала рыбкой, прости Господи! — чихал Кот, не унимался.

Зайка едва дух переводила, так прытко стремился Кот в башенку.

И только когда сестричка-звездочка с елки на Кота глянула, сел Кот посидеть немножечко.

Вынул Котофей Котофеич платочек из кармашка, развернул платочек, покликал Козу-рогатую.

Прибежала Коза-рогатая, дала Зайке-рыбке холодненькой водицы. И превратилась Зайка-рыбка в настоящую беленькую Зайку.

Пободала Коза Зайку, сказала путникам:

— Опасность, друзья мои, миновала: разбойники ошалели от гнева, пустили погоню… да не в ту сторону.

— Ну, спасибо тебе, Коза-рогатая, — благодарил Кот, — заходи когда к нам Зайку пободать.

— Хорошо, зайду когда-нибудь, — отвечала Коза, — да лучше вот что, я вас сейчас до дому провожу...

Так втроем и отправились: кот Котофей, Зайка да Коза-рогатая.

Много было страху и опаски: и с дороги сбивались, и погоня чуялась, и топали шаги Буробы.

Артамошка с Епифашкой попали впросак и в отместку Коту свои козни строили.

12

Радость необычайная, радость невыразимая! Достигли путники башенки!

Пошел в башенке дым коромыслом.

Снова пляс, снова смех, снова песни.

Прибежали Белки-мохнатки, притащили кулек каленых орехов, вылез из отдушника Чучело-чумичело, прискакала Лягушка-квакушка о двух задних лапках, выполз Червячок из ямки, явился и сам Волчий Хвост, улыбался Хвост поджаро, болтался.

А гадкий Зародыш сел на корточки в угол, ударил в ладошки, — и начались хороводы.

Водили хоровод за хороводом, из сил выбились.

А Коза всех перебодала, да и опять в лес за кленовым листочком, только Козу и видели. А Чучелу-чумичелу чуть было Котофей Котофеич не съел: такая у Чучелы соблазнительная мышиная мордочка выросла!

— Э-эх, кум, — пенял Коту Чучело, — не говорил ли я тебе, что ты меня съесть захочешь?!

Кот извинялся.

Кучерище сидел в окне, ел игрушки, головой поматывал.

То-то веселье, то-то потеха!

Насилу Зайку спать в кроватку уложили, — так разрезвилась, из рук вон.

И три дня пировали в Зайкиной башне.

На четвертый день утром приступил старый кот Котофей Котофеич к Зайке, тронул Зайку лапкой, сказал Зайке:

— Отпусти меня, Зайка, отпусти, беленькая, из башенки по свету погулять, выхолил я тебя, Зайку, вынянчил, пора и на волю мне.

Утерла Зайка слезки себе пальчиком, погладила по шерстке Котофея Котофеича и говорит:

— Как же я без тебя жить буду, Котофей Котофеич, меня Буроба съест.

— Не съест, Зайка, не съест, беленькая, где ей, ну а придет старая, ты только покличь, я и вернусь в башенку.

Поцеловала Зайка Кота в мордочку, вытащила из новой сумочки любимый свой бисерный кошелечек с павлином, подарила его на память Котофею Котофеичу.

— Голубушка беленькая, Зайка моя! — прослезился растроганный Кот.

Так и покинул Котофей Котофеич Зайкину башенку, пошел с палочкой по свету гулять.

И осталась Зайка одна в башенке, надела себе Зайка золото на пальчики, взяла у Зародыша афту — такую краску, размазала афту на дощечку и стала свой собственный портрет писать.

Придет старый кот, вернется Котофей в башенку, Зайка ему портрет и отдаст.

— Афта-афта! — гавкал в трубе собачонкой Васютка, сынишка Кучерищев, стерег башенку.

Петушок-золотой-гребешок на заре по заре распевал петушиные голосистые песни.

И играло солнце над башенкой так весело, весеннее.

1905 г.

МЕДВЕЖЬЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Баю бай-бай, медведéвы детки, — баю бай-бай,
Косолапы да мохнаты, бай-бай.

Батя мед ушел искати, — баю бай-бай,
Мама ягоды сбирати, бай-бай.

Батя тащит со́ты-меды, — баю бай-бай,
Мама ягодок лукошко, бай-бай.

Кто оле́нюшке, кто медведюшке, — баю бай-бай,
В лесе колыбель повесил, бай-бай.

Вышли воины удалые, — баю бай-бай,
Небаюканы, нелюлюканы, бай-бай.

1906 г.

К Морю-Океану

МЫШИНЫМИ НОРАМИ

КОТОФЕЙ КОТОФЕИЧ

Котофей Котофеич все хмурился. Сентябрем смотрели подслеповатые его добрые глаза. Ходил Кот по башне угрюмый. Уж Алалей и Лейла и так и сяк к Коту, — ничего не действует: все не так, все не по нем. По ночам, случалось, ни на минуту глаз не заведет, без сна просидит Кот до утра с тигром да с птицею. Верные звери: т и г р — железные ноги, веревочный хвост, да рябая, глазатая п т и ц а — железный клюв, без головы, — Котофеевы верные звери как-то таинственно перемигивались с своим взлохмаченным другом.

Наступали теплые дни. Таял снег. Байбак проснулся. Вышел из норки Байбак, начал свистать. На ранней заре Алалей и Лейла ходили к озеру с круглым хлебом встречать весну. Но и весна не развлекала любимца их, старого Кота.

«Да не случилась ли какая беда с беленькой Зайкой?» — подумалось им, когда, разбирая голубые подснежники, вспомнили они прошлый веселый год — свое путешествие п о с о л о н ь.

— Вы догадались, — сказал Котофей Котофеич, — с Зайкой случилась большая беда.

— Опять старуха Буроба! — напустились они на Кота: им захотелось узнать всю правду о беленькой Зайке, которую очень любили.

— Не Буроба. Похуже.

— Кто же? — Горынь-змей!

— Пострашнее.

— Одноглазое — Лихо?

— Да, оно самое, одноглазое, — пригорюнился Кот, — надо идти выручать Зайку.

— И мы с тобой, Котофей Котофеич!

— Нет, нет, — замахал Кот сердито, — вас еще недоставало! Вот уму-разуму понаберетесь, тогда и вам дело найдется, а пока что оставайтесь в башне, я сам один пойду. Коза-лубяные-глаза за вами посмотрит.

— Что ж, Коза?.. Коза и одна посидит... Кленовых листочков у Козы много.

Котофей Котофеич ничего не ответил — мимо ушей пропустил. Кот все сам с собою курлыкал: Зайкина беда была, должно быть, очень большая. Скоро в башне у печки появилась вербовая палочка и сапоги, — это означало, что уж близок тот день, когда Кот покинет башню.

На Алексея — человека Божьего с гор потекла вода и старая Щука, пробив по обычаю хвостом лед, вышла из озера и явилась в башню Кота проведать.

За последние же дни у Кота появилась такая похватка: сколько ты его ни проси, к гостям Кот никогда не выходил или уж выходил, когда гости за шапки брались. На этот раз произошло то же самое.

Алалею и Лейле пришлось занимать Щуку. Коза-лубяные-глаза хлопотала по хозяйству — старалась Коза, как получше угостить редкую гостью. Разговор не клеился. К счастью, сама Щука, промолчавшая целую зиму, распустила свои голубые крылья и очень легко разговорилась: она рассказала об Осетре и Утрап-рыбе — которая воевода рыбам, и как эта Утрап-рыба не может Ерша с хвоста съесть, потом рассказала об озере, о море — в каких она морях плавала и сколько чудес перевидала на море... на Море-Океане.

Только рты разевали от удивления: ничего подобного ни о каком море они никогда не слыхали.

И когда Щука, накушавшись плотвичками и окунями, очутилась по своему щучьему веленью опять у себя на озере, Алалей и Лейла прямо к Котофею Котофеичу.

— Котофей Котофеич, голубчик, — сказали они в один голос, — отпусти нас к Морю-Океану: хочется нам поглядеть на свет Божий! Отпусти, пожалуйста, что тебе стоит!

— И думать нечего, — отрезал Кот, — к Морю-

Океану! Да знаете ли вы, что к Морю-Океану еще никто путно не добирался, а если и добирались, то плохо приходилось. Что вздумали!

— Да ведь ты же посолонь нас водил!

— А вам все мало?

— Отпусти, Котофей Котофеич, мы только взглянем на море и сейчас же вернемся.

— Вернемся, вернемся! — передразнил Кот, — вернувшихся смельчаков раз-два да и обчелся, да и откуда вы взяли, будто есть где-то на свете Море-Океан?

— А нам Щука сказала.

— Щука? — Кот страшно заворочал глазами и тотчас же бросился тщательно осматривать Алалея и Лейлу: пересчитал у них пальцы на руках и ногах, пересчитал у них уши и глаза, — это такой народ, щука! — курлыкал Кот, видя все на своем месте целым и невредимым, — живо, что ни попадет, отхряпает, старая пожируха! А Моря-Океана никакого нет!

— Нет, есть, есть... за Кощеевым царством, — уцепились за Кота Алалей и Лейла и не отставали.

— Ну, хорошо, есть, — сдался Кот, — только что ж из того? Хотите, чтобы вас разрубили на мелкие части, хотите, чтобы у вас вынули сердце и печень, хотите, чтобы вырезали из вашей спины ремней, хотите, чтобы отрезали вам пальцы, хотите, чтобы выкололи вам глаза, хотите, чтобы привязали вас к лошадиному хвосту, хотите, чтобы размыкали вас по полю, хотите, чтобы вас отдали на съедение зверям, хотите, чтобы вас закопали в землю живьем или превратили в камень, вы этого хотите?

— Нет, не хотим.

— А Баба-Яга?.. Небось не откажется Баба-Яга покататься да поваляться на ваших косточках! А попадетесь Залесной безрукой бабе, да уж та вас, не мигнув, сцапает!

— А который царь Горох воевал с грибами, мы его, Котофей Котофеич, увидим?

Тут Кот понял, что все его увещания были напрасны и очень рассердился.

— А тебе стыдно, Алалей! — царапнул Кот Алалея по руке и скрылся.

Целых два дня Котофей Котофеич ни с кем не разговаривал. Алалей и Лейла бродили по башне сами не свои: Море-Океан не выходило у них из головы, а из всех Котофеевых страхов смущала их лишь одна З а л е с н а я б е з - р у к а я б а б а, но скоро и эта хитрая баба перестала пугать.

Коза, между тем, приняла в них самое горячее участие и так старалась расположить Кота, чтобы Кот заговорил.

На третий день под конец обеда Кот заговорил. А они, понятно, воспользовались наступившей переменой, пристали к Коту и так приставали к нему до самого вечера, что Кот дал согласие.

— Хорошо, я согласен, вы пойдете к Морю-Океану, — сказал Кот, — только подождите немного, я подумаю.

Наступила ночь. А Кот все думал. И Козе долго пришлось возиться, чтобы уложить спать Алалея и Лейлу. Но, и лежа в постелях, они не могли успокоиться. И вот уж ночью такое нетерпение поднялось, что решили они, не медля, идти к Котофею Котофеичу и умолять Кота отпустить их и непременно завтра.

У Котофея Котофеича горел огонек.

Не одеваясь, направились они к его двери и, тихонько раскрыв дверь, уж готовы были тут же на пороге стать на колени и выкрикнуть Коту последнюю свою просьбу, как вдруг зрелище, представшее их глазам, так их поразило, что они, не пикнув, пристыли к месту.

Покои Котофея Котофеича превратились в вершину высокой горы, на горе рос огромный дуб, под дубом сидел сам Котофей Котофеич, а с ним Черный Орел и Белая Сова.

Кот, Орел и Сова о чем-то совещались.

— Хорошо, — говорил Кот, — я так и сделаю, я Одноглазому Лиху выколю его единственный глаз, и уж тогда Лихо потеряет всю свою силу, и Зайка будет вне опасности.

Орел разинул свой красный клюв, одобряя Кота.

Кот обратился к Орлу:

— А что ты скажешь, заоблачный Орел, о затее идти к Морю-Океану?

Услышав о себе, Алалей и Лейла перестали дышать и так вытянулись, что готовы были всякую минуту сорваться куда-то в пропасть.

— Надо обладать медвежьей силой, волчьими зубами, соколиными крыльями, рыбьей быстротой, рысьими когтями, чтобы добраться до Моря-Океана, — отчеканил Орел.

— Откуда же взять такое? — развел Кот беспомощно лапками.

— Затея пустая! — сказал Орел.

— Очень уж пристают они... Горе мне с ними да и только.

Орел от нетерпения приподнял свои черные крылья.

— Я уж и сам не знаю, — продолжал Котофей Котофеич, — как им без меня одним идти? Легко сказать, к Морю-Океану!

— Пускай себе идут, — вступилась Сова, — доберутся.

— Не думаю, — покачал головой Орел и опять раскрыл свой красный клюв.

— Опасность большая, но раз они просятся, надо исполнить, ты отпусти, Котофей! — настаивала Сова.

В глазах у Алалея и Лейлы позеленело, а сердце так запрыгало от радости, что, уж не помня себя, они чудом каким-то снова очутились в кроватях.

Уж солнце высоко сияло из-за леса, когда Алалея и Лейлу разбудила Коза.

— Вставайте скорее, пора собираться в дорогу: завтра вы идете к Морю-Океану.

Услышав от Козы такую радостную весть, Алалей и Лейла чуть не задушили Козу, и так ее тискали без милосердия, и так катались с ней кубарем по полу, что Коза раза два и позаправду боднула их, только не больно.

В этот памятный день за обедом они ели змеиную кашу, чтобы знать и понимать язык зверей, птиц и цветов, и прихлебывали душистый навар из чудесных трав, — Козы изготовление: Коза в этих делах большой мастер.

Потом они пробовали примерять себе всякие звериные платья, повынесенные Козой из кладовых, где немало вся-

кого добра хранилось в кованых устюжских сундуках. Но звериные платья были пересыпаны от моли каким-то таким едким табаком, от которого тотчас закружилась голова, и всю рухлядь унесли обратно.

Последний вечер прошел в разговорах.

Коза долго толковала Алалею и Лейле, как идти им и что делать и чего не делать, а они, хоть и внимательно слушали Козу, да как-то все из головы у них само собою вылетало. Впрочем, когда Коза кончила свои наставления, они поклялись ей, что исполнят Козиный завет, и ничего не будут делать, чего не надо делать, а всегда будут делать то, что следует делать, — и в подкрепление своих слов съели по комочку земли. И Коза тоже съела немножко.

— Все дороги ведут к Морю-Океану, — сказал Котофей Котофеич, одобрив Козы науку, — но есть три главных пути: первый путь лежит волшебными странами, второй путь лежит широкими реками, третий путь лежит темными лесами, болотами, полями и речками.

— Мы пойдем волшебными странами!

— Ну вот, так я и знал, — Кот с досады заходил по башне и закурлыкал жалобно, — нет, невозможно, так вы пропадете. Первые два пути для вас закрыты: чтобы идти волшебными странами, надо уметь ходить широкими реками, а до широких рек надо пройти еще долгий путь, и без меня вам одним не справиться. Остается третий путь, по которому вы и отправляйтесь.

— А когда мы пойдем волшебными странами?

— А там увидим, когда! Да вот еще что: зайдите-ка к дедушке, к Белуну, дед вас давно поджидает. У него отдохнете, старика порадуете, а случится зазимовать, остановитесь у моего старого свата Копоула Копоуловича. Копоул кот ученый, большой баутчик! большой баутчик! — и, пропев себе что-то приятное под нос, Котофей Котофеич ушел в свои покои: Кот тоже собирался в дорогу.

Когда заря вошла в окошко башни, Алалей и Лейла стали прощаться с Козой. Козе очень не хотелось так надолго с ними расставаться.

— Смотрите же, будьте поосторожнее, ты, Алалей, береги Лейлу, ты, Лейла, слушайся Алалея, да поскорее возвращайтесь! — кричала Коза вдогонку, когда спускались они по ступенчатой лестнице из башни на волю.

Правда, прошло немало времени, прежде чем Алалей и Лейла вышли на дорогу: Котофей Котофеич все возвращался в башню, забывая то одно, то другое, то будто птице чего-то не сказал, то у тигра чего-то не допросился.

На распутье дорог Котофей Котофеич еще раз повторил свое наставление, поцеловал их, и они разошлись: Кот пошел к Лиху-Одноглазому выручать Зайку, Алалей и Лейла — за тридевять земель к Морю-Океану.

1907 г.

ВОЛК-САМОГЛОТ

Каково было чувство наших путников, когда нежданно-негаданно, еще не закончив и первый день своего неведомого пути к таинственному Морю-Океану, очутились они в самом невозможном и печальном положении: Алалей и Лейла попали в брюхо к Волку-Самоглоту.

И случилось все это очень просто. Встретив на поляне спящего волка, Алалей и Лейла не могли удержаться и, забыв Козы науку, не могли не потрогать страшного волка. Они погладили Самоглота по его серой лоснящейся шерстке, правда, совсем тихонько погладили волка, да волк-то спросонья — волк очень чувствительный! — не разобрав хорошенько, в чем дело, хап! — и проглотил их.

Было б им слушаться Козу, строго исполнять даже и такое, чего сама Коза, отправляя путников в дорогу, захлопотавшись, сказать забыла, и не поступать с первого же шага так опрометчиво... Шутка ли, ведь Волк-Самоглот не простой волк — дураку волк гусли-самогуды из-за тридевять земель достал! И попасть к такому волку в брюхо — не шутка.

Сидя у Самоглота в брюхе, Алалей винил Лейлу, Лейла винила Алалея.

— Это ты все, Лейла, — говорил Алалей, — ты! Ну зачем понадобилось тебе гладить этого волчищу! Ну, посмотрели мы на него, ну, постояли немножко, подули тихонько на шерстку, и идти бы себе тихо и смирно, и зачем надо было еще руками трогать?

— Нет, Алалей, — возражала Лейла, — это не я, это ты. Ты мне и волка показал, ты меня и к волку подвел и тебя же первого… нет уж, ты припомни, Алалей, тебя первого и проглотил волк, а меня заодно.

— И вовсе не заодно! Я хватился тебя, хотел закричать и как раз в эту самую минуту и схватил меня волк. Кого же первого проглотил волк: меня или тебя?

— Тебя, Алалей!

— Конечно, меня! Я всегда виноват. И что скажет Коза, когда дойдет до Козы! Что скажет сам Котофей Котофеич! Эх, Лейла, пропало наше путешествие, прощай теперь Море-Океан.

— Давай, Алалей, подымем крик, будем топать, шуметь, пищать, нас услышат и освободят.

— Кто нас услышит! И где тут потопаешь! Освободят? Кому это нужно? Вот ты бы не трогала волка, вот это нужно.

— Ты меня, Алалей, совсем не любишь!

— Да если бы я был один, — обиделся Алалей, — попади я один к волку в брюхо, ей-Богу, ни о чем бы я и не думал. Ведь, я о тебе беспокоюсь...

— Мне, Алалей, есть хочется.

Алалей ничего не мог ответить. Алалей только беспомощно развел руками: в самом деле, что достать Лейле, такой капризной и нежной и баловнице, тут, в брюхе Самоглота волка!

Все углы Самоглотова брюха были завалены всякой живностью, но все было в самом неподходящем и несъедобном виде: живьем свалены лежали козы, овцы, бараны, телята и тут же всякие рога, копыта, клювы, хвосты, холки, бороды, гривы и тут же вещи совсем случайные — рукавицы, валенки, немало стен холста и красный пузатый самовар.

В брюхе пошел дождик.

Шел дождик по-осеннему мелкий, и теплый, как летом.

Самоглот бежал, так все и бежал волк по своему волчьему делу, бежал лесом и полем, и опять лесом и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

Уж затихли шаги солнца, уж вышел месяц и соловей — весенняя залетная птица, высвистывая, запел свою песню, когда пришла ночь и на волка: набегавшись всласть, грохнулся волк на землю и захрапел по-волчьи.

Успевшие и промокнуть и обсушиться, Алалей и Лейла понемногу освоились и, оправившись после толчка, отброшенные на другой конец волчьего брюха, пошли бродить в брюхе, отыскивая хоть какой-нибудь светик на волю.

После долгих поисков в левом боку — Самоглот спит на правом — отыскали они вроде слухового окошка.

Первая выглянула на волю Лейла и тотчас от страха спряталась за Алалея. Выглянул Алалей и зажмурился.

Что случилось? Что было на воле? Что так испугало Лейлу, отчего зажмурился Алалей?

— Не бойся, Лейла, — сказал Алалей, — это о н и... к ним надо привыкнуть... это совсем не люди, только не бойся, Лейла.

И оба, крепко притиснувшись друг к другу, высунулись из волчьего окошка на волю.

Месяц низко спустил рога и было видно, как днем.

Самоглот дрых на кургане — на какой-то ш в е д с к о й могиле, а от могилы весь поемный берег до самой реки раззыбался — кишел всякой весенней нечистью.

И кого только не было там: домовые, домихи, гуменные, банные, лесунки, лесовые, лешие, листотрясы, кореневые, дупляные, моховые, полевые, водяные, хлевники, чужаки, наброжие и облом, костолом, кожедер, тяжкун, шатун, хитник, лядащик, голохвост, ярун, долгоносик, шпыня, куреха и шептун со своею шептухой.

Одни пыжились, словно куры при сноске, и топорщились и торощились, другие все вприпрыжку — и тряслись и качались, — черно-кровные, черномазые, захлыщевые, забубенные, игрунки, скакунки, хороводники, третьи ти-

хие, тихоногие — трава под ними не топчется, цветы не ломаются, и полозом ползли по-змеиному вислогубые, вислоухие, крючконосые, тонконогие и подземные из подземных нор — из сырой и холодной страны.

Всех весна выгнала, всех весна выманила из зимних темных закут, закружила весна — и не спится, все манится.

Коротала нечисть весеннюю ночь, друг с дружкою разговор вела.

С чего началось, неизвестно. Да разговор у нечисти ни с чего и не начинается прямо.

Лесовой хвалил лес.

— Хорошо в лесу, — шумел Лесовой, как еловые шишки шумят, — хорошо и легко и весело! Ауку, чай, знаете? Аука в избушке живет: а изба у него с золотым мхом, а вода у него круглый год от весеннего льда, помело у него — медведевая лапа, бойко выходит дым из трубы, и в морозы тепло у Ауки. Старички и старушки — Лесавки в прошлогодних листьях сидят, а как осень подходит, завидят Лесавки осенние звезды, схватятся за руку, скачут по лесу, свистят на весь лес, без головы, без хвоста, скачут, вот как свистят! Листин-слепышка и Листина-баба только и знают, бродят в листьях по лесу, шуршат. Лешак-хворостянник в хворосте спит. Залесная-баба — безрукая баба, а так и норовит тебя сцапать, худа, как былинка. А за озером в черничном бору живет Боли-бошка. А за ленивым болотом живет Болотяник. А за дикою степью, за березовым лесом — ведьма Рогана. Ночью ходит Рогана по лесу в венке из лесных цветов, кукует ведьма тихо и грустно. А о лютом звере Корокодиле я ничего не знаю. Кто-нибудь слышал?

Помалкивала нечисть.

Потрескивал перелетный огонек, то вспыхивал ярко, то чуть светился голубенькой змейкой.

Один забубенный — Коровья-нога, облизнувшись, сказал:

— Я, Коровья-нога! Есть зверь кот-и-лев — есть он зверь страшный, усатый, а корокодил, я ничего не слыхал о корокодиле.

— А у нас совсем по-другому, — пропищал Долгоносик, — нас у Адама было детей много. Раз на Пасху приказал Бог Адаму вывести всех нас детей себе на показ. Адам постеснялся: совестно тащить такую ораву. Потащил Адам только старших, а мы дома остались. Мы и есть эти самые скрытые домашние дети Адама.

— А мы падшие духи, — прошипел тихоногий, — падшие духи, были мы очень надоедливы, дела не делали, ходили по пятам Бога, ну Бог нас и турнул с неба.

— А мы неверные, мы бывшие ангелы, погнал нас архангел. Сорок дней мы летели, сорок ночей, и кто куда попал, тот там и остался, — ввернул от себя бывший ангел, ни на что не похожий: нос — зарубка коромысла, ноги — завиток бересты, а легок, как шишка хмеля.

— Зверь кот-и-лев есть страшный, усатый... — облизывался забубенный Коровья-нога; дался Коровьей-ноге этот зверь Котылев.

А с весеннею полночью прямо на нечисть шла по весеннему лугу дочка-веснянка, Зовутка.

Стала Зовутка. Звездою рассыпалась ее завивная коса. Моргнула Зовутка зарницей.

И словно громом ударило нечисть.

Из прошлогодней соломы закурлыкал лядащий бес соломин, притрушенный теплой соломой. И откликнулся луг, загудел, и весь берег защелкал и заахал и зааукал, застрекотал лес стрекозою.

Пошел хоровод, заиграл, закружился, — ой, хоровод!

Либо копыто, либо рога, либо крыло, либо, Бог знает что, а может быть, зверь кот-и-лев, может быть, сам зверь корокодил, что-то, кто-то отдавил волку лапу.

Как вскочит Самоглот, потянул воздух, фыркнул да и был таков.

Алалей и Лейла едва-едва успели от окна отскочить.

Мчался волк, летел Самоглот, сломя голову, бежал лесом и полем, и опять лесом и опять полем, через логи, через болота, через овраги и овражки.

Укачивало в волковом брюхе.

Лейла дремала.

— Мне, Алалей, жалко Зовутку.

— Им, Лейла, весело.

— Съест ее зверь корокодил. И как это они нас не заметили?

— Им не до нас.

— А кому же до нас, Алалей?

— Утро придет. Дождемся утра, заснет Самоглот, и мы прямо в окошко на волю.

— Хоть бы утро скорее... я тебя люблю, Алалей, я тебя очень, очень люблю, Алалей.

И когда пришло утро, вышли Алалей и Лейла из волкова брюха на волю. И долго бродили они по лесу, по полю и по болоту, много встретилось им всяких напастей и, много узнав всяких диковин, вышли они на тропинку.

Доведет их тропинка до Моря-Океана.

— Лейла, я тебя очень, очень люблю!

1910 г.

ВЕСЕННИЙ ГРОМ

Ангелы по мосту едут.

— Белые Божие, куда вы поехали?

Стучат, топают кони. Плавно катят белые сосновые повозки. На повозках воз полевых цветов, целый воз кудрявых молоденьких березок.

Плавно катят колеса, не скрипят: смазаны дегтем.

И прямо по пути на грозный перекрест, где расходятся дороги Солнца, Земли и Месяца, твердо ступая на глухих железных ногах, их ведет поводырь — орлокрылая птица Г л а в и н а: женские долгие волосы спущены ей на глаза, а из глаз ровно льются, летят стрелы.

Оттого так и гремит кругом.

Ангелы по мосту едут.

— Белые Божие, куда вы поехали?

— А поехали мы, ангелы, со цветами-колокольчиками и с кудрявыми березками на седьмое небо к Богу справлять Троицу.

1908 г.

РЕМЕЗ — ПЕРВАЯ ПТАШКА

Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Лучше бы им переждать у седого Ауки в избушке. Тепло у седого Ауки. Сам Аука затейный: знает много мудреных докук, балагурья, обезьянку сострoит, колесом перевернется и охоч попугать, инда страшно. Да на то он Аука, чтобы пугать.

Ливмя лил дождик и лишь в вечеру по закату поднявшимся ветром разволокло сердитые тучи, и светло за угор село солнце.

Сбились с пути, а дороги не знают. Лес незнакомый. И ночь. Сосны и ели шумят, как в погоду. А звезды — а звезды — большие!

Выручил куст. Пустил ночевать.

Хорошо еще летом: всякий куст тебя пустит, а зимой — пропадешь, когда инеем — стужей всю землю покроет.

— Тише, Лейла! Тут, кроме нас, как и мы, без дороги одноухий маленький заяц с усом! Как продрог! И всего уж боится, бедняга.

Заяц их не узнал. Заяц их принял за что-то да за такое, не на шутку струхнул и сейчас улепетывать, — куда там!

Ну, потом все разъяснилось.

И осталось под кустиком трое: Алалей, Лейла да Заяц с усом ночь коротать.

Рассказал им серый о лисице — которая лиса песни поет, и о лютом звере — который зверь сердитый, и о птичьей ноге — которая нога сама везде ходит. Отогрелся и задремал.

Они и сами не прочь. В сон голову клонит, да язычок у кого-то... все бы ему разговаривать и ушки такие... все бы им слушать, и глаза такие... все бы им видеть. Вот и не спят.

— Зайчик заснул?

— А то как же, — второй сон, поди, видит!

— Звезды большие!

— Большие.

— А самые большие?

— В пустыне, там, где верблюды.

— А если на дерево влезть, можно ухватиться за звезды?

— А вот как заснем, да влезем на елку, ты и ухватишься.

— А ты мне про птицу-то рассказать обещался?

— Про какую про птицу?

— Да про ту... ты же мне говорил... первая птица такая...

— А! про Ремеза — первую пташку!

— Ну и что ж она, Алалей, маленькая?

— Так себе не великая, маленькая, сама коричневатая, горлышко — белое. Нос у ней — другого такого не найти у птиц, и лапки особенные. Суетливая, все ремезит. А гнездо она вьет — лучше всех гнезд — гнездо у ней кошелем... за то и слывет первой у Бога. Вот и все.

— Нет, ты хотел рассказать много!..

— Ну любит Ремез, где реки, где озера, иву любит, за море летает. Кто хранит гнездо Ремеза в доме, в тот дом гром не бьет. А погибает Ремез в бурю — береговая пташка. И большая певунья: голос не великий, маленький, только что для детей...

— Вроде кукушки?

И глаза засыпают у Лейлы.

Жутко в лесу. Ночь все теснее, ночь все ближе. Весь лес обняла. А звезды — а звезды — большие.

1907 г.

БЕЛУН

Заковали студеному Ветру колючие губы, не велели холодом дуть, и Мороз-Трескун, засыпанный снегом, сел отдыхать в холодном царстве на полночи.

Пришло теплое лето.

Забыто ненастье.

Все живет, все у земли копошится, кустом разрастается.

Медведь-пыхтун зашатался по лесу, а кузнечику — воля: стрекочи хоть всю ночь.

Пошли люди с косами с вострыми. Поспел сенокос.

И куда ни заглянешь, все-то словно невиданно: к каждому цветку наклоняешься, тронул бы всякую травку...

Хороша погода, украслива.

Гей! — подле ржи проходит Белун.

Какой белый, сам в белой рубахе, и от солнца не застится: оно ему любо. Из леса идет: без него, говорят, темно в лесу. Заблудишься, только спроси, Белун и дорогу покажет.

— Дедушка, на сенокос?

Не слышит. Где тут услышишь!

Вот ступил на межу...

— Дедушка!

— Что тебе, родный? — дед улыбнулся: и ему хорошо...

Идет Белун по меже, идет летней дорогой, ударяет клюкою: вспоминает ли старый стародавнее бусово время, или далось на раздуму другое... наша русская доля?

Лязг косы звонче.

Стрекочет кузнечик.

Так до белого месяца лязг косы звонок.

Ходит по ниве Белун, наделяет добром.

1907 г.

СОБАЧЬЯ ДОЛЯ

За Могильною горою стоит белая избушка Белуна.

Белун — старик добрый. Алалей и Лейла остались у дедушки погостить.

С рассветом рано отправлялся Белун в поле. Высокий, весь белый, ходил он все утро по росистой меже, охранял каждый колос. В полдень шел Белун на пчельник, а когда спадала жара, опять возвращался на поле. Только вечером поздно приходил Белун в свою избушку.

Не отставали они от деда, так и ходили за ним и на поле, и на пчельник. А какой он добрый, какой ласковый белый Белун!

Белуна все любят. Медведь не трогал.

— Странного человека медведь никогда не тронет, о н знает! — говорил старик, — встретишься с медведем, скажи ему: «Иди, иди, Миша! Я — странник, ничего тебе не сделаю». И медведь уйдет.

Рассказывал по вечерам Белун сказки, когда не спалось, или в погоду, когда было страшно, или очень приставать начинали.

А собака у Белуна — Белка. Станет старик к ужину хлеб резать, Белке горбушку даст — первый кусок. И всегда он так делал: Белке первый кусок.

— Мы едим Белкину долю, — сказал как-то дедушка, — у человека доля собачья.

— Как так — собачья?

И уж они не могли успокоиться, пока Белун не рассказал им всего.

Раньше все не так было, не такое. И земля была не такая. Ржаной колос с земли начинался от самого корня и был метлистый, как у овса. Ни косить, ни жать нельзя было, подрезали колосья каменным шилом, чтобы не растерять зерна. И хлеба было всем вволю.

И случилось однажды, вышел Христос странником на поле, вышел Христос посмотреть, как живут на земле его люди. А как людям жить? Известно, и хлеба по горло — сыты, так другим чем возьмутся друг друга корить — осатанели!

Идет странник по полю, радуется: зерна так много, колос полный от земли до верхушки. И весь день ходил странник до вечера, а вечером на ночлег собрался.

Туда постучит, сюда попросится, — никто его не пускает.

Гонят странника.

«Еще стащит чего!» — вот у каждого что на уме: страшно за добро, хоть и девать-то его некуда, добра-то всякого.

Вошел странник к богатым в богатый дом. Не просился он на ночлег, просит хлеба кусок — милостыню. А пекла хозяйка блины, увидала странника, разругалась, на чем свет стоит, турнула за дверь. Да вгорячах схватила блин, вытерла блином грязную лавку — кошкин след дурной, кинула блин вдогонку.

Поднял странник блин, положил в котомку и пошел в поле.

«Нет уж, ничем, видно, сытого не проймешь! Ему горя нет! Осатанел человек в вольготе!»

Разгневался странник и, став среди поля, позвал страшную тучу.

И поднялась на его зов страшная туча. Загремела гроза.

Палило огнем, било градом, смывало дождем.

Уж не кричат, не вопят — остолбенели: ведь все хозяйство пропало, весь хлеб погиб, все колосья ощипаны. И один лишь остался маленький колос на длинной соломе.

Черно, пусто, голо на вольготной богатой земле.

— Тут-то вот Белка и вышла из конурки, — рассказывал добрый белый Белун, — видит собака, дело плохо, с голода подохнешь, и выбежала в поле да как завоет. «Ты чего, Белка, воешь?» «Есть хочу!» И тронули Бога собачьи слезы, снял Бог грозную тучу. Засветило солнце, пригрело. И остался на земле маленький колос – собачий, что Белке за слезы ее пришлось от Бога, маленький колос собачий, на длинной соломе. С той поры и едят люди долю собачью. Наша доля собачья!

1910 г.

БОЖЬЯ ПЧЕЛКА

На зеленый двор залетели пчелы — это к счастью. И остались жить.

В цвету липа. Липовым цветом золотится весь душистый сад.

Частый, сильный рой от неба до сырой земли.

То-то хорошо, ну весело!

Вот теплый день уплыл, восходит звезда Вечерница, а они, серые, ярые, жужжат — собирают мед.

Много будет меда белого.

И по гречишным полям и в поемных зеленых лузьях, вдоль желтой дремы, в пестрой кашке и в алой зоре с цветка на цветок вьются пчелы.

Частый, сильный рой от неба до сырой земли.

То-то хорошо, ну весело!

Вот на смену дню распахнется долгая вечерняя заря, а они, серые, ярые, жужжат — трудятся.

Много будет меда красного.

Густые меды, желтый воск.

Хватит всем сотов на Спасов день: Богу — свечка, ломоть — деду, и в улей довольно на зиму.

— А скажи нам, пчелка, откуда вы такие зародились?

Выбирала одна пчелка из Богородничной травы сладкого меду.

— А не велено нам сказывать, — ответила пчелка. — Водяной дед не любит, кто не умеет хранить тайну, а Водяной над нами главный.

— Мы только дедушке скажем.

— А дедушка Белун сам пчелу водит, мудрый, он и без вас знает.

— Ну мы больше никому не скажем.

— Ну что ж, — прожужжала пчелка, — вам-то я и так бы рассказала, только некогда мне долго рассказывать…

И мохнатая серая пчелка запела:

— А поссорился Водяной с Домовым, все б им старым ссориться, заездил седой фроловского коня. И валялся конь с год в сыром затрясье. В кочкорье — болото небось никто не заходит! Вот от этого фроловского коняги мы к весне и отродились. Раз закинули рыбаки невод и вытащили нас из болота, пчелиную силу, и разлетелись мы, пчелы, на все цветы по всему белому свету. Смотрит за нами соловецкий угодник Зосима и другой угодник Савватий, нас и охраняют. Мать наша Свирея и Свиона, бабушка Анна Судомировна.

И полетела Божья пчелка, понесла с поля меду много на сон грядущий.

Горело небо багряным вечером.

Там по раздолью небесному будто рой золотых пчел посылал на землю медвяную росу, обещая зарю, солнце да ведро.

1907 г.

ПРОЛИВНОЙ ДОЖДЬ

Баба-Яга собирается хлебы печь.

Задумала старая жениться – взять в мужья рогатого черта — Верхового. Он, известно, галчонок: всем верховодит.

Взгомозилась на радостях банная нежить: банная нежить в сырости заводится из человечьих обмылков, а потому страсть любопытна. Вот заберется она за Гиенские горы пировать в избушку, насмеется, наестся, все перемутит, всех перепугает, — такая уж нежить.

А! как ей весело: старик Домовой на бобах остался — показала Яга ему нос. Тоже жениться на Яге задумал!

Да и дед Домовой в долгу не остался: подшутил над Ягой.

— Бить тебя надо, беспутый, да и обивки-то все в тебя вколотить! — плачет Яга, ходит у печи.

— Бабушка, чего же ты плачешь?

— А как мне Бабе-Яге не плакать, не могу посадить хлебы: Домовой украл лопату.

И плачет. Не унять Яге слезы: скиснутся хлебы, — прибьет Верховой.

— Бабушка, не плач так горько, мы тебе отыщем лопату.

А слезы так и льются, — полна капель натекает.

— Эй помогите! Найдем мы лопату да бросим на крышу: Яга улыбнется — и дождь перестанет.

1908 г.

КОЛОКОЛЬНЫЙ МЕРТВЕЦ

Проводил Белун гостей до Сухого Каратыга. Шли путники по Самохватке вдоль улицы в конец.

Был поздний вечер.

Золотое солнцево яблоко, покатившись по лесу, закатилось в овраг. И красный вечерний край неба погас.

Все пестрехи, чернохи, бурехи уж вернулись с поля домой, а Бурку-коня и Лысьяна повели в ночное на травы. И Жучек и Бельчик и Рябчик, — все поросятки заснули в хлеву и сама свинья, мать сивобрысая, Хавронья, глядя на ночь, по-свиному задумалась. И закрыли и заперли все закуты, загоны, и муха-шумиха и комар-пискун угомонились. А Чубар и Лысько, и Сокол и Зорька, и Пустолайка и Найда, ночь почуя, по-ночному завозились в конурке.

Хоронясь по чужим огородам и задним воротам, проползла на четвереньках, словно таптыга медведь, Мамаишна бабушка. Надулись кровью старушечьи губы и заострился жалом ее оговорчивый пересмешливый язык: будет подоконнице что подслушивать, будет что и рассказывать, — голос у ней гладенький, слова масленые.

А в мешке у Мамаишны одномедные пряники!

И пролетела над Самохваткою Лунь-птица хищная, — засветил вдоль улицы месяц.

У моста под вербой остановились путники — под вербою ночь ночевать.

— Звезды сестрицы!
— Серебряные.
— Я буду звезды считать, Алалей!
— Ты видишь, тянутся гуси?
— Небесные гуси, как много!
— А твоя звезда, Лейла?
— А вон — та вон звездочка самая серебряная…

Проскакал по мосту Заяц-голова лисичья.

— Что задумано, то исполнится! — проговорил по-зайчиному Заяц-голова лисичья и закидался Заяц по ельнику, заметался по березнику, по горькому осиннику.

На луну нашло облако, ветер пахнул холодком.

Глухо и грустно зашумело в лесу.

И семь лебедок-сестер Водяниц замесили болото-зыбун.

Заблудущая Коза Козовна стукнула копытом о бревно.

— Вам бы пучок лык да дров костер: будет свежо.
— Мы звезды считаем, Коза.
— Ну, считайте. Будет свежо.

Вылез из-под дырявого моста сухоногий вылыглаз Окаяшка-птичий нос. Щелкал, косматый, бобы, подвигался на луг. На лугу, на лужайке сходились в хороводы Ведьмины детки — куцые курочки в острых хохолках. И, сцепившись ногами-руками, покатились клубком, как гаденыши, за Окаяшкой косматым одноглазые Песьи-головы.

Прошла трепущая рыба Сбухта-Барахта: хвост у ней, как у лебедя, голова козлиная, — лукаво поглядывала рыба, как волк на козу, шла трепущая по-тиху, по-долгу на зеленый луг. На лугу, на лужайке Ведьмины детки — куцые курочки в острых хохолках, кружась в хороводе, запевали по-печальному жалкие песни, подвывали несчастные на свою хохлатую голову. А на липе блестел стоведерный пузан-самовар: будет чертям полунощный чай и угощение.

— Ох, ну тебя! — отбивался воробеныш-воробей от земляного зуды-жука: полорот из гнезда выпал, прозяб.

— А правда, Алалей, по звездам все можно знать?

— Как кому.

— А что такое в с е, Алалей?

Шибко рысью промчался по широкому лугу конь Вихрогонь, стучал сив-чубарый копытом, и далеко звенели подковы, звякала сбруя, сияло седло.

Сильнее подул полунощник.

Глухо и грустно шумело в лесу. Тяжко вздыхал Лесной Ох.

Семь лебедок-сестер Водяниц месили болото-зыбун.

И молчком разносили коркуны-вороны белые кости, косточки, костки с дороги в лес-редколесье, не грая, не каркая.

— Одномедные пряники! — Лейла бросила звезды считать, — у Мамаишны сколько их, пряников?

— Да с сотню, поди.

— Нам бы, Алалей, этих пряников одномедных сотню?

— Хоть бы один и то хорошо.

— А почему, Алалей, у Мамаишны сотня пряников одномедных, а у нас и одного нет, никакого?

— Так уж Бог дал.

— А почему так уж Бог дал?

— А Ему виднее: кому дать, а кому и ничего не дать. Будут зубки портиться с пряников, что хорошего?

— А я бы всем дала пряников много одномедных, всем... А бобы Окаяшкины сладкие?

Из каменных оврагов вышли Еретицы. Еретицы — они заживо продали душу черту. И гуськом потянулись ягие на кладбище к провалившимся могилам спать свою ночь в гробах.

— Кто нас увидит, тому на свете не жить! — ворчали старухи Еретицы ягие.

— А мы вас не видели! — крикнула Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

Кто-то всплеснул ладонями и застонал, — водяной Кот-Мурлышка на луну мяукал.

И все Древяницы и Травяницы вылетели из своих трав и деревьев на водопой к чистому озеру.

Глухо и грустно шумело в лесу.

Колотилом подпираясь, шел по дороге на колокольню Колокольный мертвец; ушатый, в белом колпаке, тряс мертвец бородою: сидеть ему старому ночь до петухов на колокольне.

— За что тебя, дедушка? — окликнула Лейла, несмолчивая.

— И сам не знаю, — приостановился мертвец на мосту, — и набожный был я, хоть бы раз на посту оскоромился, не потерял и совесть Божью и стыд людской, а вот поди ж ты, заставили старого всякую ночь до петухов сидеть на колокольне! Видно, скажешь лишнее слово и угодишь...

— У тебя язык, дедушка, длинный?

— Нет, не речливый! Нет, не зазорно я жил, не на худо, не про так говорил и колокольному звону я веровал...

— А зачем ты, дедушка, веровал?.. ты бы лучше в колокольню не веровал, дедушка!

— Нет уж, видно, за слово: скажешь лишнее слово и угодишь.

— А как ты узнаешь, дедушка, которое лишнее, а которое не лишнее?

— То-то и дело, как ты узнаешь!

— А если который немой, не говорит ничего?

— А не говорит ничего, попадет за другое.

— А кому же не попадет, дедушка?.. Дедушка, скучно?

— Да что за веселье! Из любых любую выбрал бы муку! Девять ден я в аду пробыл и ничего: по привычке и в аду хорошо, свыкнешься и кипишь. А тут посиди-ка: холодно, ветер гуляет. Пришла мне на век колокольня, да видно, и по-веки, там мое место и упокой.

— Дедушка, всем попадет?

А мертвец уж тащился на свою колокольню, колотилом подпирался, тряс бородою, и блестел по дороге его мертвецкий белый колпак.

Брякнули звонко ключи, щелкнул колокольный замок: там его место и упокой.

И сеяла ведьма-чаровница любовные плевелы, зельем чаровала красавая землю-мать.

Глухо и грустно шумело в лесу.

Тихие подошли тучи. Покропил дождь.

Длинноногий журавль стал на крутом берегу, закрыл глаза. За колючим кустом забулькало по-ежиному.

— А я журавлей не боюсь! — шепнула Алалею Лейла, зажмурилась, торопышка такая.

И, прижавшись друг к другу, под вербою они коротали ночь.

Тихо разбрелись тихие тучи: туча за тучей, облако за облаком. Утренник-ветер, перелетая, обтрясал дождинки. И белый свет рассветился.

И восходило солнце, сеяло ясное чистым серебром. И золотые солнцевы метлы смели всю черную сажу ночи.

1910 г.

ЗАДУШНИЦЫ

Предрассветные скрытные сумерки стянулись лисьей темнотой.

Ветер веянием обнял весь свет и унесся на белых конях за тонко-бранные облаки к матери ветров, оставив земле тишину.

Унылый предрассветный час.

Белая кошка, — она день в окно впускает, — лежит брюшком вверх, спит, не шевельнется.

Синие огни, тая в тумане, горят на могилах. По молодому повитью дубов лезут Русалки, грызут кору. И, пыль подымая по полю, плетется на истомленном коне из ночной поездки Домовой.

Унылый час.

Ангелы растворили муки в преисподних земли, солнца и месяца. И сошлись все усопшие — все родители с солнца и с месяца, и другие прибрели из-за лесов, из-за гор, из-за облаков, из-за синего моря, с островов незнакомых, с берегов небывалых на предрассветное свидание в весеннюю цветную долину.

В их тяжком молчании, — речь их загадка, — лишь

внятен: плач без надежды, грусть без отрады, печаль без утехи.

А глаза их прощаются с светом, с милой землею, где когда-то, в этот день Зеленой недели, справив поминки, и они веселились, где когда-то, в этот день Зеленой недели, и они, надеясь, воспоминали. Но старая мать, Смертушка — Смерть, тайно подкравшись незнаемой птицей, пресекла нить жизни и, уложив в домовище, опустила в могилу.

Вот и тоскуют. А прошлое — прошлые дни – безвозвратно.

Надзвездный мир — жилище усопших.

Туда не провеивают ветры и зверье не прорыскивает, туда не пролетывает птица, не приходят, не приезжают, — сторона безызвестная, путь бесповоротный.

Унылый предрассветный час.

1907 г.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Звездной ночью неслышно по полетному облаку прилетел тихий Ангел.

— А куда дорога лежит? — взмолились путники Ангелу, — третий день мы в лесу, истосковались, Леший отвел нам глаза, кругом обошел: то заведет нас в трущобу, то оставит плутать.

— Вы его землянику поели, вот он и шутит.

— Ангел! Хранитель! Ты сохрани нас!

Ангел послушал, повел на дорогу.

А там, на прогалине, где трава утолочена, у кряковистого дуба, сам Леший-дед сивобородый, выглянув, шарахнулся в сторону, а за ним стреконул зверь прыскучий.

Сошла беда с рук.

— Ты сохранил нас!

Лес истяжный — ровный, без сучьев.

Много в ночи по небу Божьих огней.

Корни ног не трудят. Ходовая тропа.

Путь способный.

— Помнишь ты или не помнишь, — сказал Ангел безгрознице Лейле, — а когда родилась ты, Бог прорубил вон то оконце на небе: через это оконце всякий час я слежу за тобой. А когда ты умрешь, звезда упадет.

— А когда конец света?

— Когда перестанет петь Петух-будимир.

— Золотой-гребешок?..

— С золотым гребешком.

— А правда, будто ворон в великий четверг купается в речке и все его вороняты?..

— Третьего года купались — у Волосяного моста.

— А земля… земля тоже ходит?

— На железных гвоздях.

— А я хотела бы, очень хотела бы сделаться… мученицей… — задумалась Лейла.

Реже лес становился. Открывалась поляна. Ночь уходила и звезды. Падала роса на цветы.

И разомкнулась заря.

— Мне пора, — сказал Ангел, — нас триста ангелов солнце вертят, а уж заря.

И так же неслышно по быстролетному облаку отлетел тихий Ангел.

Рассыпались просом лучи по траве.

— Ангел Божий, Ангел наш хранитель, сохрани нас, помилуй с вечера до полуночи, с полуночи до белого света, с белого света до конца века!

1908 г.

СПОРЫШ

С первым цветом, опавшим с яблонь, опало с песен унывное л е л ю, и с ленивыми тучами знойное уплыло купальское л а д о. Порастерял соловей громкий голос по ви-

шеньям, по зеленым садам. Прошумело пролетье. Отцвели хлеба. Шелковая, расстилая жемчужную росу, свивалась день ото дня с травою трава. Покосили на сено траву. Стоит теплое сено, стожено в стоги — в ширь широкие, в высь высоки — у веселой околицы.

Прошла страда сенокосная.

Коса затупилась. Звоном-стрекотом — эй, звонкая! — разбудила за лесом красное лето.

В красном золоте солнце красно, люто-огненно пышет. Облака, набегая, полднем омлели: не одолеть им полдневного жара. И те белые ввечеру — алы, и те темные ввечеру словно розы. Лишь в лесной одинокой тени листьями шумит кудрявая береза, белая, веет, нагибая ветви.

Буйно ядрено колосистое жито. Усат ячмень. Любо глянуть, хорошо посмотреть. Урожай вышел полон.

Стоя, поля задремали.

Пришла пора жатвы.

Тихо день коротается к теплому вечеру. К западу двинулось солнце, и померкает.

Уж вечер на склоне. Затихают багряны шаги.

Путники поле проходят, другое проходят. А над дремлющим полем во все пути по небесным дорогам рассыпает ночь золотой звездный горох.

— Здравствуйте, звезды!

Видная ночь. Мать-земля растворяется.

— Ты самое Ночку-темную видел? Где ее домик?

— За лесами, Лейла, за тиновой речкою Стугной — там, где бор шумит...

— Она — что же?

— Она в черном: перевивка на ней золотая, пересыпана жемчугом. Она легче пера лебединого.

— А где буря живет?

— Буря в пещерах. Ее, когда надо, вызывают криком хищные птицы.

— А хищные птицы, какие?

— Черноперые птицы — красные когти, они прилетают из подземного царства.

— А радуга?

— Радуга сбирает воду.

— А откуда тучи идут?

— Тучи откуда...

— Вот и не знаешь! А дырка-то на небе! Разве ты не заметил?

Так птичкой болтая, говорунья Лейла делит с Алалеем дружную ночь. Зорко смотрит она, разбирает дорогу: запали пути — заросла вся дорога.

Путники поле проходят, другое проходят. Не сном коротается ночь.

Так и есть, это — Спорыш. Там — в колосьях-двойчатках! Как он вырос: как колос! А в майских полях его незаметно — от земли не видать, когда скачет он скоки по целой версте.

— Что он делает там в огоньке? — ухватилась ручонками Лейла: а сердце так и стучит.

— А ты не пугайся: он венок вьет.

— Из колосьев?

— Колосяный венок, золотой — ж а т в е н н ы й. А кладут венок в засек, чтобы было все споро, хватило зерна надолго.

— Сам он его понесет?

— Нет, он отдаст его самой, самой пригожей, и она, как царевна, понесет венок людям.

— Мне бы... хоть один колосок!

— А ты попроси.

Потухают звезды — звезда за звездою — робко бродят, разливают лучи. Потянул зорька-ветер. Тонкий вихорь обивает росу с темного леса.

И разомкнулась заря — Божий свет рассветает.

Ой, как звонко смеется!
Лейла смеется так звонко.

Крепко держит она свое счастье. Лейле Спорыш отдал венок. Веселы будут дни.

И царевна — вольница Лейла в колосяном венке, а из колосьев, как два голубых василька, и видят и светят глаза.

— Ну а ты, Алалей?

— А я старым козлом за тобою, пусть завивают мне Бороду!

— А песни ты не забыл?

— С этой дудкою, как позабыть!

— Да ты погулливее!

— Без песни свет обезлюдит.

Ой, как звонко смеется!
Лейла смеется так звонко.

Как весной из-за моря слетаются птицы, так потянулся с серпами народ в раздолье — на поле. Чуть надносится голос жатвенной песни, а за песней хоронится пляска.

И восхожее солнце высоко восходит, далеко светит через лес, через поле.

— Здравствуйте, солнце!

1908 г.

ЛЮТЫЕ ЗВЕРИ

Юрию Верховскому

Летние дни короче — холоднее солнце.

Не чирикают птицы, не щиплет коростель колосья, пчелы состроили соты и не блестит лист на березе.

Рябина зеленая, в ожерелье поникшая, — красная ягода.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, куда ночью водил меня сон!

— Отчего ж ты меня не покликала?

— Да мне не страшно, — ластится Лейла.

— Нет, ты боялась.

— Только немножко.

— А что тебе снилось?

— Мне снилось... Я попала на поле, на поливанское поле! Не сухой тростник — стоит войско, не серые пчелы — летают пули, валятся тела, что лесные стволы, падают голо-

вы, что лесные листья, и течет кровь — стремнистая речка. А из-за крутых гор страшные грозною тучей идут на нас... И вдруг будто ночь, я скачу на коне — сивый конь, красное седло. Лучатся шпоры, светятся подковки. Я степью скачу — ветер шумит, наступлю на камыш — огонек сверкает. Через рощу скачу — в роще падает роса. Вышла на поле — солнце взошло. Солнце взошло!

— А мне снилось, Лейла, будто ты в колыбели маленькая такая. Взял я тебя на руки, вот так, и понес.

— Не урони, Алалей!

Алалей запел песню. Подхватила Лейла любимую песню.

Пели вместе, не заметили: на зайца наткнулись.

На меже сидел заяц, навостря ухо, чесал себе спинку.

— В роще рубили деревья, — разговаривал сам с собою усатый, — возле рощи тесали, увезли на большую дорогу, будут строить новую лодку. По углам у лодки будет по кукушке.

— А мы будем кататься! — обрадовалась Лейла, соскочила на землю к зайцу.

А зайца не видать ушей — ускакал усатый.

Тихо. Тихая погода. Безветрие.

Земляной зеленый лягушонок свистит свою песню комарикам тонко.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, к нам идет тигр!

— Постой, ты где его видишь?

— Да вон, рыжий, лапы медвежьи... он нас не тронет?

— Да это росомаха — северный тигр: он легок, как заяц, умен, как дрозд.

Росомаха не мало была удивлена, слыша разговор Алалея и Лейлы. Росомаха догадалась, что им понятен язык зверей и птиц, — ели, должно быть, змеиную кашу! — и, не собираясь их трогать, близко подошла к ним и сказала:

— Путники, куда вы идете?

— К Морю-Океану, — ответила Лейла.

— К Морю-Океану? — переспросила росомаха.

— Да, тигр, — подтвердил Алалей, – нас отпустил сам кот Котофей Котофеич.

— Ведь это не очень далеко, за медвежьей берлогой?

— У! куда ваша берлога, дальше!

Росомаха немного смутилась.

— А вы Слона видели? — нашлась росомаха.

— Какого Слона?!

— А тут неподалеку, вы никому не сказывайте, живет один Слон Слонович. Мы, звери, скрываем Слона.

— Покажите нам вашего Слона!

— Уж и не знаю, — сказала росомаха, пожалевши, что зря сболтнула.

— Мы его трогать не станем.

— Ну, ладно, — сдалась росомаха и повела их Слона показывать.

Долго шли они лесом, пробирались сквозь чащу, проходили по грядам, по гривам и золотистым мхам, перепрыгивали через пни и колоды, через защербившийся пень ели, через побледневший пень березы, через позеленевший пень осины, через покрасневший пень ольхи и вышли в орешник.

— Я сейчас, я вас догоню, — сказала росомаха и грешным делом завернула за кустик.

И уж одни они шли без тигра, щипали орехи.

А за орешником открылась поляна.

Тут на поляне стоял старый-престарый Слон с клыками, весь с головы обросший длинною редкою шерстью.

— Здравствуйте! — сказал вдруг Слон и, помахав хвостом, стал медленно подымать хобот.

И не то чтобы испугавшись слонова пальца, а скорее от неожиданности, воскликнула Лейла:

— Нас привел к вам тигр, вон и сам он!

Росомаха подошла, как ни в чем не бывало.

— Не надоедайте долго Слону, — шепнула росомаха, — Слон смирный, как рябчик, а осердится, живо в клыки.

— Расскажите нам что-нибудь, Слон Слонович! — стали просить Слона Алалей и Лейла.

— Да, расскажите что-нибудь, Слон Слонович! — под-

дакнула росомаха и опять шепнула: — не дергайте Слона за хвост, Слон не любит.

— Про мышь и сороку, хотите? — Слон улыбнулся и, взвив высоко хобот, пожевал нижнею длинной губою.

Алалей и Лейла, усевшись под самый слоний хобот на разбросанные кругом по поляне старые слоновые зубы, приготовились слушать. С ними на зубы уселась и росомаха.

— Жили-были мышь да сорока, — рассказывал Слон Слонович, — сорока сор метет, мышь огонь добывает. Так и жили. Раз ушла мышь за сеном, наказала сороке щи мешать. Сорока стала щи мешать и упала в горшок. Вернулась мышь, стучит: «Сестрица сорока, отвори, отвори!» А уж где отворить, если ни лапок — ничего: все во щах сварилось. Мышь отыскала щелку, пробралась во двор, отворила сарай, втащила воз сена, сено опростала и вошла в избу. Вошла мышь в избу, вынула из печки щи, принялась за еду. Попалась ей сорока. Обглодала она сороку дочиста, сделала из хребта лодку...

— По углам у лодки по кукушке! — перебила Лейла.

— Не мешайте Слону рассказывать, Слон спутается, — заметила росомаха.

А Слон уж спутался и начал Слон совсем про другое: то про какой-то хвост закорючкой, то про какую-то свинью полосатую да мерина, как приятели чуть-чуть было не съели друг дружку.

Росомаха долго наводила Слона на ум.

Наконец-то Слон опомнился.

— Тут ничего нет смешного и смеяться нечего, смеются одни индейские петухи, — сказал Слон Слонович и продолжал сказку: — ну, сделала мышь лодку, спустилась к речке, уселась в лодку и поехала: у песчаного берега шестом отпихивается, у крутого берега веслом правит. А шест у ней из хвоста выдры, а весло у ней из хвоста бобра. Идет заяц: «Сестрица мышка, пусти меня!» — «Не пущу: лодка мала!» — «Я на задних лапках постою». — «Что с тобой делать, иди!» А потом и лиса, а потом и волк, все просятся в мышкину лодку. Мышка всех и пустила. Идет медведь: «Сестрица мышка, пусти меня в твою лодку!» — «Нас са-

мих много: ты, косолапый, не поместишься!» — «Я на одной ножке постою». — «Иди, что с тобой делать!» Медведь уселся, лодка опрокинулась и все потонули.

Слон опустил хобот, пощекотал пальцем слушателей и, махнув хвостом, сказал:

— Уж солнце садится, завтра будет ветрено.

— Поблагодарите Слона и идемте, Слон спать хочет, я вас на дорогу выведу, — шепнула росомаха.

Алалей и Лейла встали, поблагодарили Слона, погладили хобот — хобот у Слона Слоновича мягкий! — и тихонько пошли за росомахой.

Солнце уже скрылось и только на холмах все еще лежал красноватый закат — солнце мертвых, словно разбрызгалась светлая кровь, как земляника.

— Болотом будет идти вам страшно, повернемте-ка лучше к речке, там я и распрощусь с вами, — сказала росомаха.

— Почему будет страшно?

— А Лобаста!

— Какая Лобаста?

— Да разве вы никогда ее не встречали?

— Нет, не встречали.

— А корову с шишкою на лбу видели?

— Нет.

— А коня с ногами без шерсти?

— Вы, тигр, нам про Лобасту скажите! Какая Лобаста?

— А-а испугались! Вот она какая Лобаста! Попадете к ней в болото, не спустит. Ростом Лобаста, как эта осина, тело белое, что заячий пух, а ручищи, словно крылье с красным когтем, словит да этим когтем, хоть и нежен он, что костяника, а защекочет до смерти.

— А мы тише тени пройдем, она нас и не словит.

— А жеребенок с соломенными ногами?

— Вы, тигр, все нарочно! Мы жеребенка вашего не боимся!

— Вон и речка, — остановилась росомаха, — ишь берег-то, словно хвоя, когда висит на ней соболь.

— Вы, тигр, так знаете много, научите нас! — уцепились путники за росомаху.

— Чему же я вас научу! Мы тигры — зверь лютый. Ну, учитесь играть, как играет плотва, плескаться, как плещется сиг, метаться, как мечется щука, широко гулять, как гуляет лещ, и будьте бодры, как язь! — и, сверкнув белым зубом, побежала росомаха в лес.

А они пошли берегом.

Подул ветер. Гудело в роще.

Серые улитки подымали рога — смеркалось.

У ивы гусь стоял, вытягивал по-змеиному шею.

— Прощай, гусь лапчатый, ты улетаешь? — прощалась Лейла.

— Улетаю, — прокрякал ей гусь.

— В теплый край!

— За синее море.

— Кланяйся, лапчатый, — не забудешь?

— Буду кланяться, буду.

Гусь полетел: пора собирать гусиную стаю да в путь отправляться — путь длинный за синее море.

Вышли звезды, полетели по небу. Голубое небо усеяно белым серебром — гулянью конца нет. Падают звезды.

Минуло лето, приходит милая осень.

— Лейла, дочь горностая, куда ты все смотришь?

— Ах, Алалей, н а ш а л о д к а плывет!

— Ты где ее видишь?

— Да там…

— Это не наша, это м ы ш к и н а лодка, вон сама мышка, вон заяц, лиса, волк и медведь.

— А наша там — там… По углам по кукушке.

Они поднялись на холм. Развели огонек.

Под кленом в огоньке коротают ночь.

«Мышкиной лодки больше не видно, она потонула. И нашей лодки больше не видно, она уплыла в море».

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

«Наша лодка плывет теперь по морю. Выпадет ли счастье на нашу долю или придется нам плыть посередке, не видя конца, не видя берега, идти от волны до волны, не видя конца, не видя берега?»

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

Тихо спит Лейла, руку прижала к сердцу. Рассыпались русые косы. Ей снится, она в белом, как невеста, она сидит за белым столом, как невеста, цветет алою розой.

— Тихо дуй, ветер, не качай клена, не буди Лейлу!

А ветер-голубь хлопает крыльями, а глаза его полны слез: скоро он останется в поле один.

Минуло лето, приходит милая осень.

1908 г.

ВЕДОГОНЬ

Заболотела река. Покрыты дерном в поле распашистые полосы.

Скошен луг, убран хлеб, кончен сев, отошла брусника.

И срывал ветер листья с дерев, нес их, колебля, по воздуху; просушив, откатывал, шурша, посторонь осиротелого дерева.

Загружалось листьями озеро.

Золотой кудрявый лес редел с каждым утренником, редел с каждым солнышком. Летала паутина вдоль по лесу, подымалась цепкая до маковки и, скатясь по ветвям, обскочила круг пустынного дерева.

По утрам на заре, промерзая, становилась паутина прозрачней и легче и, свившись червем, качалась в дырявых покинутых гнездах.

Доступила на пегой кобыле дождливая осень. И ушли прощальные ясные дни.

Дождливая сонная осень.

По берлогам звери заснули — им тепло мохнатым, им все будто лето.

Ветер, гуляя по полю и лесу, шумит на просторе.

И поднялись у берлог Ведогони, стоят, караулят спящих зверей. У каждого зверя свой Ведогонь-охранитель.

Стоять караулить под дождем у берлоги — скучно. И скучно и зябко. От нечего делать Ведогони дерутся друг с другом, — даже до смерти.

Беда: не осилить и покориться! Кончит свой век Ведогонь, и зверь Ведогоня кончит во сне звериные дни.

Так немало зверей погибает в осеннюю пору неслышно.

Ветер все глуше. Ночи длиннее. Зазимье.

Счастливый, — тот, кто родился в сорочке, у того тоже есть свой Ведогонь-охранитель, как у зверя.

Вот, ты, счастливый, заснул, а твой Ведогонь вышел мышью, бродит по свету. И куда-куда ни заходит, на какие на горы, на какие на звезды! Погуляет, всего наглядится, вернется к тебе. И ты встанешь утром счастливый после тонкого сна: сказочник сказку сложит, песенник песню споет. Это все Ведогонь тебе насказал и напел — и сказку и песню.

Счастливый, ты родился в сорочке, берегись, коли дрема крепко уводит, — твои дни сочтены. Ведогони драчливы — встретятся, заденут друг друга и пойдет потасовка, а после, смотришь, и нет одного, какой-нибудь кончил свой век. А ты не проснешься, ты счастливый, ты сказочник, песенник кончишь во сне свои дни.

Так немало счастливых гибнет в осеннюю пору неслышно.

1907 г.

ЛЕТАВИЦА

Плывучие — ой нелюдимые — пасмурно замкнуты тучи. Сея, как ситом, тихо падает севень — осенний обложный дождь.

Багряный яхонт — цвет прощальных дней — погаснул. Окончились румяные унывные закаты. Обносит вихорь хвои с сосен. Дрожат обломанные ветви. Обиты, приопали листья.

Печальны поздние отлеты птиц.

Вчера последняя простилась стая. И там, где озеро заволокло травой, в затоне пропела лебедь.

Отошло веселье.

Попрятались за тучи звезды.
Беззвездна, хмура осенняя ночь.

Глядя на ночь в такую погоду, недалеко уйдешь. — Ветер, — все, сколько есть всего ветров, поднялись и звенят. Нет от ветра затулы. И сама терпеливая Найда, хвост поджавши, забилась в конурку, забыла, как тявкать.

Постучались в избушку.

— Я — Алалей. Моя спутница — Лейла.

— Что вам тут надо? — высунул морду двуголовый конь с золотыми ушами, конь Унеси-голова.

— А чья тут избушка?

— Как чья избушка?! — замотал головой двуголовый, — это терем старого Вия.

— Вия! — голоса у путников стали, как струнки: пропадут, тут им живу не быть, — того самого Вия: подымите мне веки, ничего не вижу!

— Того самого о железном пальце. Нынче Вий на покое, — зевнул одной головой конь двуголовый, а другой головой облизнулся, — Вий отдыхает: он немало народулюдей погубил своим глазом, а от стран-городов только пепел лежит. Накопит Вий силы, примется снова за дело. А Пузырь с клещами да с жалами помер.

— Пусти, конь, обогреться!

— Пустишь вас... уж сидит один странник. А вы кто такие?

— А мы перехожие люди, бродим по свету от дерева до дерева, от каменья до каменья, а идем мы в дальне-далече к Морю-Океану.

— Да вы не с Бур-болота от Кукураковны? Прошлым летом такие шатались.

— Нет, мы не такие... Прошлым летом мы посолонь шли с Котофеем.

— А с Латымиркой-ведьмой знаетесь?

— Про седого Ауку мы знаем.

— Ну, идите! Да осторожней! Глядите под ноги. Тут лежат вилы. Не наткнитесь! Это — вилы самого Вия: вилами Вию подымали веки! — и конь, колесом завивая гри-

ву, расстилал долгий хвост по земле, светил золотыми ушами дорогу.

И очутились путники в избушке у Вия.

Конь Унеси-голова, пока стол накрывали, взялся показывать хозяйство.

Большое хозяйство у Вия.

Первая горница — золото. Там живут муравьи: деньденьской только и дела им — тащут со всех концов муравьи к Вию в избушку червонное золото. Вторая горница — коневая, Коню принадлежит: убранство богатое. Третья горница — за столом сидят семеро, и все они сини, синее котла, и все, как один, без голов.

А в другие скрытные горницы Конь не повел — небывалому страшно! И только позволил разок через щелку взглянуть.

Там жар, там огни горят, мигуны там помигивают, свистуны там посвистывают, стук, брякотня, безурядица, там громы Ильинские, морозы Крещенские, петухи с вырванным красным хвостом, козьи ноги, пауки, злые собаки, — все хвостатое, хоботастое, там говор, гул, шип и покрик — нежеланные.

Не оторваться от щелки. Любопытство так и берет.

Но Конь уж уводит к столу: ужин готов.

Сели за ужин.

Служила собачка: подавала миски, меняла тарелки. У собачки личико острое, ровно у мальчика, только ушами собачка все пошевеливала.

Позвали к столу и странника. Странник послушался, слез с полатей, повертел ложкой, покатал из хлеба катушек, а есть не ел, отказался.

А кормили, чем Бог послал, и все, как следует. И только за кашей подползли к гостям три муравья, покусали немного и тихонько опять отползли.

На загладку Конь рассказал: какой он был конь. Конь когда-то стоял, не простой, за двенадцатью замками, за двенадцатью дверями, на двенадцати цепях, а держал он поскоки горностаевы, повороты зайца, полеты соколиные.

И уж стал было Конь представлять свои прежние поскоки, да в ногу ступило.

И пошел себе Конь в свою горницу, и собачка за ним.

Конь-то конем и собачка собачкой, только Бог с ними! — все как-то жутко.

Вий спит за перегородкой, только носом подсапывает. Да мыши под полом бегают, малые серые мыши скребутся в углах. У мышек хвостики длинные.

— Эй, странник Божий, ты тоже не спишь?

— Во всю ночь не засну.

— Страшно?

— Нет, я не боюсь.

— Что же ты?

— Воли мне нет.

— Как так?

— Да так.

— А ты расскажи!

— А вы забоитесь?

— Не забоимся, рассказывай!

Странник подвинулся ближе, посупился.

— Я не помню, — рассказывал странник, — как пришла она, взяла мою волю, мои печальные дни: пристала ко мне Летавица. Слышали вы о Летавице? Красота ее краше всех, лицо ее девичье, вольные волосы золотые до самой земли. Всякую ночь приходит она: или ложится в ногах или станет и смотрит всю ночь и, лишь ветер подует под утро, исчезнет. Слышали вы о Летавице? Я оставил мой дом, бросил все и пошел. И, как лист в непогоду, скитаюсь по белому свету — только б ее из сердца прочь! Шатается тень моя, спотыкаются ноги, а дума о ней не проходит. Побывал я в Москве и у Троице-Сергия, в Соловках у Белого моря и в вятских лесах у Николы Хлыновского. Не помогло богомолье. Вот и хожу. Как трава, сохну и вяну. Не по силам мне мука. Она всюду за мной по пятам: станет и смотрит всю ночь…

— Постой-ка, мы ее видели!

— Где, где она? — задрожал странник, как лист.

— А в горохе мы ее видели.

— В горохе?..

— На Бориса и Глеба. Шли мы горохом — порх! — и наткнулись: лежит такая кра-са-вая! Золотые волосы всю с головою опутали, глаза, словно колодцы, а сапоги на ней красные...

— Она! она самая! — стукнул по столу странник, а за перегородкой у Вия заворочалось, — да вам бы сапоги ее красные снять с нее и унесть, да она бы для вас без сапог все тогда делала: ей сапоги — что птице легкое крылье! И меня бы избавили... Экие вы! — счастье проглупали.

— А ты о Басаврюке что-нибудь знаешь? — хотела поразить странника Лейла.

Но странник и Басаврюком не подзадорился, странник ничего не ответил. Да вдруг как выпучит глаза — не стерпели огромные, налились глаза черною кровью, стиснул он зубы, почернел, что земля, а руки замлели. Знать, пришел его час: стала Летавица.

Он навеки ее нерушим, с нею свой век завекует.

Ночь сменилась серым утром.

Из сырой земли, как их теплого гнезда, заклубился пар.

Красный след Летавицы мелькнул в дверях.

Старый ворон, перелетывая с ветки на ветку, словно все усмехался, вещий ворон, граючи, каркал.

Странник тихо лежал: охолонул, бесприкладный.

Вышел из-под лавки Лизун толстомясый — пятки прямые, живот наоборот. Походил Лизун по горнице, ничего не сказал и спрятался.

А они все молчком обмалчивались: собирали сумки — снаряжались в путь.

Пришла на задних лапках собачка: на собачке зеленый колпак в кружочках. Напоила собачка их чаем, воровато сунула сухариков в сумки:

— Берите!

Топ копытом — Конь появился, сам конь Унеси-голова.

Пожурил Конь собачку, что коровы прожорливы стали, солому поели, сено подобрали. Потом и к гостям обратился: подарил им сушеный медвежий глаз на веревочке.

— Станет страшно, — сказал Конь, — надень, и страха как не бывало.

Дал подержать им в руках Меч-самосек.

Подержали они в руках Меч-самосек, поблагодарили Коня за медвежий глаз, ну, и в дорогу.

Собачка махала им лапкой.

— А Пузырь с клещами да с жалами помер! — мотал головами Конь двуголовый, провожая гостей в сени.

И пошли себе путники дальше.

Колесиста дорога. Сиверко. Дождь моросит. Греют путники в пазухе руки. По колено в грязи.

Не поддавайся упорному ветру!

А уж скоро ударят морозы — синие крупные звезды сверкнут. В звездах ночь засветит ясной луною. Весело снег захрустит.

1908 г.

ЗМЕИНЫМИ ТРОПАМИ

КОПОУЛ КОПОУЛЫЧ

Занесло все дороги, все летние тропинки, замерзли болота, застыли ручьи, сравнялись реки, засумерился день, легла зима — легли снега, путь стал.

Скрип ворота, — мороз на двор!

У Копоула тепло. Хорошо и тепло Алалею и Лейле зимовать у Копоула в теплой избе.

И светла и просторна изба Копоула, что Кощеев дворец. Много собрано в ней всяких волшебных диковин, как у Кощея: меч-самосек, топор-саморуб, палка-самобойка, гусли-самогуды, ковер-самолет, санки-самокатки, сапоги-скороходы, шапка-невидимка, скатерть-самобранка.

Копоул — сам хозяин — кум Котофея, ворчливый шамчун: не может ни скоро сказать, ни скоро пройти, то щами подавится, то лапшей захлебнется. Но зря никогда Копоул не похвалится небылыми речами и по правде слово рассудит. Носит Копоул от сглазу лапу слепого крота, и, хоть не надо ему колдовской неодолимой защиты, пьет всякий день настой жабьей косточки.

Одиноко в лесу живет Копоул среди лютых морозов в Кощеевом царстве. Баран и гусь и петух давным-давно ушли от Кота, и лисица ушла от Кота.

— Что за шерсть, что за хвост! — вспоминает Копоул свою неверную лису, свое прошлое семейное житье-бытье.

А неукротимые звери — соседи Копоула — куцый волк, который волк хвостом в проруби рыбку ловил, да с отрубленной лапой медведь, который медведь к старику и старухе по ночам приходил, пел свою страшную медвежью песню, — волк и медведь сами на старости лет и недолуки

и неудаковы. Волк еще хорошо языком ищет соринки в глазах, но о хвосте успел позабыть, а медведь, хоть и не прочь спеть свою страшную песню, да не страшно нисколько, и не забьет косолапый вола, как бывало, не закусит зайцем, как бывало.

Сойдутся свирепые неукротимые звери из своих заброшенных лубяных и ледяных избушек к Коту для совета и знай одно себе: дружно Копоулу подхрапывают.

Который ворон летает за море и приносит живую и мертвую воду, вещий за все зимовье — от ноября до февраля — даже ни разу не каркнул и только на Наума — в именинный кошачий праздник показался в Кощеевом царстве: сам пришел в гости к коту Копоулу.

А который кузнец Требуха сковал Бабе-Яге тонкий голос, еще третьего года пирогами объелся и приказал долго жить после Никольщины.

Не надо Копоулу колдовской неодолимой защиты.

Глаза Алалея и Лейлы — не злые, не сглазят.

— А кто вас знает! — говорил Копоул, принимая слова их в досаду, и сам крепко держался за лапу слепого крота.

Расседает земля от мороза.

Тяжки и плящи морозы.

В чистом поле белеют снега. И лишь ель и сосна зеленят белую зиму.

А в метельные ночи старый черт закрывает месяц косматою шапкой, и метель, набрав снега, размахнется комом и пустит в окошко.

От ноября до февраля — волчье темное время.

Стучат зубами голодные волки.

— Копоул Копоулыч, не косоурьтесь, расскажите-ка сказку! — просит Лейла.

И знает Копоул, знает и перезнает много всяких докук и балагурья, да чуфырится: как можно, ведь тысячу и одну ночь терся кот в коленях у Шехеразады, когда рассказывала Шахриару сказки Шехеразада!

— Это ни к чему не поведет, это, похоже, не выйдет! — вот и весь сказ Копоула: и на речи не ставится и на сговор не сдается.

Скуки ради ходят Алалей и Лейла из горницы в горницу, смотрят в окно. И сколько раз, провожая студеные дни, нетерпеливые, они пересчитывали лысых, чтобы на двенадцатого лысого мороз и пересел. Не слушал мороз Алалея и Лейлы: нагуляется по двору, засядет и сидит трескун на Кощеевом озере, выставит ветру свой красный нос.

Расседает земля от мороза.

Тяжки и плящи морозы.

Кует зима звездный небесный свод.

Днем, как и ночью, норовил Кот поспать, похрапеть, поваляться, позевать, потянуться, и уж ты от Кота ничего не добьешься — ни за холодную воду. Но нападал добрый стих: вдруг раздобрится Кот, поведет долгим усом, — и начинается сказка, ладно удуманная, хорошо улаженная, зимняя Копоулова сказка.

1910 г.

УПЫРЬ

Не ведьма Дундучиха застилает на ночь стол скатертью, не ступой закостила наброжая — кроет землю белый снег, летят — падают хлопья надранными лохмотьями, воет, вьется вьюга, выбухает вихорь, метет метель-поземелица, закуделила.

Третий день и грустна и печальна коротает дни в серебряном тереме царевна Чучелка.

Третий день, как печален и грустен уехал царевич Коструб за Лукорье.

За морем Лукорье, там реки текут сытовые, берега там кисельные, источники сахарные, а выри и-птицы не умолкают круглый год.

Полпути не проехал царевич, занемог в дороге и помер. И в чужом краю его схоронили.

Вот среди ночи слышит царевна под окном кто-то кличет:

— Чучелка, Чучелка, отвори!

Вся зарделась царевна: узнала Коструба.

Думает царевна: «Это он, это жених, царевич вернулся с дороги!» Встала. Отворила.

— Бери свои белые платья, жемчуг. Я в чужом краю завоевал себе землю, мой подземный дворец краше Лукорья.

Надела Чучелка белые платья, жемчуг. Спешит на крыльцо.

А он ее за руку и на коня.

Взвился конь и помчались.

Мчатся. Мчится царевич с царевной. Страх змеей заползает на сердце: видит царевна под нею не конь, таких не бывает, а ветер.

Ветер-вихорь несет их сквозь темные леса, сквозь мхи и болота — ржавцы-болота в шары-бары — пустое место.

Поравнялись с церковью, повернули на кладбище.

Тут конь исчез.

И вдвоем остались они над могилой: царевич Коструб и царевна. А в могиле чернеет из-под снега дыра.

— Вот мои земли, там мой дворец, там мы отпразднуем свадьбу: дни будут вечны и пир наш веселый без печали, без слез... — полезай!

— Нет, — отвечает царевна, — я дороги не знаю, ты — наперед, я — за тобою.

Послушал царевич царевну, пропал в могиле.

И одна осталась царевна над черной дырой. Сняла с себя платья, — да в могилу.

— На же, тяни за собою. Вот белые платья, вот жемчуга! — и, сбросив в могилу все до сафьянных сапожков, заткнула дыру, да бежать без дороги по снегу, сама не знала куда.

Летела царевна, летела — вдалеке огонек мелькает — прытче бежит. Добежала, смотрит: изба — одна-одинока изба стоит среди поля. Бросилась к двери, вломилась в сени, да в горницу...

Мертвец на лавке лежит, больше нет никого, и светит свеча.

Царевна со страха на печку, забилась в угол, сидит тихонько.

А там на кладбище, а там на могиле обманутый вышел из гроба царевич. Созвал Коструб мертвецов и полетел с мертвецами вслед по царевну.

Прилетел до избы, кричит через окно:

— Мертвец, отвори мертвецу! Будем с живым пир пировать!

Зашевелился мертвец: то ногой, то рукой поведет. А потом с лавки как встал и пошел, дверь отворил.

И нашло мертвецов полным-полна изба. Окружили печь, кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

— У меня нет рубашки и сафьянных сапожков, принесите мне: там они на могиле! — говорит мертвецам царевна.

Посылает царевич мертвеца на могилу.

И вернулся мертвец, принес и рубашку и сапожки.

И опять кличут царевну.

А она им: то, говорит, рукавичек нет, то платка у нее нет, то пояса...

Но мертвецы ей все из могилы достали: все платья, весь жемчуг до последней крупинки.

Кличут царевну:

— Вылезай, вылезай — будем пир пировать!

И надела царевна белые платья, жемчуг, — вышла. Вышла царевна. И в кругу мертвецов замерла.

А! как обрадован мертвый живому!

— Я тебе верен за гробом, — целовал царевну мертвый царевич и с поцелуем живая кровь убывала — теплая кровка текла в его холодные синие жилы.

Третьи петухи пропели — мертвецы разлетелись по темным могилам, там, в могилах, облизывали красные губы.

Не вернулась царевна в свой серебряный терем. Нашли Чучелку утром — белая, как белый снег, без единой кровинки, далеко в чистом поле в мертвецкой избе.

Вьется вьюга и воет, валит и, опрокидывая, руша, сбивает с ног. Разворотила, нелегкая, дубья — колодья, замела

дверь, засыпала окна — хоронит серебряный Чучелкин терем.

Холодна зима — белый снег.

1909 г.

СОН-ТРАВА

Дождались весенней поры. Уходила зима. А была она долгая и суровая — снег по пазуху. Наступили первые теплые дни.

Ясных дней еще нет. Ясный Яр не отомкнул еще неба. Огненный, разбудил Яр черную землю.

И пусть свистит в поле ветер, пусть свистом зовет зима снег на помощь! Снег тает в поле, и раз от раза темнеет река.

Вздуется лед, тронется река — грозно Яр разомкнет горячее небо — поплывет река и, широкая, зашумит она, как грозовое небо.

— Руки наши крепки, глаза видят ясно и мы поплывем! — повторяет за Алалеем верная Лейла.

Они на воле. Так они рады весеннему первому дню.

Они на воле, они встретили первый цветок.

Как печален и грустен первый весенний цветок!

Сон-трава — синеглазый подснежник — глядела печально, и на тяжелых темных ресницах горела слезинка.

Что огорчает ей сердце? Ждет ли кого? Или нет никого, кто бы утешил печальное сердце?

У цветов есть мать, у Сон-травы — мачеха. Разбудит Яр землю. Проснется земля. Но еще спят под землею и трава и цветы.

«Просыпайся, иди на землю, там светло, там все твои братья и сестры, там играют птицы!» — скажет мачеха нелюбимой синеглазой сиротке.

И послушная, она выйдет на землю одна, без братьев и сестер, одна из-под снега. Еще спят под землею и трава и цветы.

Ее в колыбели никто не баюкал, ее на руках никто не нянчил, ее ласковым словом никто не забавил...

Печально и грустно стоит Сон-трава — синеглазый подснежник.

В тихом вечере тихим полетом плывут по теплому небу перелетные птицы.

Птицы все прилетят в свои гнезда. И выйдет из леса медведь. И закукует горькая кукушка.

— Руки наши крепки, глаза видят ясно и мы полетим! — повторяет за Алалеем верная Лейла.

Они на воле. Так они рады весеннему дню.

И синеглазая Сон-трава печально глядит на них.

— Ты, сестрица, дождешься солнца! — сказала ей Лейла, и далеко разносился ее голос по воле: — Солнце, солнышко, выгляни, высвети! Солнце, солнышко!

1910 г.

ВЕРБА

Уж заря, золотясь, осыпается розами в реку.

Отошли дни-потемы, потухли всполохи.

Уж по заре златорукое солнце возносит руки над миром, зарное, нет ему белого облака, чтобы закрыться, захватить все небо.

Небо обняло землю, горячо обнимает.

И земля принялась за свой род.

Первая — Верба. Верба, еще из-под снега распушив свои алые гибкие лозы, тихо подымает веки, и седые пушистые вии озолотились слезами.

И куда ни пойдешь, и куда б ни взглянул, встретишь вестницу мая — печальную вербу.

«Я, последний и самый любимый, рожденный в Купальскую ночь, расскажу тебе, Лейла, о моей матери Вербе.

«Моя речь невнятна, — я очень долго молчал, мои слова странны, — я очень стар.

«Я не помню, как это было — мои руки сухи, мои пальцы вялы, а у моей матери руки были влажны и пальцы крепки.

«У меня было много братьев, сестер, сестер-братьев, все они были старше и разбрелись по земле, кочуя до самого края. Их было так много, их было больше, чем звезд на небе.

«Я помню — мои ноги быстры и легки, как крылья, а во лбу свети-цвет Купалы. "Ты засвети свой цвет, Купало!" — сказала мне мать.

«Я помню — мы шли искать новую землю: на старой нам стало тесно. Мы шли долго в ночи, раскапывали пальцами землю — гадали о будущих днях. Черная, сбросив белые снеги, земля лежала под нами и, тая, дымилась, а в ее черном сердце зависть свивала гнездо.

«Моя мать сильна и всех прекрасней. И пускай после мая знойные дни и жгучие вихри, и пускай по болотам в полночь, заманивая путников в гибель, сверкают огни-одноглазы, и полднем Полудницы летят в пыли вихрей, и пускай, чуя мертвых, вопит Карина, и пускай несет темная Желя погребальный пепел в своем пылающем роге, — моя мать сильна и всех прекрасней.

«И на земле цветов было меньше, чем моих братьев, и на земле лесу было меньше, чем моих сестер, и на земле рек-озер было меньше, чем моих сестер-братьев.

«Я не помню, как это было — а как всходить заре на гору, перед рассветом, мы вступили в болото и вот черные руки вдруг поднялись из земли и крепко охватили мать под грудь сзади и, обняв, повлекли ее в топь за собою...

«Я не помню, как это было — я стою на краю трясины и кличу и зову мою мать: "Где найду я новую землю!" — И кличу братьев: "Где найду я мать!"

«А под землею глубоко я вижу, горят, как свечи, глаза. А мать стоит — не мать, печальная верба.

1907 г.

РАДУНИЦА

К нам! — торопитесь, весенние ветры!

Грачи прилетели, пробила лед щука, вскрылись реки, идут, говорливые, и распушилася верба.

Эй, ты — весна!
Ой, лелю, лелю, весна!

Уж прошумели грозолетные тучи, неразгонные дождем пролились студеницы.

И ударило молотом в камень, в зеленый дуб прямо под корень.

Эй, ты — весна!
Ой, лелю, лелю, весна!

По теплому небу алым развоем наливается роза-заря.

Алый вечер угас, темная Стрига тьму собирает для ночи.

Ночь кипит, весенняя — распущены темные косы. А куда ни взглянешь — звезды.

Но моя душа полней печалью.

Эй, ты — весна!
Ой, лелю, лелю, весна!

К нам! — торопитесь, весенние ветры!

Уж восходит из недр ночи красное Солнце, разрываются тяжкие цепи, — низвергается Стрига.

И несутся весенние ветры из вечного лета, несут, колыхая, на крыльях семена лесу и полю, а сердцу любовь, и навевают горячую в сердце.

Эй, ты — весна!
Ой, лелю, лелю, весна!

1908 г.

КАМЕННАЯ БАБА

Ушла зима с морозами, с трескучими...

Взошло солнце, согнало снеги.

Пошла вода вольная, полноводная. Подмыла сучки, ветки, отросточки.

Весна приехала.

Весна-красна в аржаном колосе на сохе, на овсяном снопу, веселая, привезла ясные дни, частый дождь, зеленую траву.

Приударил дождь.

И раскинулись кусты, вошли ручьи в русла, зазеленели луга.

Пойте птицы, и вечером и утром, — всем нам веселье!

Алалей и Лейла качались на качелях, мылись громовой водой, прыгали через костер. Ветер, вода и огонь их сохранят.

И уж им не сиделось на месте у Копоула в Кощеевом царстве: манил лес, поле, дорога.

— Будь здоров, Копоул Копоулыч, спасибо тебе за зимний приют: будем помнить твою ледяную горку, блины и вечера, когда рассказывал ты сказки.

— Моряне, не забудьте, кланяйтесь, как попадете на Море-Океан, ей в волнах видно! — прокурлыкал Копоул на прощанье: седой кот на огороде копался, капусту да лук садил.

И снова пошли они в путь.

От кургана к кургану их вела ковылевая степь, шелковая, колыхалась волною. Ночью месяц светил, освещая дорогу.

По небесному краю раскрывалось синее море и, разлившись широким-широко, улетало, как лебедь. Попадались верблюды: угрюмо и молча шел верблюд за верблюдом... И пробегали стада белых овец, порошили, как снег, зеленую степь.

— Эту ночь не пойдем, Алалей, заночуем тут у кургана возле той вон Каменной Бабы!

Вышли звезды, пустились по весеннему небу искать золотые ключи от восхожей зари. В тихом сне приумолкла земля.

Баба смотрит в ночь. Они смотрят на Бабу.

— Что ты, Баба? — Что ты смотришь? — Что ты знаешь?

— Я баба не простая, я Каменная Баба, — провещалась Баба, — много веков стою я в вольной степи. А прежде у Бога не было солнца на небе, одна была тьма, и все мы в потемках жили. От камня свет добывали, жгли лучинку. Бог и выпустил из-за пазухи солнце. Дались тут все диву, смотрят, ума не приложат. А пуще мы, бабы! Повыносили мы решета, давай набирать свет в решета, чтобы внести в ямы. Ямы-то наши земляные без окон стояли. Подымем решето к солнцу, наберем полным-полно света, через край льется, а только что в яму — и нет ничего. А Божье солнце все выше и выше, уж припекать стало. Притомились мы, бабы, сильно, хоть света и не добыли. А солнце так и жжет, хоть полезай в воду. Тут и вышло такое — начали мы плевать на солнце. И превратились вдруг в камни.

Высокая шапка на Бабе закачалась, а руки, сложенные на животе, поднялись к высохшей каменной груди.

— Да вот тоже, непоседы вы, все-то бродите, знаю вас, не впервой вас вижу: с Волхом рыскали, помню... В Духов день земля именинница, не скачите вы в зеленый день, не кувыркайтесь, не стучите, а встаньте рано да поцелуйте мать нашу землю, поздравьте! Да еще животных, скотов не обижайте, коней, оленей кормите, поите, приглядайте...

— Баба, баба! Скажи нам, ты нас видела, ты нас знаешь, скажи нам, где лежит Море... дойдем мы до Моря-Океана?

Но Баба ничего не сказала. Баба смотрела в ночь.

А по небу звезды серебром висли — искали ключи.

1908 г.

ЛУЖАНКИ

Три белоснежные ветровы сестры — Буря, Вьюга и Метель простились с любимым братом Вихрем и ушли за море в скалы до зимних студеных дней.

Гром прогремел, ударил гром в источник до дна. Трубили небесные трубы, блистали мечи, летели стрелы. И пролился теплый дождь.

Досыта полил дождь хлебородницу землю, доверху наполнил воды — реки, луга и озера, и грозою и громом крепко натянул литые серебряные струны от берегов до берегов.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

И зазорились ясные зори, разлистился лес, зацвели все лужайки и рощи, запорошились белой душистой черемухой погосты и кладбища, полетела из улья по цвету Ефрея-пчела за медом, воском и затеснились пчелки-подружки у огорода вкруг Фелины-пчелы и Аросиды, пчел старших, перекликнулся выпью Водяной с Лешим, и на красных холмах от зари до зари застонали свирелью песни-веснянки, песни-заклички, оклики мертвых.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

Ключом закипала жизнь в обогретом ожившем сердце — и уж плещет она, горячая, льется, кипит ключом и там в небе, и там в земле, и там в воде, и там в огне. И как просторна, как необъятна — и далеко покажется и широко поглянется! — как необъятна, необозрима весенняя молодая земля с солнцем и месяцем, с зорями и звездами!

Всем своя воля — до-вольная, разволица, разволье и раздолье.

Чуть заря занялась и по заре запела сизая птичка, а Алалей и Лейла уж на воле — в пути.

— Лейла, а куда улетели, как два голубых голубка, твои глаза-голубки, Лейла?

— Ты их не видишь?

— Где они, Лейла?

— Лужанки! Лужанки проснулись! Как они рады... Алалей, какие золотые кудряшки!

На лугу в полой воде купались Лужанки. И подымали брызги, — летели, рассыпались брызги дробнее маку. Так весело, так рады были заре Лужанки. И кудрились их золотые кудряшки.

— А мне, Алалей, можно... Я им скажу: вы мои братцы — Лужанки, я ваша сестрица Аленушка. Они меня пустят? Я сестрица Аленушка! И ты тоже скажешь...

— Лейла, солнце встает.

И загорелось, встало солнце, и под солнцем загорелась земля, и в первых лучах скрылись Лужанки.

— Где мои Лужанки?

— Улетели в лучах.

— А на лугу?..

— На лугу их ночь, — на лугу они спят. На лугу их утро, — на лугу они умываются, чтобы к солнцу лететь.

— Какие золотые кудряшки! Алалей... я — не Лужанка?

— Ты... ты сестрица моя Аленушка — Лейла!

Лейла под солнцем вся золотая. Как два голубых голубка, ее глаза-голубки улетали с лучами, за первыми лучами, — за золотыми Лужанками, к солнцу.

Реки шумели, как гусли, со звоном половодья звонко по литым серебряным струнам била волна, бежала говорливая, несла счастье.

1910 г.

КРЕС

Эна какая — разливная весна! Повытаял снег с полей, повынесло лед с реки, разошлась вода со льдом, разлились реки с гор, протекли мелкие речки — бьют ключи, и, круглые, полные с берегом, катят озера.

А по россыпи волн на воле Водыльник. И лишь одна его голова — куча сенная, торчит над водою: ничем не заманишь чумазого в темень на остудное дно, довольно зимой наклевался ершей, и плывет, охмелел.

Суховерхое дерево греется. Веселеет еловая роща.

Оживают дыбучие мхи.

Вот облако к облаку, — пушистые облачки сходятся.

Пугливо за облако теряется солнце.

И уж движется туча хмуро и грузно: заждалась свистучая, шатает подоблачье.

Горностай тягу дал под малиновый прутик.

Черкнула ласточка.

Да как заторáндит да как загрохочет — с грохотом — громом катит гремящий Громовник: с уклада складено сердце, с железа скованы груди. Тороком — вихрем режет Громовник небесные снеги.

Подымает тугой лук. Нацелил. Спускает стрелу — к р е с — —!

И всполохнулся от искры небесный свод, весело, весело горит. И земля под топот толкучего грома, просверленная меткой стрелою, горит.

Пробудились, встают клевучие змеи, встает все зверье и все птицы и приветливые и догадливые, хищные, жалобные, горегорькие, скоролетные, златокрылые, говорящие, косатые — сокол, орел, соловей, и гусь заблудущий, и сорока поскокунья, и ворона полетучая, и загнанный заяц.

И до самого вечера, пока туча держалась и вовсю громыхал бесстрашный Громовник, звон-унылая песня зверья разливалась с края по край — с берегов небывалых до берегов, где бездорожье живет.

И до капельки вылилась туча, высеяв землю.

Любуясь, по синим дорогам уплыло солнце, а за солнцем теплая ночь поднялась над теплой землей.

На прибойном сыром берегу вещая Мокуша, охраняя молнийный огонь, щелкала всю ночь веретеном, пряла горящую нить из священных огней. Кузнецы стояли в кузницах, разжигали булат-железо, ковали железные обручи на любое сердце. И водные Бродницы, плавая тихо, волновали синие воды и, чаруя глубокие недра, призывали навов из темных могил.

— Проснитесь и пойте! Проснитесь! Наступило всему воскресенье! Начинайте весеннюю пляску!

В земле копошилось, раскатывались камни, рассыпались пески, расступалась земля.

А там — ненаглядные звезды. И до зари, как всходить ей на небо, звезды, играя, свивали тоску, ненаглядные.

1907 г.

НЕЖИТ

Вот пришел ярец-май с ясными днями, поднял и слил яроводье. Лили дожди и пролились. Канули сиверы — ветры.

С теплым ветром из-за теплого моря комары прилетели.

И текут безуемно гулливые реки.

Гуляй, поколь воля!

Выгнана вербою в поле скотина. Засеяна черная пашня. В поле и в лесе ночью и днем заливаются-свищут певчие птицы: перелетные, не обошли они, не забыли наши края.

Русь — сторона родимая. Жить — она веселая.

Падают белой зарею большие Егорьевы росы.

Рано солнце играет.

Соловьиные дни.

Гуляй, поколь воля!

Все оживает, все пробудилось. Прогремел первый гром, и земля очнулась.

Выглянули горные мавки с красных гор и высоких буянов — стало невмочь им в их зимних вершинных могилах.

Тихо веют горные ветры. Пáрит на солнце.

Встала чуя-змея, вывивается: чует снедь.

Вылез из-под конéвой головы и сам неприкаянный Нежит, ей встречу идет.

Гуляй, поколь воля!

Торна, бойка дорога.

Вот обогнул Нежит старую ель и бредет — колыбаются сивые космы. Подвигается тихо, толчет грязи по мху и бо-

лоту, хлебнул болотной водицы, поле идет, другое идет, неприкаянный Нежит, без души, без обличья.

То он переступит медведем, то утишится тише тихой скотины, то перекинется в куст, то огнем прожигает, то как старик сухоногий — берегись, исказнит! — то разудалым мальцом и уж опять, как доска, вон он — пугало-пугалом.

Доли не чаять и не терять — Нежитова доля.

Далеет день. Вечереет.

В теплых гнездах ладят укладываться на ночь.

Ночь обымает.

Ночь загорелась.

Затянули на буйвищах устяжные песни.

Веет с жальников медом и сыченой брагой.

Легкая лодка скользнула в ракитник. Раздвинула куст Волосатка, пустилась домовиха по полю ко двору к Домовому.

Гуляй, поколь воля!

В ночнине кони в поле кочуют, зоблют.

Сел Нежит в мягкую траву, закатил болотные пялки, загукал Весну.

А на позов из бора отукает Див.

Гуляй, поколь воля!

Подливает вода — колыхливая речка, подплывает к самым воротам.

Разъяренилась песня.

А там за рекою старики стали в круг, изогнулись, трогают землю, гадают: пусть провещает Судина!

И волшанские жеребья кинуты.

Слышит ярое сердце, чует судьбу, похолодело...

Резвый жеребий выпал — злая доля выпала ярому сердцу.

Яром туманы идут. Поникает поток. Петуха не добудишься.

Дуб развертывает свежие листья.

И матерь-земля родит буйную зель.

Гуляй, поколь воля!

1907 г.

КОЛОВЕРТЫШ

Широкая, уныло день и ночь течет Булат-река, тиноватая, в крутых обсыпчатых берегах с пугливою рыбою.

Умылись наши путники в речке, переехали речку Соловьиным перевозом и вошли в густой лес. И всю ночь до зари пробирались они лесом по темным, тайным дорогам. Всю ночь вела их дорога то сквозь трущобы, то пропастями.

И трижды далеко петухи пропели — трижды клевуны пропели.

Взошла заря.

А на заре, в подсвете, в восходе солнца девять кудрявых дубов остановили их путь.

У девяти дубов, между двенадцатью корнями стоит избушка на к у р ь е й ножке.

Тихо обошли они дубы вокруг избушки, робко заглянули в три окна. Но тихо: не повернулась к ним избушка, ее не повернула куриная нога. И в окнах ни души, не слышно крика, ни шума, ни суетни, — знать, покинула ведьма избушку!

На крыше сидела серая сова — чертова птица, а у курьей ноги, у дверей, пригорюнясь, сидел Коловертыш: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом.

— Лейла, какой печальный Коловертыш!

— Слепой, как птица сова?

— Сова — не сова, а глазастый и зоркий: днем и ночью разбирает дорогу.

— А это что у него за мешок?

— Это зоб, туда он все собирает, что ведьма достанет: масло, сливки и молоко, всю добычу. Наберет полон зоб и тащит за ведьмой, а дома все вынет из зоба, как из мешка, ведьма и ест: масло, сливки и молоко.

— Вот чудеса: Коловертыш!

— Да, Коловертыш.

Они поднялись по ступенчатой лестнице к двери, чуть приотворили дверь — на мышиный глазок, но Коловертыш остановил их:

— Нет ведьмы, — сказал Коловертыш, — нет хозяйки: парившись в печке, задохнулась Марина уж тридцать три года.

— Эко несчастье!

— Бедняжка! Неужто задохнулась в печке?

— Тридцать три года! — взгрустнул Коловертыш.

— А ты сам Коловертыш?

— Я сам Коловертыш, а бывало-то...

— Что, что бывало?

— А бывало-то, месяц стареет и ведьма стареет, месяц молодеет и ведьма молодеет, вчера она старая кваша, — и не посмотришь, а завтра посмотрит и сделает пьяным. А горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея. Разрывала Марина оковы, что твою нитку, захочет — змея уймет, его ярое жало, а захочет — суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы. Вот была она какая!

— Марина-ведьма! — подхватила Лейла.

— Марина-ведьма, уж тридцать три года...

И, вспомнив Марину-ведьму, свою хозяйку, о себе рассказал Коловертыш, как ему скучно, — закрылись все радости, встретились напасти! — и не знает он, что ему делать, — ничего не видит от несносной печали! — и куда ему деться, — оголодал он! — без Марины-ведьмы, без своей хозяйки.

— А как тебя сделала ведьма? — допытывалась Лейла.

— Из собаки сделала, мудрено меня сделала ведьма: ощенилась наша собака Шумка — Шумку волки съели! — взяла ведьма м е с т о — там, где щенята у Шумки лежали, пошептала, перетащила в избу в задний угол под печку, а через семь дней я на белый свет и вышел. Я — Коловертыш, вроде собачьего сына... Съешьте меня, Бога ради, мне скучно!

— Что ты... мы вовсе не серые волки! Да полно, чего

горевать, ну, чего? Ты и другую найдешь, ну, не Марину, ты другую найдешь... Шумку! — растрогалась Лейла, хотела утешить беднягу, который вроде собачьего сына.

Коловертыш был неутешен: трусик не трусик, кургузый и пестрый, с обвислым, пустым, вялым зобом, — бултыхал Коловертыш пустым, вялым зобом.

— Кого нет, того негде взять... Съешьте меня, Бога ради, мне скучно! — не унимался бедняга, капали крупные слезы из собачьего, верного глаза.

Лейла туркнулась в дверь. И они попали в избушку.

У самых дверей — ступа, из ступы, как заячье ухо, торчал залежанный войлок: видно, в ступе свил себе прочно ночное гнездо Коловертыш, и рядом со ступой помело длинное, под потолок, и кочерга, а по углам пустая посуда, — в пустую посуду Коловертыш выкладывал когда-то из своего зоба добычу: масло, сливки и молоко, — а на стене, в красном углу болтался замызганный, лысый воловий хвост и ожерельем висели вокруг сушеные змеи, кузнечики, песьи кости, ящерицы, акулье перо и рога оленьи, а на треногом столе — корки, крошки и черепки, а у печки — громовый камень, угли, кремень, кресало, горшок золы: — знать, у печки распоряжалась сова. И везде паутина — по щелям, по потолку, по углам.

Вот где жила ведьма Марина: старела, как месяц стареет, и молодела, как молодел старый месяц, а горька, как сажа, сладка, как мед, надменна, как вепрь, язвительна, как слепень, ядовита, как змея, захочет — змея уймет его ярое жало, а захочет — суше ветра иссушит, суше вихря, суше подкошенной травы.

— Съешьте меня, Бога ради, мне скучно! — тянул свое Коловертыш, кряхтел за дверью, у курьей ноги.

Вот где живет Коловертыш, ничем не утешен и никогда — ни днем под солнцем, ни ночью под месяцем, ни ранними росами, ни вечерней зарею, без Марины, ведьмы, без своей хозяйки, верный ведьмин помощник — Коловертыш, который вроде собачьего сына.

Постояли они в избушке, поглядели, подумали, — и за порог. И у девяти кудрявых дубов опять постояли, поглядели, подумали да, напившись ключевой воды у обожжен-

ного молнией среднего мокрецкого дуба, дальше — в недальний, неближний трудный путь по тернистой, унылой тропинке за широкую Булат-реку искать море, Море-Океан.

— Прощайте! Прощай, Коловертыш!

Коловертыш не тронулся с места, и лишь сова вспорхнула на оклик...

— А ведьмины кости, косточки, костки черный ворон в поле унес, Ворон Воронович, уж тридцать три года, а собаку Шумку... Шумку волки съели, уж тридцать три года! — кричала вдогонку сова — чертова птица, серая, кричала с задавленным хохотом.

1910 г.

ХОВАЛА

Наволокло, — небо нахмурилось.

Подымалась гроза, становилась из краю в край, закипала облаком...

Поднялись ветряницы, полетели с гор, нагнали ветер и вихрь.

Ветры воюют.

И гремучая туча угрюмо стороною прошла.

Не припустило дождем.

И осталась земля-хлебородница не умытая, не напоена.

Не переможешь жары, некуда спрятаться.

И ходило солнце по залесью, сушило в саду шумливую яблонь, а в поле цветы, и жаркое село.

Угревный день сменился душной ночью.

По топучим болотам зажглись светляки, а на небе звезда красная — одна — вечерняя звезда.

Поднялся Ховала из теплой риги, поднял тяжелые веки и, ныряя в тяжелых склоненных колосьях, засветил свои двенадцать каменных глаз, и полыхал.

И полыхал Ховала, раскаляя душное небо.

Казалось, там — пожар, там разломится небо на части, и покончится белый свет.

Пустить бы голос через темный лес! — Не заслышат, да и нет такого голоса.

И куда-то скрылся Индрик-зверь. Индрик-зверь — мать зверям — землю забыл. А когда-то любил свою землю: когда в засуху мерли от жажды, копал Индрик рогом колязную землю, и выкопал ключи, достал воды, пустил воду по рекам, по озерам.

Или пришло время последнее: хочет зверь повернуться?

И куда-то улетела Страфил-птица. Страфил-птица — мать птицам — свет забыла. А когда-то любила свой свет: когда нашла грозная сила, и мир содрогнулся, Страфил-птица победила силу, схоронила свет свой под правое крыло.

Или пришло время последнее: хочет птица встрепенуться?

И куда-то нырнул Кит-рыба. Кит-рыба — мать рыбам — покинул землю. А когда-то любил свою землю: когда строили землю, лег Кит в ее основу и с тех пор держит все на своих плечах.

Или пришло время последнее: хочет рыба сворохнуться?

Грозят страшные очи, ныряет Ховала. С пути его не воротишь...

И омлела на небе звезда вечерняя.

1907 г.

МАРА-МАРЕНА

Охватила заря край земли — вечереется день — вечерняя тихо заря поблекает.

Смородина-речка дремлет. Голубые, огретые солнцем, отлились ее вешние воды.

Прошли к берегу по воду девки: зноятся лица, поизмята шитая рубаха, примучились плечи.

Не за горами горячей поре. Уж довольно морозу пугать с перезимья! — полегли все морозы, заснули в стрекучей крапиве.

Пойдут хороводы. Заиграют песни.

Полетят за густым белым облаком сквозь зарю, с вечерней зари до белого дня, купальские песни.

По край болота жили лягушки, — квакчут.

И тихо рассыпались звезды, ну — свечи, повитые золотом нелитым, нетянутым.

Идет по луговьям, по ниве Мара-Марена, кукует тихо и грустно, кукует, изнемает тоскою дорогу.

Шумят на шатучей осине листья без ветра.

Клокочет кипуч-ключ горючий.

Идет Мара-Марена, не топчет травы, не ломает цветов. С половины пути она оглянулась, — загляделись печальные очи, — далеко звездой просветила.

Зеленеют луговья, наливается колосом нива.

Боровая ягода зреет.

Бряк под окошком!

Там кто-то клянет и клянется. Зачем там клянутся Землею и Солнцем! Положи ни во что эту знойную клятву. Не будет от клятвы корысти.

Взглянет Мара-Марена, просветит — скрасит весь свет и погубит.

Все пойдет по ее.

Все погибнет.

Мара-Марена — в одной руке серп, в другой зеленый венок. Она сердце иссушит, подкосит вековое, разорвет неразрывное, вздует ветры, засыпет сыпучим снегом теплое солнце, размахает крепкие дубы.

И затмится на радости день.

И не уведает милый о милой, забудут: я ли тебя, ты ли меня...

Идет Мара-Марена, замутила Смородину-речку, откры-

вает кувшинки и дальше идет, восходит на горы — горы толкутся — и дальше долиной, по большому полю.

И взмывала вослед ей непогожая туча с большим дождем, непроносная.

Камнем шибается к звездам птица Могуль, и счастье-перо, кипя смолою, падает счастливому.

Стой! Не приунять, не укротить бесповинного сердца, бьет через край.

Там волк, зачуяв смерть свою, завыл.

И смыкается небо с землею.

1907 г.

МАРУН

Заморилась ильинская муха, заросла путь-дорога. Озимое поле вспахали, счастливо засеяли.

Не оттянуться осенней поре. Падает желтый осенний лист.

Вихорь, прогнав полевые ветры, стал на полете.

И мглистое утро окуталось тихим дождем.

Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

Или уж с моря вышли белоснежные ветровы сестры — Буря, Вьюга, Метель, и идут к нам сестры быстрой рекою, через озера, через гремучий ключ, по белому камню, по черным корням, по мхам и болотам, несут стужу с ненастьем и по пути подымают погоду и раздувают желтые листья.

— А где, Алалей, живут сестры?

— На море, где-то там, у Студеного моря. А давай, у оленя спросим!

Олень — вихорь-Олень стоял у сосны: увядала сосна, разломанная молнией в щепы.

— Оленюшка, — попросила Лейла, — расскажи нам о ветровых сестрах, о Буре, Выоге, Метели!

Знал Олень про сестер, и рассказал по-оленьи о сестрином море, и как зовут остров, и о царе Маруне.

Далеко на море — не на Студеном, на Варяжском —

есть острова Оланда — скалистый остров Бурь-бурун. Четыре рыбы держат остров: две одноглазые Флюндры и две крылатые Симпы. Царь Бурь-буруна, властитель Оланда — Марун. Трон его крепкий из алого мха, царский венец из лунного ягеля, меч и щит из гранита. Сидит царь Марун на острой скале высоко над морем, слушает волны. А вокруг его — змеи, над ним — альбатросы, и по морю мимо проплывают печальные белые бриги и шхуны. А он неподвижен на своем алом троне, лунный, как мох-ягель, пасть раскрыта — он слушает волны. Никто не взойдет на скалы, никто не ступит на берег, никто не обойдет весь остров, и только бесстрашный, вызывающий смерть, викинг Сталло, закованный в сталь, бросает бесстрашно якорь. А царь Бурь-буруна, властитель Оланда — Марун не видит ни печального белого брига, ни альбатросов, ни змей, ни викинга Сталло, слепой, он слушает волны. Далеко на море — не на Студеном, на Варяжском — есть острова Оланда — скалистый остров Бурь-бурун. Там и проводят летние дни белоснежные ветровы сестры Буря, Вьюга, Метель.

— Сестры уже вышли, плывут, веют ненастьем, — провещал вихорь-Олень.

— Я непременно хочу увидеть Маруна!

— Увидим, увидим, Лейла.

— И альбатроса, и бесстрашного викинга Сталло!

— Увидим, увидим, Лейла.

Куталось мглистое утро тихим дождем. Падали желтые листья.

Мглисто и тихо. Боже, как тихо!

1910 г.

РОЖАНИЦА

Укатилось солнце за горы. Зажглись на облаках звезды — ясные и тусклые по числу людей, рожденных от века.

А от Косарей по Становищу души усопших — из звезд светлее светлых, охраняя пути солнца, повели Денницу к восходу.

И сама Обида-Недоля, не смыкая слезящихся глаз, усталая, день исходив от дома к дому, грохнулась на землю и под терновым кустом спит.

Родимая звезда, блеснув, украсила ночное небо.

«Мать пресвятая, позволь положить тебе требу, вот хлебы и сыры и мед, — не за себя, мы просим за нашу Русскую землю.

«Мать пресвятая, принеси в колыбель ребятам хорошие сны, — они с колыбели хиреют, кожа да кости, галчата, и кому они нужны, уродцы? А ты постели им дорогу золотыми камнями, сделай так, чтобы век была с ними, да не с кудластой рваной Обидой, а с красавицей Долей, измени наш жалкий удел в счастливый, нареки наново участь бесталанной Руси.

«Посмотри, вон растерзанный лежень лежит, — это наша бездольная, наша убогая Русь, ее повзыскала Судина, добралась до голов: там, отчаявшись, на разбой идут, там много граблено, там хочешь жить, как тебе любо, а сам лезешь в петлю.

«Или благословение твое нас миновало или родились мы в бедную ночь и век останемся бедняками, так ли нам на роду написано: быть несуразными, дурнями — у моря быть и воды не найти?

«Огонь охватил нашу жатву, пылают нивы, на море бурей разбило корабль, разорены до последней нитки.

«Смилуйся, мать, посмотри, вон твой сын с куском хлеба и палкой бросил дом и идет по катучим камням куда глаза глядят, а злыдни — спутники горя, обвиваясь вкруг шеи, шепчут на уши: "Мы от тебя не отстанем!"

«Вещая, лебедь, плещущая крыльями у синего моря, мать земли — матерь земля! Ты читаешь волховную книгу, попроси творца мира, сидящего на облаках Солнце-Всеведа, он мечет семена на землю и земля зачинает и мир весь родится, — попроси за нас, за нашу Русскую землю, чтобы Русь не погибла!

«Нет нам места и не знаем, куда деваться от Кручины и Лиха?

«И если б нашелся из нас хоть один, кто бы ударил ее

топором или спустил в яму и закрыл камнем или бросил в реку или, защемив в дерево, забил в дупло или запрятал бы ее под мельничный жернов, худую, жалкую, черную долю — нашу злую судьбу!

«Мы отупели — и горды, мы не разрешили загадок — и покойны, все письмена для нас темны — и мы возносим свою слепоту... мать, повели им, всем праздным, всем забывшим тебя, забывшим родину, твою землю и долг перед нею, и пусть они потом и кровью удобряют худородную, истощенную, заброшенную ниву...

«И неужели Русской земле ты судила Недолю, — и всегда растрепанная, несуразная, с диким хохотом, самодовольная, униженная и нищая будет она пресмыкаться, не скажет путного слова?

«Мудрая, вещая, знающая судьбы, равно распределяющая свои уделы, подай нам счастье! Не страшна нам смерть, — мы клянемся тебе до последних минут жизни отдать все наши силы и умереть, как ты захочешь, — нам страшно твое проклятие.

«И посмотри, вон там молодая, прекрасная Лада, счастливая Доля, в свете зари словно говорящая солнцу: “Не выходи, солнце, я уже вышла!” — она нам бросает свою золотую нить.

«Мать пресвятая, возьми эти хлебы и сыры и мед с наших полей и свяжи нашу нить с нитью Доли, скуй ее с нашей, свари ее с нашей нераздельно в одной брачной доле навек!

1907 г.

БОЛИ-БОШКА

Тихо идут по последней тропинке...

Затор за нежданным затором встает в заповедном лесу.

В темную ночь им зóрит зарница. А далеко за осеком зреют хлеба.

Держатся крепко — рука с рукою. Кто-то немножко боится.

Страшно, глухо, заказано место, зарочна тропинка.

Трудно, пройдя через степь, через поле, через реку и речку, через болото, трудно выйти из темного леса.

Ватажится лешая свора: не хочет пускать, — так не отпустит!

А ягод, грибов — обору нет. Полон кузов несут.

Лесовик их не тронет. Лесовик приятель Водяному и Полевому. Водяной с Полевым им, как свои, — Лесовик их пропустит.

— Лесовик, Лесовик, на тебе ягод: ты — с леса, мы — в лес!

А завтра, когда забрезжит и, алея, дикая роза — друг-поводырь — пойдет, осыпаясь, прощаться, ранним-рано расколыхнется заветное Море — Море-Океан!

Тихо идут по последней тропинке...

Валежник и листья хрустят.

Тише! Вон и сам Боли-Бошка! — Почуял, подходит: набедит, рожон!

Весь измоделый, карла, квелый, как палый лист, птичья губа — Боли-Бошка, — востренький носик, самый рукастый, а глаза, будто печальные, хитрые-хитрые.

Была-не-была, — чур, не поддаваться! Заведет этот Лешка в зыбель-болото, где сам черт ощупью ходит. И позабыть им про Море.

— Не видали ли, где я сумку потерял? — кличет Боли-Бошка.

— Нет, не видали.

— Поищите! — просится Лешка, а сам дожидает.

— Что ты! — шепчет Алалей встрепенувшейся Лейле, — не знаешь его? Не нагибай так головку: у этого Лешки отродясь никакой и не было сумки. Это — нарочно. Вот ты нагнешься, искавши, а он тут-как-тут, да на шею к тебе, да петлей и стянет. И позабыть нам про Море.

Тесна, узка тропинка. Путает папоротник. Вспыхивает свети-цвет — волшебный купальский цветок.

— Хочешь, Боли-Бошка, ватрушку? — зовет желанная Лейла.

— Поищите, милые! — тянет свое Боли-Бошка: то пропадает, то станет, ничем его не прогнать, ничем не расшухать.

Тихо идут по последней тропинке...

Затор за нежданным затором встает в заповедном лесу.

В темную ночь им зорит зарница. А далеко за осеком зреют хлеба.

Держатся крепко — рука с рукою. Кто-то немножко боится.

— А Море, — бьется сердце у Лейлы, — а Океан не замерзает?..

— Нет, моя Лейла, оно никогда не замерзнет, не проволнует волна: море и лето и зиму шумит. Непокорное — песком его не засыплешь, не перегородишь. Необъятное — глубину не изведаешь и слезой не наполнишь. Море бездонно, бескрайно — обкинуло землю. А разыграется дикое — топит. А какие на Море водятся рыбы! Какие по Морю летают белогрудые птицы! И берегов не видать. А корабли один за другим уплывают неизвестно куда...

— И мы поплывем?

— И мы поплывем. Морского царя увидим, крылатого Змея увидим...

— А ежик, про которого дедушка сказывал, он нас не съест? — и глаза-ненагляды синеют, что море.

Скоро-скоро забрезжит. И пойдет, осыпаясь, прощаться дикая роза — друг-поводырь.

Легкий ветер уж веет. Там Моряна волны колышет.

И, ровно колокол бьет, Море — непокорное, необъятное Море-Океан.

1908 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОСОЛОНЬ

Стр. 5 — **Посолонь** — по солнцу, по течению солнца. Церковнославянское слънь (слонь), слънь-це (слоньце), древнерусское сълънь (солонь), сълънь-це (солоньце) — солнце, отсюда по-сълънь (посолонь) — по солнцу. На Спиридона-поворота (12 декабря) солнце пово-

рачивает на лето (зимний солоноворот) и ходит до Ивана-Купала (24 июня), с Ивана-Купала поворачивает на зиму (летний солоноворот).

Содержание книги делится на четыре части: весна, лето, осень, зима, — и обнимает собою круглый год. Посолонь ведет свою повесть рассказчик — «по камушкам Мальчика-с-пальчика», как солнце ходит: с весны на зиму.

1.

Стр. 9 — **Весна-красна.** Содержание Весны представляет мифологическую обработку детских игр (Красочки, Кострома, Кошки и Мышки), обряда кумовства — «крещения кукушки» (Кукушка) и игрушки (У лисы бал). Игры, обряд, игрушки рассматриваются детскими глазами, как живое и самостоятельно действующее.

Стр. 9 — **Монашек** — беленький монашек — вестник Солнца. Монашек ходит по домам и раздает первые зеленые ветки — символ народившейся Весны. Благовещение.

Стр. 10 — **Красочки** или Краски — игра. Играют в Красочки так: выбирают считалкой* (считают кому водить, т. е. быть главным лицом, начинать игру) Беса и Ангела, остальные называют себя каким-нибудь цветком; названия цветов объявляют Ангелу и Бесу, не говоря, кому какой цветок принадлежит. Ангел и Бес должны будут сами разобрать цветы. Сначала приходит Ангел, звонит, спрашивает цветок, потом приходит Бес, стучит, спрашивает цветок. Так, чередуясь, разбирают все цветы. Играющие составляют две партии — цветы Ангеловы и цветы Бесовы. Ангел приступает к исповеди, а Бес с своей партией искушает — рассмеивает. Вся игра в том и заключается, чтобы рассмеять: кто рассмеется, тот идет к Бесу.

Стр. 10 — **Красочки, краски** — цветок, цветы. Говорят: идти по красочки, собирать красочки. Хлеб в краске — время цветения хлебов.

Стр. 10 — **Вертушка** — те, кто вертится, кто на месте смирно минуты не посидит, непоседа, а также человек ветреный.

Стр. 10 — **Пузочко** — животик.

Стр. 11 — **Юлой юлят** — егозят; юла — волчок.

Стр. 11 — **Гуготня** — хохот, писк, шушуканье, прыск сорвавшегося долго сдерживаемого смеха, все вместе.

---

* Федя-Méдя
Съел медведя,
Продал душу
За лягушу,
Родивон
Выди вон.

Стр. 12 — **Рогача-стрекоча задавать** — выверты вывертывать Тут дело идет о Бесенятах рогатых. Известно, бесенята отскочат да боднут — такая у них игра. Рогач — ухват, рогачи — вилы. Стрекоча — стреконуть, скочить кузнечиком.

Стр. 12 — **Да бегом горелками** — играющими в Горелки.

Стр. 12 — **Бес-зажига** — зачинатель; зажиг — зачин.

Стр. 13 — **Кострома** — игра. Выбирают Кострому или кто-нибудь из взрослых разыгрывает Кострому, остальные берутся за руки, делая круг. В середку круга сажают Кострому и начинают ходить вкруг нее хороводом. Из хоровода кто-нибудь один (коновод или хороводница), а не все, допытывает у Костромы, что она делает? Кострома отвечает. — Кострома делает все, что делает обыденно: Кострома встает, умывается, молится Богу, вяжет чулок и т. д. и, как всякий, в свой черед умирает. И когда Кострома умирает, ее с причитаниями несут мертвую хоронить, но дорогой Кострома внезапно оживает. Вся суть игры в этом и заключается. Окончание игры — веселая свалка.

Похороны Костромы, как обряд, совершался когда-то взрослыми. В Русальное заговенье на Всесвятской неделе (воскресенье перед Петровками) или на Троицу и Духов день делалось чучело из соломы и с причитаниями чучело хоронилось — топили его в реке или сжигали на костре. Кострому изображала иногда девушка, ее раздевали и купали в воде. В Купальской обрядности рядом с куклой-женщиной (Купало, Марина — Марена) употреблялась и мужская кукла (Ярило, Кострома, Кострубонько) Миф о Костроме-матери вышел из олицетворения хлебного зерна: зерно, похороненное в землю, оживает на воле в виде колоса. См. *Е. В. Аничков*, Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. СПб., 1903–1905.

Стр. 13 — **Кострома** — костерь — жесткая кора конопли, костер.

Стр. 13 — **Лепуны-щекотуньи** — прозвище детворе. Лепуны — лепетать, лопотать: лепает — говорит кое-как.

Стр. 13 — **Чувыркают-чивикают** — воробьиное щебетанье. В песне говорится:

Как на крыше, на повети,
Воробей чувыркал...

Стр. 14 — **Бросаются все взахлес** — один за другим безостановочно. Наседая, вцепляются в Кострому удавкой, — так, что ей уж никакими силами не выбраться из петли детских рук.

Стр. 15 — **Проходят калиновый мост** — калина — символ девичьей молодости; ходить по калиновому мосту — предаваться беззаветному веселью.

«Ой, нагнала лета мои на калиновом мосту; ой, вернитеся, вернитеся хоть на часок в гости!»

Стр. 15 — **Зеленей зеленятся** — зеленятся озимью; зеленя — озимь, зель в противоположность яровому (яри).

Стр. 15 — **По черным утолокам.** Толока — пар, пустое поле.

Стр. 15 — **По пробойным тропам** — по торным тропам. Пробой — выбоина.

Стр. 15 — **Гиблое болото** — губящее, где погибло много народа.

Стр. 15 — **Леснь-птица** — мифическая птица, живет в лесу, там и гнездо вьет, а уж начнет петь, так поет беспросыпу. В заговоре от зубной боли «от зуб денной» говорится: «Леснь-птица умолкает, умолкни у раба твоего зубы ночные, полуночные, денные, полуденные...» Леснь-птица — птица лесная, как леснь-добыча — лесная добыча.

Стр. 15 — **Егорий кнутом ударяет.** — Св. Георгий — скотопас, все звери у него под рукою. Егорий вешний — 23 апреля.

Стр. 16 — **Кошки и Мышки** — игра известная. Выбирается Кошка и Мышка. Остальные берутся за руки и делают круг. В круг (на кон) пускается Кошка, а за кругом (за коном) бегает Мышка. У Кошки и у Мышки имеются условленные свои ворота, через которые можно им входить и выходить: одни пары играющих подымают руки только для Кошки, другие только для Мышки. Вся игра в том, чтобы Кошка поймала Мышку.

Стр. 16 — **Тащили кулек с костяными зубами** — есть такое поверье; когда у детей выпадает зуб, следует его бросить под печку мышкам, говоря: «На тебе мышка зуб костяной, а дай мне железный».

Стр. 16 — **Заячьи ушки** — название ландышей.

Стр. 16 — **Громовая стрелка** — чертов палец, сплав, который образуется от удара молнии в песчаную почву. Эта Громовая стрелка ведет мену с мышками: за зуб костяной дает зуб железный. А уж мышки потом детям раздают. Вот почему мышки к Громовой стрелке и пробираются с кульком.

Стр. 16 — **Свистуха** — непоседа.

Стр. 16 — **Кот-Котонай** — Котофей. В песне:

Уж ты кот-котонай,
Уж ты серенький коток,
Кудреватенький.

Стр. 17 — **Строковат** — строка, насекомое из породы слепней, липнет к котам и кусает больно.

Стр. 18 — **Гуси-Лебеди** — игра. Выбирается Мать-гусыня и Волк. Остальные играющие, изображая стадо, бегут на выгон в поле. Потом, когда на зов матери гуси собираются домой уходить, все они перенимаются волком. Мать идет выручать гусей и, найдя своих, нападает на Волка. Топят баню и моют Волка. Развязка самая шумная.

Стр. 18 — **Черти бились на кулачки** — предрассветный сумрак — лисья темнота (полночь).

Стр. 18 — **Рай-дерево** — название сирени.

Стр. 19 — **Томновать** — томность, томный, — тосковать.

Стр. 19 — **Девки-пустоволоски** — простоволоски, с непокрытой головой.

Стр. 19 — **Бабы-самокрутки** — окрутившиеся своей волей, — ведьмы.

Стр. 19 — **одолень-трава** — одолей трава — приворотная, одолевающая.

Стр. 19 — **водяники** — водяницы, русалки, утопленницы.

Стр. 20 — **Кукушка.** — Можно заметить, что обрядовые действия, вырождаясь у взрослых, переходят к детям в виде игры. Так древние обряды Ивановского кумовства (на Ивана Купала) с завиванием венков, с сплетением травы, волос, с поцелуями и песнями перешли в игру «Крещение кукушки». Крестят кукушку на Николин день или на Вознесенье, на Семик и Троицу. Гурьбой отправляются дети в лес или рощу. Дорогой, отыскав траву-кукушку, наряжают ее девочкой, а другую траву-кокуна мальчиком, обе травки кладут под березу, на сук вешают крест-тельник и, став друг против друга под крестом, кумятся: протягивают одна другой руку и, поцеловавшись, переменяют место, так трижды. Потом раскладывают костер и готовят яичницу. Иногда на кумовстве завивают венки, через венки целуются, потом пускают венки на реку.

Стр. 20 — **прилетел кулик из-за моря** — кулик прилетает 9 марта, на святые Сороки, на сорок мучеников. В этот день пекут жаворонков.

Стр. 20 — **кукушечье-горюшечье** — кукушка — символ тоскующей женщины.

Стр. 20 — **виловатая сосна** — развилистая.

Стр. 20 — **на красе** — на басе, так что все только и любуются.

Стр. 20 — **гора-круча** — обрывистая гора.

Стр. 21 — **Кукушка, кукушка, сколько годов мне осталось жить?** — Кукушка почитается имеющей влияние на судьбу человека, по ее голосу можно узнать сколько, лет осталось жить.

Стр. 21 — **Ворогуша** — веснуха, одна из сестер-лихорадок, она садится в виде белого ночного мотылька на губы сонного и приносит ему болезнь. Ворогуша — ворогуха — ворожея. В Орловской губ. больного купают в отваре липового цвета. Снятую с него рубаху больной должен ранним утром отнести к речке, бросить ее в воду и промолвить: «Матушка-ворогуша! на тебе рубашку с раба Божьего, а ты от меня откачнись прочь!» Затем больной возвращается домой молча и не оглядываясь.

Стр. 21 — **в петушках** — Петушки — цветы травы, поднимающиеся из листа, будто петушиная шейка. Если взять траву и, зажав ее в

ладонях, приложить губы к большим пальцам и дуть, то можно прокукарекать не хуже молодого петуха.

Стр. 21 — **чирюкан** — сверчок, кузнечик.

Стр. 21 — **У лисы бал** — деревянная игрушка. Десять фигурок укреплены на скрещении сдвигающихся и раздвигающихся дощечек — дранок. Когда дощечки раздвинуты, получается ряд фигурок: 1 — 2 — 1 — 2 — 1 — 2 — 1, а когда сдвинуты: 3 — 3 — 3 — 1. Читать надо строго, любовно и важно. Там, где звери собираются и переходят ров и вал, надо напустить страха: «сам с усам, сам с рогам». Рисунок художника *М. В. Добужинского*: «У лисы бал», воспроизведен в «Золотом руне». Музыка к тексту — *В. А. Сенилова.*

2.

Стр. 23 — **Лето красное.** Содержание Лета представляет: мифологическую обработку детской игры (Калечина-Малечина), обряда опахивания (Черный петух), купальской ночи (Купальские огни), грозной воробьиной ночи (Воробьиная ночь), обряда завивания бороды Велесу, Илие, Козлу (Борода), легенды о Костроме. Сюда же входит рассказ «Богомолье» о Петьке.

Стр. 23 — **Калечина-Малечина** — игра. Играют так: берут палочку, ставят торчком на указательный палец и, стараясь удержать ее, приговаривают: «Калечина-Малечина, сколько часов до вечера?» И сам же держащий палочку отвечает: «Один, два, три, четыре...» На каком часе палочка с пальца свалится, столько часов, выходит, и остается до вечера.

Калечина-Малечина — тоненькая, как палочка, об одном глазе, об одной руке и об одной ноге. Калечина-Малечина — лесная. Братья ее — семь ветров, а восьмой — витной вихрь — ее друг сердечный, который и бьет ее, и треплет, и неверен, постылый. Целую ночь гуляет Калечина в лесу, а на день где-нибудь в плетне сидит и ждет вечера, чтобы снова трепаться. И всякому, кто только ни спросит ее о вечере, непременно скажет: так ждет она с нетерпением вечера. Музыка к тексту написана *В. А. Сениловым.*

Стр. 23 — **Курица со двора, Калечина в ворота** — с рассветом важно выступает курица из ворот на улицу, открывая день. Калечина, прогулявшая ночь, измызганная сигает в ворота.

«Ку-ри-ца со дво-ра»... — эту фразу надо читать медленно и важно с приподнятой головой, изображая медлительностью курицын выход, и, сделав небольшую паузу, скороговоркой продолжать: «Калечина в ворота».

Точно так же и последние две фразы: «Ку-ри-ца в во-ро-та, — Калечина со двора».

Стр. 24 — **вихорь витной** — свивающий, скручивающий.

Стр. 24 — **вир** — водоворот, крутень.

Стр. 24 — **темную нитку прядет** — ночь, ткущая темную ткань — древний образ ночи, встречающийся в Гимнах Вед.

Стр. 24 — **Черный петух** — сожжение черного петуха относится к обряду опахивания — очищения села от болезни и нечисти. Подробное и сравнительное исследование этого обряда в книге проф. *Е. В. Аничкова* Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян. Ч. I и II. СПб., 1903—1905.

Стр. 24 — **черный петух** — поглощает все болезни и нечисть, — символ всех зол и напастей и самой Смерти в противоположность не черному — будимиру, который является символом воскресения, солнца.

Стр. 24 — **от недели до недели** — с воскресенья до воскресенья, с седмицы до седмицы.

Стр. 24 — **алатырное** — бледно-янтарное; алатырь — легендарный краеседмицы угольный камень.

Стр. 24 — **пчелка несет праздники** — воск для церкви и мед для пиров.

Стр. 24 — **Коровья смерть** — чума на скот.

Стр. 24 — **Веснянка-Подосенница** — весенняя и осенняя лихорадка.

Стр. 25 — **Подтынница, Навозница, Веретенница, Болотница** и др. — названия сорока сестер-лихорадок.

Стр. 25 — **носить змеиного выползка** — помогает от лихорадки; носить надо месяц, не снимая ни на ночь, ни в бане; выползок — змееныш, выползший из норы.

Стр. 25 — **спорыши** — петушиные яйца, если петух возьмется яйца нести.

Стр. 25 — **стряпает из ребячьего са́ла свечу** — этой свечой можно усыпить; когда такая свеча зажжена, бери все, что угодно, никто не проснется; сало надо обязательно из живого человека.

Стр. 25 — **золотой гриб** — помогает от всех болезней.

Стр. 25 — **курник** — курятник.

Стр. 25 — **мутовка** — палочка с рожками на конце для пахтанья, взболтки и чтобы мешать.

Стр. 25 — **с горящим угольком** — очистительная сила дыма.

Такое же значение имеют качели.

Стр. 25 — **шумя и качаясь** — очистительная сила огня.

Стр. 25 — **назем** — навоз.

Стр. 26 — **на месяце подымал на вилы Каин Авеля** — народное объяснение лунных пятен.

Стр. 26 — **дыхал гарным петушиным духом** — горелым, пережженным, выжженным огнем, гарью.

Стр. 26 — **надел на Алену хомут** — испортил, наслав грудную болезнь: одышку, удушье.

Стр. 27 — **шаландать** — шататься, шалить; шаланда — парусное судно.

Стр. 27 — **вольготно** — хорошо, легко, удобно, свободно.

Стр. 27 — **умора** — умора да и только, т. е. такое состояние, при котором умираешь со смеха.

Стр. 28 — **Купальские огни** — канун Иванова дня, с 23 на 24 июня.

Стр. 28 — **солнце заскалило зубы** — черт дочку замуж выдает, — так говорится, когда светит солнце и в то же время идет дождь.

Стр. 28 — **чарая** — носящая в себе чары.

Стр. 28 — **навье, навы** — мертвецы, покойники, выходцы с того света; нава — смерть.

Стр. 29 — **Криксы-вораксы** — мифическое существо, олицетворение детского крика. Если ребенок кричит, надо нести его в курник и, качая, приговаривать: «Криксы-вораксы! идите вы за крутые горы, за темные лесы от младенца такого-то». Крикса-плакса. Варакса-пустомеля. Вараксать — вахлять, валять.

Стр. 29 — **зарочные три головы** и т. д. — зарекать, запрещать. Обыкновенно клады зарывались с зароком, чтобы, скажем, погибло три человека и сто воробьев и тогда пускай дается клад в руки.

Стр. 29 — **кулички** — кулича, выкорчеванный лес; поговорка возникла при первом корчевании, когда на таких выселках поселялись, и имела в виду отдаленность. См.: *С. Максимов*. Крылатые слова. СПб., 1890.

Стр. 29 — **чокнется** — чек, бух, хлоп, стук, бряк, шлеп — звук удара.

Стр. 29 — **дуб-сорокавец** — древний дуб.

Стр. 29 — **Скоропея** — скорпий, идол Скоропит, Scorpio.

Стр. 29 — **гуш-гуш, хай-хай!** — восклицание на отогнание Беса.

Стр. 29 — **облом** — нечистый, дьявол.

Стр. 29 — **неподтыканный** — независимый и неприкосновенный: Трон-ка, попробуй, он тебе даст!

Стр. 29 — **с мухой в носу** — колдун. В Белоруссии о колдуне говорят: «у него мухи в носе». Нечистая сила охотно превращается в мух. Выражение про человека, что он «с мухой», означает, что тот человек находится в опьянении. Водка — кровь Сатанина. См.: *П. Тиханов*, Брянский говор. Сборник Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. Наук. Т. LXXVI. № 4.

Стр. 30 — **приходи вчера** — говорит против действия живой злоехидной силы. См.: *С. Максимов*. Крылатые слова.

Стр. 30 — **тихим походом** — ходом.

Стр. 30 — **обрада** — желанный.

Стр. 30 — **сорока-щектуха** — щекотуха. В одном заговоре говорится: «от всякой злой птицы, сороки-щектухи, от черного ворона».

Стр. 30 — **тихой поплыней** — тихо плывя.

Стр. 30 — **Вытарашка** — олицетворение любовной страсти, лишающей человека рассудка: ее ничем не возьмешь и в черную печь не угонишь, как выражается один заговор на присуху. См.: *Д Зеленин.* Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию. Сборник Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. Наук. Т. LXXVI. № 2. Вытырашка — также название вечно тревожащегося, мечущегося человека.

Стр. 30 — **Воробьиная ночь** — так называется грозная ночь с сплошною молнией, когда лишь под утро разражается ливень.

Эта ночь представляется воробьиной свадьбой, на которой невеста — воробушка перед венцом причитывает.

Стр. 30 — **копы** — копны.

Стр. 31 — **в заводях** — заводь, затон. — мелкий речной залив.

Стр. 31 — **воробушки** — олицетворение молний.

Стр. 31 — **Кузнец Кузьма-Демьян.** Брак представляется ковкою.

Стр. 31 — **узлюлекнула** — воскликнула, возрыдала.

Стр. 31 — **до-любви** — досыта, до полного удовольствия.

Стр. 31 — **засвирило все небо** — застонало.

Стр. 32 — **перекати-поле** — название растения; иначе — бабий ум, кучерявка.

Стр. 32 — **не разжалила** — не разжалобила.

Стр. 32 — **гнездо ремезово** — за искусство вить гнездо ремез зовется первой пташкой у Бога; гнездо кошелем.

Стр. 32 — **догорела страстная свеча** — четверговая, зажигается во время грозы, чтобы оградить дом от молнии.

Стр. 32 — **поросятки-викуны** — викать, визжать.

Стр. 32 — **в падалках** — в упавших с дерева фруктах-скороспелках.

Стр. 32 — **Борода.** — «Завивание бороды» Велесу (Волосу), Спасу Илье, Николе или Козлу — древний жатвенный языческий обряд, совершавшийся в последний день жатвы, называемый дожинками, зажинками, обжинками. См.: *А. Н. Афанасьев.* Поэтические воззрения славян на природу. М., 1866—1869. Т. II. На Ильин день — 20 июля начинают зажинать рожь. Связь зажинок с Козлом *А. А. Потебня* (Объяснения малорусских и сродных народных песен. Варшава, 1887) объясняет тем, что по распространенному верованию почти всех европейских народов «душа нивы есть козло — или козообразное существо (как фавн, Сильван), преследуемое жнецами и скрывающееся в последний несжатый пук колосьев или в последний сноп».

Стр. 32 — **ильинский олень окунул рога в речке** — по народному поверью на Ильин день прибегает к реке олень и мочит свои рога и оттого вода холоднеет.

Стр. 32 — **на все прилучья** — на все случаи.

Стр. 32 — **скоро-им-в-путь-опять** — такая же птичья скороговорка, как перепелиное: «спать-пора!» или «пить-пийдем!»

Стр. 33 — **на красное годье** — время.

Стр. 33 — **Нивка, отдай мою силу!** — «Нивка-нивка! отдай мою силку, что я тебя жала, силку роняла!»

Стр. 33 — **Пригудка** — прибаутка.

Стр. 34 — **горкуя голубем** — воркуя голубем.

Стр. 34 — **от четырех птиц — железных носов** — в одном охотничьем заговоре говорится: «стоит в чистом поле дуб, на том дубе четыре птицы — железные носы».

Стр. 34 — **из-за темных каточин** — ложбин.

Стр. 34 — **Купена-лупена** — волчья трава, сорочьи ягоды.

Стр. 34 — **Выдрик-зверь.** — Индрик-зверь — мифический зверь Индра, ходит под землею, как солнце на небе.

В Голубиной книге рассказывается об этом звере, о властителе подземелья и подземных ключей, а так же, как о спасителе вселенной во время всемирной засухи, когда он рогом выкопал ключи и пустил воду по рекам и озерам. Индрик угрожает своим поворотом всколебать всю землю. Так рассказывается о нем в древних стихах, но в более поздних христианских зверь укрощен: он живет семьянином и молится Богу, а от поворота его колышется только его родная гора да кланяются ему прочие звери. Индрик-зверь — мать зверям. См.: *П. А. Бессонов.* Калики перехожие. М., 1861. Т. I.

Стр. 34 — **Кикимора** — существо проказливое, озорное. На севере любят Кикимору, и она дурного ничего не делает, там она почетная гостья; без нее и пир не в пир. На юге другое, там она родная сестра Полудницы, а Полудницы не очень-то ласковы. Встретишь Полудницу, она тебе загадку загнет, да такую, что век не разгадаешь. Ну и пропал, — защекочет до смерти. См.: *Буслаев Ф. И.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861; *И. П. Сахаров.* Сказания русского народа. СПб., 1885.

3.

Стр. 35 — **Осень темная.** Содержание Осени: богатая осень — «бабье лето», рассказ «Змей», обряд «Разрешение пут», Заплачка невесты; протяжная осень — «Троецыпленица», сказки «Ночь темная» и «Снегурушка».

Стр. 35 — **Бабье лето** — начало осени с Семенова дня по Аспосов день (с 1 — 8 сентября), вообще же бабьим летом зовутся теплые ясные дни осени.

Стр. 35 — **расторопица** — распутица, осенние и весенние грязи.

Стр. 35 — **сырым серебром** — старинное народное определение; «сыро серебро, сухо золото».

Стр. 35 — **Едет по полю Егорий** — Св. Георгий разъезжает на белом коне и раздает зверям наказы. Егорий холодный — 26 ноября (Юрьев день).

Стр. 35 — **Вылынь** — вылынать, выплывать.

Стр. 36 — **гомон** — гом, гам, громкий говор, крик, шум.

Стр. 36 — **житье-бытье испроведывать** — узнать, доведаться.

Стр. 37 — **по-темному** — несправедливо.

Стр. 37 — **таратора** — тараторить — без умолку говорить; звукоподражательное слово.

Стр. 37 — **смертную рубашку** — рубашку на смерть, в которой в гроб лечь.

Стр. 37 — **батюшка-печерник** — в пещере живет.

Стр. 38 — **не выведешь монашкой** — монашка — угольная курильная свечка, зажигается эта свечка, чтобы воздух прочистить.

Стр. 38 — **пострел** — постреленок — непоседа, повеса, сорванец, сорви-голова.

Стр. 38 — **гулена** — праздный, шатун.

Стр. 39 — **хвост зачиклечился** — если нитка или хвост бумажного змея за что-нибудь заденет и застрянет.

Стр. 39 — **Разрешение пут** — северный обряд, олонецкий.

Стр. 39 — **Пунтилей** — св. Пантелеймон.

Стр. 40 — **Плача.** — Плач девушки перед замужеством, — с зырянского. См.: *Г. С. Лыткин.* З ы р я н с к и й к р а й п р и е п и с к о п а х п е р м с к и х и з ы р я н с к и й я з ы к. СПб., 1889.

Стр. 41 — **Троецыпленица.** Троецыпленица — курица, высидевшая три семьи цыплят — по три года парившая. Существует поверье, что такого рода курицу нужно непременно зарезать, причем есть ее могут только «честные» вдовы. На обед с троецыпленицей допускается всего один мужчина, да и тому голову завязывают по-бабьи. Обряд «моления кур» — троецыпленица справляется 1 ноября в день Косьмы и Дамиана, — в курьи именины. См.: *Д. Зеленин.* О т ч е т о д и а л е к т о л о г и ч е с к о й п о е з д к е в В я т с к у ю г у б е р н и ю.

Стр. 41 — **с дерева листье опало** — опадение листьев — символ разлуки, потери.

Стр. 42 — **не состояться воде** — не просветлеть, не успокоиться.

Стр. 42 — **очертя голову** — отчаянно.

Стр. 42 — **без прилуки** — без приманки.

Стр. 42 — **бедовое время** — отчаянное время. Бедовое в таком же значении, как «бедовый человек».

Стр. 42 — **в свины-поздни** — поздно.

Стр. 42 — **трубой ввалились** — разом.

Стр. 42 — **Хватавщина** — «хлебные панихиды», во время которых на особый столик кладутся блины и другие съестные приношения «на алчного, на жадного, на хватущего». По окончании церковного служения «алчные, жадные и хватущие» устремляются к столику и расхватывают приношения, кто сколько может.

Стр. 42 — **Семик** — древний праздник, празднуется в четверг на седьмой неделе по Пасхе; вся неделя называется Русальная, Зеленая, Клечальная. Вдовы на Семик собирают прошлогодние уцелевшие цветы. См.: *Д Зеленин.* Отчет о диалектологической поездке в Вятскую губернию.

Стр. 43 — **разводили бабы бобы** — канителились.

Стр. 43 — **алалакают** — причитают.

Стр. 43 — **Ночь темная.** В этой сказке об Иване-царевиче и царевне Копчушке воспроизводится мотив о живом мертвеце, мотив очень древний, восходящий к древнеклассическому сказанию о Протозилае и Лаодамии. В русской литературе через Бюргеровскую Ленору этот мотив разработан Жуковским в Людмиле, а в новейшее время Федор Сологуб воспроизводит его в трагедии «Дар мудрых пчел» (*Собрание сочинений.* Изд. Шиповник. Т. VIII).

Стр. 44 — **хунды** — лихорадки (Белоруссия).

Стр. 44 — **гавкала** — тявкала, брехала, лаяла.

Стр. 44 — **Шандырь-шептун** — колдун. Шандырь употребляется в детской считалке: «Шандырь-бандырь козу гнал, немец курицу украл и т. д.».

Стр. 44 — **Пери да Мери, Шуды да Луды** — знакомые из считалки:

Перя-меря.
Шуда-луда.
Пята-сота.
Ива-дуб.
Клен кре.

Стр. 44 — **Кок-кокоряшка** — тоже из считалки:

Свистень-перстень.
Кок-кокоряшка
Сизянка-полянка.
Кол-семикол.
О полицу лбом.

Стр. 44 — **стрекал** — сшибал, так что трескало.

Стр. 45 — **«с гуся вода, с лебедя вода...** а с тебя, мое дитятко, вся худоба на пустой лес, на большую воду». (Спрыскивание водой от глаза).

Стр. 45 — **украла язык** — испортила, сделала так, что Коза, подательница плодородия, уж не могла ничего говорить. Чтобы украсть у

кого-нибудь язык, нужно только хватиться (прикоснуться) безымянным пальцем к сучку в половице или в стене, говоря заклинание.

Стр. 45 — **гремуч вир** — гремящий омут.

Стр. 45 — **чертов лог** — чертов овраг.

Стр. 46 — **ам!!! — съел.** — Эту фразу надо прочитать так, чтобы действительно слушатели забоялись, а для этого следует подготовлять предыдущими фразами и сразу после паузы: «ам!!!»

4.

Стр. 48 — **Зима лютая.** Зимнее время долгое, — не очень побегаешь. Пришла Снегурушка, принесла первый белый снег, а за нею мороз идет. И наступило на земле царство Корочуново с метелями и морозами — «Корочун». Кот Котофей Котофеич любит сказки рассказывать в зимнее время, вспоминать приятелей; «Медведюшка», «Морщинка», «Пальцы», «Зайчик Иваныч», «Зайка». Все заканчивается медвежьей колыбельною песней.

Стр. 48 — **Корочун** — зимний дед — мороз. — Древнерусское название зимнего Солоноворота (12 декабря), время от 15 ноября до Рождественского сочельника. Древнерус. карачунъ, корочунь, корочюнъ; малорус, керечун, — от крачити, кракъ — шаг, нога. Этот самый дед Корочун, оказывается, по словам румынской колядки, приютил Божию Матерь с Младенцем у себя в хлеву. См.: *Акад. А. Н. Веселовский.* Разыскания <в области русского духовного стиха. СПб., 1883. Вып.> VI–X.

Стр. 48 — **дунуло много, — буйны ветры** — дунуло много ветров, — буйны ветры.

Стр. 48 — **вдарило много, — люты морозы,** — вдарило много морозов, — люты морозы. Такие опущения встречаются в народных русских песнях.

Стр. 48 — **драковитый дуб** — развилистый.

Стр. 48 — **ветренник** — шаловливый ветер, он румянит щеки и вешает сосульки на бороды и усы; если в студеное время отворить дверь наружу, так он тут-как-тут — заклубится паром.

Стр. 48 — **злющие зюзи** — трескучие морозы, зюзи — морозы (Белоруссия).

Стр. 48 — **без попяту** — не спячиваясь, не устремляясь на попятный.

Стр. 48 — **без завороту** — не возвращаясь, не оборачиваясь.

Стр. 48 — **секнет** — лопнет, отскочит в стороны.

Стр. 49 — **на голодную кутью** — 5 генваря в Крещенский сочельник. На эту кутью (кутья бывает еще в Рождественский сочельник — постная, и под Новый год ласая или щедрая или богатая) чествуется

Корочун. Выбрасывая Корочуну за окно первую ложку, зовут кутью есть, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой и не губить посевов.

Стр. 57 — **Морщинка.** Эту сказку я слышал от старухи-няньки.

Стр. 63 — **Пальцы.** В основу сказки положен южнославянский миф. См.: *И. А. Бодуэн-де-Куртенэ.* Материалы для южнославянской диалектологии и этнография. II. Образцы языка на говорах Терских Славян в северо-восточной Италии. Сборник Отд. Рус. яз. и Словес. Имп. Акад. Наук. Т. LXXVIII. № 2. СПб., 1904.

Стр. 63 — **Зайчик Иваныч.** Есть известная народная сказка о трех сестрах. Рассказывали мне ее в Сольвычегодске.

Стр. 71 — **Зайка.** У детей глаза подслеповато-внимательные. Для них нет, кажется, ни уголка в мире незаполненного, все вокруг кишит жизнями, которые позже, по мере сознательности, или рассеятся или уж сядут на свои твердо определенные места. Не отделяя сна от бодрствования, дети мешают день с ночью, когда руководит ими не мама и нянька, а Сон. Всякую ночь Сон приходит к кроватке и ведет их гулять на свои поля к своим приятелям. Знакомые лица игр и игрушек ночью живут самой полной жизнью, и это отражается на отношении детей к предметам в дневной жизни, когда они кушают. Среди бела дня вдруг покажется Кострома, а станет солнце закатываться, глядишь, и Буроба с своим мешком тащится, а уж когда совсем смеркнется и где-нибудь в углу червячок зашевелился, станет расти — и ко сну клонить начинает.

Стр. 72 — **Лягушка-квакушка с отбитой лапкой** — фарфоровая лягушка с отбитой лапкой.

Стр. 72 — **Зародыш** — такой из пузыря человек, когда его надуешь, распухнет, но когда воздух выйдет, то, пискнув, он свернется в гадкую раскрашенную пленку.

Стр. 72 — **пупки Кощея** — бульдегом. Коробка — 25 коп. Самое любимое кушанье детей — вареный куриный пупочек, и на конфеты сладкие переносится название пупочков.

Стр. 72 — **Кучерище** — игрушка щелкун. Сидит такое чудище с разинутым ртом, а перед ним коробка с ручкой, если вертеть ручку, то вылезает из нее человечек и прямо в пасть. И сколько бы ни вертеть, человечек все вылезает, а чудище, знай, его проглатывает. Такая игрушка изображена в *Азбуке* Александра Н. Бенуа. Изд. Экспедиции заготовления государств. бумаг. СПб., 1905.

Стр. 73 — **Васютка, сынишка Кучерищев** — ветер в трубе.

Стр. 75 — **птица Гагана** — мифическая птица, которая дает птичье молочко, гага. Гаганить — гоготать.

Стр. 75 — **слепышка Листин** — в лесу живет, весь из листьев. Есть

и Листина баба — игрушка: туловище сделано из мха, а вместо рук еловые шишки, на ногах настоящие лапотки.

Стр. 76 — **Медведь с Мужиком** — деревянная игрушка. На двух палочках укреплены Медведь и Мужик, а между ними наковальня. Если двигать палочки в разные стороны, то попеременно Мужик и Медведь ударяют молотком по наковальне. Игрушка изображена в *Азбуке* Александра Н. Бенуа.

Стр. 79 — **мороками** — мрачно, себе на уме.

Стр. 82 — **завязывать ножку у стола** — такая есть примета: чтобы поскорей найти потерянное, надо завязать ножку у стола, и потерянная вещь найдется.

Стр. 86 — **два козла-барана** — деревянная игрушка, сделанная по образцу Медведь и Мужик.

Стр. 86 — **заартачилась** — заупрямилась.

Стр. 89 — **афта** — краска, которой пишутся автопортреты по толкованию Зайки.

Стр. 89 — **Медвежья колыбельная песня** — с латышского. Хорошо читать колыбельные песни, напевая (мурлыкая). Весною 1906 г., когда я писал Посолонь, мне приснился «удалой воин небаюканный, нелюлюканный». Весь закованный подходил он ко мне, и я слышал, как в стуке шагов его напевалась колыбельная песня медвежья. Мотив для этой колыбельной песни запомнился мне из моего сна.

Под которыми произведениями года не подписано, читай: 1906-й.

К МОРЮ-ОКЕАНУ

Стр. 91 — **К Морю-Океану.** — Алалей и Лейла, герои моей поэмы, задумав думу идти к Морю-Океану, насушили себе сухариков, съели по ложке змеиной каши, чтобы понимать язык зверей, птиц и цветов, и вышли по весенней заре в путь. Идут они по земле странниками, над головою у них солнце, луна и звезды, — ищут они, где Море-Океан. Их путь лежит не волшебными странами и не широкими реками, а темными лесами, дремучими борами, калинниками, черемушниками, болотами, поточинами, водотопинами, полями, речками, узкими тропками — мышиными норами, змеиными тропами. Целый ряд приключений ожидает их в пути: то попадают они к Волку-Самоглоту в брюхо и, сидя в плену у Самоглота, много видят в окошечко, что творится в Божием мире весеннею ночью, когда пробуждаются все земляные силы и подземные, а также слышат много разговоров и разных чертячьих сказок, то попадают они к Белуну в избушку и живут неделю у белого деда, дружат с его пчелою, как с сестрицею. Наступает лето, застигают их грозы, хоронятся они под кустиком, и тут же под кусти-

ком, оказывается, заяц-единоух прячется, и узнают они от единоуха-зайца о житье-бытье зверином, потом встречают росомаху и отыскивают старого Слона Слоновича. Позднею осенью забредают они в избушку Вия. А от Вия попадают в Кощеево царство к Копоулу Копоулычу. Копоул приходится сватом и кумом Котофею Котофеичу. Перезимовав у Копоула, идут они дальше по дорогам к Морю-Океану, глазея и расспрашивая, брат и сестра, отец и дочь, жених и невеста. В конце второго лета, исходив родную землю вдоль и поперек, добираются они до заветной тропинки и в звездной ночи среди последних страхов слышат шум Океана, — уж близко шумит Море-Океан.

Стр. 93 — **Котофей Котофеич** — тот самый кот, который беленькую Зайку выходил. (См. сказку «Зайка» в Посолони). После всяких любопытных странствий по белому свету Котофей осел в башне, в которой жил Алалей с Лейлой. Как попали в башню Алалей и Лейла, сами они об этом ничего не знают. Надо думать, что владетели башни — Тигр на железных ногах либо Птица с одним железным клювом на тонкой шее, без головы; кто-нибудь из них принес в башню Алалея и Лейлу, вынув из колыбели, повешенной в лесу. (См. «Медвежью колыбельную песню» в Посолони).

Стр. 93 — **Алалей и Лейла.** Лейла — имя арабское, означает ночь, Алалей — такого нет имени. Так в детских губках двухлетней русской девочки прозвучало в первый раз имя Алексей.

Стр. 94 — **Коза-лубяные-глаза** — та самая Коза, которая жила в башне у царевны Копчушки и у которой ведьма Соломина-Воромина «украла язык». (См. сказку «Ночь темная» в Посолони). Коза Копчушкина вовсе не пропала, как думали, Коза, отыскав свой козий язык, наколобродив, попала, как и Котофей, в башню Тигра и Птицы.

Стр. 99 — **Волк-Самоглот** — сказку о Волке-Самоглоте см. у *А. Н. Афанасьева*: Народные русские сказки. М., 1887. Т. II.

Стр. 104 — **Весенний гром** — когда гремит гром, ангелы по мосту едут, — народное поверье.

Стр. 104 — **птица Главина** — главина птица — третий ангельский чин Начала, ангелы, низводящие дождь на землю.

Стр. 105 — **Ремез — первая пташка** — колядки о птице Ремезе см. в *Объяснениях* А. А. Потебни (Варшава, 1887). Птица очень чтимая, гнездо ее надевали под шлем, как ограду от пули. За искусство вить гнездо величается Ремез первой у Бога.

Стр. 105 — **Заяц единоух, певучая Лисица, лютый Зверь** — игрушки, на Арбате продаются в Москве.

Стр. 107 — **Белун.** — См.: *А. Н. Афанасьев.* Поэтические воззрения. М., 1886–1869.

Стр. 107 — **Собачья доля** — см. легенду о собаке у *А. Н. Афанасьева.* Народные русские легенды. М., 1859. *П. Н.* Из об-

ласти малорусских народных легенд. Этнограф. Обозрение, кн. VII, 1890.

Стр. 110 — **Божья пчелка** — легенды о пчеле у *Афанасьева* в Поэтических воззрениях. Кроме того, я пользовался заговорами пчелиными. Рукопись заговоров принадлежит Анне Алексеевне Рачинской.

Стр. 110 — **Вечерница** — вечерняя звезда, Венера.

Стр. 111 — **Проливной дождь** — когда идет дождь, надо бросить лопату на крышу Бабе-Яге, и дождь перестанет, — народное поверье.

Стр. 112 — **Колокольный мертвец** — легенду о Колокольном мертвеце см. у *В. Н. Бондаренко.* Очерки Кирсановского уезда, Тамбовской губ. Этнограф. Обозрение, кн. VI, VII. 1890.

Стр. 114 — **Ягий** — злой.

Стр. 116 — **Задушницы** — вторник на неделе перед Сошествием Св. Духа, называемой зеленой, русальной, клечальной или семицкой. В этот вторник, а также в троицкую субботу («Родители троицкие»), поминают покойников.

Стр. 117 — **домовище** — домовина, гроб. См.: *Е. В. Барсов.* Причитания северного края. М., 1872—1882.

Стр. 117 — **Ангел-хранитель** — об ангелах — «300 ангелов солнце воротят» см.: *И. Порфирьев.* Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях. Казань, 1872.

Стр. 118 — **Спорыш** — бог жатвы, стебель с колосом-двойчаткой, черное зерно во ржи — от него квашня хорошо подымается. См.: *А. А. Потебня.* Объяснения; *Н. Ф. Сумцов.* Обжинки. Этн. Обоз. 1889. № 3.

Стр. 118 — **лелю** — ой лелю! — припев веснянок.

Стр. 118 — **ладо** — ой ладо! — припев купальских и петровочных песен.

Стр. 119 — **пролетье** — пора до Петрова дня.

Стр. 120 — **засек** — закром.

Стр. 121 — **завивать Бороду** — завивают бороду Велесу, Козлу, Спасу-Николе — древний жатвенный обряд славян, литовцев и других арио-европейских народов. См. Посолонь — Борода.

Стр. 121 — **Лютые звери** — сказка о мышке и сороке — народная.

Стр. 127 — **Ветер-голубь** — вестник любви. Любовные письма пишут на крыле голубя.

Стр. 127 — **Ведогонь** — древнеславянское поверье, встречающееся у сербов, черногорцев и поляков. Ведогоню — духу-охранителю, живущему в человеке, соответствует зырянский орт.

Стр. 129 — **Затул** — затулье, ограда, защита.

Стр. 129 — **Пузырь** — «Над ним (Хомой Брутом) держалось в воздухе что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из сере-

дины клещей и скорпионных жал; черная земля висела на них клоками». — *Вий*, стр. 434–435. Полн. собр. соч. *Н. В. Гоголя*. Изд. его наслед. Т. I. М., 1862.

Стр. 129 — **Кукураковна** — сплетница.

Стр. 129 — **посолонь** — по солнцу, по течению солнца, как ходит колесо года — с весны на зиму.

Стр. 131 — **Летавица** — Ветреница, Перелестница, Дикая баба — галицко-русское поверье. См. Живую Старину, 1897. Вып. 1. (Статья *Юлиана Яворского*.)

Стр. 131 — **Никола Хлыновский** Великорецкий. Хлынов — Вятка.

Стр. 132 — **Басаврюк** — «бесовский человек» *у Гоголя* в В е ч е р е н а к а н у н е И в а н а К у п а л а.

Стр. 132 — **граючи** — граять, гаркать, каркать.

Стр. 132 — **Лизун** — Домовой.

Стр. 136 — **Упырь** — см.: Живая Старина. 1897. Вып. 3/4. (Статья *Юлиана Яворского*).

Народные поверья дают следующее объяснение происхождения Упырей: если беременная женщина посмотрит в церкви во время Великого выхода на священника, несущего чашу, то ее дитя будет упырем. Упырь по смерти своей между полночью и первым петухом выходит из могилы и ходит к тем, кто ему люб, и высасывает у них кровь или заманивает их в могилу и там это делает. Для ограждения от Упыря откапывают его гроб, отрезывают ему голову и кладут ее между ногами трупа, прибивают голову или сердце осиновым колом или железным гвоздем ко дну, и тогда Упырь не может тронуться из могилы.

Стр. 136 — **вырии-птицы** — весенние птицы. Вырей, Ирей — сказочная страна, где нет зимы.

Ир — весна. В *Поучении* Владимира Мономаха: «И сему ся подивуемы, како птицы небесныя из ирья идут».

Стр. 139 — **Сон-трава** — Anemone pratensis. См.: *Н. Ф. Сумцов*. Э т н о г р а ф. з а м е т к и. Этн. Обоз. III.

Стр. 140 — **Верба** — сказание о вербе основано на литовском предании о женщине по имени Блинда. Ей позавидовала Земля и обратила ее в вербу. В древней Литве верба считалась богиней чадородия, ей приносили молитвы и жертвы. Верба имеет влияние на чадородие. Святою вербою ударяют для здоровья, приговаривая: «будь велик, як верба, а здоров, як вода!» Верба ограждает дом от грозы и пожара, — Перунова лоза.

Стр. 140 — **Дни-потемы** — скрытые мраком зимние дни.

Стр. 140 — **Всполохи** — северное сияние; полох — полымя.

Стр. 140 — **Зарное** — страстное, горячее.

Стр. 141 — **Свети-цвет** — народное название чудесного купальского цветка папоротника.

Стр. 141 — **Купало** — куп, кып — ярый, кипучий, горячий.

Стр. 141 — **Песьи дни** — знойная пора.

Стр. 141 — **Полудницы** — по верованиям славянских и греческих народов: всклокоченные старухи в лохмотьях с клюкой, которые, настигая в полдень, загадывают загадки и щекочут до смерти. Только что молитвой на «изгнание беса полуденна» возможно кое-как от них отделаться.

Стр. 141 — **Карина** — плакальщица; карити — причитать.

Стр. 141 — **Желя** — вестница мертвых; жля — жалеть. Карина и Желя упоминаются в Слове о полку Игореве.

Стр. 141 — **Радуница** — от литовск. Rauda — погребальная песнь. Весенний праздник солнца для умерших. Радуница, позже Радоница — радостная весть. Воскресенье на Фоминой — Красная горка, понедельник — Радуница, четверг — Навий день.

Стр. 141 — **Пробила лед щука.** — Щука пробивает хвостом лед на Алексея — человека Божия, 17 марта.

Стр. 142 — **Ой, лелю!** — припев веснянок, которые начинают петь с Фомина воскресенья — Красной горки.

Стр. 142 — **Студеницы** — дождевые тучи.

Стр. 142 — **Развой** — разлив.

Стр. 142 — **Каменная баба.** См.: *А. Н. Афанасьев.* Поэтические воззрения.

Стр. 144 — **Волх Всеславьевич** — Вольга Святославич родился от княжны и змея Горыныча. Его богатырская слава основывается на хитрости-мудрости оборачиваться лютым зверем, серым волком, ясным соколом, гнедым туром, щукой. Он совершает поход в Индию богатую, в Турец-землю. Встречается с великаном-пахарем Микулой Селяниновичем.

Стр. 144 — **Лужанки.** — См.: *В. Н. Бондаренко.* Очерки Кирсановского уезда.

Стр. 146 — **Крес** — искра, огонь, вызванный ударом из камня, небесный свет.

Стр. 146 — **Водыльник** — водяник.

Стр. 146 — **Остудное** — постылое.

Стр. 147 — **Торок** — порыв ветра.

Стр. 147 — **Мокуша** — древнеславянская Мокошь, хранительница молнийного небесного огня.

Стр. 147 — **Бродницы** — сторожили броды.

Стр. 148 — **Нежит.** См.: *Ф. И. Буслаев.* Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861.

Стр. 148 — **Ярец** — название мая.

Стр. 148 — **Яроводье** — сильный разлив весенних вод.

Стр. 148 — **Мавки** — горные русалки, живут на вершинах. Мавки маны (manes) — души умерших.

Стр. 148 — **Буян** — холм, гора.

Стр. 149 — **Буйвище** — кладбище (гноище).

Стр. 149 — **Жальники** — общие могилы.

Стр. 149 — **Волосатка** — Домовиха.

Стр. 149 — **Гукать** — кликать, звать, закликать.

Стр. 149 — **Волшанские жеребья** — вещие. Волшан, Волот — волхв Волот Волотович — собеседник премудрого царя Давыда Евсеевича в «Стихе Иерусалимском» и в «Книге голубиной». См: *П. А. Бессонов.* Калики перехожие. М., 1861. Волот — великан. Волотоман — исполин.

Стр. 149 — **Резвый жеребий** — решительный.

Стр. 150 — **Зель** — молодая озимь до колошенья.

Стр. 150 — **Коловертыш** — помощник ведьмы. См.: *В. Н. Бондаренко.* Очерки Кирсановского уезда.

Стр. 153 — **Ховала** — олицетворение зарницы. Ховать — прятать, хоронить. Ховалы — зарницы. См.: *А. Н. Афанасьев.* Поэтические воззрения.

Стр. 154 — **Мара-Марена** — Морана, богиня смерти, зимы, ночи. См.: *А. А. Потебня.* Объяснения.

Стр. 156 — **Птица Могуль** — в былине-сказке о «Ваньке Удовкине сыне» помогает Ваньке в благодарность за сохранение птенцов.

Стр. 156 — **Марун** — морской Бог (mare). Я нашел изображение его (сучок) на острове Вандроке (Оландские острова) на скалах осенью 1910 года.

Стр. 157 — **Сталло** — Stahlmann — стальной человек, закованный в латы, лопарский богатырь. Конечно, такого богатыря баюкал в лесу олень, не человек. См.: *Н. Харузин.* Русские лопари. М., 1890; *А. Яценко.* Несколько слов о русской Лапландии. Этнограф. Обоз. 1892. Кн. XII.

Стр. 157 — **Рожаница.** — См.: *Акад. А. Н. Веселовский.* Судьба-доля в народных представлениях славян. Разыскания. XII–XVII. Вып. 5. СПб., 1889.

Стр. 157 — **Косари** — народное название головы Млечного пути.

Стр. 157 — **Становище** — Млечный путь.

Стр. 158 — **Злыдни** — олицетворение Недоли.

Стр. 159 — **Затор** — задержка в пути.

Стр. 159 — **Зорит** — зарница зорит хлеб — ускоряет дозревание (Народное поверье).

Стр. 159 — **Осек** — засека, лес с покосом за изгородью.

Стр. 160 — **Измоделый** — изможденный.

Стр. 160 — **Зыбель-болото** — зыбкое болотистое место.

Стр. 160 — **Свети-цвет** — народное название чудесного купальского цветка папоротника.

Стр. 161 — **Моряна** — живет на море, владеет ветрами, топит корабли.

Алалей и Лейла, наконец, доходят до Моря-Океана. А что же Котофей Котофеич, освободил Котофей свою беленькую Зайку из лап Лихи-Одноглазого? Не знаю, не скажу.

Одну только завитушку расскажу из путешествия Котофея в царство Лихи-Одноглазого. Вот она какая.

ЗАВИТУШКА

Случилось однажды, как идти Коту Котофею освобождать свою беленькую Зайку из лап Лихи-Одноглазого, занесла Котофея ветром нелегкая в один из старых северных русских городов, где все уж по-русскому: и речь русская старого уклада, и собор златоверхий белокаменный и тротуары деревянные, и, хоть ты тресни, толку нигде никакого не добьешься.

Котофей не растерялся, — с Синдбадом самим когда-то моря переплывал, и не такое видел!

Надо было Коту себе комнату нанять, вот он и пошел по городу. Ходит по городу, смотрит. И видит, домишко стоит плохонький, трухлявый, — всякую минуту пожар произойти может, — а в окне билетик наклеен: сдается комната. Котофею на руку: постучал. Вышла женщина с виду так себе: и молодое в лице что-то, и старческое, — морщины старушечьи жгутиком перетягивают еще не квелую кожу, а глаза не то от роду такие запалые, не то от слез.

— У вас, — спрашивает Котофей, — сдается комната?

— Да я уж и не знаю, — отвечает женщина.

— У кого же мне тут справиться?

— Я уж и не знаю, — мнется женщина.

— Хозяйка-то дома?

— Да мы сами хозяйка.

— Так чего же вы?

— Да мы дикие.

Долго уговаривался Кот с хозяйкой, и всякий раз, как дело доходило до какого-нибудь окончательного решения, повторялось одно и то же:

— «Да мы дикие».

В конце-концов занял Котофей комнату.

Ребятишек в доме полно, ребятишки в школу бегали, драные такие ребятишки, вихрастые.

Теснота, грязь, клопы, тараканы, — не то чтобы гнезда тараканьи, а так сплошь рассадник ихний.

«И как это люди еще живут и душа в них держится?» — раздумывал про себя Кот, почесываясь.

Хозяина в доме не оказалось: хозяин пропал. И сколько Котофей ни расспрашивал хозяйку, ответ был один:

— Хозяин пропал.

— Да куда? Где?

— Пропал.

Рассчитывал Кот одну ночь прожить, — уж как-нибудь протараканить время, да пришлось зазимовать.

Выпали белые снеги глубокие. Завалило снегом окно. Свету не видать, — темь. Тяжкие морозы трещат за окном. Ни развеять, ни размести, — глубоки сугробы.

Вот засветит Котофей свою лампочку, присядет к столу, сети плетет, — Кот зимой все сети плел. А чтобы работа спорилась, примется песни курлыкать, покурлычет и перестанет.

— Марья Тихоновна, вы бы сказку сказали! — посмотрит Котофей из-под очков на хозяйку глазом.

Хозяйка как вошла в комнату, как стала у теплой печки, так и стоит молчком: некому разогнать тоску, — ей тоже не весело.

Кот и раз позовет, и в другой позовет и только на третий раз начинается сказка. И уж такие сказки, — не переслушаешь.

Клоп тебя кусает, блоха точит, шебуршат по стене тараканы, — ничего ты не чувствуешь, ничего ты не слышишь: ты летишь на ковресамолете под самым облаком, за живою и мертвой водой.

Это ли ветер с Моря-Океана поднялся, ветер ударил, подхватил, понес голос далеко по всей Руси? Это ли в большой колокол ударили, — и пасхальный звон, перекатываясь, разбежался по всей Руси? Прошел звон в сырую землю. Воспламенилось сердце. И тоска приотхлынула. Земля! — земля твоя вещая мать голубица. А там стелятся зеленые ветви, на ветвях мак-цветы. А там по полям через леса едет на белом коне Светло-Храбрый Егорий. Вот тебе живая вода и мертвая. И не Марья Тихоновна, Василиса Премудрая, царевна, глядит на Кота.

Так сказка за сказкой. И ночь пройдет.

За зиму Котофей ни одной сети толком не сплел, все за сказками перепутал и узлов насадил, где не надо. Охотник был до сказок Котофей, сам большой сказочник.

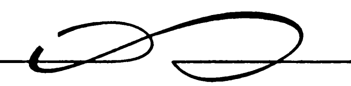
А пришла весна, встретил Котофей с хозяйкой Пасху, разговелся, и понесло Котофея в другие страны, не арабские, не турецкие, а совсем в другие — заморские.

1909 г.

Докука и балагурье

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло



РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

СУЖЕНАЯ

Три года играл молодец с девицей, три осени. Много было поговорено тайных слов. Вот как Марья любила Ивана!

Кто у нас теперь так любит!

Пришло время венцы надевать. И выдали Марью за другого, за Ивана не дали.

Живо старики справили дело. Попался зять советный, богатый, им и ладно. А ей не мед житье, почернела Марья, чернее осенней ночи, и лишь глаза горят, как свечи, надсадилась — холодом заморозилось сердце, не весела, не радостна пела она вечерами заунывные песни, тяжко было до смерти. Да стерпела и покорилась.

Три года прожила Марья с немилым, три осени. Стала у ней глотка болеть. И недолго она провалялась, померла на Кузьму-Демьяна. И похоронили Марью.

Эй, зима — морозы пришли, белым снегом покрыли могилу. И лежала Марья под белым снегом, не горели больше глаза, плотно были закрыты веки.

Вот ночью встала Марья из могилы, пошла к своему мужу.

Заградился Федор крестом, муж ее немилый.

— Да будь она проклятая баба! — и не пустил жену в дом.

Пошла Марья к отцу, к матери пошла.

— На кого ты рот разинула? — сказал отец.

— Куда ты, бес, бегаешь? — сказала мать.

Испугался отец, испугалась мать, не пустили дочь в избу.

Пошла Марья к крёстной матери.

— Ступай, грешная душа, куда знаешь, здесь тебе места нету! — выпроводила крёстная крестницу.

И осталась Марья одна — чужая на вольном свете, лишь небом покрытая.

«Пойду-ка я к моему старо-прежнему, — опомнилась Марья, — он меня примет!»

И пришла она под окно к Ивану. Сидит Иван у окна, образ пишет — Богородицу. Постучала она в окно. Разбудил Иван работника — ночное время — вышли во двор с топорами.

Работник, как увидал Марью, испугался, думал, съест его — да без оглядки бежать.

А она к Ивану:

— Возьми меня, я тебя не трону.

Обрадовался Иван, подошел к ней, ее обнял.

— Постой, — она говорит, — ты не прижимай меня крепко, мои косточки належались!

И сама глядит — не наглядится, любуется — не налюбуется. Вот как Марья любила Ивана!

Кто у нас теперь так любит!

Иван взял Марью в дом, никому ее не показывал, наряжал, кормил ее и поил. И жили так до Рождества вместе.

На Рождество пошли они в церковь. В церкви все смотрят на Марью, отец и мать и муж Федор и крёстная.

— Это будто моя дочка! — говорит мать.

— Да таки наша! — говорит отец.

Переговаривались между собою отец и мать и муж и крёстная.

А как обедня кончилась, подошла Марья к матери:

— Я ваша и есть, — сказала Марья, — помните, ночью к вам приходила, вы меня не пустили, и пошла я к старо-прежнему моему, он меня и взял.

И признали все Марью и присудили ей: за старого мужа, за Федора не дали назад, а дали ее Ивану.

Эй весна, — снега растаяли, пошли зеленые всходы, и на Красную горку повенчали Ивана да Марью.

Тут моя сказка, тут моя повесть.

1910 г.

ЖЕЛАННАЯ

Не хотела бабка, чтобы внук женился: жалко старухе расставаться с любимым внуком. А он себе, знай, стоит на своем. И вот как вести к венцу, стала карга на венчальном пороге и прокляла внука.

— Чтоб тебя, — говорит, — черт взял, триста чертей, тридцать и три, проклятое!

И когда шли от венца молодые, черт внука и схапал, только и видели.

Осталась молодуха одна без молодого, плачет. Тошно ей одной, тошно на свете жить: постыл ей белый свет без милого.

«Либо петлю на шею, либо мужа верни!» — одно у ней на уме, и посылает она свекра мужа искать.

Жалко старику сына. Говорит старик своей хозяйке:

— Спеки мне лепешек на дорогу, пойду за сыном.

Испекла хозяйка лепешек, снарядила своего старика в дорогу, пошел старик в лес. И в лесу там шел, шел, набрел на избушку — в лесу там, вошел в избушку, положил лепешки на стол, сам за печку.

И слышит старик: идет... в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, идет... приходит в избушку, садится на лавку...

— Жаль, — говорит, — мне-ка батюшки, жаль мне-ка матушки, — а сам все в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, — жаль мне молодой жены...

Хоть бы не жил я, расстался,
Хоть бы жил да потерялся!

Отец обрадовался, узнал сына, выходит из-за печки.

— Ой, — говорит, — сын ты мой любезный, пойдем домой со мною.

— Нет, отец, нельзя никак! — сын пошел из избы.

Отец вслед:

— Я от тебя не отстану, куда ты, туда и я.

И приходят они к яме, — там в лесу. Сын с отцом прощается. Поклонился сын отцу до земли, да бух в яму. Постоял старик, постоял, не смеет лезть за сыном в яму, и пошел, слезно заплакал, домой пошел.

У околицы встречает старика молодуха, горит вся:

— Ну что, видел?

— Видеть-то, видел, — говорит старик, — да взять его никак невозможно, — и рассказал все, как было.

Как полотно, побелела молодуха.

— Я, — говорит, — завтра… я сама пойду. Куда он, туда и я. Я от него не отстану.

— Нет, невестка, отстанешь.

А она:

— Нет, не отстану.

А старуха бабка, слушавши, скалит свой зуб черный — смеется, ведьма: мол, отстанешь!

Напекла молодуха лепешек, дождалась, как светать станет, и чуть поднялось солнце, пошла в лес, и вышла на дорогу, как наказал старик, и там набрела на ту избушку, — там в лесу. Вошла в избушку, положила лепешки на стол, а сама за печку.

И слышит молодуха: идет… в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, идет… приходит в избушку, садится на лавку…

— Жаль, — говорит, — мне-ка батюшки, жаль мне-ка матушки, — а сам в скрипку выскрипливает, в балалайку выигрывает, — жаль мне молодой жены…

Хоть бы не жил я, расстался,
Хоть бы жил да потерялся!

Тут и вышла она из-за печки, кинулась к мужу.

— Ну, — говорит, — муж мой возлюбленный, куда ты, туда и я. Я от тебя не отстану.

— Отстанешь, — говорит он ей, — бедная ты!

А она:

— Нет, не отстану.

И вышли они вместе из избы в лес и приходят к той самой яме, и стал он слезно прощаться:

— Прощай, — говорит, — Любава моя, тебе меня не видать больше.

А она:

— Куда ты, туда и я.

— Нет уж, ты за мной не ходи, сделай милость.

— Нет, я пойду, ни за что не отстану.

Он бух в яму и скрылся. А она постояла, постояла, да за ним вслед, туда же — в яму.

— Все равно, — говорит, — где он, там и я: одна жизнь!

И как упала она вслед за ним в яму, смотрит: дорога там, дом, и он уж подходит к дому.

Догнала она его, ухватилась:

— Я с тобой!

— Ой, — говорит он, – погибли мы теперь оба, ты и я: свадьбу ведь играют, дочку за меня выдают.

И они вместе вошли в дом. А там сидит старик, страсть и глядеть такой страшный старик, а с ним все триста и тридцать и три — черти, свадьбу играют.

— Это кого ж ты привел? — сказал старик, главный.

— Это жена моя, Любава.

Она старику в ноги. Старик ее бить: и ломал, и лягал, и щипал, и всяк ее ломал, да как наступит ножищей, — закричала она по-худому, на глотку стал.

— Несите ее, — старик задохнулся от злости, — его да ее, стащите обоих из дому вон, откуда их взяли, чтобы и духу не пахло!

Ну и потащили. И притащили их ночью к дому, хряснули о крыльцо, инда хоромы затрещали.

Так вернула Любава себе мужа, Петра, желанная, милого.

И стали они жить и быть и добра наживать, от лиха избывать.

1909 г.

ОБРЕЧЕННАЯ

Был один человек торговый — купец богатый. Помнил он Бога, Богу молился, чтобы дал Бог всего хорошего.

Ехал купец на ярмарку, задержался в городе и только к ночи на место поспел. Остановился купец на постоялом

дворе. А поздний был час, и чаю не выпил, помолился, лег спать.

И вот слышит, будто под окном стучит кто-то, а он будто встал и к окну, спрашивает:

«Что надо?»

«В сей час, — отвечает ему со двора кто-то, — дитё родилось в доме, и скажу тебе, чтó этому младенцу будет».

«Чтó же ему будет?»

И опять со двора отвечает ему тот же голос:

«До семнадцати лет вырастет этот младенец, а в семнадцатый ангельский день в колодце убьется на улице».

И больше ни слова. Спит купец, больше ничего не слышит.

Наутро проснулся купец, вспомнился сон ему, и заходит он к хозяину. А хозяйка в ту ночь дитё родила — девицу. Жалко стало купцу девчонку, и задумал он спасти ее, сохранить от беды неминучей, обреченную, и говорит отцу:

— Я всю ярмарку тут проторгую, возьмите-ка кумом меня.

Хозяин видит, купец богатый и человек очень хороший, согласился, взял его кумом. Богатые справили крестины. Не пожалел купец денег, всех наградил щедро — и кумý и крестницу. Всем купец по душе пришелся.

Кончилась ярмарка, пришло время домой ехать, прощается крёстный.

— Ежели, — говорит, — будет жить моя крестница, оставлю ей обнов всяких и содержания, а как семнадцать лет ей исполнится, на ангельский семнадцатый день я сам у вас буду, ежели сам жив буду.

Растет крестница. Шестнадцать годов проходит. Выросла крестница и такая — хороша, была бы лучше, да некуда. Шестнадцать годов прошло и ни разу не побывал крёстный у крестницы. Ждут крёстного: два дня осталось до ангельского дня, ждут купца, глядят на дорогу, не едет ли?

Помнил Бога купец, Богу молился, чтобы дал Бог всего хорошего. Не забыл он сна своего, не забыл обещания. Он спасет свою крестницу, сохранит ее от беды неминучей, обреченную: он один знает судьбу ее, один может повернуть судьбу.

Едет купец. Встречает его крестница.

— Здравствуй, крёстный! — и глядит на него — и так хороша, была бы лучше, да некуда.

Купец ей гостинцу — платье привез, что всем людям на диво.

Начались именинные сборы. Говорит крёстный куме:

— Возьмите из колодца воды по надобью, чтобы на двое суток воды хватило.

Взяла кума воды в кадки, наполнила на двое суток. Велел купец обить колодец кожей. Сам и кожу купил, сам и работу проверил, все ли сделано так: мягко и гладко.

Наступили именины крестницы, семнадцатый ангельский день.

«В семнадцатый ангельский день убьется в колодце на улице!» — держит купец в памяти, никуда не отходит от крестницы, зорко следит.

Весело было в доме, — веселый пир задал купец, — пили, веселились гости. А крестница ничего не ест.

— Ничего не хочу, не надо мне ничего! — все отказывается, вдруг скучная стала.

И как ни потчевал крёстный, ничем не развлек. Ей в душу ничего не идет и не сидится на месте: все на волю, все погулять просится. И обед не кончился, встала она из-за стола, да на улицу. И крёстный за ней.

Идет она, словно ведет ее кто, скоро, легко идет, и прямо к колодцу.

Догнал ее крёстный, взял за руку, крепко взял за руку.

«В семнадцатый ангельский день убьется в колодце на улице!» — не заглушить ему вещих слов, держит в уме.

А она вырвалась из рук и упала, — на эту мягкую гладкую кожу упала… у колодца.

Схватился крёстный, зовет крестницу:

— Маша! Машенька!

А Маша уж мертвая.

И отнесли ее в дом и похоронили — слезно плакали. Да слезами не поможешь! Уж так ей было на роду написано.

1912 г.

ЖАЛОСТНАЯ

Жил-был старик со старухой и внучат двое: внук да внучка. Невестка в город в услужение пошла и пропала, а сына бревном задавило — такая напасть Божья: не разбойник, не вор, поди ж ты!

Избенка ветхая, темная, старик-то мешком свет в избу носил, ну, мешком много ль принесешь света? Корова тоже была, втащут корову на баню — на бане трава росла — тут корове и корм. Косы, чтобы траву выкосить, у стариков не было: какой-то шальной стащил косу. Так и жили.

Раз послали старики внучку Нюшку на берег мочалу полоскать — веник. Ждать-подождать, не возвращается Нюшка, бабушка и стоскнулась, пошла искать девчонку. Приходит старуха на сходни, а Нюшка сидит, плачет.

— Что ты, дитятко, плачешь?

А девчонка пальцем на деревню кажет — за озером деревня была, да как взвоет.

— Выйду, — говорит, – я в эту деревеньку замуж, рожу паренька. Будет паренек на двенадцатом годку, пойдет по молоденькому льду да и потонет.

Тут и бабушка начала плакать.

Хватился внучонок бабушки да сестренки, — нет нигде, уж и туда побежал и сюда сбегал, обежал двор, — нет нигде. На сходни к озеру сиганул мальчонка, смотрит, а бабушка с Нюшкой и сидят, обе плачут-разливаются; сестренка-то совсем захлебнулась.

— Сестрица твоя что́ задумала! — сквозь слезы говорит бабушка, — выйдет она замуж в ту вон деревеньку, родит паренька, и как будет паренек на двенадцатом годку, пойдет по молоденькому льду да и потонет.

Внучонок слушал, слушал да как заревет.

Стоскнулся дед по внучонке, покликал Петьку, — нету.

«Э! — смекнул старик, — на озеро, знать, куроед побежал купаться!» — и пошел себе тихонько на озеро искать внучонка Петьку.

А они все трое тут-как-тут на сходнях, сидят рядком, — бабушка, внучка и внучонок, вопят.

— Что это вы, родимые, плачете?

А внучка уж закатилась, Нюшка, кулачки сжала.

— Ой ты, старик, — прошамкала старуха, — внучка-то у нас, Нюшка, чтó задумала: выйдет она замуж в ту вон деревеньку, родит паренька, и как будет паренек на двенадцатом годку, пойдет по молоденькому льду и потонет.

Дед крепился, крепился, не выдержал да в слезы.

И плачут, сидят у озера, плачут — старик со старухой да внучат двое: внук и внучка.

И никто не утешит, ни старого, ни малого. Невестка-то в город в услужение пошла и пропала, а сына бревном задавило, — такая напасть Божья: не разбойник, не вор, поди ж ты!

Эх, грехи наши тяжкие!

1909 г.

ПОТЕРЯННАЯ

1

У одного купца росла дочь Домна. Строго ее держал отец: ни на улицу выйти, ни на гулянье куда, за порог без себя не пустит. В верхах сидела Домна. И кушанье ей туда подавали, готовое все. Так в верхах и сидела Домна, только что из окна и глядит на свет Божий.

Богатый купец был, отец Домны: свой кабак, сорок целовальников при кабаке держал. У купцова дома всегда народ. А в праздник соберутся парни, игру затеют, веселятся.

Как-то играли парни, кто в рюхи, кто мячиком.

Мячик в окно в верхи и заскочи к Домне. Домна окно закрыла. И как ни просили ее, не отдает мячика.

Ну, а тут какой-то и выскочил — рукавицы с когтями, сапоги с когтями, да по стене к ней к окну в верхи и забрался. Домна окошко отворила и отдала ему мячик.

И с той поры стал смельчак гостить к купцовой дочке.

2

Сидит раз дружок у Домны в верхах, а отец и идет. Что ей делать? Куда схоронить дружка? Взяла она да в постель его к подушкам и завернула.

Пришел отец, сел на кровать: то да сё, дочку расспрашивает.

Строгий был старик, строго держал дочь, а без Домны дела не начнет, все только с ней и совету. Любил старик дочь: одна она у него была.

За разговорами старик и задремал, протянулся поудобнее, да и заснул на кровати. А тот, дружок-то, лежал-лежал под стариком и кончился: без воздуху трудно, задохнулся.

Чтó ей делать? Отцу-то не смеет сказать: не спустит старик — строгий был, строго держал дочь. Домна к дворнику:

— Выручи, — говорит, — Максим, убери. Убьет батюшка.

А дворник, — был такой дворник у купца шантряп из городу, в городе бурлачил, а вернулся в деревню, в дворники к купцу поступил, — ему это плевое дело, он этого парня во двор спустил и убрал куда-то.

И стал шантряп с поры на пору к купцовой дочке похаживать, как дружок покойный.

3

Осень пришла, ночи темные.

Собрались купцовы целовальники, все сорок целовальников в кабак при празднике, и с ними дворник: без него дело не обходится. Выпили приятели, затавокали: кто про чтó, — известно, хвастают, вино-то куда хвастливо!

Дворник и говорит:

— Вы, — говорит, — что! Я вот, я, — говорит, — к купцовой дочке хожу!

— Что ты врешь, — галдят, — быть не может! — крякают.

— И очень просто, хожу! — ломается шантряп.

— А если ходишь, так приведи.

— Что ж, и приведу! — пуще ломается шантряп, да из кабака к купцу в дом в верхи.

Поздний был час, спать улеглись по домам.

Разбудил дворник Домну. А ей, хоть плачь, идти надо.

И привел шантряп купцову дочку в кабак, вывел на середку к целовальникам, сам куражится.

— Угощай, — говорит, — гостей, кланяйся!

Взяла Домна поднос, две рюмки на поднос, бутылку вина, пошла обходить гостей, потчевать.

Пьют гости, подмигивают: рожи красные, пьяные. Раз что Домна за шантряпа пошла, им ли не взять ее! — всяк о себе свое одно думает, глазом примеривает. Пьют гости, подмигивают.

А она глаз не подымет, ходит с подносом, кланяется.

И напились целовальники, свалились с лавки под стол, и дворник захрапел под столом. Все заснули, все сорок целовальников.

Одна Домна, одна в кабаке с подносом стоит.

«До утра дождаться, все узнают, донесут батюшке!» — думает себе Домна, а сердце так и ходит, так и рвется.

И взяла Домна отворила бочку с вином, пропустила вино да и зажгла все вино, а сама домой, в верхи, в свою комнату.

Поутру встает старик, а к нему посланный:

— Кабак сгорел, сорок целовальников сгорело в кабаке и дворник твой сгорел.

Старик к Домне: в горе ли, в радости — все к ней, с ней одной совет. Строгий был старик, строго держал дочь, а любил ее: одна она у него была.

— Что, — говорит, — дитятко, спишь, беда у нас.

А на ней лица нет.

— Так мне, батюшка, тяжело мне было, так... не спала я, спать не могла...

— Кабак сгорел, сорок целовальников сгорело в кабаке... — говорит отец, сам смотрит на дочь и вдруг понял старик, — все, все сгорели и дворник твой!

1911 г.

РОБКАЯ

Жила-была одна девица, умер у ней отец, умерла и мать. Осталась одна Федосья, да без отца, без матери и спозналась с работником отцовским.

Хороший был работник-бурлак, крепко полюбил Федосью, и Федосья к нему привязалась, и жить бы им да жить, да люди-то говорить стали, — не хорошо.

Федосья и оробела.

Пошла Федосья к дяде, просит дядю и тетку.

— Возьмите, — говорит, — меня, примите к себе.

А дядя и тетка говорят:

— Покинь свою дружбу, так мы тебя возьмем.

На все готова Федосья: оробела девка.

— Покину, — говорит, — покину, возьмите только.

И приняли старики племянницу и стала Федосья жить в дядином доме: как дочь стала жить, а дружбы своей не покинула.

Пойдет на вечеринку, там украдкой и свидится с ним, где-нибудь в сторонке, украдкой, поговорит с ним, — поговорят, потужат.

И опять в люди вышло: узнал дядя, узнала и тетка, стали старики поругивать Федосью.

А тут этот работник-бурлак вдруг и помер.

— Слава Богу, — успокоился дядя, успокоилась тетка, — больше с ним знаться не будешь! — и стали старики подумывать, как бы племянницу замуж выдать, стали старики присматривать ей человека.

А Федосья прежде-то, как жив он был, работник-то, все таилась, робкая, скрывала от людей, а уж тут, — куда робь! — ничего не таит, никого не боится, и все по нем тоскует, все в уме его держит.

Пойдет на вечеринку, ни петь не поет, ни в игры не играет, а как сядет, одна сидит молча, и уж сама себе на могилу идти ладит, — к нему на могилу. А вернется с кладбища, спать ляжет, а в уме все одно, — о нем тоскует.

И стал он приходить к ней ночью.

Никто его не видит, ни дядя, ни тетка, одна она видит.

— Я умер, — сказал он ей, — да не в з á б о л ь, иди за меня замуж.

И с той поры повеселела Федосья, веселая, не узнаешь ее, подвенечное платье себе шить принялась.

И на вечеринках не узнать ее.

Тоже и на вечеринки стал он приходить к ней.

Люди его не видят, одна она его видит.

— Я за него замуж пойду! — говорит Федосья подругам, смеется.

— Что ты, — говорят, — его, ведь, в живых нету.

— Нету, как же! Он ожил! — смеется Федосья.

Сшила себе Федосья подвенечное платье, в подвенечном платье невестой пришла на вечеринку. И он к ней пришел на вечеринку.

Никто его не видит, одна она его видит.

И они сговорились: она с вечеринки пойдет к нему в избу, где у отца он жил, а из избы вместе пойдут в церковь венчаться.

— Я нынче замуж пойду! — сказала подругам Федосья, смеется, и простилась, ушла домой.

Не слыхал ни дядя, ни тетка, как вернулась племянница в дом, крепко старики спали. А поутру хватились, племянницы-то и нет. Где, где? — не знают.

Не знают, где и взять, и платья ее подвенечного нет.

А девки говорят:

— Сказывала, замуж пойдет.

Старики на кладбище, к могиле.

«Сказывала, замуж пойдет!»

А она на могиле, мертвая на его могиле лежит и платье ее подвенечное на кресте развешено.

Так за покойным дружком и ушла, не сробела.

1911 г.

ОКЛЕВЕТАННАЯ

1

Жил-был один человек богатый и было у него двое детей: сын да дочь. Пришло время отцу помирать, старик и наказывает сыну:

— Ни от Бога, ни от меня нет тебе благословения, Михайла, взять жену из своей деревни, из своей не бери!

И помер. И остался Михайла с сестрою. Только с Пала-

гейй что и разговор у Михайлы, и в гости никуда не ходит, все дома, все с сестрою.

Советно жил брат с сестрою.

В лавочку Михайла пойдет.

— Прощай, — скажет, — сестрица!

Из лавочки придет.

— Здорова, сестрица!

Так три года жил Михайла не женатый, завет отца помнил, никуда глаз не казал, все дома, все с сестрою.

Советно жил брат с сестрою.

Раз приходит из лавочки Михайла, говорит сестре:

— Сестрица, буду я жениться, возьму жену из нашей деревни.

— Ах, братец, братец, тебе батюшка не велел!

— Ну, сестрица, ну, родимая, будь чтó хочешь, а жениться надо.

— Ну, как хочешь, — говорит Палагея, — играй свадьбу.

Михайла и женился.

На Варваре женился Михайла, наказ отца нарушил, взял жену из своей деревни. И женатый, а без сестры не начнет Михайла никакого дела, все с сестрою.

Советно жил брат с сестрою.

В лавочку Михайла пойдет.

— Прощай, — скажет, — сестрица!

Из лавочки придет.

— Здорова, сестрица!

А жене зáрно, Варваре завидно, ровно и не сестра ему Палагея.

Родила Варвара сына. Не отходит Палагея от Михайлова сына, все с его ребенком, ровно и мальчишка ее, не Варварин. А Михайле любо, все он с сестрою.

Советно жил брат с сестрою.

В лавочку Михайла пойдет.

— Прощай, — скажет, — сестрица!

Из лавочки придет.

— Здорова, сестрица!

Не по сердцу это Варваре, стала ей постыла Палагея. Сестра да сестра! Только и есть на языке, что сестра! Да

сестра она ему или жена? Так и смотрит Варвара, так все и смотрит, ровно ищет, подстерегает брата с сестрою. И уж не улыбнется, постарела Варвара. Ни слова тихого, слова все в сердцáх. Зáрно, завидно, постыло Варваре. Что же ей сделать, как брата от сестры отвадить? Как извести Палагею?

Взяла Варвара собаку его и убила, – верный был пес, дорожил им Михайла.

Пришел Михайла домой.

— Здорова, сестрица!

А жена на него:

— Да, здорова сестрица, поглядика-сь, чтó сестрица-то сделала: где твой пес? Нету собаки. Сестрица убила!

Досадно стало Михайле — верный был пес! — да, любя, стерпел Михайла досаду.

— Ну, в первóй вине Бог простит! — сказал Михайла, и ни словом не попрекнул сестру.

На другой день только что вышел Михайла, взяла Варвара и убила его жеребца, — хороший был конь, верный, дорожил им Михайла.

Пришел Михайла домой.

— Здорова, сестрица!

А жена на него:

— Да, здорова сестрица, поглядика-сь, чтó сестрица-то сделала: где твой жеребец? Нету коня. Сестрица убила!

Горько стало Михайле — хороший был конь, верный! — да, любя, стерпел Михайла горечь.

— Ну, и в другой вине Бог простит! — сказал Михайла и ни словом не попрекнул сестру.

А сестра ничего не знает, возится с ребенком, знает Палагея, что беда в доме: собаку кто-то убил, коня кто-то убил…

На третий день, как ушел со двора Михайла, Варвара к зыбке — и убила ребенка, да мертвого за дверь его, за дверью и положила.

Пришел Михайла домой.

— Здорова, сестрица!

А жена на него:

— Здорова! А где наш ребенок?

Михайла к зыбке:

— Где ребенок?

— Должно, у вашей сестрицы.

Недоброе почуял Михайла, да к сестре.

Сидит Палагея у окна, шьет, для мальчишки рубашонку шьет.

— Здравствуй, братец!

— Где сын-то?

Недоброе почуяла Палагея.

— У Варвары, — сказала Палагея, — давно взяла Варвара, тут его нет.

Михайла к жене.

— Где ребенок?

А зыбка пустая, нет нигде ребенка.

Стал Михайла искать. И Варвара ищет, рвет все, все мечет на землю, — тоже ищет.

А ребенок за дверью — лежит мертвый.

— Вот!.. вот твоя сестрица что́ сделала!

Михайла к сестре. Не смотрит. И смотрит, да ничего не видит.

— Убила ты собаку, убила ты коня, ты моего ребенка убила! — и раздел Михайла сестру донага, скрутил, бросил на телегу, повез в поле, а из поля в лес и там, в лесу, пустил ее одну: иди, куда знаешь!

Иди, куда знаешь!

А куда? Куда ей идти? Влезла на сосну Палагея, села на верхушку, сидит, как птица. Сердце у нее тяжелое, как камень тяжелый, — обида, напраслина, клевета камнем легла ей на сердце.

Ходили царские сыновья по лесу, охотились. Набрели царские сыновья на сосну, Палагею заметили.

Один говорит:

— Птица!

Другой:

— Человек!

Третий:

— Черт! — и направил ружье выстрелить.

— Я не трону, я человек, я вас не трону! — кричит с дерева Палагея: видит, ружья направили, стрелять хотят.

— Коли человек, так спускайся! — говорят ей братья.

А как ей спуститься?

— Одежды у меня нет! — кричит Палагея.

Братья поскидали с себя верхнее платье, положили под сосну, а сами в сторонку. Палагея и спустилась на землю, оделась. Тут братья к ней вышли и взяли ее с собой к царю во дворец. И там, во дворце, схоронили, никому не показывают.

Старший сын приходит к отцу.

— Батюшка, — говорит, — я жениться буду.

— Что ты, — говорит царь, — до сих пор у тебя и в уме не было жениться, жениться вздумал! А где же, — говорит, — ты жену-то берешь?

— Она у меня из лесу, — говорит сын и выводит к царю Палагею, — вот она, жена моя!

Посмотрел царь на Палагею, — полюбилась царю Палагея.

— Ну, Бог вас благословит! — благословил царь жениха и невесту.

Сыграли свадьбу. И стала жить Палагея у царя в царском дворце, не Михайлова сестра, а царская невестка.

2

Поехал царский сын по городам от царя с наказом. И без него родила ему Палагея сына. И такой вышел царевич, — всем на диво: по колена ноги в золоте, по локоток руки в серебре, позади светел месяц, посреди красно солнце, в каждом волоске по скатной жемчужинке.

Обрадовался царь, что внук такой вышел, и сейчас же письмо написал, посылает своего царского работника снести письмо в дальний город к сыну.

Снарядился работник в дорогу, понес царское письмо в дальний город. И к ночи дошел до той самой деревни, откуда Палагея, и остановился в самом богатом доме — у Михайлы.

Дозналась Варвара, что́ за письмо несет работник, все

старое-то, прежнее все, постылое так ей в голову и ударило, и в голову, и в сердце, и в душу: ведь она ребенка своего убила, только чтобы брата от сестры отвадить, разлучить Михайлу с Палагеей, извести Палагею, а вот Палагея и не сгинула, Палагея вот какая — царица!

Вытопила Варвара баню, царского работника в баню отправила, а сама вынула из котомки царское письмо, разорвала письмо и написала другое, будто не царевича сына, а щенка родила Палагея:

«Кутенка твоя жена родила, Палагея!»

И опять положила письмо в котомку.

Вернулся из бани царский работник, угостила его Варвара, ночевать оставила. Переночевал работник у Михайлы и наутро дальше в дорогу пустился.

Долго ли, коротко ли, из города в город, из деревни в деревню дошел, наконец, работник до самого дальнего города к царскому сыну, передал царскому сыну от царя письмо:

«Кутенка твоя жена родила, Палагея!»

Потемнело в глазах у царского сына — злая весть потемнила глаза, хотел вгорячах порешить с Палагеей, да раздумался, и написал отцу, чтобы до его возвращения жену не трогать. И с письмом отпустил домой царского работника.

А работник и на обратном пути к Михайле зашел.

И опять затопила Варвара баню, послала работника в баню, а сама за котомку, вынула из котомки письмо царского сына, разорвала письмо, и свое написала:

«Духу чтобы ее не было до моего прихода!»

И положила письмо в котомку.

Вернулся из бани царский работник, угостился, переночевал ночь, да к царю во дворец.

Прочитал царь письмо, не верит глазам.

— Что это, — говорит, — с ума, верно, спятил!

Да нечего делать, тут уж не его воля — воля сына: велел царь прогнать из дворца Палагею — откуда взяли, туда и отправить. А внука царевича царь себе оставил.

И отвезли Палагею в лес к той самой сосне, где покинул ее брат любимый Михайла: иди, куда знаешь!

Иди, куда знаешь!

А куда? Куда ей идти? С братом ее разлучили, с мужем ее разлучили, и отняли сына. Что́ же ей делать? Куда ей деваться? Как избыть обиду? Стоит под сосной Палагея, стоит, как стала. А сердце у ней тяжелое, как камень тяжелый, — обида, напраслина, клевета камнем легла ей на сердце.

А пойдет она далеко в дальние деревни, будет она жить там у чужих чужая, наймется в люди. Работницей простой свой век проживет. Трудом она избудет обиду.

И пошла Палагея куда глаза глядят дальше от брата, еще дальше от мужа и сына.

Долго ли, коротко ли, из города в город, из деревни в деревню, объехал царский сын все царство, все дела царские исполнил и вернулся домой к отцу. Вышел царь встречать сына и внука вывел. А ребеночек так и сияет…

— Как так! — удивился царский сын, — мне было письмо от вас, что жена родила кутенка.

А царь ему выговаривает: зачем велел жену кончить — прогнать Палагею.

— Я… я велел кончить! — и заплакал, видит царский сын, что обманут: и его, и царя обманули.

Послал царь в лес искать Палагею. Да где ж ее сыщешь, — не на сосне же ей свой горький век вековать.

3

Три года прослужила Палагея в работницах, много за три-то года по чужим людям ходила, много труда вынесла. И улеглась на сердце обида: приняла она свою участь, и не роптала больше. Одно забыть не могла: сына своего вспоминала. Ребеночка жалко ей было, поглядеть бы ей на него, хоть только глазком взглянуть.

И затосковала Палагея, места от тоски не находит, тоскливо ей, глаза ни на что не глядят: только бы увидеть сына, хоть только глазком взглянуть.

Нарядилась Палагея в мужскую одежду и пошла из дальних деревень мимо любимого брата прямо к царю во дворец в царские работники наниматься.

Во дворце никто не узнал Палагею. Сам царь не узнал

свою невестку. Принял царь Палагею ласково, и стала служить она у царя истопником в царских покоях: печки топила.

Палагее этого только и надо.

Подрос ее сын, уж по комнатам бегал. Примется Палагея печки топить, а он тут-как-тут, прибежит к огоньку. А Палагея возьмет его на руки, ласкает дитё, сама плачет.

Заметил царь, раз и спрашивает:

— Что это ты, паренек, как возьмешь внучонка на руки, и всегда-то плачешь?

Палагея царю во всем и открылась. И о брате своем о любимом о Михайле рассказала, и о невестке своей Варваре, как оклеветала ее Варвара.

— Вот грех-то, надо это дело хорошенько разведать!

Велел царь Палагее помалкивать, а сам призвал к себе того работника царского, что письмо носил от царя к царскому сыну, и стал у работника выпытывать, у кого он в пути на ночлег приставал и с кем водил знакомство.

А как рассказал ему царский работник о Варваре, тут у царя глаза и открылись. Отпустил царь работника, и задумал вывести дело на чистую воду: всенародно оправдать Палагею.

Слух о злой царской невестке прошел по всем городам — и ближним и дальним, по всем деревням и ближним и дальним, — по всему царству.

Собрал царь большой пир. Много сошлось народа к царю во дворец. Послал царь и за Михайлом, и за Варварой. Пришел Михайла с Варварой, тоже сели за царский стол.

А когда гости пили и ели, призвал царь своего царского истопника, и велел истопнику для потехи сказку сказывать о злой царской невестке, да уговор положил: кто перебьет либо поддакнет, сто рублей с того за помеху.

И стала Палагея рассказывать, как жили-были брат да сестра, как брат женился и невзлюбила невестка сестру.

— Стало невестке за́рно, что брат и сестра живут советно.

— Да, — дакнула Михайлова жена, Варвара.

И сейчас же с Варвары сто рублей за помеху.

И опять стала Палагея рассказывать, как невестка убила у мужа собаку и на сестру сказала. Простил брат сестру.

А на другой день убила невестка у мужа коня и на сестру сказала. Простил брат сестру. А на третий день убила невестка своего ребенка и на сестру сказала. Не простил брат сестру, раздел ее донага, вывел в поле, а из поля в лес.

— Иди, куда знаешь!

— Да, так и было! — поддакнула Михайлова жена, Варвара.

И сейчас же с Варвары сто рублей за помеху.

И опять стала Палагея рассказывать, как встретили сестру охотники, как застрелить хотели, и потом как старший женился на ней, и как уехал муж по делам в дальний город, и без него родила жена ему сына. Послал свекор работника с письмом к сыну известить о внуке, остановился работник по дороге у той самой невестки, а невестка подменила письмо, и на обратном пути остановился работник у невестки, и невестка опять подменила письмо…

— Да, так оно и было! — поддакнула Михайлова жена, Варвара.

Встает Михайла, лица нет, он сестру узнал Палагею. Поднялся царский сын, вспыхнул, узнал жену Палагею.

Остановила Палагея брата, остановила Палагея мужа, подошла Палагея к Варваре, и хоть нет у ней доброго слова, но и обиды уж нет.

— Варвара!.. — говорит Палагея.

А Варвара — все старое-то, прежнее все так ей в голову и ударило, и в голову, и в сердце, и в душу, — сидит Варвара, крепко стиснула руки, не шевельнется.

Тут взяли Варвару, да на ворота, да на воротах и застрелили.

И стали жить и быть, добра наживать.

1911 г.

ОТЧАЯННАЯ

Хороша была Маша, краше на селе ее не было, и беспрестанно к ней сватались женихи хорошие. Отец не отдавал, была она одна дочь, жалел все.

Уехал отец в город на святках, а Машу оставил одну дома. И задумала Маша под Крещенье кудесить — о своем суженом-ряженом гадать.

Под Крещенье в ночь накрыла Маша стол скатертью, поставила на уголок тарелку, положила ложку и другую тарелку с ложкой на другой угол, положила себе в тарелку кусочек и другой кусочек в другую тарелку — суженого чествовать. Не благословясь, вышла в сени, не благословясь, заперла двери, вернулась, присела на уголок, подумала — вот ей судьба скажется! — стала и говорит:

— Суженый-ряженый, суженый мой, поди ужинать со мной!

Сказала и села к столу, закрыла глаза.

Сидит Маша, не шелохнется, и думать ни о чем не думает, прислушивается, ждет.

Застучало в сенях — сапоги стучат, она слышит, идет... в дом идет, в дом вошел, крякнул, прошел на середку. И видит она: пиджак на нем, кафтан, алый кушак шелковый. Отвязал он кушак, да в передний угол на спицу и повесил, шапку снял, тянется к спице.

Маша и перекрестилась, Маша открыла глаза.

На столе стоят два прибора, две тарелки, а уж нигде никого нет, только алый кушак висит на спице.

Сняла Маша кушак со спицы, развернула, примеряла — алый шелковый, и в сундук его спрятала.

Кто-то ночью приходил к ней — суженый-ряженый, богосуженый ее приходил к ней, и у кого-то алый кушак потерялся. А Маша помалкивает: знай она, что он любый ей, ее суженый, она бы подругам сказала, отцу бы сказала, а как она может знать?

Вернулся отец. Стали по-прежнему женихи в дом наезжать, по-прежнему сватали Машу: хороша была Маша, краше на селе ее не было.

Ходит Маша сама не своя, задумалась.

«Чей кушак, и любый ли он ей, ее суженый?» — задумалась Маша.

Уж не неволит отец, иди за любого. Уперлась и слышать не хочет, все думает, все думает Маша.

Ночью заснул отец, Маша не спит, думает — нет ей места от дум, и покою нет! — ночью вынула Маша из сундука алый кушак, обмотала вокруг шеи, да в передний угол, там, где спица торчит... и порешила с собой.

А приходил к ней самый леший, вот оно чтó!

Хороша была Маша, краше на селе ее не было.

1912 г.

ПОПЕРЕЧНАЯ

1

Был один холостой парень и задумал жениться. А сватали на селе девицу, он на ней и женился. И тиха и смирна, глаз на мужа не подымет, будто ее и в доме нет, вот какая попалась жена Сергею.

Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью, а Настасья и голосу не подаст.

«Ишь, — подумал, — стыдливая какая!» — и сам уж вывел ее, усадил за стол.

На обед была каша. Ест Сергей, да похваливает, а Настасья и ложки в руку не возьмет, сидит, как села.

«Ишь, — подумал Сергей, — молода-то как!» — да сам ей и ложку в руку дал, потчует.

Ложку взять Настасья взяла, и опять на стол положила, отвязала от креста уховёртку, да уховёрткой и ну хлебать кашу по крупинке.

То же самое случилось и на другой день; не ест полюдски Настасья да и только.

«И чем это она наедается, — думал себе Сергей, — без пищи человеку невозможно; ведь, так и с голоду помереть может!» — и еще больше принялся жену уговаривать бросить уховёртку и есть сытно.

А Настасья ровно и не слышит, знай свое, уховёрткой своей управляется.

«Верно, ночью тайком наедается, когда люди спят, эка, еще неразумная!» — и положил Сергей караулить жену

ночью: быть того не может, чтобы человек не ел ничего!

Лег Сергей спать, легла и Настасья. Притворился Сергей, будто спит, захрапел, а сам все примечает.

В самую полночь поднялась Настасья, слезла тихонько с кровати да из комнаты к двери. Выждал Сергей, пока за дверь выйдет, да за ней следом. А Настасья уж во двор, да за ворота, да на улицу. Сергей за ней следом.

Шла Настасья, шла, повернула на кладбище, и там прямо к свежей могиле.

Сергей за крест, схоронился, ждет, что-то будет. И видит, еще идет, так мужик бородатый, прошмыгнул среди крестов и тоже к могиле.

И уж вдвоем с Настасьей принялись они за могилу.

Разрыли они могилу, гроб вытащили, вынули из гроба покойника, раздели, и ну его есть. И всего-то до чиста, до косточек объели, и, когда и самой малой жилки не осталось, гроб, саван и кости снова зарыли в могилу и разошлись: Настасья в одну сторону, бородатый в другую.

Тут Сергей из-за креста вышел да скорее домой. Задами обогнал жену да в дом, да на кровать и опять притворился, будто спит, захрапел. Вернулась и Настасья, легла тихонько, и сладко и крепко заснула.

А Сергей — какой уж сон! — Сергей едва утра дождался.

Пришло время обедать, зовет Сергей к столу Настасью. Сели за стол. На обед была каша. Настасья опять за свою уховёртку, отвязала от креста уховёртку, и ну хлебать по крупинке.

Сергей ей ложку. Взяла она ложку, повертела, повертела, положила на стол, и уховёртку свою спрятала, так сидит. Сергей и не выдержал:

— Что ж ты, – говорит, — не ешь? Или мертвец тебе слаще?

А уж Настасья зверь зверем, — и! куда все девалось! — схватила Настасья со стола чашку, да в лицо ему как плеснет.

— Ну, — говорит, — коли узнал мою тайность, так будь же псом!

Тявкнул Сергей по-песьи, и стал псом-дворнягой.

Настасья за палку, да его палкой за дверь, и прогнала из дому вон.

2

Выскочил Сергей псом-дворнягой и побежал. Бежит, куда глаза глядят, полает, полает и опять бежать. К вечеру прибежал он в город, в мясную лавку и вскочил: проголодался больно.

Попался мясник добрый, накормил пса, а пес и не уходит, визжит, остаться просится. Сжалился мясник, оставил.

Переночевал пес ночь и за ночь ничего в лавке не сделал.

«Экий пес-то умница!» — подумал мясник и решил не гнать пса, при лавке держать, лавку караулить.

Приходит наутро в мясную булочник за говядиной, выбирает себе чего поприглядней, а пес так и ластится. Приласкал его булочник, бросил хлеба кусок, подхватил пес хлеб, съел да от мясника за булочником и утек в пекарню.

И стал пес у булочника жить, лавку стеречь.

Приходит раз в пекарню за хлебом старуха. Накупила старуха всяких булок, отдает деньги. Стал булочник считать, и попался один какой-то гривенник негодящий, фальшивый, булочник и не берет. Старуха в спор: деньги правильные.

И видит булочник, не переспорить ему старуху, и говорит:

— Да у меня, — говорит, — пес и тот узнает, что твой гривенник негодящий! — и сейчас же пса покликал, разложил деньги на стол кучкой, показывает псу, выбирай, мол, негодящую.

Посмотрел пес на деньги, понюхал, да и выпихнул лапкой этот самый гривенник.

«Ну и пес, — подумала старуха, — ой, что-то тут неладно!»

— Коли пес, так и оставайся тут, — шепнула старуха, — а коли человек, за мной поди! — диковинным показалось старухе, что пес, а узнаёт деньги.

И убежал пес за старухой из пекарни.

Пришла старуха домой, да к своей дочке:

— Привела, — говорит, — я пса, да уж и не знаю, верно ли, нет, что пес: узнаёт деньги!

Посмотрела старухина дочка, посмотрела на пса, взяла воды наговорной, псу в глаза и плеснула.

— Коли, — говорит, — ты пес, так и оставайся псом, а коли человек, обернись человеком!

Тявкнул пес, и стал опять Сергей Сергеем.

Рассказал Сергей о жене, о Настасье, и как ночью на кладбище Настасья покойника ела и с ней бородатый, и как псом его обернула.

— Знаю Настасью, — сказала старухина дочка, — она у тебя колдунья, вместе мы с ней колдовству учились у одной старухи. Поперечная была Настасья, все наперекор, все по-своему, все напротив, не слушалась старуху, ей старуха и положила наказанье: ходить ей ночами на кладбище питаться мертвечиной. А хочешь жену поучить, дам я тебе наговорный состав, вернешься домой, плесни ей в лицо, увидишь, что́ будет.

Поблагодарил Сергей старухину дочку, забрал наговорную воду-состав и пошел себе домой человек человеком.

3

Шел Сергей по дороге, — тут по дороге когда-то бежал он псом, лаял, — долго шел Сергей по дороге, а пришел домой, нет дома Настасьи. Сел Сергей на крыльцо, стал поджидать. И когда Настасья вернулась, он ей, ни мало не медля, наговорным составом в лицо и плеснул.

Заржала Настасья и обернулась в кобылу.

Тут Сергей запряг кобылу в сани да в лес, да в лесу целый воз дров навалил, да и обратно, домой ехать, и всю-то дорогу до самого дому стёгом стегал кобылу. И не раз, с неделю так ездил Сергей в лес за дровами и все стегал, всю исстегал кобылу.

А она, — что́ со скотины возьмешь! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет.

И жалко стало Сергею, бросил он бить кобылу, пошел в

город к той самой старухе просить у старухиной дочки наговорного составу обернуть кобылу в человека. Старухина дочка дала наговорной воды, и вернулся Сергей домой не с пустыми руками.

А она — известно, скотина! — она только смотрит, сказать ничего не может, — скотина не скажет, только плачет.

И облил Сергей кобылу наговорным составом, и стала опять Настасья Настасьей. И уж с той поры забыла всякую мертвечину, кроткая, все ела, как люди.

И стали они жить по-хорошему, хорошо и согласно.

1912 г.

ЛИХАЯ

Была у одного человека жена да такая, что не дай Бог, напал на такую: все, бывало, ему назло делает. Ну и не может извести ее, а уж вот куда стало, хоть руки на себя накладывай.

Ходил, ходил он день в лесу, и надумал средство одно.

Вечером приходит домой, сел, вьет веревку.

— Куда ты, Семен, веревку вьешь? — говорит жена.

— Эка ты, да я клад нашел.

— Большой клад?

— Большущий.

Наутро отыскал Семен кошелку, уходить хочет.

— Возьми меня, — просит жена.

— Нет уж, куда с тобой.

— Нет, пойду!

— Ну, ступай уж, пойдем.

Положил Семен веревку в кошелку, кошелку за плечо, и пошли. И приходят они до той самой ямы, где клад. Вынул Семен веревку, вяжет круг себя.

— Куда ты, Семен, веревку вяжешь?

— Да за деньгами-то надо спуститься.

— Куда тебе, я сама полезу.

Семен веревку с себя снял, и давай крутить жену, окрутил жену, спустил ее в яму.

А как спустилась она в яму, слышит Семен: драка —

такой писк пошел, такой вереск поднялся и веревку трясет, избави Господи! Часика два там она воевала, Семен и потянул веревку. Тянет, потянет, а из ямы-то не жена, а словно бы черт с рогами. Испугался Семен, скорее назад опускать веревку.

— Не спускай, сделай милость, — просит черт, — чтó хочешь тебе сделаю, на век свой не забуду дружбу, избавь ты меня от лихой бабы. Тысячу лет я жил в яме тихо-смирно, не спускай, сделай милость! — черт инда заплакал.

Семен черта и вытащил.

— Иди за мной! — сказал черт с рогами.

Пошел Семен за чертом: и страху-то натерпелся, только виду не показывает, и легко-то ему, что посадил-таки жену в яму, — поори там, кому в лесу нужно!

И приходят они к богатому-пребогатому дому.

— Слушай, — стал черт, — я пойду в дом, заберусь на вышку, буду ночь ломотить — не дам покою, а ты колдуном найдись и проси денег много, иди на вышку, там скажи тихо: Я пришел, ты вон пошел! Понимаешь?

— Понимаю.

Как сказал черт, так все и вышло.

Помешкал Семен у дома, потом постучался, его и пустили. А в доме уж такой шум, хоть образа выноси. Назвался Семен колдуном, полез на вышку.

— Я пришел, ты вон пошел! — сказал Семен тихонько.

И усмирилось все, тихо стало, никакого шуму. Отвалили Семену денег кучу, забрал Семен деньги, распростился и пошел себе, посвистывает. А у ворот черт его поджидает.

— Иди за мной! — сказал черт с рогами.

И приходят они к дому богаче того дома.

— Я, — говорит черт, — пойду в дом и все там сделаю — нашумлю, а ты опять колдуном найдись, понимаешь?

— Понимаю.

Как сказал черт, так все и вышло.

Зашумел черт, загремел, да так, того и гляди дом разворотит. Семен — в дом, опять колдуном назвался. Посулили ему много денег. Влез он на вышку.

— Я пришел, ты вон пошел! — сказал Семен тихонько.

И успокоилось в доме. Тут загреб Семен деньги, да уж и не одну, а целых две кучи, распростился и пошел себе, посвистывает. А у ворот черт.

— Иди домой, — сказал черт, — наградили тебя, дурака, и чтоб за мною больше ни-ни! — а сам злой, с рогами, пальцем грозит, хвост стал дыбом волосатый.

Послушался черта Семен, пошел домой. И стал Семен жить себе да поживать: денег куры не клюют, сыт, пьян, нос в табаке. И задумал Семен жениться.

Вот сидит раз Семен, ест соты-меды, пивом прихлебывает, о молодой жене раздумывает, как с молодою женою жить будет. Хвать, стучат. Отворяет Семен дверь, — а время уж к ночи было, — какие-то люди, кланяются.

— Насилу, - говорят, - мы тебя отыскали, Семен Иванович, ну хоть что хочешь бери, а избавь ты нас от беды: третью ночь покою не имеем, черт засел в доме.

Семен и руками и ногами.

— Спаси, — говорят, — на век наш не забудем дружбу, сделай милость! — да в ноги Семену, плачут.

Ну Семен и пошел. И приходит он в дом, где засел черт, и сейчас же на вышку, да только это рот разинул, черт цап его за горло.

— Ты, — говорит, — зачем?

А Семен едва уж дышит, так черт ему горло стиснул.

— Смотри, — говорит Семен черту, — девять баб пришло таких... которая одна тебя из ямы выгнала... а таких девять пришло.

Тут на что хвост у черта крепок, да и тот задрожал, как листик.

Выпустил черт Семена.

— Уйду, — говорит, — живите, как знаете, с глаз долой за тысячу верст уйду, только не допусти ты до меня этих лихих! — пятился черт, пятился к балкам, да под стреху.

И с той поры ни слуху, ни духу, ровно бы сквозь землю провалился.

1909 г.

БРАТНИНА

1

Хорош был молодец Катеринин брат, все девицы на него заглядывались. Задумал он жениться, но сколько ни смотрел невест, лучше и краше сестры нигде не нашел.

— Поди за меня замуж! — говорит он сестре Катерине.

— Пойду, — говорит Катерина: ей никто так не мил, ей никто так не люб, как родной брат.

Ну, и порешили жениться. Оставалось только свадьбу сыграть.

А ходила по деревне бабушка-задворенка, старуха старая. Проведала старуха про брата с сестрой и приходит в их дом.

Под венец наряжена сидит Катерина. Бабушка к Катерине.

— Разоставь ты, — говорит, — девушка, по всем четырем углам по веретёшку.

Катерина послушала, поставила по четырем углам веретена, сама к венцу идти хочет.

— Ку-ку! — прошипело веретено первое.

— Где ты? — второе окликнуло.

— Брат на сестре женится! — сказало третье.

— Просела! — отозвалось глухо четвертое.

Катерина к бабушке. А старуха и говорит:

— Четыре ночи поспать тебе велят, а тогда и замуж пойдешь.

Катерина послушала; четыре ночи одна она будет ждать, а потом и свадьба.

И наступила первая ночь, и слышит Катерина, как сквозь сон где-то далеко кличет:

— Ку-ку! — кто-то кличет.

На вторую ночь, только что заснула она, и опять слышит, окликает:

— Где ты? — окликает кто-то.

На третью ночь в глубоком сне, будто на ухо, сказал кто-то:

— Брат на сестре женится! — сказал кто-то.

А на четвертую ночь, не успела она глаз закрыть, кто-то как крикнет:

— Просела! — крикнул кто-то.

И провалилась Катерина сквозь землю.

2

Страшно было Катерине в потемках, темь там осенняя. Потом стало светать, совсем посветлело. Шла Катерина лесом по сырому бору, долго шла без дороги. И видит Катерина, стоит в лесу избушка, не простая: на курьих ножках, на веретенной пятке. Вошла Катерина в избушку. А в избушке три горницы. Первая горница — скакухи да жагалюхи, лягушки да ящерицы, вторая горница — ползает-бродит слизень: одна голова о семи горлах, третья горница — сидит девушка, вышивает в пяльцах.

Увидала девушка Катерину.

— Что́ ты! — говорит, — куда зашла? — и рассказала Катерине о избушке: избушка Бабы-Яги, а вернется Баба-Яга, худу быть.

Рассказала Катерина, как провалилась сквозь землю, как попала она в избушку.

— Как бы так от Яги схорониться! — просит Катерина.

А как схорониться? Жалко стало Алёне Катерину. Положила Алёна пяльцы, порылась в сундучке у Бабы-Яги, достала тоненькую хворостинку, пощекотала Катерину под ла́лаки-горлышко, и обернула Катерину в иголку, а иголку заколола себе в ворот и села опять вышивать в пяльцах.

А Баба-Яга уж едет, помелом машет.

— Фу-фу-фу! Русским духом пахнет! Пообедала я на свадьбе, поужинаю дома!

А в избушке нет никого, все свои, не заметна Бабе-Яге Катерина.

Пошарила Баба-Яга за печкой, заглянула под лавку — нет никого! — и завалилась спать. И спала Баба-Яга по-ягиному без просыпу до белой зари. Белой зарей поднялась Баба-яга, разбудила Алёну, подняла всех скакух, всех жагалюх, села на ступу да в путь на ведьмину свадьбу.

Скрылась Баба-Яга, простыл ее след. Достала Алёна из

сундучка ягиную хворостинку, вынула из ворота иголку, поводила хворостинкой по иголке, и стала из иголки Катерина.

Просит Катерина вывести ее на дорогу: вернется Баба-Яга, худу быть.

А Алёна и сама рада.

— Три года живу я у Яги в избушке, — говорила Алёна, — насмотрелась я у Яги чудес всяких. Только уйти не могла, одной трудно, одной не уйти.

Трудно уйти от Бабы-Яги. Как тут уйдешь? Заметит слизень, сын Бабы-Яги, семигорлый, и такой крик подымет, под землей услышит Баба-Яга его голос. Как тут уйдешь?

Намесила Алёна сухомесу, замазала все горла слизню, достала из сундучка волшебную щетку, кремень, огниво, взяла за руку Катерину.

— Пойдем, сестрица!

И пошли. Побежали сестры лесом по сырому бору, не оглянулись.

А слизень лизал да лизал себе горла, да одно горло и пролизал.

— Ой, маманя, — кричит семигорлый, — девки ушли!

Баба-Яга свахой сидела на ведьминой свадьбе, Баба-Яга признала голос, насторожилась.

А слизень пролизал себе и второе горло.

– Ой, маманя, – кричит семигорлый, – девки ушли!

И опять Баба-Яга слышит, будто сын кличет, только неясно, в шуму невнятно.

А слизень пролизал себе последнее седьмое горло да как крикнет:

— Ой, маманя, девки ушли!

Баба-Яга на ступу, Баба-Яга домой.

Приехала Баба-Яга в избушку, вошла в свои горницы: целы скакухи, целы жагалюхи, цел слизень семигорлый, стоят пяльцы, а Алёны нет-как-нет, — да опять в ступу, взмахнула помелом, да в погоню.

Бежали сестры. Бегут сестры лесом, все лесом, не передохнут, не присядут. Бежали, бежали, оглянулись, а Баба-Яга тут и есть.

— А-а! Проклятые, попали мне теперь!

Тут бросили сестры волшебную щетку — и стала чаща.

Запуталась Баба-Яга в чаще. И долго Баба-Яга пробиралась сквозь чащу, насилу-то выбралась и ветром пустилась в погоню. И нагнала сестер.

— А-а! Проклятые, попали мне теперь!

Тут бросили сестры волшебный кремень — и стала гора.

Крута гора, высока перед Бабой-Ягой. Уж карабкалась Баба-Яга, карабкалась, насилу-то взобралась на гору и вихрем помчалась в погоню. И нагнала сестер.

— А-а! Проклятые, попали мне теперь!

Тут бросили сестры волшебное огниво — и закипела пламень-река.

Кипит река. С одного конца зайдет Баба-Яга — пышет огонь, с другого конца зайдет — пышет огонь. И повернула Баба-Яга домой в избушку.

Бежали сестры. Бегут сестры лесом, все лесом, не передохнут, не присядут. Бежали, бежали и добежали до той дыры самой, в которую Катерина провалилась. И вышли сестры на свет белый.

3

Вышли сестры на свет белый. Опять на земле, опять они на дороге.

Призналась Алёна Катерине, ведь, и она полюбила своего брата, и провалилась сквозь землю и попала к Бабе-Яге.

— Пойдем ко мне, — зовет Катерина, — ты выйдешь за моего брата.

— А ты поди за моего, сестрица!

И они пошли по дороге, Алёна да Катерина, сестры.

Алёна вышла за Катеринина брата, Катерина вышла за Алёнина брата. И стали все вместе жить, добра наживать.

1911 г.

ПОДРУЖКИ

1

Жили-были две подруги, одна другой под стать, Анюшка и Варушка. Анюшка у матери жила, Варушка одна через три версты от Анюшки: родители у Варушки померли.

Дня друг без друга прожить не могли подруги: один день Варушка у Анюшки сидит, угощаются, на другой день Анюшка к Варушке пойдет, подругу почествовать. Так и гостились.

— Без тебя мне, Анюшка, свет не мил.

— От тебя, Варушка, никуда не пойду.

Станут подруги прощаться, стоят-стоят, насилу разойдутся. А назавтра опять сошлись: либо Анюшка к Варушке, либо Варушка к Анюшке. Так и жили.

— Без тебя, Анюшка, я жизни решусь.

— От тебя, Варушка, никуда не пойду.

Стали сватать Анюшку. Уперлась — в жизнь ни за кого не выйдет Анюшка, да мать настояла, старуха. И выдали замуж Анюшку за Андрея. Похорохорилась, пофыркала девка, а потом и свыклась: попался ей муж хороший, ладный.

2

Уехал Андрей в город. Осталась одна Анюшка. И задумала Анюшка подругу проведать: со свадьбы не видалась с Варушкой, соскучилась без подруги.

Вышла Анюша из дому, идет по дороге, а встречу ей девка с пирогом-и м е н и н а м и.

— Куда пошла, Анюшка?

— В гости к Варушке.

— Не ходи ты к Варушке, не будет ладу.

— Ну, вот еще, не впервой гостимся.

И пошла Анюшка дальше, а встречу ей баба с полосканьем: на речке белье полоскала, домой несет.

— Куда ты, Анюшка?

— В гости к Варушке.

— А не ходить бы тебе к Варушке, будет худо.

— Что ты! Мне ли от нее худо!

И пошла Анюшка дальше. Едет мужик с сеном.

— Куда ты, Анюшка?

— В гости к Варушке.

— Не ходи ты к Варушке, Варушка людей ест.

— Еще чего скажешь!

И пошла Анюшка дальше, дошла до Варушки. И видит Анюшка, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья, — глазам не верит Анюшка. Вошла на крыльцо, а тут рука лежит, — не хочет верить Анюшка. В сени зашла, а в сенях тулова да головы человечьи. Хочешь, не хочешь — поверишь.

— Иди, иди в избу! — отворила дверь, кричит ей Варушка, — не ходи, не ходи! — машет руками.

И зовет и не зовет подругу.

Не в толку́, не в уме вошла Анюшка в избу.

Сидит Варушка под окном, — когда-то тут сиживали вместе подруги.

— Садись и ты, Анюшка! — а сама так смотрит... неладно.

И, как прежде, сидели под окном подруги. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели.

— Я, Варушка, домой пойду, – спохватилась Анюшка, — не по-старому ты, не по-прежнему что-то.

— Не ходи, Анюшка! — оставляет Варушка, а сама так смотрит... неладно.

И опять сидели подруги, как прежде. Сколько вечеров тут прошло под окошком, ягоды ели, попевали песни! Теперь молча сидели.

Поднялась Анюшка, хочет домой. Не хочет Варушка отпускать без ужина подругу.

— Поужинаешь, тогда и пойдешь! — собрала на стол Варушка, принесла рыбник, — рыбник из перстов состряпан человечьих, угощает пирогом подругу.

Анюшка рыбник не съела, за пазуху запихала.

И не заметила Варушка.

— Что́, съела рыбник?

— А там, у сердца, — показала Анюшка, будто все съела, и домой хочет, — прощай, Варушка.

А Варушка молчит, так смотрит…

— Отпусти меня, Варушка! — просит Анюшка: чует, неладно.

Молчит Варушка, так смотрит… неладно, а потом за руку как схватит Анюшку, за локоть и выше под мышку.

— Нет уж, пришла, так и будем вместе! — и начала ее есть, да всю, всю-то Анюшку и съела.

3

Ночью из города вернулся Андрей, хватился — нет жены. Послал к матери, нет ее и у матери.

— К Варушке ушла, — говорят Андрею, — видели!

Всю ночь прождал Андрей, — не вернулась домой Анюшка. И чуть свет вышел Андрей и прямо к Варушке. Глядь, у крыльца отъеденная ножка лежит ребячья, на крыльце рука, в сени вошел, а там тулова да головы человечьи. Андрей назад домой, созвал старшин, объявил.

Народу сошлось все село, всем селом пошли к Варушке, кто с чем.

Окружил народ избу, приколотили железные рамы к окнам, забили дверь. А Варушка по горнице скачет, ой, как скачет! Поскакала там, поскакала и затихла. Посмотрели в окно, лежит, затихла. Тут натащили хворосту, принесли огня, подпалили хворост, — занялся огонь, да и сожгли избу.

1911 г.

КРАСНАЯ СОСЕНКА

Жил-был богатый мужик, и было у мужика три дочери: умные две, а третья дурочка. Собрался отец в город на ярмарку, старшие и говорят:

— Купи, — говорят, — тятя, нам по калошам.

— А мне купи сосенку! — дурочка просит.

Поехал отец в город, побывал на ярмарке, и вернулся домой с покупками, привез, чтó велели: старшим умным — калоши, младшей дурочке – сосенку. Сам смеется:

— Куда ты, — говорит, — ее денешь, печку топить?

А дурочка взяла сосенку, снесла сосенку на огород, там и посадила. Днюет и ночует дурочка около своего деревца. Сосенка растет, дурочка растет.

Износили умные сестры свои новые калоши, повесили осьметки на огороде воробьев да сорок пугать, а у дурочки сосенка выросла высокая, стройная, не простая: постучишься — дверка раскроется, в домик войдешь — сундуки стоят, в сундуках наряды — да такие, как у царицы самой. Только про это никто не знает, одна дурочка знает.

А жил неподалеку от деревни князь. Отец у него помер, и задумал князь жениться. Сколько стран, сколько государств он объехал, а нигде не мог найти себе по сердцу. И стал князь собирать народ со всех сел и со всех деревень:

«Авось, — думает, — найдется, придет ко мне моя суженая!»

Выпросились у отца умные сестры, разрядились идти на пир к князю.

— И меня возьмите! — дурочка просится.

— Куда тебе, народ пугать! — не взяли ее сестры, одни ушли.

Пошла дурочка на огород к своей сосенке, постучалась в сосенку — раскрылась дверка и очутилась дурочка в домике. Убралась там, оделась — узнать нельзя, царевна настоящая. А как вышла из домика и затворилась дверка, откуда ни возьмись тройка — заливаются, звенят колокольчики. Села дурочка и поехала на пир к князю.

Много красавиц собралось у князя на пиру, на вечере, и одна была всех краше — дурочка. Князь не отходил от нее, угощал ее, а выведать не мог, кто такая она. И никто не узнал дурочку, сестры не признали сестру, а сама о себе она никому не открыла.

Вот и придумал князь: как идти дурочке домой, велел он порог вишневым клеем вымазать, а сам пошел до сеней провожать. Ступила дурочка на порог, туфельку и оставила.

А на другой день пустились княжие слуги по деревням разузнавать, кто потерял туфельку у князя на вечере. Заехали и на дурочкин двор. Спросили умных сестер, дошла очередь спросить и дурочку — сидела дурочка на печке рваная, сажей испачканная.

— Твоя туфелька? — смеются ей княжие слуги, и сестры смеются и отец.

— Моя, — говорит дурочка, а сама с печки да на огород.

Обрядилась дурочка у своей сосенки, убралась, как царевна, вернулась в дом. И все диву дались: уж такая красавица — сосенка красная!

Тут приехал сам князь, свадьбу сыграли и стала дурочка княгинею, и стали они жить-поживать да добра наживать, князь молодой с княгинею.

1910 г.

КУМУШКА

Жила-была старушка Кондратьевна, смолоду была Кондратьевна приметлива да говорлива, а под старость, хоть глазом и ослабела, а еще зорче видела, и хоть один зуб торчит, а и сам говорун речистый не переговорит ее шамканья. И была у Кондратьевны кумушка, — с одной ложки ели и пили, подружка. Старые старухи на печи лежат, старые старухи охают, а подружки сойдутся вечерок посидеть, до петухов сидят, да и век бы сидеть, разговаривать.

Подружка кумушка и померла.

И осталась на свете жить одна Кондратьевна.

Богомольная была Кондратьевна, к службам очень любила ходить. Все приметит Кондратьевна, все высмотрит: и кто как стоит, и кто зевнет, и кто кашлянет, и на ком что наряд какой, — ничего не упустит старуха. А порассказать-то уж и некому, нет больше кумушки, да и самой послушать нечего, не заговорит больше кумушка.

Без кумушки скучно Кондратьевне, ляжет старуха на печку, время спать — не спится, и лежит так, тараканьи шкурки считает.

Лежит так Кондратьевна, шкурки тараканьи считает, не спится старухе, вспоминается кумушка. И слышит раз Кондратьевна, среди ночи звон в церкви гудит. Встала с печки да в церковь. А церковь — полна покойников: в саванах стоят покойники и все одинаковые, не видно лица, не разберешь, кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летось. И как ни всматривается Кондратьевна, — все одинаковые, стоят в своих саванах.

А кумушка знакомая, подружка Кондратьевны, сняла с себя саван и говорит:

— Нынче мы молимся, упокойники, а не вы, уходи, да чтобы не слышал никто, не сказывай!

Ушла домой Кондратьевна: не будет она мешать покойникам, еще чего доброго и съедят ее, всю-то схряпают вместе с косточками. И целый день крепко держала старуха свой полунощный зарок. Но когда среди ночи опять услышала звон, охота посмотреть покойников отогнала всякие страхи. Встала старуха с печки да скорее в церковь: кто Иван и кто Марья, кто нынче помер, кто летось, — все она высмотрит, до всего дойдет. И опять ее кумушка, подружка знакомая, уходить ей велела.

Три ночи кряду ходила Кондратьевна в церковь, три ночи прогоняла ее домой кумушка. На четвертую ночь Кондратьевна не услышала звону, на четвертую ночь у дверей стал покойник. Молча в саване стоял у дверей покойник, пугал Кондратьевну. И на следующую ночь опять у дверей стоял покойник, пугал Кондратьевну.

«Кто — Иван или Марья? Когда умерший — нынче или летось? Зачем пришел? Что ему надо?» — хочется старухе все разузнать, а как разузнаешь, — не говорит, помалкивает покойник, только пугает.

И домекнулась Кондратьевна. Еще засветло покрыла она стол скатертью, под стол петушка пустила, чтобы в полночь спел петушок, — мало ли что! — сама влезла на печку, легла ночи ждать.

Лежит Кондратьевна на печке, шкурки тараканьи считает, ждет ночи, ждет покойника.

И пришла ночь, стал ночью у дверей покойник. Увидела его Кондратьевна, да скорее с печки, манит к столу.

Уселся покойник за стол и говорит:

— Съем я тебя! И зачем ты повадилась ходить к нам в непоказанный час, терпенья нет моего! — да саван с себя долой.

Тут Кондратьевна так и ахнула: кумушка, подружка ее знакомая, кумушка сидела за столом.

А скатерть и говорит:

— Трут меня и моют и полощут, все терплю, а ты малости такой перетерпеть не могла! — говорит скатерть кумушке.

И запел петушок, и покойница отступилась.

1911 г.

ВОРОЖЕЯ

Был такой царь заморский, строгий, за правду стоял, порядок наводил, — нарядчик. Какие были в его государстве воры, жулики, озорники и безобразники, — либо перевелись, либо в другие земли промышлять отошли. Царь был строгий и справедливый, — нарядчик.

Случилось, царь разболелся: и то прикладывают и другое, — из сил выбились, а нет пользы, ничего не помогает.

Вот царица царю и говорит:

— Есть, — говорит, — в нашем государстве, в заморском, старушка одна, ворожея живет. Вот если позвать ее, так она уж скажет, какая у тебя болезнь.

Царь послушал царицу, дал согласие.

Пошли за старухой. Позвали старуху. И пришла к царю старуха, ворожея самая.

— Здравствуй, дитятко, ваше царское величество! — говорит старуха, а сама и глянуть на царя боится: очень уж все царя боялись.

Ласково поздоровался царь со старухой, выслал вон приближенных своих царских слуг, остался один со старухой.

— А что, — говорит, — бабушка, знаешь ты: смерть мне или житье будет?

Старуха ни жива, ни мертва.

— Что ж, скажи, бабушка!

А старуха царю:

— Где уж мне знать Господню тайность про это, — да в ноги царю, — станешь, дитятко, ворожить, коли нечего в рот положить!

Жалко стало царю старуху.

— Коли не знаешь, бабушка, — сказал царь, — а спросят тебя, скажи: смерть будет царю. От смерти-то, бабушка, никому не уйти, правда?

— Правда, дитятко, правда.

Простилась старуха, пошла от царя.

Тут ее, старую, и затормошили, — все на старуху, все хотят знать, что́ будет царю.

– Что́ будет царю: житье или смерть? — все хотят знать.

— Утром помрет! — одно твердила старуха, что велел ей сам царь говорить, и до утра, кто б ни спросил, всем и каждому это одно, о смерти, — утром помрет!

И до утра все повторяли за старухой про царя старухино царское слово:

— Утром помрет.

Наутро царь и помер.

И как узнали, что правда, царь помер: сбылось, значит, слово, — и вознесли старуху, да так, что на вековечный хлеб попала.

1910 г.

СЕРДЕЧНАЯ

Много от слова бывает: словом можно, что́ хочешь, накликать, словом и беду прогоняют. Мудрым людям известно, когда сказать надо, когда промолчать лучше.

Помер муж у Лизаветы, осталась одна она, да шестеро ребят, с шестерыми-то одной куда нелегко, много горя натерпишься!

Ладно жила с мужем Лизавета и затоскнула крепко. День в заботах, на месте не посидит, а ночь придет, не спится, места от тоски не найдет.

И стал он к ней ночью ходить, колотиться в дверь.

И раз пришел и в другой пришел.

Пришел он в третий раз и давай в дверь колотиться.

— Отворяй, — вопит, — я иду ребят смотреть! — любил он детей: ему жалко ребят.

Слышит Лизавета, испугалась, — волосы на голове стали, — поднялась, отворила дверь в сени.

— Когда бросил, — говорит, — да покинул, тогда не жалел, а нынче нечего с тобой делать, не отворю!

А он стоит у дома под дверями, колотится, вопит.

До петухов держал мертвец у дверей Лизавету в сенях: от страха не могла она сойти с места, стояла в холодных сенях.

Наутро рассказала Лизавета людям, что ходит, беспокоит ее покойник, и кто б ни зашел ее проведать, — жалели Лизавету, сердечная, до нищих добра была, — прохожий ли, странник-калика, всякому рассказывала Лизавета, не таилась.

И всякий пожалел Лизавету. Всякий пожалел Лизавету, кому бы ни рассказала она.

И больше не стал мертвец ходить к Лизавете.

1912 г.

ОТГАДЧИЦА

Жил-был старик со старухой, и плохо пришлось старикам, так обедняли, что не стало у них и куска хлеба. Чтó тут делать? Вот старуха и надумала.

— Возьми, — говорит старику, — у соседа, сосед богатый, возьми, — говорит, — коров, загони их в свою пожню!

Старик согласный: что старуха, то и старик, — загнал старик соседских коров на свою пожню. А там хватились, у соседа, ищут коров, найти не могут.

Тут старуха выждала время, да к соседу.

— Что, — говорит, — сосед, не могу ли я в сей вечер твоих коров отворотить?

Обрадовался сосед.

— Ежели, — говорит, — бабушка, твоя сила будет, чем могу, тем и поблагодарю, только верни коров.

Карасьевна домой, за старика.

— Гони, — говорит, – старик, коров домой.

Старик согласный: что старуха, то и старик, — погнал старик коров к соседу. А сосед на радостях Карасьевне пуд муки.

И стал старик со старухой жить да поживать, и все было хорошо, пока не съели пуд соседский.

Кончилась мука, попали опять старики в бедность, опять пришла нужда. И опять пришлось старикам за старое взяться: тоже и с другим соседом проделали, загнали коров, потом старуха коров вернула и получила новый пуд.

Так хватовщи́ной и прокормились старики лето.

А слава о Карасьевне, о колдовской ее силе такая пошла, сам государь узнал.

Пропал у государя о ту пору самоцветный камень, и сколько его ни искали, найти нигде не могут, как в воду канул. И пришло государю на разум испытать Карасьевну: пускай отгадает старуха, кто унес его камень.

Едут за Карасьевной два царских лакея: Брюх и Хребет — они же и царский камень украли, только все шито-крыто. Едут лакеи, ведут разговоры.

— Вот что́, Брюх, — говорит Хребет Брюху, — ежели старуха и вправду отгадать может, что мы у царя камень взяли, давай положим куриные яйца в сани, узнает старуха, стало быть, верно, колдунья.

— Что же, положим, – согласился Хребет.

Хотели лакеи испытать старухину силу. И сейчас же, как только в село въехали, не заходя в дом, достали куриных яиц, да тихонько в сани и сунули.

А Карасьевна, как увидела Хребта и Брюха, да узнала, что от самого государя лакеи, везти ее к государю посланы, перепугалась насмерть.

— Не поеду, — стоит старуха, — без старика не поеду, он тоже знает.

Им-то чего, со стариком ли, без старика, все едино, уложили котомки и в путь.

Уселся старик в сани, села старуха, прощается с домом — куда уж вернуться!

— Сесть, — говорит, — мне было, как курице на яйца.

А лакеи так друг друга и подтолкнули.

— Эка, ведьма, зара́з узнала! — и всю-то дорогу помалкивали оба: чем ближе к государю, тем страх больше.

И старик со старухой молчали: не вернуться им домой вовеки!

Ночью приехали старики ко дворцу. Отвели старикам комнату особую, велели спать. А Брюх с Хребтом под дверями уши навострили.

Ворочался старик, — нет сна, какой уж сон!

— Ой, ворона, — не вытерпел, сказал старик старухе, — залетела в высоки хоромы, что-то нам будет?

— Что будет брюху, то и хребту! — горько сказала старуха, горько ей было старой: хоть и в бедности жили, да не в беде, а тут крышка.

Как услышали Брюх с Хребтом старухины слова, так тут у дверей и присели.

— Отдать надо, отгадала злодейка, отдать надо! — да ползком, ползком в свою лакейскую каморку, да скорей за сундук, вынули из сундука камень и с камнем назад к старикам, стучат к старикам.

А старик со старухой со страху тычутся, дверь отыскать не могут, чуть живы от страху, насилу-то отворили.

Тут Брюх и Хребет старухе в ноги:

— Не говори на нас, бабушка, что он у нас хранился! — и подают старухе камень, да сто рублей денег.

Приняла Карасьевна камень и сто рублей денег и уж до самого утра так его в руках и держала, а старик стоял, ее застил: горел самоцветный камень, играл, как Божьи огни — звезды.

Наутро привели старуху к государю.

— Что, старуха, — спрашивает государь, — гадала?

— Гадала, батюшка, — говорит Карасьевна, — и отгадала, батюшка, где твой камень есть. В Москву унесен, через неделю достану.

И целую неделю жил старик со старухой во дворце у государя, целую неделю из комнаты никуда не отлучались, караулили старики камень: мало ли грех какой, не уследишь, стащут!

Через неделю повели старуху к государю, и отдала Карасьевна государю его самоцветный камень.

Удивился государь такой колдовской силе.

— Ну, — говорит, — бабушка, за такую службу мало тебе и царской награды! Здесь ты желаешь жить или в свою сторону назад едешь?

А Карасьевна едва дух переводит и пала в ноги государю:

— Батюшка, где меня взял, отвези назад.

И отправил государь старика и старуху домой и наградил хлебом до самой их смерти.

1912 г.

ДОГАДЛИВАЯ

1

Жил один человек бедный, много терпел, а все неудача: не везло ему ни в чем — да и только. И не то, чтобы там о каких-нибудь богатствах, об одном уж у него мысль: хоть как-нибудь да Бог дал бы день прожить. Был он семейный: жена, дети, — и жить бы ему с семьей дружно, да жить нечем. И чем дальше, тем нужда больше. И так ему плохо пришлось, что и кормиться нечем.

Вышел Прохор из дому, а куда идти — и сам не знает. А идти надо: без денег хоть и домой не возвращайся. А где достать денег, — так, с ветру, и копейка не валится. И стало ему горько.

«Хоть бы черт денег мне дал, уж я бы ему и душу продал, чтобы только ребят кормить!»

И только это он о черте подумал, черт и явился.

— А, —говорит, — здорово, Иваныч! — а золотой у самого в лапе так и играет, — хочешь?

Как тут быть: не откажешься — деньги налицо, только бери.

— Что ж, давай! — протянул руку Прохор за золотым.

А черт и говорит:

— Ишь, какой! Ты, Иваныч, наперед мне дело одно сделай, а потом и деньги твои будут. Палец безымянный надо... ну, кро́вку из пальца выпустим, так чуть-чуть, ты мне условие подпиши, Иваныч, и готово.

— Ладно, — согласился Прохор.

И живо все это дело сделали, из безымянного пальца кровь выпустили, подписал Прохор черту условие, а черт Прохору — денег, золотой.

— За душой приду, прощай! — только хвостом и вильнул черт.

2

С золотым вернулся Прохор домой. И с той поры не переводились деньги, разжился, начал торговать, и пошла совсем другая жизнь. Забыл бедняк о всякой нужде, легко было жить, и не заметил он, как старость подошла.

И чем ближе к смерти, тем больше стал задумываться старик.

И то, что черту кровью условие подписал — душу ему, черному, продал, мучило старика, и еще то, что столько лет со старухой в дружбе да в любви живет и во всем в душу и все с ней в совете, а главного-то, откуда у него тогда золотой появился, не открыл он старухе, ничего старуха о условии его с чертом знать не знает.

Сидит так старик, голову повесил: черта ему страшно — грех мучит, да и перед старухой вину свою знает, а сказать тяжко.

— Что ты, старик, все задумываешься? — спрашивает старуха, — раньше-то нам думать было о чем, когда жили мы бедно, а теперь что нам думать!

А старик ей, молчал-молчал, да и говорит:

— Не знаешь ты, старуха, где я тогда золотой взял! Я черту душу продал.

Сказал старик, а сам пуще испугался: думал, что уж старуха так тут на месте от страха и кончится.

А старухе и горя мало.

— Нашел, чем горевать! А пускай только придет черт: уж если брать твою душу, так и мою должен взять, а мою не возьмет, так и твою не возьмет.

3

Легок черт на помине, черт стучится:

— Отпирай, Иваныч, я пришел!

А на старике лица нет, двинуться не может.

Пошла старуха, отперла дверь, впустила черта.

— Здорово! — так хвостом и виляет, — я за душой, Иваныч!

— Нет, ты и мою бери, — наступает старуха, — столько лет вместе жили, так не годится.

— А на кой мне твоя, бабья, я за ним пришел! Да много ль возьмешь за свою? — сам так и юлит: ему, черту, чем больше душ, тем лучше.

— Денег я не возьму, а справь ты мне три задачи: справишь — тебе обе души, не справишь — иди от нас подобру-поздорову.

— Еще чего! — подскочил черт: черт все может, ему на бабу стало обидно.

Ударили по рукам: справит черт три задачи — возьмет душу старика да и бабью даром в придачу, а не справит — ни одной не получит.

А старик ни жив, ни мертв: страшно ему за себя, страшно и за старуху, как бы старуха перед чертом не сплоховала.

Стала старуха посреди избы, да как чихнет:

— На́, — говорит, — има́й!

Черт ловит, ловил-ловил, не может нигде поймать.

— Ну, вот и не справил задачу, а еще черт! — подзадоривает старуха.

Бесится черт: черт все может, ему на бабу обидно.

Выдернула старуха из-под повойника волосинку.

— На́ тебе, выпрями волос!

Черт за волос, крутил, вертел, и вертел, и меж ладонями катал, выпрямить не может, да и разорвал.

— А еще черт! Ничего-то ты не можешь, — знай себе, дразнит старуха.

Пуще бесится черт: черт все может, ему на бабу страсть обидно.

— Вот у меня родимое пятно, — показывает черту ста-

руха, — седьмой десяток на теле ношу, слижи, чтобы добела.

Черт лизать, лизал-лизал, стало языку больно, а пятнышко не сходит, только старухе локоть натер. И невмоготу уж старухе, терпела-терпела, да как дрыгнет ногой: у черта из глаз инда искры посыпались.

И отступился.

Отступился черт, да драла без оглядки, забыл и про души.

1912 г

ЦАРЬ СОЛОМОН И ЦАРЬ ГОРОСКАТ

ЦАРЬ СОЛОМОН

1

У Давида царя был брат слепец Семиклей. Семиклей был женат. И жили они, две царские семьи, Давид царь со своею царицей да Семиклей со своею женой, вместе в одном дворце. Перед дворцом стояло дерево высоченное с золотыми плодами, и на этом дереве жена Семиклея устроила себе ложе и там принимала своего друга.

Подозревал Семиклей жену и, как влезать ей на дерево, охватит, бывало, Семиклей охапкой дерево и не отходит, но жена свое дело знала и всегда пустит наперед друга, а уж за ним и сама.

Сидел раз Давид царь с царицею у окошка, любовались на чудесное дерево с золотыми плодами, а жена Семиклея не видит царя с царицей и свое это дело затеяла: подсадила друга своего на дерево и сама за ним полезла.

Топчется Семиклей под деревом, охватил охапкой дерево, а поймать все равно никого не поймает — слепец.

Жалко стало Давиду царю брата слепца.

— Я Господу Богу помолюсь, — сказал Давид царь, — прозреет брат, ссечет голову у неверной жены.

— Не ссечет, — говорит царица, — спустится она на землю, три ответа даст, на слово три слова найдет ему, вывернется.

А царь Соломон во чреве царицы и говорит:

— Плёха по плёхе и клобук кроет!

Перепугалась царица.

Давид царь молился, просил за слепца у Господа Бога, чтобы вернул Господь зрение брату.

И прозрел слепец, открылись глаза у царского брата:

увидел Семиклей жену свою и друга ее на дереве, кричит:

— Спускайся! — машет кулаками: убьет он жену, не отделаться так и другу.

Слезла с дерева жена.

— Стой, — говорит, — подожди, что́ я тебе скажу, — да в сторонку его и отвела, — глупый ты, неразумный, тридцать лет ты сидел без глаз и сидеть бы безглазому тебе до самой твоей смерти, а я согрешила над твоей головой, тебе Бог и дал глаза.

Ну, у Семиклея тут руки и опустились, а друг тем временем слез с дерева и улепетнул жив, цел и невредим.

2

Отлучился Давид царь по царским делам, поехал Давид царь судить да рядить свои дальние земли. Царица дома осталась и без царя принесла сына — царя Соломона.

Думает себе царица:

«Какой это мне сын будет? Если и во чреве моем говорил такое, а вырастет, и не так скажет: убьет он меня!»

И напал страх на царицу. Взяла она сына своего, царя Соломона, кузнецу царскому и снесла, а себе у кузнеца взяла кузнецова сына.

Вернулся Давид царь домой, ничего не знает, а царица помалкивает, да так кузнецова сына за своего и принял — за царя Соломона.

Дети растут: у царского кузнеца — царь Соломон, у Давида царя — царского кузнеца сын.

Пойдет Давид царь с сыном на прогулку, полюбится мальчонке какая местность, и все одно у него:

— Эко, батюшка, — скажет, — место красивое, нам бы тут кузницу ставить.

Известно, кузнечонок!

Пойдет куда царский кузнец с царем Соломоном, приглянется царю Соломону место красивое, и все-то у него по-своему, по-царскому:

— Батюшка, — скажет, — нам бы здесь город ставить да людей селить.

3

Стали слухи носиться, стали говорить Давиду царю о царском кузнеце и о царе Соломоне, стал Давид царь догадываться, что дело нечисто. И спрашивал царь царицу, — ничего не добился; спрашивал царь Семиклея брата, — не видел, Семиклей не знает; спрашивал царь жену Семиклея и ее друга, — ничего не знают. Помолился Давид царь Господу Богу да с помощью Божией решил сам все дело проверить: испытать царя Соломона.

Посылает Давид царь за царским кузнецом. Пришел царский кузнец.

Давид царь говорит кузнецу:

— Приди ко мне, кузнец, завтра не наг, не в платье и стань не вон, не в избу.

Поклонился царский кузнец Давиду царю, пошел к себе в кузницу.

Уж и так думал кузнец, и этак, а ничего не может придумать. Позвал царя Соломона и рассказал ему, какую загнул задачу Давид царь.

Царь Соломон и говорит:

— Глуп ты, кузнец, вот что! А ты надень на себя невод, на ноги — лыжи и иди пятками к сеничному порогу, а носками к избному.

Кузнец так и сделал.

— Ах, кузнец, кузнец, — сказал Давид царь, — не твои это замыслы. Это замыслы царские.

Через некоторое время опять посылает Давид царь за царским кузнецом. Пришел царский кузнец.

Давид царь говорит кузнецу:

— Возьми, кузнец, у меня быка, да чтобы через тридцать дней бык у тебя отелился.

Поклонился царский кузнец Давиду царю, взял быка, повел быка к себе в кузницу.

Закручинился кузнец, уж и так думал, и этак, а ничего не может придумать, — позвал царя Соломона и рассказал ему, какую загнул задачу Давид царь.

— Глуп ты, кузнец, вот что! Быка мы съедим, а придет пора, отелится бык.

Убил кузнец быка, сварил быка, и съели. Прошло тридцать дней, настала пора телиться быку.

Царь Соломон и говорит:

— Истопи нынче баню, кузнец, ложись на полок и реви, да что есть мочи реви, будто ты телишься.

Кузнец так и сделал.

Кузнец истопил баню, лег на полок и заорал.

А Давид царь знает: тридцать дней прошло, надо от кузнеца отчет взять, — и послал царь своих царских слуг к кузнецу о быке наведаться.

Идут мимо бани царские слуги, а кузнец ревет:

— Тошно мне стало, тошно! — да так выводит, ну как по-настоящему.

Царские слуги в баню: лежит кузнец на полке, орет, что есть мочи.

— Чего ты, кузнец, разорался?

— А приношусь, стало быть, — стонет кузнец.

— Что ты, дикий, когда это мужик приносился?

А кузнец и говорит:

— Мужик не приносится, так и бык не телится.

Вернулись царские слуги к Давиду царю, рассказали о кузнеце.

— Не кузнеца это затеи, — говорит Давид царь, — это затеи царские.

И делает Давид царь обед для ребят, созывает ребят со всего своего царства, чтобы из всех самому отличить царя Соломона.

А царь Соломон научил ребят:

— Скажет Давид царь: «Который царь Соломон, пускай наперед садится!» — так вы бросайтесь все разом и, хоть разорвитесь, кричите: «Все цари, все Соломоны!»

Так ребята и сделали.

Вышел к ним Давид царь.

— Который, — говорит, — царь Соломон, пускай наперед садится!

— Все цари, все Соломоны! — как загалдят ребята, да разом за стол и сели.

Так Давид царь и не узнал, который царь Соломон, одно

узнал Давид царь, что сын — не его сын, и надо искать своего сына — царя Соломона.

4

Дети растут: у царского кузнеца — царь Соломон, у Давида царя — царского кузнеца сын.

Собирал царь Соломон ребят себе по возрасту, затевал всякие игры, судил да рядил ребят. И шла слава о царе Соломоне, о его премудрых судах, и уж большие, старики приходили в царскую кузницу совет и суд просить у царя Соломона.

Шла раз старуха из рынка, меру муки купила, несла муку. Несет старуха муку, молитву шепчет, и вдруг потянул ветер, выхватил у старухи муку, и унесло муку ветром.

Пошла старуха к Давиду царю на ветер суд просить: последнюю копейку истратила старуха на рынке, больше негде ей взять, кто ей отдаст муку?

Выслушал Давид царь старуху и говорит:

— Как я, бабушка, Божью милость могу обсудить?

А старуха не уходит: на последнюю, ведь, копейку купила муки, — ни муки, ни копеек у ней нет больше. Не уходит старуха, мышиная такая старушонка, шепчет.

Тут царские слуги и говорят Давиду царю:

— Пошли, — говорят, — Давид царь, за царским кузнецом, его мальчонка это дело обсудит.

Велел Давид царь привести царского кузнеца, да чтобы кузнец и мальчонку захватил. И пришел царский кузнец, пришел и царь Соломон.

Рассказал Давид царь царю Соломону о старухе, как унесло у ней ветром муку: просит старуха суда.

— Как же ты, Давид царь, — говорит царь Соломон, — не можешь рассудить это? Дай мне твою клюку, твой скипетр, царскую порфиру, и я сяду на твой престол, буду судить!

Посадил Давид царь на свой царский престол царя Соломона судить старуху и ветер. И собрал царь Соломон весь народ, сколько ни было в городе, всех от мала до ве-

лика, и всю царскую семью, царицу, царского брата Семиклея, жену его и друга ее.

— Кто из вас нынче в утренний час ветру молил? — спросил царь Соломон.

Какой-то там и выскочил корабельщик.

— Я, — говорит, — молил попутной п о с о́ б н ы.

И велел царь Соломон корабельщику отсыпать старухе меру муки. Отсыпал корабельщик муки старухе. Пошла старуха, понесла муку, Бога благодарила да царя Соломона за суд премудрый.

И дивился народ царю Соломону.

Тут царица призналась Давиду царю, что ее это сын царь Соломон, а сын — не их сын, а царского кузнеца.

Давид царь простил царицу, царскому кузнецу кузню царскую в вековечный дар отдал, а на царя Соломона венец надел: пусть царь Соломон судит и рядит все царство, все народы, всю русскую землю.

1911 г.

ЦАРЬ ГОРОСКАТ

1

Хитрый, мудрый был царь Гороскат Первый — городам бывалец, землям проходец. Собрал царь к себе министров на думу.

— Хочу, — говорит, — непосеяно поле пожать.

Ну, министры ответить ничего не могут: не умеют разгадать загадку.

— Не отгадаете, — говорит царь, — голова с плеч!

Стали министры просить царя обождать: может статься, и смекнут, надумают чего, — жалко им голов своих, все-таки как-никак, а человечьи.

— Дай, — говорят, — нам сроку на трое суток.

Согласился царь, отпустил министров.

Вышли министры от царя из дворца царского, идут по улице, не знай куда, — загадка на уме, а разгадки нет никакой. Кружили, кружили, с улицы на улицу, пройдут по-

перечную, вернутся, идут по продольной и опять в поперечную и все думают, а придумать ничего не могут.

Прошел обеденный час, проголодались министры.

«Эх, — думают, — закусить бы теперь самое время!»

А уж такую даль зашли: ни трактира, ни двора постоялого. И видят они, дом стоит большой, широкий, двери худые, рассыпались, не заложены. Вошли они в этот дом: слава Богу, есть человечья душа!

В доме девица пол мыла, да скорее от министров на печку.

«Не дай, Господи, тупой глаз и безухо окно!» — оправилась девица, пригладилась, вышла из-за печки, домыла пол, вынесла на улицу грязную воду, вымыла руки.

— Мы что-то поесть хотим, — говорят министры.

— А чего вы хотите: плеванного или лизанного?

«Эка, хитрая девка, — подумали министры, — чего загнула!»

И чтó лизанное и чтó плеванное, как тут разобрать? Да и куда уж им разбирать: подвóдит, есть очень хочется.

— Ну, ставь нам лизанного!

Поставила девица ухи чистой и белой рыбы. Поели министры всласть, помолились Богу, поблагодарили хозяйку, вышли из-за стола. И уж любопытно им знать: чтó лизанное, чтó плеванное.

— Понапрасно вы только хлеб у царя едите, — сказала хозяйка, — спросили бы вы у меня плеванного, я поставила бы вам ухи ершовой, вы бы ели да кости выплевывали, а вы просили у меня лизанного, я и поставила вам ухи чистой, вы рыбу съели и тарелку облизали.

«Эка, ведь, девка-то мудрая!» — подумали министры.

Слово за слово, разговорились, да свою беду ей и рассказали о загадке царской.

— Что такое, — говорят, — хочет царь непосеяно поле пожать?

— А вы и этого не знаете? Ну, ступайте, скажите царю: «Вы будете начинать, а мы вам будем помогать!»

Весело пошли министры к царю в царский дворец: сдобровали их головы, не казнит их царь, загадка разгадана.

— Ваше царское величество, — говорят министры царю, — вы будете начинать, а мы вам будем помогать.

— А кто вам это сказал? — спрашивает царь.

Сказать неправду царю, не такой царь, чтобы неправду спустил, ну, во всем и признались, рассказали министры, как зашли они к девице одной в ее большой старый дом, как угостила она их лизанным, не забыли и про плеванное.

— Уж больно хороша девица, хитра и умна.

— Нате, несите этой девице золотник шелку, пусть она мне соткет ширинку! — хотел царь испытать хитрость и мудрость хитрой девицы.

Взяли министры царский шелк, пошли назад из дворца, и уж едва дом разыскали: на радостях-то, что голова цела, из головы всю память повышибло.

Встретила министров девица, а они ей золотник шелку, — принимай с рук в руки.

— Велит царь соткать ширинку!

Положила девица шелк на стол, подает им красного дерева кусок, не велик, не мал кусок, — со швейную иголку.

— Идите, — говорит, — к царю, отдайте ему дерево и скажите: будет ему ширинка, только пусть наперед сделает мне царь из этого дерева шпульку да бёрдо.

Понесли министры дерево к царю, принесли ответ. Принял царь дерево, повертел на ладони, подул, покачал головой.

— Нет, — говорит, — этого дела я доспеть не могу, ступайте, сватайте мне эту девицу.

Знай царь, что в царстве у него мастера самоварные — мастера и блоху подковать, не быть бы девице женою царя, достал бы царь самоварных мастеров, перенял бы их хитрости, из ничего сделал бы шпульку и бёрдо, — такой уж был царь, из царей царь первый.

А на нет и суда нет, пошли министры к девице сватами. Приехал и сам царь, да в Божью церковь. Скоро сыграли свадьбу, весело отпировали пир. И стал царь жить-поживать с молодою царицей.

2

Живет царь, поживает с молодою царицей. Не пожалуется царь на царицу — и хитра и мудра, одно горе: наперед царя забегает, нечего и думать царю своим умом что сделать, жена все сама доспеет. А разве так царю можно? И задумал царь извести царицу, такую задачу задать ей, чтобы впредь не хотела быть хитрее царя.

Созвал царь своих министров, призвал царицу.

— Хочу, — говорит, — на три года в иностранные земли удалиться, все их хитрости заморские произойти. Я возьму с собой жеребца-иноходца, а у царицы оставлю в доме кобылу, — может ли царица так сделать, чтобы кобыла родила жеребца, как подо мною? И еще оставлю я царице порожний чемодан под двенадцатью замками, ключи с собой беру, — может ли царица накласть золота-серебра, и чтобы ни один замок не повредить? И третье последнее дело: вот царица остается не беременна, — может ли она родить такого сына, каков я есть, царь?

Молчат министры, не знают, какой ответ дать царю, молчит и царица.

— Даю сроку три года, не исполнит царица, смертью казню! — сказал царь, сел на корабль и уехал в иностранные земли.

Засели министры во дворце царском, судят-рядят без царя царство.

Осталась царица одна, да долго не думая, соорудила корабль себе, взяла с собою кобылу царскую, порожний чемодан, мешки с серебром и золотом, села на корабль и отплыла вслед за царем в иностранные земли. И там, в земле иностранной пристала она к тому самому городу, где царь остановился перенимать хитрости иностранные. А чтобы неприметно было, подстригла она себе по-мужски волосы, обрядилась в мужское платье, назвалась принцем и пошла по городу, у всех выспрашивает:

— Где заезжий царь на квартире стоит?

— Да вот супротив принцева дворца, — говорят прохожие.

А царице только того и надо: теперь она свое дело сде-

лает, исполнит задачу царскую, — и сейчас же к принцу иностранному, просить принца пустить ее на постой к себе во дворец. Уважил принц ее просьбу, отвел ей комнату у себя во дворце, — живи, сколько хочешь. Перевезла царица с корабля порожний чемодан, мешки с серебром и золотом, и кобылу. Кобылу поставила в принцеву конюшню, чемодан и мешки под кровать спрятала и стала за царем следить: куда царь, туда и она.

А у царя и в мыслях нет, чтобы такое делалось, да и узнать ему царицу невозможно: в мужском платье принцем царица ходит. Да и некогда царю ни о чем таком думать: день-деньской за работой, как простой человек, и самую черную работу исполняет, все узнать хочет, до всего дойти хочет и выучиться, — такой уж был царь, из царей царь первый.

После трудов дневных пошел царь в трактир посидеть, и царица за ним. В трактире в карты играли. Выпил царь, закусил, смотрит за игроками и захотелось ему самому поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут-как-тут, подсела к царю.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед залог надо положить, — говорит царица, — если я проиграюсь, с меня сто рублей за *дурака*, ты проиграешь, с тебя двенадцать твоих ключей за *дурака*, дашь мне ключи на одну ночь.

— Ладно, — согласился царь, и началась игра.

И проигрался царь — остался в дураках. Делать нечего: подавай ключи! Сбегал царь к себе на квартиру, принес ключи, отдал царице. Ну, посидели еще, чаю попили, распростились и по домам.

Царь завалился спать: чуть свет ему на работу — там, в иностранных землях, лынды лындать не полагается, живо по шапке и разговаривать не станут. А царица скорее комнату свою на ключ да к чемодану, разомкнула порожний чемодан, опростала мешки с серебром и золотом, и дополна наполненный чемодан опять заперла на все ключи. И утром, как идти царю корабли строить, несет ему ключи назад.

— Ночь прошла, — говорит царица, — твои ключи.

Ходит царь по городу, а царица принцем не упускает его из глаз: куда царь, туда и она.

И опять вечером зашел царь в трактир посидеть, и царица в трактир. В трактире шла игра. Захотелось и царю поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут-как-тут, подсела к царю.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед залог поставим, — говорит царица, — я проиграюсь, с меня двести рублей за д у р а к а, ты проиграешься, с тебя конь за д у р а к а, дашь мне своего жеребца-иноходца на одну ночь.

— Ладно, — согласился царь, и началась игра.

И опять проигрался царь — остался в дураках.

Пошел царь на свою квартиру, привел жеребца-иноходца, передал коня царице, распростились и по домам.

Вернулась царица в свой принцев дворец и сейчас же велела пустить царского жеребца в конюшню к своей кобыле. И до утра не выпускала жеребца из конюшни, а чуть свет отвели обратно к царю.

— Ночь прошла, — сказала царица, — твой конь.

Чемодан и не отпертый, а туго набит золотом, кобыла и без жеребца, а ходит не проста. Два дела сделаны, две царские задачи исполнены, остается третье дело, последнее. Ну, да с этим сладить проще всего.

Караулила царица царя. Принцем ходит царица за царем, шагу ему не ступить, все она видит.

И опять зашел царь в трактир посидеть, и царица в трактир. В трактире играли в карты. Засмотрелся царь на игроков и самому захотелось поиграть: больно уж карты хороши.

А царица тут-как-тут, так и вертится.

— Что, — говорит, — даром карты мять, давай в дураки.

— Давай.

— А наперед положим залог, — говорит царица, — ес-

ли ты проиграешься, с тебя триста рублей, а я проиграюсь, с меня ночь, всю ночь буду тебя угощать.

— Ладно, — согласился царь, и стали играть.

И проигралась царица — осталась в дураках.

— Ну, твое счастье, — сказала царица, — приходи ко мне в полночь, будет тебе угощенье.

Посидели приятели в трактире, попили чаю, послушали машину и по домам.

Дома царица скорее сняла с себя мужское платье, нарядилась в женское, прихорошилась, убрала стол винами, сластями всякими, пряниками, поджидает гостя.

Полночь пробила, стучится царь. Отперла царица, впустила царя. Смотрит царь, диву дается.

— А где же принц?

— А сейчас, — говорит царица, — за вином в трактир побежал, — а сама ну угощать гостя: и вином его поит, и водочки подливает.

А принца все нет и нет. И забыл царь о принце: крепко вино, сладка водочка, слаще всего хозяйка принцева.

Чуть свет разбудила царица царя: уж народ на работу идет и ему время.

— Ночь прошла, — говорит царица, — твоя ночь.

Простился царь и ушел. А царица собралась да на свой корабль, и с чемоданом, и с кобылою поплыла на корабле домой в свою землю.

3

Три года прошло. Объездил царь все иностранные земли, всего насмотрелся, всякому ремеслу выучился, все хитрости заморские произошел: будет ему с чем показаться в своей земле, есть чему своих научить. Обтешет он своих мужиков, повыбьет лень из сенаторов, дурь да лень за горы угонит, заведет порядки, и будет его земля не хуже иностранных земель. Сам не пожалеет он сил своих, сам первый, как простой человек, за топор возьмется, только было б земле хорошо, — такой уж был царь, из царей царь первый.

Снарядил царь корабль и в путь в свою землю. На кора-

бельной пристани встретили царя министры. Поздоровался царь с министрами, да скорее к себе во дворец, да прямо в свою комнату.

Схватил царь чемодан, разомкнул, а в чемодане дополна золота-серебра наложено, и замки все целы. Взглянул царь в окно, а там, в саду царская кобыла, под кобылою жеребенок, ну такой самый, как его царский жеребец-иноходец.

Тут вошла к царю царица и не одна, с сыном на руках. Взял царь к себе на руки сына да к зеркалу. А сын, как две капли воды, весь в царя.

— Как же это ты могла так сделать? — говорит царь и кличет министров, чтобы все знали: — хочу ее за это казнить!

А министры говорят:

— Нельзя безвинно человека казнить.

— Да как же так? Всех велю казнить! — стучит царь.

И заговорила царица:

— Ваше царское величество, ты в иностранной земле в трактиры ходил?

— Ходил.

— Играл с принцем в карты?

— Играл.

— Проиграл двенадцать ключей в одну ночь?

— Проиграл.

— Ты мне ключи проиграл, ты мне и коня проиграл. А играл ты в третий раз?

— Играл.

— Выиграл у принца ночь?

— Выиграл.

— Ты, ведь, с меня выиграл ту ночь.

— Ну, царствуй со мной, — сказал царь, — с тобой весь мир покоришь.

И задал царь пир на весь честной мир.

1911 г.

ВОРЫ

ВОРЫ

1

Жил-был богатый мужик. У мужика был работник. Сысоем звали работника. Раз караулил Сысой коней и видит, огонек в поле. Замкнул Сысой коней в цепи, пошел на огонек. Пришел к огоньку, а там сидят воры, пьют, гуляют.

Схватили Сысоя воры, при себе оставили. А как прикончили все, все запасы, потушили воры огонь да на деревню. И Сысою тоже велели.

Вот приходят они к амбару Сысоева хозяина, отвалили от фундамента камень, посылают Сысоя:

— Полезай, — говорят, — ты, Сысой, принеси нам, что есть там.

Послушал Сысой, полез, вынес добро и хотел уж вылезать, а они говорят:

— Захвати, — говорят, — ты и на свой карман что.

Опять полез Сысой, а воры тем временем камень подвалили и ушли себе, — поминай как звали!

Что поделаешь? Взял Сысой корзину муки, да с мукой и стал у двери.

Поутру рано закладал хозяин лошадей и говорит жене:

— Сходи, — говорит, — жена, в амбар за свининой, да поджарь.

Взяла баба ключи, пошла к амбару. Отперла амбар, а Сысой тут-как-тут: хвать муки ей в глаза, а сам бежать.

2

Просидел Сысой день в лесу, а как стемнело, вышел, и видит, огонек в поле. Сысой на огонек. Пришел к огоньку, а там опять сидят воры, пьют, гуляют.

Схватили воры Сысоя, при себе оставили. А как прикончили все, все запасы, потушили огонь, да на деревню. И Сысою тоже велели.

Вот приходят они к амбару соседа Сысоева хозяина, отвалили от фундамента камень, посылают Сысоя:

— Полезай, — говорят, — ты, Сысой, принеси нам, что есть там.

Послушал Сысой, полез. А в амбаре-то покойник и много всего для похорон приготовлено. Все вынес Сысой и хотел уж вылезать, а они говорят:

— Захвати, — говорят, — ты и на свой карман что.

И не успел Сысой обернуться, подвалили воры камень, и остался Сысой в амбаре один с покойником. Думал, думал, как быть, и надумал: взял Сысой покойника, обхватил его и стал с ним в дверях.

Наутро, чуть свет, идет хозяйка, да молитву читает:

— Господи Иисусе...

А Сысой тут-как-тут: как на бабу покойника кинет.

— Вперед не суйся! — да дрáла в лес.

Тут баба с перепугу так под покойником замертво и пала.

3

Просидел Сысой день в лесу, а как стемнело, вышел и видит, огонек в поле. Сысой на огонек. Пришел к огоньку, а там сидят воры, пьют, гуляют.

А один вор был ушедши за дровами, кричит:

— Эй, ребята, вон тот самый наш!

Схватили воры Сысоя, при себе оставили. Пьют-гуляют. А была у них пустая бочка. Взяли они Сысоя и забили в эту самую бочку, а сами, как прикончили все, все запасы, потушили огонь и ушли себе подобру-поздорову.

Ну и натерпелся Сысой страхов, в бочке-то сидючи, —

ни жив, ни мертв, и голова от винного духа, что вареная картошка, того и гляди, рассыпется.

И приходит волк к бочке глодать кости, а Сысой — со смёткой, давай ковырять в бочке дырку. Проковырял Сысой дырку — цап за хвост волка.

Волк с перепугу к березе. Трах бочку о березу — и разлетелась бочка на мелкие куски.

Тут Сысой лежать и остался, да так до сей поры и лежит — не почешешься!

1908 г.

РАЗБОЙНИКИ

1

Жил-был человек тихий и работящий. Изба его стояла на пустом месте, и кругом на много верст жилья никакого. У Никиты было два сына, — в зыбке и годовой, да дочь трех лет девчонка.

Как-то Никита, поужинав, как спать ложиться, говорит хозяйке:

— Я завтра, Аграфена, помру, положи меня под образа и трое суток кади.

Ночь проспал Никита хорошо, ни на что не жаловался, а к утру, смотрят, чуть теплый — помер.

Аграфена сейчас его под образа на лавку и кадить принялась. Двое суток кадила, а на третьи запамятовала: и то сделай, и другое, — с ребятами и не то забудешь, да и подумать надо, нынче и птица думает.

Ходит девчонка по избе, говорит матери:

— Маменька, отец-то ожил, сел.

— Что ты, глупая, сел! Помер, ведь.

А сама в горницу — там сидит Никита на лавке, зубы бруском точит. Схватила Аграфена девчонку, да скорее на печку, окрестилась.

Сидят на печке, не пикнут.

Наточил Никита зубы, встал с лавки и прямо к зыбке. Ухватил ребенка, — съел. Поймал другого, — по полу

ползал, — и того съел. Схватил из зыбки пеленки, — и пеленки съел. Стал печь грызть.

— Господи! — замолилась Аграфена угодникам: — принеси какого крещеного, спаси нас!

И отворились тут двери, входит святой Егорий. Поднял святой Егорий копье, ударил копьем по голове мертвеца.

— Провались ты сквозь пол, сквозь землю в предвечную муку, окаянный!

Мертвец присел, — только зубом скрипнул — и провалился. А святой пастырь пошел из избы.

Аграфена-то думала, простой человек, и ну кликать. Не откликается. И напал на нее страх, думает: придет Никита, съест!

Слезла Аграфена с печки да с девчонкой бежать. До росстаней добежала, передохнула. Пошли лесом.

2

Долго шли они лесом и видят: идут навстречу старичок и старушка, кланяются низко.

— Заходите, — говорят, — к нам пообедать.

Аграфена сначала на попятный: чего-то все страх берет. А потом согласилась, — голод-то не тетка, согласишься, — да и старичок и старушка очень уж ласковые.

Привели их старички в дом. Дом на столбах стоит, высокий, преогромный. Посадили их за стол, щей налили, белого хлеба принесли, говядину.

Смотрит Аграфена: человечьи руки и ноги вареные в миске, — и не стала есть. Думает себе: попали к разбойникам! Девчонка ест, — очень проголодалась.

— Отдыхайте, — говорят, — с дороги, с пути, тут вам будет тепленько! — да горницу и заперли.

Уложила Аграфена девчонку, сама спать не может, все слушает. Разметалась девчонка, спит сладко.

Вот вечер стал. И понаехало народу — шум, гром, хлопотня, говор, — сорок воров, сорок разбойников, сорок подорожников. Один хвастает, что убил стольких-то, другой хвастает, что ограбил стольких-то, — все хвастают, все делов наделали.

— Мы и никуда не ходили, не ездили, а две тетерки к нам сами прилетели! — говорят старичок да старушка, смеются, старые, хихикают.

Тут разбойники повскакали: всем охота тетерок посмотреть.

А старичок со старушкой шасть в горницу. Нащупали девчонку, схватили и потащили девчонку в кухню, люлюкают, старые.

Топится в кухне печка и чугун кипит. В чугун и пихнули девчонку. Закричала девчонка по-худому и недолго кричала, умертвилась. Вынесли ее старики на тарелке, — сели ужинать. Пили, ели, похваливали. Наелись досыта и спать улеглись.

Вот как спать улеглись, да захрапел весь дом, поднялась Аграфена, схватилась за железные рамы, выломала рамы, спустилась на землю, и уж не помнит, как шла.

3

Наутро пришла Аграфена в город, заявила будочнику. Будочник Аграфену на извозчика и в самую главную часть, и там сдал ее самому их главному будочнику. Аграфена и этому все рассказала.

— Не врешь ли? — усумнился главный: — нынче велено строго: прямо без всяких разговоров подкатим бочку пороха под разбойный дом, зажжем порох и разлетится дом на пять частей огнем и пылью, и пеплу не останется.

Отпустил главный будочник Аграфену на все четыре стороны с миром. Снарядились будочники все, сколько было из всех пяти частей, и поскакали по горячему следу на то место, где жили старичок со старухой.

Подступили они к разбойному дому. Выкатили бочку. И уж спичку чиркнули, чтобы порох зажечь, да разбойники как посыпят из окон золото. Да так дождем все кругом и засыпали.

. И вернулись будочники к себе в город во все свои пять частей, без разбойников. И следов разбойничьих никаких не осталось, да и где их отыщешь под золотом! — чисто.

1909 г.

ЖУЛИКИ

1

Ходил вор Васька по Петербургу. Было ему на роду написано и Богом указано воровать. Начал Васька сызмала и хорошо ему воровство далось, развернулся и пошел вовсю: где лавку пошарит, где магазин почистит, и капиталами не брезговал.

Ваську Неменяева все сыщики уважали.

Идет Васька по Миллионной, несут покойника, а за гробом человек десять молодцов, с дубинами, бьют в гробу покойника.

— Чтó такое, за чтó бьете? — остановил Васька.

— Должен много, за то его так и провожают, — ответили вору.

— Оставьте, — сказал Васька, — не троньте покойника, я за все заплачу.

Обратил народ внимание, бросили дубинки, пошли за Васькой.

И всех до одного рассчитал Васька, как следует, — вся публика осталась довольна.

2

Сидит Васька у себя на Фонтанке, пьет вино бокал за бокалом. Пьет Васька, попивает и не заметил, как усидел четверть, — и хоть бы что, ни в одном глазе: крепкий. Хозяйка доклад делает: человек какой-то спрашивает, видеть вора хочет.

Велел Васька пустить гостя.

А тот, как стал на пороге, так и стоит, зяблый, щербатый такой, в драном сером кафтанишке, не садится.

— Нельзя ли, — говорит, — мне ночевать, ночлегу нету.

— Чей и откуда? — спрашивает Васька.

— Мы деревенский вор Ванька, воровать в деревне нечего, в Петербург пришли, где денег больше.

— А мы городской вор Васька Неменяев.

Ну, вор на вора не доказчик, признались, выпили и стали друг с другом тайный совет держать: куда воровать идти.

— А чтó тебе тут знакомо? — спросил деревенский вор Ванька приятеля Ваську.

Васька и давай ему рассказывать: у такого-то купца денег много, а у этакого еще боле, в одном месте еще больше, а в этаком и счет потеряешь, перебрал купцов со всех улиц, и с Сенной и с Гостиного, и апраксинских и александровских.

— Не годится купца обижать, — говорит Ванька, — а лучше вот чтó: пойдем-ка в царский банк, возьмем денег, сколько надо.

Ладно. Поднялись воры спозаранку, наняли чухонскую телегу и поехали, пока что, с похмелья поразмяться. Ехали почтовым трактом, выбирали, где пристать лучше. За Озерками выпрягли воры лошадь, сами сели под елку, развели огонек, закусили и сидят себе, о воровском деле рассуждают. И вдруг, как зарычит над ними с елки птица — попугай-птица. Васька — за лук: натягивает тугой лук, полагает калену стрелу, пускает в птицу. Не упала птица с елки, обронила железные ключи.

— Ключи нам и нужны, — подхватил ключи Ванька, — а ты нам вовсе не нужна, лети, куда знаешь!

Вечером вернулись воры с находкой на Фонтанку, поужинали и — на работу.

3

В полночь приходят воры к царскому банку: у калитки крепкий караул дежурит.

— Нельзя ли отворить калитку! — подступил к караулу Ванька.

А стражи человек двадцать и на всякого по ста рублей просят. Выдал Ванька деньги. Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Ладно. Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница. Поднялись они по лестнице, взял Ванька мел-камень, обкружил дыру на крыше — и открылся ход.

— Ты подержи бечевку, а я спущусь, — сказал Ванька приятелю и полез в банк.

И в банке Ванька недолго копошился, отпер попугайным ключом шкап, забрал денег, сколько влезло, и опять на крышу. Мел на крыше стер — срослась по-старому крыша чисто. И стали спускаться.

Спустились воры наземь, свернули лестницу в шар, да к калитке. Пропустила их стража. И пошли они себе на Фонтанку, делить деньги.

Васька и говорит:

— В Петербурге я вор первый и все сыщики меня уважают, только до этакого дела я своим умом не дошел бы.

— Пойдем завтра, царь банк пополнит, — сказал Ванька.

И опять снарядились воры на работу. Опять в полночь приходят они к царскому банку. А стра́жа уже другая, ту царь сменил, хитрая, не сдается.

— Без того, — говорят, — мы вас не пустим, по двести рублей надо.

Выдал Ванька деньги. Отворили калитку, впустили воров во двор, калитку опять заперли.

Ладно. Обошли воры круг царского банка, кинули шар на крышу — расправилась из шара резиновая лестница. Поднялись они по лестнице, омелил Ванька круг на крыше — и открылся ход.

— Вчера я, сегодня ты иди, — сказал Ванька и стал спускать приятеля на бечевке в банк.

А уж там догадались и приготовлен был чан с варом.

Ванька бечевку ослабил, Васька туда и попал в этот вар. И сидит по плечи в вару, никак высвободиться не может.

Видит Ванька, дело плохо, прикрепил бечевку, полез за Васькой. И так, и сяк, и туда повернет, и сюда повернет, вертел, вертел, — не может снять приятеля. Взял да и снес ему голову. Да с головою на крышу, мел стер, бросил лестницу наземь, спустился.

Отворила стра́жа калитку, вышел Ванька на улицу и прямо на Фонтанку к Васькиной хозяйке.

Схохонулась Маруха:

— Где, — говорит, — мой вор, Васька Неменяев?

— Голова его тут, а его самого нету, поминай как звали! — ответил Ванька.

Достал у Марухи Ванька банку с вареньем, умял варенье, Васькину голову в середку всунул, завязал банку, поставил банку в уголок под образа для сохранности и стал ждать, что́ будет.

А в царском банке о ту пору поднялась тревога: пошел царь банк проверять и видит, в чану с варом, около шкапа, тулово торчит при часах и цепочке. Взяло царя раздумье:

«Что это за вор — одно тулово при часах и цепочке?»

И велит царь привести к себе старого вора — сидел в петербургской темнице старый вор Самоваров.

Привели Самоварова к царю из темницы. Царь говорит Самоварову:

— Что, старый вор, старинный, можешь ты знать, кто ограбил банк?

— Был вор не простой, — ответил старик, — был вор деревенский. Городской вор глупый, он и в вар попал, — его тулово.

— А как бы деревенского вора найти? — спрашивает царь.

— Деревенский вор в Петербурге, — учит старый вор Самоваров, — если он украл деньги, унес он и голову, унес голову, унесет и тулово. Вези ты чан на площадь, прикажи двенадцати генералам караулить тулово, ловить деревенского вора.

4

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Повезли тулово на площадь, погнали двенадцать генералов караул держать, ловить деревенского вора.

Три дня стоит чан на Суворовской площади, — в чану тулово при часах и цепочке, круг чана генералы ходят, караулят тулово.

Три дня Ванька околачивается на Суворовской — подступиться нет возможности.

На четвертый день догадался Ванька: покупает Ванька

бочку вина и прямиком на площадь. Подъехал он к тулову да и сковырни бочку наземь, будто нечаянно.

Потекло вино, орет Ванька:

— Пособите, товарищи, поднять, добро пропадет!

Жаль добра, — генералы и давай подымать бочку, всем миром понадсели, да с Божьей помощью и взвалили ее на телегу. Крепко уморились.

Ванька отблагодарить хочет, цедит вина, потчует генералов.

Сначала-то генералы отпирались, ну, а потом согласились, чтобы только подкрепиться и мужика не обидеть. Выпили они по одной — зашумело в голове, просят по другой. Ванька поднес по другой — загудело у них в голове, просят по третьей. А уж после третьей на разные голоса запели, вот как!

Ванька сейчас бочку наземь, чан с туловом на телегу, да и был таков.

А приятель-то Васька сильно облип весь, в вару-то стоя, обмочалилось его тулово, на чем только часы и цепочка держатся, и узнать нельзя, — одна труха.

Приехал Ванька на Фонтанку, вытащил тулово, будто тушу, омелил у тулова шею, вынул из банки голову, приставил голову к тулову.

И срослась голова по-старому.

Взялся Ванька за попугайные ключи, поднес к Васькиным губам.

И ощерился Васька.

— Ну, — говорит, — чуть не захлебнулся, больно сладко.

Тут на радостях Ванька пустился то да сё, и как Васька в вару завяз, и как на Суворовской площади три дня без головы своим туловом народ пугал и как потом все срослось по-старому. За рассказом, за беседою выпили.

Васька, знай, все облизывался.

За выпивкой задремали. И пошел храп на всю Фонтанку улицу.

А на площади, тем временем, поднялась тревога: поехал царь проверять караулы, смотрит, на площади лежат генералы влежку круг бочки, мертвецки пьяны, — нет ни чана, ни тулова.

Царь из себя вышел:

— Куда, — говорит, — девалось тулово? На что́, — говорит, — вы поставлены: бочку с вином стеречь? Где тулово? Подать сюда тулово!

Повскакали генералы. А ноги-то уж не держат. Упали генералы царю в ноги.

— Не вино нас винит, винит нас пьянство. Куда хочешь клади нас, а тулово с варом потеряно, увезено с площади, неизвестно кем!

Велел царь казнить генералов строго. И опять потребовал к себе из темницы старого вора Самоварова.

Привели Самоварова из темницы к царю, поставили перед царем.

— Ну, старый, — спрашивает царь, — рассуди наше дело, как словить вора: приезжал вор на площадь, увез чан с туловом.

— А вот как, — учит старый вор Самоваров, — обряди ты своего именного козла в парчовую одежду, да пошли за караул твоих самых верных телохранителей и пускай они ведут козла на серебряной цепочке по Петербургу: если вор в городе, обдерет он козла, как пить даст.

5

Как сказал старый вор, так царь и сделал.

Обрядили в парчу именного козла, повели козла царские телохранители на серебряной цепочке по Петербургу.

Ладно. Ведут козла по Невскому, а вор Ванька навстречу, кланяется:

— Пожалуйте, — говорит, — ко мне на Фонтанку, жена у меня Маруха именинница, охота ей именного козла посмотреть в день ангела, глупая баба, осчастливьте, сделайте милость!

«Уж не это ли сам вор деревенский?» — думают себе телохранители и повернули козла на Фонтанку, да с козлом к Ваньке, будто в гости.

А Ванька и говорит:

— Что это вы скотину-то понапрасну мучаете; поставьте-ка козла в сарай, у нас во дворе сарай теплый.

Упираются телохранители: боятся козла из рук выпустить. Да раздумались:

«Что, в самом деле, скотину понапрасну мучить, козла не убудет, а вор от нас не уйдет, скот надо миловать!»

И поставили телохранители козла в сарай, сарай на замок замкнули, ключ главному на эполету повесили.

Тут давай Ванька угощать гостей: и подарки-то им подносит и вином-то их поит и словами улещает. А как размякли гости, оставил их Ванька на Ваську — пускай зубоскалят, — а сам будто в квасную за папиросами.

И пока зубоскалил приятель с телохранителями, прибежал Ванька к сараю, отпер попугайным ключом теплый сарай, ободрал козла догола, придушил козла да на кухню. И подносит гостям на блюде именную козлятину, вареньем обложена:

— Покушайте, любезные гости, козлятины, самая свежая!

Едят гости именную козлятину, вареньем закусывают, похваливают, а сами себе думают:

«Ну, уж теперь вору не уйти от нас, он самый и есть вор деревенский, попался голубчик!»

Да на радостях и приналегли на козлятину, да на радостях и расхвастались: кто чтó, да кто кáк, и о всяких знаках отличия.

Ладно. Пришло время прощаться, расходиться пора, о козле они и не спрашивают, вышли вон на улицу, да на Ванькиных воротах мелом и написали:

Мы тут были, козлятину ели.

А Ванька выждал немного, да за ними по их следу, письмо их стер на воротах, да где попало, в местах десяти ту же надпись и написал:

Мы тут были, козлятину ели.

А во дворце, тем временем, поднялась тревога: явились к царю телохранители — козла нет.

Говорят телохранители:

— Мы вора поймали! — и ну хвастать.

Царь сейчас в коляску. Выехал царь на Фонтанку. Едет царь по Фонтанке, туда посмотрит, сюда посмотрит, — на

одном доме надпись и на другом надпись и на третьем и на десятом и все одно и то же мелом написано:

Мы тут были, козлятину ели.

Повернул царь коляску, махнул рукою:

— Козлятина, — говорит, — козлятина одна!

И пока там новый караул снаряжали ловить деревенского вора, Ванька с Васькой зря на Фонтанке не торчали, глаз не мозолили, а взяли чухонскую телегу, забрали золото, серебро и распростились с Петербургом.

6

Стал белый, светлый день, как приехали воры к морю. Лошадь и телегу воры продали, купили пароход, сели на пароход и поплыли тихо и смирно в иностранные земли.

Приезжают воры к иностранному королю Молокиту. А у того иностранного короля Молокиты была дочь царевна Чайна-прекрасная. И влюбился Васька в Чайну царевну. Посылает Васька сватов к королю.

Чайне-прекрасной люб Васька, а иностранный король Молокита не хочет:

— Выстрой, — говорит, — русскую церковь в трое суток, тогда и бери Чайну, а не то голову долой.

А Ваське что: ему Ванька поможет, Ванька к этому делу привычен, Ванька — деревенский.

И взялся Васька в трое суток русскую церковь строить. День Ванька строит — выше окон, другой строит — вывел к потолку, на третьи сутки накрыли всю крышу.

— Принимайте, собор готов, — говорит Васька иностранному королю Молоките.

И точно, — видит король, собор построен, от слова не отпирается, благословил Чайну-прекрасную.

И при освящении собора Ваську с царевной и повенчали.

Велел король Молокита нагрузить им двенадцать кораблей, и с дарами отправил их в море.

И пали им попутные ветры — приятная погода. Целы и невредимы вернулись они в Петербург. Целую неделю выгружали корабли, да неделю пир пировали.

После пира стал вор Ванька прощаться с приятелем, а прощаясь, раскрыл ему свою тайность: он и есть тот самый покойник, которого на Миллионной в гробу дубинками били — вор Ванька.

— Пожалел ты меня, Васька, выкупил, послужил и я тебе верою, правдою и неизменою! — сказал вор Ванька и пошел себе, ничего не взял, только попугайные ключи да мел-камень, все оставил приятелю.

И остался Васька Неменяев с своей молодой женой вдвоем без приятеля, и стали жить по-хорошему при всей обличности и удовольствии.

1909 г.

СОБАЧИЙ ХВОСТ

1

Была такая деревня не мала, не велика — четыре двора. В трех дворах жили мужики семейные с женами да со скотом, а в четвертом мужик один — бобыль Зот.

Была у бобыля Зота лошадь, корова и собака. И так себе бобыль — мужичонка ледащий, вида никакого, а чем-то вышел таким: уйдут семейные куда, а он к их женам да так всем угождает — изодрались из-за него бабы — кривые ходят.

Приметили мужики, стали на бобыля дуться.

— И как это ты живешь, горемыка!.. мы себе промышляем-трудимся, а ты палец о палец не стукнешь, а все живешь?

— А вы что на меня глядите: я говорить умею!

И вправду, не обидел Бог бобыля словом: такого говоруна в Москве не сыскать, — скот неразумный уши развесит, как пойдет, бывало, Зот языком чесать.

Стакнулись мужики, убили у Зота кобылу.

И не на чем уж Зоту дров привезти.

— Как это ты живешь, — говорят, — у тебя и лошади нет?

— А вы что на меня глядите: я говорить умею!

Утром выйдет Зот на крыльцо, будто проветриться, а бабы уж по охапке дров ему тащут. Так и топит.

Стакнулись мужики, убили у Зота корову.

А Зоту что́ корова? — Зоту, что́ зверю, был бы хвост цел — молока да масла, всего от баб будет.

— Как это ты живешь, горемыка, ни кобылы, ни коровы нет?

— А вы что на меня глядите: я говорить умею!

Стакнулись мужики, убили у Зота собаку.

Натка, поговори теперь! Без собаки в дому, что без замка дверь — ворам ход: пожалуйте!

А Зоту хоть бы что, — мудрёная голова, — принялся за кожи. Высушил, выделал кожи и сшил себе балахон поверх шерстью: перед коровий, зад кобылий, а хвост собачий.

Обрядился Зот, присел на лавку, посидел-подумал, и пошел себе в город просить милостыню.

2

С о б а ч и й х в о с т! — пошла про Зота слава. Начали-то ребятишки, подхватили большие — таков уж человек: где ему сдачи не дай, там он язык покажет.

Зот на С о б а ч и й х в о с т откликался: не драться же лезть, коли в животе пусто, и не на такое еще откликнешься!

Вот зашел Зот в дом к одному купцу, — богатый был купец Генералов: сахаром торговал. Купца-то дома не оказалось, — за покупками отлучился. А была у купца жена и сидел у нее о ту пору друг в гостях.

Собачьего хвоста они не стесняются, а Собачий хвост и сам бывал в таком, видел виды, ему это дело известно.

И надо же такому случиться, нагрянул хозяин домой. Друг хозяйкин испугался, мечется, как шпареная крыса.

— А я-то теперь куда? — знай, лопочет.

— А ты иди в погреб, — не потерялась хозяйка.

Уж не только в погреб, он и в трубу полез бы — в горшок полезешь!

А Собачий хвост слушал, слушал да и говорит:

— Когда его в погреб, так и я в погреб.

— Что ты, — поднялась было хозяйка, — с ума спятил: ты-то зачем?

— Не то я хозяину скажу, — уперся Собачий хвост.

Не время было бобы разводить. И спустила хозяйка обоих в погреб.

А купец-то Генералов не один нагрянул, а с товарищами, — все купцы, все важные да богатые. Набралось полон дом гостей, стали пировать.

Ну хозяйка тут и вина им и закусок. Пошла хозяйка в погреб за вином, собрала для гостей кулек, да и сунула приятелю-то своему бутылку, которая получше.

А у приятеля губа не дура, налил себе стаканчик да и выпил, налил другой и другой выпил.

Собачий хвост терпел, терпел, инда слюна потекла.

— Как так? — цап приятеля за полу.

— Что такое?

— А у нас не так.

— А как? — а сам, знай себе, выпивает.

— Один стаканчик выпьют, другой товарищу подают. Нет, этак я выйду, да хозяину скажу.

Оробел приятель. И стал все исполнять, что́ Собачий хвост хочет: один стаканчик выпьет, другой товарищу подает.

Допили одну бутылку, хозяйка другую сунула, не хуже той. Распивают и другую бутылку.

А в доме разгулялись гости, развезло, стали песни петь.

Услыхал Собачий хвост и туда же, — затянул в погребе свою песню.

— Что ты, глупый, — унимает приятель, — зачем поешь?

— А мы что здесь, не вино пьем, что ли? Там поют, а нам и не петь?

— Перестань, не пой! — просит приятель.

— А давай платье на платье менять, так и перестану.

Оробел приятель, готов все исполнить.

Сменили они платье на платье. Сидят. Приходит опять хозяйка в погреб. Зот — к хозяйке:

— Нельзя ли, — говорит, — меня отсюда выпустить?

— Что же можно, народ захмелел, пройдешь, не заметят.

Хозяйка и выпустила Зота.

Вышел Зот на улицу, походил, поразмялся, да опять в дом к купцу.

Все, как водится, образам помолился, поздравил с пиром, с беседою.

— Хорош ваш пир, хороша беседа, только в доме есть несчастье.

— Что такое? — вскочил хозяин. Полезли и гости, ну расспрашивать.

— А вот в доме у вас завелась вроде черта — нежить. Эту нежить, если бы выжить, так сразу надо выжить, а сразу не выживешь, то ее веки не выжить.

— А кто это может?

— Я.

— А много ль возьмешь?

— С хозяина сто рублей, с гостей кто сколько. И так я эту нежить выживу, что все вы увидите, как она из дому выйдет.

Согласился хозяин.

А гости говорят:

— Если мы все увидим собственными глазами твою нежить, мы тебе по сотне дадим.

— Теперь нужно нежити дорогу дать, — говорит Зот, — чтобы ни рукою, ни ногою не задеть ее, не то вовеки из дому не выживешь.

И стал Зот ходить по дому да искать черта. Ищет в одной кладовой, ищет в другой и все кладовые обыскал, найти ничего не мог.

— Ну, хозяин, нежити в доме найти не могу! У тебя еще какие-нибудь кладовые есть?

Подумал, подумал хозяин:

— Больше нет кладовых, разве погреб? В погребе не искали! — говорит хозяин.

— Что же ты мне сразу-то о погребе не сказал? Эта нежить боле в погребах и проживает.

И пошел Зот в погреб и говорит приятелю:

— Ты, приятель, беги прямо в свой дом, никуда не заворачивай да поминай Собачий хвост вовеки!

А сам взял помело да сзади с помелом.

Ну, приятель-то как выскочит в Зотовом балахоне — другой пьяный с перепуга пошатнулся да и упал, а который и в рассудке был, последнего лишился.

И гнал Зот приятеля до самого его дому. И когда уж всякий след пропал, вернулся Зот опять к купцу.

Купец за угощение.

— Угощение-то никуда не уйдет, — говорит Зот, — наперво надо рассчитаться.

— Молодец! — благодарит хозяин, — сулил я тебе сто рублей, а когда ты этого черта выгнал, получай двести.

Гости тоже, ей Богу, по двести дали, — так и отсчитали рублями.

Сгреб Зот деньги, купил себе тройку, нанял кучера, распростился и покатил домой в деревню.

3

Приезжает Зот домой в деревню, услышали соседи, пришли смотреть Зота.

— Как это ты, горемыка, скоро богатство нажил?

— А ведь я вам сказывал, что говорить умею! Вот у меня было три кожи: одна кобылья, другая коровья, третья собачья. Эти кожи я обделал, сшил балахон поверх шерстью: перед коровий, зад кобылий, хвост собачий, — и понес балахон в город. А нынче такую моду взяли — все такие балахоны носят. За него я кучу денег сгреб.

Соседи на ус намотали и стали убивать свой скот да изготовлять из шкур балахоны. И только всего по одной корове и по одной лошади оставили себе. Нашили балахонов много, повезли возы в город.

Приехали они в город да прямо на толкун, развесили рядами, стали торговать.

А народ ходит, зевает:

— Что это у вас, крещеные?

— Ослепли, что ли, — говорят мужики в один голос, — не видите? Одежда!

— Да вы с ума сошли, какой дурак чучелой-то рядится?!

Идет наряд городовых с обходом.

— Это у вас что́?

— Одежда.

— Да вы что? Холеру, что ли, разводите? Забрать их в участок!

И забрали мужиков в участок, а шкуры отобрали. Мужики и так и сяк, едва откупились, и в трактир не зашли, прямо домой в деревню.

Вернулись мужики в деревню, да всем миром на Зота.

— Обманул ты нас, окаянный, насказал, будто такие балахоны покупают... окаянный!

— А ведь я вам сказывал, что говорить умею! Я один балахон продал, — мода такая была, и балахон купили, а вы сразу возами их навезли, ну и не стали брать.

Мужики совсем разорились, ушли мужики на заработки — в работу нанялись.

А Зот в деревне остался, Зот живет бобылем, таскается из дома в дом, всем угождает, весел, — таковский хвост собачий.

1909 г.

БАРМА

Жил-был старик со старухой. Старик сапоги точал, старуха белье мыла. Жили они хорошо, в душу, а детей у них не было.

Затужили старики — как быть? — помирать пора. Думали, думали, да и надумали.

Взяли старики к себе в дом мальчишку-подкидыша.

Подрастал мальчонка шустрый да проворный, хоть куда. Всему миру на диво. И затейник гораздый: рожицу скорчит, словцо скажет — с хохоту животы надорвут.

Мальчонку Бармо́й звали.

Одна беда — на руку не чист: из-под носа стянет, — не успеешь и облизнуться.

У старухи стало белье пропадать, у старика ножички, пилочки, — постоянная недохватка.

Измаялись старики.

Били они мальчонку, наставляли и чего-чего только ни делали: ничем не проймешь.

Как-то сидели старики вечерком, пошабашили: старуха рубаху чинила, старик бороду поглаживал, а Барма свернулся на печке, только посвистывает.

И выходит к ним молодец ра́жий такой, здоровенный. На ночлег просится.

Усадили старики гостя, стали гостя расспрашивать:

— Куда, молодец, путь держишь и по какой надобности?

— К царю воровать, — отвечал гость.

— Как так к царю воровать?!

— Да так, воровать.

Выронила старуха иглу с перепугу, призадумался старик.

А гость только ус покручивает.

— Слушай, милый человек, — заговорил старик, — живет у нас мальчонка, Бармо́й прозывается, мочи нам не стало, измаялись мы со старухою: как пир собирать, некуда Барму девать. Тащит все из-под носу. Возьми ты его, ослобони нас, вечно будем Бога молить!

— Отчего не взять, можно.

Разбудили Барму. Снарядили Барму. Забрал Барма пилочки и ножички, да в путь, — прощайте!

Идут они лесом. Молодец, что ни шаг — семь верст отмахивает. Да и Барма не дает маху, — тощенький, юркенький, только носом покручивает.

Рассказывал молодец про свою науку и про всякие ловкости воровские.

Так и шли.

Вот видят они, дерево стоит огромадное, верхушкою прямо в звезду.

— Хочешь, Барма, — говорит молодец, — я тебе свое искусство покажу, а после ты мне свое покажешь?

— Хочу, дяденька!

— Видишь дерево?

— Вижу, дяденька!

— А гнездо видишь?

— Вижу, дяденька!

— А птичку видишь?

— Вижу, дяденька!

— Так вот я сейчас влезу на это самое дерево и выну из-под этой птицы яички, и птица не заметит.

Полез молодец на дерево, а Барма пустился подсаживать.

И не прошло минуты, жулик на земле был.

— Видишь? — спрашивает Барму.

— Вижу, дяденька.

— Да чтó видишь-то?

— Яички, дяденька.

Жулик подбоченился: ловко, мол! состряпал!

— А вы, дяденька, сапоги видите?

— Сапоги?! — вижу...

— А подошвы на сапогах видите?

Тут жулик задрал ногу. Повел глазом... сапог сапогом, только подошвы срезаны.

— Это я вам, дяденька, как на дерево вы лезли, я вам подошву и срезал.

— Ну, из тебя человек выйдет, — сказал жулик.

И снова тронулись в путь.

— А как, дяденька, к царю пройти? — допытывался Барма.

— Плевое дело к царю пройти, — толковал жулик, — пойдешь все прямо, завернешь влево, потом опять влево, потом в закоулок и прямиком в царский сад упрешься.

И опять стал рассказывать про свою науку и про всякие хитрости воровские.

Так прошли они лес, в другой вступили.

Жулик сбросил поддевку, сказал Барме:

— Ты покарауль меня, а я малость сосну, — и растянулся под деревом.

— Слушаю, дяденька! — стал на караул Барма.

Но только что жулик завел глаза, Барма ошарил его, взял себе чего поспособнее, да дралá.

Прошел Барма и другой лес, прошел Барма и третий лес, прошел острог, прошел кабак и прямо в садовую решетку стукнулся.

А решетка высокая да тесная, пальца не просунешь.

Скинул Барма одежонку, да юрк меж прутьев и прямо в сад царский.

А царь тут-как-тут, идет царь по дорожке, яблоко кушает.

Мундир у царя горит, как жар, золотые штаны с бриллиантовыми пуговицами так и светятся.

— Чей ты? — крикнул царь.

— Вашего царского величества верноподданный Барма.

— Зачем сюда попал, а?

— К вашему величеству воровать.

— Ах, ты... такой-сякой! — царь хотел схватить Барму, да шагу не сделал — штаны золотые трах — наземь.

А Барма с пуговицами бежать, — его и след простыл: оттяпал-таки, мошенник, бриллиантовые.

Вот он Барма какой!

1905 г.

ВОР МАМЫКА

1

У старика и старухи никого не было, один был внук Мамыка. Мамыка — парнишка шустрый, проворный. Старики внука очень любили.

Узнал Мамыка, что у деда есть деньги, — на черный день берег старик для Мамыки, — пристал Мамыка к деду:

— Дай, дедушка, мне денег!

— А для чего они тебе, ро́дный?

— Дай, дедушка, мне денег на торговлю!

Дед и так и сяк, — какая уж там торговля, как бы худа не вышло! — и денег старику жалко, и отказать не может.

Вступилась старуха:

— Чего, — говорит, — жалеешь, дай ему, авось Бог поможет, родное, ведь, наше, а нам помирать впору.

Подумал дед, подумал и дал внуку денег.

Забрал Мамыка дедовы деньги и, прощай, ушел в город. Да ничего по уму прибрать не мог из товара, и купил два сапога козловых. С сапогами и пошел домой опять к деду.

Шел Мамыка домой, подшвыривал камушки по дороге, песни пел, а устал, присел отдохнуть в канаву.

Сидит Мамыка в канаве, на дорогу глазеет, а по дороге царские слуги идут, быка ведут.

«Вот бы такого бычка деду, нет у деда никакой скотины!» — смекнул себе Мамыка.

Скрылись царские слуги и бык с ними. Вылез Мамыка из канавы, обежал сторонкой, бросил сапог на дорогу, сам схоронился и стал поджидать.

Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге.

— Эх, товарищ, — говорит один, — сапог козловый на дороге!

— Никуда́ нам с одним сапогом! — говорит другой.

И пошли себе дальше, повели быка в город.

Тут Мамыка подобрал свой сапог, да мимо царских слуг, обогнал их сторонкой, бросил опять сапог на дорогу, сам схоронился, поджидает.

Увидали царские слуги Мамыкин сапог на дороге.

— Вот и другой сапог, — говорит один, — взять бы нам и тот, пара б сапогов была.

— Пойдем назад, — говорит другой, — захватим, авось не убежит.

Оставили царские слуги быка царского, пошли назад прежний Мамыкин сапог искать.

Тут Мамыка, долго не думая, за быка, да другой дорогой с быком домой к деду.

А царские слуги дошли до того самого места, где сапог Мамыкин лежал, а сапога-то уж нет. Поискали они, поискали, да с пустыми руками назад к быку, а там и быка нет, всего один сапог лежит Мамыкин.

Куда им с одним сапогом?

— Как мы теперь к царю на глаза покажемся: и быка кончили и сапог один!

Подобрали царские слуги Мамыкин сапог, и без царского быка с сапогом пошли к царю.

— Вот, — говорят, — вам сапог, а быка потеряли. Увел быка неизвестно кто.

Примерил царь сапог, — хорош сапог и сидит хорошо и в пальцах не жмет, да об одном сапоге далеко не уйдешь, да и быка нет.

Ну, по сапогу стали искать и дознались, что сапог Ма-

мыкин, и увел быка Мамыка. И посылает царь к деду, требует к себе старика.

Пришел старик, кланяется.

— Здравствуйте, государь батюшка.

— А много ль у тебя семьи, дедушка? — спрашивает царь.

— Один внук, государь батюшка, один-единственный, Мамыкой звать.

— А не украл ли твой Мамыка у царя быка?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого намедни пригнал, едва во дворик прошел.

— Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка украдет у царя коня, а не украдет, казнь ему!

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Скручинился, спечалился старик: легкое ли дело у царя коня украсть!

А Мамыка уже встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, — охает дед, — наделал ты дел!

— Чего, дедушка, ну, чего, дедушка? — унимает парнишка, шустрый такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь своего коня украсть, не то тебе казнь.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится, — смеется парнишка, проворный такой, Мамыка.

2

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи потащился в город и прямо к дворцу.

Царя во дворце не было, в Сенате сидел царь, законы сочинял.

А Мамыке это на руку, проник Мамыка в царские покои, обрядился в царское платье, да в царском-то платье на крыльцо.

— Эй, — кричит, — коня, коня давайте, в сады поезжаю гулять!

Засуетились слуги, забегали и сейчас коня ему пода-

ли, — спросонья за царя признали, обознались! Сел Мамыка на царского коня и домой к деду.

Приехал Мамыка к деду, кричит старику:

— Отворяй, дедушка, ворота! — смеется.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил коня.

— Слава Богу, спас Господь от беды! — плачет старик: рад очень, что с конем-то внук, царского коня украл.

Вернулся царь из Сената, велит коня подать — в сады гулять ехать, а коня его царского нет-как-нет, укатил на его коне неизвестно кто.

«Это, верно, Мамыка, некому больше, вор Мамыка!» — раздумался царь.

И посылает наутро царь к деду, требует к себе старика.

Пришел старик, кланяется.

Поздоровался царь с дедом и говорит:

— А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя коня?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такого пригнал, едва в домишко прошел.

— Ну, хорошо, — говорит царь, — пускай же твой Мамыка из-под царя перину украдет, тогда я прощу, а не то ему казнь!

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Скручинился, спечалился старик: легкое ли дело из-под царя царскую перину украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, жизнь свою решишь!

— Да чего, дедушка, чего ты? — унимает парнишка, проворный такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь царскую перину из-под себя украсть, не украдешь, — дело плохо.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится! — смеется парнишка, хитрый такой, Мамыка.

3

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи потащился в город и прямо на кладбище. И там, на кладбище,

отыскал он свежую могилу, разрыл могилу, достал покойника из гроба, посадил покойника на кол и понес на плече ко дворцу, к тем самым покоям, где царь ночует.

Стал Мамыка перед царскими окнами и ну вертеть покойником.

Царь не спал, и не ложился, поджидал царь Мамыку: придет вор царскую перину из-под него красть, тут он его и словит. И как увидел царь, что ровно человек в окно лезет, скорее за ружье да из ружья в окно и выстрелил.

— Ну, — говорит царь царице, — подстрелил я Мамыку, не встать больше вору, можно будет спокойно выспаться.

А Мамыка простреленного покойника бросил да по задним ходам залез в царские покои, отыскал там квашенку с белым раствором, прокрался к самому царю, да тихонько раствор этот белый между царем и царицей в середку и полил, а сам в темный угол, присел на корточки, ждет.

Спал царь крепко, а проснулся да со сна прямо рукой в это тесто.

«Эка, грех-то какой, все себе пальцы измазал!»

Крикнул царь слуг, всех слуг разбудил.

— Снимай перину, стели новую!

А царские слуги подскочили, тычутся, нежными голосами так и ластятся:

— Пожалуйста, сейчас! сейчас!

И сейчас же свежая перина готова, ту замаранную сняли, постелили новую.

И заснул царь.

А как заснул царь, вышел Мамыка из темного угла, подхватил старую запачканную перину да в окошко, спихнул перину на улицу да и сам за ней туда же, взвалил ее на плечи, понес домой к деду.

— Отворяй, дедушка, ворота! — громыхает Мамыка в ворота.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку с царской периной.

— Слава Тебе, Господи, миновала беда! — плачет старик: рад очень, что с периной-то внук, царскую перину украл.

Наутро, как проснулся царь, и первым делом о перине:

— Где замаранная перина?

А где замаранная перина? — туда-сюда, никто не знает, нет нигде перины и искать негде.

Заглянул царь в окно, а там, на улице под окошком покойник на колу, лежит покойник простреленный и нет никакого Мамыки.

Шлет царь за стариком дедом.

Пришел старик, кланяется.

Поздоровался царь с дедом и говорит:

— А не украл ли, дедушка, твой Мамыка у царя перину?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую приволок, едва в угол запихал.

— Хитер у тебя внук, — сказал царь, — пускай же Мамыка у царя царицу украдет, а не то голову на плаху, жизни решу.

Простился дед с царем, поклонился царю, пошел домой.

Еще больше скручинился старик, еще больше спечалился, пути перед собой не видит: легкое ли дело у царя царицу украсть!

А Мамыка уж встречает деда, на одной ножке прискакивает.

— Глупый ты, глупый, — охает дед, — наделал ты дел, пропали мы с тобой!

— Чего, дедушка, ну, чего, дедушка? — унимает парнишка, хитрый такой, Мамыка.

— Да вот чего: велел царь царицу украсть, не украдешь, голову на плаху.

— Богу молись, дедушка, да спать ложись, все дело поправится! — смеется парнишка, смекалистый такой, Мамыка.

4

Лег дед спать, а Мамыка дождался ночи и в ночи заложил царского коня в санки и помчался прямо во дворец.

Царя во дворце не было, в Синоде сидел царь, приказы давал.

А Мамыке только того и надо. Кличет Мамыка царских слуг, будто царь за царицей прислал.

— Требует царь царицу в сады гулять, немедленно!

Доложили царские слуги царице. Оделась царица, вышла на крыльцо, видит, конь царский, да и села в санки к Мамыке. И помчал царицу вор Мамыка да не в Синод к царю, а к себе, к своему деду.

— Отворяй, дедушка, ворота! — кричит вор Мамыка.

Поднялся дед, узнал внука, обрадовался, отворил ворота, впустил Мамыку, впустил с Мамыкой и царицу.

— Слава Богу, услышал Господь, спас! — плачет старик: рад очень, что с царицей-то внук, царицу украл.

И царица плачет: страшно ей вора Мамыку, жалко ей деда.

Вернулся царь из Синода, спрашивает царицу.

— Нет царицы, — отвечают царские слуги, — поехала царица в сады гулять, сам ты и послал за ней.

— Когда посылал? — ничего царь понять не может.

— Да из Синода, — говорят царю слуги.

— Как так?

— Да так.

Никто ничего толком не знает, друг на дружку валят.

«Это все вор Мамыка!» — раздумался царь.

И велит царь привести старика деда. Бросились за дедом, привели старика. Усадил царь старика и говорит:

— А не украл ли твой Мамыка у царя царицу?

— Не знаю, батюшка, украсть не украл, а такую краса́вую в дом привел, такую барыню.

— Хорош твой внук, дедушка, — сказал царь, — шустер парень, проворен, смекалист! Пускай же он все наворованное царю представит: быка, коня, перину и нашу царицу. Все дела ему прощаем, всю вину снимем, получит награду.

Побежал старый дед домой, а уж Мамыка ему навстре-

чу, а с Мамыкой царский бык, царский конь, царская перина и сама царица.

И остался Мамыка у царя служить царю верой, верный слуга Мамыка. Подчистил Мамыка царских слуг ротозеев, всех воров переловил, а деду, старику своему, у царя звезду выхлопотал, и звезду и коня и коровушку, чтобы жили старики покойно.

1911 г.

ХОЗЯЕВА

ЛЕШИЙ

Леший живет в лесу, леший живет в большой избе. Изба у него кожами укрыта, теплая. Леший не старик старый, какой старик! — леший молодой, и ни усов еловых, ни бороды осочьей у него нету. Желтый зипун на нем, красная теплая шапка, а жена его — лешачка, а дети — лешата, полное хозяйство.

Был такой Афоныга, неладный, все бродил по лесу, лешней жил. Вот идет Афоныга лесом, дошел до болота — топучее болото — и видит, увяз леший в болоте, да и олень, да и медведь с ним.

Не больно речист леший, а как заговорил!

— Иди, — говорит, — Афоныга к моей хозяйке, да скажи ей, на большом, мол, болоте со зверем сохатым, да с медведем Мишей утоп! — и дорогу кажет Афоныге, куда идти ему к лешачке.

Пошел Афоныга, пошел, как указал леший, и прямо к большой избе. Входит Афоныга в избу — сидит лешачка на лавке.

— Зачем пришел, Афоныга? — говорит лешачка, баба молодая, белая, глаз с поволокой.

Афоныга ей о лешем, о сохатом, о медведе Мише.

— На большом болоте утопли!

— Ну, ладно! — бросила лешачка Афоныгу, да из избы, да скорее к большому болоту.

Ждать не долго ждал Афоныга, а страху натерпелся не мало: одолели Афоныгу лешата — цепляются, курлычут, хватают, ну, ничем не отобьешься, ни шлепком, ни подшлепником.

И вернулась лешачка, несет медведя Мишу, — баба молодая, белая, глаз с поволокой, а за лешачкой сам леший с оленем.

На славу угостили гостя. Леший указал дорогу и на прощанье отодрал рукав от своего кафтана и дал его Афоныге.

А Афоныга, домой вернувшись, сшил себе из рукава кафтан — кафтан до пят, да рукавицы.

1912 г.

ВОДЯНОЙ

Водяной живет в озере, там у него и дом под камнем. Водяной, не очень великий, даже маленький, черноватый, на черта похож, а ус у него рыжий. Жена его из русалок — водяниха, Палагеей звать, Поля, а ребятишки — водяники, вроде чертенят, только что на пальцах перепонка. Держит водяной коров много бурых, — большое хозяйство.

За большим болотом на круглом озере остров, и не раз видали, как из воды на остров выходили коровы и траву щипали, видали и самого водяного: сядет себе на камень и сидит, медным гребнем расчесывает свои крепкие лохма.

Ходил по лесу Афоныга — Афоныге что и делать, как в лесу бродить! — и зашел Афоныга к круглому озеру за большое болото, уморился, прилег на траву отдохнуть, да и заснул. А как проснулся, и видит: четыре бурых коровы на острове пасутся.

Положил Афоныга на себя крест, да прямо на коров этих... И только что ухватить корову наметил, из воды как свиснет — озеро заволновалось, и коровы в воду. Ну, Афоныга не больно испугался, не сплошал и как-никак, а двух коров перенять ухитрился, и пригнал домой к себе в лес.

И долго жили у Афоныги эти коровы, по два ведра в день молока давали, вот какие коровы! Разбогател Афоныга, разбурел, опился молоком сладким, пьет — не лезет, и уж бродить по лесу не может, совесть и заговорила.

Стало беспокойно Афоныге, все не так, все не так как-

то, не по-настоящему, не по правде. И вздумал Афоныга этих коров зарезать. И зарезал. Ввечеру зарезал, а наутро хвать, ни мяса, ни шкур, и мясо и шкуры украл кто-то, нет ничего.

Досадно стало Афоныге — ни молока ему, ни коров, ни мяса ему, ни шкур коровьих, — ничего. Как не досадно! Думал Афоныга, думал и подал в суд: на соседа думал — вороватый такой сосед жил Мамыка.

И пока Афоныгино дело в суде тянулось, подошла осень, а у Афоныги не выходят из головы коровы, не может забыть коров: нет-нет да и вспомнятся они ему, бурые, сытые — два ведра в день молока давали.

Сидит раз Афоныга вечером, раздумывает, и все о коровах, а на воле так и шумит и шумит — осень. И слышит, стучит кто-то. Афоныга к воротам, отворил калитку, и видит: так не очень великий, даже маленький, черноватый такой, ус рыжий, в коротком камзоле, а шляпа соломенная, стоит у ворот, на Афоныгу смотрит.

— Напрасно, — говорит, — ты, Афоныга, из-за коровьих кож с соседом тягаться вздумал — кожи я взял! — сказал и пошел, ходко пошел к озеру.

Афоныга его сейчас же признал, — водяной, конечно! — и помирился с соседом, прекратил тяжбу с Мамыкой, и по-старому, по-прежнему в лесу бродит, лешней живет.

1912 г.

ЧЕРТ

Жил богатый человек и была ему во всех его делах большая удача. Стоило только подумать, пожелать чего, хвать и исполнится. Сам не понимал Никанор, откуда ему идет такое. И чем дальше, тем больше.

И чем дальше, тем больше чувствовал он, как с другого конца другим ветром приносило ему совсем другое, — недоброе. Спервоначала-то, как пошло дело в ход, думал Никанор только о деле, о торговле своей, а когда стало много всего, накопил он бочку золота — целую бочку! — и дела

уж сами собой пошли, мысли повернули совсем на другое: думаться стало ему, — узнают люди о золоте, о его бочке и отымут. И не стало ему покою, спать ляжет, не спится, а заснет, сны нехорошие.

Ровно бы что-то сделать ему надо, и тогда опять придет покой и пойдет жизнь прежняя, по-старому в делах и без всякого, но какое дело это сделать надо, Никанор в ум не возьмет.

Большой был богач Никанор, громкий человек. И бочка золота под кроватью, и пьет и ест до отвалу, и почет везде, а покоя нет, — у последнего бродяги больше, и голи-пьянице кабацкой позавидуешь!

Раз лежит Никанор ночью, не спится, и слышит, будто кто-то постучал под окном. Встал, подошел он к окну, окликнул, — никто не отвечает.

Ну, не отвечает, так и не отвечает, и опять лег. И только что глаза завел, опять стук. Окликнул, — нет никого. И вдруг стало страшно: это воры хотят ограбить его! — Снял он со стены ружье, зарядил пулей и притаился у окна.

И когда в третий раз застучало под окном, Никанор открыл окно и выстрелил. Выстрелил и похолодел весь: там, под окном, лохматая рука с птичьими когтями сжала ставень.

Никанор за нож, отрезать хотел руку чертову, а нож выпал из рук — прямо из ночи глядели на него огромные оловянные глаза и щерилось изрытое темное лицо.

— Иди за мной! — сказал черт.

Делать нечего, вышел Никанор.

Черт схватил его за левую руку, и они пошли прямо к реке.

Страх подкашивает ноги, а черт тянет за собой, — и убежал бы, не убежишь, от черта не вырвешься.

Пришли к реке, черт и говорит:

— Ты, Никанор, бочку золота накопил, отдай ее мне. Я тебе помогал!

Смотрит Никанор на черта, вот обомрет.

— А не отдашь, я тебя в воду брошу. Слышишь?

— Слушаю, — Никанор на все соглашался.

— Так, смотри ж, завтра приду, — и черт нырнул в воду.

Не помнит Никанор, как домой попал, не помнит, как прошел день, ночью не ложился он спать, черта ждал. И в полночь застучало под окном. Взял Никанор бочку, вынес черту бочку, черт взвалил ее на плечо, и они пошли.

Черт идет, с чертом Никанор идет.

Страх подкашивает ноги, а черт тянет за собой, — и убежал бы, не убежишь, от черта не вырвешься.

Дошли они до реки, спустился черт в реку, вытащил железные цепи, обмотал бочку, спустил ее в воду и сам скрылся под водою, и опять вынырнул, горсть золота подал Никанору.

— Это тебе за твою верность мне, да смотри, не болтай! — и пропал.

А Никанор вернулся домой и запил с горя.

Большой был богач Никанор, громкий человек. А стал попивать, стало дело расстраиваться. Не будь чертовой горсти, что́ черт дал, промотал бы добро все.

В Васильев вечер сидел Никанор с пьяницей приятелем в кабаке. Разжалобил его приятель, тут Никанор ему по пьяному делу и пожаловался, забыл зарок, все рассказал. Идут они из кабака, а навстречу им старичок, знакомый будто, зовет старичок в гости.

Отчего не пройти, — пьяному глазу дорога не заказана, пошли приятели. И долго вел их старичок, все в сугроб да в сугроб, не легко идти, Никанорова приятеля и разморило, зевнул он, перекрестился и видит, — стоит он над прорубью, а Никанор уж в проруби — с головой влез, и никакого нет старичка знакомого.

Так и пропал Никанор.

1912 г.

ЛИГОСТАЙ СТРАШНЫЙ

Жил-был добрый человек, и Бога чтил, и людей не забывал: Богу — свечка, бедным людям — хлеб. И жил так добрый человек с женою и сыном, не роптал. И вот померла жена, заскучал старик без хозяйки, стал прихварывать и почувствовал, что и его конец приходит.

Говорит старик сыну:

— Нечего мне тебе оставить, нет у меня ничего: что́ зарабатывал — все проживали. А вот как помирать твоей матери, пекла она калач, калач подгорел, но я его сберег, — оставляю тебе горелый калач. Съешь ты его с тем моим другом, который никакой с к у п ы не берет.

Помер добрый человек, похоронил сын отца. Какие оставались деньги, все на похороны пошло. И уж ничего в доме нет, хоть шаром покати, а есть хочется. Вспомнил тут Сергей об отцовском наследстве — о калаче, отыскал горелый калач, хочет его закусить, да слова отца стали в памяти: съесть калач с тем другом его, который прибыли себе не берет, — положил калач за пазуху и пошел отцова друга искать.

Идет Сергей по дороге, и встречается ему старичок белый, седа́тый.

— Куда, — говорит, — молодец, Бог несет?

— Иду искать отцова друга, который никакой ску́пы не берет, — и рассказал Сергей старику об отцовском горелом калаче.

— Я отцов друг.

Посмотрел Сергей на отцова друга: старичок бел седатый, с церковкою в руке.

— Нет, ты — святитель Христов, Никола угодник! — поклонился угоднику можайскому и дальше пошел.

Идет Сергей по дороге, и едет навстречу ему всадник на белом о белых крыльях коне, золото так и играет. Испугался Сергей, хочет в сторону свернуть.

А всадник кричит:

— Куда, молодец, Бог несет?

— Иду искать отцова друга, который никакой скупы не берет, — и рассказал Сергей всаднику об отцовском горелом калаче.

— Я отцов друг.

Посмотрел Сергей на отцова друга: по локоть руки — красно золото, по колено ноги — чисто серебро, во лбу звезда, на голове зеленый венок.

— Нет, ты — храбрый святой Георгий! — поклонился пастырю святому и дальше пошел.

Идет Сергей по дороге, устал, и ночь его настигает, и есть ему хочется. И попадает ему на дороге страшный, высокий, грудь и бедра толстые, в поясе тонкий, длинные пальцы, зубастый, ребратый, голенастый, лигостай — страшный.

— Ты куда идешь? — скорчил рожу лигостай страшный.

— Иду отцова друга искать, который никакой скупы не берет.

— Я самый и есть!

Посмотрел Сергей на отцова друга: лигостай — страшный.

— Почему, говоришь, отцов ты друг?

— А потому, я у отца душу вынул.

«И вправду, — подумал Сергей, — точно, что друг, только больно уж страшный!»

Вынул Сергей из-за пазухи горелый калач, уселись они на пень, съели калач.

Лязгнул зубами лигостай страшный.

— Поди, — говорит, — в город, тамошний царь худ, ищет человека, про свою смерть знать хочет. Поди ты к царю и скажи, что знаешь про его царскую смерть. Меня никто не видит, а ты увидишь. Я без корысти, я отцов друг! Если сижу я в головах у царя, царь помрет; если стою я в ногах, царь будет жить.

Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в город, ну трубить:

— Я, — говорит, — про царскую смерть знаю!

Дошла весть до царя, послал царь разыскать Сергея. Нашли Сергея и привели к царю.

Помолился Сергей, посмотрел на царя: лежит царь на кровати, едва уж дышит, а лигостай стоит в ногах у него страшный, рожу корчит.

Поклонился Сергей царю:

— Трудно хворали, ваше царское величество, тяжело, да Господь даст здоровья, будете живы.

И стало царю полегче, потом совсем легко, а потом и вовсе поправился и позабыл про всякую хворь. На радостях царь наградил Сергея крестом и велел на-

сыпать ему из государской казны полный мешок золота.

Нацепил Сергей крест себе на шею, забрал под мышку золото, поблагодарил царя и пошел из города домой: хватит ему на его век да еще останется!

Идет Сергей дорогой, застигла ночь, присел Сергей на пень отдохнуть, а лигостай тут — страшный стал у пня.

— А, — говорит, — здорово, Сергей Иваныч!

— Здравствуй, страшный!

— Много ль собрал?

— Эво сколько, доверху полный! — Сергей показал страшному золотой свой мешок.

— Ну, не очень-то... — лигостай тряхнул мешком, — фальшивые! Иди ты в другую землю, там тоже царь худ, скажи, что про царскую смерть знаешь. Буду я в головах сидеть, и ты скажи царю: не будет ему житья, смерть будет. А ему трудно, он только этого и хочет, смерти хочет. И он наградит тебя: царем вместо себя поставит. И ты будешь царствовать тридцать лет. Знай: в который час корону примешь, в тот же самый час через тридцать лет и помрешь. Помни! Приготовься! Я приду.

Простился Сергей с лигостаем страшным, пошел в ту землю, где царь хворал.

— Я про царскую смерть знаю! — трубит Сергей.

Узнали, кому следует, Сергея схватили, да к царю. Привели Сергея к царю, и уж на пороге видит Сергей: страшный расселся лигостай у царского изголовья, рожи корчит.

— Ваше царское величество, помрете!

А царь корону с себя снял да на Сергея.

— Царствуй, добрый человек, спасибо тебе! — и помер.

Помер царь, сел царем Сергей.

Хорошо царствовал Сергей и все дела государские исправлял верно. Тихо, мирно было в его царстве. Богатели купцы торговлей, мужики много сеяли хлеба, — земли было вволю, собирали и того больше, и было где скоту кормиться, — лугов было вдоволь, разбойники сидели за крепким караулом, никто не жаловался.

Все в делах, все в заботах, и не заметил царь, как прошли годы, и наступил тридцатый, последний его год.

«Ах, — схватился царь, — лигостай придет!»

И такая напала тоска на него, такая долит печаль, невесело, неважно все, не занимают дела.

«Лигостай придет, страшный придет!» — печалился царь.

И от печали разнемогся, и ничего уж не помогает, одно на уме:

«Лигостай придет!»

Наступили последние сутки, пришел последний час. И кончились последние минуты, осталась всего одна последняя минута.

«Пойду в сады мои, прощусь...» — царь встал и к двери.

А на пороге лигостай.

— Чего ты, — говорит, — куда собрался, Сергей Иваныч? — сам рожу корчит.

— В сады мои проститься, хочу проститься...

— А ты чего же раньше-то? Я же тебя предупреждал, — лигостай взял под руку царя, — ну, пойдем!

И они ходили вместе по саду, как два друга, мертвый царь да лигостай страшный. Царь все прощался. И не было куста, не было деревца, с кем бы царь не простился. Со всем белым светом простился царь и говорит:

— А что, страшный, как я помру, будут по мне плакать?

А лигостай как скорчит рожу.

— Ревут, — говорит, — третий день ревут, уж третий день, как ты помер: в ту самую минуту, у порога, как встретились мы, ты и помер! Спасибо за любительный калачик!

Лигостай лязгнул зубами, страшный, отвел свою бескорыстную страшную руку, и остался царь один, не царь — душа человечья.

1911 г.

ХЛОПТУН

1

Жил-был мужик с женою. Жили они хорошо, и век бы им вместе жить, да случился трудный год, не родилось

хлеба, и пришлось расстаться. Поехал Федор в Питер на заработки, осталась одна Марья со стариком да старухой.

Трудно было одной Марье. Кое-как год она перебилась, к осени полегче стало. Ждет мужа, — нет вестей от Федора. Ждать-пождать, — не едет Федор. Да жив ли?

А тут говорят, помер. Бабы от солдата слышали, что Федор помер. Ну, Марья в слезы, убивается, плачет.

— Хоть бы мертвый приехал, посмотреть бы еще разок! — так Марья плачет, так ей скучно.

Прожила она в слезах осень, все тужит: без мужа скучно.

А Федор вдруг на святках и приезжает.

И уж так рада Марья, от радости плачет: вот не чаяла, вот не гадала!

— А мне говорили, что ты помер!

— Ну, вот еще помер! И чего не наскажут бабы!

И стали они жить да поживать, Федор да Марья.

2

Все шло по-старому, будто никогда и не расставались они друг с другом, — не уезжал Федор в Питер, не оставалась одна Марья без мужа, — век вместе жили. Все попрежнему шло, как было. Все... да не все: стало Марье думаться, и чем дальше, тем больше думалось:

«А что, как он мертвый?»

Случится на деревне покойник, Марье всегда охота посмотреть, ну, она и Федора зовет с собою, а он, чтобы идти к покойнику смотреть, нет, никогда не пойдет.

Раз она уж так его упрашивала, приставала к нему, приставала, — покойник-то очень уж богатый был, — насилу уговорила. И пошли, вместе пошли.

Приходят они туда в дом, где покойник: покойник в гробу лежал, лицо покрышкой покрыто. Собрались родственники, сняли покрышку, лицо открыли, чтобы посмотреть на покойника. Тут и все потянулись: всякому охота на покойника посмотреть. С народом протиснулась и Марья. Оглянулась Марья Федора поманить, смотрит, а он стоит у порога большой такой, выше всех на голову, усмехается.

«И чего же это он усмехается?» — подумалось Марье, и чего-то страшно стало.

Начал народ расходиться. И они вышли, пошли домой.

Дорогой она его и спрашивает:

— Чего ты, Федор, смеялся?

— Так, ничего я... — не хочет отвечать.

А она пристает: скажи, да скажи. Федор молчит, все отнекивается, потом и говорит:

— Вот как покрышку сняли с него, а черти к нему так в рот и лезут.

— Что ж это такое?

— А хлопту́н из него выйдет.

— Какой хлоптун?

— А такой! Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной и за людей принимается.

И как сказал это Федор, стало Марье опять как-то страшно, еще страшнее.

— А как же его извести, хлоптуна-то? — спрашивает Марья.

— А извести его очень просто, — говорит Федор, — от жеребца взять узду-о́борот и уздой этой бить хлоптуна по рукам сзади, он и помрет.

Вернулись они домой, легли спать.

Заснул Федор. А Марья не спит, боится.

«А что если он хлоптун и есть?» — боится, не спит Марья, не заснуть ей больше, не прогнать страх и думу.

3

Куда все девалось, все прежнее? Жили в душу Федор да Марья, теперь нет ничего. Виду не подает Марья, — затаила в себе страх, — не сварлива она, угождает мужу, но уж смотрит совсем не так, не по-старому, невесело, вся извелась, громко не скажет, не засмеется.

Четыре года прожила Марья в страхе, четыре года прошло, как вернулся Федор из Питера, пятый пошел.

«Пять годов живет хлоптун хорошо, чисто и не признаешь, а потом и начнет: сперва ест скотину, а за скотиной за

людей принимается!» — и как вспомнит Марья, так и упадет сердце.

И уж она не может больше терпеть, не спит, не ест, душит страх.

— Не сын ваш Федор... хлоптун! — крикнула Марья старику и старухе.

— Как так?

— Так что хлоптун! — и рассказала старикам Марья, что от самого от Федора о хлоптуне слышала, — последний год живет, кончится год, съест он нас.

Испугались старики:

— Съест он нас!

Всем страшно, все настороже. И стали за Федором присматривать. Глядь, а он уж на дороге коров ест.

Обезумела Марья, трясутся старики.

Достали они от жеребца узду-óбороть, подкараулили Федора, подкрались сзади, да по рукам его уздой как дернут...

Упал Федор.

— Сгубила, — говорит, — ты меня! — да тут и кончился.

Тут и все.

1911 г.

МЕРТВЕЦ

Лежал мертвец в могиле, никто его не трогал, лежал себе спокойно, тихо и смирно. Натрудился, видно, бедняга, и легко ему было в могиле. Темь, сырь, мертвечину еще не чуял, отлеживался, отсыпался после дней суетливых.

Случилось на селе о праздниках игрище, большой разгул и веселье. Нá людях, известно, всякому хочется отличиться, показать себя, отколоть коленце на удивленье, ну, кто во что, все пустились на выдумки.

А было три товарища — три приятеля, и сговорились приятели попугать сборище покойником: откопать мертвеца, довести мертвеца до дому, а потом втолкнуть его в

комнату, то-то будет удивленье, — сговорились товарищи и отправились на кладбище.

На кладбище тихо, — кому туда на ночь дорога! — высмотрели приятели свежую могилу и закипела работа: живо снесли холмик, стали копать и уж скоро разрыли могилу, вытащили мертвеца из ямы.

Ничего, мертвец дался легко, двое взяли его под руки, третий сзади стал, чтобы ноги ему передвигать, и повели, так и пошли — мертвый и трое живых.

Идут они по дороге, — ничего, вошли в село, скоро и дом, вот удивят!

Те двое передних, что мертвеца под руки держат, ничего не замечают, а третий, который ноги переставлял, вдруг почувствовал, что ноги-то будто живые: мертвец уж сам понемножку пятится, все крепче, по-живому ступает ногами, а, значит, и весь оживет, оживет мертвец, будет беда, — да незаметно и утек.

Идут товарищи, ведут мертвеца — скоро, уж скоро дом, вот удивят! Ничего не замечают, а мертвец стал отходить, оживляться, сам уж свободно идет, ничего не замечают, на товарища думают, которого и след простыл, будто его рук дело, ловко им помогает.

Дальше да больше, чем ближе, тем больше, и ожил мертвец — у, какой недовольный!

Подвели его товарищи к дому, в сени вошли.

А там играют, там веселье — самый разгар, вот удивят!

— А Гришка-то сбежал, оробел, — хватились товарища, и самим стало страшно, думают, поскорее втолкнуть мертвеца, да и уходить, — Гришка сбежал!

Открыли дверь, — вот удивятся! — хотят втолкнуть мертвеца, а выпростать рук и не могут, тянет мертвец за собой.

А правда, в доме перепуг такой сделался — признали мертвеца — кто пал на землю, кто выскочил, кто в столбняке, как был, так и стал.

Тянет мертвец за собой, и как ни старались — рвутся, из сил выбиваются, держит мертвец, все тесней прижимает.

— Куда ж, — говорит, — вы, голубчики, от меня рве-

тесь? Лежал я спокойно, насилу-то от Бога покой получил, обеспокоили меня, а теперь побывайте со мной!

Совсем как все говорит, только смотрит совсем не по-нашему! Нет, не уйти от такого, не выпустит, — совсем не по-нашему!

Собралось все село смотреть, а эти несчастные уж и не рвутся, не отбиваются, упрашивают мертвеца, чтобы освободил их, выпростал руки.

А он только смотрит, крепко держит, ничего не сказывает.

Стал народ полегоньку отрывать их от покойника, не тут-то, кричат не в голову, что больно им. Ну, и отступился народ. Отступился народ, говорят, что надо всех трех хоронить.

И видят несчастные, дело приходит к погибели, заплакали, сильней умолять мертвеца стали, чтобы освободил их.

А он только смотрит, еще крепче держит, ничего не сказывает.

И два дня и две ночи не выпускал их мертвец, а на третий день ослабели мертвецкие руки, подкосились мертвецкие ноги, да их тело-то, руки их с мертвым, с телом мертвецким срослись — хоть руби, не оторваться!

Господь не прощает.

И начали они просить у соседей прощенья и у родных. Простились с соседями, простились с родными. И повели их на кладбище с мертвецом закапывать.

И так и закопали равно вместе — того мертвеца не живого, а этих живых.

Здравствуй хозяин с хозяюшкой,
На долгие веки, на многие лета!

1912 г.

МИРСКИЕ ПРИТЧИ

МУТЫ

Ходила старуха за морошкой в лес. Набрала старуха полный бурак и заблудилась: ходит по лесу, выйти не может. А Леший-шишко — ему только того и надо, — рад, что старуха домой попасть не может, Леший тут-как-тут.

И не в старухе дело, в старухе-то ему корысть не великая, а спасалось в лесу два старца, две избушки в лесу стояло, стращали старцы прогнать Лешего из леса, вот на них и был у Лешего зуб.

И говорит Леший-шишко старухе:

— Что, бабка, не можешь ли му́ты сделать со старцем, смутить, значит, грех произвести?

Страсть напугалась старуха, инда дрожь на сердце, на все готова старуха, и рада старуха на старости лет до конца своего хоть заячьей, хоть беличьей говядиной питаться, лешиным кушаньем любимым, только бы домой ей дойти.

— Ты, бабка, покличь старца, да щелкни его в лысину, скажи: на́, другому оставь! Только и всего. Я тебя, Федоровна, домой сведу! — и пошел, будто кур, пошел, не откликнется.

Делать нечего, пошла старуха за Лешим, да к избушкам и вышла, где старцы спасались.

— Отче, отворите окошко! — стучит старуха к старцу.

Отворил старец окно, наклонился к старухе, а она его шлеп по лысине:

— На́, другому оставь! — и пошла прочь.

А старец не успел окна затворить, другой уж идет к нему: слышал другой старец, что́ старуха-то сказала.

— Что, — говорит, — чего тебе дали?

— А не дали ничего.

— Да как же ничего, сам слышал: оставь другому.

Поспорили. Дальше — больше, и такой грех вышел, переругались старцы, и уж в чем только ни обвинили друг друга, — и спасенье их ни во что пошло, хоть опять в дупло полезай, да сызнова все грехи замаливай.

А старуху Леший из лесу вывел, домой свел.

1912 г.

БЕРЕСТЯНЫЙ КЛУБ

Жили на селе два старичка, Семен да Михайла, разумные старики-приятели.

Косил старик Семен с работником сено, пришла пора обеда, присел работник отдохнуть, а Семен за бересту принялся — работящий был старик, без дела не посидит, — бересту драл на клуб, клуб вил.

Идут полем люди.

— Бог помощь, работнички, слышали, Михайлу-то нашего старика на дороге убили.

— Как так — убили! — подскочил Семен, — экие разбойники, убили!

И уж не может старик бересту драть, бросил клуб в кошелку, забрал кошелку, пошел домой с поля.

Идет старик, не может успокоиться, старика Михайлу вспоминает.

— Разбойники, убили, злодеи! — твердит старик, идет по полю, а из кошелки-то у него кровь.

Работники сзади шли, видят, из кошелки кровь бежит, да уж за стариком, не отстают.

А он идет себе, словно и знать ничего не знает, не обернется, так и идет. И пришел домой, бросил старик кошелку в сени, сам в избу.

Тут работники к кошелке, да как откроют, а в кошелке — голова человечья.

— Ну, говорят, — это ты, крещеный, ты и убил Михайлу! — да за десятским.

Пришел десятский, пришли понятые, стали смотреть старикову кошелку: так и есть, лежит в кошелке голова человечья. Приложили печати, запечатали кошелку и посадили старика Семена в темницу.

Долго и много сидел старик в темнице.

«Не грешен, не убил никого!» — не повинился Семен, и на суде не повинился.

— Не грешен, не убил никого!

Принесли кошелку, распечатали, а там — береста, один лежит клуб берестяный.

И вышло старику решение: выпустить старика под наказание — не убил он, а за то, что за убийство другого осудил.

1912 г.

ЗА ОВЦУ

1

Сидели девки у старика, у Тихона на вечеринке. Задумали девки складню сделать — старику угощение, а старик пришепнул девкам: чем сорить деньгами-то, лучше унести овцу у соседа.

Такой был старик ягатый.

А девки что, дурья голова, не подумавши, выскочили которые пошустрее, зашли без огня в хлев к соседу, овце шапку наложили, чтобы не блеяла, и унесли к старику, к Тихону.

Такой был старик ягатый.

Утром встает хозяйка да в хлев, — овец у ней было много, все белые, одна овца черная, — и как на грех той-то черной и нету. А муж у нее, сосед Тихона, по-вороньи жил, в карты поигрывал, вино любил: баба-то на него и подумала. Раздосадовалась, вернулась баба в избу, с сердца пхнула мужа.

— Это ты, — говорит, — несчастный, ночью овцу унес, в карты проиграл.

— Нет, — говорит муж, — зернышком виноват, каюсь, а овцу не трогал.

Так и поверит. Не трогал! Коли зерно носил продавать, так и овцу продал.

— У! несчастный, овцу украл! — клеплет мужика баба: досадно ей, за сердце берет.

И пришлось бедняге повиниться, — ничего не поделаешь, повинился, что с зерном и овцу украл.

Тем это дело и кончилось. Остался виноватым невиноватый. А старик Тихон съел себе соседскую овцу, ему и горя мало.

Такой был старик ягатый.

2

Было у старика у Тихона три сына. Вот наутро меньшой Михайла пошел удить на море, где стоят перемёты. Удил хорошо парень, да шут его знает, повернул, да не в ту сторону.

— Мишка, — кричат ребята, — не туда идешь, там суха́ вода!

Не слышит Михайла, знай, идет себе.

Покричали, покричали, да и бросили. Думают, так пошел.

Так и потерялся Михайла. И сколько его ни искали, и молебны-то служили, ничего не подействовало.

А Михайла, как удил рыбу, задумался, тихий был такой парень, и привиделся ему старший брат Василий.

— Пойдем, — будто говорит Василий, — ты не в ту сторону пошел.

И пошел Михайла за братом и все шел за братом, да вдруг потерялся брат: захохотал. И не знает Михайла, как очутился он в лесу, в лесной избушке.

В избе баба сидит и ребята незнамые.

— Заблудился я, — говорит Михайла.

— Нет, не заблудился, — говорит баба, — тебя Леший увел.

— А худо тут жить? — расспрашивает Михайла.

— А как худо! Замучает тебя Леший работой. Кто с огнем, не благословясь, ходит, да искрину уронит, тут Ле-

шему охота пожар сделать, вот и пошлет раздувать. Тяжело это у людей пожар раздувать.

И остался Михайла у Лешего: попал, не уйдешь.

3

О конец Филиппова заговенья потерялся Михайла, а весною перед Пасхой выискалась одна старуха-ворожея, взялась старуха отыскать Михайлу: в Христову ночь отыскать человека можно.

— В ту пору, как с крестным ходом пойдут, — толковала ворожея, — всякий покойник, всякий пропавший к родительскому двору придет и повалится к крыльцу, нужно только, чтобы через порог в это время три раза перешагнула девица в цвету.

Да никто не нашелся, и были, да побоялись.

«Сами себя ведь уходим!» — побоялись.

И прошла Пасха. Год прошел, стали забывать Михайлу.

А тут опять перед Святой появился на селе человек один, с Лешим знался. Зашел он к старику к Тихону.

— Я, — говорит, — твоего Михайлу знаю, у Лешего живет на полуволоке, в стороне в лесу, борода у него большущая... Надо тебе, так я свожу к нему.

Ушел этот человек, что с Лешим-то знается, старуха и говорит старику Тихону:

— Пойдем сына смотреть!

— Куда еще! Пускай там живет в лесу.

Так и отступился старик.

Дождались Святой, ушел старик в церковь, а старуха сидела дома. И когда пошли кругом церкви, вдруг в избе как брякнет, стекла зазвенели.

4

Обижался Михайла, что старики не пошли посмотреть его, обижался, что все отступились от него. Хотелось Михайле домой, хоть на часок побывать дома, с людьми полюдски посидеть. Опостылело ему у Лешего в работе жить.

Лешачиха-то сердечная баба, ее тоже, как Михайлу, Леший увел; стало Лешачихе жалко Михайлу.

— Ты, — говорит, — Мишка несчастный, будет тебя Леший едой угощать, а ты и не ешь.

Вот вернулся домой Леший, собрала ему Лешачиха ужинать, стал Леший Михайлу потчевать.

А Михайла отказывается.

— Я, — говорит, — сыт! — и не сел за стол.

И сам Леший тоже не ест.

— Я тоже, — говорит, — сыт, у баб нынче молоком наелся. Которая, не благословясь, выцедит, я все у той выпью, а потом плюну в кринки-то — кринки опять полны сделаются... люди все съедят.

И день не ест Михайла, и другой не ест, и на третий не ест, и как Леший не потчует, все отказывается.

А Лешачиха и говорит Лешему:

— Выведи ты этого парня. Эку беду привел, все жил хорошо, а теперь хлеба не ест, брось ты его на старое место, не будет от него прока.

Ну, Леший и послушался, сговорчивый, схватил Леший парня и поволок из избушки, да у моря на старое место, где перемёты стоят, там и кинул.

Едва отошел Михайла, едва добрел до дома, до стариков. И за что несчастный так натерпелся! А старик и старуха признать сына не могут: почернел весь, борода большущая, и путно слова не скажет, сказать не может, — три года ведь терпел, несчастный!

Едва признали старики сына. Тут и кончилось дело.

1911 г.

ГОСПОДЕН ЗВОН

Жил один старик в лесу. А ушел старик в лес, чтобы Богу угодить, Богу молиться. И много лет жил так старик в лесу, все молился. И чем больше он молился, тем ясней ему было, что жизнь его угодней становится Богу, — все он у Бога узнает и в святые попадет. Так и жил старик.

Ну, и приходит к старику, уж Господь его знает какой, странник — калика прохождающий.

— Бог помощь, — говорит, — лесовой лежебочина!

А старику обидно:

— А как так я лежебочина, я Богу молюсь и тружусь, труды полагаю, потею!

— Потеть-то потеешь, — сам улыбается странник, — а когда у Господа благовест, к обедне звонят и пора обеда, чай, не знаешь! А вот на поле крестьянин благочестивый, тот знает, — и пошел.

Ушел, уж Господь его знает какой, странник — калика прохождающий, ушел, и остался старик один и взял себе в разум:

«Как же так, жил он столько лет в лесу, в лес ушел, чтобы Богу угодить, молился, думал, что уж все у Бога знает, в святые попал, а и того не знает, когда к Господней обедне благовестят?»

И решил старик, идти ему на поле, искать того человека, который звон Господен слышит.

И вышел из леса, идет старик по полю и видит, мужик поле пашет.

— Бог помощь! — подошел старик к пахарю.

— Иди себе с Богом, добрый человек! — поздоровался пахарь, а сам, знай себе, пашет.

И хотел уж старик дальше идти: что с такого возьмешь, так мужичонка корявый, — да присел на межу отдохнуть и раздумался.

Сидит старик на меже, молитву творит, а пахарь все пашет. И долго сидел так старик и, хоть корешками питался, о корешках мысли пошли, а пахарь все пашет.

Терпел старик, терпел, встал.

— А обедал ли ты, добрый человек? — не вытерпел, встал старик.

— Какой там обед, еще у Господа благовест не идет! — ответил пахарь, а сам, знай, все пашет.

И опять присел старик на межу: и уж и голод забыл и молитву не творит; сидит, ждет, слушает, когда у Господа заблаговестят.

А пахарь допахал полосу, поставил лошадь, снял шапку, перекрестился.

— Ты чего, добрый человек, перекрестился?

— А вот благовест к обедне начался, звон Господен, обедать пора, — сказал пахарь, вынул краюшку, присел закусить.

Слушает старик, — ничего не слышит, слушает, — никакого звону не слышит.

И долго стоял так старик и ничего не услышал. И ясно ему, этот пахарь, мужичонка корявый, больше его у Бога знает.

И пошел старик назад в лес и опять стал молиться, и домолился старик, в святые попал.

1911 г.

ЗОЛОТОЙ КАФТАН

Побирался старик нищий, драный, один кафтан на плечах, да и тот весь в заплатах. Пришел нищий к одному хозяину, милостыню просить. Подал хозяин нищему — добрый был человек, помогал бедным. А нищий и ночевать просится. И ночевать пустил хозяин: как не пустить — хворый старик, и куда, на ночь глядя, идти такому, только что кафтан на плечах, да и тот весь в заплатах. Ночью разнемогся нищий, к утру не легче, — в чем душа! — полежал и помер.

Что хозяину делать с кафтаном, куда такое добро девать: заплата на заплате, грязный. Топилась печка, хозяин взял да и бросил кафтан в огонь. Печка загасла.

«Ладно, — думает, — брошу я его в реку!»

Взял кафтан, пошел к речке. А как стал топить, затопить-то и не может: не идет кафтан ко дну и не уносит его никуда.

Вернулся хозяин домой.

«Дай, — думает, — поразберусь, что за диковинное добро кафтан этот?»

А кафтан: заплата на заплате, грязный, в руки взять страшно.

Распорол он заплату, а ему на пол деньги. И сколько он ни порол заплаты, из каждой заплатки ему деньги так и

катятся. Напорол он денег вот столько! Стал считать, насчитал тысячу.

Целая тысяча! Куда ему такие деньги? Не знает хозяин, что́ ему делать с деньгами.

А случилось, проходил мимо дома калика прохождающий, старичок мудрый, — и смотрит и слушает, мудрый. Он к калике, рассказал все, как было.

— Куда, — спрашивает, — эти деньги?

— А ты, — говорит калика, — эти деньги возьми, сходи на рынок и купи свинью, и пока денег хватит, так все и корми ее.

Хозяин так и сделал. Купил он свинью, стал кормить свинью. И год кормит, и другой кормит, и третий. И пока денег хватало, все кормил ее. Кончились деньги, больше кормить нечем, и опять он не знает, что́ ему делать.

Лежит свинья голодная, а он вокруг свиньи ходит, не знает, что́ ему со свиньей делать. И видит, идет калика прохождающий, старичок мудрый. Он к калике.

— Свинью кормить денег нет, больше кормить нечем!

— Так ты, — говорит калика, — выпусти свинью на улицу и ходи вслед за ней, карауль ее!

Хозяин так и сделал. Выпустил свинью, пошла свинья, и он за свиньей, куда свинья, туда и он. И день ходит, и другой ходит, и третий.

И пришла свинья на луг: такой широкий луг зеленый, посередке речка бежит, а по речке колесо катит огненное с огнем, и в колесе народ, много народа сидит, и тот нищий сидит.

Свинья как вскочит и прямо в речку, в колесо.

И все стерялось: ни речки, ни луга, ни колеса, ни свиньи, — пустое поле. Пустым полем пошел хозяин домой один без свиньи.

А ему навстречу калика прохождающий, старичок мудрый.

— Ну, что свинья? — спрашивает калика, а сам словно рад чему-то.

Тот ему и рассказал все, как было.

— Вот, дитятко, — сказал калика, — нищий-то ходил и

просил, не работал, чужую копейку прятал, скопил денег, тысячу скопил, у других отымал, трудовые, горькие, и все сгорит, все взыщется. То нам за грехи Господь дает!

1911 г.

ЧУЖАЯ ВИНА

Жил-был прожиточный человек, большой хозяин. Семейный был человек: была у него жена, дети. Ладом жили, по-хорошему: ни ссоры, ни крика, ничего такого. Ну, Иван все с домом, — известно, хозяин! — все Иван по дому в заботах и хлопотах: некогда ему и на человека взглянуть, не только там поговорить с кем поближе, — все только дела, о делах. А хозяйка, совсем не такая, она от своих урвет, чужим даст, — сердечная была.

Пришел праздник: пошел Иван с женой в церковь, отстояли обедню, помолились Богу. Кто о чем, а Иван и к Богу все с делами, все о хозяйстве просит у Бога. А вернулись из церкви, сели за стол обедать.

Вот за обедом будто призаснул Иван, и показалось ему, что Успенье-Богородица, Царица Небесная, над столом стоит, и себя он будто видит, и жену хозяйку, — на жене золотой венец.

Проснулся Иван и с той поры взял он в раздумье, что это у жены его венец золотой, а у него нет ничего? И стал он думать о своей жизни богатой, хлопотливой и заботливой, и чем больше думал, тем чаще говорил себе, что эта жизнь его, хлопотливая и богатая, не такая, не настоящая, за такую жизнь его не будет ему золотого венца.

«Бросить богатство, бобылем жить, в работники пойти!» — так решил Иван.

И оставил Иван богатство свое, дом, жену и детей, все им оставил, все богатство свое, ничего себе не взял, в чем был, в том и ушел.

На стороне нанялся Иван в работники к хозяину, всякую работу исполнял у хозяина. Полюбился Иван хозяину: все исполнял, везде готов был, хоть в воду, хоть, куда хочешь, пошли, везде все справит. А хозяйка невзлюбила его, взяла и насказала хозяину.

— Вот ты, — говорит, — держишь Ивана около года, а вот он наехал на меня, рубашку разорвал да сарафан, всю разорвал, до тела выщипал!

Позвал хозяин Ивана.

— Как же, Иван, так делаешь?

А он взял да и повинился, будто и вправду согрешил, — на себя вину взял.

Рассердился хозяин на Ивана и посадил его в наказание в темное место, в холодную клеть. И выпускать не велел, так рассердился.

А Иван там и помер, в темном-то месте, без пищи, в холоде — с чужою виной на душе.

Помер Иван.

И вот пошел ладанный дух везде по дому. Носится ладанный дух по дому, по комнатам, и никто не домекнется, откуда такой дух идет.

— Что это, — говорит хозяин, — откуда этот ладанный дух у нас? — и схватился, вспомнил Иванушку.

Тут повинилась хозяйка, да поздно: лежит Иванушка мертвый, святой человек.

1911 г.

ЧАЕМЫЙ ГОСТЬ

Жил человек такой богатый, богатый, сядет за стол, ест-ест, насилу с места встанет, так много всего.

Дружно, дородно, согласно жил богач с семьею: жена — хозяйка хорошая, дети — все молодцы, загляденье! — и сыновья, и дочери.

С бедняками богач не знался, нищего брата не пускал к себе. А жила у него в доме больная тетка, по бедности держал старуху: старуха за душу его и молилась. И о душе, значит, помнил, все честь честью, набожный был хозяин.

Хозяйство — полная чаша. И за душу есть молебник. Чего еще? А захотел богач, чтобы сам Бог в гости к нему пришел. Вот и пошел он в церковь Бога в гости звать.

Велел богач постелить ковры от самого дома до церкви,

отслужил молебен, вернулся домой, сел у окна ждать. И до вечера прождал.

Не тут-то было, хоть бы кто-нибудь!

А в ночь тетка больная старуха померла.

Ну и похоронили тетку, помянули старуху, — за душу, ведь, молилась! А Бога все нет и нет, — не идет Бог в гости.

В день похорон вечером приходит в дом нищий старичок. Просится нищий на ночлег пустить.

Не хотел богач пускать нищего, да раздумался, — его и пустили. А старичок и воды просит напиться и поужинать, Христа ради. Дали нищему от ужина кость поглодать да в клетушку, где померла тетка, и положили спать на ночь.

Ночь переночевал старичок, поблагодарил хозяев и пошел себе в путь-дорогу.

А богач не унимается, нет-нет да в окно и выглянет: все на дорогу смотрел, Бога смотрел, Бога в гости ждал.

Не тут-то было, хоть бы кто-нибудь!

И уж который раз, пождав понапрасну, лег богач спать. И показалась ему ночью во сне покойница тетка. Бранит его тетка: зачем положил нищего старичка в ее душной тесной клетушке?

— Ходил ты в церковь, — укоряла тетка, — звал Бога в гости, ковры стелил, служил молебен, а Бога-то и проглядел! Чем старичка-то угостил? Кость старику, как собаке, бросил! А ведь это сам Бог у тебя был, сам Бог приходил к тебе в гости.

Пробудился богач, затужил, расплакался, что худо такого гостя принял. Да уж нечего делать, одно остается: догнать старика, вернуть и все поправить.

И пошел богач искать нищего — гостя своего, и везде спрашивал о нем, не видал ли кто?

— Не видали, — говорят ему.

Никто не видал нищего. А богач не унимается, дальше идет, дальше от дома, все расспрашивает о своем госте. Да так и покинул богач дом, семью и богатство, больше не вернулся домой.

1910 г.

ПАСХАЛЬНЫЙ ОГОНЬ

Жил человек такой бедный, бедный, а просить стыдно было. Другой раз целый день есть нечего... нет ни кусочка, ну, да как-нибудь перетерпит и никому ни слова. Все бедняк молчком сносил. Да и лучше так-то помалкивать в беде. Есть кому с тобой управляться! И кому охота? У всякого свое дело, свои заботы, — всяк о себе подумай! Видно, уж Господь так устроил.

Подошла Христова ночь, а у бедняка и огня нет, нечем бедняку печку затопить. Как тут сделаться? Крепился бедняк, крепился, и не совладал с собою: уж очень приуныл и запечалился. Пошел он по соседям кланяться. И никто не дает огня. И ходил бедняк из дома в дом. И никто ему не дал огня.

Уж наступила Христова ночь, в колокол ударили, вошел бедняк в последнюю избу.

Топится печь в избе, на лавке покойник лежит, больше никого нет.

Помолился бедняк, присел на лавку. И так ему вдруг горько стало, обидно стало, — стал он будить покойника, с мертвецом разговаривать.

И поднялся покойник:

— Что́ надо?

Просит бедняк огня дать.

Встал покойник, пошел к печке, зачерпнул ковш углей, подал ковш, сказал:

— Домой придешь, на стол стряхни! — и опять на лавку лег.

А уж бедняк вот как рад, сказать невозможно, ухватил ковш да бегом за дверь, давай Бог ноги.

Прибежал он в избу к себе, вытряхнул угли на стол, как велел покойник.

И вдруг осветилась изба светом-огнем, а в свете-огне стало золото, полон стол — все золото.

Наутро узнали соседи. Все соседи пришли к бедняку — завидно им: пришли спросить, откуда взялось у него столько богатства.

— Это он все дал! — и рассказал бедняк, как в Христо-

ву ночь в последней избе пробудился покойник и дал огня, а из огня золото стало.

К ночи со всех дворов собрался народ всем миром идти за огнем в мертвецкую избу.

Окружили лавку — топилась в избе печь, на лавке покойник лежал, — всем миром стали будить мертвеца.

И поднялся покойник:

— Что́ надо?

— Дай огня!

Встал покойник, пошел к печке, зачерпнул ковш углей, подал ковш, сказал:

— На середке деревни не трясите, а придете домой, на середку избы положите! — и опять на лавку лег.

Ухватил каждый по угольку да скорее домой, — в ладонях нес, чтобы добро не обронить.

И как наказывал покойник, положил каждый себе уголек на середку избы.

И вдруг осветились избы светом-огнем, поняло стены огнем — бросилось полымя, и начался пожар, да какой страшный, все дотла выгорело.

Я не сказку сказываю, а правду.

1910 г.

РЫБОВЫ ГОЛОВЫ

Жил-был старик со старухой. Жили они бедно. Ну, где старикам достать богатства! — и годы не те, и работа не та, так кое-чем промышляли. А был у них внучонок Петька. Внучонка старики очень любили.

— Петька да Петька! — только и сказ у стариков, что про Петьку.

Да еще была у старика, кроме Петьки, другая еще забота: прослышал старик на свое горе, будто где-то у озера спрятан клад — золото. Головы решиться, а достать ему клад-золото!

Помалкивал старик о кладе, никому ни полслова, ни старухе, ни Петьке. И чуть выдастся случай, так тайком к

озеру и идет, и копает. И много годов ходил старик к озеру, копал, искал клад, но клад все не показывался.

Раз пошел старик копать, — местечко такое облюбовал верное и надежное, — копает себе да на руки поплевывает. И вдруг слышит голос:

— Что ты, старик, трудишься и стараешься понапрасну! клад будет твой, дай мне только голову.

Выронил старик заступ, почесал в голове: не знай радоваться, не знай пугаться.

«Какую голову? Чью голову?»

Пошел старик домой, все думает. Кроме старухи да внучонка, нет у него никого. Уж не свою же отдать голову? Думал, думал старик и решил: отдаст он Петькину голову. Сколько ведь годов трудился он на старости лет, и вот показался клад. И стоит ли ему из-за какой-то головы добро упускать? А сколько, поди, скрыто там всякого золота, и все это золото его! Конечно, отдаст он Петькину голову.

«Петька — несмышлёный мальчонка, дитё, прямо на небеса угодит!»

Пришел старик домой, говорит старухе:

— Испеки мне, старуха, рыбничек, я с Петькой пойду завтра на озеро рыбу удить.

Наутро испекла старуха рыбник, забрал старик пирог, снасти, удочки и отправился с Петькой к озеру, к тому самому месту, где клад был скрыт.

Идут они к озеру, — старик позади, Петька впереди. Быстрый мальчонка: то с птичками по-птичьему примется разговаривать, то на куньи лапочки станет и не угнаться кунице самой! Ну, такой быстрый, как искрина.

И жалко старику внучонка, да и клад-то надо достать.

Пришли они к озеру, вздумалось старику закусить. Сели на камушек, разломил старик рыбник, дал кусок внучонку, и принялись за еду. В рыбнике рыбки были все мелкие, ну Петька так с косточками и уписывает, а старик отвертывает головы и кидает их в сторону.

«Экая дура старуха, — думает старик, — сослепу мелкоту какую наклала, весь рыбничек испортила! Подзакушу да и покончу с мальчонкой».

И вдруг слышит знакомый голос:

— Довольно мне, старик, твоих голов, бери клад и иди домой!

Косточкой чуть не подавился, так обрадовался старик, да скорее копать. А из земли на том самом месте уж во какой котелище торчит, а в котле полно золота. Забрал старик золото да к старухе домой.

Вот они какие, головы рыбовы!

1911 г.

ОСЛИНЫЕ УШИ

Был у одного царя слуга. Силой звали слугу. И служил Сила царю верою и правдой. Мастер на все руки, горазд городить небылицы, умел Сила держать язык за зубами, — ловкий. А за то и царь любил Силу, всюду таскал с собою и награждал всякий день золотыми медалями.

Случилось однажды, стал царь поутру квасом себе волосы примачивать, провел рукою по волосам — хвать, а уши-то ослиные.

Сейчас к зеркалу: так и есть, они самые, ослиные.

Вот грех: за одну ночь такие выросли, ослиные!

И наказывает царь слуге строго:

— Не говори ты никому, не выноси в люди.

А Сила уж такой — могила; Сила отцу родному ни полслова.

Запрятал царь уши под корону и стал себе царствовать, как ни в чем не бывало.

Хорошо. Терпел Сила, терпел, никому не заикнется, а уж страсть хочется: и во сне-то они одни только и снятся и средь бела дня мерещатся эти самые уши.

И стало Силе больше невмочь, выскочил он из дворца да прямо на улицу к дороге, где гуляют. Возле дороги разгреб землю, припал к земле.

— Есть, — говорит, — у царя ослиные уши, выросли, а никто не знает.

Сказал да бегом назад. И так легко и так ему весело, словно камень свалился с плеч.

Царь слугой не нахвалится: уж такого ни за какие деньги не купишь — Сила слуга верный.

И по-прежнему всюду царь таскал Силу с собою и награждал всякий день золотыми медалями.

Хорошо. А на том самом месте, где Сила с землей разговаривал, выросло из ямки деревцо — береза. Ну, и поехал однажды царь со слугою прогуляться. Едут они по дороге, а эта береза царю-то и кланяется.

— Есть, — говорит, — у царя ослиные уши!

Царь в тупик.

— Поставь, — говорит слуге, — коня у березы! — а сам тихонько спрашивает: — что березка-то кланяется?

Тут Сила видит, дело плохо, да царю в ноги.

— Терпел, я терпел, да не вытерпел, землю разгреб и шепнул, что у царя ослиные уши. А вот выросла березка и объясняется.

— Ну, — говорит царь, — уж если мать-земля не могла выдержать, то где же крещеному! Что в лоб, то по лбу.

1909 г.

МЫШОНОК

Жил-был старик со старухой и такие богомольные, что не только ни одной службы не пропустят, а другой раз и нет ничего, а пойдут, хоть так потолкаться около церкви. И все старика и старуху почитали и всякому в пример их ставили.

Вышли они раз от обедни — дело было в престольный праздник — и идут себе домой к пирогу поспеть: старуха-то, старикова жена, такие пироги пекла, — оближешься. Глядят, а какой-то старичок ходит, крещеных на обед зовет.

— Вот их зовут, а нас нет, — говорит старику старуха, — коли бы нас позвали, мы бы посмотрели, какие кушанья.

А тот старичок подходит к ним и их тоже зовет. Они и пошли. Приходят к старичку, а за столом полно, некуда сесть.

Хозяин говорит:

— Что, старички, видно, после пообедаете вы, не взыщите!

Ну, что поделаешь: подождать придется, некуда сесть.

Наелись гости, поблагодарили и ушли. Тут хозяин посадил старика и старуху, а сам приносит миску, поставил миску на стол, приподнял крышку и опять закрыл, — они-то не видели, что́ он положил, а я вот скажу: мышонка, — и вышел.

А старуха говорит старику:

— Дай-ка посмотрим, уж верно очень вкусное.

— Давай, старуха!

Да как приподняли крышку: посмотреть, страсть хочется, что́ там в миске, а оно оттуда что-то — птичка али что́ — вылетело, более там и нет ничего.

Вернулся хозяин. Вышли из-за стола старик и старуха, благодарят, что накормил обедом, да по домам.

А там и свое пропало: старухин пирог давно сгорел в печке!

Старик на старуху, старуха на старика, один на другого: языком закусивши не больно сытно. Экий мышонок!

1909 г.

ЛЕВ-ЗВЕРЬ

Ехал богатырь по чистому полю, конь у него и издох. И пошел богатырь пешком на своих на двоих. Видит богатырь, на дороге дерутся Змея и Лев-зверь, разбродили землю и ни который побить не может.

— Эй, богатырь, — кричит Змея, — пособи мне Льва-зверя победить!

—Эй, богатырь, — ревет Лев-зверь, — пособи мне Змею победить!

Подумал, подумал богатырь и решил заступиться за Льва-зверя. «Змея змеей и будет, нечего от нее ждать мне!»

И пособил богатырь Льву-зверю.

Бросил Лев-зверь Змею на землю, разорвал ее надвое. Убили Змею.

Лев-зверь спрашивает богатыря:

— Чтó тебе, богатырь, за услугу хочется?

— У меня коня нет, — говорит богатырь, — а пешком я на своих на двоих не привык ходить, подвези меня до города.

— Садись да, знай, держись крепче, — согласился Лев-зверь.

Сел богатырь на Льва-зверя, и побежал Лев-зверь по чистому полю, по темному лесу, — где высоки горы, где глубоки ручьи, — все через катит.

Выбежал Лев-зверь на зеленые луга и у заставы стал.

— Никому не сказывай, что на Льве-звере ехал, — говорит Лев-зверь, — не то съем. Я сам — царь! На себе возить мне людей невозможно. Я тогда и царем не буду.

И пошел Лев-зверь в чистое поле, а богатырь в город.

Пришел богатырь к товарищам, а те над ним смеются, что пешком ходит.

Богатырь отпираться:

— Конь, — говорит, — издох.

А потом как выпил, да стал пьян-весел, и рассказал, как было: как он на самом Льве-звере приехал.

Посидел богатырь с товарищами и пошел себе коня искать.

И только это вышел он за город, а Лев-зверь тут-как-тут: бежит Лев-зверь к богатырю, пасть открыта, зубы оскалил.

— Зачем ты, — говорит, — похвастал, что на мне ехал? Говорил я тебе, ты не послушал, — съем!

— Извини, — говорит богатырь, — я тобою не хвастал.

— Как так не хвастал! Да ты же говорил, что на Льве-звере ехал.

— Нет, Лев-зверь, говорил, да не я, хмель говорил.

— Какой хмель?

— А вот попробуй, так и сам увидишь.

Лев-зверь согласился.

Выкатил богатырь вина три бочки сороковых.

Лев-зверь бочку выпил, другую выпил, а из третьей только попробовал, и стал пьян: уж бегал, бегал, упал и заснул.

А богатырь, пока Лев-зверь спал, вкопал в землю столб да туда на самую вышку и поднял Льва-зверя.

Проснулся Лев-зверь, очухался, — диву дается: и как это его угораздило на такую высоту подняться, а главное дело — спуститься не может.

— Вишь ты, хмель-то куда тебя занес! — говорит богатырь, — что́, узнал теперь, каков этот хмель?

— Узнал, узнал, — сдается на все Лев-зверь, — только спусти, пожалуйста, а то чего доброго еще сорвусь да и неловко: народу сколько!

Снял богатырь Льва-зверя, и побежал Лев-зверь в чистое поле: будет хмель помнить, — срам-то какой!

1909 г.

ГОРЕ ЗЛОСЧАСТНОЕ

1

Жили два брата, один бедный брат, другой богатый. Бедного звали Иваном, богатого — Степаном.

У богатого Степана родился сын. Позвал Степан на крестины знакомых, приятелей, да и бедного брата не забыл, позвал и Ивана.

Справили честь-честью крестины, напились, наелись гости, пьяны все, веселы, все довольны.

Напился и брат Иван; идет Иван домой пьяный от Степана, пьяный, затянул бедняк песню. Поет песню, знать ничего не хочет, не желает, и вдруг слышит, ровно ему подпевает кто тоненько, да так, тоненьким голоском, да и жалобно так, что дитё.

Оборвал Иван песню, стал, прислушался.

Да нет, ничего не слышит, нет никого, — или и тот замолчал?

— Кто там? — окликнул бедняк.

— Я.

— Кто «я»?

— Нужда твоя, горе, — горе злосчастное.

Затаращился Иван, хвать — стоит... старушонка стоит,

крохотная, от земли не видать, сморщенная, ой, серая, в лохмотьях, рваная, да плаксивая, жалость берет.

— Ну, чего? — посмотрел Иван, посмотрел, — чего тебе зря топтаться, садись ко мне в карман, домой унесу.

Закивала старушонка, заморгала, ощерилась, — обрадовалась! — да в карман Ивану скок и вскочила, да на самое дно.

Тут Иван захватил рукой карман, перевязал покрепче...

— Не выскочит! — и пошел и пошел, песню запел.

Поет песню Иван — пьяным-пьяно-пьян, и она в кармане его там, старушонка тощая, нужда его, горе его, горе злосчастное — и тепло же ей, и покойно ей — в кармане его там подпевает ему тоненько, да так, тоненьким голоском, жалобно так, что дитё.

Еле-еле дотащился до дому Иван, развезло, разморило его, и прямо завалился спать, захрапел и забыл все, все таковское, горе свое злосчастное, нужду.

А она сидит у него, — она ничего не забыла, она никогда ничего не забудет, — согрелась в теплушке, старушонка дырявая, согрелась, морщинки расправляет, щерится: погулять ей завтра, попотешиться, развеселит она товарища пьянчужку-пьяницу, беднягу своего злосчастного.

— Миленький! Миленький мой, ау! — щерится, лебезит паскудная.

Очухался наутро Иван, поднялся, да как вспомнит про вчерашнюю находку свою, что в кармане сидит за узлом, и скорее на выдумки: как бы так изловчиться, от товарища от таковского навсегда избавиться.

Думал себе, думал Иван и надумался.

Достал бедняк дерева, взялся делать гробик.

— Что это ты делаешь? — увидала, спрашивает жена.

— Молчи, нужду поймал, злосчастье наше, а схороним нужду, заживем хорошо.

И сделал Иван гробик, выстлал гробик соломой, развязал карман, запустил тихонько руку, поймал старушонку, поймал да в гробик ее на сено.

— Ничего, бабушка, ничего, тут поспокойнее будет... — да хлоп крышку, прижал кулаком.

А жена уж и гвоздики держит.

И забили вместе гробик — горе, злосчастье свое, нужду: ей теперь совсем покойно, и! — никто тебя в гробу не тронет.

Завязал Иван в платок гробик, подхватил под мышку и на кладбище, там вырыл могилку у дядиной могилы, опустил гробик, закопал могилу и домой налегке.

«Баба с воза, кобыле легче! Довольно, помыкался, будет уж, много я обид стерпел, ну, вот и избыл нужду, теперь повалит мне счастье!» — идет Иван с кладбища, свистит, сам с собой разговаривает и легко ему, способно идти — нет горя злосчастного, нет нужды, в могиле старая, не выскочит, не пристанет старушонка плаксивая, — глядь, а на дороге что-то поблескивает.

Нагнулся Иван, — а на земле золотой, сто рублей — золотой.

Вот оно где счастье!

Поднял Иван золотой и прямым путем на ярмарку, купил себе корову, купил коня и уж с коровой и конем в дом — к жене с гостинцами.

И зажил Иван хорошо — копейка к копейке идет. Стал Иван деньгу наживать. И сделался скоро богатым, богатей своего брата богатого Степана.

2

Слышит богатый брат Степан, что перемена в делах у брата, и позавидовал Степан Ивану.

Пришел Степан в гости к брату, говорит Ивану:

— Давно ли ты, Иван, жил бедно? Объясни мне, сделай милость, отчего все так вышло, ты лучше меня зажил?

А Иван — теперь ему легко без нужды, осматриваться-то нечего, ему и невдомёк совсем, что на мыслях у брата, да все начистоту брату и выложил о старушонке, о бывшем горе своем злосчастном, о нужде, которую заколотил в гроб накрепко.

— У могилы дядиной на кладбище могилу выкопал, похоронил старушонку, не вылезет! — весело, беззаботно говорил Иван Степану.

Слушал Степан счастливого брата, ничего не сказал и пошел, не домой пошел, а на кладбище, к могиле дядиной. И там, на кладбище, откопал гробик старухин, крышку открыл, выпустил старуху.

— Поди, — говорит, — бабушка, на старое место к брату Ивану.

А она, ой, исхудала как, еще жальче стала, чернее еще, все-то волосы повылезли — один голый толкачик торчит, вся одежда сотлела...

— Не пойду я к Ивану, — пищит старушонка, ежится, — еще сшутит шутку Иван, шалый! В гробу-то лежать не сладко: не повернись, не подожмись, отлежала всю спину, руки-ноги омлели. Ты, Степан, ты добрый, ты меня ископал на волю, пойду-ка я к тебе, Иваныч! — да на плечи к Степану как вскочит.

Степан заступ наземь, бежать, бежит с кладбища, а она на плечах у него, старушонка лысая пищит ему в уши:

— Ты добрый, Иваныч, кормилец, освободил ты меня из ямы, вывел на волю, на свет Божий, уж отдышусь у тебя, поправлюсь и заживем, эх, Иваныч, дружно, милый, Степан Иваныч, миленький, миленький мой, ау!

Без ума вломился Степан к себе в избу, трясет головой. А старушонка скок с плеч да на печку, с печки за печку, в тараканью норку забилась, сидит — у! проклятая! — дышит.

— Я тут, — пищит старушонка, — здравствуй, Иваныч!

Степан туда-сюда, а нет ее нигде, нет старушонки, не видит. Рассказал жене, вместе искать принялись, шарили, шарили и так и с огнем, а нет нигде старушонки.

Да, нет, конечно, нет старушонки.

Затушили огонь и спокойно легли спать.

А в ночь сгорел дом, и много денег пропало, едва сами выскочили, едва вынесли сына.

Вот она где беда!

Кое-как в уцелевшем амбаре примостился Степан с женою.

«Ну, — думает, — теперь довольно, будет сыта, проклятая, эх, горе мое!»

А она и в амбаре, ей у Степана вольготно, куда хочет идет: все выест, все на дым пустит, сам откопал, сам на свой век несчастный.

Пал у Степана конь, пала корова. Дальше да больше, все в провод, все в провод. Собрал Степан последние, оставались еще кое-какие деньжонки, да на последние и купил коня. Без коня какое хозяйство, конь — первое дело. Купил Степан коня, а привел домой, кобыла оказалась.

Вот она где беда!

Заела Степана нужда, а с нуждой пошла незадача, вот куда зашла ему нужда!

«И зачем было выкапывать ее, старушонку, нужду прожорливую, позавидовал, на брата напустить хотел, позавидовал, и чтó взял?»

Вот она где беда!

3

Приходит к Степану брат Иван.

— Что это, брат Степан, что так бедно у тебя?

— Да что, брат, беда: беда за бедой.

Пожалел Иван брата, потужил с братом.

Пришло время домой уходить, стал прощаться Иван, а Степан ему в ноги.

— Прости, — говорит, — меня грешного, выкопал я твою старушонку-нужду, хотел на тебя напустить, а она ко мне пришла, позавидовал я!

— Так вот отчего ты беден так!

— Забралась она в дом, и везде прошла — и к скоту и в деньги, что поделаешь, прости меня, Иван!

Вынул Иван полный кошель, высыпал на стол все до копейки и говорит:

— Деньги мои, а кошель твой будет, и хоть пустой, да не с нуждой.

А она услышала, старушонка-то, горе, горе злосчастное, нужда, да как выскочит из щелки да бух в кошель.

— Я и здесь есть! — пищит, — я и здесь есть!

Тут Иван взял да концы у кошеля и задернул.

— Ты и тут есть, ну, так и сиди! — завязал концы крепко, привязал к кошелю камень, да с Богом на речку.

Притащили братья кошель к речке, там пустили его на воду, и пошел кошель ко дну, потопили нужду старушонку.

И зажили оба богато.

1912 г.

ГЛУ́МЫ

СКОМОРОХ

Царствовал царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти. Охотник был царь сказок послушать. И дал царь по царству указ, чтобы сказку сказали, которой никто не слыхивал:

«За то, кто скажет, полцарства отдам и царевну!»

Полцарства и царевну! Да этакой сказки сказать никто не находится.

А был у царя ухаре́ц — большой скоморох, — плохи были дела, стали гнать скоморохов, — и сидел скоморох с голытьбой в кабаке. Сидел скоморох в кабаке, крест пропивал.

— Что ж, Лексей, — говорят скомороху, — или не хочешь на царской дочке жениться? — подымают на смех, гогочут.

Подзадорили скомороха царской наградой: была не была, хоть в шубе на рыбьем меху, да уж в пору ему царю сказку сказывать.

Приходит из кабака скоморох к царю во дворец, говорит царю:

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

Всполошились царские слуги, собрались все малюты скурлатые, вышла и царская дочь – Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он состроил себе дом, там голуби по кровле-

шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, — от ворот до ворот летом, долгим меженным днем, голубь не мог перелетывать!.. Слыхали ли этакую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Потупилась царевна Лисава прекрасная.

— Ну, так это не сказка, а присказка: сказка будет завтра, по вечеру, — встал скоморох и ушел.

День не видали скомороха на улице, не сидел скоморох в кабаке, вечером явился к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить, накормить, я вам буду сказки сказывать.

И опять собрались все скурлатые, вышла и царевна, Лисава прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

— А как был у меня батюшка — богатого живота человек. И он состроил себе дом, там голуби по крыше-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, —от ворот до ворот летом, долгим меженным днем, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был вырощен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой, в трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно и голоса не слышно!.. Слыхали вы этакую сказку?

— Нет, не слыхал, — сказал царь.

— Не слыхали! — гаркнули скурлатые.

Вспыхнула царевна Лисава прекрасная.

— Ну, и это не самая сказка, завтра будет настоящая! — шапку взял да и за дверь.

Видит царь, человек непутный, не полцарства жаль, жаль царевну Лисаву, и говорит своим слугам:

— Что мои, верные слуги, малюты, а скажем, что сказку слыхали, и подпишемте.

— Слыхали, подпишем! — зашипели скурлаты.

Тут царский писчик столбец настрочил, скрепил, и все подписались, что слыхана сказка, все ее слышали. Тем дело и кончилось.

С утра сидел скоморох в кабаке, пить не пил, пьян без вина.

— Что ж, Лексей, — подзадаривала голь, — полцарства и царскую дочь?

— Не допустят! — каркала кабацкая голь.

В третий раз третьим вечером приходит скоморох к царю.

— Ваше царское величество! Изволь меня напоить-накормить, я вам буду сказки сказывать.

А уж скурлаты на своих местах, задрали нос, брюхо выпятили: так и дадут они скомороху полцарства и царскую дочь, — хитер скоморох, скурлат вдвое хитрей. Вышла и царская дочь Лисава, царевна прекрасная.

Накормили скомороха, напоили, посадили на стул.

— Сказывай, слушаю, — сказал царь.

И стал скоморох сказки сказывать.

— А как был у меня батюшка – богатого живота человек. И он состроил себе дом, там голуби по кровле-шелому ходили, с неба звезды клевали. У дома был двор, — от ворот до ворот летом, долгим меженным днем, голубь не мог перелетывать. И на этом дворе был выpощен бык: на одном рогу сидел пастух, на другом — другой, в трубы трубят и в роги играют, а друг другу лица не видно и голоса не слышно. И была еще на дворе кобылица: по трои жеребят в сутки носила, все третьяков-трехгодовалых. И жил он в ту пору весьма богато. И ты, наш великий царь, занял у него сорок тысяч денег. Слыхали ли этакую сказку?

— Слыхал, — сказал царь.

— Слыхали! — гаркнули скурлатые.

— Слыхали? – сказал скоморох, — а, ведь, царь до сих пор денег мне не отдает!

И видит царь, дело нехорошее: либо полцарства и царевну давай, либо сорок тысяч денег выкладывай. И велит скурлатам денег сундук притащить.

Притащили скурлаты сундук.

— Нá, бери, — сказал царь, — твое золото.

Поклонился скоморох царю, поклонился царевне, поклонился народу.

— Не надо мне золота, не надо и царства, дарю без отдарка! — и пошел в кабак с песнями.

А царевна Лисава прекрасная стоит бела, что березка бела.

Потихоньку, скоморохи, играйте.
Потихоньку, веселые, играйте,
У меня головушка болит,
У меня сердце щемит!

Вот и сказка вся.

1912 г.

ПЕС-БОГАТЫРЬ

Был один охотник — лесной человек.

Шайками на охоту не любил ходить охотник — был у него верный пес, непростое ружье. Благословил его ружьем лесник-колдун, как помирать пришел час старику, а пса разжился у знакомого от злой сучки. И не мало забот ему было со псом: год растил щенка в погребе, караул держал — пронюхали звери, что будет пес-богатырь, и сколько подкапывались зубом к погребу, утащить хотели пёсика, зверь это все понимает! — уберег от зверей, и вышел пес ему верный, а злой — в мать. Верный пес, непростое ружье — куда хочешь, и ночью надежно.

Случилось охотнику под Егорьев день заночевать в лесу. Под Егорьев день жутко в лесу! Расклал он огонек, давай на огне сало печь, и слышит, голос в лесу — так пастух днем скотину пасет, кнутом хлопает, кнутом кто-то хлопает, инда по лесу отголосок идет. Прислушался — кому б это быть? — а уж треск пошел и близко, все ближе к огню.

И стали один за другим выходить к огню волки — подойдет волк и ляжет к огню. Так и идут, и идут гужом, как скот дружный, с полдесятины кругом огня место заняли — все волки. А за серыми пошли белые — начальство волчиное. И с белыми на белом коне сам Егорий.

— Добрый ночлег тебе, охотник! — сказал Егорий.

Догадался охотник, верно, сам Егорий на белом коне

среди белых волков, по его повелению и волки пришли, поклонился охотник Егорию.

— Вот вы, Храбрый Егорий, сказали: добрый ночлег мне, — а думаю так, ненаровчатый этот попал мне ночлег, с роду мне случая не было такого — по такому табуну волков видеть.

— А не нужно было под Егорья ночевать на охоте! Мне завтра праздник! — глядит Егорий строго.

Ну, охотник и замолчал, сам понимает, не нужно было ему в лес ходить на охоту под такой праздник, против ничего не скажешь: провинился.

А пес охотников, Знайко, бурчит и бурчит.

— Да что твоему псу нету покоя, бурчит и бурчит? — строго глядит Егорий.

—Какой тут покой, ведь это все песьи губители, вот он и сердится! — потрепал охотник своего верного пса.

— А были когда случаи, чтобы пес твой с волками боролся? — строго глядит Егорий.

— Как не бывать, случалось, штуки три и четыре нападали на пса, да он им не поддавался, Знайко-то! — и стало не по себе охотнику, чует, — лесной человек! — будет беда!

— А ну-ка, вели ему с двумя моими волками побороться! — сказал Егорий.

И жалко охотнику пса и ничего не поделаешь, согласился, — перечить нельзя, — согласишься!

— Что ж, — говорит, — пускай поборются.

Ну, Знайко долго с волками не ворызгался, — у Знайки клыки вершка по три торчали, кроянул пес клыками одного волка и другого. Чуть живые побежали волки прочь от стану.

— Ишь, какой злой, знать, и пятерым не поддастся! — и повелел Егорий пяти волкам со псом драться.

Пять волков напустились на Знайку, а Знайко еще ярей стал и сердитей, трех так и кончил, а двух перервал.

Семь уж зверей перерезано, семь волков, а псу ничего — ничего не вредилось.

— Десять волков напущу!

И по слову Егория кинулись волки на Знайку, десять волков.

Да не тут-то, как пятерых, так и этих, кончил пес, а сам невредимым остался.

— Нет, охотник, — сказал Егорий, — уж теперь и мне своих зверей жалко, а свяжи-ка ты пса!

И связал охотник Знайку, ослушаться не посмел, связал охотник своего верного пса: передние ноги и задние.

И тогда бросились волки на Знайку, стали грызть связанного пса и загрызли пса до смерти.

А сколько порезал пес, сколько ранил волков, и вот покончили пса!

Загоревал охотник.

— Вы, — говорит, — святой угодник, а поступили беззаконно, зачем приказали мне связать моего пса!

— Правда, незаконно я поступил, — ответил Егорий, — я за то тебя наказываю, что не должен ты был под мой праздник ночевать на охоте. Я над зверями пастырь — по моему повеленью режут звери скотину. И вот я со своим стадом и настиг тебя наказать.

Поднялись волки и пошли от огонька, один за другим, пошли волки гужом, как скот дружный, а за серыми белые — начальство волчиное, и среди белых на белом коне отъехал Егорий.

Остался в лесу охотник. И прошла ночь, погас огонек, светать стало. И пошел охотник домой, один, без своего верного пса.

Тоскливо было ему без своего верного пса.

И приснился охотнику ночью его Знайко, будто говорит ему Знайко:

— Эх, хозяин, Михайло Михайлыч, было б тебе не вязать мне всех ног, не поддались бы мы и всему стаду Егорьеву, мы прошли бы леса все, все пущи, никаких зверей не боялись. Эх, хозяин!

Проснулся охотник, еще тоскливее стало: было б ему не вязать всех ног Знайке!

— Эх, пес мой верный!

Да так затосковал, так затосковал охотник, что от тоски и помер.

1912 г.

ЛЕТЧИК

Был один охотник Архип. Сам сивый, лоб бараний, усы котовы, а глаз круглый-птичий. На зверя и птицу слово знал.

И как выйдет, бывало, Архип с ружьем в поле либо в лес, — помолится, поклонится, покурлычит, а их уж видимо-невидимо зверей всяких и текут и брызжут и мечутся и скачут с отцами, матерями, со всем родом-племенем, со всем заячьим причетом безоглядно, безразлучно, безотменно, бесповоротно, шибко и прытко белые, красные, черные, бурнастые, разношерстные, разнокопытные, рыси, росомахи, — весь подубравный зверь.

Глядь, ловушки и ставушки, тенёта и опутины верх полны: там который прилепился головкою, там задел ножками либо хвостиком, а там всем крылом влез.

Ельник, речка, водотопина были Архипу в честь и радость, и помогали ему, как свой брат, подземные жилы, тайные ключи, поточины.

Вот и стал раздумывать Архип, как бы ему на небо попасть, поглазеть на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелки часты звезды и на планеты.

Поднялся Архип со светом, помолился на восход красна солнца, на закат светла месяца, на тихую зарю утреннюю и вечернюю и пошел в лес. Вырубил он лесину, стал строгать стружки. Строгал, строгал, настрогал большой костер, закрыл его мокрою рогожею, зажег стружки. Загорелись стружки, Архип на рогожу стал: жаром его вверх подымать будет, он и полетит, — так держал в уме Архип.

Его и стало подымать вверх на воздух, на вышние небеса дальше и дальше. И летит уж он без шапки об одном сапоге — перетерял дорогою, летит он, как стрела из тугого лука, как молния из облачной гряды.

Летел, летел Архип, а как остановился да осмотрелся: земля-то вроде Божьей коровки — такая она маленькая, не видать земли, вот на какую угодил Архип высоту!

Ну и ходит Архип по небесам. Туда ткнется, сюда сунется, народу никакого нет, и одни-то звезды над тихой водой, тихо чистые теплются, поют божественное.

Прожил неделю Архип, скучно стало — земли не видать: без земли-то человеку скучно!

И ходил он, ходил по небесам, нашел веревку и видит: много накладено ее на облаках и без всякого присмотру.

Думает себе:

«Свяжу веревку, спускать буду, до земли хватит!»

Спустил он всю веревку, привязал за дерево — большое стояло, без корня, без листьев, а дерево — и стал спускаться.

Спускался он, спускался, и такой вышел грех: кончилась веревка, — на полверсты не хватает, не больше.

А ветер свистит, качает, носит его над долиною, носит его над горами. Понесет над долиною, — все города, все деревни видны. И кричит Архип, да кому услышать, а и услышат, чай, за ворону примут!

Вот несет его ветер над гладким местом.

«Развяжу-ка я узел! — думает Архип: летавши-то измызгаешься, и не такое в голову полезет.

И развязал: только уши запели.

И угодил Архип прямо в дряп по грудь и с руками, — вылезть не может.

Прокатилось время весеннее, налетели разные птицы, прилетел и лебедь. Видит лебедь на болоте сено, а у лебедя известно: где бы ни нашел он кусочек, тут и гнездо делать. Принес лебедь с берега землицы, огладил лапками кочку — Архиповы-то волосья лебедь за кочку принял! — яйцо положил, другое, третье и начал пáрить.

А волк-волчище уж чует лебяжье гнездо, только попасть не может. Подкараулил волк, когда лебедя не было, яйца лебяжьи съел, гнездо разворотил и расселся отдохнуть, серый.

Архип как зубом цап его за хвост, а волк как прыгнет, — из дряпа Архипа и выдернул.

Так Архип и вышел.

— Нет, ребята, — сказывает, — не нужно на небо летать!

И с тех пор, словно на смех, как прикатится весеннее время, глядь, а уж который-нибудь охотник рубит лесину, строгает стружки, раздувает костер, тяп-да-ляп — полетел!

Конечно, без земли человеку скучно, да охота пуще неволи: хочется поглазеть человеку на Божью небесную тварь — на солнце, луну, на мелки часты звезды и на планеты.

1910 г.

МУЖИК-МЕДВЕДЬ

Жил в лесу лесник, стояла у лесника в лесу избушка. Днем лесник в лесу ходил, вечером на ночлег в избушке хоронился. Место было глухое: ни дороги, ни пути, да и не заходил никто в такие дебри и чащи. И вот однажды приходит к леснику медведь и прямо, не спросясь, идет за печку и там рассаживается, как свой.

Лесник не робкого десятка, а струхнул не на шутку: стрелять не смеет. А медведь все сидит, не уходит. Сготовил лесник ужин, есть захотелось. Поел сам, дал и медведю, накормил медведя. Легли спать. И спали ночь мирно.

Поутру собирается лесник в лес, а медведь из избушки на волю. И опять лесник сам заправился и медведя попотчевал. Вышел медведь из избушки, ничего не сказал, только поклонился леснику до земли низко. Один пошел в одну сторону, другой в другую.

В крещенскую ярмарку приехал лесник в город. И вот один богатый приказчик зазвал его в трактир с собою и ну угощать. И так его угощал, что лесник от удовольствия даже имя свое крещеное запамятовал.

И спрашивает лесника приказчик:

— Можешь ли ты знать, за что я тебя угощаю?

— Не могу знать, — отвечал лесник.

Приказчик ему и говорит:

— А помнишь, как я у тебя ночь ночевал?

— Когда ты ночевал?

— А был ты в своей избушке в лесу, и пришел к тебе медведь. Я самый и есть медведь.

— Как так медведь?

— Да так. Если б ты взялся тогда за ружье, я бы тебя

съел. Три года, три весны ходил я в шкуре медведем, люди испортили, обернули меня медведем.

Тут лесник чуть было ума не решился, а потом ничего — отошел.

Вернулся лесник в лес в свою лесную избушку и стал себе жить да поживать здорово, хорошо и уж никого не боялся: заяц ли усатый забежит в избушку, росомаха ли — все за гостей, все как свои, милости просим!

1909 г.

ЧУДЕСНЫЕ БАШМАЧКИ

Жил-был царь и царица, и была у них дочь царевна Курушка. Как-то стали у царевны в голове искать, вошку и нашли. Положили вошку на овцу, — сделалась она с овцу. С овцы положили на барана, — сделалась она с барана. Тут царь приказал убить ее и выделать шкуру. А из шкуры сшили Курушке башмачки.

И дал царь по всем государствам знать:

— Кто отгадает, из какой кожи башмачки у царевны, за того замуж отдам.

Поприезжали царевичи, королевичи. Кто скажет козловы, кто сафьянные, — никто не может отгадать.

Узнал колдун Мертвяк, пришел и объявил:

— У Курушки царевны башмачки вошиные!

Надо царю слово сдержать. Назначили свадьбу.

Горевал царь: страшен колдун Мертвяк, как сокрыть царю от колдуна любимую дочь?

И придумал царь: посадить царевну на козла, увезти ее прочь, будто с сеном козел.

Вот поставили столы, за стол посадили клюку, нарядили клюку царевной, ну, ровно царевна!

Вот едет на свадьбу колдун, а козленок навстречу.

— Козлик, козлик, дома ли Курушка царевна? — спрашивают поезжане.

— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.

И другая лошадь ехала — спрашивали, и третья, и сам Мертвяк спрашивал:

— Козлик, козлик, дома ли Курушка царевна?

— Дома, дома, вас, гостей, давно к себе ждет.

Так и проехали, а козлик с царевной дальше помчался.

Мертвяк приехал к царскому двору, выговаривает:

— Что же ты, Курушка, что же ты, царевна, не встречаешь меня, не кланяешься? — да в горницу.

А в горнице стоит за столом Курушка, не кланяется.

Ближе подошел Мертвяк, все ответа нет, да как бросится на нее — клюка и упала.

Обманут Мертвяк. Надули колдуна. Стал Мертвяк разыскивать царевну, весь дворец обошел, — нигде ее не может найти. Догадался колдун, поехал в погоню за козлом вслед.

Говорит царевна:

— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила г р е б е н ь.

— Стань лес непроходим, чтобы не было птице пролету, зверю проходу, Мертвяку проезду, впереди меня будь торна дорога широкая.

Мертвяк приехал — Мертвяку застава.

Скликнул Мертвяк мертвяцкую силу, навезли топоров, пил. Секли, рубили, просекали дорогу. Расчистили дорогу и опять Мертвяк погнался за Курушкой. Нагоняет царевну.

— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила к р е м е н ь.

— Стань гора непроходима до неба, чтобы не было птице пролету, зверю проходу, Мертвяку проезду.

Гора и стала.

Скликнул Мертвяк мертвяцкую силу, стали сечь да рубить, просекли дорогу, и снова погнался Мертвяк.

— Козлик, козлик, припади к матери-сырой земле, не едет ли Мертвяк за нами?

— Едет, едет, едет и близко есть.

Царевна бросила о г н и в о.

— Стань огненна река, чтобы не было Мертвяку проезду.

Приехал Мертвяк — нет проезду. Кричит Мертвяк царевне:

— Брось мне, царевна, твои башмачки, я — Мертвяк, я не возьму тебя замуж.

Царевна бросила башмачки. Сел Мертвяк и поплыл, и доплыл до середины реки и утонул.

А Курушка царевна поехала в другое царство и там вышла замуж за морского разбойника.

1908 г.

ЖАДЕНЬ-ПАЛЬЦЫ

Были три сына. Жили они с матерью со старухой. Жили они хорошо, и добра у них было много. Старуха-мать души не чаяла в детях. Только и думы у старой, что о детях, чтобы было им жить поспокойнее, побогаче, повеселее. И задумала старуха, — помирать ведь скоро! — захотелось матери еще при жизни благословить добром сыновей, добро разделить — каждому дать его часть.

И разделила мать добро свое поровну всем, все сыновьям отдала, а себе ничего не оставила. Что ей добро, богатство, зачем оно ей на старости лет, — помирать ведь скоро! — как-нибудь век доживет, не оставят, небось, любимые детки, дадут ей угол дожить свой век.

Сыновья получили добро, не разошлись, все вместе дружно остались жить, как наперед вместе жили. Только матери-старухи уж никому теперь не надо. Гнать ее не гонят, да лучше бы выгнали: трудно, когда ты не нужен!

Сели сыновья обедать, а никто за стол не посадит матери.

Лежит мать на печке голодная.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал!

А проходил о ту пору по селу старичок-странник, зашел старичок в избу к братьям хлебушка попросить.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.

Старичок и спрашивает:

— Что же это так, сами кушаете, а матери не даете?

— А нам ее никому не надо! — отвечают сыновья, знай себе ложкой постукивают.

— А продайте, — говорит старичок, — коли не надобна.

Сыновья к страннику, живо все из-за стола выскочили.

— Купи ее, дедушка, купи, сделай милость! Лишняя она, обуза нам с ней.

— Господи, хоть бы Ты мне смерть послал! — молится мать.

— А выведите ее, ребятки, за забор, там и денежки получите! — сказал странник, пошел из избы, вон из избы пошел.

Дети к матери, стащили старуху с печки, поволокли: двое под руки, третий сзади. Вывели из избы старуху да к забору и уж там, за забором, хотели они от нее отступиться, а рук и не могут отдернуть…

Старуха приросла к ним.

А с тех пор и живут так, не могут освободиться: сами едят и мать кормят.

1912 г.

НЕБО ПАЛО

Ходила курица по двору, вязанка дров и просыпалась. Пошла курица к петуху:

— Небо пало, небо пало!

— А тебе кто сказал?

— Сама видела, сама слышала.

Испугался петух, и побежали они прочь со двора. Бежали, бежали, наткнулись на зайца.

— Заяц, ты, заяц, небо пало!

— Тебе кто сказал?

— Сама видела, сама слышала.

Побежал и заяц. Попался им волк.

— Волк, ты, волк, небо пало!

— Тебе кто сказал?

— Сама видела, сама слышала.

Побежали с волком. Встретилась им лиса.

— Лиса, ты, лиса, небо пало!

— Тебе кто сказал?

— Сама видела, сама слышала.

Побежала и лиса. Бежали они, бежали, — чем прытче бегут, тем страху больше, да в репную яму и пали. Лежат в яме, стерпелись, есть охота.

Волк и говорит:

— Лиса, лиса! прочитай-ка имена, чье имя похуже, того мы и съедим.

— Лисицино имя хорошо, — говорит лиса, — волково имя хорошо, зайцево хорошо и петуховое хорошо, курицино имя худое.

Взяли курицу и съели.

А лиса хитра: не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк опять за свое:

— Лиса, лиса! прочитай-ка имена, чье имя похуже, того мы и съедим.

— Лисицино имя хорошо, — говорит лиса, — волково имя хорошо, зайцево хорошо, петуховое имя худое.

Взяли петуха и съели.

А лиса хитра: не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк прожорлив, ему, серому, все мало.

— Лиса, лиса! прочитай-ка имена, чье имя похуже, того мы и съедим.

— Лисицино имя хорошо, — говорит лиса,— волково хорошо, зайцево имя худое.

Взяли — съели и зайца.

Съели зайца, не лежится волку: давай ему еще чего полакомиться!

А лиса кишки лапкой из-под себя загребает и так их сладко уписывает, так бы с кишками и самоё ее съел.

— Что ты ешь, лисица? — не вытерпел волк.

— Кишки свои… зубом да зубом… кишки вкусные.

Волк смотрел, смотрел да как запустит зубы себе в брюхо, вырвал кишки да тут и околел.

— Что курица, что волк — с мозгами голова! — облизывалась лиса, подъела все кушанье, выбралась из ямы и побежала в лес, хитра хитрящая.

1909 г.

МЕДВЕДЧИК

1

Шел медведчик большой дорогой, вел медведей. С медведями ходить трудно — медведь так в лес и смотрит, тоже поваляться охота в теплой берлоге — берлога насладена медом! — вот и изволь на скрипке играть, отводи душу медвежью.

За Филиппов пост наголодался медведчик, нахолодался. Плохо нынче скомороху. И то сказать: без скомороха праздник не в праздник, а всяк норовит лягнуть тебя побольнее, либо напьются, нажрутся, и скомороха не надо.

Застигнул медведчика вечер: куда ему с медведями, такое позднее время! А стоял на дороге постоялый двор богатый. Просит медведчик у дворника пустить на ночлег. А дворник и слышать не хочет, отказывает.

Прошел слух, будто ездят по большим дорогам начальники, проверяют перед праздником чистоту у дворников. И была дворнику грамотка подброшена, что ночью нагрянет к нему начальник для проверки. Вот дворник, кто б ни попросился, всем и отказывал.

— Я не пускаю не то что тебя с твоими супостатами, я и извозчиков не пускаю, обещался нынешнее число сам губернатор у меня быть.

А работник дворников говорит дворнику:

— Хозяин, — говорит, — отведу я их в баню; в предмыльник поставить медведёв, а сами в бане упокоются.

Уперся дворник: и то и другое и неудобно, и что губернаторские кони услышат запах медвежий, на дворе будут пугаться.

Плохо дело. А уж ночь охватывает, ночь — звезды,

крепкий мороз. Просит медведчик, медведей ему жалко — как льдинки, звезды горят, крепкий мороз.

Ну, дворник и согласился.

— Отведи их в баню с медведями, — сказал дворник работнику, — да затвори покрепче, а ключи у себя держи, кто знает!

Отвел работник медведчика в баню, запер ворота и стал с хозяином звонка слушать, гостей поджидать.

2

Остался медведчик с медведями в бане. И тепло ему и медведям тепло, да все неспокойно что-то, сам не спит и медведи не спят: Миша лапу сосет, а медведица Кулина ноздрями посвистывает. Не мéртво, никак не уснуть, то Кулину погладит, то Мишу потреплет.

О чем медведица думала, невдомек медведчику, только что-то недоброе думала, губой пошлепывала, или чуяла недоброе, да сказать не могла? Миша тот свое думал: пройтись бы ему на пчельню пчелок поломать! — охотник был до меда медведь, лапу сосал.

Стал медведчик, потрогал лапы, потрогал уши медвежьи.

«Постой, — подумал, — прочитаю заговор, чтобы медведей ножи не брали, кто знает!»

— Мать, сыра земля! — поклонился медведчик Мише, поклонился Кулине, — мать, сыра земля, ты железу мать, а ты, железо, поди во свою матерь землю, а ты, древо, поди во свою матерь древо, а вы, перья, подите во свою матерь птицу, а ты, птица, полети в небо, а ты, клей, побеги в рыбу, а ты, рыба, поплыви в море, а медведю Мише, медведице Кулине было бы просторно по всей земле. Железо, уклад, сталь, медь на медведя Мишу, на медведицу Кулину не ходите, воротитесь ушьми и боками. Как метелица не может лететь прямо и приставать близко ко всякому древу, так бы всем вам не мочно ни прямо, ни тяжко падать на медведя Мишу, на медведицу Кулину и приставать к медведю Мише и к медведице Кулине. Как у мельницы жернова вертятся, так бы железо, уклад, сталь и медь вертелись бы круг медведя Миши и медведицы Кулины, а в них

не попадали. А тело бы медвежье было не окровавлено, душа не осквернена. А будет мой приговор крепок и долог.

И только что медведчик заговор кончил, слышит, колокольчик у ворот брякнул, да все резче и громче.

3

Слышит работник, звонят у ворот, поднялся, и хозяин поднялся, тоже услышал.

— Беги, — говорит, — скорей, отворяй!

Работник к воротам, отворил калитку посмотреть, а у ворот люди — не такие, он назад, калитку запер, да к хозяину. А уж разбойники давай сами бить и ломать, сорвали ворота, да в дом, и сейчас же — овса, сена коням, а себе вина и закуски.

Хозяин видит, дело-то плохо приходит, старается угодить гостям, и вина и хлеб-соли полон стол наставил. А им все мало, до денег добираются, вот куда метят!

— Довольно, — говорят, — тебе, хозяин, копить, уж накопил достаточно, — да за сундук дворников и взялись.

Тут хозяин улучил минуту, пока молодцы из сундуков выбирали, да и пришепни работнику, чтобы в баню сходил к медведчику, помощи попросить медведями.

Работник в баню к медведчику, рассказал медведчику, какая беда у хозяина. Мигнул медведчик Мише, мигнул Кулине, вывел медведей из бани к дому, приказал им службу.

Кулина сердитей и сильнее Миши, — велел ей медведчик в дом идти и управляться, насколько есть мочи, да чтобы маху не давала, а Мише приказал в сенях ждать.

— Случаем тронутся утекать молодцы, — сказал медведчик, — маклашку давать им немилосердную!

Поклонились медведи медведчику, рады, дескать, приказание исполнить, стал Миша в сенях, поднялась на задние лапы медведица и пошла в дом.

А разбойники деньги все обобрали, и опять стали гулять, уж в дорогу пили и закусывали, да как посмотрели на это чудовище — космато, велико, голова, что квашня, от страха так и ужаснулись.

Ну, Кулина не робкая, не заробела, давай их ломать во

все свои силы — кому руку прочь, кому ногу прочь, кому черепанку взлупила.

Разбойники за ножи, а нож не берет — погнулись в кольцо ножи, невредима медведица, видят, не сладить, и давай уходить, а Миша в дверях. И кто в сени выскочил, так тут и пал.

Так перебили медведи всех до единого, а было всех двенадцать молодцов, двенадцать разбойников.

— Собакам собачья честь! — сказал дворник, забрал себе двенадцать коней разбойничьих и до утра чистил и прибирал с работником дом и двор.

А медведчик, чуть свет, в путь пошел, повел медведей. До звезды ему надо добраться до города, пристать к колядовщикам.

Без скомороха, без медведчика и праздник не в праздник, и пир не в пир, коляда не настоящая.

1912 г.

Подари, государь, колядовщиков!
Наша коляда ни рубль, ни полтина,
А всего пол-алтына.

СКАЗ

Для пересказа народных сказок я пользовался записями, нигде не напечатанными, — запись московская, сольвычегодская и грязовецкая, и записями, напечатанными в Живой Старине, и записями из сборника Н. Е. Ончукова, Северные сказки, Записки Имп. Рус. Геогр. Общ. по отделу этнографии XXXIII. Спб. 1908 г. Привожу №№-а Ончуковского сборника и указания о других записях.

Стр. 185. — *Русские женщины.* — 1) 120, 2) 96 и 170, 3) 147, 4) 104, 5) 184, 6) 289, 7) 80, 8) 294, 9) 247 (ср. рассказ Сиди Нумана из «Тысячи одной ночи», — в изд. Т-ва И. Н. Кушнерева, М. 1890 г. т. III, стр. 170), 10) 95, 11) 71, 12) 288, 13) Запись сказки в Грязовецком уез. Вологодск. губ., 14) 285, 15) 191, 16) 286, 17) 94, 18) 205.

Стр. 233. — *Царь Соломон и царь Гороскат (Петр).* — 1) 46 (ср. «Повести о царе Соломоне». Летописи рус. литер. и древности, изд. Н. С. Тихонравовым. М. 1862 г. т. IV, стр. 112). 2) 49, (ср. «Повесть о муромском князе Петре и супруге его Февронии». Памятники старинной рус. литературы. Изд. гр. Гр. Кушелевым-Безбородко. Вып. 1. Спб. 1860 г., стр. 27).

Стр. 246. — *Воры.* — 1) Запись сказки Сольвычегодского уез. Вологодск. губ., 2) 45, 3) 168 и 169, 4) 14, 5) Запись сказки Московская, 6) 197.

Стр. 275. — *Хозяева.* — 1) 227, 2) 231, 3) 229, 4) 40, 5) 87, 6) «Живая Старина», вып. 1. 1911 г. ст. А. Васильева, стр. 117.

Стр. 289. — *Мирские притчи.* — 1) 194, 2) 192, 3) 292 и 293, 4) 195, 5) 188, 6) 189, 7) 115, 8) 113, 9) 72, 10) 185, 11) 190, 12) 161, 13) 249.

Стр. 314. — *Глу́мы.* — 1) «Живая Старина», вып. 1. 1897 г. Ст. С. В. Максимова, стр. 112, 2) «Живая Старина», вып. 1. 1911 г. ст. А. Васильева, стр. 117, 3) 199, 4) 174, 5) 56, 6) 280, 7) 216, 8) «Живая Старина», вып. 1. 1911 г. ст. А Васильева, стр. 117.

Записи сказок, которыми я пользовался, были сделаны в Архангельской, Олонецкой, Вологодской и Уфимской губ. и принадлежат Н. Е. Ончукову, академику А.А. Шахматову, учителю Д. Георгиевскому, писателю М. М. Пришвину, А. Васильеву, Д. Ив. Баласогло и учительнице В. А. Шалауровой. А записывали они сказки со слов сказочников и сказочниц: сказочники — Григорий Иванович Чупров, Иван Никитич Кисляков, Василий Дорофеевич Шишолов, Павел Григорьевич Марков, Алексей Иванович Дитяев, Мануйло Петров, Наум Михайлов, Василий с Белой Губы, Павел Михайлович Калинин, «Гриша Шалай» — Григорий Петрович Кашин, Марков Илья Николаевич, Степан Петрович Корельский, Яков Степанович Бородин и Филат Никанорович Календа-

рев; сказочницы – Анна Семеновна Никитина, Лукерья Филимоновна Маркова, жена Севастьяна, старуха Анна Ивановна, старуха Медведева, Михайловна, старуха Тараева, Прасковья Александровна, Марья Петровна, Ульяна Ивановна Базакова, Прасковья Степановна Воронихина и Марья Ивановна Баранова. А кто сказывал сказки этим сказочникам, про то ничего не известно, и только сказочник Илья Николаевич обмолвился, что свою сказку «слышал он от ненёкского мужика в кузнице».

Скажу и я про себя, откуда я слышал мою сказку московскую о Барме: это печник Глухой ее мне сказывал. Какой он был печник, я не знаю, я одно знаю, как, бывало, придет он к нам в дом, а приходил он к нам вечерами на Святках да на Масленице, и как, бывало, услышим от няньки, что Глухой пришел, и сейчас же все мы, дети, кубарем на кухню, а уж Глухой в кухне представляет. Печник глухой был, ничего не слышал, да еще и полунемой какой-то, и что́ говорил он, понять трудно было, одно — смешно очень, и только про Барму явственно он рассказывал, и представлял чудно́.

Помяну тут Глухого печника-сказочника, передавшего мне свою сказку, и поблагодарю его, помяну и других незнаемых сказочников, со слов которых сказки я сказываю, и поблагодарю их, помяну и тех, кто записал сказки — сохранил нам этот дар русского народа, и поблагодарю их, и поклонюсь всему русскому народу за его докуку умственную и балагурье веселое.

	Год написания.	Стр. книги.	№ Ончукова и друг. записи.	Год напечатания		№
Барма	1905	264	Москва.	1905	Наша Жизнь; прил . .	23
Берестяный клуб	1912	290	192	1912	Речь	268
Братнина	1911	214	71	1911	Запросы Жизни	11
Водяной	1912	276	231	1913	Рус. Молва	203
Ворожея	1910	224	191	1913	Север Записки . . .	2
Вор Мамыка . .	1911	267	197	1912	Альм. Шиповник . .	17
Воры	1908	246	Сольвычегодск.	1908	Речь	318
Горе злосчастное	1912	308	249	1912	Рус. Молва	17
Господен звон . .	1911	294	195	1912	Заветы	9
Догадливая . . .	1912	229	205	1912	Новая Жизнь	12
Жадень-пальцы .	1912	325	280	1912	Огонек	9

	Год написания	Стр книги.	№ Ончукова и др. записи	Год напечатания.	№
Жалостная	1909	192	104	1909 Новый день	1
Желанная	1909	187	96, 170	1909 Нов. журнал для всех .	14
Жулики	1909	251	168, 169	1910 Весь Мир	25
За овцу	1911	291	292, 293	1912 Заветы	9
Золотой кафтан .	1911	296	188	1911 Огонек	52
Красная сосенка	1910	220	Грязовец.	1910 Пасхальный альм. . . .	—
Кумушка	1911	222	285	1912 Заветы	9
Лев-зверь . . .	1909	306	161	1909 Копейка	20
Летчик	1910	320	199	1910 Альм. Огни	—
Лигостай страшный	1911	279	40	1911 Рус. Слово	297
Лихая	1909	211	95	1910 Нов. журнал для всех .	16
Леший	1912	275	227	1913 Рус. Молва	202
Медведчик	1912	328	Ж. С. 1911 г. №1.	1913 Рус. Молва	181
Мертвец	1912	286	—//—	1912 Запросы Жизни	51
Мужик-медведь .	1909	322	174	1909 Тропинка	7
Муты	1912	289	194	1912 Солнце России.	112–113
Мышонок	1909	305	190	1909 Сборник Италии . . .	—
Небо пало	1909	326	216	1909 Всемирн. панорама . .	5
Обреченная . . .	1912	189	147	1913 Огонек	13
Оклеветанная . .	1911	197	80	1912 Заветы	9
Ослиные уши . .	1909	304	185	1909 Нов. журнал для всех .	14
Отгадчица	1912	226	94	1913 Рус. Молва	123
Отчаянная	1912	205	294	1912 Новая Студия	1
Пасхальный огонь	1910	301	113	1910 Солнце России	25
Пес-богатырь . .	1912	317	Ж. С. 1911 г.№ 1.	1912 Север. Записки.	2
Подружки	1911	218	288	1912 Нов. Жизнь	12
Поперечная . . .	1912	207	247	1913 Рус. Молва	123
Потерянная . . .	1911	193	184	1912 Заветы	9
Разбойники . . .	1909	248	45	1909 Сатирикон	35
Робкая	1911	195	289	1913 Север. Записки	2
Рыбовы головы .	1911	302	72	1911 Запросы Жизни	11
Сердечная	1912	225	286	1913 Рус. Молва	123
Скоморох	1912	314	Ж. С. 1897 г.№ 1.	1912 Солнце России	151
Собачий хвост . .	1909	259	14	1909 Всемирн. панорама . .	2

	Год написания	Стр. книги	№ Ончукова и друг. записи.	Год напечатания.		№
Суженая	1910	185	120	1910	Скэтинг-ринг	2
Хлоптун	1911	283	87	1912	Нов. Жизнь	12
Царь Гороскат . .	1911	238	49	1912	Альм. Шиповник . . .	17
Царь Соломон . .	1911	233	46	1911	Рус. Слово	297
Чаемый гость . .	1910	299	115	1910	Скэтинг-ринг	1
Чужая вина . . .	1911	298	189	1912	Солнце России	2
Чудесные башмачки	1908	323	56	1909	Слово	751
Черт	1912	277	229	1913	Рус. Молва	210

Сказки, вошедшие в книгу Докука и балагурье (1905—1912 гг.), напечатаны были в газетах, в журналах и в сборниках.

I. Газеты: «Наша Жизнь» (приложения), Спб. «Новый День», Спб. «Русская Молва», Спб. «Русское Слово», М. «Речь», Спб. «Слово», Спб.

II. Журналы: «Весь Мир», Спб. «Всемирная панорама», Спб. «Заветы», Спб. «Запросы Жизни», Спб. «Копейка», Спб. «Новая Жизнь», Спб. «Нов. журн. для всех», Спб. «Новая Студия», Спб. «Огонек», Спб. «Сатирикон», Спб. «Скэтинг-ринг», Спб. «Солнце России», Спб. «Северные Записки», Спб. «Тропинка», Спб.

III. Сборники: «Италии», изд. Шиповник, Спб. «Огни», изд. Нов. журн. для всех, Спб. «Пасхальный альманах», изд. Новина, Спб. «Шиповник», изд. Шиповник, Спб.

Укрепа

СЛОВО
К РУССКОЙ ЗЕМЛЕ О ЗЕМЛЕ РОДНОЙ, ТАЙНОСТЯХ ЗЕМНЫХ И СУДЬБЕ

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

Камень не камень, твердынное, как камень, чистым серебром окладенное, лежало слово на русской земле.

Осенний ветер вызнабливал сердце, вьюжливой метелюжливой зимой зимскою сковывал мороз, заливал снежный на́слуд и шумно топило его половодьем.

А придет весна теплая, да долгая, отдохнут все поля и там, на реке Костроме, где в зеленых низовьях шелестят камыши и на мелком песку светятся гладкие голыши, греется оно, твердынное, под ясным солнцем — или и осеннему ветру не повыкрушить сердца! — слушает звон колокольный: над воскресным утром от далекого Озера Святого до Ипатия несется над Волгой звон благовестный.

То место свято — святая и крепкая Русь.

Во времена лихолетья гудел набат в слободах Костромы, собирал народ, подымался русский народ, и от роду родов не бывало, чтобы даром врага промеле́дили — Стань к стороне! — разбивался враг о твердыню.

То место свято — святая и крепкая Русь.

Шелестят камыши, лениво струится река — темные волны, волна за волной, в широкую Волгу, и по приволью большому зеленеют зеленые дали, — там когда-то стояли костры становища дикого каменного люда и гремели дикие песни.

Не дикие песни, шелестят камыши, слышат тепло — лето ведреное Бог посылает, и чудится в ночи, слышно ржа-

нье коней да глухой мечный звон, — это дружины русские вышли на защиту родной стороны под святой клич «За русскую землю!» и от реки, вырытой шведской рукой, вплоть до подземного под Костромою-рекой годуновского хода стала под стяг стародавняя православная Русь.

То место свято — святая и крепкая Русь.

Камень не камень, твердынное, как камень, чистым серебром окладенное, лежало слово на русской земле, крепло от века с крепкою Русью, стойкой, готовной верой и правдой до смерти постоять за родимую землю.

И безмолвное, через все испытания, пожар и напасти хранимое пречистым Покровом, в грозный час вот воспрянуло оно, стародавнее, поновить русскую землю, поднялось оно, крестное, во всей своей силе укрепить и утвердить — наполнить сердце духом единым и единою мыслью русской за Русь, за Россию родимую.

СТРАДНОЙ РОССИИ

СТРАДНОЙ РОССИИ

На страду вашу братскую — в поле бранное, в ту горькую пустыню, где пост велик и час скор, донесет ли мой голос в Христову ночь —

Христос Воскрес!

Как пустыня, други, печаль залегла по полям и в лесах на Руси. Темны ночи и долги часы: забудешь — вспомнишь, вспомнишь, не воротишь. И одни только думы...

Други, Христос Воскрес!

В полночь колокол ударит, загудёт — сердце родимое матери — земли родной загудёт. Вас, мои братья, верные трудники за русскую землю, вспомянет русский народ —

Христос Воскрес!

1915 г.

НИКОЛИН ЗАВЕТ

За Онегой — гремучим морем жил один богатый мужик сильный, да своих не трогал и от народа честь ему шла, Филиппом звали. Была у него семья большая — и все сыновья на войну пошли воевать, и остался он со старухой, да невестки с ними.

И случилось на Николу, лежит Филипп ночью, раздумывает — и праздник пришел, престол в их селе, а от сыновей ни слуху! — и стало ему смутно, не до сна, и жалко. И слышит среди ночи звон. Прислушался — или ветер? — нет, звонили в колокол. Встал Филипп и пошел из двора, разбудил стариков.

— Слышали, — говорит, — что?

— Да, — говорят, — в колокол ударили.

Пошли в церковь. А ночь была крепкая, да такая светлая — звезды, как птицы, плыли из конца в конец, белые над белой землей. Подошли к колокольне, смотрят — на колокольне нет никого, а звонит... раз пять ударило в колокол.

Вызвался Филипп, дай самому разведать. Поднялся на колокольню и видит — стоит под колоколом старик, так, нищий старик, ни руками, ни ногами не двигнет, а колокол звонит.

— Ты кто? — спрашивает нищий старик.

— Я Филипп с Николиной тропы, а ты кто?

А старик только смотрит, да добро так, милостиво:

«Филиппушко, мол, аль не признаешь?..»

У Филиппа дух захватило, сложил Филипп руки крестом.

— Прости, — говорит, — ты меня, Никола угодник Божий... и зачем ты звонишь ночью?

— А звоню я, — говорит угодник, да стал такой грозный, — я звоню потому, что крещеные грешат, часа не помнят, землю свою забывают. За землю всякому пострадать надо. А им бы только чаю, кофию попить. Ступай и скажи, пусть все знают, а не то я на них наказание пошлю.

— Не поверят, коли словами скажу, — сказал Филипп, он стоял перед угодником, руки крестом сложены.

— Поверят! — сказал угодник Божий и благословил милостивый Никола идти Филиппу к народу по земле родимой, — за землю всякому пострадать надо.

Филипп хотел протянуть руку, а рук не разжать.

Крестом сложены руки, так сошел с колокольни и рассказал, что видел и слышал и что с ним стало: крестом сложены руки.

А наутро по обедне Филипп простился с домом, со старухой. Всем миром проводили Филиппа. И пошел он из родного погоста мимо изб осиротелых по дальним широким страдным дорогам, укрепляя народную думу, силу и веру — пострадать за родимую землю.

1914 г.

ЗА РОДИНУ

— В три стороны тебе воля, — иди, куда хочешь, гуляй вовсю, а в четвертую — родную сторону ни пó-ногу, своих не трожь, за родину проклянет народ.

Гулял Степан, разбойничал — вострая сабля в руках, за плечами ружье, охотничал разбойничек: дикая птица, двуногая, с руками, с буйной головой добычей была. Ухачи, воры — товарищи. Где что попадалось, все тащил, зря не бросал и не проглядывал, что висло висело. И был у него большой дом — табор разбойный, и хлеба, и одежды, и казны вдоволь, полны мешки серебра. Смолоду было — лизнул он камень завечный и все узнал, что на свете есть. И не знал уж страха, и не было на свете того, кто бы погубить его мог. И Саропский лес приклонился перед ним к земле.

Гулял Степан, разбойничал, Турецкое царство разбил; Азовское море и море Каспийское в грозе держал. И полюбил народ Разина за гульбу и вольность его: отместит разбойничек обиду народную!

Ночь ли темная, или напрасная кровь замутили вольную разбойную душу, нарушил Степан завет родителев, пошел на своих, своих стал обижать — не пройти, не проехать по Волге, замаял. И вышел у народа из веры.

— В три стороны тебе воля, — иди, куда хочешь, гуляй вовсю, а в четвертую — родную сторону ни пó-ногу, своих не трожь, за родину не простит, проклянет народ.

Вот он с разбою ехал по Волге. Никто его не встречает, один страх стоит по Волге. Мимо Болгар проезжал, про прежнюю вспомнил — про свою первую пощаженную встречу. Что-то скучно ему...

«Дай к ней зайду!»

Вышел Степан из лодки, завернул к купцову полукаменному дому — было когда-то в доме веселье, знавал и разгулку.

Отворила дверь сама Маша. Смотрит, глазам не верит — Стенюшка ли это милый?

— Что, Егоровна, али стар уж стал? С Жегулиной горы гость к тебе.

Посидели молча. И вспоминать не надо.

— Что-то мне скучно, Маша.

А она только смотрит. Вспоминать не надо! И вспомнила, обиду вспомнила и простила, за себя простила, и другую вспомнила обиду — и не простила.

— Истопи мне, Машенька, баню, как бывало.

— Ладно! — и хотя бы глазом моргнула, как камень.

Истопила Марья баню, снарядила в последний раз дружка. А сама на село.

— Стенька парится в бане! — кричала на все село.

Взбулчал старшина, нарядили народу — кто с дубиной, кто с топором, кто с косой, кто с ружьем.

Там гвал, тут гамят.

— Давай его сюда!

— Иди к нему!

— Чего глядишь-то!

— Тащи его!

А ни с места.

А проходил селом странник, старый старик.

— Что у вас за сходка? — спрашивает старик.

— Хотим Стеньку изловить.

Посмотрел старик, покачал головой.

— Где вам, братцы, его пымать! Разве мне...

Поумолкли.

Снял старик шапку, три раза перекрестился и пошел к купцову полукаменному дому, подошел к бане.

Тихим голосом сказал старик:

— Степан!

Громко ответил Стенька:

— Эх ты, старый хрен! Не дал ты мне помыться.

А уж значит судьба, делать нечего, стал собираться.

И вышел Степан из бани. Поглядел на все стороны, перекрестился и пошел за стариком.

Тихим голосом сказал старик:

— Старшина, давай подводу!

Не галдел народ. Как стояли, так и замерли — кто с дубиной, кто с топором, кто с косой, кто с ружьем.

Посадил старик разбойника на телегу, сам впереди сел — и с Богом.

Так и привез в город.

— Нате вот вам разбойника Стеньку Разина в каземат.

Сбежался народ. Топчутся, не знают, как подступить.

Исправник говорит:

— Надо в железо его сковать.

Побежали за кандалами. Принесли кандалы. Заковал его кузнец.

Стенька тряхнул ногой, и железы прочь полетели.

— Глупые, не поможет тут железо, дайте я его свяжу!

Взял старик моченое лыко, ноги и руки лыком связал.

— Ну, готово, теперь ведите.

Степан поглядел на старика.

— Прости, дедушка!

А старик будто не слышит.

— Прости, дедушка!

Старик нахмурился.

— Прости меня! — в третий раз сказал Степан.

Поднял посох старик...

— Не прощу!

И пошел такой старый, не простой, бездомный странник, не оглянулся, пошел по дороге туда, где тихо поля родные расстилаются и лес нагрозился.

1914 г.

СОЛДАТ-ДОБРОВОЛЕЦ

1

Три сына росли у Касьяна. А по тем местам такие были дряби да грязи, — не пройти, не проехать.

Вот и говорит Касьян сыновьям:

— Вы, детушки, теперь выросли, давайте-ка миру послужим, замостим мостами дрябь, чтобы людям ходить хорошо было.

И три года мостили, осталось последний гвоздь вколотить, — будет путь во все стороны.

Старший сын мостил через мхи, приустал, прилег отдохнуть под мостом и слышит, идет через мост старичок и Бога молит:

— Дай, Господи, кто этот мост мостил, чего попросит, то и дай.

Вышел старшой к старичку:

— Мы мостили, три брата нас, да батюшка.

— Что тебе надо? — спросил старик.

— А мне много не надо, а чтоб ни за чем в люди не ходить, дома жить.

— Так и будет.

И пошел старичок своей дорогой.

На другой день середний сын прикорнул под своим мостом, и тот же старичок идет и Бога благодарит. И, как старшой, пожелал середний сын:

— Ни за чем в люди не ходить.

— Так и будет, — посулил и ему старик.

На третий день сидит под мостом малый сын. Идет через мост старичок, молит Бога.

Выходит малой.

— Что тебе надо? — спрашивает старик.

— А хочу я царю-батюшке помогать, хочу в солдаты идти.

— Трудное дело, Иван, да и молод еще! — сказал старик.

— Нет, я пойду!

— Ударься о землю! — приказал старик.

Ударился Иван о землю и стал оленем. Бегал, бегал, из сил выбился, прибежал к старику.

— Был олень, стань рысью! — сказал старик.

И стал Иван рысью и побежал, уморился и назад идет.

— Был рысью, стань соколом!

И уж соколом полетел он и много летал, примахались крылья, спустился.

— Был соколом, будь мурашом!

И обратился Иван в муравья, уж ползал, ползал с ветки на ветку, с прута на пруток.

— Ну, довольно.

И стал Иван опять человеком.

— Бог тебя благословляет на службу, — сказал старик, — служи верой и правдой. Когда будет нужно, ударься о землю — и станешь оленем, рысью, соколом и мурашом.

И пошел старичок своей дорогою.

Стали братья жить-поживать, каждый своим делом занялся, на что Бог благословил. Старшой промышлял торговлей, и дело хорошо пошло, средний на земле хозяйствовал и тоже не жаловался, а меньшой Иван, — так уж знать ему на роду написано, — как сделалась завороха-война, занабирали народу, и пошел он охотой в солдаты.

2

Целый год шли войной. Дал Бог, повоевал царь много земель, победил неприятеля, и пришло время перемирию.

Все цари собрались на собрание, все в коронах. Хватился наш царь, где корона? — без короны в собрание не пускают, — а корону-то дома забыл. И дают царю три дня сроку, а то назад отберут все земли или опять войну начинай. Что поделаешь, надо корону! И заразыскивал царь народу, кто может в трое суток домой сходить и назад с короной придти?

Да кому это возможно, — год ведь шли! — отказываются.

И выискался Иван.

— Я схожу.

Обрадовался царь:

— Вот что, Иван, исполнишь, — дочь за тебя отдам.

Написал царь письмо царевне и с царским письмом снарядил в путь солдата.

Вышел Иван из виду вон, да как ударится о землю — и стал соколом и полетел.

Через реки летит соколом, по полям — оленем, сквозь леса — рысью, так и шел и шел.

В сутки добежал оленем.

Народ кричит:

— Хватайте! Хватайте!

А старые люди головой качают:

— Ой, не весть ли от царя?

Прямо ко дворцу бежит.

И несдобровать бы оленю, — самоход задавит, — да он муравьем обернулся и муравьем попал во дворец на верхи к царевне и там стал солдатом.

Ужаснулась царевна.

— Как, — говорит, — ты вошел, солдат, и по какому случаю?

Солдат ей письмо от царя и рассказывает, как донес письмо.

Не верит царевна: год шли войной, как в одни сутки поспеть!

— Я тебе покажу, царевна!

И ударился солдат о землю и стал соколом.

А царевна из него перышко вытянула да в платочек.

— А еще как?

И стал он оленем.

Царевна у него рожка отломила и опять в платочек.

— Еще покажи!

И стал он рысью.

Царевна у него шерстки клок вырвала и к рожку в платочек.

— А как, — говорит, — во дворец попал?

— Я мурашом вполз.

И обернулся муравьем.

А царевна из него бочечку-яичко вытянула да в узелок завязала.

И поверила. Дала ему царскую корону и письмо отцу написала.

Забрал солдат корону, запрятал письмо, обернулся соколом.

— Прощай, царевна! — и улетел.

Ближней дорогой, как сокол, долетел Иван до моря. И всего ничего оставалось, да устал, вздумал отдохнуть малость и повалился на берег.

А у моря два солдата на часах стояли: Хайлов да Ваганов, — корабли стерегли. Видят солдата на берегу, пошарили, хвать, а у него царская корона да письмо от царевны.

— Ой, — говорит Ваганов, — уж не вор ли?

— Вор не вор, а прощелыга. Так оставить невозможно.

И давай будить Ивана. Уж головой били о землю и все ему ребрышки посчитали, а он и ухом не ведет, — очень уморился. Ну, пеняй на себя, долго разговаривать некогда, и живо на корабли. И вовремя к царю с короной поспели.

На радостях царь забыл про Ивана: тут дело такое, не до Ивана.

3

Думал Иван часок отдохнуть, разоспался, и ночь наступила, а он спит и спит. В полночь вышел внучок Водяного на бережку поиграться, — на море тишина стояла, ни кораблика не плавало в море, — увидал внучонок Ивана, сграбастал да в море, к деду.

— Дедушка, дедушка, я тебе солдата поймал.

Видит дед, человек не худой:

— А пускай с тобой гуляет.

Ну, и остался Иван жить у царя Водяного при его внучонке.

И месяц прошел, и другой, и третий, — много прошло. Кормят и поят Ивана, да скучно. И запечалился Иван, отстал от еды. Думы-то там, на земле:

«Уж, поди, — думает, — царь мир заключил, то-то там весело».

— Что, Иван, аль стоскнулся о белом свете? — спрашивает Водяной.

— Хоть бы глазком поглядеть! — запросился Иван.

— Ладно, выпущу тебя на часок, а боле не бывать! — да как крикнет ребят.

И откуда взялось, собрался народ — все были наброса-

ны в море! — и живо его со дна вынесли и на островок положили.

Ударился Иван о землю и соколом улетел.

Море за ним, — подымалось, подымалось, — а уж высоко, не утянуть, так и улетел.

Отлетел Иван от моря и пошел. Дошел до деревень, спрашивает:

— Что, крещеные, вернулся царь с войны?

— Да уж месяца два будет, — говорят Ивану.

Он дальше, все идет и идет, пришел в город. И остановился у нищей старухи Волкивны.

— Что это у вас все песни поют?

— А как же, — говорит Волкивна, — за солдата Хайлова царская дочка замуж выходит: достал царю корону мир заключать! А товарища его царь первым генералом сделал: тоже старался. Да, слышно, царевне-то неохота. Завтрашний день дает царь пир с музыкантами, через три дня свадьба.

— А нельзя ли мне, бабушка, на царевну посмотреть?

— Чего же нельзя, надень музыкантское платье и иди на пир.

А был у Волкивны приятель из музыкантов, помер, а мундир завещал старухе: Волкивна его у себя под подушкой держала.

Нарядился Иван в музыкантское платье и на пир, сел с музыкантами.

Царевна с женихом прогуливается, а тот товарищ его за ними ходит. Подошла царевна к музыкантам.

— Не слыхал ли кто, как солдат царю корону достал мир заключать?

Никто ничего не отвечал.

Тут поднялся Иван.

— Я, — говорит, — про такое не слышал, а сам в старину так делал: обернусь соколом и лечу, через реки — соколом, по полям — оленем, сквозь леса — рысью, а где надобно и мурашом.

— А теперь можешь?

— Могу.

Вышел Иван на площадь, ударился о землю и соколом полетел, подлетел к царевне.

А царевна вынула из платочка перышко, приложила.

— Вот, — говорит, — тут и было.

Обернулся Иван рысью.

Царевна шерсти клочок приложила, и пришлось.

Бегал Иван оленем, ползал муравьем. И рожка, и бочечку приложила царевна, и все пришлось.

И говорит царевна отцу:

— Вот, батюшка, мой суженый, вот кто корону достал!

Тут Хайлов и Ваганов в ноги царю, повинились: не хотели губить человека, да так уж вышло.

Царь их выдал Ивану и сейчас же за свадьбу.

Повенчался Иван на царевне и стал жить-поживать. А товарищей отпустил на волю: Бог с ними, и так натерпелись, бедняги.

1914 г.

ДОЛЯ СОЛДАТСКАЯ

Сидел солдат в окопах, и осень сидит и зиму сидит, и захотелось ему на родине побывать.

— Хоть бы, — говорит, — черт меня туда снес, глазком взглянуть!

А он тут-как-тут.

— Ты, — говорит, — Королев, меня звал?

— Звал.

— Домой захотел?

— Да мне бы на недельку.

— Изволь, на три, — черт растопырился, — давай в обмен душу!

— А как же я службу брошу?

— Я за тебя.

И решено было у солдата с чертом: солдат неделю и другую и третью на родине проживет, а черт это время в окопах просидит.

— Ну, скидывай! — сказал черт солдату.

Солдат снял с себя шинель, шапку, подал черту и ружье отдал. И не успел опомниться, как очутился дома.

А черт кое-как ремни подвязал и залег с ружьем.

Дело-то ему непривычно, думал, что как-нибудь обойдется, а в первую же ночь хвост к земле примерз, уж отдирал, отдирал, едва высвободился. А ничего не поделаешь, — служба! Да и голодно: привык по трактирам шататься, а тут тебе не трактир. И сам уж не знает, что в голову полезло: известно, какая уж совесть, а тут послали выбивать штыками, — рука не подымается, вроде как жалко.

Неделя прошла, — за год показалась. Полегоньку завшивел черт, а бородища отросла во! — ни на что не похоже.

Так и сидел черт в окопах, мерз да зубами щелкал. И уж чья-то добрая душа черту в окопы кисет прислала. Ко хвосту его черт приделал, а легче не стало.

Наконец-то настал срок солдату.

Простился солдат с домашними.

— Невозможно, — говорит, — больше оставаться, прощайте! — и опять попал в окопы.

А черт, как завидел солдата, все с себя долой.

— Ну, — говорит, — с вашей и службой-то солдатской! И как это вы терпите?.. — да стрекача из окопов, забыл и про душу.

1914 г.

ШИШОК

Если другой раз и человека нипочем не берет пуля, то против нечистой силы что плевок, что пуля.

Стояли солдаты в земле не нашей, очереди дожидались и заскучали, стоявши. Вот он и задумал подшутить над ними.

— Стреляйте, — говорит, — в меня, сколько влезет, мне ничего не будет! — и стал сам мишенью.

Ну, и выискались охотники, нацелятся — выстрелят, а он сейчас же пулю из себя, и несет тому, что стрелял.

Диву давались солдаты.

А был один старичок в обозе, — угодники-то нынче, слышно, все туда, на войну ушли! — и говорит старичок солдатам:

— И чего вы, други, мудрить над собой даетесь, да и добро попусту изводить грешно!

— А как бы нам, дедушка, его осилить?

— А очень просто, — старичок-то все знал, — только зря не годится: отместит, окаянный.

Стали приставать к старику, скажи да скажи. А уж шишо́к, видно, сметил и что-то не слышно стало. Старичок и открыл тайность.

— Очень просто: пуговицу накрест разрежь, заряди ружье и стреляй, — завертится!

Ну, схватились было искать, туда-сюда...

А тут такое пошло, не до того уж: вдруг повалил настоящий, гляди, не зевай, — силища страсть, и откуда только берется, так и прет.

Да Бог дал, из беды вышли.

Отстал от товарищей Курин, из третьей роты, не завалящий солдат, во! — папироску закуришь. Туда пойдет, нет дороги, повернет в сторону, — и того хуже. Так и пробирался на волю Божью, а уж едва ноги волочит, ой, пришлось туго!

Бредет Курин мимо пруда и видит: сидит на плотине... узнал, он самый, ногами в воде бултыхает, а рожу на Курина, язык высунул, дразнит:

«Что, мол, ничего, солдат, не сделаешь!»

И так это Курину досадно стало, вспомнил он старичка, про что старичок-то сказывал, подошел поближе к плотине, живо отхватил пуговицу, зарядил ружье, прицелился да как трахнет.

Так того в прах.

— Ага! — словно обрадовался кто-то.

Только и услышал Курин, ноги соскользнули.

И сказывали, без вести солдат сгинул.

1915 г.

СОЛДАТ

1

Служил солдат царю верой и правдой, за родину терпел и трудился, во скольких боях побывал, уж смерть как на

него зубы точила, да Бог миловал, цел остался. А вернулся, нет у него ни угла, ни крова, три сухаря в сумке, — доживай век, как знаешь!

И пошел солдат, куда глаза глядят.

Вот ходит он день, и другой, и третий, кончил все сухари и, хоть ложись, да протягивай ноги, нет больше сил...

И видит солдат, идет ему навстречу человек такой чудный.

— Куда идешь, солдат?

— Куда глаза глядят, добрый человек! — и рассказал солдат всю свою жизнь, как служил царю верой и правдой, за родину терпел и трудился.

— Ну, правильно ты прожил, солдат, в сем веке, ступай в царство небесное!

А это сам Господь был.

Поблагодарил солдат за такую милость.

«Вот когда поживу-то!» — и пошел по дорожке направо.

Долго ли, коротко ли, достиг солдат райского места.

И уж такая там благодать: какие поля, какие луга! — ходит солдат, только диву дается. Насмотрелся, нагляделся всяких чудес, покурить захотелось, а табаку ни крошки. Вот он и туда заглянет, и сюда зайдет, — здания все огромадные, как дворец, ни одной лавчонки.

А шли из лесочка праведные старцы. Солдат к ним:

— Покурить больно хочется, нельзя ли как, старички, табаку раздобыться!

— Какой такой табак! Что ты, солдат, нешто тут этим балуются?

И так его пощуняли, уж не рад, что связался.

Сильно солдату досталось.

А курить смерть хочется.

— Может, где его тайная продажа есть? — да местностей-то он не знает и спросить уж боязно.

2

И пошел солдат, куда глаза глядят.

И опять ему навстречу тот человек, такой чудный.

— Что это ты, солдат, голову повесил? Или тебя кто обидел?

А это сам Господь был.

— Терпенья нет, курить хочется.

— Ну, коли так, ступай по той вон дорожке: там все есть!

Поблагодарил солдат, повернул налево, да скорей в путь.

А уж бесы бегут навстречу, лапками так и разметывают. И припекать стало, да солдату что, — видывал и не такое: один вошиный зуб чего стоит!

Обступили бесы, жужжат, что пчелы.

— Что тебе, солдат, угодно? Да не надо ли чего? Да мы все тебе, что хочешь! Рады служить! Приказывай!

Солдат от них отбиваться, — летели бесы, как пули, — ну, где на землю приляжет, где ползком. Как-никак, добрался до самого пекла.

— Дайте, — говорит, — местечко, передохну малость.

Тут его бесы под ручки, посадили в угол, вроде, как у плиты жаркой.

— А что, табачишко найдется? — спросил солдат бесов.

— Есть! Сколько хочешь!

— Да не хочешь ли папиросов?

— Все равно, что есть, то и ладно.

И натащили бесы махорки — страсть! Кури, сколько влезет.

Покурил солдат хорошо, и вздумалось ему вздремнуть с пути. Да только это дело не сладилось. Стали бесы его прижимать: кто за руку дернет, кто за ногу, кто коготком погладит. Он уж что-что ни делал, нет, лезут!

День прошел и другой прошел, и стал пообвыкать солдат в пекле. Табак, слава Богу, есть, и опять же тепло, жить можно, и одно только тошно: уж очень пристают. И пустился на выдумки, как бы так оградиться от нечистой силы.

Вот взял солдат шнур, вынул кусочек мелку, намелил шнур и давай мерить пекло.

3

Сначала-то бесы ничего, только под руку подталкивали, а потом смекнули, должно быть, что затевает солдат неладное, подскочил один черт...

— Что ты, — говорит, — солдат, делаешь?

— Разве ослеп, не видишь, меряю: церкву хочу поставить. У вас тут и помолиться негде.

Как бросится черт к главному черту.

— Дедушка, погляди-ка, солдат-то что выдумал, хочет церкву у нас поставить!

Поднялся сам, пошел проверить.

И правда, трудится солдат, ползает со шнурком — пекло мерит: хочет в пекле церкву поставить.

— Он еще и нас заставит молиться! — захныкали бесы.

Ну, сейчас же отрядил главный бес послов в небесное царство с жалобой на солдата.

— Какого солдата прислали в пекло! Хочет церкву поставить! Нешто это возможно, в пекле — церква!

— А зачем таких к себе принимаете? — сказали в царстве небесном.

— Да возьмите его от нас! — просят бесы.

— А как его взять, раз сам пожелал.

Так ни с чем и вернулись.

— Что нам теперь, бедным, делать, закадит, замолит нас солдат несчастных! — завопил сам их главный.

Тут, откуда ни возьмись, выскочил один бесенок, искун называется, так, востроносенький.

— Сдери, — говорит, — дедушка, с меня кожицу, натяни барабан и пускай с барабаном выйдет кто за ворота и забьет тревогу. Солдат живо сам уйдет.

Ведь, какую умную штуку придумал, даром что и звания-то — пискун!

Содрал дед с бесенка кожу, натянул барабан.

— Смотрите ж, — наказывает чертям, — выскочит солдат из пекла, и сейчас запирайте ворота, а то еще, чего доброго, опять ворвется, и уж пропадай с ним!

4

Забили черти тревогу.

Солдат как услышал барабанный бой, да сломя голову бежать из ада, всех чертей распугал, словно бешеный. Выскочил за ворота.

А им только того и надо, — ворота хлоп и заперлися.

Осмотрелся солдат: никого, и тревоги больше не слышно. Повернул назад, торкнулся, — заперто. Давай стучать.

— Отворяйте, черти! Ворота сломаю!

А они из подворотни только хвостиками помахивают:

— Нет, брат, дудки! Ступай, куда хочешь, нам без тебя веселее. Не пу-устим!

Куда теперь солдату?

Слава Богу, что еще кисет с чертячьей махоркой цел! Покурил солдат с горя и пошел, куда глаза глядят.

Шел, шел и повстречался ему тот человек, такой чудный.

— Куда идешь, солдат?

— И сам не знаю. Выперли меня черти.

— Ну, куда ж я тебя, Устинов, дену? Послал в царство небесное — не хорошо, послал в ад, — и там не поладил.

— Да хоть на часах где постоять!

— Ладно, становись у тех врат, видишь. Да смотри, зря никого не пускай.

А это сам Господь был.

Сам Господь ко своим вратам небесным поставил на часы солдата.

Поблагодарил солдат и пошел, стал на часы.

И вот идет... глазищи выпятила, зубы оскалила.

— Кто идет?

— Смерть.

— Куда?

— К Богу.

— Зачем?

— За повелением, кого морить прикажет.

— Погоди, — остановил солдат, — сам пойду, спрошу!

5

А было повеление от Господа Бога, чтобы три года морила смерть самый старый люд.

Солдату жалко, — стариков стало жалко.

Вышел и говорит смерти:

— Ступай, смерть, по лесам, грызи три года самый старый дуб.

Заплакала смерть:

— И за что Господь так прогневался, — посылает дубы грызть!

А ослушаться не смеет, и побрела в лес. И три года шаталась там, в лесу там, выбирала вековые дубы, подгрызала их под корень, три года трудилась ночь и день.

Изошли три года, и воротилась смерть к Богу.

— Зачем опять? — остановил солдат.

— За повелением, кого Господь прикажет морить.

— Погоди, я сам пойду.

И было повеление от Господа Бога три года морить смерти молодой народ.

А солдату жалко: братьев вспомнил, — ведь, всех их уморит смерть.

Вышел и говорит смерти:

— Ступай назад, три года точи молодые дубки. Так Господь приказал.

Заплакала смерть:

— И за что, Господи, на меня гневаешься!

А ослушаться нельзя: не по своей воле смерть смертью по миру ходит, не сама берет, а повеленное. И побрела в лес и три года точила молодые дубки, измаялась.

Изошли три года, вернулась смерть за повелением.

И в третий раз не допустил ее солдат, сам пошел.

А было повеление от Господа Бога три года морить смерти младенцев.

Жалко солдату, — ребятишек жалко.

И велел солдат смерти идти опять в тот самый лес, три года по кустикам лазать, заячью долю есть.

— Господи, за что Ты меня мучаешь! — заплакала смерть, а пошла, и три года по кустам питалась листьями,

извелась вся: известно, не заяц, на листочках-то долго не продержишься!

Идет... едва ноги передвигает. Ветер подует — так от ветру и валится.

«Ну, — думает, — расцарапаюсь с солдатом, а дойду сама до Господа Бога. Девять годов Он меня наказует!»

Солдат окликнул.

Молчит, лезет на крыльцо.

Тут солдат ее за горбушку. А та его косяшкой. И такой поднялся шум, не дай Бог.

6

И выходит тот самый человек, такой чудный.

— Что такое?

А это сам Господь был.

Упала смерть Ему в ноги.

— Господи! За что на меня прогневался? Девять годов я мучаюсь, по лесам таскаюсь: три года вековой дуб грызла, три года дубки точила, три года глодала листики.

А солдат винится: простит его Господь, очень уж жалко ему народа!

И повелел Господь девять годов носить солдату смерть на закорках, кормить орехом, чтобы смерть поправилась.

И тотчас смерть так и села верхом на солдата.

А солдат — делать нечего, Божье повеление! — встряхнул ее и повез. Уже возил он ее, возил по лесу, у орешенья, нажралась смерть орехами.

— Вези, — кричит костлявая, — прокати меня, солдат, по дубравушке! — и залопотала что-то по-своему, песню что ли смёртную.

Песня-то песней, Бог с нею, пускай себе, да трудно с такою ношей, а крепится — повеленное надо исполнить.

Приостановился солдат, вытащил из-за голенища кисет, закурил.

Увидала смерть.

— Солдат, дай и мне покурить!

А солдат ей кисет, — развязал.

— Полезай, — говорит, — и кури, сколько хочешь.

Известно, смерть в чем-в чем, а насчет табаку плохо, и что и к чему, ничего тут не понимает.

И юркнула в кисет.

А солдат, не будь дурак, закрутил кисет, да за голенище. И уж налегке пошел опять ко вратам небесным, стал на часы, как ни в чем не бывало.

И идет тот самый человек, такой чудный, увидел солдата.

— А смерть где?

— Со мной.

— Где с тобой?

— Да за голенищем.

— А ну, покажи?

Солдат мнется: выскочит смерть из кисета, засядет на закорки и опять носи ее.

— Покажи, я тебя прощаю.

Солдат вытащил кисет, развязал.

А смерть — у! так и скаконула на него, да прямо на плечи.

— У, солдатик!

И повелел Господь Бог смерти уморить солдата.

Соскочила смерть на землю.

— Ну, солдат, слышал?

— Слышал, такая воля Божья! Стало быть, помирать надо.

Тут его смерть и уморила.

1914 г.

ЗА РУССКУЮ ЗЕМЛЮ

Вечером на Невском встретил я новобранцев. Из трамвая я их увидел. Очень их много было — целый полк, и такие все молодцы — один к одному, в новеньких полушубках и шапках барашковых.

Кто-то из трамвайных соседей моих сказал, что это ратники, а гонят их издалека.

А как они шли ходко и твердо!

Две молодые бабы едва поспевали, бабы бежали обок. Что говорить, под стать мужьям, такие же. Но как они бежали и, кажется, будь у них крылья, они полетели бы! И глаза такие, ну, как из сказки, у Василисы, глаза, как колодцы.

Я соскочил с трамвая. Весь полк пропустил. Перешел на тротуар и с другими прохожими, — все мы очень торопились, — нагнал у Литейного средние ряды.

А как они шли ходко и твердо!

Никогда не забуду, как у Аничкова моста один вышел из ряду. И Василиса остановилась.

Пусть же будет для них этот каменный мост калиновым — счастливый! — и они поцеловались.

Не оглядываясь, побежал он догонять товарищей, а она пошла назад. И все оглядывалась. Пройдет немного и оглянется, и опять идет, и опять оглянется. И уж за трамваями скрылись казенные повозки с сундуками, и в вечернем сыром тумане лишь вспыхивали огоньки фонарей трамвайных, а она все оглядывалась, точно и сквозь туман непроглядный видела, и не могла не оглянуться, не могла наглядеться...

Оттого ли, что кормилицей моей была солдатка... и вот я почувствовал от ее слез горьких так близко всю горечь разлуки. Я словно вспомнил и те часы, когда она, захлебнувшись от слез, меня кормила, и те ночи, когда я кричал от ее затаенной тоски.

У Знаменья Василису встретила закутанная в клетчатый платок старуха в стареньком полушубке, — это его мать. Не угнаться было за сыном, и с вокзала дошла она до Знаменья, тут и поджидала.

И я видел, как обе стали перед образом, тут за оградой, и как старуха-мать, кладя крест своей землистой темной рукой, долго и крепко держала сложенные для крестного знамения пальцы на темном, как родимая земля, изборожденном лбу, — к Знамению, последней заступающей защите... к кому же ей обратиться в ее горькой разлуке? — помиловать просила, еще раз увидеть сына и уж навеки за-

крыть глаза, от земли уйти в родимую землю, за которую шел умирать ее сын.

И потом я видел, как они переходили площадь мимо памятника к вокзалу и как старуха-мать вдруг обернулась и истово перекрестила вслед великим благословением своим на жизнь и смерть — сама земля наша сына своего.

Как-то вечером выбрался я по соседству к знакомым. С войны у них не был, а раньше, приходилось, засиживался и за полночь, и помню, запала мне одна особенность их дома: встречал меня всегда швейцар — молодой такой толковый парень Иван, а выпускала жена его Ольга. И это, как мне однажды объяснили, такой уж завелся распорядок у них: они недавно женаты, и вот Ольга, чтобы не будить мужа: — ему, ведь, целый день у двери дежурить! — сама по ночам вставала отворять дверь.

Какая трогательная заботливость! Оба молодые, оба здоровые — как берегли друг друга!

И мне запомнилось: Иван да Ольга.

Против обыкновения, у дверей никого не оказалось, и я сам поднялся на лифте. Я себе объяснил это тем, что по нынешнему времени мало ли какой случай: — в доме был лазарет, — и всегда могли куда-нибудь услать Ивана. Не засиживаясь поздно, ушел я из гостей вовремя, и, хотя еще был час до полночи, у дверей я встретил не Ивана, а Ольгу. И сразу не узнал: в черном платочке и какая-то красная, не похожая на Ольгу Зазнобину.

Тут только я понял, — конечно, Иван на войне!

— Что ж, Иван, — спросил я, — пишет с войны?

Ольга, не отвечая, пошарила где-то у себя на груди и подала открытку.

И мне сразу бросилось — с красным крестом штемпель и число... совсем на днях!

«Дорогая Оля! Пишу Вам неприятный привет, что Ивана Зазнобина убили ружейным огнем в правый глас на пруцкой границе у города Гостиннова, больше писать нечего».

— Не помиловал Господь! — сказала Ольга и посмотрела, как там, на мосту Василиса, нет, не так...

Мне хотелось сказать ей... но увидев эти глаза — как она посмотрела: «не помиловал!» — я вернул ей открытку и пошел...

1914 г.

БЕЛАЯ ПАСХА

Как настанет на Поморье тёмно время холодное с трескунами морозами — нет конца зимы. А придет Спиридон, станут дни прибывать на овсяно зерно, тут поднимется ветер и дует и дует, а за ветром — белая кутня с виньгом, со свистом, как закуделит: глаз раскрыть не моги!

Поп Вакул с дьячком Яковом только и знай, что печку топили. Да дрова-то попались не колки. Уж Яков язык от колокола отвязал, языком по обуху колотил, так дрова и колол.

Печь ли жаркая, кутня ли белая, выбили из ума дни у попа.

«Посту-то надо быть конец, — думает Вакул, — а когда Пасха, Господь ведает!»

И посылает дьячка.

— Сходи, — говорит, — Яков, к попу Анике на за-реку, спроси, когда Пасха?

А поп Аника — за десять верст от Вакулы, и дело его ничуть не лучше: до церкви не дойти, за снег запнешься. Поп Аника о ту пору сам задумался и своего дьячка шлет к Вакуле за тем же.

Вот на полпути Яков и встретил кума. И что им делать, не знают. Стали посередь дороги, смотрят, где на деревне печь топится, и решают идти на дымок, спросить, не знает ли кто из крещеных. Идут по деревне, а уж в вечерях было, и видят, старуха Савиха молока крынку тащит.

— Бабушка, куда с молоком-то бежишь?

— Что вы, деточки, ведь, завтра Пасха!

Кум — к Анике, Яков — к Вакуле.

Пришел Яков, а уж ночь.

— Батюшка, завтра Пасха, пора к заутрене звонить.

Всполошился Вакул.

— Беги скорей, звони!

Яков бегом на колокольню, хвать, а у колокола языка нет. Эка напасть! Слез с колокольни, взял лопату и давай у овина, где дрова колол, снег разрывать. И пока-то искал язык, да нашел, да привязал, стало светать.

Тут и народ понабрался, свечи зажгли — огоньки пасхальные.

Взял Вакул крест, — руки стынут, — и стал градить крестом.

— Христос воскрес!

И запели по-пасхальному.

А на воле кутня куделит, заливается со свистом, с виньгом, валит белые сугробные забо́йни.

— Христос воскрес!

Слушает Савиха, красный огонек свечи колыбается, вспоминает бабушка...

«Где-то деточки горемычные?»

И словами старыми молит и просит за родимое Поморье, за землю крещеную.

— Христос воскрес!

По пустынному Поморью глубоки снеги.

1915 г.

ЗЕМНЫЕ ТАЙНОСТИ

ХЛЕБНЫЙ ГОЛОС

Жил-был царь. И как не стало царицы, царь и призадумался: и то худо, что царицы нет, да на то воля Божья, и опять же хозяйство на руках и не малое, надо кому распорядиться, надо и гостей принять честно, да чтобы все было, как у людей есть, а ему на старости лет дай Бог с царством-то управиться.

А было у царя три сына, все трое женаты, при отце жили. Вот царь и призвал к себе снох, и старшую и среднюю и младшую, и решил испытать, кому из них большухой быть.

— Какой, — говорит, — голос дальше слышен?

Старшая думала, думала, — какой голос?

— Да вот, — говорит, — батюшка, намедни бычок за Москва-рекой рычал, так у Андроньева на обедне слышно было.

— Эка, дурёха! — отставил царь старшую сноху и к середней: — какой голос дальше слышно?

— Петух у нас, батюшка, седни пел поутру, а в Сокolinках у мамушки слыхали, Софоровна сказывала.

Царь только бороду погладил: ну, чего с такой спросишь? — и к младшей:

— Какой голос дальше слышно?

— Не смею, батюшка, сказать, сами знаете.

— Как так, говори, не бойсь.

— Хлебный голос дальше слышно.

— Какой такой хлебный?

— А такой, батюшка, если кто хорошо кормит, да го-

лодного не забывает, накормит, согреет, утешит, про того далеко слышно.

— Ну, — говорит царь, — умница ты, Поля, по-русски сказала, так и будь ты большухой.

— И пошло с этих пор на Руси — хлебный голос всех дальше слышен.

1914 г.

ГОЛ-КАМЕНЬ

Шли две богомолки к святым местам помолиться, пристала к ним третья, — баба как баба, а голос мужичий, все словно с дубу рвет, и ни разу в дороге не перекрестилась.

Шли, шли, стали к монастырю подходить, а эта самая их товарка, Бог ее знает, отстала. Оглянулись богомолки, что больно долго, а та себе в землю грязнет: что ни ступит, то дальше уходит, и ушла по пояс.

Богомолки со страха пятиться, — пятились, пятились, да задом и побежали, добежали до монастыря, схватили монаха, да с монахом назад.

— Кайся, окаянная, что ты сделала!

А та себе грязнет, едва языком воротит.

— ...и месяц не раз скрадывала, я людей портила! — больше язык уже не повернулся.

— Будь ты отныне и до веку анафема проклята! — как крикнут, она и пошла сквозь землю, а с гулом, да с шумом.

И на том самом месте гол-камень оказался, проклятое место.

1914 г.

ПЧЕЛЯК

У пчеляка пчел было пропасть, тысячи пеньков стояло, а лошадь не водилась. А у лошевода, его соседа, лошадей сколько хочешь — отличные кони, а пчел и в заводе нет.

Раз сосед с соседом и разговорились:

— Скажи, пожалуйста, почему у тебя лошадям вод, а у меня нет?

А тот ему:

— Скажи ты, почему у тебя пчелы, а у меня нет, тогда и я скажу.

Разговор-то зашел мирно, да оба с норовом — не уступают. Перекорялись, перекорялись, пчеляк первый сдался:

— Изволь, я скажу.

И повел соседа на пчельник, привел в избенку, положил меду полную тарелку, да в подпечек и сунул.

И выскаканула оттуда лягушка и ну мед есть, и все съела, всю тарелку дочиста облизала, да опять назад все в подпечек и отрыгнула. И стало лягушку раздувать, больше да больше, и стала лягушка с быка.

— Полезай ей в рот!

— Нет, не полезу! — испугался лошевод.

— Полезай, а то пропадешь!

— Не полезу!

— Не полезешь? — пчеляк за нож, лошевода колоть.

— Стой! — кричит лошевод, — теперь я скажу тебе, отчего у меня лошадям вод.

Да скорее с пчельника и повел пчеляка к своему гумну.

— Отчего же у тебя лошадям вод?

— А оттого, что лошадушек моих кормлю: по десять фунтов муки замешиваю да полмеры овса даю.

— Этак-то я и без тебя знаю, еще бы лошади не водились, коли их кормить!

— А ты как же думал, что не кормя можно?

Ну, на это сказать нечего, и ушел пчеляк к себе на пчельник.

1914 г.

УРВИНА

Девки устроили с парнями вечеринку. И началось неладом: одни девки своих парней больше пригласили, что любы им были, а тех не пригласили, которые другим были любы, ну, и разожглись друг на друга. И хоть с виду и по-

мирились, и пошло, как ни в чем, веселье — пляс и смешки, и хихиньки, да в сердце-то затаили.

Одни девки своим парням песни поют, другие — своим, парни пьют да девок потчуют. А как подпили, уж все перемешалось, только стон стоит. И чего-чего не вытворяли, на какие выдумки не пускались, а все будто мало.

Тут сердце-то и заговорило: одна обиженная девка и пришепни счастливой, а той — море по колено. Подговорила та свою подругу, оделись, да тихонько из избы и вышли. И — ведь что придумать! — на кладбище пошли девки, вынули там двух мертвецов из общей могилы, завернули мертвецов в рогожи, да на своих косах и приволокли в избу, да за печку их и поставили.

А сидела на печке девчонка Машутка и все видела, — испугалась девчонка мертвецов-то, молчит, прижалась в уголок, сердешная.

Девки вошли в горницу, посмеиваются, а никому и невдогад, что там за печкой, какие такие гости пожаловали.

Уж стали мертвецы пошевеливаться.

— Что, брат, разогреваешься?

— Разогреваюсь, брат.

— И я, брат, разогреваюсь.

Машутка-то на печке не пикнет, а вся изба, ей горя нет, пляшет, ой, весело!

В самую полночь девка обиженная, что на такое дело надоумила, и говорит подругам счастливым:

— Спойте вашим молодцам песенку, да повеселей, плясовую! — сама подмигивает: понимай, каким молодцам запечным!

Девки и запели песню веселую. И проняла до сердца мертвецов песня: мертвецы вдруг стали огненные, как головни горящие, языки высунули, изо рта пламя пошло, жупел, а сзади вытянулись, помахивают собачьи хвосты.

Как их в песне-то стали величать, как они из-за печки-то выскочат, да в горницу, и давай плясать по-своему и кривляться, и ломаться, и кувыркаться, да девок и парней лягать, пламенем, жупелом палить, да за бороду да за косы рвать.

Куда тебе и хмель вон, ноги подкосились: кто где стоял, так тут ничком и грохнулся.

А мертвецы, знай, пляшут, не могут стать — дали им волю, и рады бы, не могут, пляшут — половицы вон из полу летят, посуда прыгает, все вдребезги, все в черепки.

До петухов мертвецы плясали и, как запел петух, так сквозь землю и провалились, инда земля застонала.

Поутру пришел народ, смотрят — кто без головы, кто без руки, кто без ноги, кто без бороды, кто без косы, и все мертвы, а посреди избы — урвина, сама бездонная, дна не достать.

А Машутку сняли с печки, едва откачали девчонку: и! напугалась-то как, сердешная! Машутка про все и рассказала.

1914 г.

КАБАЧНАЯ КИКИМОРА

1

Кабак стоял на юру у оврага, овраг осыпался, и кабак чуть лепился на овраге. Дважды в неделю в селе были большие базары, и в кабаке шла большая торговля. Да целовальник не долго сидел в кабаке, живо проторговывался: находили недочет, а главное, большую усышку вина и рассыропку. В откупной конторе много было толку о кабаке, и странно было, что все целовальники рассказывали одно и то же, как ровно в полночь кто-то в кабаке вино цедит, когда же зажигали свечку, видели вроде хомяка — хомяк бёг от бочки и прямо под пол, в нору. Кабак перестали сымать, и даже даром, без залогу, никто не сымал, кабак стоял заброшен.

Один пьянчужка, не раз штрафованный и пойманный в приеме краденого, промотался и попал в большую крайность, а был он человек семейный, не глупый и отчаянная голова. Ему-то откуп и предложил кабак. Пьянчужка согласился: все лучше, чем ходить из кабака в кабак.

В первую же ночь целовальник заготовил свечку, спи-

чек, положил топор на стойку, выпил полуштоф и завалился спать.

— Теперь хоть сам черт приходи, никого не боюсь! — и заснул.

И слышит целовальник, кто-то цедит из разливной бочки, зажег свечку, топор в руки, осмотрелся и — к бочке. Видит, печати целы и только кран полуотворен. Постукал топором в бочку — звук не тот, вина, стало быть, меньше; сорвал печать, накинул мерник, — так и есть: трех ведер, как не бывало.

— Черт что ли отлил! Коли черт, покажись! Я чертей не боюсь, до чертиков не раз допивался, не привыкать стать видеть вашего брата! — и уж протака́ял так, как душе хотелось.

Под полом раздался треск, — стала половица поворачиваться и стало из-под пола дерево вырастать. Все растет и растет — сучья, ветви, листья, все выше и шире, уж закрывают кабак и склонились над головою.

Целовальник взмахнул топором и ну рубить.

— Так, брат, вот как по-нашему! Я тебе удружу.

Вдруг топор словно во что воткнулся — нет возможности сдвинуть: чья-то рука удерживала топор.

— Пусти меня! — целовальник не струсил, — знаю, черт, пусти! Я рубить буду!

И слышит, над самой головой кто-то тихо так и кротко:

— Послушай, любезный, не руби! Это — я.

— Да ты кто?

— Мы с тобой будем друзьями, и ты будешь счастлив.

— Да кто ты? Говори толком! И топор пусти, выпить хочу.

— Ну, брат поднеси и мне.

— Да как же я тебе поднесу, коли тебя не вижу!

— Ты меня никогда не увидишь... впрочем, когда прощаться буду, может, покажусь.

— Правду говоришь?

— Давай выпьем, потом и поговорим.

— Ну пусти ж топор.

Топор высвободился.

Целовальник зашел за стойку, взял штоф и хотел наливать.

— Послушай, любезный, — остановил его голос, — ты много не пей. Для нас довольно и полуштофа. Возьми вон тот, у него донышко проверчено, в нем, брат, вино хорошее, не испорчено еще.

— А ты откуда знаешь? Я сам принимал посуду: все полуштофы были целы.

— А ты ходил отпускать вино-то мужику?

— Ходил.

— Тебе нарочно дистаночный и подменил полуштоф, чтобы наперед узнать, будешь ли здесь мошенничать.

Целовальник взял полуштоф, посмотрел перед свечкой — и вправду, на дне дырка проверчена, воском залеплена.

— Ну, чертова образина, теперь уж я верю, что ты черт.

— А ты не ругайся, друзьями будем. Угости лучше!

Целовальник налил два стакана, свой выпил, — сам скосился, что будет — другой стакан поднялся и так в воздухе и опрокинулся, будто его кто пил, и так сухо, что и капли не осталось, только кто-то крякнул:

— Ну, брат, спасибо за угощенье.

— Спасибо-то, спасибо, а ты мне расскажи, кто ты.

— Расскажу потом. А теперь слушай: всякий день в полдень и в полночь ставь в чело на заслонку стакан вина, да на меду лепешку. Этим я и буду кормиться, а ты себе торгуй. И не бойся ни поверенных, ни дистаночных, ни подсыльных, я буду предупреждать: за версты узнаешь, кто едет и кто подослан. Ложись и спи. Да образов, пожалуйста, не ставь, да и молебны не служи. А как я отсюда через год уйду — от кабака до кабака скитаюсь, вот я какой! — так и ты выходи, а то худо будет. Слышал?

— Слышал.

— Так и поступай.

Целовальник выпил еще стакан и лег.

А дерево стало все меньше и меньше, ниже и ниже, и скрылось под полом, и половица опять легла на свое место, как ни в чем не бывало.

И свечка погасла.

2

На другой день был базар.

Целовальник поутру встал рано. Торговля открылась хорошая, и он полупьяный, торговал целый день, и ни в чем не обсчитался. К вечеру проверил выручку и смекнул, что лучше торговать и не придумаешь, а что ночью тот ему говорил, он все исполнил: не забыл угостить и в полдень и в полночь и вином и лепешкой.

С этого дня целовальник торговал всем на зависть. Никогда он не попадал под штраф, а продавал вино рассыропленное, он всегда знал, кто из дистаночных или поверенных приедет к нему за проверкой, и был наготове.

Диву давались ловкости его, а больше тому, что хоть пил, а пьян не напивался.

Прошел год.

И вот в годовую полночь, когда целовальник, по обыкновению, спал себе мирно на стойке, вдруг по кабаку голос:

— Прощай, брат. Ухожу. Завтра и ты выходи!

— Ну, что ж! — целовальник поднялся, — ты мне все-таки покажись!

— Возьми ведро воды и смотри.

Целовальник взял ведро, зажег свечку и стал смотреть на воду. И увидел, прежде всего, себя, ну, лицо известное, и долго только это одно и видел, инда в глазах зарябило, и как-то вдруг с левого плеча увидел другое, — черноглазый, чернобровый и, как мел, белый, а в щеках словно розовые листочки врезаны.

— Видишь?

— Вижу.

Кто-то вздохнул, и все пропало.

И всю ночь в трубе был воп и плач.

3

Целовальник наутро не ушел, а, как всегда, отворил кабак — хотел еще зашибить копейку. Но попался: нагрянул дистаночный и жестоко оштрафовал.

Тут только он схватился и сейчас же сдал должность.

И уж больше не целовальник, купил он на награбленные деньги постоялый двор, перестал пить и сделался набожным человеком.

1914 г.

МАГНИТ-КАМЕНЬ

Шел улицей старец по духовному делу и повстречал молодых: парня с молодой хозяйкой. Загляделся старец на молодуху, — сколько жил он на белом свете, сколько видывал всяких, а такой не видел.

— Где, добрый молодец, ты такую красавицу взял?

— Господь дал, дедушка.

— Может ли это быть... Дай-ка я помолюсь, даст ли?

— Даст и тебе, дедушка.

С тем и попрощались. Молодые пошли по своим делам, а старец повернул в свое скитное место.

И круглый год молился старец Богу, просил Бога дать ему такую красавицу, как тому встречному счастливому парню. А был старец великой веры, и молитва его была горяча и чиста и неустанна.

Случилось о ту пору, задумал царь царевну замуж выдавать и кликнул царь клич по всему царству, чтобы охотники ко дворцу явились смотреть царевну. А была царевна такая красавица, краше ее и не было.

Дошел клич и до старца. В последний раз помолился старец и вышел из своего скитного места и прямо к царскому дворцу. Подходит к воротам и просится в палаты с царем поговорить. Доложили часовые, и велел царь пустить к себе старца.

Пал старец перед царем на колени.

— Что ты, дедушка? — спрашивает царь.

А старец подняться сам уж не может, стар очень.

Поднял его царь, усадил с собой. Отдышался старик.

— Ну, что же ты, дедушка?

— Да вот наслышался про вашу дочку-царевну, свататься пришел. Отдадите или нет?

Слушает царь, ушам не верит. Что за притча? Сперва-то даже страшно стало: не указание ли какое? Стал расспрашивать старика, откуда он и какой жизни. И рассказал ему о себе старец, как от юности своей ушел он от мира и в чистоте прожил в трудах скитских.

Видит царь, старик жизни хорошей, и говорит ему:

— Послушай, Федосей, человек ты толковый, до таких лет дожил, дай Бог каждому, сам ты понимаешь, ну куда тебе жениться?

А старик одно свое заладил, и ничем его не собьешь и никаким словом не остановишь: пришел царевну сватать, да и только.

— Я с дочери воли не снимаю, — говорит царь, — ступай к ней: как она скажет, так и будет.

Простился старец с царем, и провели старика к царевне в палату.

— Что тебе, дедушка, надо? — спросила царевна.

— Да вот сватать вас пришел. Пойдете или нет?

Переглянулась царевна с сестрами и говорит:

— Подумаю, — говорит, — выйдите на немного в прихожую.

Вышел старец. Стоит у двери, дожидается, а сам думает:

«Господи, неужели по молитве моей не дастся мне!» — и вспоминает, как тот парень сказал: «Дастся и тебе!»

А уж от царевны требуют.

— Ну, что, царевна?

— Я пойду за тебя, — говорит царевна, — дай только отсрочки с добром справиться!

А сестры ее тут же стоят и смеются.

— А сколько, царевна?

— На три года.

— На три года! Да я до той поры умру, царевна. Нет, либо нынче, либо завтра свадьба.

— Ну, хоть на два года, — просит царевна.

Старик не сдается.

— Ну, хоть на год!

— На три недели, царевна.

— Ладно, — согласилась царевна, — только так просто я за тебя не пойду, а достань ты мне магнит-камень, тогда и пойду.

А сестры ее тут же стоят и смеются.

Попрощался старец с царевной и пошел себе из дворца.

Не то, что достать, а он с роду родов не видывал, какой это магнит-камень.

Вышел старец в чистое поле, стоит и повертывается на четыре стороны.

— Господи, даешь мне царевну, а где я магнит-камень найду?

И видит, в стороне леса чуть огонек мигает. И пошел он на огонек. Шел, шел, — а там келейка стоит. Постучал — не отзываются, отворил дверь — нет никого. И вошел в келейку, присел на лавку, сидит и думает:

«Где же я магнит-камень найду?»

И отвечает ему ровно бы человечьим голосом:

— Эх, Федосей, выпусти меня, я тебе магнит-камень достану.

— Кто ты?

— Все равно не поймешь, зачем тебе.

— Где же ты сидишь?

— В рукомойнике; выпусти, пожалуйста.

Старик думает, чего же не выпустить, коли магнит-камень достанет! Да насилу отыскал рукомойник: от старости-то очень глазами слаб стал.

И выпустил, — словно что-то выскользнуло, — не то мышь, не то гад.

Бес разлетелся с гуся и улетел.

«Ну, — хватился старик, — чего это я наделал!»

А уж тот назад летит, и камень в лапах.

— Вот тебе, получай!

Осмотрел старец камень, потрогал, — вот он какой магнит-камень! А сам себе думает: «Как же так, освободил он нечистую силу, и за то в ответе будет!» И говорит бесу:

— Вот ты такой огромный, гусь, а залез в такую малую щёлку?

А бес говорит:

— Да я, дедушка, каким хочешь могу сделаться!

— Ну, сделайся мушкой.

И вот бес из гуся стал вдруг мухой, самой маленькой мушкой.

Старец инда присел: не упустить бы.

— Пожужжи!

Бес пожужжал.

— Ну, полезай теперь на старое место, а я посмотрю, как это ты туда пролезешь...

Тот сдуру-то и влез. Влез, а старец его и зааминил.

Не с пустыми руками, с камнем — с магнитом-камнем пришел старец к царевне.

— Вот тебе, царевна, — и показывает камень.

Посмотрела царевна: магнит-камень!

— Ну, стало быть, судьба моя, собирайся венчаться.

А старец и говорит:

— Нет, царевна. Куда мне? Я год молился. Я только Господа исповедал. И теперь вижу, и больше мне ничего не надо. Прощай царевна.

И пошел в свое скитное место, доживать в трудах последние дни.

1914 г.

ЯЙЦО ЯГИНОЕ

1

Баба-яга снесла яйцо.

Куда ей? — не курица, сидеть нет охоты. Завернула она яйцо в тряпицу, вынесла на заячью тропку, да под куст. Думала, слава Богу, сбыла, а яйцо о кочку кокнулось — и вышел из него детеныш и заорал. Делать нечего, забрала его Яга в лапища и назад в избушку.

И рос у нее в избушке этот самый сын ее ягиный.

Ну, тут трошка-на-одной-ножке и всякие соломины-воромины и гады, и птицы, и звери, и сама старая лягушка

хромая принялись за него вовсю — и учили, и ладили, и тесали, и обламывали, и вышел из него не простой человек — Балдахал-чернокнижник.

А стоял за лесом монастырь и спасались в нем святые старцы, и много от них Яге вреда бывало, а Яга-баба на старцев зуб точила.

И вот посылает она свое отродье.

— Пойди, — говорит, — в Залесную пустынь, намыль голову шахлатым, чтобы не забывались!

А ему это ничего не стоит, такое придумает — не поздоровится.

И вот, под видом странника, отправился этот самый Балдахал в Залесную пустынь.

2

Монастырь окружен был стеною, четверо ворот с четырех сторон вели в ограду, и у каждых ворот, неотлучно, день и ночь пребывали старцы, разумевшие слово Божье: у южных — Василиан, у северных — Феофил, у восточных — Алипий и у западных, главных, — Мелетий.

Балдахал, как подступил к воротам, и затеял спор, и посрамил трех старцев.

— Кто переспорит, того и вера правей! — напал нечестивый на последнего, четвертого старца у ворот главных.

И день спорят, и другой, и к концу третьего дня заслабел старец Мелетий.

Замешалась братия. И положила молебен отслужить о прибавлении ума и разумения. Да с перепугу-то, кто во что: кто Мурину от блуда, кто Вонифатию от пьянства, кто Антипе от зуба. Ну, и пошла завороха.

А уж Балдахал прижал Мелетия к стене и вот-вот в ограду войдет и тогда замутится весь монастырь.

3

Был в монастыре древний старец Филофей, прозорливец, святой жизни. И как на грех удалился старец в пус-

тынное место на гору и там пребывал в бдении, и только что келейник его Митрофан с ним.

Видит братия, дело плохо, без Филофея ума не собрать ниоткуда, и пустилась на хитрость, чтобы как-нибудь дать знать старцу, сманить с горы. А случилось, что на трапезу в тот день готовил повар ушки с грибами. И велено ему было такой ушок сделать покрупнее да с грибом вместе письмо запечь, да, погодя, поставить в духовку, чтобы закалился.

И когда все было готово, подбросили этот каленый ушок к главным воротам на стену перемета.

И вот, откуда ни возьмись, орел — и унес ушок.

4

Старец Филофей сидел в своей нагорной келье, углубившись в Святое Писанье. А келейник прибирал келью, понес сор из кельи, глядь — орел кружит. И все ниже и ниже и прямо на Митрофана, положил к ногам ношу и улетел.

— Что за чудеса! — со страхом поднял Митрофан ушок каленый да скорее в келью к старцу.

И как раскрыли, а оттуда письмо, и все там прописано о старцах и о Балдахале.

«Хочет проклятый обратить нас в треокаянную веру! Соблазнил трех старцев, за Мелетия взялся, и ему несдобровать».

— Что ж, идти мне придется, что ли? — сказал старец.

— Благословите, батюшка, я пойду! — вызвался келейник.

— Под силу ли тебе, Митрофан? — усумнился старец, — а ну-ка, давай испытаю: я представлюсь нечестивцем Балдахалом и буду тебя совращать — толковать Писание неправильно, а ты мне говори правильно.

Митрофан крякнул, подтянул ременный пояс и ну вопрошать старца. И, ревнуя о вере, в такой пришел раж, всего-то исплевал старца, и, подняв персты, ничего уже не слыша, вопил:

— Победихом!

Немалого стоило старцу унять его.

Опомнившись, с рыданием приступил Митрофан к старцу, прося прощение.

Старец сказал:

— Бог простит. Это знамение, — победишь проклятого!

И, благословив на прю, дал ему кота, зеркальце да зерен горстку.

— Гряди во славу!

5

С котом под мышку вышел Митрофан на великую прю.

А Балдахал давным-давно прикончил с Мелетием, вошел в ограду, да в монастырских прудах и купается.

— Пускай-де с меня сойдет вся скверна: упрел больно с дураками!

Услышал это Митрофан и тут же, на бережку, расположился, достал кувшин, напихал в него всякой дряни, да и полощет: обмыть старается. А ничего не выходит, все дрянь сочится.

Балдахал кричит:

— Дурак, в кувшине сперва вымой!

Задело Митрофана:

— А ты чего лаешь, сам себе нутро очисти!

— Экий умник, — рассмехнулся Балдахал, — тебя только недоставало.

Вылез из прудов и, в чем был, книгу в охапку да к Митрофану.

И началась у них пря.

И с первых же слов стал нечистый сбивать с толку Митрофана. Растерялся было Митрофан и видит — мышка указывает усиком Балдахалу по книге. Митроха за кота: выпустил Варсофония. Варсофоний за мышкой — и пошел уж не тот разговор. Да не надолго. Опять нечистый взял силу. И видит Митрофан — голубь ходит по книге, лапкой указывает Балдахалу. Митрофан за зерно, посыпал зернышка — и пошел голубь от книги, ну клевать, наклевался, отяжелел и ни с места. И Балдахал запнулся. Да вывернулся проклятый. И не знает Митрофан, что ему и делать: ни

слов нет, ни разуму! И вспомнил тут о зеркальце, вытащил его, да как заглянет — и сам себя не узнал: откуда что взялось! Балдахал только глаза таращит, и вдруг поднялся над землею и понесся. Осенил себя Митрофан крестным знамением и за ним вдогонку, только полы раздуваются да сапог о сапог стучит. И занеслись они так высоко — к звездам, там где звезды вертятся, и не дай Бог коснуться: завьют, закрутят и падешь, как камень.

— Эй, — кричит Митроха, — гляди, не напорись!

— А что там? Что такое?

— А вот подбрось-ка туда космы.

Балдахал сграбастал пятернею свои космы да и подбросил — и хоть бы волосок на голове остался, гола, что коленка.

«Ну, слава Богу, хоть голова-то уцелела!»

И раздумался. Видит, что враг — добрый человек: предостерег! И удивился.

Тут его Митрофан и зацапал, и повел в заточение.

6

Кельи в монастыре стояли без запора — так и по уставу полагалось, да и не к чему было: разбойники братию не обижали. И только одна казна книжная под замком держалась, чтобы зря книги не трогали да не по уму не брали. В эту казну книжную и заточил Митрофан Балдахала.

И там трое суток держал его, нечистого, без выпуска.

В первый-то день, как завалился Балдахал на книги, так до полудня второго дня и дрыхнул без просыпа, а потом, надо как-нибудь время убить, взялся перебирать книги. И вот в одной рукописной — подголовком ему служила — бросилось в глаза пророчественное слово.

А написано было, что в некое новое лето явится в Залесную пустынь нечестивец, именем Балдахал, и обратит в свою треокаянную веру четырех привратных старцев — Мелетия, Алипия, Феофила, Василиана, а с ними замутится братия, и один лишь келейник святого старца Филофея, Митрофан, смирит его.

Вгляделся Балдахал в буквы, потрогал пергамен, понюхал — времена древние, и устыдился.

«И чего я такое делаю, окаянный!» — и давай жалобно кликать.

И когда на клич его жалкий наутро третьего дня пришел Митрофан и с ним старцы и братия, посрамленная от нечестивого, пал Балдахал пред ним на колена, раскаялся и обратился к правой вере. И перед лицом всего собора дал крепкую клятву переписать все книги, загаженные им в заточении, и новую написать во осуждение бывшего своего нечестия.

В лес же к Яге больше не вернулся, трудником в монастыре остался Балдахал жить при сторожке.

1915 г.

СПРЫГ-ТРАВА

Затеял один дошлый на Ивана-Купалу спрыг-траву искать — цвет купальский. Известно, сами морголютки неладные и те тогда ладно жить с тобой будут!

Вымылся он в бане, надел чистую рубаху, достал белый платок, да с платком, как стемнело, и пошел в лес. И в лесу там на поляне очертил три круга, разостлал под папоротником платок, присел, ждет, что будет.

Вот слышит, шум по лесу, треск, какие-то звери дерутся, а там стук, чего-то делают, и словно земля вся начинает кончаться, и вдруг набежал вихорь страшный — приблизилась полночь.

И ровно в полночь тихо папоротник расцвел, как звездочка.

И стали цветки на платок падать, и насыпало много, как звездочки.

Тут зря зевать не годится, завязал он цветы в узелок, но только что ступил, откуда ни возьмись медведи, начальство, саблями так и машут.

— Брось, — кричат, — а то голову долой!

И за руки хотят схватить.

И вдруг война началась, такая пошла резня — беда! Из пушек палят, раненые валятся.

— Из-за тебя проливаем кровь! Брось!

И появилась высокая каменная стена, и воткнуты в стене копья прямо перед глазами, того и гляди, выколют глаз. И стала земля проваливаться, и остался он на одной кочке. Все водой заливает — буря страшная, волны так и хлещут. Снег пошел.

Тонет народ, кричит, просят бросить цветок.

— А то, — кричат, — измаялись наши душеньки!

И вдруг, видит, запылала деревня, и дом свой видит, — горит, и какие-то черные с крючками топочут вокруг.

— Не пускай! Не пускай его! Пускай горит!

А ветер так и воет, подкидывает бревна, несет головни, вся земля горит.

Не жив, не мертв, дрожкой дрожит, а держит узелок, не выпускает из рук — будь, что будет! А они, черные, уж так и этак стараются достать его: крючки закидывают, да не могут, — за кругом стоят.

И рассвело. Солнце взошло. Слава Богу, миновалось. Он и пошел из лесу, а лес зеленый, птицы поют — заслушаешься.

Шел, шел, — узелок в руке держит.

Вдруг слышит, позади кто-то едет. Оглянулся, — катит в красной рубахе и на него, налетел на него, да как жиганет со всего маху, узелок из рук и выпал.

Смотрит, — ночь, как была ночь. И нет ничего, один белый платок под папоротником лежит, а сам он, как есть мокрый: купальская росная была ночь.

1914 г.

БАННЫЕ АНЧУТКИ

Во всякой бане живет свой банник. Не поладишь, — кричит по-павлиньи. У банника есть дети — банные анчутки: сами маленькие, черненькие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка, а женятся они на

кикиморах, и такие же сами проказы, что твои кикиморы.

Душа, девка бесстрашная, пошла ночью в баню.

— Я, — говорит, — в бане за ночь рубашку сошью и назад ворочусь.

В бане поставила она углей корчагу, а то шить ей не видно. Наскоро сметывает рубашку, от огоньков ей видно.

К полночи близко анчутки и вышли.

Смотрит, а они мохнатенькие, черненькие у корчаги уголья, у! — раздувают.

И бегают, и бегают.

А Душа шьет себе, ничего не боится.

Побоишься! Бегали, бегали, кругом обступили, да гвоздики ей в подол и ну вколачивать.

Гвоздик вколотит:

— Так. Не уйдешь!

Другой вколотит:

— Так. Не уйдешь!

— Наша, — шепчут ей, — Душа, наша, не уйдешь!

И видит Душа, что и вправду не уйти, не встать ей теперь, весь подол к полу прибит, да догадлива девка, начала с себя помаленьку рубаху спускать с сарафаном. А как спустила всю, да вон из бани с шитой рубахой и уж тут у порога так в снег и грохнулась.

Что говорить, любят анчутки проказить, а уж над девкой подыграть им всегда любо.

Выдавали Душу замуж. Истопили на девишник баню и пошли девки с невестой мыться, а анчутки — им своя забота, — они тут-как-тут, и ну бесить девок.

Девки-то из бани-то нагишем в сад и высыпали на дорогу и давай беситься: которая пляшет, да поет что есть голосу не-весть-что, которые друг на дружке верхом ездят, и визжат и хоркают по-мериначьи.

Едва смирили. Пришлось отпаивать парным молоком с медом. Думали, что девки белены объелись, смотрели, — нигде не нашли. А это они, это анчутки ягатые, нащекотали усы девкам!

Дурная молва пошла, перестали баню топить.

Приехал на ярмарку кум Бублов печник, сорвиголова, куда сама Душа! Вздумал с дороги попариться, его стращают, а ему чего — Бублов! — и пошел в баню.

Поддал, помотал веник в пару, хвать — с веника дождик льет, взглянул, а он в сосульках. Как бросит веник, да с полка хмыль из бани, прибежал в горницу.

— Ну, говорит, — теперь верю, что у вас за баня.

— Это тебе, кум, попритчилось, видно! — смеются.

Ну, при честном народе рассиживаться нагишом не очень годится, сходили в баню за Бубловой рубахой и штанами, принесли узелок. Развернули, а они все-то в лепетки изорваны. Так все и ахнули.

Вот, они какие, анчутки банные.

А малым ребятам они ничего не делают, и днем при них не скрываются, по своим делам ходят, как при своих, черненькие такие, мохнатенькие, ноги ежиные, а голова гола, что у татарчонка.

1914 г.

НУЖДА

Первое, видеть надо и все узнать... не узнаешь — не почувствуешь, не почувствуешь — не откликнешься, не откликнешься — не будешь свой, не будешь свой — изомрешь.

Рос царевич до всего вострый и чтобы все самому, задумал царство объездить, всю державу выведать — и кто как живет и кому чего надо, чтобы верою править и правдой судить.

Слушает, бывало, царь мальца, не натешится — и в кого такой зародился! — то-то горазд.

— Я, батюшка, все сам хочу знать! — скажет и смотрит, и так, ровно уголечки глаза горят: дай подрастет, будет первым царем, не пропадет с таким русское царство.

Отпускал царь царевича — сына, куда ему любо: пускай ездит один по белому свету. Только что Тимофей с ним, кучер.

Вот раз въезжает царевич на тройке в село под Москвою.

А морозило крепко и от мороза не только что люди, шавки и те попрятались все по конуркам, а от коней так пар и валит. И видит царевич, на краю дороги мужичонко дрова рубит, вот как резко рубит — лицо от морозу разгорается, а видно, не может согреться, уж очень одежонка-то худа.

— Бог помощь тебе, крещеный!

— А спасибо ж, царевич.

— В такую стужу ты рубишь?

— Не я, царевич, нужда рубит.

Царевич к Тимофею:

— А что, Тимофей, какая это нужда? Ты ее знаешь?

Усмехнулся во весь рот царский кучер, инда с бороды сосульки поскакали, а пар лошадиный пошел.

— Запамятовал что-то... Нам харчи сытные.

— Какая же это нужда? — соскочил царевич с саней да к мужичонке, — где она у тебя, мне бы ее поглядеть!

— На что тебе, царевич, и не дай Бог с ней познаться!

— Нет, мне ее надо видеть!

А там в чистом поле на бугрине стояла со снегом былина.

— А вон, царевич, на бугрине стоит! Эвона как от ветру шатается.

— Веди нас, покажи.

— Можно, — положил мужичонко топор, прикрыл ветками.

Вот сели на тройку и поехали в чистое поле глядеть нужду. И скоро выехали на бугор, миновали былину, а за нею там дальше другая стоит.

— Где же нужда?

— А вон — вон за тою былиной... Только ехать нельзя: снег глубок.

Царевич соскочил с саней.

— Покарауль-ка, крещеный, пойду погляжу.

И пошел, ну и Тимофей за ним, — царская служба, — нельзя.

И полезли по снегу: былину пройдут, другая маячит, к другой подойдут.

— Где же нужда?

А мужичонко стоял и стоял у саней, караулил. Иззяб, окоченел весь бедняга, ну, взял, да и выстегнул царскую тройку, сел, — только и видели.

Все по сугробу, да по сугробу, полазали вот как царевич с Тимофеем, и все попусту, нет нигде нужды, не оказывалась.

— Где, где она, эта нужда?

Уж смеркалось, пора было домой возвращаться, и повернули назад. Едва-едва на дорожку выбрались, хвать, а лошадушек и след простыл.

Эка беда! Что делать? И сани бросать не годится: за царское добро Тимофей в ответе.

— Впрягайся в корень, а я на пристяжку! — говорит царевич.

А Тимофей думает себе: так не годится.

— Так не годится, я простой человек, тебе царевич, в корень, а я на пристяжку.

Запряглись и поехали. Везут и везут, повезут и привстанут.

А тот мужичонко — не промах — поприпрятал лошадушек царских, да на дорогу, и пошел им навстречу.

— Чтой-то ты, царевич, санки на себе везешь?

А царевич из сил выбился, уж не смотрит.

— Уйди! Это нужда везет.

— Какая это нужда?

— Ступай, там вон в поле на бугрине!

А сам везет да везет.

Едва до села добрались. Тимофей на что крепок — царский ведь кучер! — и тот уморился. Слава Богу, наняли на селе лошадей. И приехали домой в Москву на троечке — на чужих.

Спрашивает царь:

— Чьи ж это лошади?

А царевич ему:

— Батюшка, я нужду увидел, лошадушек потерял!

Вот он какой — сам нужду увидел! А станет царем, будет первым царем, царь первый Петр.

1915 г.

МОРОКА

1

Служил один солдатик двадцать пять лет царю верой и правдой, а царя в глаза не видал. Пришел срок, получил солдат отставку и пошел домой.

Выходит он из городу и раздумался:

«Что я за дурак за солдат, двадцать пять лет верой и правдой царю служил, царя не видал. Спросят про царя, что я скажу?» — взял да и повернул назад в город и прямо к царским палатам.

У ворот сторожа.

— Куда, земляк, идешь? — остановили.

— А вот, земляк, царя посмотреть: двадцать пять лет царю служил, царя в глаза не видал.

Доложили царю про солдата. И велел царь позвать солдата к царю на лицо.

— Здравствуй, земляк!

— Здравия желаю, ваше царское величество.

— Что тебе, земляк, нужно?

— Лицо ваше царское посмотреть: двадцать пять лет царю прослужил, царя не видал.

Царь посадил солдата на лавку.

— А что, — говорит, — солдатик, загану я тебе загадку: сколь, солдатик, свет велик?

— А не очень, ваше царское величество, свет велик: в двадцать четыре часа солнышко кругом обходит.

— Правда, солдат! А сколько от земли до неба высоты?

— Не очень, ваше царское величество, от земли до неба высоко: там стучат, здесь слышно.

— Ладно. А загану я тебе третью загадку: сколько морская глубина глубока?

— Ну, ваше царское величество, там неизвестно: был у нас дед семидесяти лет, ушел на тот свет, — и теперь его нет.

— Правда, солдат!

Понравились царю ответы, и дал царь солдату в награ-

ждение четвертной билет. Попрощался солдат, да прямо от царя в трактир.

Сутки погулял — десять золотых прогулял. Жалко стало солдату царской награды.

— Вот, — говорит трактирщику, — на тебе мой четвертной билет, я пойду тебе золота добывать.

И пошел солдат на базар, купил морковь, сделал десять золотых, и назад в трактир, подает трактирщику.

— Получайте!

Трактирщик золото принял, четвертную солдату отдал, а золото в шкатулку спрятал. Солдату тут бы и уйти с Богом, а он, нет, у трактирщика околачивается. Вздумал трактирщик проверить шкатулку, хвать, а там не золото, а кружки морковные. Трактирщик кружки в карман себе сунул да из трактира, в чем был, так и выскочил, да солдата за шиворот и прямо к царю. И приносит царю на солдата жалобу, что прогулял солдат десять золотых, а отдал десять морковных кружочков.

— Ваше царское величество, велите ему показать, чем я разделался!

Трактирщик и вынимает из кармана — ан не морковь, а золото — как золото из чекану.

— Видите, ваше царское величество.

Царю то уж больно понравилось, отпустил царь трактирщика в трактир и говорит солдату:

— Молодец-солдат, сядь-ка, побеседуй со мной.

2

Присел солдатик на лавку, ждет царской воли.

— Ну-ка, солдатик, пошути ты и надо мной шутку, да легоньку.

— Могу, ваше царское величество! — и просит царя на диван пересесть.

Послушался царь солдата, пересел на диван.

— А который будет час, ваше царское величество?

— Первый в начине, — сказал царь.

И вдруг дверь — у-у-ух! — полна палата воды: затопило царя на диване по шейку, — и ударился царь из палат

своих бежать, а на дворе ему вплавь. Куда тут деться? Ухватился он за лестницу и ну карабкаться. И покрыла матушка-полая вода все леса темные. Сидит царь на конечке, захлебывается. Тут откуда ни возьмись лодка, — бряк в лодку. Поднялся ветер и унесло царя Бог знает куда.

Стала вода понемногу пропадать и пропала. И крепко захотелось царю поесть. Идет старуха, несет булочки.

— Пожалуй, бабушка, сюда, — говорит царь, — продай мне булочку.

— Ох, ваше царское величество, булочки-то больно жестки, ночевочки, нате подержите, я вам мяконьких принесу.

Царь у старухи взял булки, держит, думает себе:

«Слава Богу, хоть что-нибудь!» — очень проголодался.

И только что хотел отщипнуть кусочек, идет надзиратель Борисов.

— Чего, — говорит, — ты тут держишь?

— Булочки.

— Ну-ка, я посмотрю.

Царь разжал руку, глядь — человечьи головы.

Борисов его цоп — в часть.

До утра в части просидел, а там и суду предали, да в острог. И пока искали да разыскивали, натерпелся в остроге-то. И дознались, судили и засудили: приговорили к наказанию и навечно в каторгу.

«Ох, солдат, солдат, что надо мною сделал!»

Везут царя, а палач только усмехается.

И привезли на площадь, раздели, поставили. Взял палач двухвостный кнут...

— А, батюшки! — как закричит царь.

Тут вбежали в палату сторожа-приближенные, смотрят: сидит царь на диване, а против царя солдат на лавке.

— Ну, спасибо, солдат, пошутил ты надо мной хорошо!

— А посмотрите-ка, ваше царское величество, который час?

Царь-то думает, что времени с год прошло, а всего-то один час прошел.

И попрощался царь с солдатом, отпустил его на все четыре стороны.

3

Приходит солдат в деревню. У околицы народ стоит кучкой.

— Мир вашему стоянию, пустите ночевать!

— Пойдем ко мне, солдатик, — выискался старик.

Ну, и пошел солдат за стариком. Пришли в избу, дед и спрашивает:

— А не умеешь ли ты сказки сказывать?

— Можно, дедушка.

— Ну-ка, скажи.

— А что тебе одному сказывать, чай у тебя есть семейка?

— Есть, солдатик, два сына, две невестки.

— А вот и хорошо, когда придут в избу, все и послушают.

Сошлись сыновья и невестки, сели ужинать, поужинали, да и спать.

Лег дедушка с солдатом на полати.

— Ну-ка, солдатик, скажи сказку-то!

— Эх, дедушка, сказки-то я ведь не хорошими словами сказываю, а вон невестки сидят.

Старик перегнулся с полатей.

— Невестки, живо спать!

Невестки деда послушали, постельки постелили и спать легли.

— Ну, солдатик, скажи теперь! — уж очень деду хочется сказку послушать.

— А что я тебе скажу, дедушка! Посмотри-ка хорошенько, кто мы с тобой? Ты-то — медведь, да и я-то медведь.

Ощупался дед, пощупал солдата: так и есть — и сам-то медведь, и солдат-то медведь.

— Медведи, солдатик.

— То-то и оно-то, что медведи, дедушка, и нечего нам на полатях разлеживаться, надо в лес бежать.

— Известно, в лес! — согласился дед.

— А смотри, дедушка, в лес-то мы убежим, а там охотники нас и убьют. И если, дедушка, тебя наперед убьют,

так я через тебя перекувырнусь, а если меня убьют, ты через меня кувыркайся, — будем оба живы.

Прибежали в лес, а охотнички тут-как-тут: грох в солдата — и убили. Дед стоит: что ему делать? бежать? — и его застрелят, и вспомнил, что перекувырнуться надо, перекрестился, да через солдата как махнет.

— А, батюшки! — закричал голосом старик.

Невестки повскакали, огонь вздули, а дед на полу лежит врастяжку: эк, его угораздило!

— Хорошо еще Бог спас! с этакой высоты!

Поднял солдат деда на полати — больше не надо и сказок! — и до света ушел.

1914 г.

КЛАД

Лоха был большой любитель до всяких кладов, и был у Лохи товарищ Яков, тоже под стать Лохе. Оба частенько на Лыковой горе рылись, но ничего никогда не находили.

Клад — с зароком, и нередко такой зарок кладется: тот клад добудет, кто не выругается нехорошим словом, — а русскому человеку нешто удержаться? ну, клад и не дается!

Раз Лоха пошел за грибами на Лыкову гору, набрал груздей, спустился с горы, дошел до родничка и присел отдохнуть. А было это пред вечером, уморился Лоха с груздями, сидит так — хорошо ему у родничка, отдыхает.

И видит Лоха, товарищ его Яков с сухими лутошками едет.

— Куда, брат, едешь?

— Домой.

— Возьми меня!

— А садись на заднюю-то лошадь.

Яков на паре в разнопряжку ехал с двумя возами.

Лоха повесил себе на шею лукошко с груздями, уселся, погоняет лошадку.

— Кум, — говорит Яков, — поедем ко мне горох есть. Василиса нынче варила. Уж такой, что твоя сметана.

— Поедем, кум.

Приехали к Якову, распрягли лошадей. Яков вперед в избу пошел, Лоха за ним.

Вошел Лоха в сени, двери-то в избу и не найти. Кричать — а никто голосу не подает. Вот он лукошко на землю поставил и стал шарить дверь. Бился, бился — нету двери. Начал молитву читать, а двери все нет, и молитва не помогает. Так руки и опустились.

И увидел Лоха вдали свет чуть пробивается, и будто в кузнице кузнецы куют. Поднял он с земли лукошко и пошел на свет.

Шел, шел, дошел до железной двери, отворил дверь — там длинный-предлинный подземный ход, а справа и слева очаги и наковальни, и кузнецы стоят.

Кузнецы большие, в белых, как кипень, одежах, и у каждого очага по три кузнеца: один дует мехами, другой раскаливает железо, третий кует.

Подошел Лоха к первым кузнецам — куют лошадиные подковы.

— Бог помочь вам, кузнечики.

Молчат.

Он к другим — шины куют.

— Бог помочь, кузнечики!

Молчат.

Он к третьим — куют гвозди.

— Бог помочь!

И эти молчат, только смотрят на него.

Ну, он дальше: дальше куют у каждого горна все разные вещи. Он уж ни с кем ни слова. И далеко прошел, уставать стал.

И вот откуда-то из побочного хода появился будто приказчик какой, распорядитель их главный, в кожаной одеже, сам смуглый, ловкий такой парень.

— Как ты, — говорит, — Лоха, попал сюда? Что тебе надо? Денег? Пойдем, я тебе их покажу.

— Нет, родимый, — Лохе уж не до денег, — ты меня лучше выпроводи отсюда, запутался я.

— Ну, вот еще! Я тебе наперед покажу, а потом и на дорогу выведу. Пойдем.

И пошел водить Лоху по разным ходам между кузнецами: то в тот переулок, то в другой, — так заводил, так замаял, могуты не стало.

— Бог с тобой, с твоими деньгами. Выпусти! — запросился Лоха.

— Сейчас! — да знай себе ведет, не остановится.

Наконец-то подвел к подвалу, повернул ключ в двери, отворил дверь — там лестница железная, весь подвал фонарями освещен и полн золота, серебра, меди, железа, стали и чугуна. И все, как жар, горит.

— Видишь, Лоха, богат-то я как! Хочешь золота, хочешь серебра? Бери сколько хочется.

— Да куда мне, родимый? Отпусти! Мне и взять-то не во что.

— Да вот голицу-то насыпай.

— Не донести мне.

— А ты от онуч веревки отвяжи, да и перевяжи рукавицу-то.

Лоха соблазнился: уж очень красно золото! — насыпал рукавицу золотом, а другую тот насыпал.

— Довольно, что ли?

— Спасибо, родимый. Дай тебе Бог здоровья на много лет.

— Ну, что там! Благодарить не за что. А ты вот что, ты с Яковом хлеба нам привези. Видел, сколько у меня работников, так их всех накормить изволь. Да, смотри, привези печеного, нам мукой-то не надо!

— Когда ж тебе, родимый?

— Да вот как первый урожай будет.

— Постараюсь, родимый.

— Не забудь же.

И повел, вывел его из подвалу да по коридорам, и к какой-то трещине. Тут и стал.

— Видишь, Лоха, свет?

— Вижу.

— Иди на него.

Лоха и пошел на свет-то, и чувствует, что на воздух вышел.

Осмотрелся, — что за чудеса! — сидит он у родничка, где отдыхать сел, и лукошко его с груздями, как поставил, так и стоит. Взглянул под ноги, а у ног его голицы связанные, пощупал — деньги. Себе не верит, развязал малость, запустил руку — золото.

Темно было, чуть заря.

Поднялся Лоха, вытряхнул из лукошка грибы, положил в лукошко голицы с золотом, прикрыл травой и пошел себе по дороге. Да улицами-то не шел, а с заднего двора и прямо к себе в амбарушку.

Рассветало уж.

Вынул он из лукошка голицы, да не развязывая — в короб, короб на замок, и вошел в избу.

— Где это ты пропадал столько? — спрашивает жена.

— Да чего, в лесу заплутался.

— Все тебя, все село, три дня искали, думали, без вести пропал. Эко дело какое с тобой случилось!

Поговорили, поговорили, дали поесть. Сильно проголодался Лоха, поел всласть, да опять в амбарушку, лег там под коробом и заснул.

И видит он во сне, явился к нему тот самый приказчик, распорядитель кузнечный, и говорит:

«Ни, Боже мой, никому не говори, что ты у меня был и золота взял. Ежели откроешь, худо тебе будет!»

Но Лоха не только что говорить или кому показывать, а с опаски уж и сам, как положил голицы в короб, так хоть бы раз посмотрел, какое там у него в коробу золото лежит. В амбарушку пройдет понаведаться, короб осмотрит, да назад в избу.

И, должно быть, заметили люди, что Лоха в амбарушке что-то прячет, что-то таит, о чем-то помалкивает.

Раз пришел Лоха в амбарушку, хвать, а короба-то и нет, — украли!

Украли его короб, нет золота, нет его клада.

Кто же украл?

Никто, как Яков-кум.

Лоха и объявил подозрение на Якова. Стали Лоху допрашивать, где Лоха золотые взял, он и открылся — забыл наказ! — все рассказал и про кузнецов и про золото.

И вернулся Лоха домой с допроса, заглянул в амбарушку, постоял, потужил, пошел в избу — тоскливо ему было, прилег на постель, лежит — ой, тоскливо! И чувствует Лоха, ни рукой ему двинуть, ни ногой не пошевельнуть, хотел покликать, а язык и не ворочается.

Так и остался. А какой был-то! — одно слово, Лоха.

1914 г.

ПУПЕНЬ

Рыли бабы понаслыху клад на валу, Алена да Анисья. И вырыли бабы пупень и вдруг от Ивана Предтечи — вал-то у церкви — гул пошел. С перепугу задрожали у баб руки — пупень в яму, сами присели. И видят, идет по валу старичок какой-то.

— Чего, — говорит, — вы, бабы, испужались?

Бабы ему в ноги:

— Не губи, клад роем.

Ну, старичок посмотрел, посмотрел, да и говорит:

— Да нешто так роют? Этому кладу пора ночная.

И наставил старичок баб на разум, зря чтобы на валу не рылись, а ждали Пасху и на Пасху, между заутреней и обедней запаслись бы красным яичком и, кто бы на валу ни показался, похристосовались бы, не пугаясь.

— Тогда сам выйдет!

Старичок пошел своей дорогой, а бабы достали из ямы пупень и по домам ждать Пасхи.

Протянулась осень, прошла зима, катит весна-красна, а с весною Пасха.

Еще на посту стало не до сна бабам: какой им такой клад выйдет!

Старичок-то учил, запастись по яичку, а они каждая себе по три выкрасили, подоткнулись и в передник положили: как тот появится, чтобы поскорее яйцо ему в руку сунуть — бери, отворяй клад!

Кончилась заутреня, бабы на вал и ну рыть. И уж заступ стал задевать за что-то: плита ли там чугунная, либо коте-

лок с золотом? И пошел вдруг гул от Ивана Предтечи — и гул, и зык, и рев. Оглушило баб, а земля ровно кисель под ними, так и трясется.

И видят, идет по валу, ой! медведь не медведь, козобан: рот — от уха до уха, нос, что чекуша, граблями руки, а глаза так и прядают. Идет, кривляется и гудит и гудит.

Стали бабы рядом, оперлись на заступ, в руках по яйцу: так вот сейчас и похристосуются.

А тот словно крадется — и медленно, медленно и прямо на них, да как рявкнет.

Выронили бабы яйца да бежать, да что есть духу, добежали до паперти, обе и обмерли.

Ну, тут добрые люди опрыскали баб святой водицей из колодезя: от усердия, думали, с бабами такое вышло. И опомнились бабы, и скорее домой.

«Бог с ним и с кладом, верно в землю ушел».

А какой котелок там был с золотом, какая плита чугунная!

И остались бабы, — не клад, а пупень.

1915 г.

КЛЕКС

Из всех дней первый — Пасха. В ту святую ночь стоит сама земля раскрытая.

Отправился Семен к заутрене, а идти ему было на погост мимо озера. Вот и идет он берегом, а там, на другом берегу, какой-то так к о л ы ш е к из воды лукошком что-то в лодку таскает.

«И кому в такую пору, — думает Семен, — в воде бултыхаться?»

Тут в колокол ударили, и тот вдруг пропал.

Перекрестился Семен, прибавил шагу, обошел озеро и прямо к лодке. А в лодке полно клексу.

«Эка невидаль, чешуя рыбья! Али взять?»

И набрал в карманы клексу и в церковь.

Хороша на Пасху служба, не ушел бы из церкви. Похристосовался Семен: «Христос воскрес!» — освятил пас-

ху и домой разговляться. Шел в обход озером мимо самого того места, а уж лодки не было: ни лодки, ни клекса. Так домой и вернулся.

Сел Семен за стол, закусил пасхи, да хвать за карман — вспомнил! — а там серебро звенит. Вот какой клекс был, серебряный!

И с той поры обогатился Семен.

И с той поры на озере, чуть тихий час, завоет кто-то жалобно... Ну, и Семена больше не заманишь к озеру, — на мешках сидит серебряных.

1915 г.

НА ВСЕ ГОСПОДЬ

НА ВСЕ ГОСПОДЬ

1

Жил Ипат не бедно, не богато, да пришло крутое время, и до того добился, что и питаться нечем стало. Жена, дети — что делать? И пошел он из села за тридцать верст на озеро рыбачить. И там, на озере, исправил себе балаган земляной и перевез на новое место жену и детей.

И так ему было горько на новом месте и жалко, — да так, стало быть, Бог дает! И положил он каждый день удить для жены и детей.

«Если на себя не заужу, то не буду есть!»

День удит, ночью Богу молится. И с месяц удил, зауживал на жену и детей, а на себя хоть бы раз попало. И дал ему Бог терпение, — за этот месяц он ничего не ел.

И вот выдался денек такой, заудил он две рыбки лишних.

«Слава Богу, сжалился надо мной Господь и мне дал. Нынче и я поем!»

Приходит с рыбой к балагану.

— Говори, жена, «слава Богу»!

— А что «слава Богу»?

— Я на себя заудил, две рыбки лишних попались, Господь на меня дал!

— Не на тебя это, я тебе еще родила два сына, на них Господь и дал.

— Ну, придется и опять не евши. Слава Богу, что родила благополучно.

И трое суток еще удил, заужал на жену и детей, а на себя нисколько. Трое суток кончилось, пора бы ребят крестить.

— Надо ребят крестить, пойду на село к попу!

И поутру пошел, оставил жену с детьми на озере в балагане.

2

Встречу попадает Ипату молодец.

— Куда, Ипат, идешь?

— А родила у меня жена два сына, надо крестить.

— Возьми меня в кумовья.

Посмотрел Ипат через правое плечо.

— Нет, ступай уж… И без тебя потонул я в грехах.

А тот как захохочет, да в сторону.

— Ишь, какой!

Нечистый был это дух.

Отошел Ипат немного, идет молодец чище того.

— Куда тебя, Ипатушка, Бог несет?

— Жена родила два сына, иду к попу, надо окрестить.

— Возьми меня в кумовья.

Посмотрел Ипат через правое плечо, видит, хорошей души.

— Ладно, покумимся.

— На тебе три золотых, — подал кум, — даром поп на своей лошадке не поедет. Отдай ему золото, а я пойду к твоей жене.

А это был ангел. За терпение человеку послал его Господь.

Не долго шел Ипат, за какой час в село поспел к попу.

— Батюшка, я до твоей милости… жена у меня родила два мальчика, а живу я нынче в балагане на озере за тридцать верст, надо бы мне их окрестить. Я до твоей милости.

Посмотрел на Ипата поп.

— А ты б их склал в полу, притащил сюда, я бы их и окрестил. Мне тащиться такую даль не рука!

И вышел в горницу.

Тут Ипат три золотых на столик, мнется.

— Ты чего? — выглянул поп.

А на столике золото так и блестит.

Поп как увидел золотые и сейчас же стряпке: «Станови самовар!» — а кучеру: «Лошадь запрягай!»

— Ну, Ипат, чайку напьемся, поедем, окрещу тебе ребят.

— Нет, батюшка, чаю твоего не буду пить. Ты чаю напьешься, поедешь и меня нагонишь, я пойду пешком.

3

Поп пожалуй только еще из двора пошевелился, уж Ипат пришел на озеро. Смотрит: проруби его, а где балаган? Нет балагана, а на том самом месте стоит дом каменный и круг дома цветы расцвели.

Удивился Ипат.

«Али неладно пришел?»

А ему навстречу из дому старшие дети бегут.

— Кто этот дом построил?

— Пришел к нам какой-то молодец, вдруг все появилось.

Ипат за детьми.

В новом доме кум сидел на лавке.

— Что, Ипат, загрустил?

— А что, кум, непременно поп раздумал. Сколь я дорогой оглядывался, все нет, не догоняет.

— Скоро будет! — утешил кум.

А поп тут-как-тут. Остановил лошадку.

Что за причина? Звал его Ипат в балаган, а, на-кась, дом каменный!

«Али неладно приехал?»

И повернул, было, лошадку назад ехать.

— Иди скорей, Ипат, зови батюшку! — говорит кум.

Ипат на крылечко вышел. Поп увидал Ипата.

— Ах, Ипат! Как поживаешь? Домик-то какой сострои, этакого и на селе нет!

— На все Господь.

И повел Ипат попа в дом.

4

— Ты, Ипат, поди в кладовую, — посылает кум, — три поклона положь, там стоит купель. А я за водой пойду, мне, брат, это полагается.

Ипат нашел кладовую, положил три поклона. Дверь сама ему отворилась. Там стоит купель золотая и купель серебряная. Он их вытащил в горницу, поставил середь горницы.

Кум с водой поспел, налил полну купель золотую и серебряную, велит за детьми сходить, детей принести.

Пошел Ипат и скоро вернулся один. Испугался.

— Сходи, кум, сам принеси, руки не подымаются!

— Экой, ты! — и пошел: одного взял на руку, другого — на другую, принес детей.

Один — в золотой ризе, другой — в серебряной.

Поп, как увидел, и оробел.

— Подобает ли крестить таких?

— Открой книгу, — сказал кум, — гляди, какой сегодня день ангела, и крести!

Сам снял с них ризы, подал их попу.

Поп посмотрел в книгу, назначил имена им.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Кум передал их Ипату.

— Снеси жене и по три поклона за них положь.

А сам из купели воду вылил, из золотой и серебряной, и опять поставил середь горницы.

Вернулся Ипат от жены.

— Неси купель, — говорит ему кум, — а выйдешь из кладовой, три поклона положь.

Поп глядит и в толк не возьмет, что они это такое исправляют.

А Ипат снес купель золотую и серебряную, да к куму.

— Нет ли, — говорит, — чем попа угостить? За тридцать верст приехал, небось есть захотел.

— А поди, Ипат, вон к той кладовой, — учит кум, — три поклона положь, там на столике все приготовлено, тащи сюда.

Пошел Ипат, положил три поклона. Дверь сама ему отворилась. Там на престоле всего довольно. Постоял, посмотрел, а взять не взял, не решился.

— Кум, — вернулся Ипат, — нельзя ли нам, чем таскать-то, за этим престолом угоститься?

— Можно; иди, батюшка, с нами.

И втроем пошли в кладовую. И там угощались и поздравляли.

— Батюшка, — поднялся кум, — тебе домой пора, засиделись долгонько.

— Не очень-то, — ответил поп, — часа, поди, три прошло, не больше.

— Нет, батюшка, ты у нас в гостях три года: три зимы прошло, три лета. Там тебя без вести потеряли и на твоем месте другой уж служит.

— А нельзя ли мне с вами еще пожить? — попросился поп: больно уж приглянулось ему.

— Ступай на свое место, — сказал кум, — недостоин ты жить здесь. И знай наперед: хочешь свою душу спасти, так ты, что дадут тебе, только то и бери… слышишь? Слепых на ум наставляй, чтобы они Бога могли признавать.

И проводили попа домой.

— Тебе от Божьего храма не откажут! — утешил кум попа.

Так и распрощались.

5

— Кум, — сказал Ипат, — мое дело — не легкое: ты уйдешь, останусь один, чем я буду детей пропитывать?

— А есть тут еще кладовка, в этой кладовке лежит мешок большой, лопата и кирка, неси сюда.

Пошел Ипат, принес мешок, кирку и лопату.

— Вот жене твоей, — сказал кум, — тут на пропитание всего довольно будет. А ты со мной пойдем.

И повел его с озера не путем, не дорогою, – диким местом Уралом.

И так его вел, что тот на себе все порвал, и с тела кровь на нем ручьями льет. Все терпел.

— Кум, — стал Ипат, — за тебя, гляжу, ничто не задевает, а я на себе все прирвал, мне трудно за тобой идти.

— Эх, Ипат, Господь не то терпел, а ты что не можешь терпеть: что кровь бежит?

И завел его в пещеры.

Там свечи горят.

— Что же это, к чему свечи горят?

— Это наша жизнь продолжается: который человек родится, тому становится свеча. Если может кто сто годов жить, сто годов горит и его свеча.

— А которая моя свеча?

— А вон, гляди, свеча сейчас потухнет и жизнь твоя нарушится.

— Кум, у меня дети малые…

— Жизнь твоя — короткая. Дойдешь домой, — хорошо, не дойдешь… Иди скорей, может, поспеешь.

Побежал Ипат. Добежал до озера, где оставил каменный дом. А дома-то уж нет, балаган стоит земляной.

— Жена, дай мне рубашку беленькую, мне теперь помирать.

Обрядился, лег под святые, благословил детей, перекрестился…

— Здравствуй, Ипат, Христос воскрес!

Кум… не кум стоит, ангел Господень.

1915 г.

ГОЛОВА

Трудился один пустынник, и был у него сын на возрасте, вместе с отцом трудился. И жили они в чистоте, мирно, за мир Бога молили. И случилось одному разбойнику проходить лесом мимо их избушки, вздумал разбойник отдохнуть от своего разбою, постучался в избушку, его и пустили.

Подзакусил разбойник, обогрелся и стал на отдых готовиться, да казну свою понаграбленную и развалил среди пола.

Пустынник все это видел, позвал сына, вышли они во двор, и говорит старик сыну:

— Сынок, давай разбойника этого удавим. Деньги наши будут.

— Эх, батюшка, — говорил сын, — мы тридцать лет с тобой трудимся, да это дело делать будем!

Разбойник к ночи ушел и казну свою всю унес. А наутро идет отец с сыном в лес, глядь, а разбойник-то висит, — удавили! Видно, лихой человек и своего брата не пощадил.

И опять стали трудиться отец с сыном, только не то стало, — затосковал сын и отпросился у отца на богомолье сходить.

Идет парень по дороге, а за ним вслед голова катится, нагнала его и говорит:

— Молодец, айда, куда я тебя поведу!

Оторопел парень, признал голову.

— Погоди, — говорит, — дай к угодникам схожу.

— А ты долго ли там пробудешь?

— Дён семь.

Побывал парень у святых мест, за душу погубленного помолился, семь дней прошло, идет назад — голова навстречу катится.

— Ну, пойдем теперь со мной!

— Ну, пойдем.

И пошел за головой.

Катится голова лесом, глухой дорожкой, докатилась до кельи, да в келью, и парень за ней.

В келье три окна прорублены; голова и говорит парню:

— Сиди в келье, я по саду погуляю, только в те два окошка не гляди, в одно это гляди.

Парень сидит и думает:

«Почему в те голова глядеть не велела̀? Дай погляжу!»

Поглядел на восход солнца и увидел все царствие небесное, ангелов Божьих, престолы и светильники — свет нерукотворенный. Поглядел на запад и ужаснулся: там ад кромешный, писк, визг, много несчастных мучатся и отец-старик в котле кипит, так и ныряет.

Жалко стало отца, потянул он руку, уцепил его за бороду — старик нырнул, борода в руках и осталась.

А голова тут-как-тут, прикатилась в келью.

— Ну, что, я, ведь, не велела глядеть в окошки.

— Поглядел.

— Видел?

— Все видел.

— А смекнул, за грех какой?

— Укажи мне, как до отца дойти, долго я здесь засиделся.

— Долгонько: три года сидишь.

— Как! Три года?

— Три года времени прошло.

Запечалился парень, стоит, в руках старикова борода, не знает, что делать.

— Вот тебе дорога, ступай к отцу.

Один пошел парень из кельи домой. И долго шел. Приходит к отцу. Слава Богу, жив старик, старенький какой, а борода облиняла – ни волоска нет.

— Эх, батюшка, согрешил ты.

— А что, сынок?

— Да тогда, как разбойник-то сидел, или забыл?

— Грешен, хотел его порешить.

— Ну, батюшка, уготовано тебе место.

1914 г.

ПОДОЖОК

Жил-был старик со старухой, был у них сын, и была у сына собака страшная, большая, и всякий раз, как идти ему на разбой, брал он эту собаку, и с пустыми руками никогда не возвращался и все, что принесет, в подожок запрячет: в подожке посередке была дырочка — полну ее золота насовал.

Отец с матерью дознались, какими делами сын промышляет, ругали его, а он все свое: как ночь, айда на разбой.

Пришло такое время — святая ночь, на Светлое Христово Воскресение, взял он свою собаку, взял подожок, ковригу, мяса, винца полуштофчик да вострый нож, — и на разбой на большую дорогу.

А один парень на чужой стороне работал, захворал,

свезли в больницу, выписался и к празднику домой задумал, еле ноги тащил.

Встречает его разбойник. И была у разбойника повадка: не пропускал он первую встречу и хоть за деньги, хоть и без денег — участь одна.

— Стой! Зарежу!

— Чего меня резать! У меня и копейки-то нет.

— Ну, ты — первая встреча, без денег убью.

И Бог знает, жалко ли стало, или уж так, разбойник разостлал полотенце, вынул ковригу, полуштоф водки, мясо.

— Давай-ка сядем, наперед разговеемся.

Делать нечего, парень сел.

Разбойник налил себе стакан водки, выпил, дал парню. Выпили по стакану, да по другому, пирожка закусили.

Парень и говорит:

— Все-то мне равно помирать, налей третий!

И выпил третий стакан.

— Ведь, у меня, — говорит, — денег нет ни гроша!

Разбойник вынул нож, режет мясо, режет да подъедает. А парень хмельной стал. Разбойник вонзил нож в кусок мяса, поднес на ноже ко рту, а парень в руку его тык — разбойник хнык, и свалился.

Завертела собака хвостом, да домой, а парень поднял подожок и за собакой бежать.

Старик со старухой на краю села живут, в окошке у них огонек светит, разговляются.

— Пустите, Христа ради, Христос воскрес!

Обрадовались старики живой душе, пустили парня.

— Христос воскрес!

Похристосовался парень, подожок под лавку положил, присел к столу. А собака уж под лавкой лежит, спит.

Старуха и говорит старику:

— Старик, посмотри-ка, ведь, нашего сына подожок!

Старик заглянул под лавку.

— Ох, да, старуха, самый он!

Старуха к парню:

— Не видал ли кого?

— Видел одного и такой от него страсти набрался.

— А где ты этот подожок взял?

— А вот на дороге, я человека убил! — и рассказал старикам, как их сына разбойника на дороге убил.

Затеплили старики свечку, стали молиться Богу со слезами.

— Слава Ти, Господи, поразил его! — и к парню, кланяются: — спасибо тебе. Как тебе Господь помог! Ты не человека, ты грех убил!

И отдали старики парню подожок полон казны и стал парень богат, и теперь такой богатый и! и! и!

1914 г.

ОТТРУДИЛСЯ

У Федоры было два сына Анисим да Терентий, — меньшой посмирнее, а большой поперечный. Федора Анисима отделила и с Терентием жить осталась. Прошло время, разжился Анисим своим хозяйством, а у Терентия с матерью все несчастье. И женился Терентий, взял жену не худую, втроем стали жить, а справиться не могут: все в раззор и в раззор.

Пришла Пасха, а у Терентия и нечем разговеться.

Вот Терентий жену и посылает к брату попросить муки — кулич испечь: хоть бы праздник провести по-людски, а там как Бог даст!

Анисим невестке отказал.

— Да, чего, — говорит, — сам я что ли муку делаю? И без вас нынче трудно стало, всем надо, чего раньше-то глядели?

Так с пустыми руками и вернулась баба.

Делать нечего, вернулись от заутрени домой и разговеться нечем.

Матери-то и обидно.

И посылает она наутро Терентия:

— Иди к брату, попроси хоть для меня кусочек.

Пошел Терентий.

Брат еще не вставал. Похристосовались. Просит у брата не для себя, для матери.

— Так, кусочек, разговеться!

А того уж за сердце взяло: и что это, в самом деле, ходят и просят, и хоть бы для праздника покой дали.

— Хочешь разговеться, — сказал Анисим брату, — вот встану, садись с нами, сделай милость, а посылать я не намерен.

Терентий отказывается:

— Как же так, рассядусь я у тебя, а старуха там ждать будет. Нет, Бог с тобой, уж пойду. Только помни, за мать ответишь. Прощай!

— А чего меня выделила? Жили бы вместе, все бы и было. Да лучше мне змею накормить! — вскочил, ногой топнул.

Ну и вернулся Терентий без ничего.

Горько заплакала Федора.

— Ну, сынок мой, так уж Богу угодно!

А Анисим выпроводил брата, помолился Богу, кричит жене:

— Сходи-ка, хозяйка, в чулан, принеси мне пасхи.

Ну, та живо самовар на стол и в чулан за пасхой.

Отворила чулан, хвать, а там на пасхе, обвивши, змея лежит. Скорее назад.

— Анисим, глянь-ка, змея на пасхе!

— Какая змея, ты с ума сходишь! Откудова?

И сам пошел. И верно, в чулане на пасхе лежит змея, — живая, шевелится, сипит на него. Осмотрелся, чего бы такое взять вспороть змею. Да уж некогда, — вздыбащилась змея да на шею ему, обвилась вокруг шеи и давай грызть.

Он ее с себя рвать, да что ни делает, не отлипает. И закричал Анисим нé в голову, а она еще крепче, еще больнее.

Видит жена, дело плохо, побежала на деревню. Собрался народ. Рассказала она все по порядку, как невестка приходила, как брат приходил…

— Господь, верно, наказывает!

Ну, и народ тоже между собою толкует, что верно за это Господь наказал. Да оставить так человека мучиться не годится и присоветовали попробовать молоком змею утишить.

Достали молока, полили ему на шею, — змея лизнула

молочка, понравилось, и успокоилась. И стало Анисиму легче, можно терпеть. И вышло так, что одно средство — поить змею молоком.

Тут Анисим к матери, просит прощенье. А она уж забыла, не помнит на нем обиды, рада все сделать для сына, лишь бы так не мучился, и простила.

Мать простила. Или Бог не прощает? Змея не уходит. Как обвилась вокруг шеи, так и лежит: ест молоко, — ничего, а нет молока, — жалит.

Простился Анисим с матерью, простился с женою и братом и пошел странничать.

Все с кувшинчиком, и сам не доест, а змею накормит. Все для змеи, чтобы только она сыта была: ведь только тогда и свет видит! Пробовал кислым молоком угощать, не принимает. Пробовал в печку лазать париться, не отпустит ли от духу? И дух не берет, — видно, Бог ее сохранял! — только распарится вся, да пуще и укусит.

И так странничал бедняга год, и другой, и третий.

Пришел он на Пасху к заутрене, да уж в церковь-то войти не смеет, на паперти с нищими стал.

Пошел крестный ход вокруг церкви, оттеснили его в уголок, и вот ровно сон напал на него. Вдруг очнулся, слышит: «Христос воскрес!»

— Христос воскрес! — вытянул шею, чтоб из-за народа посмотреть, да что-то легко будто…

Что такое? — Да змеи-то нет больше!

Оттрудился, знать, за обиду, Бог и помиловал.

1915 г.

ЗАРЯ ПЕРЕГОРЕЛАЯ

Мало мы чего знаем и понятием, к чему что́, не больно богаты, а помолчать, когда чего не знаешь, на это нас нет.

Пахал Кузьма пашню, измаялся. И вечер стал, заря перегорала, а Кузьма все пашет. И попадается ему навстречу старичок: смотрит куда-то, будто о чем задумал.

— Скажи, говорит, Кузьма, к чему это заря перегорает?

— Да к ненастью, старинушка, — ответил Кузьма.

Старичок его за руку, да через оглоблю, перевел через оглоблю — оборотил конем и ну на нем землю пахать.

Перегорела заря, звезды небо усеяли, месяц вон-а где стал, когда кончил старичок пахать, — а это сам Никола был угодник. И уж еле поплелся Кузьма с поля домой.

На другой день пашет Кузьма, и опять ему старичок навстречу.

— Ну, Кузьма, к чему заря перегорает?

А день стоит светлый да теплый.

Тут Кузьма — вечерошнее-то ему, ой, как засело! — и повинился, что не знает.

— То-то, не знаешь, а коли чего не знаешь, о том помолчи! — сказал старичок и пошел — и пошел наш угодник уму-разуму учить нас, на думу ленивых, гневный, карать неправду, милостивый, жалеть и собирать нас разбродных.

1914 г.

ГЛУХАЯ ТРОПОЧКА

Жили соседи, два охотника, и такие приятели, водой не разольешь, ходили за охотой, тем и жизнь свою провождали.

Идут они раз лесом, глухой тропочкой, повстречался им старичок. И говорит им старичок:

— Не ходите этой тропочкой, охотники!

— А что, дедушка?

— Тут, други, через эту тропочку лежит змея превеликая, и нельзя ни пройти, ни проехать.

— Спасибо тебе, дедушка, что нас от смерти отвел.

Старик пошел — не узнали, за простого человека сочли, а это был сам Никола милостивый угодник.

Постояли охотники, подумали.

— А что, — говорят, — нам какая вещь — змея! Не с пустыми руками, эвона добра-то! Как не убить змею?

Не послушали старика, пошли по тропочке и зашли в чащу дремучую. А там превеликий бугор казны на тропочке.

И рассмехнулись приятели:

— Вон он что, старый хрен, насказал! Кабы мы послушали его, он бы казну и забрал себе, а теперь нам ее не прожить!

Сели и думают, что делать: уж больно велика казна, на себе не дотащить.

Один и говорит:

— Ступай-ка, товарищ, домой за лошадью, на телеге ее и повезем, а я покараулю. Да зайди, брат, к хозяйке к моей, хлебца кусочек привези, есть что-то хочется.

Пошел товарищ домой, приходит домой, да к жене:

— Тут-то, жена, что́ нам Бог-то дал!

— Чего дал?

— Кучу казны превеликую: нам не прожить, да и детям-то будет и внучатам останется. Затопи-ка поживее печь, замеси лепешку на яде, на зелье. Надо: приятеля угощу.

Ну, баба смекнула, ждать себя не заставила: живо лепешка поспела на яде, на зелье. Завернула лепешку, положила ему в сумку. Запряг он лошадь и поехал.

А товарищ там, сидючи над золотой кучей, о своем раздумался, зарядил ружье и думает:

«Вот как приедет, я его и хлопну — все деньги-то мои и будут! А дома скажу, что не видел его!»

Подъезжает к нему приятель, он прицелил, да и хлоп его, а сам к телеге, да прямо в сумку, проголодал очень, — лепешечки поел и тоже свалился.

А казна так и осталась никому.

1914 г.

ЗАЯЦ СЪЕЛ

Хорош был для миру кузнец: в кузнице работал, за работу ни с кого не брал, ко что даст только. За своего пошел кузнец среди бедных людей, все его очень любили; узнали и чужестранные, стали ездить на праведного кузнеца посмотреть. И жил кузнец хорошо и спокойно, ни в чем нужды не знал и всем был доволен.

Вот и приходит к нему раз старичок какой-то. Это сам Никола угодник пришел испытать его.

— Чтó, говорит, кузнец, как ты работаешь, за какую работу чтó берешь?

— Кто чтó даст.

— Какая это твоя работа! Пойдем со мной, я лекарь. И брать ничего не будем, а денег больших добьемся.

Подумал кузнец, подумал, чего же не пойти, коли такое дело: и миру польза и душе не обида. И согласился.

И они пошли.

А взяли они с собой в дорогу один кошель с хлебом, а хлеба там всего-то по такому кусочку. Старик ходко идет, и хоть бы чтó, а кузнец едва уж ноги тащит: и устал, и есть захотел. Наконец-то старичок вздумал сесть отдохнуть.

Тут кузнец за кошель, развязал кошель, вынул по кусочку. Старичок и к хлебу не притронулся, в кошель назад положил, встал себе, да в сторонку, за хворостом, хворост посбирать. А кузнец весь хлеб свой съел — есть еще больше хочется, съел и стариков хлеб, да, чтобы концы в воду, кошель и закинул, лег и заснул.

Будит старичок кузнеца.

— Где, говорит, кошель?

— Не знаю.

— Где хлеб?

— Гляди, заяц съел!

Заяц, так заяц, ничего не поделаешь.

Смотрит старичок. И хочется кузнецу правду сказать, да как сказать: ведь всего этакий кусочек съел!

— Ну, ладно, — сказал старичок, — пора за дело. Пойдем к морю, за морем царь живет, у царя дочь больна, вылечим царевну.

И дошли они до моря, а лодок нет. Айда по морю. Кузнец едва поспевает. Середь моря зашли, стал старичок.

— Кузнец, ты съел мою долю?

— Нет! — и стал кузнец по колено в воде.

— Не ты?

— Нет.

Старичок посмотрел. А у кузнеца сердце упало: при-

знаться б, да как признаешься: ведь всего этакий кусочек!

— Ну, пойдем.

Вышли они на берег и сказались, что лекаря: нет ли больных где?

— У царя, — говорят, — три года царевна хворает, никто не мог вылечить.

Донесли царю. И сейчас же царь пришлых лекарей призвал.

— Можете вылечить дочь?

— Можем, — сказал старичок, — отведи нам особу комнату на ночь, да из трех колодцев принеси по ведру воды. Наутро за одну ночь здрава будет.

Отвел им царь комнату, сам и воды принес. И остались они с хворой царевной.

Старичок разрезал ее на четверо, разложил куски, перемыл водой, и опять сложил, водой спрыснул, — царевна здрава стала.

Кузнец глядит, глазам не верит.

Наутро стучит царь с царицей.

— Живы ли?

— Живы.

— Ну, слава Богу.

Взял царь лекарей в свою главную палату, угостил их и открыл перед ними сундуки с казной: один сундук с медью, другой с золотом, третий с бумажками, — бери сколько хочешь!

— Что, — спрашивает старичок кузнеца, — доволен деньгами?

— Доволен, — говорит, — доволен.

— И я доволен.

Попрощались с царем и пошли из дворца, понесли казну большую.

— Пойдем, — сказал старичок, — теперь к купцу, купцова дочка хворает, вылечим ее, еще больше денег дадут.

А купец уж идет, кланяется.

— Вылечите, дочь больна!

— Вылечим, — сказал старичок, — отведи нам особу комнату на ночь и из трех колодцев принеси по ведру воды. Наутро за ночь здрава будет.

Натаскал купец воды, привел дочь, оставил с ними.

Старичок говорит кузнецу:

— Видел, как я делал?

— Видел.

— Ну, делай, как я.

Кузнец разрезал купцову дочь, а сложить не может. И до рассвета бился, ничего не выходит. Старичок видит, кузнецово дело плохо, взял, сложил куски, водой спрыснул — стала купцова дочка здрава.

Стучит отец.

— Живы ли?

— Живы.

— Ну, слава Богу.

И угостил их купец и денег дал много. Старичок за деньги не брался, а брал кузнец и напихал полную пазуху бумажек, фунтов десять.

— Довольны?

— Довольны, хозяин.

Простились с купцом и пошли к Волге в кузнецово село.

Старичок и говорит:

— Давай, кузнец, деньги делить. Я от тебя уйду, а ты домой ступай.

И начал кузнец раскладывать казну на две кучки – тому кучка и другому кучка. Сам раскладывает, а самому так глаза и жжет, вот подвернется рука и себе переложит.

— Чтó, кузнец, разделил?

— Разделил.

— Поровну?

— Поровну.

— Ты у меня не украл ли?

— Нет.

— Бери себе все деньги, только скажи мне: это ты тогда съел кусочек или заяц?

— Я не ел твой кусочек! — и стал кузнец по колена в земле.

— Скажи, не ты ли? Деньги мне не надо, все твое.

— Нет! — и стал кузнец в земле по шейку.

— Когда ты неправду говоришь, так провались ты в преисподнюю от меня!

Кузнец и провалился, и деньги за ним пошли.

1914 г.

ПРАВЕДНЫЙ СУДЬЯ

Где их искать, судей праведных? А вот был один такой, и далеко, куда за Москву, и по Сибири шла о нем слава. Случись что, спор, иди к Кузьмичу: Кузьмич все рассудит.

Заехал раз к одной вдове человек проезжий, а жила вдова на большой дороге, постоялый двор держала, баба хозяйственная.

Приехал этот самый человек на жеребце, вошел в дом, поздоровался и спрашивает:

— Что у тебя, тетка, кобыла-то жерёба?

— Нет, батюшка, не благословил Бог.

— Ну, а у меня жеребец-то жерёбый.

Ну, жерёбый, так жерёбый, мало что другой по позднему времени и не такое еще скажет.

Чуть свет поднялась баба — по хозяйству все нужно справить, вышла во двор кобылу свою попоить, глядь, а по двору жеребенок бегает. Вот Бог-то послал нежданно! Ну, пока то да сё, проснулся и гость проезжий, заглянул в окно, жеребенка увидел. Баба самовар несет, а сама, что самовар.

— Вот у меня кобыла-то ожеребилась!

— Как у тебя?

— А что ж, у тебя что ли?

— Да ведь, ты ж вчера говорила, что у тебя кобыла не жерёба. Известно, это моего жеребца жеребенок!

— Нет, мой!

Дальше, да больше, пошел спор. И ведь, баба-то тихая, а до того уверилась, что это ее жеребенок, — да как же иначе-то? – глаза выцарапает, не уступит.

— Пойдем к Кузьмичу! Я на тебя, окаянного, найду управу.

— Пойдем!

И пришли к праведному судье и рассказали ему все, как было. Выслушал Кузьмич каждого по очереди и велел обоим выехать на перекресток: бабе — на кобыле, а проезжему человеку — на жеребце.

Сказал праведный судья:

— За кем жеребенок побежит, та лошадь и ожеребилась.

Пустили жеребенка.

И побежал жеребенок за жеребцом.

А раз побежал, так тому и быть.

Баба судье покорилась, повела домой кобылу на постоялый двор, на себя серчала: и как это она пошла на такое, ей ли не известно, что проста ее кобыла, только зря время потратила, да себя и другого в грех ввела.

А проезжий человек забрал своего жеребца. Судье низкий поклон.

— Спасибо, что рассудил по правде.

Видит судья, не постой этот человек проезжий, позвал его к себе на беседу.

Посидели, потолковали. Друг другу по душе пришлись.

Проезжий и говорит:

— Пойдем теперь ко мне.

— Ну, что ж, пойдем! — очень уж человек-то мудреный, как не пойти к такому.

Вышли из ворот. Судья остановился, прислушался.

— Что это, дома-то воют будто?

— Да это по тебе, Кузьмич: ведь, душа-то твоя со мною.

— Вот оно как! — и пошел по дорожке с гостем в гости, откуда нет уж возврата.

Праведных-то судей, видно, Бог к себе берет: Ему нужны.

1915 г.

СКОМОРОШИК

Вздумал один человек на старости лет Богу потрудиться, поселился в лесу и стал жить один в своей келье, как пустынник. А оставались у него на возрасте дети, отца почитали, — вот навезут они в лес ему всяких разных закусок, рыб всяких копченых, икорки и селедок, ну ничего ему и не надо, помолится, поест и спать. Так мирно шли дни без греха и соблазна в пустыне.

Раз наелся пустынник соленых копчушек, прохладился чайком, вышел из кельи, прилег на заваленку и спит.

Идет мимо старичок.

— Мир твоему кормному борову лежать!

— Я пустынник, я Богу тружусь!

— Богу тружусь! — смотрит старичок, а это был сам Никола угодник, — наешься, напьешься, да спишь, экий труд! А ты в город иди, там есть Вавило скоморох, коли его труд перенесешь, будет толк, в царствие небесное угодишь.

— А каким он, дедушка, трудом трудится?

— Да уж как сказать каким, только слышно про него, колокол далеко звонит.

И пошел старичок — Никола угодник наш.

А пустынник и раздумался. И вправду, какой его труд: поест, попьет и спать! — но какой же должен быть тот скомороший труд, чтобы толк был, в царствие небесное попасть?

Бросил пустынник свою келью и пошел в город скомороха Вавилу искать, потрудиться его трудом.

И не долго по улицам плутал пустынник, живо ему дорогу показали. И удивился пустынник: кого он ни спрашивал о скоморохе, все ему сердечно отвечали, и не потому, чтобы сам он располагал к доброму ответу, а потому, что спрашивал о скоморохе, о скоморошике, как величали Вавилу люди, словно уж в самом имени в скоморошьем было что-то и приятное и доброе людям.

Подошел пустынник под скоморошье окошко. А у скомороха были две женки — родные сестры, стерегли Вавилу.

— Здесь Вавило скоморох?

— Здесь.

Женки впустили пустынника в дом.

— Где скоморошик?

— На игрищах играет.

— На каких?

— Да у губернатора, там скачет и пляшет.

— А скоро придет?

— Придет, как первы кочета споют, либо привезут.

Присел пустынник, ждет скомороха. Ждать-пождать, стало ко сну клонить, а скомороха все нет.

Первые петухи пропели, пришел домой Вавило.

— Чей это старичок? — спрашивает у своих женок.

— Тружельник из лесу.

Пустынник к скомороху, рассказал Вавиле, как один старичок прохожий наставил его идти в город, отыскать скомороха и потрудиться скоморошьим трудом.

— Эх, дедушка, какой мой труд! Я только скачу да пляшу, огонь да гвозди глотаю, вот и весь труд.

— А хочу тебя спросить, скоморошик, какую ты пищу ешь?

— Моя пища: сухая кро́ма, да пустая вода. Вот мои женки поят, кормят меня и на постелю кладут.

— Я хочу, Вавило, твой труд понести.

Рассмеялся скоморох.

— Не доведется это тебе: тяжел. Посмотрите, какой я тощой, и этак и так перевьюсь. Нет, дедушка, без привычки надорвешься.

Вот утром рано приезжает человек за скоморохом.

— Дома скоморошик?

— Дома.

— Пожалуйте к Овошину на именины.

— Ступай с Богом. Пешком приду, только умоюсь.

Разбудил скоморох пустынника-гостя. Сели завтракать: женки скоморошьи дали им по куску хлеба.

— Ну, друг, пойдем на именины.

— Пойдем, Вавило, а какой там твой труд будет?

— Пустяки, только сапоги надеть.

— И я твои сапоги надену.

— Что ж, попробуй.

Захватили они с собой сапоги, отправились к Овошину на именины.

Не велики сапоги скоморошьи, а легки, что лапотки самые малые. Вавило обулся и ну скакать и плясать. А пустынник, как влез в них, так и почувствовал — там были гвозди вершковые понатыканы. И проголодался, а с места сойти не может: где посадили на стул, там и сидел.

Вавиле привычно, — скачет и пляшет. И до петухов скакал скоморох и плясал.

— Пойдем, брат тружельник, домой.

Старик чуть не плачет. Кое-как поднялся, но и полпути не прошел: ноги идти отказываются, и пятки больно. Вавило попросил человека довезти старика до двора. И поехали.

Приехали в скомороший дом.

— Ну, что, дедушка, хорош мой труд?

— Хорош, скоморошик, очень хорош.

— А ты?

Старик снял сапоги, а сапоги полны крови.

— Попытаю еще, какой твой труд есть, — сказал старик, — переночую ночь.

Сели ужинать. Дали им женки сухую крому, да теплой водицы. Позаправились — краюшка-то не больно сытна, да делать нечего.

— Ну, женки, спать хочу, положите меня на постелю!

А в постель у скомороха в сенях была, на вольном воздухе.

Взяли его женки за руки, за ноги, раскачали да на кровать и шваркнули.

Старик — за столом, видит, что делается, и говорит скоморошьим женам:

— Надо и мне этакий труд понести.

Женки его за руки, за ноги да к Вавиле на постель и кинули. И впиялись в него гвозди лютей сапожных.

И лежал старик, как камень, ночь-то.

До свету приехали за скоморохом, зовут на крестины.

Легко поднялся скоморошик, а старик ни рукой, ни ногой пошевельнуть боится. Позвал Вавило женок.

— Сымите, — говорит, — тружельника с моей постели.

Женки взяли старика под руки и привели в комнату.

— Что, дедушка, пойдем со мной?

— Нету, скоморошик.

— Что так?

— Не могу. Велик твой труд, Вавило! Тебе велел Господь снесть и неси, а я не могу. Чую, не дойти до двора к детям. Прощай, скоморошик.

— Прощай! А коли хочешь, иди со мной.

Старик ушел. Старик видел труд и сам потрудился, теперь не надо ему и лесной его кельи, как-нибудь тихонько проживет он с детьми, ему и жить-то осталось не много.

А скоморошик скакал и плясал: день скакал на именинах, другой — на крестинах, третий — на свадьбе, четвертый — так, людям на развлеченье.

Выдался свободный денек, сидел скоморох у солдатика в гостях в казарме, чесал языком, прибаутки сыпал.

Солдатик вдруг всполошился.

— Вавило, — говорит, — за твоей душой пришли.

— Кто?

— Святы ангелы.

— Каки ангелы?

— Нет, ступай Вавило. Прощай скоморошик!

Делать нечего, простился скоморох с приятелем и пошел домой.

А дома видит уж гроб стоит и женки ревут.

— Ложись, скоморох, — ревут, — в гроб!

Лег. Лежит Вавило в гробу.

Голубь влетел.

— Ты голубь?

— Голубь.

— Какой ты голубь?

— Твой святой ангел. Тебя, скоморошик, Бог наградит!

Тут скоморошик и покончился.

1914 г.

НАГРАДА

Трудился труженик в пустыне тридцать лет. И все тридцать лет дьявол только и думал, как бы смутить старца. Уж как следил его, а нет, ни так, ни сяк не уловит. И нашел-таки лазейку! Был очень жалостлив старец, вот ему прямо в сердце дьявол и направил свой рог базучий.

Ночным бытом встал старец на молитву и слышит, тоненько так где-то под дверью плачет, — два голоса детских.

«Боже милостивый! Что такое? Два голоса детских!»

Сотворил старец молитву, вышел из кельи, а на пороге у двери — девочка и мальчик, и ручонками тянутся к старцу.

Старец было за дверь: очень испугался.

«Куда мне девать их? Что с ребятами делать, маленькие?»

Да рассуждать не время: плачут ребятишки, попить просят. Он их и забрал к себе в келью.

И стал старец поить и кормить детей. А они, карапузы, так и тормошат, подымут возню: и уж он вроде лошадки, и они на нем скачут, а то будто бык, да бодает-то не он, а его, и как норовят побольнее — кулачонки так поставят рогами, да с налету в него — и грех, и смех.

Какая там молитва! Днем с кормом — покормить, ведь, надо, как следует, а это не так-то просто, вечером — с игрою, время и пройдет. И хоть бы ночью, растормошат и ночью: то сказку рассказывай, то страшно, то беда какая.

Извелся совсем старец, но чтобы Богу пожаловаться, этого ему и в мыслях ни разу не пришло: ведь за все тридцать лет пустынных в первый раз познал он в своем сердце эту радость — вот так с малыми ребятами возиться! Забыл и о дьяволе думать. Видно, Божья это ему награда за тридцать его трудных лет! И ничего уж не просил у Бога, только благодарил Бога.

А ребятишки растут и растут, и много ль прошло, а они уж вот какие: лет пятнадцать и больше. Известно, как роду нечистого духа и растут не по-нашему.

Девчонка-то стала разуметь. Выпадет час старцу стать

на молитву — Бога поблагодарить, а она с ним играть. И чем дальше, тем пуще эта ее игра. Стала старца к худым делам притеснять: ночью мальчишка заснет, а она соскочит с кровати и виснет.

— Меня, — говорит, — скука обуяла!

Ну, и смутила старца, поддался он на худое дело.

— Худое дело делать будем, а куда братишку твоего денем?

— А давай убьем!

А который дьявол все это дело затеял, — ребят-то под дверь подкинул, — стоит у дверей да караулит: то-то ему радость, вот он сейчас так и сглотнет старца, и куда весь его труд пустынный!

— Бери топор, — говорит девчонка, — я Ванюшку свалю, а ты голову руби!

Вышел старец из кельи, вернулся с топором. Девчонка на брата, и не то что свалила, а сам он лег. Тут подскочил старец, да топором его по шее, кровь так и брызнула, а голова прочь.

— Куда мы его денем? — мечется старец по келье: кровью-то, знать, ударило.

— Открывай половицу в подпол! — кричит девчонка.

Старец за половицу, бился, бился, едва открыл, взял мальчишку в беремя и хочет мальчишку в подпол ссунуть, да никак не выходит, тычется на месте, и сам весь в крови.

А дьявол тут-как-тут, отбил дверь, будто человек какой прохожий, да в келью.

Девчонка к нему, повисла на шее, дрожит вся, и горько так заплакала:

— Батюшка, родимый мой, кому ты оставил нас? Меня замучал к худым делам, а брату вон отрубил голову.

И уж полна келья, Бог его знает, кто набежал, — лягастые, квакастые и ивкают, и гайкают, ногами затопали, прыгают, хлопают, и все на старца, да как вцепятся и потащили…

— Наша! Наша душа! — и потащили.

А сам дьявол-то по головке его, по головке…

— Погляди-ка мне через левое-то плечо! Сколько лет я

ходил, сколько лаптей проносил, да вот и уловил голубчика!

Тут старец словно бы опамятовался, — оградился крестом.

— Нет, ты погляди мне через правое-то плечо!

Бес поглядел, да так и согнулся.

— Святый Боже, Святый Крепкий! — душу несли его ангелы с пением райским.

И все бесы, кто как был, так и проскочили сквозь землю.

1915 г.

СЕМЬ БЕСОВ

1

Есть такие города у нас на матушке на Руси, куда в Христову ночь не только серебряный кремлевский ясак, а зазвони и сам царь-колокол, сам царь-колокол не донесет.

В Сольвычегодске на пустынном усолье, где над холмиками-домами одни церкви-кресты стоят, там случается, задастся год, и счастливые в полночь слышат звон... разливной, гудёт по Устюжине шире Сухоны, Лузы, Юга и Вычегды — «Христос воскрес!» А Сольвычегодск ведь — на полпути от той дебери печорской, где нам выпало провождать дни, и среди нас Винокурову с замоскворецких Толмачей.

Человек по языку и ухваткам московский, жилистый и упорный, от крепкого кореня гостя московского, был Винокуров не без того... и чем кончил, одному Богу известно. А ожидать всего можно было, и сказывали — лет пять назад такой слух прошел, — будто уж вольный, очищенный от грехов всяких, попался он в мошенничестве и угнан под наказание. Впрочем, может, и неверно все, и живет он себе, слава Богу, где у печенгских старцев в работе духовной, да китов ловит мурманских, либо на Алтае где дела делает, либо... и совсем недельно, заморенный, гнет свою линию деловую в Петрограде на Неве-реке. Мы его семь

бесов называли. А окрестил его так Костров Веденей Никанорыч, человек учительный и верховой, с тем и пошло.

— Семь бесов да семь бесов!

Ну, и ничего… только посмеивается.

И ведь так сидит, бывало, ничего — вечно под носом книга, любил книгу, и за год комната его прибралась, что библиотека. И невзначай так спросишь о чем, толково-таки ответит и пример приведет… только эти его примеры, — а он любил приводить, — поясняли, да не то совсем, а то и совсем обратное. Правда, эту слабость свою знал он за собой лучше всякого, да не очень смущался.

— Самое для меня трудное было, — вспоминал он о годах своих ученических, — это когда задаст, бывало, учитель примеры приводить: уж как стараюсь, и все мимо. Ну, а зато по геометрии любую теорему от противного докажу.

По геометрии-то возможно… да это он так про геометрию, — сочинения ему всегда давались легко!

И бывали вечера, соберутся к нему гости, и все попутному, примется какую историю рассказывать, и скажу, ей Богу, иной раз за сердце тронет. И уж думаешь, да не ошибаемся ли, бесов-то в человеке выискивая?

— Семь бесов, да семь бесов!

И не в тебе ли они самые завелись, за нос тебя водят?

И станет скучно. И придумываешь, чем бы такое вину загладить.

А пройдет день, другой, и только что быка за рога, глядь, а он снова — и весь тут и все бесы его.

— Семь бесов.

Был один из заключевников наших Шведков несчастный, гла́за в жизни лишился, и при жене своей жил вроде как помогал ей: если шила, — машинку вертел, — и такой, в чем душа, а по этой части, хлебом не корми. У Винокурова, как известно, частенько и хозяйские и соседские девицы находом гостили и Шведкову это на руку — ему, ведь, хоть около постоять, праздник! Вот он и притащится и войти-то войдет честь-честью, а тот как свиснет подрушным, — такие всегда водились из своих же, — и они на Шведкова разом, да все с него срывом. И уж в чем мать

родила при всем честном народе визжит несчастный, тычется и ловит, чтобы как-нибудь прикрыться,— потеха!

Винокурову потеха — от хохота трясется.

И без пира вечер проходит весело.

И еще был один Штык, в деле своем дельный, тихий и работящий простой человек, и затеял этот самый Штык в простоте своей заняться каким-нибудь предметом, все ведь скуки ради для развития своего за что-нибудь принимались. И Винокуров его по-итальянски учил. Старался Штык несчастный, из кожи лез, но и в русской-то грамоте слабый, совсем с толку сбился. И как, бывало, примется Винокуров с ним по-итальянски объясняться, со смеха живот надорвешь.

Какую угодно дурость над человеком сделает, не облизнется.

Тоже студент Снеткин... был такой у нас, большой спорщик, человек общественный, как сам величал себя, с утра, бывало, выйдет из дому и до вечера по знакомым и все говорит — и как говорил! — с одного, не поспеешь и слова ввернуть. И влюбился студент Снеткин в устьвымьскую учительницу Налимову и все, как слышно, сговорено у них было и, как кончится срок, обвенчаются. Конечно, дело велось в большой тайне, да разве утаишь чего, и особенно в таком деле? Винокурову все было известно.

И случилось как-то, поехал Снеткин в отпуск, — разрешили, — пробыл там с месяц и благополучно вернулся и прямо к Винокурову с разговором. Слушал его, слушал Винокуров и час и другой и третий, изловчился, наконец, да в передышку так, будто мимоходом:

— А слышали, — говорит, — Василий Васильевич, Налимова-то замуж вышла?

Тот только глаза вытаращил, заплеснуло в голове, сказать ничего не может.

— И точно не знаю, — продолжал Винокуров, — за Колесникова, кажется...

А того, как варом, — Колесников телеграфист, действительно, приударял за учительницей! — да живо за дверь, да бегом. И с той поры — будет! — никаким разговором к Винокурову с разговорами не затащишь.

Учительница-то устьвымьская, Налимова, конечно, и не думала выходить замуж, а несчастный чуть не рехнулся.

Да то ли еще, много чего видывали, и слышали, и испытывали от бесов Винокуровых: замутить, в грех втянуть человека ему ничего не стоило.

Спутал молодежь нашу с наблюдающим — был такой наблюдающий при полиции забитый человек Фыркин, должность его была проверная вроде сыскной, а дара от Бога не отпущено: и то уследит, что под дозволением, и проворонит такое, того и гляди в шею погонят. С этим-то Фыркиным и свел Винокуров, ну и началась всякая удаль с пьянством и буянством, и уж сам исправник Сократ Дмитриевич Гусев замечание сделал, что не годится, а Фыркина самого под надзор поставил.

2

А скучное житье наше было!

Сядешь, бывало, у окна, — печка натоплена жарко, — тепло, греешься и смотришь. А в окне — снег, и пока глаз хватает, все снег — ровный белый, и лишь сторонкой частокол черный — лес, и в лесу там не только Медведь Медведич, сама Яга Ягишна собственный домик имеет на козьих рожках, на бараньих ножках: там им попить, там им поесть! Любо и ветру — безрукому деду — у! как выйдет гулять, крыши долой так и рвет. Да и местный житель, испоколенно который на земле трудится, так свою жизнь поведет, ему не до скуки. С работой нешто скучают? А ее везде найдешь: и в аду найдешь, коли обживешься, а не то что тут, среди снегов и теми в большую зимнюю пору и долгих белых, как день, ночей с незакатным весенним солнцем. Ну, а так человеку пришлому, заключевнику, скучно.

Скучно — в глазах белый снег — пустынно…

Хорошо, конечно, на возрасте лет для души в пустыне пожить, подумать. Да опять же без работы не справиться и, как пить, с лествицы скувырнешься. Сами старцы, доброй волей удалявшиеся в пустыню, прямо говорят, что в пустыне жить без работы невозможно, — там уныние находит

и печаль и тоска велика. А наш возраст-то, за малым исключением, голоусый и думать нам еще не о чем было: у нас не было ни белого дня, ни красного солнца, ни блеклой луны, ни частых звезд, ни глухой полночи, еще надо было добыть их, — ничего мы в жизни не сделали, нам дело делать надо было, не покладая рук, силы свои расточать для родины, строить землю — кормилицу нашу, людей смотреть да себя показывать.

И так худо, — безвременно, да еще и дела нет, — совсем плохо.

Сами видите, как человека судить, если другой раз не выдержишь, поддашься бесам Винокуровым.

И скажу не в осуждение, участь эта дурацкая не миновала ни единого из нас: все мы так или этак, а в лапы его попадались. И только один из всех нас старейший Костров Веденей Никанорыч, человек учительный и верховой, стоял твердо на страже.

У всех у нас грешки водились, ну, человеческие, по слабостям душевным и телесным, а уж Веденея Никанорыча ни в чем не попрекнешь. И потрудился он немало на своем веку, с народом пожил, поучился и сам уму-разуму поучил. И живи он одиночно, был бы прок для него и в сем нашем житии пустынном: по лествице исхитрился бы подняться и с Божьей помощью за год какой дошел бы до рассмотрения дел человеческих и рассуждения. Да беда в том, что не одиночно жил он, нас орава неприкаянных вечно на глазах у него: тот клянчит, другой жалуется, третий нюнит, пятый беснуется. Зрителем да наблюдателем безгласным он не мог оставаться, вот и хороводился с нами, и за нашим назоем уж о своем ему подумать часу за день недоставало, и только что ночным бытом.

За год заключевной жизни своей снискал себе Веденей Никанорыч всеобщее уважение и сам Сократ Дмитриевич Гусев, наш исправник, если что надобно бывало, — выходило ли распоряжение от губернатора, либо по собственному какому своему наказу, вызывал к себе одного Кострова, и наоборот, если случалось недоразумение, шел за всех Веденей Никанорыч. И на почте доверенность Кострова стояла высоко. Писем получал он со всей России и

сам писал во все края и по этим письмам почтмейстер Запудряев доподлинно удостоверился, что Веденей Никанорыч человек правильный, да, кроме того, по собственному признанию Запудряева же, Кострoвы письма доставляли большое развлечение и сердцу отраду.

Веденей Никанорыч кореня костромского и речь его округлая.

И как станет, бывало, в красный угол под вербушкой, — «власы поджелты, брада Сергиева», умилишься, глядя.

«Эх, — подумаешь, — Веденей Никанорыч, отец, да быть бы тебе старцем, проводить житие во пустыне среди полей родимых Богу на послушанье, людям в наученье, какие там цветы расцветают, какие колокольчики... жить бы тебе во пустыне в келейке у березок — белых сестер благословенных!»

Веденей Никанорыч в миру жил, хотел устроить жизнь нашу по совести. Сызмлада от житий угодников наших, хранителей правой милосердой святой Руси, запало ему в душу. Веденей Никанорыч в миру жил и, делая дело прямое и полезное, видимое и понятное на сей день с его бедой и горем, несправедливостью и бессовестностью, и, как все мы, ошибаясь и плутая в средствах устроить этот сей день, никогда не забывал от пустыни заповеданное, что лишь отречением и жертвою подымается человек для дел, направляющих жизнь нашу, спутанную и своими житейскими средствами нераспутываемую.

Так в задушевной беседе сам он мне однажды признался, когда я ему о пустыне... колокольчиках, о березках, белых сестрах благословенных, свои мысли вслух говорил.

Кстати сказать, умиление это перед березками не раз мирило его с Винокуровым: от сорока ли сороков московских, либо по дару Божьему понимал Винокуров тайное слово земли русской с ее белыми березками.

В заботах о нас проходила жизнь Веденея Никанорыча, все хотелось ему собрать нас беспастушных, растерявшихся в безвременной жизни среди дебери печорской обок с Медведем Медведичем и Ягой Ягишной.

И тут немало досаждал ему Винокуров.

И как-то на Святках, наткнувшись на обнажение Шведкова и на прочее содомское бесстудие, отряс он прах от ног своих и больше к Винокурову не наведывался.

— Семь бесов!

3

Прошли Святки, прошла пора венца, понаехала самоедь на Масленой с оленями, да с оленюшками, и весною повеяло.

Как почернело небо над белым снегом — я никогда не видал такого черного неба над таким белым снегом, как завыло в лесу — ой, не Яга ли Ягишна, окрещу окно! — и как ударили к службе по-великопостному, помянулось на сердце о Пасхе, и все помирилось.

— Скоро Пасха!

Все семь седмиц прошли мирно.

Что-то не слыхать стало и о Винокуровых бесах, — ни разу Шведкова не обнажали, хоть и таскался он к Винокурову по-прежнему языком почесать, и сам итальянский язык на время был оставлен, и Штык несчастный понемножку приходил в себя. Или и сам Винокуров не такой сделался? Заглянешь, бывало, сидит вроде меня у окна, смотрит на черную тучу, с сороками разговаривает — сорочье под окнами так и прыгает. Или и впрямь, и не только в Чистый понедельник, а и в весь пост бесу скучно!

В Великую субботу Веденей Никанорыч загодя зашел к Винокурову: вместе уговорились идти на заутреню к Стефану Великопермскому. Все на нем было по-праздничному и только не умудрился подстричься. В нашей дебери печорской ни куаферов, ни парикмахеров не водилось, и если нужда бывала, стриг городовой Щекутеев: собирался Веденей Никанорыч к Щекутееву, да что-то помешало.

— Позвольте, Веденей Никанорыч, — у Винокурова так глаза и загорелись, – да я вам бородку поправлю!

Другой раз Веденей Никанорыч, может, и подумал бы, даваться ли, но тут под Пасху...

— Так с боков бы немножко! — поглаживал Веденей Никанорыч свою браду Сергиеву.

И откуда-то в мановение ока появился одеколон, вата и пудра, — у Винокурова этого добра всегда водилось, а за пудрой и ножницы — большие, для газетных вырезок, маленькие — ногтевые. Только бритвы не доставало.

— Ничего, — утешал Винокуров не столько Веденея Никанорыча, сколько себя самого, — я вам маленькими ножничками чище бритвы сделаю! — и что-то еще говорил так несвязное, словно бы поперхивался, и на минуту исчез в соседнюю комнату к сеням.

Не предайся Веденей Никанорыч умилению своему пасхальному, наверно бы спохватился, — время еще было. Ведь, что говорить, выбегал Винокуров к сеням не за чем-нибудь, а просто-напросто тихонечко выхохотаться: мысль о стрижке, какую такую бородку смастерит он Веденею Никанорычу, занялась в нем неудержимой игрой — бесы не моргали, все семь.

Зеркала стенного не было, печорская деберь не Париж, но зато было одно стоячее, его и поставил Винокуров на стол перед Веденеем Никанорычем и, хоть Веденей Никанорыч себя никак в нем поймать не мог, а все-таки перед зеркалом вроде как по-настоящему. И все шло по-настоящему: подвязал ему Винокуров белое — занавеску белую, запихал за воротник ваты, щелкнул в воздухе большими ножницами.

Был час десятый — в соборе у Стефана Великопермского ударили к деяниям.

— В одну минуту!

И заработали Винокуровы ножницы.

«Хорошо бы еще поспеть к деяниям...» — подумалось Веденею Никанорычу.

— И к деяниям успеем, — стрекотал Винокуров.

Работа кипела.

И под ножничный стрекот неугомонный кипели воспоминания о часах грядущих. Винокуров припоминал московскую Пасху и, мыслью ходя по векам стоглавым, заглядывал в церковки и монастыри и часовни на пасхальную службу.

— У нас на Костроме тоже, — сдунул волос Веденей

Никанорыч, — деяния все до конца прочитают и начинается утреня, и после канона, как унесут плащаницу, до слез станет и страшно...

— Тогда игумен и с прочими священники и диаконы облачатся во весь светлейший сан, — истово, как по писанному, словами служебника Иовского, выговаривал Винокуров, — и раздает игумен свечи братии. Параеклисиарх же вжигает свечи и кандила вся церковная пред святыми иконами, приготовит и углие горящие во двоих сосудах помногу. И наполняют в них фимиана благовонного подовольну, да исполнится церковь вся благовония. И ставят один посреди церкви прямо царским дверям, другой же внутрь алтаря. И затворят врата церковные — к западу. И взъемлет игумен кадило и честный крест, а прочая священницы и диаконы святое Евангелие и честные иконы по чину их, и исходят все в притвор. И тогда ударяют напрасно в канбанарии и во вся древа и железное и тяжкая камбаны и клеплют довольно.

Винокуров забрал глубоко и из брады Сергиевой вытесывался помаленьку колышек.

— Выходят же северными дверями, — продолжал Винокуров, — впереди несут два светильника. И, войдя в притвор, покадит игумен братию всю и диакону, предносящему перед ним лампаду горящую. Братия же вся стоят со свечами.

Время бежало — поди уж и деяния оканчивались — бегло бегали ножницы, а еще только одна сторона подчищалась, другая кустатая неровно кустела.

— По окончании же каждения, — слово в слово выговаривал Винокуров, — приходят пред великия врата церкви и покадит игумен диакона, предстоящего ему с лампадою, и тогда диакон, взяв кадило от руки игумена, покадит самого настоятеля. И снова игумен, держа в руке честный крест, возьмет кадило и назнаменает великия враты церкви, затворенные, кадилом крестообразно и светильникам, стоящим по обе стороны, и велегласно возгласит:

«Слава святей единосущней и животворящей неразделимей Троице всегда и ныне и присно и во́ веки веков». И

мы отвечаем: «Аминь». Начинает по амине велегласно с диаконом:

«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи, и гробным живот дарова!» — трижды и мы поем трижды.

«Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его...» — мы же к каждому стиху «Христос воскресе» трижды. — «Яко исчезает дым да исчезнут...» «Тако да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся...» — «Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь...» «Слава...» «И ныне...» — и скажет высочайшим гласом:

«Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи!» — и крестом отворив двери, ступит в церковь, и мы поющие за ним, — «и гробным живот дарова». И тогда ударяют напрасно во вся древа и железная и тяжкая камбаны и клеплют довольно, — три часы.

— Три часы, — протянул за Винокуровым Веденей Никанорыч.

И как в ответ ему внезапно ударило... ударил из темной воли колокол у Стефана Великопермского и покатился — и покатился над белым снегом разливной, как вестница-туча, над снегом, над лесом, над Ягой, над Медведем и катился — колокол за колоколом — по белым снегам за Печору к Уралу.

— Христос воскрес!

И не трыкнув, запрыгали ножницы. Веденей Никанорыч поднялся.

— Веденей Никанорыч, еще немножко! — чуть не плакал Винокуров.

Оставалось и вправду немножко: левая сторона совсем готова была и только с правой все еще кустики, срезать кустики — и делу конец.

— Сию минуту! — чуть не плакал Винокуров, усаживая Веденея Никанорыча.

Но если и в пассаже у Орлова, где бритва либо сам автостроп действуют и то не одну папироску выкуришь, дожидаясь очереди, а ножницами... ножничками только с первого взгляда, кажется, пустяки: отрежешь волосок, за

ним другой, за этим третий, — а ты попробуй-ка волосок за волоском, да и не как-нибудь, а начисто, да и свету такого нет, одна лампа не обманет ночь.

Молчком трудился Винокуров.

Время бежало, минуты летели, летели, как ветер — дед безрукий, а он летал за окном, разбужденный внезапным звоном.

— Ничего, ничего, успеем, — вдруг утешился Винокуров, — ризы долго меняют, у нас, в Толмачах сто риз батюшка переменит.

Веденей Никанорыч сидел, на себя не похож.

— Ничего, ничего, — утешал Винокуров, — «...кто пропустит и девятый час, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся, и кто попадет только в одиннадцатый час, да не устрашится замедления: велика Господня любовь. Он приемлет последнего, как и первого!»

Веденей Никанорыч сидел на себя не похож: ус его необыкновенно длинный, и тот и другой, и если не поднять его кверху, что-то вроде печенега получается, а поднимешь — Мефистофель, и притом бородка...

И когда зазвонили к обедне и, наконец-то, отвязал Винокуров занавеску, прошелся пуховкой, сдунул волос и так навел зеркало, чтобы можно было посмотреться, Веденей Никанорыч безнадежно замотал головою.

— Что это? — он потягивал себя за бородку.

— Колышек! — и глаза Винокурова так и горели.

Веденей Никанорыч стоял, на себя не похож.

Волей-неволей, а пришлось усы кверху поддернуть, ничего не поделаешь. Винокуров ему и закрутил их, на кончиках тоненькие, как мышин хвостик.

И вышли на волю.

Звонили к обедне.

Хлопьями снег летел, несло и мело, и в крещенской крути со звоном, с железом и тяжким камбаном выла метель, вывывала —

— Христос воскрес!

1915 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Положено в основу рассказов моих народное. Я пользовался сборниками — самарским, северным, пермским: Д. Н. Садовников, Сказки и предания Самарского края, Записки Имп. Рус. Географ. Общ. по отделению этнографии, XII т. Спб., 1884 г., Н. Е. Ончуков, Северные сказки, Записки Имп. Рус. Географ. Общ. по отделению этнографии, XXXIII т. Спб., 1908 г., Д. К. Зеленин, Великорус. сказки Пермской губ.. Записки Имп. Рус. Географ. Общ. по отделению этнографии, XLI т. Пгр., 1914 г. Привожу №№-а сказок в азбучном временнике-указателе.

Стр. 341. — *Николин завет.* — Из Олонецких легенд № 8. Этнограф. Обозр. М., 1891 г. № 4 (кн. XI).

Стр. 352. — *Шишок.* — М. Борейша, Солдат и черт. Э. О. 1891 г. № 3 (кн. X), А. Колчин, Верования крестьян Тульской губ. Э. О. 1899 г. № 3 (кн. XLII).

Стр. 353. — *Солдат.* А. Н. Афанасьев, Народные русские легенды. Изд. Современные Проблемы. М., 1914 г. № 16.

Стр. 365. — *Хлебный голос.* — Из Олонецких легенд № 10. Э. О. 1891 г. № 4 (кн. XI).

Стр. 376. — *Яйцо ягиное.* — А. Д. Руднев, Хори-бурятский говор. Изд. Факультета Восточных языков Имп. С.-Петербургского Университета. № 42. Вып. 3. Спб., 1913 — 1914 гг. № XXII.

Стр. 407. — *Оттрудился.* — А. Васильев, Жив. Старина, 1911 г. Вып. I.

	Год написания	№ Садовникова и друг. записи.	Год напечатания		№
Банные анчутки	1914	69 *а, г*	1914	Вершины	4
Белая пасха	1915	Ончук. 233, 260	1915	Вершины	17
Глухая тропочка	1914	89	1915	Нива	1
Голова	1914	100	1914	Огонек	13
Гол-камень	1914	73	1914	Голос Жизни	2
Доля солдатская	1914	80	1915	Отечество	3
За родину	1914	110 *а, е*	1915	Бирж. Ведомости	14586
За Русскую землю	1914	—	1914	Речь	349
Заря перегорелая	1914	90	1915	Нива	1
Заяц съел	1914	Афанас. 5	1915	Нива	1

	Год написания	№ Садовникова и друг. записи.	Год напечатания		№
Кабачная кикимора	1914	70	1914	Огонек	18
Клад	1914	112 *л*	1914	Голос Жизни	9
Клекс	1915	Ончук. 230	1915	Современник	3
Магнит-камень	1914	103	1914	День	351
Морока	1914	25	1914	Голос Жизни	5
На все Господь	1915	Зеленин 15	1915	Голос Жизни	13
Награда	1915	97	1915	Современник	1
Николин завет	1914	Э. О. 1891 № 4	1914	Отечество	5
Нужда	1915	67	1915	Современник	1
Оттрудился	1915	Ж. С. 1911 № 1	1915	Современник	3
Подожок	1914	105	1914	Огонек	14
Праведный судия	1915	96	1915	Современник	1
Пупень	1915	112*н*	1915	Современник	3
Пчеляк	1914	74*в*, 116*а*	1914	Голос Жизни	2
Семь бесов	1915	—	1915	Бирж. Ведомости	14741
Скоморошик	1914	98	1914	День	14
Слово	1915	—	1915	Нов. журн. для всех	8
Солдат	1914	Афанас. 16	1914	Бирж. Ведомости	14575
Солдат-доброволец	1914	Ончук. 156, 279	1915	Русская Иллюстрация	16
Спрыг-трава	1914	75, 113	1914	Голос Жизни	1
Страдной России	1915	—	1915	Отечество	8
Урвина	1914	72*е*	1914	Голос Жизни	6
Хлебный голос	1914	Э. О. 1891 № 4	1914	Отечество	6
Шишок	1915	Э. О. 1891 № 3 Э. О. 1899 № 3	1915	Вершины	15
Яйцо ягиное	1915	Рудиев XXII	1915	Голос Жизни	12

Рассказы, вошедшие в книгу У к р е п у (1914—15 гг.) напечатаны были в газетах и журналах.

I. Газеты: «Биржевые Ведомости», Пгр.; «День» (приложение), Пгр.; «Речь», Пгр.

II. Журналы: «Вершины», Пгр.; «Голос Жизни», Пгр.; «Нива» (приложения). Пгр.; «Новый Журнал для всех», Пгр.; «Огонек», Пгр.; «Отечество», Пгр.; «Русская иллюстрация», М.; «Современник», Пгр.



НАРОДНЫЕ ОБРАЗЫ

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

ЛЕПЕТЛИВАЯ

1

Жил-был человек с женою. Жену Маримьяной звали. Хороша была баба Маримьяна, другие бабы примутся языком чесать, такого нагородят и правды не добьешься, а Маримьяна, чтобы соврать или насочинить чего, такого в жизнь за ней не водилось, — одну сущую правду. Всем хороша и хозяйственная, — одно горе — утаить с такой ничего невозможно, все так и расскажет, как было, не утаит.

Ходил Яков в лес и нашел клад и взять одному такой клад несподручно, без Маримьяны не обойдешься. А как Маримьяне вколотишь, что клад — тайность и говорить о таком не годится: выйдет в люди, еще беды наживешь!

Вот идет он домой, раздумывает, дошел до речки, а в реке забран яз — загорожена, и в язу вятерь, а в вятерь ту попала щука большая. А был Яков мужик со сметкой: щуку он из верши вынул и пошел себе сторонкой в лесу. Стоят в лесу кляпцы, а в кляпцы попал заяц. Яков зайца из капкана вынул, да на его место щуку и посадил, и опять к речке к язу, и там пустил зайца в вятерь.

Уже сумеречком пришел Яков домой.

— Ну, — говорит, — жена, затопляй печку да пеки блинов болей!

— А что такое? На ночь глядя, печку топить!

— Да уж затопляй: нам сеночи в лес идти за деньгами, я клад нашел!

Сейчас Маримьяна к печке, затопила печку и стала блины печь. Стала она блины печь, а Яков сел блины есть и котомку с собой рядышком поставил: блин съест, а два да

три — в котомку. Марьимьяна-то не видит, только, знай, печет, — от печи распыхалась.

— И что это ты, Яков, так разъелся, блинов не напечешься!

— Глупая, да ведь денег-то сколько, надо поплотнее поесть, не управишься!

Наелся Яков блинов, а того боле в котомку наклал. И как стала ночь, айда в лес за кладом.

2

Вот идут они лесом. Яков впереди, сам идет да блины-то из котомки-то вынимает, да по суковью-то вешает, по лесу-то. А Маримьяна сзади, ей и неприметно. Шла, шла и увидала.

— Ой, что же это, хозяин, по суковью все блины-то!

— Эх, глупая, разве не видала, это блинная пища выпала.

— Ой! Я и не видала!

Дошли до капкана.

— Посмотри-ка, Яков, там нет ли чего?

Якову того и надо, — из кляпцов щуку и вытащил.

— Ой, хозяин! Как рыба-то в кляпцы попала?

— Эх, глупая, не видала, есть такая рыба, по суше ходит.

Дошли до речки, в язу верша там.

— Посмотри-ка, Яков, нет ли там кого?

Яков вытащил вятерь, а в нем заяц.

— Ой, хозяин, да что же это в вятере-то заяц!

— Эх, глупая, не видала, есть такие зайцы, в воде ходят.

Так со щукой, что по суше ходит, да с водяным зайцем дошли они до клада. И принялись за работу, наклали денег по такой котомке по большущей и пошли домой.

А идти им прямей селом было, мимо барской усадьбы. Поравнялись они с барским двором, на дворе козел заблеял.

— Ой, хозяин, кто это?

А Яков не будь дурак.

— Беги, — говорит, — барина-то черти давят! — да сам бегом.

И она за ним.

Бежали, бежали. Храпит уж, тошно ей, а все бежит. И прибежали. Слава Богу! — и клад, и щука, и заяц — цело.

3

Хороша была баба Маримьяна, хозяйственная, рано вставала, рано печку топила, раностайка. А тут, как ночь-то проходила, поутру поздно стала, поздно затопила печку. Вышла по воду к колодцу. А уж баб немало накопилось у колодца.

— Что это ты, соседушка, такая раностайка, а сегодня у вас поздно печка топится?

— Ночь проходила, соседушки.

— Куда же ты ходила?

— Ой, куда муженек: Яков клад нашел!

Ну, по всей по деревне, как телеграмма пошла: Яков клад нашел. Дошло до десятского, сказали старосте, а от старосты — к барину.

И сейчас призывает барин Якова.

— Что, голубчик, нашел клад?

— Никак нет, ваше благородие. И кто это вам насказал такое?

— Жена ваша сказывала. Все знают.

— Призовите жену, ваше благородие, клада мы никакого не находили.

Пошел староста за Маримьяной, привел бабу.

— Что, голубушка, нашли клад?

— Нашли, нашли, батюшка, нашли.

— Ну, а как же это вы нашли?

— А шли мы все лесом. И по лесу все блины.

— Блины?

— Блинная пища выпала. Идем дальше, стоят кляпцы, а в кляпцах-то этакое местище — щука!

— Щука?

— Вынули мы щуку, щука по суше ходит, дошли до

речки. Забран там яз, в язу заложен вятерь, вытащили вятерь, а в вятере-то этакое местище — зайчище!

— Да в какое же время вы шли?

— В самое, в самое-то время, когда тебя, батюшка, черти-то давили.

— Как! Меня? Черти... вон! — осерчал, затопал ногами.

— Вот, ваше благородие, слышали? Врет все. Я с ней век так живу.

Ну, барин видит, чего с такой взять, и отпустил их домой с миром. Клад при них и остался.

МУДРАЯ

1

Был один купец богатый. Был у него сын Ванюшка и такой умный — никуда не ходил, ни по пирам, ни по беседам, никуда.

— Что это у нас сынок никуда не ходит, никого не знает? Надо женить его!

— А ты посылай его на беседы, — советует мать.

Отец к сыну:

— Что ты, Ванюшка, никуда не ходишь?

— Куда я, тятенька, пойду, я никого не знаю.

— Ты бы хоть к девушкам на беседу сходил.

— Можно, схожу.

Дал ему отец три рубля денег.

— Поди, — говорит, — купи гостинцев и иди на беседу, девушек попотчуй.

Купил Ванюшка гостинцев, идет по городу, раздумывает, куда идти.

«На господскую беседу неприлично, на купеческую страшно. Пойду-ка я, где мещанки сидят, там попроще!»

И пошел на мещанскую беседу.

Девок беседа большая сидит. Все ему рады: не бывал на беседе никогда.

Одна девка бойкая, Танюшка, выскочила к нему:

— Пожалуйте, пожалуйте, вот место тут!

Ванюшка и сел к ней. Отдал ей гостинцы.

— Вот, Танюшка, потчуй подруг.

Танюшка по разу обнесла подруг, остальное себе.

И деньги, что у него остались, отдал он Танюшке.

— Мне, — говорит, — не надо, у нас, у тятеньки, денег много! — и пошел домой.

Дома встречает отец.

— Ну, что, Ванюшка, понравилось на беседе?

— Да ничего, тятенька, хорошо. Понравилось.

— А ты на другой вечер еще сходи.

— Можно, только мне, тятенька, этих денег мало. Дай пять рублей.

Отец дал денег.

И на следующий вечер взял Ванюшка гостинцев, сколько нужно, и пошел на беседу. И опять садится к Танюшке. И опять ей отдал деньги. А она его и провожать пошла.

И стал Ванюшка ходить каждый вечер. А денег просит у отца все вдвое, все вдвое: до двадцати пяти рублей дошел и до тридцати дошел.

Схватился отец.

— Не в добрый час мы послали сына по беседам ходить. Теперь он нас разорит.

— Сам послал по беседам ходить! — отвечала мать.

— Не лучше ли его женить?

— Так что же, жени.

Отец к сыну:

— Ванюшка, не желаешь ли ты жениться?

— Что же, тятенька, жените.

— А кого прикажешь сватать-то?

— Сватайте Танюшку. Девка-то хорошая.

Отец уперся.

— Нам такой не надо. Не то, что в дом, а дома не надо.

— А мне больше никакая не надобна.

— Подзаборная! — вступилась мать, — да мы за тебя найдем невест умных-разумных, благочестивых, от хорошего отца и матери, с большим имением, с большим приданым.

— Ну, как хотите. Кого возьмете, с тем жить и буду, — согласился Ванюшка.

2

Поехали сватать и высватали невесту умную-разумную, благочестивую, от хорошего отца и матери, с большим имением, с большим приданым. И женили Ванюшку. Свадьбу сыграли хорошую, богатую. После пира спать молодых положили. И сами улеглись. Все утихло везде. Никто не стал уж ходить в доме.

Ванюшка говорит Маше:

— Оставайся, жена, я пойду к Танюшке.

— Ну, ступай с Богом.

И пошел и вернулся вовремя: еще все спят. А поутру пришли молодых будить, видят — двое. Никто не узнал, а она никому не сказала.

На другой день поехали к Машиной родне, к ее отцу-матери на отводины. Там тоже гуляли. Стали готовить постель молодым на верху. Ванюшка говорит Маше:

— Я там не лягу, приготовляйте внизу, к дверям ближе.

Она упросила мать и им внизу постелили.

И как улеглись все, как затихло все и замолкло, он опять:

— Оставайся, жена, я пойду к Танюшке.

И так каждую ночь ходит и ходит. А жена, как чужая, — перстом не дотронется. Ходит, из дому все тащит.

Стали замечать отец с матерью.

— Скажи, Машенька, не ходит куда Ванюшка от тебя?

— Нет, никуда не ходит Ванюшка от меня. Постоянно все со мной.

Ну, да не проведешь стариков, сами дознались.

— Нужно его послать заграницу. Может, и отстанет от Танюшки.

— Пошли его, — согласилась мать.

Отец к сыну:

— Ванюшка, не съездишь ли ты поторговать заграницу? Я тебе нагружу товару корабль.

— Что ж! Я, тятенька, поеду.

Долго дела не откладывали, нагрузил отец товару корабль.

— Свои товары продашь, заграничных накупишь и опять домой приезжай.

— А какой тебе, тятенька, подарок привезти заграничный?

— А привези мне шапку в пятьдесят рублей.

— А тебе чего привезти, маменька?

— Привези мне во сто рублей шаль.

— Хорошо, маменька, привезу.

Обернулся к жене.

— Тебе чего нужно?

— Мне ничего не нужно: своего всего много. А привези, Ванюшка, ума.

— Хорошо, привезу.

Побежал к Танюшке.

— Заграницу торговать еду. Какой подарочек привезти тебе, Танюшка?

— Привези в пятьсот рублей салоп.

— Хорошо, привезу. Только как я тебе его передам? Приходи на пристань, когда вернусь.

Простился и поехал.

3

Приехал Ванюшка заграницу. Привалил на пристань корабль. И пошла торговля, такая торговля пошла, и не рядится: что спросит, то и дают. Все товары распродал по самой дорогой цене, а набрал товаров заграничных по самой дешевой цене. И подарки накупил: шапку отцу, шаль матери, Танюшке салоп, и осталось только жене ума купить.

«Где ума купить?» — ходит по городу, думает: без ума ему домой невозможно ехать!

Зашел в один магазин, самый большой, заграничный.

— Что, господа, нет ли продажного ума?

Рассмеялись.

— Дурак, — говорят, — есть умы у нас, да про себя, дурак!

Закрыл глаза, со стыдом вышел, идет по городу — головушка повешена.

Ай, попадает ему встречу пьянчужка рваная.

— Что ты так, голубчик, задумался? Головушка повешена?

— Уйди, что тебе за дело! — отмахнулся от пьянчужки рваной.

И разошлись.

А прошел немного и раздумался.

«Этакие, может, и лучше знают, где ума купить!»

— Стой, — кричит, — эй, друг, воротись-ка!

Пьянчужка тут-как-тут.

— Ну, что тебе нужно?

— А не знаешь ли, где умы продают? Жена наказала ума купить, без ума мне приехать домой невозможно.

— Пойдем со мной! Ума сколько хочешь найду.

Ну, конечно, куда же — в трактир в Симпатию. Привел его пьянчужка в Симпатию, усадил за столик.

— Посиди, — говорит, — тут. Я сейчас. Я это дело тебе сделаю, ума доставлю, только ум дорог — семьсот рублей.

— Семьсот, так семьсот!

Долго ходил пьянчужка. Наконец-то явился, несет узелок под мышкой: в рогожке узелок, укутан веревками накрепко.

— Денежки пожалуйте, семьсот рублей.

Отсчитал Ванюшка деньги, а тот ему узелок.

— Не смотри до дома, а то уйдет ум от тебя.

Взял Ванюшка узелок и на корабль. Там, в каюте закрыл окна и дверь, положил узелок в угол. И стали отправляться в путь.

Мало ли, много ли места проехали, и стал этот узелок его мучить.

«За что я семьсот рублей отвалил? Чего я домой жене привезу?» — только и дума, только и мука.

И сошел Ванюшка в каюту, заперся, да за узелок. Путал, путал — распутал. А там — худые брючишки, рваные-прерваные, да и пиджачонка рвань, да шапчонка рваная, худая, да сапоги оборыши без голенищ, одни коты.

Хлопнул себя с досады:

— Так вот за что я семьсот отвалил!

Сгреб рвань в охапку и понес — куда же? — только в море. И только что замахнулся сбросить в море, вдруг стал.

«А не свезти-ка мне лучше домой?»

И вернулся в каюту, кинул в угол рвань.

4

Приехал Ванюшка домой на сутки раньше. Привалил к пристани корабль. Сошел в каюту, вытащил узелок, оделся в это ризье, обулся. И пошел с корабля нищим.

Приходит к отцовскому дому. Помолился у порожка, просит милостыньку Христа ради.

Вышел отец, тридцать копеек вынес.

— Прийми, нищенка, милостыньку! Помолись за моего сына Ванюшку.

А мать за ним полтинник дает.

— Помолись за нашего сына Ванюшку.

Выходит жена, рубль несет.

— Прими, нищенка, милостыньку. Помолись за моего милого мужа Ванюшку, чтобы дал ему Господь ума-разума.

Поклонился Ванюшка отцу, матери и жене и пошел от двора к Танюшке.

У Танюшки — огонь, дверь не заперта. Вошел в дом. А там стол, как буфет. На столе разные закуски, выпивка, рюмки. И сидит у нее за столом такой рыжик. Вот охватываются, целуются. Оба пьяные.

— Я, пока жива, от тебя не отстану! — хлопнула Танюшка об стол кулаком, — и от Ваньки тоже не отстану, пока его по миру не пущу.

— Милостыньки Христа ради!

Кидком кинула три копейки.

— Убирайся к черту!

Вышел, перекрестился Ванюшка.

— Слава Тебе, Господи! Не жаль мне и денег: не рвань, я ум купил!

Вернулся Ванюшка на корабль. Оделся, сдобился, дожидает света. И как светло стало, едет к нему Танюшка на тройке.

— Все ли благополучно? Как поживаешь, Танюшка?

Заплакала Танюшка.

— Про меня-то ты и не спрашивай! Без тебя я переплакалася, перетосковалася. Привез ли ты мне подарочек?

— Привез, привез.

И пошел в каюту и она за ним.

И как вошли в каюту, он ее схватил и ну мять и топтать. Всю изодрал — всю в кровь. Как кусок мяса выкинул.

Извозчики не берут.

— У нас, — говорят, — дама ехала! А это что? Мяса кусок.

Не обернулся Ванюшка, пошел к дому — к отцу-матери.

Все его встречают — и отец, и мать, и жена.

Поздоровался он с отцом, с матерью и с женой. Приогляделся и стал подарки дарить.

Отдал отцу шапку.

— Вот тебе, тятенька, шапка в пятьдесят рублей. Хороша ли?

— Хороша, Ванюшка.

Подал матери шаль.

— Вот тебе, маменька, шаль в сто рублей. Хороша ли?

— Хороша, Ванюшка.

Подает салоп жене.

— Вот тебе, милая жена, в пятьсот рублей салоп.

Как обрадовалась Машенька.

— Слава Тебе, Господи! Дал Ты ему, Господи, ума-разума!

И стали они жить по-хорошему.

ВЕРНАЯ

1

У богатого купца был один сын, малый гораздый.

Вот отец и мать говорят ему:

— Васенька, надо женить тебя — время подошло.

— Жените.

— А люба ли тебе невеста, дочка купца Печникова?

— Что ж, люба! Поедемте.

И отправились все трое к богатому купцу Печникову. Высватали его дочку. Сели родители уговариваться, а Василий в невестину комнату.

— Теперь ты, все равно, моя! — и ну любезничать.

Она было отговариваться:

— Не долго, ведь, обвенчаемся.

— Ну, все равно, и теперь, что моя.

Она и согласилась.

А он от нее прочь.

— Обожди маленько. Я сейчас схожу к отцу, поговорю маленько и вернусь.

И вышел к отцу, к матери, да тихонько подговорил их, чтобы домой ехать. И уж к невесте не вернулся.

Приехали домой.

— Не надо мне, тятенька, этой невесты: дому она не хозяйка и мужу не жена.

На другой день старики опять к сыну:

— Васенька, поедем к купцу Костерину свататься.

— Что ж, поедемте. Мне его дочка нравится.

И отправились все трое к богатому купцу Костерину. Высватали невесту. И опять случилось то самое, что и у купца Печникова.

Ни с чем вернулись домой.

— Не надо мне, тятенька, и этой невесты: дому она не хозяйка и мужу не жена.

— Обесчестил ты нас, Василий. Стыдно нам будет и встречаться. Теперь, как сам знаешь, так и делай. Хоть холостым живи, хоть женись. Мы с тобой не поедем больше!

— Ну, так я сам пойду и выберу себе невесту.

Идет Василий по городу. Весь город обошел, нет ему по душе невесты. Дошел до неражинкой избушки. И видит, идет с ведром по воду, и такая красавица, что лучше и желать не надо.

Эта девица бедной вдовы была, Луша.

Он за ней следом. Она в неражинкую избушку, и он за ней.

Мать была дома.

— Бабушка, я пришел вашу дочку сватать.

— Что ты, Василий? Где же нашей дочке за вами быть! У нас нет ничего, а вы такой богатый.

— Ну, бабушка, что толковать. Полюбилась мне ваша дочка.

Помолились Богу и по рукам.

Вот старуха из избы вышла куда-то, а он опять и к Луше, как к тем своим невестам.

— Ты, — говорит, — все равно, что моя теперь!

И все, что тем.

А она и слышать не хочет.

— Как хотите, возьмете или не возьмете, а пока не повенчаемся, того не будет.

И как он ни уговаривал, никак не мог уговорить.

Вернулся Василий домой.

— Вот, тятенька, я сегодня высватал себе невесту. Нашел! Будет она и дому хозяйка и мужу верная жена.

Благословили отец и мать. И поженились Василий и Луша.

2

Живет Василий со своей Лушей в любви и согласии.

Живут и лелеют. И никогда один без другого никуда не пойдет. И никогда бы не расстались друг с другом. А пришлось.

Поехал Василий в иные земли с товаром на кораблях. Распростился с женой и поехал. И так хорошо торговал, расторговал все товары.

А давал король пир и созвал на пир купцов и своих и приезжих. Пили, гуляли. Разгулялись и ну хвастать: кто богатством, кто мастерством. Только Василий сидит, помалкивает.

— А ты что, купец, ничем не хвастаешь?

— Да чем же мне хвастать? А похвастаюсь я моей верной женой. У меня жена Луша, ничем не возьмешь!

Этакий ловкенький тут и вызвался:

— Неправда! Я докажу.

Гости слышали и слова его утвердили и подписали.

— Если ты прав, — сказал король Василию, — верна твоя жена, большая награда тебе будет, а если не выйдет по-твоему, голову долой!

А тот ловкенький прямо с пира да на корабль.

Приезжает он в город и прямо в Васильев дом. И давай склонять Лушу. И деньги ей сулит большие и проходу ей не дает, места никакого. И ничем от него не отвяжешься.

И говорит ему Луша:

— Уж я спрошу, и как скажут люди, так и сделаю.

И рассказала свекору.

— Что, батюшка, посоветуешь?

— Что же! Не заметка у мужа положена. Что же, можно.

— Нет, вы не ладно судите! — и пошла к свекрови.

Рассказала свекрови.

— Ежели склоняет, — сказала свекровь, — так не заметка у мужа кладена. Можно.

Пошла к попу. Все ему рассказала.

— Не нарушай закона, — сказал ей батюшка, — деньги, что он сулит, это все прах, а твою верность, ее ничем не выведешь и не купишь.

Вернулась домой, а тот уж ждет.

— Ну, что сказали?

Она ему свое, а он свое.

Ночь подходит, скрыться некуда. Так и пристает. И нечем от него отговориться. Терпела, терпела, невмоготу стало.

— Дожидайте ночи, я приду! — и велела ему идти в свою спальню.

Он — в спальню, а она — на кухню к Ульяше. Любила ее Ульяша, как сестру родную, служила ей верно.

Со слезами стала Луша уговаривать Ульяшу:

— Оденься в мое платье, сходи к нему!

Не хотела Ульяша идти на такое: тихая была, как монашка, глаз не подымет. А согласилась: очень любила Лушу.

И нарядила ее Луша в свое платье: все сняла с себя и на нее надела, дала свой именной перстень.

И пошла Ульяша вместо Луши.

А тот к ней, и слова не сказал, нащупал только кольцо и давай снимать. А кольцо было туго. Бился он, бился, взял с пальцем и отрезал, да в карман себе. И еще схватил платок именной, на столике лежал. И больше ничего. Скорей в отправку. И след простыл.

Вернулась Ульяша на кухню, — только палец отрезан.

— Что же это значит? — ничего не могла понять Луша, — так долго приставал и только отрезал палец!

Наутро рассказала она свекору.

— Это не иначе, — сказал старик, — как сын наш в погибели. Не надо медлить, а ехать нам к нему. Должнó, поспорено там чего-нибудь.

И в тот же день собрались и поехали: свекор-старик, Луша да Ульяша беспалая.

А тот ловкенький, как приехал домой, так прямо к королю.

Собрал король купцов, пригласил Василия.

— Ну, говорил ты, что никому твоей жены не склонить, а я вот докажу! — и показывает перстень именной и платок.

Все поверили.

Василий поверил.

И приписали его к смерти: завтра на плаху.

А к ночи прибыл в ту землю — в тот самый королевский город, где торговал Василий, старик-отец и с ним Луша и Ульяша, и остановились они на ночлег у одного-то тамошнего человека.

— Что у вас, дяденька, в городе деется? — спросил старик.

— А завтрашний день русский купец приписан к смерти. Надо идти смотреть. Похвалился своей женой, что никому не склонить ее, а один ловкач вызвался и доказал: принес королю именной перстень и платок. Завтра и будут вешать купца.

— А нам, дяденька, можно сходить посмотреть?

— Как же не можно, коли по городу отданы объявки: все должны идти смотреть.

Ночь там не долго спалось. Рано утром пошли они в собрание. Оставил старик Лушу с Ульяшей в прихожей, а сам вошел в комнаты. И видит, сидит сын весь-то чернехонький, черен от горя — сейчас смерть ему.

— Что у вас за собрание? — спросил старик.

— Да вот, — говорят, — купца надо вешать. Похвастался своей женой, что никто не склонит ее, а один и склонил.

— Где тот человек? Покажите-ка мне его сюда!

— Трещов! — кричат, — Трещов, выходи!

— Пожалуйста, — просит старик, — приведите и тех из прихожей.

Привели Лушу и Ульяшу. Явился Трещов.

И рассказал старик все, как было: как нарядила Луша в свое платье Ульяшу и как Трещов палец у Ульяши отрезал.

Ульяша показала руку — пальца нет, отрезан.

Вывернули карман у Трещова, где было кольцо положено, — карман в крови.

И повеселел Василий.

И все повеселели.

И освободили его, прощенья просят.

А Трещова — на виселицу. Уж петлю накинули.

— Стойте! — остановил Василий: простил Трещова, — довольно и того человеку, что на шею ему петлю накинули!

И отпустили Трещова.

А Василий получил от короля большую награду и сейчас же в дорогу.

И дорогой, пока доехали до дому, много он спасибов сказал жене. А дома наградил Ульяшу и навсегда ее оставил при доме жить. И стали они жить да поживать.

УМНИЦА

Деревня была большая, девок много, а на беседу не пускают. Без беседы молодому-то со стариками, что могила. Взяли девки да сами и выстроили избу у озера — свою, чистую просторную.

Ходят вечер, ходят другой, ходят третий.

И сначала-то будто и лучше, чем дома в одиночку, а потом показалось скучно: парней нет, — не то не знают, не то не хотят, ну, хоть бы какой зашел.

Вот и сидят вечером девки одни и песен не слышно.

— Хоть бы из озера кто пришел! — толкуют тихонько.

Скучно. От скуки и не такое затолкуешь.

— А пускай из озера, все равно! — крикнула Орина: люта девка, страсть.

И оживилась изба: из озера, так из озера, только бы гости.

А уж стучат.

Отворили дверь — парни. И такие все нарядные, при часах и в калошах. И сейчас за гармонью — завели игру.

И так стало весело, ну, в жизнь никогда так не было весело.

А была у Орины с собой на беседе сестренка Улька. Сидела Улька на печке, носиком так сторожила, и, видно, заметила что-то.

— Нянька, — кличет, — иди сюда-то!

— Что тебе?

— А посмотри-ка, нянька, глаза-то какие?

Тут Орину ровно холодом обдало: глаза-то у парней и вправду непростые, через все лицо глазищи — и так и горят, а зубы — железо.

— Как бы уйти нам! — растерялась девка.

— Я запрошусь, ты выведи меня, так и уйдем, — шепчет Улька.

Этакая, ведь, умница, догадалась!

Отошла Орина от печки — страшно! — а парни так за ней, так за ней кольцом и кружат, в самую середку загнали: из всех, ведь, любей им Орина!

Тут слышно, Улька запросилась.

Ну, Орина сейчас же к девчонке, сняла ее с печи. А парни-то загородили дорогу, не пускают.

— Да что вы, отпустите! Прищемите мне хоть сарафан дверью, никуда я не уйду! — уж на голос кричит Орина: страшно.

Согласились, выпустили, да не очень-то верят: прищемили ей подол в дверях: ну-ка, уйди, попробуй.

А она лямки с плеч, Ульку на плечи, да бежать.

Бежала, бежала, добежала до бани. И чует Орина, гонится один за ней, вот-вот настигнет. Она в баню. Стала, взмолилась к баннику:

— Оборони от смерти!

Да с Улькой на полок скоконула.

А из-под полка ровно шмыгнул кто, ухнул, да в дверь.

И такое поднялось там, не дай Бог, — драка: банник-то с парнем. И дрались они, пока певун не запел.

И все затихло.

Только сверчок.

— Нянька, — шепчет Улька, — пойдем домой!

И вышли они из бани. Светать стало, пришли домой.

А поутру хватились по деревне девок, никого дома нет. Собрались всем народом и к озеру к беседной избе.

А там, — там только по полу костьё да косы — больше нет никого.

ЛЕШАЯ

1

Ефим ходил шить. Шитья не может найти. И такая досада взяла, да и не евши тоже.

— Мне бы хоть к лешему! — махнул рукой.

И вдруг старик навстречу и прямо на него, прищурился:

— Ты куда?

— А вот шитья ищу.

— А пойдем ко мне. Есть одеяло, пошить надо.

Обрадовался Ефим: нашлось-таки дело!

И пошли дорожкой: впереди старик, за ним Ефим. Своротили в сторону по тропке — темно — и вышли на поляну.

А там дом — сколько Ефим по лесу ходил, места знает, а про такое не слыхивал — большинский.

И ведет его старик в этот самый дом. Встречает старуха: старая, один только зуб. Осмотрелся Ефим — богато живут! — а старика уж нет, старуха одна.

— Для чего, — говорит, — ты пришел?

— Шить. Меня хозяин шить позвал.

— Чего шить? — сердится.

— Одеяло.

— Получше шей, — говорит, — чтобы понравилось. Вашего брата швецов сколько перебывало, все не нравятся. Только расстраиваете! — ой, сердитая.

И повела его старуха через весь дом переходами на другой конец в пустую горницу.

— Принесет хозяин сколько овчин, ты все и клади, обрезков не делай, да лапочков-то не отрезай!

Засветила огонек в горнице, постояла, посмотрела.

— Горе одно с вами! — покачала головой на Ефима и пошла, ровно и не сердитая.

Остался Ефим один — пустая горница, жутко — уж дыхнуть боится, сам не знает, что и будет, одно знает, беда.

2

Утром принес старик овчин цельную ношу, сложил овчины в углу, а сам ушел.

И взялся Ефим одеяло шить: расклал овчины по полу, так и старается, и нигде никаких обрезков не сделал, лапочков не тронул. За день поспело одеяло.

Вечером приходит старик: готово. Посмотрел, потрогал — понравилось.

— Вот что, Ефим, сшей-ка ты мне еще тулупчик.

Доволен старик.

— Мне бы изразок, — попросил Ефим, — чтобы в акурат было.

— Завтра, — сказал старик, — теперь погуляй! — и пошел.

А как погуляешь, — дверь на запоре.

Ефим и постучал. Отворяет старуха, тоже довольна, хвалит.

— Понравилось! Молодец!

И повела его, вывела во дворик. Походил Ефим по дворику, повздыхал и опять назад в горницу.

Наутро принес старик на образец тулупчик и кусок сукна.

Вымерил его Ефим, каждое место, и к вечеру сшил точно такой же.

И опять хозяин доволен.

— Сшей мне еще рукавицы да шапку.

И так всякий день еще и еще.

Уж терпенья больше нет, извелся Ефим, а все шьет. И год и другой и сколько так мучился.

И только что старуха Лешачиха, выведет его Уставовна по двору погулять.

— Смотри, Ефим, — учит старая, — станет тебя хозяин рассчитывать, спросит, много ль за работу надо, а ты не проси ничего, скажи: «Сам, мол, знаешь сколько, не изобидь».

Кончил Ефим шитье, сидит в своей пустой горнице, одну свою думу думает. Входит хозяин.

— Ну, Ефим, много ль тебе за работу?

А Ефим ему, как Лешачиха-то учила, так и ответил: сами, мол, знаете, постарше меня.

— Клади, — говорит, — безобидно чтоб было.

Понравилось старику, вышел он из горницы и скоро назад и не один, а ведет девицу, — ну, просто б глядел все время, вот какая!

— Дам, — говорит, — я тебе, Ефим, в приданое за ней тройку и карету. И одежу тебе дам под венец. Еще сто рублей деньгами.

Ефим уж и сказать ничего не может, только кланяется.

— А еще привяжу колоколец к дуге, сбрую на коней серебряную. А пойдешь к венцу, станут у тебя коней отнимать, а ты скажи, запомни: «Кабы где я шил, тот на это время был!» И все будет.

Простился Ефим с хозяином, поклонился Лешачихе.

— Спасибо тебе, Уставовна, без тебя пропасть мне!

Да сел на тройку с девицей. Залились колокольцы, несут кони, сами на дорогу вывели.

3

Приезжает Ефим домой, стучит в ворота.

Старик отец отворяет.

— Господи, не клали и живым! — плачет: рад-то очень.

— Как! Не жив? Я невесту привез.

Ну, долго не мешкали, на другой же день и за свадьбу.

Покатил Ефим на тройке в церковь. Стали венчать.

А народ обступил тройку: кто на карету, кто на колокольцы, кто на сбрую, кто на коней — всякому в диво.

— Стой, — говорят, — кони-то Ершовские, старосты.

Да к старосте.

— Твои кони нашлись!

Пришел староста: кони точно его.

Кончилось венчанье, вышел Ефим с женою домой ехать, а садиться-то в карету им не дают.

— Где, — говорят, — ты коней взял? Ты их украл?

Ефим клянется: свои. А те свое: украл.

«Эх, кабы где я шил, тот на это время был!» — вспомнил Ефим.

А хозяин-то и смотрит на него, Леший с народом стоит, откуда ни взялся.

— Что у тебя, Ефимушка?

— Коней отнимают.

Старик к старосте.

— Ты как, — говорит, — признал коней-то?

— Признал.

— А карету признал?

— Признал.

— А дочку-то? Аль не признаешь?

— Нет, говорит, — была у меня, да давно уж: грех вышел, из люльки потерялась.

— Да это она и есть! Двадцать лет хранил я ее. Вот тебе зять, принимай его с дочерью. Зови ж их, в гости веди. И все ему отдай: хороший парень, работник!

И пропал. Туда-сюда, нет старика.

Тут староста Ефима за руку и дочь свою и повел к себе, и наделил Ефима — спасибо, что дочку вывел!

НЕСЧАСТНАЯ

1

Жил-был муж с женой. Оба молодые. Жили они хорошо, ладно. И родился у них Петюнька.

А проходила по тем местам колдовка, приглянулся ей муж, ну, долго такой думать не надо, оборотила она жену рысью — убежала рысь — а сама на ее место и стала жить в доме хозяйкой.

С чужим дитем колдовке ни любви, ни охоты, наняла она няньку. Нянька с Петюнькой и возилась. Днем ничего, а по ночам горе — кричит ночь Петюнька, ничем его не утешишь. Жили они, как в темнице.

Добрая была нянька Матвеевна, жаль ей сиротинку. Пошла раз колдовка по гостям, Матвеевна и просится у хозяина.

— Отпусти, — говорит, — нас в чисто поле погулять с Петюнькой.

А он при колдовке-то лют, на все сердце, а без нее прежний.

— Ну, что ж, идите с Богом!

Пошла Матвеевна в поле, села с Петюнькой на межицу, — вольный воздух, чистое поле! И так горько старухе: где-то мать, где несчастная рыщет?

Бегут полем рыси.

Матвеевна — стойте!

— Рыси вы, рыси, серые рыси, не видали ли вы младенца матерь?

— Видели, видели, — говорят рыси, — во втором стаде бежит, горы молоком обливает, леса волосами оплетает.

И дальше побежали.

Бежит и другое стадо.

Тут и Петюнькина мать. Узнала, обрадовалась, одну шкурку с себя скинула и другую скинула, взяла Петюньку себе на руки. Кормит и плачет — век бы не расставалась!

Пришло время, и опять шкурки на себя надела, опять стала рысью и прощайте.

А Матвеевна с Петюнькой домой.

И всю ночь проспал Петюнька, ни разу и не всплакнул за ночь.

2

Наутро хозяин уж сам посылает няньку.

— Подьте, — говорит, — в чистое поле, погуляйте!

И пошла Матвеевна в поле, села с Петюнькой на межицу — вольный воздух, чистое поле!

Бегут полем рыси.

— Рыси вы, рыси, серые рыси, не видали ли младенца матерь?

— Видели, видели, — говорят рыси, — в третьем стаде бежит, горы молоком обливает, леса волосами оплетает.

И пробежали.

И другое стадо пробежало.

Бежит третье стадо.

Тут и Петюнькина мать. Обрадовалась, да скорее с себя шкурки, взяла Петюньку себе на руки. Кормит и плачет — придет срок и опять побежит она рысью!

А хозяину что-то скучно дома.

— Дай, — говорит, — пройдусь в чистое поле.

И вышел и видит: в поле на межице кормит Петюньку, а за кустом и рысьи шкурки висят, узнал Наташу. И так ему ее жалко. Подкрался он потихоньку, снял с куста шкурки, обложил сухим листом да и зажег.

А она почуяла.

— Что-то, — говорит, — Матвеевна, смородом больно пахнет.

— А дома, видно, колдовка, перемену мужу жарит! — заплакала Матвеевна: жаль ей сиротинку, еще жальче матери несчастной.

Пришло время, хватилась шкурок, а шкурок-то нет нигде, и не во что ей одеться.

Тут он и вышел.

Взял ее за руку.

— Пойдем домой, Наташа!

И повел ее в дом.

А уж колдовки и след простыл.

СЕРДИТАЯ

1

Это было в давнишние времена, когда еще господа над подданными своими мудровали, а подданные рабы господ своих слушали.

Жила-была барыня Закутина и до того сердитая, ничем не угодишь. Придет поутру староста спросить чего, наряд какой дать, — и без того, чтобы не отхвостнуть человека, нипочем не отпустит. То староста, а уж простому и совсем житья не было — драла, как собак.

И ничего народ придумать не мог, как из беды выйти, — ну, хоть бы отдых какой положен был, ну, праздник, все едино: лупь, крик и дёрка, хоть пропадай.

Как скот самый изнавозный, так и жили.

Проходил солдат домой на побывку, заночевал в деревне. С вольным человеком и отвели душу, — все ему рассказали про свое житье-бытье под барыней.

— Эко горе! — говорит солдат, — да я вам ее так размягчу, что твой пух станет.

— Сделай милость.

— А не найдется ли у вас мужика какого самого рассердитого.

— Есть, есть, как же! Сапожник Федосей.

— А баба-то его как?

— Анисья. Хорошая баба.

— Очень лют?

— Не дай Бог.

— Ну, ладно, только, братцы, уговор: что скажу, то и делай, согласны?

— Согласны.

Послал солдат в усадьбу отыскать верного человека. И явился такой, — лакей закутинский. Солдат ему сонных капель: как барыня на ночь будет чай пить, чтобы этих самых капель барыне в чай и подпустил, а как заснет барыня, сейчас же ее в коляску и везти, не

будя, на деревню к сапожнику. А к сапожнику отрядил солдат другого человека с каплями для Анисьи.

И как ночь пришла, барыню Закутину с Анисьей и обменяли: Анисью в усадьбу на барынину кровать, а барыню к Федосею под бок.

2

Поутру проснулась Анисья. Видит, чистота кругом, простор, думала, на тот свет попала. Плохо ей было в той жизни с Федосеем, — ой, мужик, страсть, весь, как в барыню! — и такая вдруг тишина. За терпение, видно, послал ей Бог перемену.

И пока она нежилась да Бога благодарила, вошли служанки: умываться.

И полотенце несут.

«Господи, до чего дослужила!» — удивлялась всему Анисья.

А умылась, самовар подают.

«Откуда берется!»

Села чай пить. Староста на цыпочках входит, кланяется.

— Я, барыня, к вам пришел спросить, какой наряд дадите, что работать?

А Анисья и не знает, что отвечать-то.

— Что вчера делали, то и сегодня делайте! — да сама стала, поклонилась старосте.

Пошел староста.

«Вот так барыня!»

А как барыня настоящая пробудилась у сапожника, кричит:

— Дармоеды!

Федосей сидит шьет, да как вскочит со стула, сдернул с ноги ремень.

— Нешто не знаешь своей должности, несчастная. Топи печь!

Барыня-то ушам не верит, думает, попала в ад. И все это свое вспомнила, да поздно, и живо с кровати да за дровами, принесла дров, затопила печь.

«Господи, вот чего заслужила-то!»

3

С месяц так провели время. Анисья жила, как в царстве небесном, Бога благодарила, а барыня Закутина у Федосея, как в пекле, в работе и попреках. Ну, что ж, видит солдат, прок есть. Созвал собрание.

— Что, братцы, не пора ли обменить?

— Пора.

И опять велел солдат сонных капель обеим с чаем дать, и, как заснут, перенести.

Так все и сделали.

И попала Анисья на старое место к Федосею, а барыня к себе в усадьбу.

И с той поры сделалась барыня мягкая-размягкая: не то, что драться, а и крикнуть боялась. А Анисья с сапожником век доживала — судьба такая: в ее доле и солдат не поможет.

НЕЛЮБАЯ

1

Выйдет Сошка на двор — одна, ни души, — и ударит ей по́ сердцу.

С мужем неудовольствие было все: наговорят старики на невестку, не люба она им, в дом пускать к себе не хотели, нагородят невесть что, ну, и он к ней спиной.

Вспомнит Сошка обиду.

— Все равно пропадать — повешусь! Или ножом полоснуть?

А потом жалко станет, раздумается.

— Может, и ничего, поправится.

А тут во дворе-то, Дуняшка-кобыла, Жучка, Маруська — станет мило, погладит коров. Погладит, поплачет. Поплачет — отойдет слезами. И в дом.

А какая Сошка желанная, какая умница, — цены ей нет.

И за что это старик-то со старухой? В чем провинилась?

Чем недовольны? — клещат и клещат. А и Сергей хорош! Всему верит.

Кот трется к Сошке, курлычет: от него, кота, Сошка только и видит ласку.

— Ой, Василий, один ты друг, колобун усатый! — погладит кота да за работу.

А какая Сошка работница, какая умница, — цены ей нет!

2

Приехали из гостей в чистый понедельник — от отца, от матери Сошки.

Вечером старика на сход кликнули, а старуха ненадолго вышла на беседу.

Сошка сидит у огонька, прядет.

После родимой Головлинки, дома родного, ой, как постыло!

Старуха вернулась и сама села прясть.

Ой, как постыло, нелюбой! А на сердце — ни слов, ни слез.

Подняла глаза Сошка — старуха прядет, муж спит, — у, постылые стены! И ударило по́ сердцу:

— Все равно!

Сошка засветила огонька да в сени... Отыскала веревку мочальную простую, наладила петлю, перекинула веревку через перемет, — петлю на шею. Приладилась. Захватилась руками за веревку...

Вдруг слышит старуха, невестка как блюет.

— Видно, пива напилась!

И опять слышит: что-то неладно. Стала старуха, засветила огонька, с огоньком в сени.

А муж дрыхнет, ничего-то не чует: это с блина так ему спится сладко, — хороши были блины в Головлинке!

— Ой, батюшки! Господи поми-лу-уй!

Старуха назад в избу, тычется от страха, да к сыну.

Сергей догадался: неладно, — выскочил в сени.

А там Сошка.

— Ох, шельма, что делаешь!

Стоит Сошка под переметом, петля на шее. Еще туже захватилась за веревку, — Сергей и рук ей разжать не может.

— Шельма!

Что делать? Скорее за перемет, жердь снял, — тут она веревку и отпустила.

И пала она помаленьку наземь, нелюбая, нелюбыми глазами к сырой земле: ей все равно.

Сергей ее за подпазушку и потащил в избу.

Старуха-то этакой беды от роду не слыхала: нынешний народ что делает.

— Ой, батюшки! Господи, помилуй!

Притащил Сергей чан с водой, сам побежал на сход за стариком.

Осталась одна старуха: зачерпнет кружку, приладится ленуть на Сошку, а та — той все равно — кружку-то рукой и оттолкнет к дверям.

— Да, что ты, дура, проливаешь воду-то?

Не понять старухе. Подымет она с полу кружку, зачерпнет и только что приноровится, а та опять — той все равно.

Билась, билась, старуха, бросила.

А Сошка лежит — не шевельнется, не скажет, — как мертвая.

— Ой, батюшки! Господи, помилуй!

3

Вот и бегут со схода: сотский, десятский и полицейский со стариком, да с Сергеем.

А Сошка лежит — не шевельнется, не скажет — как мертвая.

Постояли над ней, постояли. Ну, что они могут сделать?

— Сергей, — говорят, — поезжай за попом.

— Ой, батюшки! Господи, помилуй! — тыкалась старуха.

Сергей живо к попу.

— Хозяйка очень трудна́.

Поп ехать не хочет.

— Пущай до утра. Помрет, похороню.

Так и вернулся.

А Сошка лежит — не шевельнется, не скажет — как мертвая.

— Чего ж ты не сказал, что из веревки вынули?

И погнали назад к попу.

— Батюшка, мы, ведь, ее из веревки вынули.

Ну, поп и поехал:

— Как ее зовут?

— Софьей.

Поп велел всем выйти: исповедать, значит, надо.

А как вышли и остался поп один с Сошкой — Сошка, как мертвая, — взял он ее за руку:

— Софья! Софья!

— Что, батюшка? — тихо отозвалась Сошка.

— Что ты это делаешь?

Сошка открыла глаза, приподняла голову: ничего незаметно, только на шее под горлом место красненькое.

— Невыносно!

Тихо она это сказала: «невыносно», — а и везде было слышно, и в сенях, и на дворе там — «невыносно»!

— Ой, батюшки! Господи, помилуй! — тыкалась старуха.

Сошка стонала.

Поп благословил и вышел. Велел Сергею за доктором ехать. А сам домой.

Пока что дали лошадям маленько перехватить, пока что, подошла полночь.

А Сошка опять лежит, как мертвая.

Собрался Сергей: пора ехать.

Вдруг она села.

— Не езди!

И так хорошо говорить стала, все просила не ездить: ночь, ведь! — словно с ней ничего и не случилось.

Сергей положил шапку: стало быть, не ехать!

И пошел лошадей распрягать.

А она на печку.

И больше ни слова.

Хотел было сотский ее расспросить, дознаться, — молчит.

— Ах, каналья, каналья!

Так и разошлись: сотский, десятский и полицейский.

И остался старик со старухой да муж, да на печке Сошка.

Все заснули, спят, не спит одна Сошка.

— Невыносно! — и красный знак на шее жжет.

ДОШЛАЯ

1

Пристала Анфиса к Синкриту:

— Уходи жену, а со мной обвенчаемся!

Анфисе полвека годов, вдовая, покойного мужа-то, сказывают, заколотила в гроб, баба дошлая.

Худо жил Синкрит с женою: Агафья и молодая, да после Машутки надорвалась, видно, таяла, как свечечка.

Синкрит и давно б уходил Агафью, да как такое дело обделать не сразумишься, а, главное Машутка: все смотрит — двенадцатый год девчонке — все понимает.

А Анфиса свое ладит:

— Уходи жену, а со мной обвенчаемся!

2

Вечером вышла Агафья в хлев задать корму корове. Девочка в доме за работу села.

На воле снежок шел.

Вот Синкрит, не будь глуп, взял веревку, да в хлев. Подкрался с веревкой к Агафье, да сзади на шею ей и набросил веревку. Дернул — петля есть! — и потащил.

Агафья не пикнула.

Выволок ее на двор — дело чистое.

Агафья не пикнула, ошеломило ее вдруг, да руки-то как-то сами под веревку: руки-то она под веревку и подложила.

Машутка вдруг слышит, на дворе мать кричит, ой, как кричит! Застучала там Машутка, в доме-то, Синкрит поскорей веревку с Агафьи и сдернул.

Машутка из избы на двор.

А мать ровно и не дышит, белая такая стала.

— Тятя, чего ты? Тятя, чего ты? — ухватилась девчонка за отца: поняла, от него это.

И сама, как мать, стала белая.

Притащили Агафью в избу.

Тут Машутка догадалась, да за снегом. На воле снежок шел. Принесла снегу и ну матери в рот класть и оттирать ее всю. Агафья вздыхать стала. А та трет ее и трет. И заговорила. За попом просит послать: худо ей.

А Анфиса тут-как-тут: она себе чует. И сейчас же мужика в аптеку погнала за лекарством.

Пришел поп, исповедывал Агафью: она ему все рассказала, и как мужик лаял и как давил.

— Мне, — говорит, — один конец, натерпелась, Машутку жалко, некому девчонку и напутствовать, мачеха-то забьет!

Поп причастил и ушел.

К ночи вернулся из аптеки Синкрит, привез лекарство. Там ему велели по капельке давать, а он налил полрюмки.

Поутру стали — Агафья умерла.

3

Всем распоряжалась Анфиса.

Обрядили покойницу. Синкрит к попу.

— Вот что, Синкрит, знаю я, отчего она умерла. Ты ее давил!

А Синкрит ровно оглох.

— Надо похоронить.

— Не стану хоронить! — и выгнал поп мужика.

Что делать? Без попа похоронить невозможно. Перепугался Синкрит, кабы еще беды не было. А тут Машутка, смотрит девчонка, все понимает.

— Тятя, чего ты? Тятя, чего ты?

Да Анфиса-то не такая, у ней на все есть догадка, дош-

лая: погнала мужика в город к становому за похоронной.

Поехал Синкрит в город, добился до станового. Трое суток прошло, похоронную достал.

— Слава Богу, похоронная есть! — перекрестилась Анфиса.

Все по ее. Теперь с похоронной к попу, что скажет? — похоронную если принес, хоронить надо.

И похоронили Агафью.

А после Христова дня обвенчал поп Анфису с Синкритом.

ДРУГ

1

Ходил Василий в лесу за охотой, идет и слышит, в лесу шум. Стал подходить — тише и тише.

Медведь напал на разбойника и разбойник не может оборониться от медведя.

Василий прицелился в медведя и убил.

Разбойник высвободился, отряхнулся.

— Ах, голубчик, — говорит, — освободил ты меня от смерти, приходи завтрашний день на это самое место, я тебе за добро добром отплачу, да приводи друга, лучше которого у тебя нет на свете.

Вернулся Василий домой, рассказал старикам. У Василия отец, мать да жена — все и семейство.

— Посулил разбойник добра мне, только чтобы друга привел, которого на свете нет лучше.

Потолковали, потолковали, а не знают, кого посоветовать, и кто это друг самый лучший?

А жена и говорит:

— Да возьми меня, чего еще лучше?

Верно, чего лучше, и толковать не стоило.

2

На другой день и пошли.

И приходят на то самое место, а разбойника нет.

— Обманул, видно, разбойник. Разбойник и есть!

А подождать все-таки не мешает. Мало ли, и разбойник, а тоже дела, дела, может, задержали разбойные. Покончит и явится.

Сели они на поляне. Распарило теплом. Он ей голову на колени и заснул.

Приходит разбойник.

Посмотрел разбойник на Василия, посмотрел на Дуню.

— Не понимаю, — говорит, — и что за охота с таким худым жить? Ты выйди за меня замуж, будешь у меня барыней!

А сам смотрит — волоём, здоровущий парень.

— А куда я мужика-то деваю? — оскалилась Дуня.

— А на, возьми мою саблю, отруби ему голову.

Дуня взяла у разбойника саблю, размахнулась, а разбойник в ту минуту ружье подставил, она саблей и ударила о ружье.

Ружье сбрякало, Василий проснулся.

— Вчера ты меня от смерти спас, а сегодня я тебя! — сказал разбойник.

А Василий спросонья ничего не разберет: видит, сабля валяется, и Дуня перепуганная.

Разбойник все ему и рассказал.

— Я же тебе говорил, приводи самого лучшего друга. Ну, привел бы собаку! Собаку вдруг не прикормишь, она б зачуяла и залаяла, ты бы и проснулся.

ТОЛОКНО

1

Жил один мужик, степенный Павел Андреич, первый охотник. Одно горе, с глушинкой. Все за охотой: не зайца, перо приносил — добычу. Кормил жену тетерками да рябцами.

А жена Анисья, баба молодая, веселуха. Болтали про Анисью, непутно говорили, что при муже тихоня, а за глазами ветер.

Дошло до Павла, — что ему делать? Конечно, надо проверить: мало ли чего ни наскажут и так, здорово живешь, и по злобе.

«Не страшен зверь, от человека жди лиха. Скорей зверь дрогнет, человек не поведет усом!» — про это хорошо знал Павел, первый охотник.

Ходил Павел в лесу, все думал.

И как бы это так ему дознаться, чтобы своими глазами увидеть, правду о жене говорят люди или зря?

Попало ему в лесу дупло большое.

«Стой, — думает, — дай замечу, это мне кстати!»

Заметил дупло и домой.

А Анисья ластится.

— Что, муженек, много ль настрелял?

— Чего настрелял? Не в этом дело. А вот нашел я дупло, в дупле дуплянское чудо. Что тебе хочется, все исполнит.

— А где это, Павел, чудо?

— А как выйдешь в лес, так на левую руку за орешней, там и будет дупло, там это и есть. Подойди к дуплу, да попроси, да поусердней проси. Что тебе надо, все исполнит.

Ничего не сказала Анисья. Тихая такая стала, рано и спать легла. Или головушка болит?

2

Спозаранку поднялась Анисья, да к двери.

Смекнул Павел.

А указал ей давеча Павел дорогу к дуплу кривлем, и как только Анисья за дверь и он за ней, да прямиком. Живо до дупла добежал и в дупло.

Сидит в дупле, ждет.

Пришла Анисья. Стала на колени.

— Баба я молодая. Ну, какое житье мне с псом моим окаянным? День-деньской на охоте. А вернется, дрыхнет. Позовешь, не слышит, тронешь, не шевельнется. Баба я молодая... Дуплянское чудо, ты слышишь?

А Павел ей из дупла толстым голосом:

— Чего тебе надо, все сделаю.

— Глухой у меня пёс, ослепи его, будь милосердный! — и до трех раз кричала Анисья, стучала головой о корневище: — ослепи! ослепи! ослепи его!

— Ступай, баба, с миром. Затопи печку. Пеки оладьи да мажь помасленее. Твой муж ослепнет. Через трое суток с масла совсем слепой будет.

Поклонилась дуплу Анисья: не узнать — как повеселела!

Тут тихонько выскочил Павел да прямиком и поспел домой до жены.

Степенный был мужик Павел, рассудительный, первый охотник, а тут и без масла ровно ослеп. Или не слышал, на что пеняла Анисья?

Вернулась Анисья.

— Где, жена, пропадала?

— У соседки.

И не может скрыться, так вся и пышет.

Затопила Анисья печку, стала печь оладьи. И давай поливать их маслом, да Павлу этакую миску.

— Кушай, муженек, на здоровье!

Павел и ну уписывать.

— Что-то у меня, жена, глаза стягивает.

А Анисья схватила масла и еще прибавила.

— Ешь, ешь масленее. Ходил в лесу, устал. Поешь, отдохнешь и все пройдет.

Сама, знай, прибавляет масла.

Съел еще Павел оладьев — все лицо в масле.

— Что-то, жена, совсем плохо вижу: двоится.

Степенный был мужик Павел, рассудительный, первый охотник, а тут ровно и вправду со сладкого масла ослеп. Или не слышал, на что пеняла Анисья, не чуял, с чего сама, как оладья, пышет?

И на другой день тоже, опять оладьи. И на третий оладьи, да все жирно, да с маслом.

На третий день ослепнет Павел.

Ждет не дождется Анисья, зарумянилась вся.

— Ну, Анисья, я теперь ничего не вижу.

Поверила Анисья.

— Чего ты говоришь?

— Ой, ничего-то не вижу. Будешь ли ты меня поить-кормить, слепого?

— Буду, буду, не беспокойся. Вот как буду!

Уж как рада Анисья.

Да и, в самом деле, она будет ходить за Павлом. Бог с ним, только б воля. А теперь ей воля: не слышит Павел и вот не видит — ослеп.

3

Прибралась Анисья, умылась.

В избе выметено, вычищено — чисто, любо взглянуть.

И до чего это воля человека красит!

Сбегала Анисья к дружку. Привела дружка, усадила за стол: полон стол угощенья.

— Кушай, Саша, кушай, голубчик!

Ну, тот всего попробовал.

— Еще чего не хочешь ли?

А дружок и говорит Анисье:

— Всем я доволен. А хочется мне толокна, замеси, пожалуйста, я закушу.

Анисья проворно за толокно: сейчас и готово.

— Маслица бы немножко!

— Нет, нет, что ты! От масла ослепнешь: мой-то от масла ослеп. Погоди, я тебя послаще угощу.

Был на деревне кабак. Анисья в кабак и побежала: угостит она дружка послаще.

А Павел лежит на печке, ружье около — и в гроб завещал ружье с собой положить. И как вышла Анисья, он за ружье, да в дружка — хорошо стрелял Павел, первый охотник — так дружка на месте и уложил. Сам соскочил с печки, закатал такой вот ком толокна, напихал ему полон рот, да опять на печку. И лежит, как ни в чем не бывало.

Вернулась из кабака Анисья, а дружок — полон рот толокна. Позвала не слышит, тронула и не дрыгнет.

Вот тебе толокно какое!

ПРОКЛЯНУТАЯ

1

Богатый жил мельник Рябов — мельница в трех верстах от деревни. И был у мельника сын, парень на все руки, балалаешник. Раз ввечеру посылает мельник сына.

— Поди, — говорит, — Саша, сходи-ка на мельницу.

Забрал Александр балалайку и пошел. И там засыпал молотье, а сам в избушку, сел на лавку да за балалайку. Сидит себе, играет и не заметил, как подошла полночь. А в полночь будто ветер — полосой прошел по избе ветер. Поднял глаза, глядь — пляшет...

Залюбовался Александр — этакая красавица, — и звончее пустил плясовую.

Плясала — подымала руки — плыла, заплывала, а то, как волчок.

— Как звать тебя? — крикнул Александр.

Та засмеялась:

— Настасьей!

Да на него, что метелица, вот-вот вышибет балалайку, так и кружит, и кружит.

Александр протянул руку — дай ухвачу — да носом в пол и ткнулся.

И нет в избе никого.

Ночь. Вода гремит на плотине.

Александр положил балалайку и до утра просидел в избушке, все прислушивался, ждал: не придет ли?

Нет, вода гремит на плотине.

Вернулся Александр домой, думает:

«Возьму молотья на две ночи, доберусь, так не выпущу».

А отец и говорит:

— Что ты, милый сын, не женишься, пора бы.

— А вот дайте, невесту выберу.

— Где же, сынок, выбирать-то будешь?

— Да у нас же, на мельнице.

Ничего старик не сказал: балагур и смехун Александр, на всю деревню славился.

К ночи пошел Александр на мельницу, засыпал восемь мер молотья, да в избушку и опять за балалайку.

И в полночь опять ровно бы ветром, — и заходила изба.

Настасья плясала еще пуще, еще краше.

Александр положил балалайку, привстал: ну, сейчас так и схватит. А она у него из-под рук — и нет никого.

Ночь — ой, какая это долгая ночь! — шум, гремит вода на плотине.

— Ну, ладно ж, теперь не уйдешь.

И решил Александр: очень-то не разбавляться, а как явится, так прямо и хватать.

На третью ночь так и сделал.

В полночь на звон балалайки появилась Настасья, зашла в середку, он балалайку об пол, тут и попалась.

— Ну, никому не отдам.

А она:

— Умел схватить, умей и замуж взять.

— А где ты живешь?

— Ты скажи своему отцу: я нашел себе на мельнице невесту.

— Дом твой?

— В плотине.

Александр разжал было руки. Да опомнился: нет, другой ему никакой не надо.

— Будут к тебе на свадьбу проситься, отец твой богатый, всякому любо попировать на твоей свадьбе, но поедет вас трое, ты, крестный да кучер, а больше никто не поедет. Да закажи попу, чтобы встретил на полудороге с крестом. Да купи ты себе тройку вороных жеребцов — с места, что есть прыти, бежали бы. Любишь меня?

У Александра дух захватило: да кого же еще?

— Прок-ля-нутую?

Рванулась, — и нет никого.

Ночь. Вода гремит на плотине.

Не дождался Александр рассвета, и без балалайки домой.

2

— Я нашел себе невесту, — сказал Александр отцу.

— Где, сынок, нашел, чья?

— Проклянутая, — рассмеялся Александр, — в нашей плотине.

Старик глаза вытаращил: нет, не шутит.

— В нашей плотине. И другой никакой мне не надо.

Купил Александр тройку вороных жеребцов, съездил к попу, заказал, чтобы встретил на полдороге с крестом, как поедут к венцу, — погост от деревни за двадцать пять верст. И стал с отцом пиво варить да вино курить.

Все готово. Рябов дом громок. Вся родня, все соседи явились на свадьбу. Допьяна напились гости. Пора по невесту.

— Да где ж у тебя невеста?

— Моя невеста — в плотине.

— В плотине?..

Ну, кто говорит, что спать захотел, кто — простынуть, мол, выйду, кто чего — куда хмель! — и как ветром, все разошлись. Пусто в доме. Один крестный остался да кучер.

А уж ночь на дворе.

Кони рвутся, гульлят колокольцы.

Благословил отец сына, сел Александр с крестным, — только пыль заклубилась.

Вот и мельница. Вода гремит на плотине. Остановил коней кучер.

— Эй, невеста, — кричит Александр, — твой жених готов.

Ночь — ой, какая ночь! — шум, гремит вода на плотине.

И вышла Настасья. А за ней три сундука тащат.

Сундуки на скамейку. Уселись. Кучер хлестнул лошадей.

А вдогонку вихорь с громом — пыль пылит.

— Ты не забыл?

— Кони видишь.

— На полупути?..

— Будет, будет.

Полпути. Гром громнее. Свист и вой. Пыль глаза заслепляет. Небо горит.

А попа все нет.

Кони станут. Пропадет надежда. Не гульлят колокольцы, плачут.

А попа задержали. Слышит, колокольцы плачут. Схватился да бежать. И поспел. Три раза обежал тройку с крестом.

Ночь — какая ночь! — кони — вихорь, колокольцы гульлят.

— Ну, счастливо, — перекрестилась Настасья, — не поспей поп к часу, не видать нам света.

3

Обвенчал поп молодых, зовет чай пить.

Настасья к попадье. Втащили сундуки. Раскрыла. Выбирает Настасья себе платье нарядиться. Выбрать не может. Попадья тут же, заглянула в сундук — глазам не верит. Схватила из сундука полотенце, схватила другое — Господи! — да к попу.

— Отец, наша дочка нашлась.

Поп затряс головою.

— Наша дочка нашлась.

— Не пойму.

— Настя! Настя!..

А была у них дочка, в сердцах прокляла ее мать еще в люльке, а как подросла, ушла с девчонками купаться и пропала.

Бросился поп с попадьей к Настасье.

— Прости ты нас, мать, отца: не со зла, в сердцах.

А она — одно щедрое счастье: ей мало простить, все забудет и одарит — проклянутая и любимая.

И стали они жить-поживать, да добра наживать.

ХИТРАЯ

1

Рассердился староста на дьякона: староста Чижов не дай Бог — чуть что, не поглядит, что храм Божий, при всех выговорит. Вот и с дьяконом Дамаском вышло: проштрафился дьякон на паремиях — забрал больно высоко и на всеобщий соблазн кончил, совсем как петух. Чижов и не вытерпел, да тут же и ляпнул при всем честном народе. Хуже того, воспретил дьякону на вечные времена паремии читать.

В позорище выстоял Дамаск всенощную и уж как ночь провел, один Бог знает, и обедню служил, ничего не помнит.

По обедне пошел Дамаск с повинной к старосте: ведь, старался для благолепия и торжества, но что поделать, такой уж грех, — не соразмерил, и если другим смех и соблазн, ему пущее горе, и больше никогда он не допустит такого, попридержится, вниз возьмет.

— А хочешь вину с себя снять, — сказал староста, — научи медведя грамоте! Вот тебе и повинная.

Вернулся Дамаск домой к дьяконице.

— Или в вине ходить до второго пришествия или медведя грамоте выучи!

Плачет.

А дьяконица не такая.

— Чего ты! Медведя? Да давай мне только медведя, эка!

Обрадовался Дамаск и скорее назад к Чижову: ведь, всю жизнь на паремиях положил.

— Согласен, давай медведя!

Усмехнулся староста — чудное дело! — велел выдать дьякону медведя.

И повел дьякон зверя, Господи помилуй! от страха читает.

— Александра Петровна, вот тебе, принимай!

2

Если и человека, чтобы приучить, надо хлебом обязательно, а зверя и подавно. Дьяконица так и сделала, хле-

бом Мишу потчевала и привык медведь, перестал фурчать на дьяконицу, а по дьяконице и на дьякона.

И как стал Миша в доме свой человек, тут его за книгу дьяконица и засадила. Напечет блинов, между листами переложит, даст Мише книгу, а он блины ищет, листы перебирает, мормкочет.

— Ну, как настоящий профессор, — потеха!

И за какую неделю медведь с книгою, как в лесу с медом, управлялся.

— Вот тебе, дьякон, и вся хитрость.

Дамаск Александре Петровне в ноги: еще бы, теперь-то уж помилуют, станет он по-прежнему под большие праздники паремии читать, заберет верха — на всю церковь.

3

В субботу Дамаск служил всенощную. Словно после долгой болезни или после поста на страстях так истово служил дьякон и молебно: сердце его было полно радостных ожиданий. И уж как ночь провел, один Бог знает, едва утра дождался, и как служил обедню, ничего не помнит.

По обедне пошел Дамаск к старосте, медведя повел.

— Медведь читает, как профессор!

Усмехнулся староста — чудное дело! — положил перед зверем книгу.

А Миша у дьяконицы-то привык к блинам, и сейчас же за книгу, да лапой и ну перелистывать, блинов искать.

— Мор, мор, мор, — мормкочет.

Ай, да дьякон, ну, и медведь!

— Сущий профессор! — гоготал Чижов, отгоготаться не может.

А медведь, знай, ищет, листы перебирает, на своем языке мормкочет.

И не только снял староста вину с Дамаска: читай паремии, хоть всякую субботу, и сколько влезет! — а и наградил за потеху.

Да и гости, кто случился у старосты после обедни за чаем из прихожан знатных, дьякона так не пустили.

И пошел Дамаск домой к дьяконице: рожа во — сияет!

Скажет дьякон спасибо Александре Петровне: с такой ничего не страшно, с такой не погибнешь на сем белом и горьком свете.

ЛУКАВАЯ

По закону жить Вере весь век свой с Ильей.

И жила Вера с мужем сколько лет в любви и мире.

Да сердцу-то закон не писан: полюбился ей Никита. Думала она, думала, — жизнь-то, ведь, одна! — тайком и сдружилась с Никитой. И все шито-крыто. Уж дите растет, а Илья ничего не подозревает.

Жили они втроем, как в законе.

Да не знаешь, где тебя настигнет.

Поехал Илья в командировку. Что-то не вышло в делах и нежданно вернулся, и вошел в комнату неожиданно — думал-то жену удивить, а больше сам удивился: сидел с женой приятель Никита, и показалось Илье, уж очень по-домашнему что-то.

Или это ему показалось?

Нет, нет, что-то было. И боится Илья признаться, и не может не думать: да неужто ж правда, жена изменяет?

И совсем не узнать Илью, стал раздражительный, ко всему придирается.

Да и Вера ходит хмурая, — захмуришься!

Пропала жизнь.

И пропала б, да Вера-то не такая.

— Хочу, — говорит, — поговеть.

— Ну что ж.

Илье-то будто и полегчало.

Рассудительный был Илья, понимал: мало ли какой грех наскоком бывает, а покается и опять по-старому жизнь пойдет.

На исповеди Вера во всем призналась.

Выслушал ее о. Спиридон, хороший батюшка, правильный.

— Вот что, — говорит, — Вера Васильевна, лучше вся-

кого поста и покаяния, откройся-ка ты мужу по всей по правде.

Хорошо сказать: «откройся» — только такое дело надо делать очень умеючи, а то не вышло бы такого и на свою да и на чужую голову.

Вера не такая, стой! — придумала.

Да надолго дела не откладывая, после обедни ж зашла в табачную лавку и сторговала себе страшенную маску с сивой бородой, длиннющей, — вот она какая!

Вернулся со службы Илья, поздравляет.

— Не знаю, — говорит Вера, — что с Колькой сделать: плачет и плачет. Надо б его попугать!

— А как же это сделать?

— А надень ты маску, Колька увидит тебя такого, забоится и перестанет плакать.

И подала мужу страшенную маску с бородою, сама в детскую. Раздразнила мальчонку, ну, тот и заревел.

Илья надел маску да тихонько к детской.

А Вера Кольку на руки да навстречу.

— Иди прочь, дед, не дам тебе, не дам! Не твое, дед, дите, другого отца!

Мальчонка с перепугу и утихнул.

И Вера повеселела: открылась!

А Илья на радостях забыл всякое сердце.

И пошла жизнь у них по-прежнему, как ничего и не бывало.

КЛЕЩАВАЯ

Помирая, наказывал Кузьма Орине:

— Попомни ж, Орина, как помру, продай ты быка, и сколько возьмешь, пожертвуй в церковь по душу.

— Что ты, Кузьма, быка! Я и еще чего из домашнего продам, будет по тебе помин.

Помер Кузьма, похоронили.

Поплакала Орина, потужила, да в первый же базарный день и повела быка на торг, да еще и Василия кота прихватила.

Ну, и идет Орина, а навстречу мясник.

— Что, бабка, за быка просишь?

— Да мне много не надо: две семитки.

Посмотрел мясник.

— Полно смеяться, говори толком.

— Истинная правда, две семитки. Только быка без кота не продаю.

— А много ль за кота? — усмехнулся мясник: бабка-то, видно, того.

— Сорок рублей.

Мясник прикинул: дорогонько за кота, да ради быка купить стоит.

— Ну, по рукам! — и отдал Орине сорок рублей, да еще и две семитки.

Идет Орина домой — довольна: кот Василий назад придет и деньги за кота при ней останутся — сорок рублей, а по душе дар — цена быка, хозяйству не велика убыль.

Зашла Орина в церковь, положила две семитки.

Благодарила Орина Бога:

— Душенька упокоится, волю исполнила.

КОСТЯНОЙ ДВОРЕЦ

1

У царя Кирбита построен был дворец дубовый, по всей земле чище его дворца не было. Со всех концов наезжали к Кирбиту гости, на дубовый его дворец любоваться.

А хозяйка его взята была дальняя, баба фуфырная.

— Ах, — говорит, — царь Кирбит, хорош твой дворец, а ведь изгниет же!

— Как так?

— А ты бы, Кирбит, такой дворец построил, чтобы не изгнил.

— А из чего ж его строить?

— Да у тебя лесов, полей, лугов не обозришь, сколько птиц живет там, разные жертвы едят: мясо обирают, а кос-

ти не трогают. Собери эти кости, построй ты себе костяной дворец.

Понравилось царю: костяной дворец!

— А как эти кости-то собрать?

— А которая птица какую жертву ела, она кости оставила знает где, она и принесет. А потом муравьев напусти, муравьи дочиста выглодут, и кость готова.

— А какую же птицу послать, чтобы птиц оповестила.

— Синицу! Лучше синички нет никого.

2

Царь Кирбит жену послушал. А и в самом деле, лесов, полей и лугов у него вдоволь, птицы живут, жертвы едят, костей сколько хочешь — сколько даром добра пропадает! — наберет он этих костей, дворец построит костяной.

И посылает царь синицу оповестить птиц.

Полетела синица, облетела всех птиц:

— Где какое мясо потребляете, кость не бросайте, а несите к царю Кирбиту: перед дворцом свалка.

Поднялись птицы лесные, полевые и луговые, несут кости к Кирбиту.

И нанесли птицы из лесов, из полей и лугов разные кости, косточки, костки, — целую гору костяную перед дворцом наклали.

3

Призывает Кирбит синицу:

— Все ли птицы за работой?

— Все, — говорит синица, — одного сыча нету.

— Почему сыча нету?

— А я и не знаю.

— Так ступай, повести сыча: если не желает на моей земле жить, пускай вон убирается.

Повестила сыча синица.

Сыч к Кирбиту.

— Почему, Сычев, костьё не носишь?

— Извини, царь Кирбит, я законы просматривал.

— Какие еще там законы?

— «А кто бабу слушает...»

— Стой! — перебил Кирбит, — я костяной дворец хочу строить.

— Есть такие, по дворам ходят, кости для сахару собирают, костянки.

Царю и неловко.

И приказал царь птицам разнести кости за дворец в ров, а ров велел засыпать, чтобы и следа не осталось, — неловко!

ТУШИЦА

Печник Василий много на своем роду где бывал, по путям-путинам не мало хаживал, Бог хранил, на одной путине осекся, до сей поры память.

Зашел Василий в одну деревню в сумерки, о ночлеге подумывал, да куда ни попросится — нигде не пускают.

А скоро и ночь, и совсем отчаял духом.

«Дай, — думает, — хоть в баню заберусь, там до утра кое-как прокоротаю».

Стояла на краю деревни баня, Василий туда тихонько, дверь отворил, — баня топлена! — да на полочек и запрятался. Хорошо — полеживай!

Одна беда: есть больно хочется.

Лежит Василий, — сосёт: есть больно хочется! — и вдруг слышит, вошел кто-то.

— Семён! Семён!

— Чего? — откликнулся Василий.

— На тебе бутылку вина и пирог с рыбой. Я через час приду.

Поставила на лавку, а сама за дверь.

Слез Василий с полка, выпил, закусил. Бутылку под лавку, а сам вон из бани.

«Придет настоящий, даст взбучку!»

А куда скрыться? Неподалеку овин. Василий в овин. В овине ничего нет. На цепях сани подняты. Василий взо-

брался в сани и залег. И только что разместился поудобнее, идут.

— Что ты, — говорит, — Дуняшка, так долго?

— Как! Я вам бутылку водки подала и пирог с рыбой.

— Никакой бутылки не видал.

Ну, посердился, посердился, помирились. Разговор про другое, потом совсем замолчали.

А Василию любопытно, приподнялся и давай через головку саней тянуться. А оглобель-то нету, сани как пырнут, он головой на гумно.

Те, как зайцы, и! — разбежались. А у Василия искры из глаз.

Нечего делать, вставай и иди, — и здесь ему не место.

Побрел Василий на деревню. Что будет, что будет. В избенке огонек. Заглянул в окно: старуха собирается куда-то.

— Нельзя ли погреться?

— Ой, батюшка, я в бабки снаряжаюсь. Иди, иди. Сейчас дочка с беседы придет.

Старуха впустила Василия, а сама из избы.

Влез Василий на печку — тепло — разлегся. Скоро и дочка старухина пришла, а с ней ее две товарки.

Разгорелись девки на беседе.

— Ой, — говорят, — сестрица, давай в тушицы поиграем!

Согласились, хохочут: все им смех.

Вышла дочка старухина, подвесили ее девки за ноги к воронцу печи-то; закрутят, она завьется, а ее похлопывают.

— Твоя тушица, моя душица!

Хлопают, хохочут, — весело!

— Твоя тушица, моя душица!

Василий лежал, лежал, любопытство-то разбирает, что за тушица, и потянулся с печи — кирпич полетел, а он с печи да головой об пол.

Поднялся и не помнит, как из избы вылетел, только дома уж опомнился — вот она какая тушица!

КУКУШКА

1

Всех пригожей была девочка Машутка, двенадцать лет ей минуло.

Ходила Машутка на пруд купаться. Плескались и играли на воде подружки. Вот вышли, оделись, а Машутка последняя — и платья ее нету.

— Ну, идите домой, где-нибудь да розыщу.

Села Машутка на бережку, раздумывает: или куда в кусты занесло ее платье?

Выходит Змей из воды.

— Вот ваше платье, идите за меня замуж!

— Как я пойду? Нельзя.

— А ты только слово дай.

— Ну, пойду.

Машутка сказала «пойду», Змей ей платье и отдал.

Оделась она проворно и бегом, догнала подружек, но ничего о Змее, и дома никому ни слова.

Прошло четыре года, выросла Машутка невестой. Просватали ее за одного человека, и назначен был день играть свадьбу.

Слышит Змей — выдают Машутку, ночью вышел из пруда и украл ее.

Приезжает жених, а Машутки нет — пропала.

Потужили, погоревали, да никто пособить не может: судьба уж такая.

2

Живет Машутка в пруду у Змея, не Машутка, Марья Змеевна. Ладно живет со Змеем, за три года прижила себе сына и дочку. Хорошо ей в пруду, не на что жаловаться, всего вдоволь, всем довольна, только хочется, хоть разок, дома побывать.

И просится Марья у Змея в гости к отцу, к матери, посмотреть на них, старикам внучат показать.

Змей отпустил.

Забрала Марья ребятишек, да из пруда по дорожке и прямо к дому — так близко, рукой подать.

Увидала старуха, обрадовалась.

— Где, дочка, поживаешь?

Марья ей все и рассказала о пруде, о Змее и как живет она ладно, ни в чем горя не видит, и одно скучно — по родному дому.

Пришел с поля старик, занялся внучатами.

Угостили дочку.

Стала мать пытать у ней о Змее.

— Когда приходишь, разговариваешь с ним?

— Как же! Вот вернусь и скажу: «Змей, Змей, отвори мне двери!» Вода раздвоится, окажется коридор, лестница крутая...

Полегли спать.

А старуха не спит, думает все, жалко ей дочери.

До свету взяла она саблю старикову — воевал когда-то старик — да с саблей на пруд, да голосом дочерьным, по-марьиному, и кличет над водой:

— Змей, Змей, отвори мне двери!

Услышал Змей — Марьин голос! — пошел, отворил двери.

А старуха саблей на него, — все головы и снесла прочь.

И замутился пруд кровью.

3

Бежит старуха с пруда — чуть заря играет — машет саблей.

Проснулась Марья: что такое?

— Ну, молись, — шепчет старуха: — освободила тебя от напасти! Никогда туда не вернешься.

Догадалась Марья — Змей не жив! — ничего не сказала, взяла детей и вышла из дому, а идти уж некуда — не вернуться в пруд.

Обняла она сына:

— Ой, сынок, навек я несчастна! Ты ударься о землю, сделайся раком, до века ползай.

И ударила мальчика о землю и пополз он к пруду.

Обняла она дочь:

— Ой, дочка, навек я несчастна! Ты ударься о землю, сделайся пташкой, летай до веку.

И ударила девочку о землю и полетела она синичкой к пруду.

— А я, ой, навек я несчастна, полечу я кукушкой, буду век куковать.

И ударилась Марья о землю — и слышно, там за прудом по заре закуковала.

Вот почему кукушка так горько кукует.

Сибирский пряник

Большим и для малых ребят сказки

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

Сибирские сказки

ПРО КРОТА И ПТИЧКУ

Якутская

Положили уговор крот и птичка: крот обещался пустить зимою птичку в свою нору и поделиться от своих запасов, птичка обещалась, когда по весне вода зальет кротову нору, пустить к себе крота в гнездо на корм и отдых.

Пичужка сдержала слово. И крот из всей ее добычи выбирал только то, что по душе ему было. Так дружно провели они весну и лето.

Осенью, еще до снега, крот, по уговору, пустил птичку в свою нору, но кормил ее отбросом, больше корешками, и изголодавшейся птичке грозило помереть бедной смертью.

В отчаянии, не видя выхода, воскликнула несчастная птичка:

— Как это так! Я тебе отдавала одно только лакомое, а ты — что негоже. На будущий год — врозь!

— Тварь неблагодарная! Ты расточала всю зиму мои запасы и ты еще смеешь!

И крот когтями ударил по темени птичку.

С той поры и летает над землею птичка — кровавый королек, а крот каждую весну, как только вода зальет его нору, выходит на холмик и сидит под ивой, дрожа.

СТОЖАРЫ

Якутская

Говорит однажды богатый Кудунгса, по прозвищу Огненный рот, старому своему шаману Ч а к х ч ы г ы с-т а а с у, что значит Трескучий камень.

— Эй, ты, старый хрыч, откуда берется зимняя стужа?

— А! — отвечает шаман, — это дыхание той вон звезды, что огнем бороздит небеса.

— Эй, ты, ну, конечно, надо разрубить ее нить.

— А! — отвечает шаман, — конечно, я постараюсь, только надо мне два хороших топора.

И по слову Кудунгса дали шаману два крепких роговых топора.

*

Пятого дня новой половины месяца Сосны, по-нашему на Ивана Купалу, шаман камлает.

Он велел закрыть окна и двери, строго-настрого запретил, — даже носа не смей высовывать наружу! Двум крепким детинам приказал попеременно разжигать огонь. А сам надел волчью доху, шапку с рогом, туго завязал себе рот.

И семь дней и семь ночей без устали камлает шаман.

Нечем дышать от жары, а нет места на нем — весь покрыт инеем, и сосульки текут, леденея. На руках его рукавицы из передних лапок волка, а палец мерзнет, как сук. Топоры же его, роговые, от лезвия и до проуха, затупляясь, стираются.

И каждый раз, как ударит шаман топором, огонь звезды с шумом и брязгом рассыплется.

Семь дней и семь ночей рубил шаман и расколол большую звезду на семь звезд.

*

Стуча громко в бубен, шумно нисходит шаман на землю.

И ропщет, указывая на хлевное окно:

— Негодная баба высунула харю, и потому не осилил звезду. Однако ж месяца на два я убавил морозу.

С той поры студеные стожары из звезды, подобной луне полнолунной, на семь звезд раскололись, как огни из большого огнива.

СЕРКЕН-СЕХЕН

Якутская

Вещун земли и мира,
добрый советчик богатырей,
сын старой царицы Тынгырыын,
а по отцу из рода Одун, — Ревущий.
Штаны на нем — брюшко синей белки,
шуба — беличья спинка,
пояс — бельи обрезки,
шапка — белий затылок,
навески — бельи ушки,
шейный кушак — бельи хвосты,
сапоги — бельи задние лапки,
рукавицы — передние беличьи лапки,
посох — костяная трава.

А дом его — на росстани дорог — пень дуплистый.

А жена его старуха — от уха до брыл семь заплатков.

Сам с ноготок,
борода по пупок.
голени — деньги,
руки-ноги — усики.
А звать-позывать вещуна:
Дедко
Серкен-Сехен!

СУДЬБА

Карагасская

Жил в своей юрте один бедняк Тутарь. Оленей у него было мало, юрта старая, и ни одна кыс (девушка) не хотела выйти за него замуж.

Горько задумался Тутарь о своей горькой доле и решил: продаст он оленей, юрту и займется торговлей.

И распродал Тутарь добро, выехал к русским в дерев-

ню, купил три коня и товару на три коня. Навьючил коней и назад в тайгу торговать.

Первую ночь заночевал Тутарь в тайге. А ночью волк задавил коня и разбросал товар. Встает поутру Тутарь: конь задавлен, товар испорчен, и тут же волк стоит, смотрит.

Рассердился Тутарь, взял ружье, застрелить хотел волка. А волк стоит, зубы оскалил, хвостищем машет, смотрит.

«Нет, не буду стрелять!» — подумал Тутарь.

И собрал он остальных коней и поехал дальше.

На вторую ночь волк опять задавил коня и товар испортил, а сам не уходит.

Еще больше рассердился Тутарь, прицелился в волка. А волк стоит, зубы оскалил, хвостищем машет, смотрит.

«Нет, не буду стрелять!»

И поехал Тутарь дальше уж с одним конем.

А в третью ночь волк задавил последнего коня и весь остальной товар испортил.

Тут уж Тутарь себя не помнит, схватил ружье, прицелился, только вот собачку нажать. — А волк стоит, зубы оскалил, хвостищем машет.

И опустил Тутарь ружье.

«Нет, не буду стрелять!»

Тогда волк подошел совсем близко и говорит по-человечьи:

— Ты — добрый человек, Тутарь, иди назад в свою юрту, будет у тебя всего много — и оленей и зверя много добудешь.

И пошел.

А был этот волк сама судьба: не хотел, видно, Бог, чтобы Тутарь купцом стал.

Бросил Тутарь торговлю и стал жить опять в своей юрте, и всего у него стало много — богатым человеком сделался Тутарь.

ТРИ БРАТА

Карагасская

На Уде реке, повыше Буртуш-айа, есть небольшое озеро — есть ли оно там еще или нет, не знаю. А когда ни

души еще не было на белом свете, вышли из озера три брата. И стали братья подумывать, чего бы себе промыслить для корму — не было тогда ни ловушек, ни капканов, ни ружей.

Вот собрали братья в лесу хмелю, сплели из хмеля сети и стали сетями рыбу ловить. Наловили рыбы много и насытились.

Так и жили братья.

Стал большой брат упрекать братьев, что работают плохо.

— Едят много, а работать не хотят.

И повздорили братья.

— Не хочу с вами жить! — сказал середний брат и ушел в лес и там обернулся медведем.

— И я вас не хочу больше видеть! — сказал меньшой и ушел в землю, такой черный: обернулся в корень медвежий.

Остался один большой брат, он и был карагас.

И живет человек на земле, убивает брата медведя, а медведь ест корень медвежий — брата.

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Манегрская

Прежде были огонь и вода.

Огонь и вода опустошили всю землю.

Потом Бог дал двух людей, брата и сестру, в тех самых землях, где живут теперь орочоны, далеко от китайцев.

И говорит сестра брату:

— Давай жить, как муж и жена, а то пропадем, и кончится человек на земле.

Брат заплакал, да раздумался и согласился.

Через год родился у них сын, потом две девочки и еще сын.

Большого сына звали Манягир, дочерей — Учаткан и Говагир, меньшого — Гурагир. А имя отцу-матери бы-

ло Ойлягир, и детей, что родились после, назвали Ойлягир.

Так пошли пять родов бое.

*

Жили люди на земле, а ничего-то у них не было: ни оленей, ни лошадей, ни собак.

И говорит старуха-мать детям:

— Убейте меня, снимите с меня кожу и мясо, разделите кости. Кости разбросайте ночью по всем сторонам. А, бросая, говорите: «Это пусть будет лошадь, это олень, это корова, это собака, это жена, это дочка!»

Младшая дочка Говагир заплакала, — нет, она такого не могла исполнить.

А ночью, когда все спали, больший сын Манягир убил мать-старуху и сделал так, как она наказала.

И вот поутру около стойбища послышался шум — лошади, олени, коровы, собаки и люди сходились со всех концов, как обещала старуха-мать.

Так пошли люди и звери.

ЛЮДИ, ЗВЕРИ, КИТАЙСКАЯ ВОДКА И ВОДЯНЫЕ

Манегрская

Жили-были семь братьев.

Раз случилась им большая удача, набили они много всякого зверя. И три шайбы наполнили сушеным мясом, — шайба это амбарчики на столбцах в тайге — надолго запасли себе корму.

И стали братья, кроме одного брата, ловить зверей живьем: с живого зверя осторожно, чтобы не повредить жил, сдерут шкуру и пустят так на волю.

Ну, зверь голый — смешно.

Смеялись братья, кроме одного брата.

И вот однажды, натешившись над зверями, пошли братья к шайбе за едой. А шайба, как живая, все дальше и дальше от них. Долго братья гонялись за ней, а она уходит и уходит, как живая. Стреляли из луков — ничем не остановишь.

И перемерли братья голодной смертью. Не помер только тот, что не обижал зверей.

Тогда шайба остановилась и накормила брата.

*

Было семь братьев, остался из семи один.

И стало ему одному без братьев скучно.

И пошел он, куда глаза глядят, и так шел он, шел и дошел до китайцев.

Ласково приняли его китайцы; один буду предлагает, другой кукурузу, третий лепешки. А он все отказывается: с рода не видывал такого, есть-то ему боязно.

«Ну, и чудак!» — подумали китайцы и решили угостить его китайской водкой.

Бое водку выпил, как воду, — три чашки, а что потом было, ничего не помнит.

А поутру проснулся, видит, все те же китайцы.

И говорят ему китайцы:

— Приводи к нам свой народ, у нас жить хорошо!

И стали собирать его в дорогу: научили, как печь лепешки, дали ему и буды, и водки, — да с Богом.

С китайскими дарами добрался бое до тайги, до своего дома, созвал народ и первым делом угостил водкой — хотелось ему посмотреть, что такое бывает с водки, какая ее сила, сам ведь тогда у китайцев заспал всякую память.

Выпили товарищи, пошумели, ну, один задрал, другой сказал, повздорили, помирились, скакать принялись, наскакались, да тут же и спать легли.

А как глаза продрали: он им лепешек, и рассказал все о китайцах.

— Да, — говорят, — надо идти к богдо, хорошо живут.

И согласились: собраться всем и всей тайгою идти в землю дауров.

*

А жили в речке около стойбищ водяные человеки, и много они бое докучали. И чего только, бывало, ни придумывают, а извести их никакими силами невозможно.

Вот, чтобы с водяными покончить, и придумали бое такую хитрость: сошлись они к речке, расселись на берегу

и ну пить воду — один чашку выпьет, передаст другому.

Сами-то воды напились, а в чашку водки налили, и оставили эту чашку на берегу, да по домам.

И как опустел берег, водяные на берег и прямо за чашку — подсмотрели, как люди-то пили!

Чашка — немного, да много ли надо водяному: глотнет, и готово.

Осоловели совсем водяные, — ни рукой, ни ногой, — да кто, как был, так и полегли влежку.

Тут бое всех их до одного и переловили.

Вся тайга сошлась на такое диво.

А как поближе рассмотрели, и ничего особенного: человек как человек, только что голышом — ни на нем ормуз, паголинков по-нашему, ни на нем штанов, как мать родила, кланяются.

Вот они какие — водяные!

КИТАЙСКАЯ ШАПКА

Манегрская

Было это в те далекие времена, когда на берега Зеи не ступала нога ни русского, ни китайца, и кочевали бое на оленях.

Бое, как и соседи их — орочоны, и соседи их соседей — бирары и гольды, были большим народом — и не десятками, как нынче, а в тысячах считались.

Люди рождались и проходили по земле; как красная рыба кэта, узилась широкая тайга, и от тесноты вражда подымалась среди людей.

Брат пошел на брата. Род забывался, и каждый думал только о себе и жил по себе. Никто никого не хотел слушать. И своеволью не было никакого упора. Полуголовый и безголовый считали себя головою. Вся жизнь перевернулась, и никому житья не стало. Худые люди, а такие везде найдутся, дано ли тебе тысяча оленей или ни одного, худые люди стали обижать хороших. А жаловаться некому было, и заступы негде искать.

Жили бое крепко и дружно родом, а замутилось, и стали друг другу как самые первые враги.

Вот и сошлись кто помудрей да потолковей и решили, что без царя никак невозможно.

А был один самый зоркий — Касяки Ойлягир, взял он себе котомку с соболями на плечи, рогатую пальму в руку, покликал серую свою собаку, умылся из родной реки Силирни-биры и в путь — царя искать.

*

Долог и труден был путь.

На юг от Силирни-биры шел Касяки. Немало встречалось разных людей по дорогам. И сначала понимали, что говорил он, а потом речь его стала другой, как таежный шум, как птичий клик, и сам он перестал понимать других. И только одно: как заговорит о царе — где ему найти царя? — всякий указывал дорогу.

Большие ноены — правители богатых родов, случалось, звали себя царями, но Касяки всегда угадывал обман и шел дальше. Царское имя — где найти царя? — было ему верным поводырем.

Так дошел он с серой своей собакой до самого дома, где жил царь китайский.

А к царю его не пускают.

— Зачем и откуда? — не хотят пускать, хоть что хочешь.

Стало Касяки обидно:

«Как? Его не пустить! А вот возьмет он свою рогатую пальму, да пальмой!»

Царь услышал шум.

— Что такое?

Говорят царю про Касяки.

Подумал царь:

«Вот какой смелый, никого не боится: один с своей пальмой на всех!» — и велит привести к себе Касяки.

И вошел Касяки к царю, положил перед царем подарки — сорок черных соболей.

Царь копнул мех, а из-под черного, как небеса, заголубело, — глаза у всех и разбежались: впервые увидели китайцы соболиную шкурку!

— Пришел царя искать, — сказал царю Касяки и помянул царю о смуте, о родной реке Силирни-бире, где от смуты не стало житья.

Выслушал царь Касяки, велел принести отдарки: золота и серебра.

Да Касяки-то ничего брать не хочет: золото — он от роду не видел золота — и золото в глазах его, что медь, а серебро — и серебра он никогда не видел — серебро сошло за олово.

Подумал и кусочек серебра взял — на пули пригодится.

А царь подумал:

«Вот он какой: и смел, и щедр, и ничем не прельстишь — ни золотом, ни серебром. Да это и есть царь!»

И велел принести шапку: китайскую шапку с синим корольком — шарик такой, и еще просто шариков горсть.

И когда подали царю шапку и шарики, царь надел шапку на Касяки.

— Ты будешь царь над бое, — сказал царь, — а эти шарики раздай приятелям, кому поверишь, и будут они твои полковники и урядники. А кто тебя не послушает, возьми палку, да палкой — послушают! По своей-то воле жить, надо, чтобы у человека было и тут, и там, — царь показал на голову себе и сердце и, подняв руки, распростер, как крылья, над головой, — и здесь вот!

*

В китайской шапке с синим корольком вернулся Касяки домой на Силирни-биру и объявил бое, что он царь их, и указал на шапку.

Подняли на смех. И кто поверит — китайская шапка с шариком, царь? — и такой галдеж пошел, прохода нет.

А Касяки позвал приятелей, роздал им шарики — сказал царское слово.

Полковники и урядники взяли палки.

И те, кто смеялся, живо поджали хвост — такой уж смерд человек, коли нет в нем — нет ни тут, ни там, ни здесь вот!

Палка гуляла вовсю, лупила смехунов чуть не до смерти.

Видят, Касяки большой начальник, и стали слушаться.

А воры попрятались, горланы поумолкли. И завелся настоящий порядок.

До глубокой старости царствовал над бое Касяки Ойлягир. А по смерти его шапка с синим корольком перешла его сыну, а от сына внуку.

И по смерти полковников и урядников, приятелей Касяки, шарики их пошли их детям.

Так нарядились бое.

И доныне крепки их роды — Ойлягир, Манягир, Говагир, Гурагир, Учаткан — и привольней житья ни один народ не знает.

ЭЙГЕЛИН

Чукотская

1

Жил-был большой богач и было у него двое детей — сын да дочь.

Вырос сын и задумал старик сына женить. И по богатству старика немало нашлось невест. Старику-то они по душе, да сыну-то неладны: поживет с молодой женой день, два и назад к родителям отправит. Уж старик рукой махнул и перестал сватать.

Говорит Эйгелин сестре:

— Сшей мне, сестра, десять пар обуток, наклади их полны жиром, за море иду.

Послушала сестра, приготовила брату десять пар мягких обуток, наполнила их оленьим жиром. Забрал он обутки, простился с домом и вышел.

*

Идет Эйгелин день, идет ночь, — не спит, не присядет. И только, когда башмаки запросят каши, остановится переобуться, поест.

Так и идет.

Встречает его белый ворон.

— Ты куда пошел, Эйгелин?

— Иду за море.

— Не ходи, сгинешь.

— Эна!

— Говорю, не ходи: не пройдешь.

— Нет, все равно пойду.

До трех раз остерегал ворон и трижды был один ответ: стоял на своем Эйгелин.

Вынул ворон из-под левого крыла длинный большой нож.

— На, возьми этот булат на случай! — и улетел.

*

Идет Эйгелин день, идет ночь. На пути ему застава — полынья, да такая, конца-краю не видно.

«Знать и вправду не пройдешь!»

И хоть назад иди.

Да вспомнил Эйгелин про воронов батас, отошел, разбежался, взмахнул батасом и, как на крыльях, стал на другой стороне.

Идет дальше — опять застава: впереди камень, как гора, и в снегу весь. Подошел поближе — камень зашевелился, не камень, белый медведь.

Взмахнул Эйгелин батасом да на медведя и духом вскочил зверю на спину. Кинулся медведь, заревел и ну бегать, скакать — хочет сбросить, да цепок Эйгелин, держится крепко. И обессилел медведь, батас его и кончил.

Отрезал Эйгелин у медведя из-за уха самый длинный волос, как чаут, аркан олений, скатал кольцом и себе в колчан.

Идет дальше. А впереди ему заставой белеет снежный длинный хребет. Ближе подошел — шевелится, и не хребет снежный, белый горностай.

Кинулся Эйгелин на горностая, вскочил на спину. Как бешеный, побежал горностай, завертелся, закувыркался, да сделать ничего не может и упал под острым батасом.

И у горностая, как у медведя, срезал Эйгелин из-за уха волос, скатал в кольцо да себе в колчан.

Идет дальше. Перешел море. Берегом идет. И опять

застава — яр, да такой крутой, и снег между прогалин. Всмотрелся, а яр, как живой, не яр — пестрая гусеница.

И как на медведя, как на горностая, бросился Эйгелин на гусеницу, крепко уцепился. Билась, извивалась гусеница — и ничего не помогло. Он убил ее, как медведя и горностая. И у мертвой отрезал волос, скатал кольцом и в колчан к себе.

*

Идет Эйгелин день, идет ночь.

Много стоит руйт — больших кожаных юрт. Подошел поближе и в сторонке прилег.

У руйт молодежь пинала мяч. Ловко шла игра.

Из всех, особенно одна, с длинными косами до пят, приковала к себе его глаза: когда она бежала, ее косы, как прутья, стояли за спиной, — так она была быстра.

И еще две другие показались Эйгелину: схожие с лица, они бегали все рядом, не перегоняя и не отставая друг от дружки, словно сшиты.

«Вот которую одну из этих схожих и возьму в жены!» — решил Эйгелин.

И когда стемнело, он заметил, куда пошли сестры, да за ними следом.

И нагнал у руйты.

И когда одна из них ступила в руйту, он схватил за руку другую. Та оглянулась и ввела его с собою в руйту.

— Вот наш гость!

*

В руйте сидел старик. Стал расспрашивать: куда и откуда?

— Из-за моря, — сказал Эйгелин.

— Ну, и даль! И как это ты умудрился?

Эйгелин велел принести колчан — за дверью он его оставил.

И когда принесли колчан, вынул медвежий волос.

Посмотрел старик, покачал головой.

— Ну, и бедового ж ты зверя уходил! Кому доводилось

на море ходить, сети метать, встреча с этаким — погибель: много кого так и не вернулись.

Эйгелин достал волос горностая.

— А этот еще лютее, — сказал старик, — увидит и готово, все равно, где хочешь настигнет, не увернешься. Немало погубил народа.

Эйгелин показал волос гусеницы.

— Ну, а это уж, как сам страх: кому, охотясь за диким оленем, случалось встречаться, живым никто еще не уходил! — старик посмотрел пытливо, — зачем ты к нам пришел?

— Так, — сказал Эйгелин.

— За хозяйкой?

— Да.

— Вот мои две, бери любую. Только не выйдет дело. Такого, как ты, всякий заметит. Помяни мое слово: тебя женит на себе высокая с длинными косами.

— Ну, нет, я хочу взять твою дочь.

— Мало, что хочешь! Очень мне жаль тебя, а не будет по-твоему.

В руйту вошла — легка на помине! — та длиннокосая, принесла новую одежду: от шапки-малахая до обуток все белое без единого черного волоска и деревянное блюдо с мясом.

— Не хочу! — отстранил Эйгелин.

Ничего не сказав, мигом умчалась и так же мгновенно вернулась в руйту, но уже с черной одеждой и поставила перед Эйгелином блюдо с оленьим жиром.

А у старика еще варится, не поспел.

Эйгелин вынул нож и взялся за еду.

Запечалился старик, да уж поздно.

Эйгелин съел все блюдо.

— Ну, обувайся, пойдем ко мне! — сказала длиннокоска.

— Веди, разве я знаю куда! — поднялся Эйгелин.

И они пошли.

2

Она показала на большую руйту.

— Вот моя!

И встала.

И он остановился.

— Побежим наперегонки: кто первый придет, тот и будет главным. Только знай, прибежишь первым, прыгай прямо в теплый полог, не зевай.

И они побежали.

И обогнал Эйгелин — первым прыгнул в руйту.

Две собаки, прикованные железными цепями у входа, рванулись на него и оторвали у него полы.

Следом вошла она в полог.

И трое суток провели они вместе, не выходя из полога.

В последнюю ночь слышит Эйгелин, шипит что-то. Высунулся, осмотрелся: на пологу черепа человечьи, руйта железная, а за деревянным столбом рассованы трупы, и все, как на подбор, — молодые, сильные, как сам он.

«Тут и мне смерть!» — подумал Эйгелин.

И не убежишь: вход сторожат собаки, а отверстие вверху и высоко и узко.

*

Наутро говорит ведьма:

— Ты соскучился? Хочешь, пойдем пинать мяч?

— Пойдем.

И пошли.

Собралась молодежь, завели игру.

И никто не мог справиться с ведьмой: когда она бежала, косы, как прутья, стояли за спиной, так была быстра.

По-прежнему сестры, дочери старика, неразлучно бегали вместе, словно сшиты.

Но всех обгонял Эйгелин. И никто не мог пнуть мяч так далеко, как он.

Стемнело.

— На, возьми одежду, иди вперед, я догоню! — сказал Эйгелин жене.

И когда та скрылась, он подошел к сестрам.

— Скучно мне, — сказал он сестрам, — не спите по ночам, пусть одна из вас караулит. Что-то случится, чую.

*

Живет Эйгелин с женою. Без нее ни шагу. Одному все

равно от собак не выйти и не войти в руйту. Мало на людях, больше в теплом пологу. И все скучнее и скучнее ему в теплом пологу.

— Ну, ты совсем заскучал. Давай играть хоть в пятнашки.

— Давай.

Тогда она ударила его и отскочила. Он за ней, нагнал — не увернешься! — и сам ударил.

И пошла игра.

Играют ночь, играют день, и еще день и еще ночь.

Стала она уставать, нет-нет, да и задремлет. А ударит он ее, она встрепенется и опять уснет. И ударом он ее опять разбудит, но она уж не может ему отвечать.

На третью ночь, как убитая, заснула она, и что он ни делал, не мог ее поднять: бил, толкал, тряс — ничего не берет.

И сам уморился.

Прилег — скучно ему.

*

В пологу у задней стены против входа чуть светила лампа.

И видит Эйгелин — полог начинает подыматься. Шелохнулся он, и тень, как в воде рыбка, плеснула.

Лежит Эйгелин, не шевельнется, в щелку смотрит. И вот опять поднялась тень над лампой. Всмотрелся — старая, сморщенная старуха, она нагнулась к нему, а в руке ее, как серп, пекуль.

Тут он шевельнулся, и старуха бесшумно метнулась, как рыба.

«Вот она, моя погибель!» — Эйгелин поднялся и к жене.

Но сколько ни будит, она спит, не слышит.

И взял он батас, отрезал жене ее длинные косы, выстриг голову, надел ее платье, а ее нарядил в свое, перенес на свое место и так ее положил, чтобы не видно было лица, сам же прикрепил себе ее косы и лег на ее место.

Лежит Эйгелин, полузакрыты глаза, не шелохнется.

И вот показалась старуха, костлявая, — пекуль в руке. Постояла, посмотрела на спящих, шагнула — и еще раз

шагнула. — Нагнулась костлявая над его переодетой женой — задрожал пекуль в костлявой руке. Протянула руку да назад: или ошиблась? Что-то бормочет, — не верит? И опять нагнулась, долго смотрела и вдруг как ударит.

Только вскрик и кровь залила полог.

Кинулся Эйгелин, выскочил в руйту, пригнулся и прыгнул кверху к дымоходу. И только что ухватился за шест, звякнула цепь — сорвалась собака да его за ногу.

Висит Эйгелин, высунулся по пояс, держится крепко, а собака на его ноге висит.

И закричал Эйгелин.

*

Не спала одна из сестер, караулила. Слышит крик, разбудила сестру, да к отцу.

— Гость кричит, не случилось ли что?

Вскочил старик, схватил копье и поднял народ.

Всем народом побежали к железной руйте.

Эйгелин висел на руках по пояс над руйтой — собака держала его за ногу, не отпускала.

Старик залез на руйту, спустил по ноге Эйгелина копье, заколол собаку.

И выбрался Эйгелин на волю.

Убили и другую собаку да в руйту. А там, за пологом, за лампой, сундук. Открыли сундук — старуха: на корточках сидела костлявая — пекуль в руке, и выла.

Живо порешили старуху, принялись за руйту, разбили железную. Много мехов нашли и всяких богатств — дорогие бобры, росомахи.

3

Живет Эйгелин у старика в руйте.

Две дочки у старика, была и еще постарше, да незадолго до прихода Эйгелина померла и мертвая валялась в тундре, брошенная зверям и птицам.

Раз поутру говорит старик Эйгелину:

— Неладное что-то во сне мне снилось. До сей поры лежит моя дочь, никем не съедена, — нехорошо. Ты бы ее оживил!

— Да разве я могу такое сделать?

— А что ж? Ты прошел море, убил медведя, горностая, гусеницу, ты победил столько напастей!

Задумался Эйгелин: а и в самом деле не испытать ли ему силу?

И когда настал вечер, взял он бубен, и начал камлать. И долго колотил он в бубен, потом гаркнул, как ворон — и мертвая сестра влетела в полог. Кинул он бубен и к мертвой: тряс и ворочал — и мертвая зашевелилась и ожила.

*

Живет Эйгелин у старика в руйте.

Две дочки у старика и третья, что оживил Эйгелин, а была и четвертая, самая меньшая, ее старик не показывал.

Говорит старик Эйгелину:

— Много ты нам сделал добра, от многого ты нас избавил. Теперь можем спокойно ходить на море и в горы, нас изводить больше некому и наши сыновья будут жениться, наживать большие семьи. Пора и тебе жениться, да и домой идти на свою сторону.

— Ладно, — согласился Эйгелин.

— А пригони наперед олений табун, — сказал старик.

Эйгелин пошел за табуном.

А старик сделал сани и балок — возок крытый. Все приготовил к кочевке. И когда Эйгелин пригнал табун, старик разделил табун: половина ушла в горы, другая — осталась у чумов.

— Это твоя и будет! — показал старик, — теперь кочуй!

Смотрит Эйгелин, а та старшая дочь старика, которую оживил он, у саней хлопочет, готовится к отъезду и такая проворная, одно горе — коса и крива.

*

Идут и идут — путь за море далекий.

Не покладая рук работает кривая: и ставит и собирает руйту и весь олений караван на ней, — и хоть бы одно доброе слово от Эйгелина!

Как-то Эйгелин был в табуне, а кривая влезла в балок,

где тайно ехала с ними самая младшая сестра, которую скрывал старик от Эйгелина.

— Надо тебя ему показать, — сказала кривая, — тогда он и со мной будет лучше! Больше сил моих нету.

Сестра согласилась.

А вечером говорит Эйгелину кривая:

— Не буду я ставить руйту, больно погодно. Ты ложись в балок, а я пойду в табун.

И ушла.

Сидит один Эйгелин, горько задумался о своей судьбе бессчастной, — он вернется домой и все будут над ним смеяться: косая, кривая!

И с чего это она выдумала, чтобы лег он в балок, и совсем не так уж погодно!

Не хотелось ему и с места трогаться, все было постыло.

И все-таки встал он, повернул балок дверьми от ветра. Странно: больно тяжелый! Заглянул — а там сундук. Открыл сундук и понять ничего не может: в сундуке горит лампа, а около лампы сидит, да такая, никогда и не снилась ему такая. Он в сундук и всю ночь оставался, не выходил на волю.

Поутру приходит из табуна кривая и не узнать Эйгелина: какой к ней ласковый и добрый и во всем помогает!

*

Кончился путь. Вот и родная сторона.

Услыхали люди, что Эйгелин вернулся, привез жену из-за моря, и понаехало народу со всех концов.

Встретила Эйгелина сестра. Старик-то не дождался сына, помер. Обрадовались друг другу.

Велит Эйгелин на радостях убить оленей, чтобы гостей угостить, а последнего убить оленя, чтобы помазаться свежей кровью — станет он венчаться.

А сестре приказал настлать от возка до самого полога тюленей, а сверх покрыть бобрами и росомахами.

И все было исполнено.

Кричит кривая:

— Торопитесь мазаться, кровь стынет!

А сама с сестрой Эйгелина пошла к возку, и вывели они под руки невесту.

И как увидели парни такую, точно с ума посходили: кто дотронулся до ее руки или случайно коснулся одежды, кто прямо посмотрел ей в глаза, тот затрясся на месте, а некоторые тут же на месте и померли.

Пришлось отложить венчанье до другого дня, а невесту пока что спрятать.

И когда разъехались гости, повенчался Эйгелин и зажил счастливо с молодою женой.

А кривая заняла в доме место старшей жены: уважал ее и любил Эйгелин, как мать родную.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сакха — так сами себя называют якуты — народ турецко-татарского племени, скотоводы, живут по Лене реке и ее притокам, и по Яне реке, и по Колыме реке до Ледовитого океана, крещеные шаманисты.

По Памятной книжке Якутской области к 1 января 1909 г. якутов числилось до 242 000 человек.

В основу положены: сказка, сказание и сказ, которые передал мне ученый сакха Семен Андреевич Новгородов с Татты реки, притока Алдана.

*

Карагасы — отуреченный народ самоедской ветви угро-финского племени, охотники, живут в Саянских горах по рекам — Оке, Уде, Бирюсе и Кану, крещеные шаманисты.

Насчитывают карагас до 405 человек.

В основу положены сказки, записанные Дм. К. Соловьевым: «Откуда происходят карагасы» и «Карагасы должны промышлять». А сказывал сказки — и «хорошую» и «нехорошую» — Николай Савельич, по прозвищу Тутарь, одноглазый старик карагас — глаз олень ему выбил, а лет ему за восемьдесят.

*

Бое — так сами себя называют манегры — народ тунгусского племени, охотники, когда-то оленные кочевники, кочуют на лошадях по правому берегу Зеи от Перы до Депа и от Перемыкина до Куматы, шаманисты.

В 1913 г., по свидетельству Д м. К. С о л о в ь е в а, участника экспедиции в Амурскую область, манегров насчитывали 132 человека.

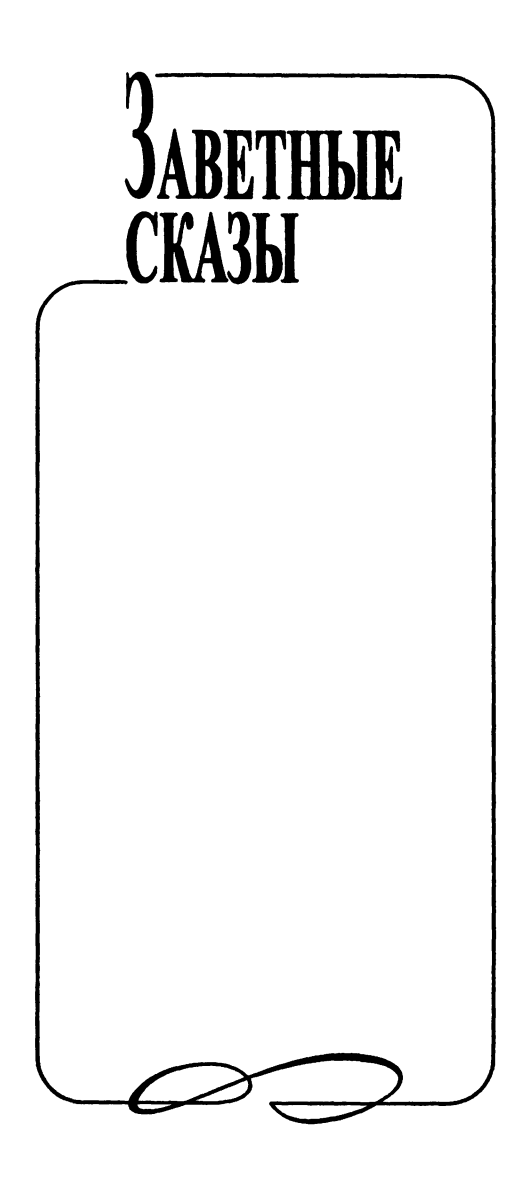
В основу положена «Сказка о происхождении манегров», безымянная сказка и «Как манегры порядок у себя завели» по записи Д м. К. С о л о в ь е в а, а сказывал сказки Т у д з ё У ч а т к а н, горбатый и хромой бое, на реке Депе.

*

Ораведлат — так сами зовут себя чукчи — оленеводы и собаководы, живут от Берингова моря до реки Индигирки и от Ледовитого океана до рек Анадыра и Анюя, их около 6 000 человек, шаманисты.

В основу положена сказка, записанная И. П. Т о л м а ч е в ы м в чукотскую экспедицию 1909 г. на Чукотском побережьи Ледовитого океана, а сказывал сказку Д. А. Б е р е ж н о в, колымчанин русский, а ему сказал ее летом 1909 г. на складе в устье р. Чуана чукча Н о м у л ь г и н, кочующий на нижнем Чуане.

Запись И. П. Толмачева напечатана в Жив. Стар., 1912 г., вып. II–IV, Пгр., 1914.


Заветные сказы

ЦАРЬ ДОДОН

В некотором царстве, в некотором государстве царствовал сильный и могучий царь Додон. И было это царство богатое и сильное — с краями полно, не насмотришься: всякий тут лес, всякая ягода, всякие птицы водились, и не только что хлеба было всем вволю, но и всякого добра и всего не в проед было, да и скотины развелось очень довольно.

Задавал царь пир за пиром пьяные-распьяные, и было в его царстве веселье, как еще ни в одной державной стране, разливанное, и гости, отплясав ночь в три ноги, возвращались под утро домой без задних ног.

Разными диковинками славился Додонов двор, и шла его слава далеко — дошел слух до Кощея-бессмертного. И уж собрался сам Кощей в гости к Додону побывать, уж сел Кощей на ковер-самолет, да только сажен десять не долетел, потому что ему нельзя как-то в Русь и воротился домой.

А диковинки и вправду были знатные.

Жил у царя на чердаке ворон, — ворон, если бывала надобность, пускался из слухового окошка за тридевять земель, приносил царю от Лягушки-царевны золотое яблоко, а с золотым яблоком живую воду и мертвую.

Царь тем яблочком лакомился, а живую воду в квас подбавлял и всегда после бани с квасом кушал в свое удовольствие, а кстати и чтобы век свой продлить — подбадривал старую кость, приходящую в ветхость, мертвой же водой для развлечения мух да тараканов морил.

Хранился у царя в хрустальной шкатулке перстень — перстень, если метнешь его с руки на руку или на палец

наденешь, так сию же минуту и перенесет тебя, куда хочешь.

Царь шкатулку держал у себя под головами, а перстень надевал только раз в году на свои именины и то на обедню.

В стойле стоял златогривый конь златохвостый и никуда на коне никто не ездил и никуда коня не выпускали, а была проверчена в конюшне щелка, через ту щелку все на коня глазели, да диву давались.

У красного крыльца лежала свинка-золотая-щетинка, испускался от свинки свет такой сильный, и никакого другого не надобилось света, и других огней на царском дворе не зажигали: хоть в самую темень иди, не споткнешься и нечего бояться — не разобьешь носа; трогать же свинку пальцами и гладить руками никому не дозволялось — обнесена она была крепкой решеткой, и лишь издали кланялись свинке, поминали чушку добрым словом.

По саду разгуливал олень — золотые рога, днем златорогий любовался на себя в тихом озере, на ночь в пещеру спать уходил, и спал до зари, как простой человек.

И жила еще у царя птица-колпалица, — на птице куда хочешь летай, только было б птице что есть, а птица есть хоть и ела и не так чтобы много, да норовила за раз в один присест все запасы прибрать и волей-неволей отрезай пожирнее кусок от себя, да человечиной корми птицу, а то не летит.

Царь на птице никуда не летал, а держал птицу в клетке над своим троном, и тут же у трона гусли висели самогуды и так сладко звяцали, уши развесишь.

На дворе на привязи в собачьей конурке, как собака, сидела Ведьма: день под окнами ползала немытая, ночью тявкала по-собачьи.

Как-то в сердцах предсказала Ведьма царю смерть от червя. И приказал царь Ведьму казнить, — разложили на дворе костер и Ведьму сожгли, а червей всех, сколько их ни было, и какие только могли проявиться, велено было доставлять ко двору и давить, а которые юрки, тех на месте приканчивать.

Высоко сидел царь Додон на перловом вырезном троне в красных веселых палатах. Окружены были царские пала-

ты трехстенною крепостью, на стенах наведены были струны с колокольчиками.

Сидел царь высоко во всей своей царской государевой славе, давил червей да лакомился золотым яблочком, а вкруг него все гости да все пьяные, плетут рассказ, поют, пляшут, удивляются царским диковинкам.

А диковинки и вправду царские!

Но из всех диковин диковинка, чудо из чудес, диво из див, росла дочь у царя царевна Олена — краса неоцененная, что ни в сказке сказать, ни пером описать.

*

Прошло там сколько, не год, не два, и стали вести носиться, что поспела царевна невестой под венец. И стали из иных земель цари, короли да принцы к Додону съезжаться, и стал царь Додон собирать царскую свадьбу.

А пока приданое готовили, удальцы женихи свою удаль перед царевной развертывали. И перевернулось все царство Додоново: очень уж царевна была всем завидлива и зарился всякий в жены себе царевну взять. И бранились, дрались соперники, убивали друг друга до смерти, резали прямо ножами, а не то так иным делом изводили.

Вот заструнили струны, зазвенели колокольчики — наступили смотрины царские. И пошли сваты со свахами невесту охаживать, приданое-добро смотреть, всякую мелочь вдоль и поперек отрагивать, во все запускать свой глаз, такие дотошные, — да так и обычай велит.

И не мало, не много, целый день трудились — одного серебра, сундуки ломятся! — и лишь под вечер согласно решение вынесли: порухи нет никакой, невеста красавица и все, как надо быть, во всей красе царской, и лучшей невесты поискать не отыщешь. А ловкостей разных — няньки да мамки научают этому делу невест — порассказала царевна на загладку сватам так много, и пальцев для счета не хватит, и такие хитрости выказала, что и сами сваты, народ дошлый, да и те не выдержали, совсем очумели, да впопыхах вон, сломя голову, в сени дух перевести.

И только с сыпильным мешочком, подвязав его себе крепко, вернулись сваты к царевне.

Уж готовились ударить во все колокола, готовилась царевна выбрать себе мужа, а царь зятя, как вдруг чей-то лихой глаз открыл в царевне такое... и когда про такое сват перешепнул на ухо свату, и с уха на ухо всем стало известно, всех такой пороп взял, и в миг весь Додонов двор ровно языком слизнуло.

Повскакали женихи со сватами живо на коней, а свах кто за что — кто за седло, кто на хвост, и все до одного поминай, как звали!

И с той поры никого, хоть бы кто, хоть бы самый завалящий принц, никто не являлся женихом к царю.

Посылал Додон сватов от себя, сулил царь полцарства отдать, и рад-то был царь с диковинками расстаться, лишь бы выдать дочь — да один у всех сказ:

— Не можем, да не годимся. Не годимся, да не можем!

Одна-одинешенька не весела томилась царевна. Утром выйдет в сад, бродит, как тень, и только посеред дня заходила на птичий двор кормить любимых цыцарок.

А царя совсем старость осилила, и от живой воды пользы не стало. И хоть червяков всякий день давил Додон с сотню, а то и побольше, да смерть не обманешь: червем подползет она, ой, червь, ой, зубатая!

И задумался царь, думая себе, гадая крепкую думу, как быть, да чтоб и все было. Думал царь, думал и вздумал думу: велел царь созвать со всего царства всех, сколько ни есть, бояр, всех-на-всех в красные свои палаты.

И сошлись к царю бояре все, расселись по местам, порасправили бороды и начали думать, как быть, да чтобы и все было. Думали-думали, уж думали-думали, гадали-гадали и то думали и се думали и так и этак прикладывали и ничего не выдумали.

Так и разошлись.

*

А жил у царя во дворцовой клетушке один человек, а звали его Лука-водыльник, а был он, водыльник, не велик, не мал, но такой, что всякому приметен: сухонький, востренький и всего-навсего об одном-единственном глазе, да и тот не в показанном месте — во лбу над носом, а уж догадлив — ни на какую стать.

Появился Лука в Додоновой земле, еще когда Додон молод был и большие войны вел, уходя, бывало, на долгие сроки со своей сильною ратью в дальние земли, а появился Лука просто чудом из темного подземного царства, где люди в кадках с водою живут и все впотьмах делают.

Не везло Луке на первых порах, все прошибался, все не по-людски выходило, ну, да потом попривык и уж так во всем наловчился, что и самые первые комнаты — покои царские у царя прибирал и птице-колпалице клетку чистил.

И случилось однажды, отправился Додон войной на Дракона, а Луку, как верного человека, поставил при вороне находиться и, если что ворону понадобится, все исполнять беспрекословно.

И случилось с Лукой о ту пору одно невеселое дело.

Пристрастился Лука у ворона живую воду пить и, не зная меры — до воды Лука большой был охотник — в один прекрасный день так опился, что пришлось попа звать, Луку соборовать. Суток трое бились с больным, воду из него трубами выкачивали и только на четвертые сутки, как царю с войны воротиться, с Божьей помощью коекак отходили беднягу. И с той самой поры почувствовал Лука к воде отвращение, и никогда, даже богоявленской, никакой ни капельки ее в рот не брал, а питался круглый год ягодой, кореньями да калеными орехами.

Еще больше приблизил царь Луку и со временем назначил его главным вельможей, а любил его как родного, и за сметливость особенно — и как бывало у них меж собой что сказано, так было и сделано.

А Лука умел угождать царю: из ничего, просто так, сделает тебе кошелек бумажный или так на языке играть примется, что всякий со смеху помрет и всякому поплясать охота, если даже и невмоготу тебе.

А тут у Луки обнаружилось вдруг такое пречудесное качество, что царь, не зная уж чем еще наградить Луку, приказал вписать Луку о здравии в поминанье на вечное поминовение: поминать Луку во всех церквах и здешних и нездешних вечно.

Бог знает, каким образом, и неизвестно откуда, сыпался из Луки вроде пепла песок какой-то желтый, и как, бывало, сядет Лука с царем судить да рядить, так после обязательно целый мешок этого песку соберут, а то и с лишком. А известно, на Додоновой земле песку самородного и в помине не было, и всякий этим песком, слегка просушив, и пользовался. И наклали из Лукина песку посреди столицы Додоновой гору высоченную, чтоб на Красную горку солнце встречать, на Маслену с горки кататься.

Вот какой был этот Лука хитрец — важный человек.

И надо же такому случиться, незадолго до смотрин царских отправился Лука на богомолье и пропал на долгое время.

В какие страны заходил одноглазый, по каким монастырям и угодникам молился, ничего неизвестно, а может, просто-напросто лазил к себе в темное подземное царство и там коротал дни в кадке со своими одноглазыми приятелями, кто ж его знает!

И когда вернулся Лука, Додонова царства узнать нельзя было.

На царском дворе все приуныло: цветы в саду стали вянуть, деревья сохнуть, трава поблекла, а царь мышей уж не топчет.

Тридцать три года стукнуло царевне — тридцать и три, и красна, краше нет ее в свете, а толку никакого.

Разведал Лука дело — Лука до всего доберется! — забрал золотую мерку, да с меркой тихонько и прошмыгнул в терем к царевне, вымерил всю ее меркой да с меркой прямо к царю и, не говоря худого слова, перед царем мерку и стал раскладывать. А как разложил всю до последнего кончика, в глазах у царя так и помутнело.

Уж на что сам Лука не в пример другим: другой раз затруднительно бывало Луке с места на место передвинуться, ровно б привязал ему кто полено к поясу, да и то куда!

Тут-то вот царь все и понял.

— Нельзя ли его каким образом достать, чтобы было в пору?

А Лука подумал, подумал, да и говорит:

— Слышал я, что за девять девятин в десятом царстве у

Таракана такие водились, да кто ж их знает, может, и перевелись.

— А ты что ни дать, дай, а уж достань, Бог с ним, что тараканский.

Так и порешили.

И дал царь одноглазому службу: ехать Луке к Таракану искать царевне подходящее.

Не малое время околачивался Лука со сборами — и мылся и чистился и всякие платья примерял, чтобы на люди честь-честью показаться. И когда все справил по-хорошему, сел на коня, сверкнул глазом и в путь пустился.

Едет Лука долго ли коротко ли, близко ли далеко ли, только доехал до стояросового дуба, а под дубом человек лежит, не-весть-чем желуди с дуба сшибает.

Поздоровался Лука с Желудиным.

А Желудиный и говорит:

— Далеко ль, молодец, путь держишь?

— А вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года... красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.

Желудиный только крякнул.

Тут Лука вынул Оленину мерку и ну раскладывать: раскладывал, раскладывал, дошел до кончика...

— Э, нет, не моя, поезжай дальше! — отмахнулся Желудиный.

Лука было выспрашивать и то и другое, и нет ли у кого так чтобы в пору, а Желудиный и в ус не дует, знай себе желуди с дуба сшибает.

Делать нечего, попенял Лука Желудиному, пришпорил коня и дальше в путь.

Ехал Лука, ехал, подъезжает к речке, а на берегу стоит себе человек так не очень казистый, а между тем протянул не-весть-что канатом — перевоз держит. Люди всякие за него цапаются и паром тащут.

Заприметил Луку Канатный, поздоровался.

— Сколь далече, молодец, путь держишь?

— Да вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года... красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.

Канатный только крякнул.

Лука за мерку и ну раскладывать, а как дошел до кончика, задергался Канатный, инда волны пошли.

— Э, нет, не моя, поезжай дальше!

Не весело едет Лука.

Пропало, видно, дело, хоть назад возвращайся: не будет мужа царевне, некому будет передать и царство, пропадет Додоново царство.

И только что это подумал, как захрапит под ним конь и ни шагу.

Осмотрелся Лука: что за причина? И глазу не верит: перед ним табун лошадей, а не-весть-что обогнулось вокруг табуна да концом в кобылу, а пастух окаянный лежит да придерживает.

Увидал и Луку Табунный, поздоровался.

— Далеко ль, молодец, путь держишь?

—Да вот, — говорит Лука, — у царя Додона есть дочь Олена, тридцать и три года... красна, краше нет, так послал меня царь искать ей жениха.

Табунный только крякнул.

Вынул Лука мерку и ну раскладывать: раскладывал, раскладывал, разложил всю до самого кончика да и еще вершков семь от себя на запас пустил.

— Ага, — закричал Табунный, — самая моя.

Оробел Лука, не знает, что и делать — и так уж и сяк к Табунному прилаживается.

— Вот то и то тебе, братец, дам.

И золота ему сулит и всякую всячину представляет, только бы согласился к Додону ехать — больно уж подходящее.

А Табунный и говорит:

— Да я и так с удовольствием, только надо сюда двенадцать троек пригнать, да обмотать его клубками покрепче да на телеги класть, а тогда поедем.

Сверкнул Лука глазом. Не прошло и минуты, ровно из-под земли, стали двенадцать троек, а ниток — целые версты — и туда и сюда, знай только обматывай.

И сейчас же, не медля, принялись мотать. Мотали, мотали, прикрутили его да на телеги и в путь.

И одно поле проехали — ничего, и другое — благополучно, а третье попалось да как на грех кочковатое, возьми да и растряси его, а оно во всю свою длину длинную и вытянулось.

— Эй, — кричит Табунный, — отстегните пристяжных да заезжайте вперед, больно мошкара всю головку заела.

Что тут делать, отстегнули, заехали, глядь, а головку — какая мошкара! — двенадцать волков вот как теребят.

Бросились на волков, отогнали, да слава Богу, уж столица рукой подать.

Народу высыпало видимо-невидимо, завидели молодца, все диву дались.

А Табунный не-весть-чем как размахнется, да прямо в пепельную гору — в Лукин песок весь с головкой и въехал.

Тут кто с чем: кто с топором, кто со скребком — тянули, тянули, насилу из горы его вытащили.

Заструнили струны, зазвенели колокольчики, ударили во все колокола да скорее за свадьбу.

Царь Додон на радостях приказал у свинки-золотой-щетинки решетку разломать, чтобы все свинку трогали, а Луке одноглазому, осыпав его с головы до ног золотом, два глаза вроде человечьих вставить велел; птице-колпалице крылья подрезали, чтобы не было птице соблазна на человечину зариться; оленя златогривого к высокому столбу привязали, чтобы на виду был олень, а червей, если остался еще хоть один червяк, всех повелел помиловать.

И задал Додон пир на весь мир.

И я там был,
мед-пиво
пил,
по усам текло,
а в рот
не
по
па
ло.

1907 г.

ЧТО ЕСТЬ ТАБАК

Гоносиева повесть

Многие суть басни о табаке на соблазн людям написаны. Говорят тако: произрастает он из червоточного трупа блудницы, другие же на Иродиаду валят, будто из ее костей ветренных, а третьи совсем несуразное порют, подсовывая корень табачного зелья Арию заушенному, его внутренностям — потрохам смердящим.

И все сие ложно.

Повесть, которую я расскажу вам, любимые мои, поведал мне некий древний старец Гоносий, до полвека лет недвижно и в гробном молчании простоявший дни свои в тесном и скорбном месте у гроба Господня.

Вот что рассказал мне древний старец Гоносий.

*

Некогда на Судимой горе на самой плеши стоял старый-престарый монастырь. И многое множество монахов и чернецов спасалось на Судимой горе. Были такие старцы, что даже самих себя по имени не знали и, кроме молитвы, ничего не помнили и ни крошки в рот не брали: ни хлеба, ни смоквы, ни финика; и никакого питья не ведали, даже квасу не пили, а питались лишь от благоухания своего, играючи с небесными птицами, зверями и зайцами.

Не раз нападали разбойники и осаждали монастырь, но молитвами честных отцов бывали отбиты, понося урон и в людях и добычею.

Пречудные чудеса творились на плеши и знамения объявлялись разные.

Забирались на плешь шестоноги со львовыми головами и девки с рыбьим хвостом, то подвернется который с шестью собачьими мордами на теле, выстоит всю службу и, благословясь, вместе с богомольцами восвояси уйдет, то под билом медвежонок с человечьим лицом привязан к вервию спит. А то раз закинули сети, а в сетях вместо рыбы чудо морское: голова, лоб, глаза и брови человечьи, уши тигровы, усы кошачьи, борода козья, рот львовый и на

боку жабра, а вместо зубов костяной обод. Окрестили чудо морское, — при монастыре оставили: ело оно хлеб да молоко, хорошо ело, не жаловалось, а на двор никогда не ходило.

Из-за моря показывалась Гарпия змеехвостая, выползала Медуза мордастоногая, пел Сирин — птица райская и Алконост — птица павлинопышная, утешая святых отшельников гласом своим сладкопесневым.

Залетали и другие птицы красноличные, имущие по паре воловьих рогов и естество женское; под благовидным предлогом потоптавшись, несли яички пестрые.

Всякий день и час открывались нетленные мощи, раки коих точили исцеление и недуг врачевали· выходило угодников видимо-невидимо во славу Господа.

И стекалось на гору богомольцев и странников — проткнуться некуда, и такое бывало скопление, хоть топор повесь; захожие дровосеки так свои топоры и вешали, чтобы не пропало.

Лай, рев, крик, мурлыканье, — куроклик, мышеписк, ухозвон, окомиг, — хоть тебе что, угомону не взять!

Огорчало нестроение, печалило: придумывал преподобный отец игумен, придумывал, а поделать ничего не могли, сами старцы безымянные посоветывать ничего не могли.

И все шло по стару, как стало.

*

Был в монастыре один песоподобный монах Саврасий, втерся он в монастырь неведомо откуда, неведомо что сотворив в миру. Ходили слухи, что от юности своей жил он у одного царя за разбоем и много пролил русской крови, но рука из облака вышла ему и повела его на славную плешь в преславный монастырь.

Так, ни кожи, ни рожи, высокий и постный, одна челюсть большая, другая поменьше, а нос громадный до невозможности.

И как пришел он в монастырь смирный и незадирчивый и все мощи лобызает, потом могилы копать примется для

новопреставленных и все черные работы исполнять, какие в труд человеку кажутся.

Так прожил он многие лета в молчании и борении, впоследствии же времени с благословения игумена заюродствовал, и ни единой твари откровения не было, что под видом смиренника поселился в монастыре сам Диавол.

Бывало, как станет припекать солнышко, выйдет Саврасий на огород, совлечет с себя вретище, ляжет где в грядку, этими самыми своими частями прямо на припеке, и лежит. Поналетят мухи, сядут ему на них и почнут ходить, и взад и вперед, жужжа, ходят, сладостных соков напиваются — уливы блудной. И ходят и поедают эту уливу невозбранно вплоть до вечерен.

Вскоре и вся братия, зря Саврасиево действо, поддалась примеру да по обедне всем собором прямо на огород да, обнажив эти части, на грядки ложится и лежит, привлекая и питая мух дерзких.

И стала через этого Саврасия такая тишь да благодать по всей плеши горной, только и слышно, что муха.

Она проворная и ловкая водилась в монастыре с немалым избытком и вдоволь: лапки юркие, щекотные — шевелят, забирают — все жилки переберет, не насытишься, — юлы какие-то неподобные, щекоча и томя истомами.

Не нахвалится игумен, не нарадуется, глядючи на братию. И не раз, умиляясь, совлекал преподобный с себя свой белый хитон, примащивался, как поудобнее, и предавался мухам съедению.

Еще больше скоплялось богомольцев и странников, поучались подвигу, и немало мирян обратилось в те времена в подвижников.

Но вот прошло красное лето, пришла зима, установился санный путь, пришлось братии покинуть огороды.

И заскучала вся плешь, напал извод и тошнота великая.

В келии у Саврасия стояла печурка, на этой печурке сидели кишки и желудки да, свесив ножки, лапша висела, — тут разводил Саврасий мравиев.

Этими мравиями он и пользовал плешь от тошноты и извода великого.

Всякий день брал Саврасий сосуд глиняный — добрые

хозяйки соленый и отварный гриб в таких сосудах с пользой сохраняют — и отпускал таковой на каждого брата с двунадесятью мравиями.

А вся братия, сидя по келиям в тишине и молчании, вынимала эти самые свои части и, положа все в сосуд целиком к мравиям, предавалась воле Божией — их насыщению.

И омраченные дивились все диву невиданному, благодарили Господа за ниспослание брата верного и любовного, — ангела-хранителя во образе Саврасия.

*

Спасалось в монастыре два инока — два горбатых старца: одного звали Нюх, а другого Дух, оба неразлучные неотлучно пребывали у мощей нетленных.

Горбатые, скорбные, мучимые мышью: по мыши от рождения у каждого старца сидело в ухе и зло сосало мозг; и для облегчения пили многострадальные воду из кальной лужи, ею только и держались.

Этим-то старцам велел игумен, опутанный сетями вражьими, сочинить заживо Саврасию акафист.

Размышляя как-то о сочинении, вышли старцы поразмяться, забрели в лесок и шли так по лесу, радуясь и похрустывая снежком, вперяя очи в небесные высоты. И видят, выходит им навстречу из оврага мужик, а голова у мужика не мужикова, а птичья. Ахнули тут старцы, окрестились да с помощью Божией, запустив аркан, арканом мужика и поймали. Тотчас благополучно отвели в монастырь, там поместили в келию к чуду морскому, которое в ту пору разными рукоделиями занималось и вело себя прилично.

Тут взялись скорбные пытать мужика: осмотрели тщательно, какого он есть пола, и найдя, что ни того, ни другого, добивались имя его, но птичья голова ничего не отвечала. И подрезывали старцы тело его острыми ножичками, и подваривали пятки его в смоле, воске, олове, но птичья голова ничего не отвечала.

Не добившись толка, вознамерились богоугодные привести чудо лесное ко святому крещению. Обуреваемые же

сомнением, решили наперед испытать: не бесовский ли оно подкидыш?

Кормили его мертвечиной — иного не ело.

Нюх был горбатее Духа, а потому, как более видному, предстояло ему совершить это испытание.

И вот на Пущенье, заговляясь блином и варениками, от последнего вареника заложил Нюх себе сыр за щеку и, предавшись сну, не глотая, проспал с ним до утра понедельника пущеной недели. В понедельник вынул сыр из-за щеки, благословясь, положил его под мышку и неприкосновенно носил до Великого Четверга — Страстей Господних.

Когда ударили к Страстям и погнал Дух мужика с птичьей головой в храм Божий, Нюх следом за ними, не пивши, не евши, к мощам на свое место.

Возжгли свечи страстные, вышел игумен двенадцать евангелиев читать, тут Нюх тихонько сыр из-под мышки вынул.

И что же он видит?

Все вверх дном, пакость на пакости, — глазу не верит.

Заголя зад, скачет округ аналоя преподобный игумен, да на сопели ладно и лепно наигрывает, так ладно и лепно, и вся братия, все богомольцы, странники, калеки, убогие, сухие, слепцы, хромцы, расслабленные, безногие скачут и пляшут с трещанием, прыткостью, — и взвизгивают, орут во всю глотку, гогочут, притопывают, причичикивают, — пошевеливают плечом, идут вприсядку — туда ногу, сюда ногу — такого откалывают, ничем не остановить.

И лают — собачьи морды строят, и мяукают — кошачьи морды строят; трясут бедрами, вихляют хребтом, кивают головой: прыгом, в пыху блудят — не выговоришь, таким блудом, таким смесением — не перечислишь.

А из царских врат, подъятый на воздух, Саврасий с красным цветком в руке, бросает в иноков красные цветы, распаляет храм жаром сатанинским.

И сам Нюх, не совладав с собой, бросил четверговую свечку, да, подобрав рясу, коленце за коленцем пошел выкидывать.

*

Очнулся старец на третий только день Пасхи в ночь в своей убогой келии и хочет молитву выговорить, а язык не повинуется — прилип к гортани: ни кипятком, ни клещами, ничем не отдерешь.

Много старался Дух, много положил сил, но и Дух не помог, только десну разворотил, да в ухе мышь спугнул, так что и свету не взвидел старец.

И стал с тех пор каждую полночь Саврасий к нему в келию таскаться, и говорил:

— Нюх, отдай мой сыр!

Так мучил, так томил, и рад бы Нюх отдать ему сыр, лишь бы отвязаться от Диавола, да не помнит уж, куда в затмении сыр запрятал, а может быть, и съел? помнит, будто ел что-то в плясании и блуде мерзкое, — а может быть, под языком прилипши? — и ничем не зацепишь.

Саврасий тянул свое:

— Нюх, отдай мой сыр!

И плакал старец слезами горькими, созывал братию и игумена; приходила братия, приходил игумен, — показывал Нюх знаками пляс, блуд, смесение и непотребства, какие видел и испытал на собственной шкуре за Страстями Господними — в Великий Четверг.

Покивала братия головами, соболезновал игумен, — думали: совсем брат рехнулся!

И плакал старец слезами горькими и, не видя себе ниоткуда помощи, опечаленный непониманием, вострил глаз, зорко следил за Саврасием.

На Русалочий Великдень в четверг на Зеленой неделе с раннего утра, помня о смертном часе, забрался Нюх с этими целями в кустик у келии Саврасия и, выставив горб наружу, будто сук, ждал невидимый нечистой полночи.

И с полночи ночь всю слышал, как что-то подходило к окну Саврасиеву и пело, подходило и пело. Но выглянуть из-за кустика не решался старец и, как ни разбирало любопытство, не посмотрел, боялся: не вытек бы глаз на беду и не попортить бы себе член какой нужный.

Только на заре вылез блаженный из-за своего кустика,

огляделся да, осенив себя крестным знамением, прямо к окну след смотреть, а след и не разберешь: не то козий, не то медвежий, и козий и медвежий разом, — носом понюхал: песий, а опекиши лепешечками — заячьи.

Одному Господу известно, что все это значило.

*

На плеши мирно и тихо текла жизнь.

Возлежала братия на огородах с мухами и распинала плоть свою, долбя в томлении частями своими этими сочные огородные тыквы, иные в лес уходили — зеленый частым гребнем стоял лес, заманивал иноков прохладой, муравьиными кочками и грибом пухлым, а иные на реку шли — широкая, кишмя киша рыбами, полотенцем растянулась голубая река, — там ловили рыб и пользовались для этого дела живыми их мохнатыми жабрами.

Одно чудо морское да мужик с птичьей головой не занимались.

И Нюх, будучи плотию встанлив и разжигаясь телесною похотью, но хотя претерпеть, знаками просил их и слезно молил привязывать его крепко за ногу, не пускать на огороды, в лес, на реку.

Но ни чудо морское, ни чудо лесное ничего этого не понимали, хоть и были не по уму понятливы: лесное за службой ставило свечки, а морское с кружкой ходило.

Готовил старец мужика с птичьей головой ко святому крещению, уповая на Господа: вразумит Господь мужика, и ему ослабу подаст, помогу в борении.

На Петров же день, в день крещения чуда лесного, приключилось ни весть что.

Поссорившись из-за каких-то пустяков, Лесное мякнуло Морское в рыло, а Морское по плеши Лесное огрело и полезли в драку; разъярились да по мордасам, так колотились, так колошматились, такую лупцовку задавали: да за волосы, да за бороду, да за виски, да в ухо, да в ус, в бок — и на глазах всей братии и богомольцев вдруг, наскочив, пожрали друг друга без всякого остатка, так что ничего, ни перышка, ни косточки, ни этакого самого паршивого но-

готка — чисто, будто никогда их и не было, ни чуда морского, ни чуда лесного.

И дивился народ и вся братия, не разумея сего знамения.

Саврасий между тем поучал. Говорил слово вещее через великую свою трость, сквозь нее, шепотом в самое ухо, потому что горлатый был и начинал если петь голосом, уши вяли и до скончания века обременялись глухотой неизлечимою.

Липла к нему вся братия, ходили стаями, ища наущения и просили послушания, были рады все исполнить, чего ни захотел бы этот Саврасий.

Когда в постный день с постной пищи нападала на всю плешь икота, и икала братия, ни петь, ни читать слова Божия не могли, шли к Саврасию, и Саврасий тростью своей великой прогонял икоту: выходила она исчадием ада за ворота, сажалась на вратаря Федота, с Федота пересаживалась на Якова, стоящего на сторожбе, а с Якова под гору — в море.

Днями и ночами трудился горбатый старец Дух: написав Саврасиев акафист, за канон ему принимался.

И болел скорбный Нюх, убиваясь нещадно: Саврасий, как тень за ним.

— Нюх, отдай мой сыр!

*

Случилось тем временем, в своих путешествиях по Вознесении Господнем проезжала Царица Небесная с апостолами и праведными женами теми местами. И вздумалось Богородице монастырь посмотреть и сладкого пения послушать.

Слава о монастыре и об иноках и о Саврасии и о всех чудесах плеши горной достигла не только Москвы, но и дальних стран персидской и индейской до самых лук морских.

И вот посылает Она с корабля сказать игумену, что хочет быть на Успеньев день в обители, прослушать всенощную и обедню, к честным мощам и чудотворным иконам приложиться.

Суматоха поднялась на горе неслыханная и такая спешка пошла: все подновляли и подчищали; что ненужное, прямо в печке жгли.

Старец Дух из сил выбился, работал, как вол, местные иконы начищая, да вытрусив за время запыленные пелены, расстилал их как следует.

Не меньше и Нюх прыти пускал: не спуская глаз с Саврасия, вострил свое око недремное.

И от нетерпения на месте никто усидеть не мог, хотелось всем посмотреть Богородицу: такая ли Она, как на иконах пишется, или не такая?

К вечеру собралась вся братия, соборне сошла с горы к морю, приняла с корабля под руки Богородицу и, подивясь лику ее, с крестным ходом и пением повела на плешь прямо в храм.

Служба длилась долгая, старалась братия, из кожи лезла, чтобы лицом не ударить в грязь и не охаиться.

После всенощной, около полуночи, когда Богородица удалилась в покои свои и на молитву стала, приступили праведные жены к игумену, прося указать им баню, где бы могли они с дороги хорошенько выпариться и белыми на обедню стать.

И указал игумен женам праведным просторное помещение и светлое — лучшую баню: на всех хватит.

Услышал об этом Саврасий да, не сказываясь никому, подвязывает себе свои непоказанные места к заду и так вроде старой бабушки идет прямо в баню и там, как есть, управляется: и пар поддает, и кладет жен праведных на скамейки, и растирает их и разминает, и за ноги встряхивает, и парит веником и живот всем правит.

Ходили апостолы от Богородицы в баню понаведаться: не надо ли квасу прислать и хорош ли пар, но по скромности своей и чистоты ради входили только в предбанник, толклись — не окликали, и назад возвращались, говоря Богородице:

— Слышим голоса радостные и райское присноблаженство.

И до самой обедни правил животы Саврасий женам праведным всеми манерами и со всякими подходами и

подходцами, а отпустил их, только когда зазвонили; они же умиленные вышли из нощного своего мытарства и прелести и, убрав Богородицу, отошли с ней в храм Божий.

*

Давно уже замечал старец Нюх, что на божественной службе при начале Херувимской Саврасий скрывается. На этот раз, запечатлев крестным знамением все входы и выходы церкви, ждал старец, что будет.

И вот, когда запели Херувимскую и Царица Небесная, прикрываясь покровом своим, просияла вся светом неизреченным и, как столп пламенный, блистая искрами, подпевать начала всепетым гласом своим, пожелал Саврасий, не терпя взоров Пречистой, выйти из церкви, но, увидев выходы, запечатлённые крестом, полез к окнам, а окна — окрещены, поспешил наверх к куполу, а на куполе тоже крест. И, не видя себе никакого спасения, простер свои лапы и низвергнулся,— и надо же тому быть, подвернулся на грех Нюх,— шлепнулся Окаянный да прямо мякинным своим брюхом на скорбного старца, так что и сам и старец вдребезги.

И пролилось нечто дегтем, — ни рожек, ни ножек, единственно одни уды в этом дегтю среди церкви плавают, и такие огромные, на удивление.

Смятение и плач наполнили храм, и конца возрыданию не было. Утешила Богородица — заступница рода христианского — сама встала прерванную службу служить.

По окончании обедни, когда все ко кресту приложились и молебен с акафистом Успению сотворили, велел игумен тотчас взять деготь и камень, куда упал Диавол, вынести все и бросить в глубокий овраг.

Так и сделали.

Уды же не решались трогать, потому что не могли сказать, чьи они и кому принадлежат: Диаволу ли Саврасию, либо горбатому старцу Нюху?

Дух клялся перед мощами, что они Нюховы, и для верности клятвы показывал родинку у ствола расширения, но одна из соблазненных праведных жен, осквернившая в ту ночь девство свое и несытно и неудержанно творившая

блуд в бане, клялась Богородице, что они Саврасиевы и родинка Саврасиева, хорошо упомнила.

Огорченная сим происшествием, предвидя великие испытания Божии, благословила Богородица благословением своего милосердного сердца всех иноков и клир, осенила храм и кельи все и со апостолами и праведными женами, спустившись с горы, села на корабль и отплыла во славе своей во Иерусалим к дому Лазаря болящего, которого Господь воскресил под Вербное Воскресение.

*

По отбытии Богородицы, наложив на себя трехдневный пост, взялась братия за уды и возилась с ними смятенная, веруя Духу, что они Нюховы.

Омыла умершие, облекла в новые одежды, сложила во гроб и с пением, свечами и кадилом, отпев и отдав последнее целование, погребла их на святом месте лицом на восток солнца.

Справив кутью, предалась братия подвигу, умерщвляя плоть свою и служа неусыпно панихиды над могилою.

Так лежали бренные останки в сырой земле всю зиму до весны.

Неисчислимые бедствия посетили плешь за трудную зиму; голод и мор унесли в могилу многих угодных старцев, и некому было умолить Господа оградить обитель от нашествия врагов и супостатов.

Лютые василиски точили змеиным своим хоботом стены монастырские и не давали сна свистом своим. И враг сильный нападал и опустошал гору: приходили люди немые и бледные и люди ропатые, травоядцы, и люди — десяти сажен высота их, и люди — в волосах рты их и очи, и люди — вверх рты их, со слонами, древодорами, верблюдами и крокодилами.

С терпением выносила братия напасти и беды, видя перст Божий, наказующий за грехи и падение.

Но и тут Диавол, готовый пакостить во все времена, не оставлял в покое обитель, длил свои искушения.

По весне зацвела могила цветом невиданным, и такое пошло благовоние по всей плеши горной: многие брали

листы и, просушив их, воскуривали во утешение, многие толкли цвет в ступах и нюхали, и многие уносили корень и семена в страны дальние, сохраняя и распространяя, как драгоценный дар Господа.

И собралась уж братия мощи открывать, приготовила богатую каменную раку, день назначила, как вдруг явился игумену Ангел Господень, и все разъяснилось, как возможно лучше.

Повелел Ангел разрыть могилу, вон взашей выбросить уды, а цвет изничтожить без всякого похлебства, да не осквернится дом Божий.

Открыл Господь глаза праведным, отогнал искушение.

Проросшие уды объявились не Нюховы, а как неложно свидетельствовала праведная жена, Саврасиевы — его Диаволовы, всего одна родинка принадлежала Нюху, да и та нетленная невидимо перенесена была в другое место тотчас по погребении; цвет невиданный — табак, благовоние — дым табачный.

И устрашилась братия и все богомольцы, странники, калики, убогие, сухие, слепцы, хромцы, расслабленные, безногие и, не помня себя, с остервенением, ревнуя о Господе, напустились тут на могилу: могилу разрыли, уды пожгли, но как ни изводили цвет и ни вытравляли корень, не изводился цвет и не вытравлялся корень, — где, в другом месте, и покажется зловонный и цветет и распускает благовоние.

И пошел с тех пор табак от востока до запада, смердя рты, одевая зубы смолой, разводя грех и соблазн,

творя дело Диавола, как
первый друг и пособ-
ник начинаний
диавольских —
всем гре-
хам па-
стух.

1906 г.

<ПРИМЕЧАНИЯ>

С. 524. Разные народы по-разному толкуют происхождение табака: у русских он произрастает из трупа блудницы, у румын — из тела Диавола, повесившегося от несчастной любви, у малороссов — из трупа Иродиады, а у сербов — из внутренностей Ария. <После двоеточия неточная цитата из кн.: *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. СПб., 1883. С. 86 (разд. VI. Духовные сюжеты в литературе и народной поэзии румын. Приложения; Сб. ОРЯиС Имп. Академии наук. Т. XXXII. № 4)>.

С. 524. Известие о рождении шестоногов с львиной головой и девок с рыбьим хвостом записано в летописи у Нестора.

С. 524. В хронографе Иогана Вольфганга — Lectionum memorabilium tomus primus et secundus 1600 — рассказывается о рождении в Бельгии в 1544 году ребенка с змеиным хвостом, с лапами вместо ног и шестью собачьими мордами на теле. В том же хронографе рассказывается о рождении в 1494 году поросенка с человечьим лицом и медвежонка с человечьей головой.

С. 524. Одно такое *чудо морское* поймано было в Гишпании в 1739 г<оду>, коего изображение сохраняется. См. Д. А. Ровинский: «Русские народные картинки». <*Ровинский Д. А.* Русские народные картинки. СПб., 1881. Т. II. С. 56; № 309>.

С. 525. *Гарпия* — чудовище, имеющее 10 футов в длину, лицо, подобное человеческому, широкий рот, два воловьи<х> рога, ослиные уши и долгую гриву, подобную львиной; две титьки, похожие на женские, и крылья летучей мыши. Она ползает на двух толстых и коротких лапах, вооруженных пятью когтями, у ней два хвоста, из которых один подобен змеиному и кажется приспособлен для ловления добычи, а другой имеет небольшое копьецо.

Райская птица *Сирин* — «Птица райская Сирин, глас ея в пении зело силен; на востоце в раю пребывает, непрестанно пение красно воспевает; праведным будущую радость возвещает,— которую Бог святым своим обещает. Временем вылетает и на землю к нам, сладкопесниво поет, якоже и там всяк человек во плоти живя не может слышати песни ея; аще и услышит — то себя забывает и, слушая пение, так умирает».

В хронографах о птице Сирине находится сказание, что «в царство Маврикиево солнцу возсиявшу, в явившаяся реце Нисге два животна человекообразна, до пупа муж и жена, а от пупа птица. Муж красен персми и власы над — чермен; жене же лице и власы чермны: имяху ж оба сосца без влас; их наричут сладкопеснивне сирины. Слышав же сих человек песни, аще не перестают поюще, весь пленяется мыслию и, вслед шествуя, умираше. И до девятаго часа эпарх и все людие зряще чудяхуся; и паки в реку внидаша».— См. И. Забелин «Быт русских ца-

рей». <*Забелин И. Е.* Домашний быт русского народа в XVI—XVII столетиях. М., 1869. Т. I: Домашний быт русских царей; Т. II: Домашний быт русских цариц>.

Птица Сирин изображена на наружной стене церкви Воскресения на Дебре в Костроме. Птицы Сирины были написаны на столах в хоромах царя Алексея Михайловича. <*Забелин И. Е.* Указ. соч.>.

Райская птица *Алконост* — «близ рая пребывает, некогда и на Ефрате реке бывает. Егда же в пении глас испущает, тогда и самое себя не ощущает. А кто в близости ея будет, тот все в мире сем забудет; тогда ум от него отходит и душа его из тела выходит; таковыми песнями святых утишает и будущую им радость возвещает, многая благая тем сказует, то и в яве указует».

С. 527. Один такой «Мужик с птичьей головой» был пойман в Гишпании в лесу в 1721 году и окрещен в католическую веру. Сохраняется его изображение. См. Д. А. Ровинский «Русские народные картинки». <*Ровинский Д. А.* Указ. соч. С. 55; № 308>.

С. 528. *Пущенье* — Прощеное Воскресенье. Пущёная неделя — первая неделя Великого поста.

С. 528. Если где заведется ведьма или ведьмак и который из них свои дела обделывать начнет шито-крыто, в таких случаях самым верным способом для уличения пользуйся пущёным сыром и увидишь саму нечисть — сама она после к тебе придет свой сыр просить.

С. 528. *Сопель,* сопелка, сиповка — деревянная дудка, она издает сиповатые звуки — сопит.

С. 529. *Зеленая неделя* — русальная, клечальная, семицкая — неделя перед Троицей.

С. 534. *Василиски* — змеи, «лицо у них девическое, по пуп человек, а от пупа у них хобот змиев, крылати, а зовомы василиски». См. Попов «Сборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы. М., 1869. <Неточная цитата из кн.: Книга глаголемая Козмография, сложена от древних философов, переведена с Римского языка // Изборник славянских и русских сочинений и статей, внесенных в хронографы русской редакции. Собрал и издал Андрей Попов. (Приложение к Обзору Хронографов русской редакции). М., 1869. С. 470>.

С. 534. Из послания царя Ивана Индейского Греческому Императору Мануилу: «Есть у меня,— пишет он,— в одной стране живут люди немые, а в другой люди рогатые (ропатые), а иные люди травоядцы, а иные люди десяти сажен высота их; а иные люди половина человека, а другая пса, а иные люди шесть рук имеют; а иные люди в волосах рты их, очи; а иные люди вверх рты их. Есть у меня люди бледные: един ударитца в полк на 1000 человек; да и родятся в моем царстве звери слоны, древодоры (драмадаре); водятся у нас велбуды и коркодилы звери лютые и киторасы звери: головы человечьи, власы женския и зверки

скамалдры, которы во огне скачют, а не згорают, а на что оне прогневаются, на человека или на древо, помочится по сердцу и згорит от мочи его тотчас. Есть у меня птица, имя ей нагавин, свивает гнездо на пятнадцати древесах. Есть у меня птица чарафит......» Н. С. Тихонравов: «Летописи литерат. т. II. отд. III. <Неточная цитата с интерполяцией в текст рукописи XVII века примечаний Тихонравова из кн.: Сказание о индейском царстве // Летописи русской литературы и древности, издаваемые Николаем Тихонравовым. М., 1859. Т. II. Отд. III. С. 100—101>.

Царь Михаил Феодорович указом 1634 года под страхом смертной казни воспретил курение табаку.

По уложению царя Алексея Михайловича в<е>лено курильщиков наказывать кнутом, рвать им ноздри и резать носы.

А нынче и курица курит.

ЧУДЕСНЫЙ УРОЖАЙ

Богатый крестьянин Архип Семенов жил в одном селе с бедняком Осипом Ивановым. Полосы у них были рядом. И когда они сеяли рожь и сошлись на конце полосы, подошел старичок странник, похожий на помершего прошлой весной попа Савелия и, обратясь к Осипу, спросил:

— Что сеешь, крещёный?

— Рожь, добрый человек, — ответил Осип.

И странник, благословив поле широким крестом, сказал:

— Уроди Бог рожь.

И обратясь к Архипу, когда тот поворачивал, спросил:

— Что сеешь, крещёный?

— Что сею, то и сею, — недовольно ответил Архип, — колки сею.

— Уроди Бог колки, — сказал старичок, благословляя широким крестом Архипово поле.

Зазеленела зеленя у Осипа, поднялась высока рожь — не налюбуется. А у Архипа поле гладкое да голое, что попова ладонь, а на голи Бог знает что: такой выскочит толстый стебелек, разовьется да под шляпку, ну, и стоит, как гриб боровик.

Тяжко стало Архипу и не то, что пропала рожь, а срам

велик: дома дочки-невесты плачут, выйти на улицу боятся, а соседи подтрунивают.

— Что, мол, Семеныч, что за пшеница на поле у тебя такая выросла?

А другой и без обиняков ляпнет, не слушал был.

*

Приехал на село цыган Гамга, коновал, Архип к нему. Осмотрел цыган поле, инда крякнул, а помочь ничему не может.

— А иди ты, — говорит, — в монастырь и спроси у отцов, как тебе горе избыть.

С тем и уехал.

Собрался Архип на богомолье.

И где по дороге какая церковка попадалась или часовня, везде молебны служил и свечки ставил: уж больно срам-то его одолел. А как вошел в монастырь и видит, на стене старичок написан, поджилки и затряслись: узнал странника, да уж поздно.

Отстоял Архип обедню, а после обедни с богомольцами к затворнику. Стал у окошечка, дожидается, когда затворник выглянет и все пойдут подходить, кто за благословением, кто с бедою.

Выглянул затворник, дошел черед до Архипа, Архип все ему про свое поле, и как сеял и что потом вышло.

— Батюшка, помоги, от сраму деваться некуда.

А старец даже ногами затопал.

— Поди ты,— говорит,— прочь окаянный и с колком своим. Не в святой обители тебе место, ступай к жиду поганому.

Поклонился Архип и пошел.

И думает себе:

«К какому это жиду велит старец идти?»

А жил на селе беднеющий портной Соломон.

«Должно, что к Соломону!» — решил Архип да, не заходя домой, прямо к Соломону.

И Соломону про свое поле — да чего и рассказывать: у всех на глазах поле-то, разве что слепой не увидит!

— Эка беда, — сказал Соломон, — твое горе не горе, а клад: возьми серп, полей росной водой, подковырни какой поспелее, да и неси домой, а потом в сахарную бумагу его, да перевяжи и вези продавать. Да продавай-то не сразу: сто рублей за колок, да сто рублей за секрет. А секрет вот какой: скажешь, ну! — пойдет работать, скажешь: тпру! — отпадет.

Поблагодарил Архип Соломона, посулил с каждой сотни рубль и довольный вернулся домой.

*

Не узнать Архипа; или в уме помутился? Ему колком тычут, а он, знай, в бороду посмеивается. Или чего задумал?

Рано поутру вышел Архип, благословясь, и пошел с серпом в свое голое поле. Росной водой помочил он серп, подковырнул позрелее — целую полосу нажал и домой. А на другой день нагрузил телегу и с товаром в город.

— Стержень! Кому надо стержень? — скрипит телега, покрикивает Архип.

А сидела у окна молодая вдова, уперлась локтем в подоконник: тесно ей в комнатах, сна забыть не может. И слышит: телега, купец с товаром. Очнулась, крикнула Пашу:

— Поди, узнай, что такое?

В скуке, известно, чему не рад, — на каждый клик встрепенешься.

Вернулась Паша, а сказать не может, только фырчит в передник.

— Да ты с ума сошла! Позови сюда мужика, сама посмотрю.

— Стержень! Кому надо стержень? — тянет за окном Архип.

Побежала Паша и уж не одна вернулась.

— Да что это такое? Давай сюда!

— Стержень, барыня, стержень! — заладил свое Архип.

А как развернула Палагея Петровна сверток, так и заалелась и скорее его в сторону.

— Сколько стоит?

— Сто рублей.

— На бери.

И сейчас же денежки на стол.

И не успел Архип из дверей выйти, а рука уж сама к свертку, развернула Палагея Петровна, вынула, а он ровно пробка, — нечего с ним.

— Паша, — кричит, — Паша, беги, догоняй мужика, скажи, чтоб вернулся.

А Архип знает, шажком едет.

И вернула его Паша.

— Секрет сказать? — подмигнул Архип, — можно: сто рублей.

А скажи он двести, все и двести дала бы.

Положила Палагея Петровна покупку в комод и до ночи сколько раз не утерпит, вынет, развернет, посмотрит, а как ночь пришла, не надо и сна.

А наутро и весела и не кричит на Пашу и окно забыла. Да и что ей: сны не снятся.

И пошли дни — разлюли, не вдовьи.

*

Собралась как-то Палагея Петровна за город к родственнице-генеральше.

Все ей были очень рады, а больше всех сам хозяин: взглянет на Палагею Петровну и точно весь взмокнет.

А Палагея Петровна, как обед кончился, домой.

Ну, ее удерживают, чтобы переночевала — и погодой прельщают и деревенским воздухом! — а она и слышать не хочет. А, наконец, и призналась, что забыла дома одну вещь и без нее заснуть не может.

— Эка, о чем горевать! — обрадовался хозяин, — да я сейчас отряжу Тишку: Тишка живой рукой слетает, накажите только, что доставить.

Палагея Петровна согласилась.

И не прошло и минуты, поскакал Тишка из усадьбы в город за вещью. И благополучно доехал, получил сверток от Паши, сунул его в задний карман и, немедля, назад.

Выехал на большую дорогу — ехать свободно.

— Ну! — крикнул Тишка.

И пропал: как выскочит из кармана-то да как вдвинет и пошел и пошел —

Тишка понять ничего не может, холодный пот прошиб, нахлестывает, скачет, а это зудит и зудит, и чем больше поднукивает Тишка, тем пуще.

Шляпа так над головой и поднялась — на волосяном дыбе.

И уж не помнит, как и доскакал.

— Тпру! — крикнул несчастный и вдруг освобожденный хлопнулся наземь весь в холодном поту и уж раскорякой едва вошел на крыльцо.

*

До поздней ночи сидели на балконе.

Вечер был прекрасный, гостья необыкновенно оживлена — она была так рада, что ее неразлучный сверток с нею! — и оживление ее сводило с ума хозяина.

Он почему-то все принимал к себе и так уверился, что когда в доме все затихло, он тихонько прокрался в комнату к Палагее Петровне.

Лунная ночь была, лунный свет кружил голову и застил глаза, — генерал, пробираясь по комнате, задел за стул.

— Ну! — пробормотал он с досадой.

И пропал, как Тишка.

Сверток упал на пол, развернулся и что-то впилось в генерала.

Бедняга, ничего не понимая, со страха стал на колени, а оно не отпускает. Лег на ковер — не легче. Или это ему снится? Потрогал сзади: нет, живое. И нет избавления.

Теряя всякое терпение, шмыгнул на балкон, с балкона в сад.

— Ну! ну! — кряхтел он, ничего не соображая.

И обессилев, растянулся ничком на дорожке.

А наутро нашли в саду генерала: скончался! — а это — глазам не верят — это, как перо, торчит сзади.

Диву дались, пробовали тащить, да оно, как загнутый гвоздь, ни клещами, ничем не возьмешь.

Да так и похоронили.
И много было слез,
но больше всех
убивалась
Палагея
Петров-
на.

1912 г.

СУЛТАНСКИЙ ФИНИК

В одном шумном сирийском городке жил бедный купец Али-Гассан. Торговлю получил он по наследству от отца, но душа его вовсе не лежала к прилавку, и его можно было провести, как угодно, и выманить, что хочешь. И все его дело шло так, что не только не приносило прибыли, а часто просто в убыток.

Али-Гассан сидел в своей лавке, занятый одной своей мечтою.

Странная это была мечта! Ему непременно хотелось жениться, но так, чтобы жен у него было столько, сколько дней в году, и даже больше, а он только этим бы и занимался.

Торговал он финиками.

Финики всевозможных сортов разложены были в цветных коробках, да и так лежали на лотке, и другой бы на его месте, ну, как его отец, нашел бы чем заняться, распоряжаясь таким живым янтарем, а ему, что финики, что ломаное железо, торговля его соседа.

Озорники, подсмеиваясь над ним, говаривали, что его собственный турецкий финик для него дороже всех фиников земных и небесных.

И были правы: все, ведь, мысли его были собраны на одном этом.

И если в лавке, где его отвлекали покупатели, он ухитрялся, занятый собой, просто не отзываться на оклик, вы представляете его у себя в комнатенке вечерами, где он оставался сам-друг до утра.

Он усаживался в уголок, курил и весь отдавался своей мечте и, случись пожар, он не заметил бы, да так и сгорел бы: в его мечте было самое острейшее желание, полыхавшее пуще всякого пожара.

И однажды, заперев свою лавку, сидел он так с своей мечтою, весь окутанный дымом, и вдруг точно от удара он сразу очнулся и увидел, как из дыма выступило крылатое лицо Гения и крылья, вьюнее дыма, вьюнились от стены к стене.

— Али-Гассан, — сказал Гений, — проси что хочешь: первые твои три желания будут исполнены.

Али-Гассан не заставил себя ждать.

— Хочу быть, — сказал он и по своей застенчивости показал знаком, — турецкого султана.

— Хорошо, — ответил Гений, — еще что?

— И чтобы никогда не опускаться.

— Ладно.

— А больше мне пока ничего не надо.

И не успел Али-Гассан затянуться, как желание его осуществилось.

*

Султан Фируз, славившийся в молодости своей любовной неутомимостью, с возрастом, когда обыкновенному человеку еще только наступала самая пора, должен был лишиться прекраснейшего из удовольствий. Желания у него еще бывали по воспоминаниям, но на большее он ни на что не годился.

Все, что можно было сделать, все было сделано искуснейшими сирийскими врачами, и султан, потеряв всякую надежду, понемногу свыкался с мыслью о своей негодности.

В тот вечер было назначено заседание Совета.

Султан по обыкновению бесстрастно решал дела и вдруг почувствовал такую полноту и крепость, от которой занимался дух, горели глаза и на побледневшем лице, как роза, расцвела улыбка.

Не веря себе, султан прервал заседание и поспешно вышел.

К великому удивлению приближенных он направился прямо в гарем, изнывавший и отчаявшийся увидеть бодрым своего государя. Скрывая улыбку, всякий глазами показывал и сожаление и насмешку, а один из евнухов бросился скорее за ложкой, чтобы в нужную минуту прийти на помощь: без ложки не обходилось, когда султан по воспоминаниям искал невозвратимых наслаждений.

Выбор пал на прекраснейшую из жен, юную смуглянку Нуруннигару. И со всей былою страстью султан ее обнял и уж не мог сдержать сердца, которое рвалось в груди, как в первую любовь.

И почувствовал Али-Гассан, как ударился он точно бы в мешок мягкий и что-то горячее обдало его и всего стеснило, дышать нечем, и до того неудобно, сжимает, вот обалдеет — — и вспомнил он о последнем третьем желании своем, которое не мог сказать Гению и, собрав последние силы, уж захлебываясь, прошептал, как утопающий хватаясь за соломинку.

— О, великий и всемогущий Гений, хочу быть Али-Гассаном!

И сию же минуту очутился в своей комнатенке.

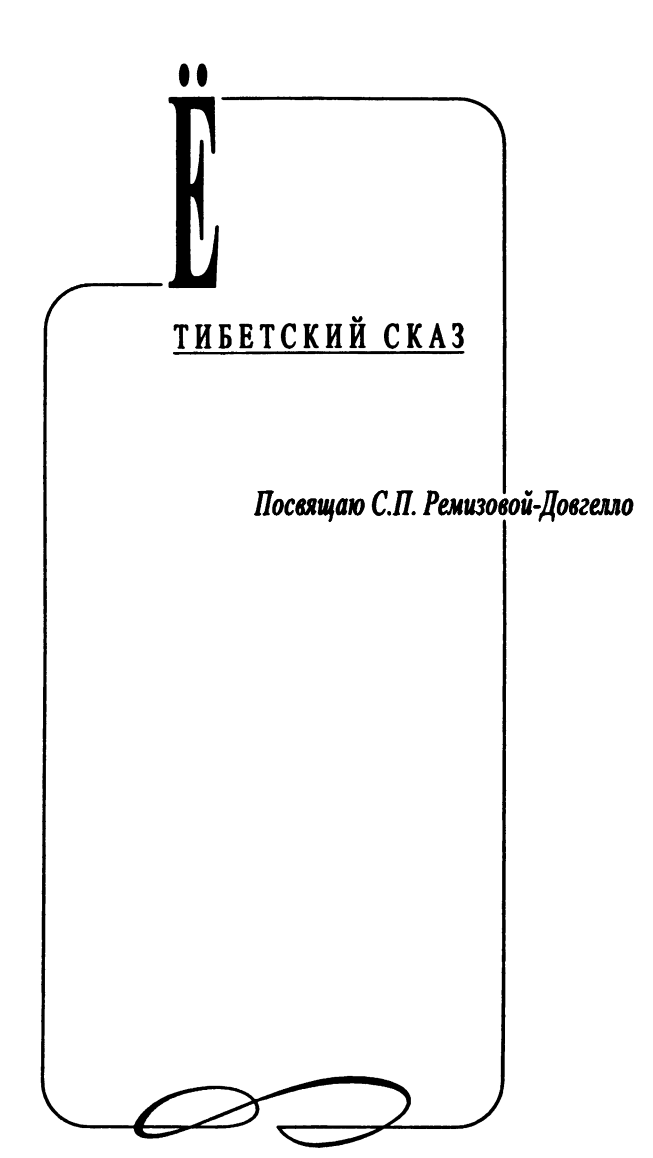
*

И что такое сталось, не узнать Али-Гассана: какая у него лавка, какие сладкие свежие финики, какой богатый выбор, и сам какой приманщик — не хочешь, купишь.

Торговля с каждым днем шла в гору, и в короткий срок сделался Али-Гассан купцом богатым, но и богатый не об-

завелся домом, а жил одиноко, как и раньше, без жены —
без жен, о которых
мечтал когда-
то с такой
огненной
волшеб-
ной
стра-
стью.

1909 г.



Ё

ТИБЕТСКИЙ СКАЗ

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

Созвал Бог всех зверей полевых, луговых и дубравных, — и слонов и крокодилов, поставил перед ними миску, а в миску положил Божью сладкую пищу — разум:

— Разделите, звери, кушанье себе поровну.

Ну, звери и стали подходить к миске — кто рогом приноравливается, кто клыком метит: всякому ухватить лестно Божью сладкую пищу.

— Стойте, куда прёте! — прикрикнул на зверей заяц, — мы не все в сборе: человека нет с нами. Станет он после пенять, станет Богу выговаривать, не оберемся беды!

— Да где же он? — приостановились звери.

— Где? Да тут за пригоркой.

— А ты зови его, мы подождем.

Заяц побежал и за пригоркой нашел человека.

— Слушай, Кузьмич, Бог дал нам, зверям, кушанье, этакую мисищу с разумом! — велел разделить поровну. Все наши сошлись на угощение, уж метили заняться едой, да я остановил. Иди ты скорей в наше сборище, да не мешкай, выдь ты на середку да прямо за миску: «А, мол, моя доля осталась!» — да один все и приканчивай, а как съешь, миску мне, Кузьмич. Понимаешь?

— Ладно.

*

И пошел человек за зайцем на звериное сборище управляться с Божьей сладкой пищей — разумом.

И как научил его заяц, так все и сделал: вышел он на середку, ухватился за миску:

— А! моя доля!

Да всю и съел, а миску зайцу.

Заяц облизал миску.

Тут только и опомнились звери.

— Что за безобразие! —роптали звери.

А тигр-зверь пуще всех.

— Бог дал нам кушанье, — кричал тигр, не унимался, — велел разделить поровну, а оно двоим досталось. Так этого оставить не годится. И уж если на то пошло, пускай всякий год родится у меня по девяти детенышей и пускай поедают они зайчат и ребятишек.

Как заяц услышал про зайчат-то, насмерть перепугался, да из сборища скок от зверей в поле и там под колючку.

Известно, какая у зайца защита: ни клыка, ни рога, ни шипа, а под колючкой и заяц — ёж.

Ну, а звери погомонили, погомонили и стали расходиться: кто в поле, кто в луга, кто в дубраву, слоны к слонам, крокодилы к крокодилам.

Пошел и тигр.

*

Идет тигр полем, твердит молитву:

— Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей: пожирают и поедают. Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей: пожирают и поедают!

И так это ловко выговаривает, вот-вот от слова и станется: услышит Бог тигрову молитву и пойдут рождаться у тигра по девяти детенышей ежегодно, беда!

Поравнялся тигр с колючкой.

— Господи, пусть всякий год у меня родится по девяти детенышей: пожирают и поедают!

А заяц со страху не выдержал да перед самым носом и выпрыгнул.

Тигр вздрогнул — из памяти все и вышибло.

— Чего ты тут делаешь? — крикнул тигр на зайца.

— Я ничего, Еронимыч, очень страшно. Как ты сказал,

твои детеныши будут поедать моих зайчат, я и выскочил. Я тебя боюсь, Еронимыч!

— Постой, о чем это я молился-то, дай Бог памяти?

— А ты твердил, — сказал заяц, — «Го-осподи, пусть через каждые девять лет родится у меня по одному и единому детенышу!»

— Ах, да! Ну, спасибо.

И пошел тигр от колючки.

— Господи, пусть через каждые девять лет родится у меня по одному и единому детенышу! — твердил тигр молитву.

И так это ловко выговаривал, вот-вот от слова и станется: Бог услышит молитву, и будет у тигра через каждые девять лет рождаться по одному и единому детенышу.

Да так оно и будет.

А заяц бежал по полю, усищами усатый пошевеливал: эка, ловко от тигра отбоярился, все-то нынче целы останутся, — и ребятишки голопузые и зайчата любезные.

Овца жила тихо-смирно и был у овцы ягненок. Как-то сидит овца под окошком и тут же ягненочек ее трется. И случился такой грех — мимо проходил Волк Волкович.

Увидала овца волка, — затряслись поджилки, и уж с места не может подняться, сидит и дрожит.

А бежал заяц, видит ни жива, ни мертва овца, а никого нет, приостановился.

— Что такое?

— Ой, Иваныч, смерть пришла!

— Какая такая смерть?

— Волк прошел, Волкович: не миновать, съест.

— Ну, вот еще! Я тебя выручу.

— Выручи, Иваныч!

— Ладно.

Заяц сел на овцу и поехал, а ягненок сзади бежит.

Куда едет заяц, овца ничего не знает, а спросить боится, так и везет зайца.

*

Выехали на большую дорогу, — там была покинутая стоянка, валялись всякие отбросы.

Заяц увидел лоскуток войлока, велел поднять ягненку. Красная тряпочка валялась, и красную тряпочку поднял ягненок. А потом красный ярлычок от чайной обертки велел ягненку подобрать заяц.

Тут заяц повернул овцу с дороги и поехали тропкой, и доехали до самой до норы волчиной.

Волк высунулся из норы: что за чудеса?

А заяц и говорит ягненку толстым голосом:

— Постели белый ковер!

Ягненок постелил войлок.

— Покрой красным сукном!

Ягненок разостлал тряпочку.

Заяц слез с овцы и стал на красную тряпочку, как на орлеца.

— Подай царский указ!

Ягненок подал красный чайный ярлычок.

Заяц взял ярлычок в лапку.

— От царя обезьяньего Асыки велено от всякого рода зверя доставить по сто шкур. От волков доставлено девяносто девять шкуров, одной шкурки нет.

Заяц остановился, будто передохнуть.

А волк хвост поджал: одной шкуры нет! не за ним ли черед? — да бежать —

Да бежать без оглядки.

*

Бежит волк —

Навстречу лиса.

— Куда это тебя несет, серый?

— Ой, смерть пришла.

— Какая такая смерть?

— Заяц царский указ привез: обезьяний царь мою шкуру требует.

— Не может быть!

— Ну, вот еще, сам видел: указ с печатью.

— Нашел дурака, а ты и веришь? Пойдем, я этого зайчищу на чистую воду выведу.

Волк уперся:

— Да ты убежишь, Лисавна, меня и сцапают!

— Да зачем бежать-то?

— А затем и бежать, давай схвостимся, а то иди одна.

Лиса согласилась: привязала свой хвост к хвосту волчиному. Волк подергал, крепко ли? Крепко.

И побежали волк да лиса выводить зайца на чистую воду.

И благополучно добежали до норы волчиной.

Сидит заяц на красной тряпочке, как на орлеце, в лапках красный чайный ярлычок.

— От царя обезьяньего Асыки велено доставить сто лисичьиных шкур. Доставлено девяносто девять шкуров, одной шкурки нет.

Лисица как услышала — и! куда прыть! — да драла и волка за собой.

Волк прытче, лисе не угнаться.

Бежали, бежали, упала лиса.

Уж мордочкой назад тащится, бок трется о камни, вся шкура слезла.

Волк оглянулся.

— Бессовестная, еще и шубу снимает!

И погнал в гору.

А когда добрались они до самой верхушки, мертвая лиса скалила зубы.

— Мучаешься, стараешься, а у вас одни смешки!

Волк едва дух переводил, пенял лисе.

Жила-была старуха и был у нее сын. Бедно они жили: земли — сколько под ногтем и все тут. И повадился на их поле заяц: бегает усатый, хлеб травит.

Дозналась старуха.

— Самим есть нечего, а тут еще… уж я тебя! — точила на зайца зуб старуха.

У соседа росла в саду старая вишня, пошла старуха к соседу за вишневым клеем.

Дал ей сосед клею, сварила старуха да с горяченьким прямо на поле.

А лежал на поле камушек, на этом камушке любил отдыхать заяц: наестся и рассядется, усами поводит от удовольствия. Старуха давно заприметила, взяла да этот заячий камушек клеем и вымазала.

Прибежал в поле заяц, наелся, насытился и на камушек, сидит облизывается. А старуха и идет, и — прямо на него. Он туда-сюда, оторваться-то не может: хвостишком прилипнул!

Ухватила старуха зайца за уши — попался! — и потащила.

— Изведу ж тебя, будешь ты у меня хлеб таскать, проклятущий!

А заяц и говорит старухе:

— Тебе меня, бабушка, никак не извести! А уж если приспичило, так я тебе сам про мою смерть скажу: ты меня, бабушка, посади в горшок, оберни горшок рогожкой, да с горки в пропасть и грохни, — тут мне и смерть приключится.

Посадила старуха зайца в горшок, обернула горшок рогожкой, полезла на горку — горка тут же за полем, — вскарабкалась на горку да и ухнула горшок в пропасть.

Горшок хрястнул и вдребезги, — слава тебе, Господи! — а заяц скок и убежал.

И дня не прошло, заяц опять к старухе — опять хлеб травит. Не верит глазам старуха: он! — жив, проклятущий!

— Ну, постой же! — еще пуще заточила на зайца зуб старуха.

Опять пошла к соседу за клеем, сварила клею да с горяченьким прямо на поле к тому самому любимому камушку, вымазала камушек клеем.

— Уж не спущу!

Зашла за кустик и притаилась.

А зайцу и в голову такое не приходит, чтобы опять на него с клеем, — наелся, насытился и на камушек, сел на камушек и — попался.

— Не спущу! — ухватила старуха зайца за уши, — не спущу! — и потащила.

— Бабушка, не губи!

— И не говори, не спущу! — тащит старая зайца и уж не знает, чем бы его: и насолил он ей вот как, да и обманул опять же.

— Бабушка, я тебе пригожусь!

— Обманул ты меня, обманщик, не верю! — тащит зайца старуха, не придумает, чем бы его: ли задавить, ли живьем закопать?

— Бабушка, чего твоей душе хочется, все для тебя сделаю, не губи!

— А чего ты для меня сделаешь?

— Все.

Приостановилась передохнуть старуха.

— В бедности мы живем.

— Знаю.

— Есть у меня сын.

— Знаю.

— Жени ты моего сына!

— Это можно: у соседнего царя три дочери царевны, на младшей царевне его женить и можно.

— Жени, сделай милость, — обрадовалась старуха, — а ты не обманешь?

— Ну, вот еще! Раз сказал, — сделаю.

— Постарайся, пожалуйста!

Старуха выпустила зайца.

Заяц чихал, лапкой поглаживал уши.

Позвала старуха сына, рассказала ему посул заячий. Что ж, сын не прочь жениться на царевне. И сейчас же в дорогу.

— А как тебя величать, Иваныч?

— Ё, — сказал заяц, — так и зовите: Ё.

— Ну и с Богом! Идите!

И пошел заяц со старухиным сыном к царю по царевну — будет старухин сын сам царевич.

*

Идут они путем-дорогой, заяц да сын старухин, а навстречу им на коне какой-то верхом скачет — одет богато и конь под ним добрый.

— Куда, добрый человек, путь держишь? — остановил заяц.

— В Загорье, в монастырь, по обету.

— А мы как раз оттуда. Только ты чего ж это так?

— А чего?

— Да уж больно нарядно, и на коне!

— А разве нельзя?

И думать нечего: ни верхом, ни в одежде в монастырь нипочем не пустят, только и можно — пеш да наг. Оставь свое платье и коня, тут пройтись недалеко.

Тот зайцу и поверил: слез с коня, разделся.

— Мы постережем, не беспокойся! — сказал заяц, — иди вон по той дорожке, прямехонько в монастырь выйдешь.

А в том монастыре в Загорье как раз о ту пору чудил один, под видом блаженного, проходимец, монашки догадались да кто чем, тот и убежал из монастыря голый.

Монашки, как завидели голыша, на того блаженного и подумали: возвращается! — окружили его и давай лупить.

А заяц, как только скрылся с глаз несчастный, нарядил в его богатое платье старухина сына, посадил на коня и прощай.

*

Путь им лежал мимо часовни, там у святого камня понавешено было много всяких холстов и лоскутки шелковые — приношения богомольцев.

Зашли приятели в часовню, постояли, оглядели камень. Заяц, какие лоскутки похуже, в сапог сунул к старухину сыну, а понаряднее себе за пазуху.

Сел старухин сын на коня и дальше.

Целую ночь провели в дороге, а наутро в соседнее царство поспели, и прямо к царскому дворцу.

Остановили часовые:

— Кто и откуда?

Ну, тут заяц не задумался: старухин сын — богатый царевич, а явились они к царю по невесту.

— У царевича в его царстве, — рассказывал заяц, — такое дело случилось, — мор: родители его, царь с царицей, и весь народ перемерли без остатка и остался во всем царстве один царевич и все с ним богатство. Хочет царевич посватать младшую царевну.

Часовые к царю. Зовет царь к себе. Выслушал царь зайца и отправил к царевнам: пускай познакомятся.

Пошел заяц со старухиным сыном к царевнам. И завели там игру в перегонки — кто кого обгонит?

Старухин сын побежал и запнулся — сапог соскочил. Заяц к сапогу, вытащил из сапога шелковые лоскутки.

— Экая дрянь! — швырнул лоскутки прочь, а на их место, будто стельки, из-за пазухи другие нарядные вынул да царевичу в сапог.

Как увидели царевны, какие шелка царевич в сапогах носит, все три сразу и захотели за такого богача замуж выйти.

Тут заяц игру кончил и к царю.

А уж до царя дошел слух, царь рад-радехонек.

— Берите царевну, благословляю!

А заяц и говорит:

— У жениха на родине ни души не осталось, мором все перемерли, некому и за невестой приехать. Уж вы сами, как-нибудь привезите ее.

Царь согласился: раз ни души не осталось, чего ж разговаривать? — и снарядили за невестой свиту.

— Я с женихом вперед поеду, — сказал заяц, — буду волочить по земле веревку, а они пускай по следу за нами едут.

А жил на земле того царя Сембо, а попросту черт, пускал поветрия и жил очень богато, людям-то невдомек, а

зайцу все известно. К нему-то в его палату чертячью заяц и направил.

Увидел их черт.

— Как вы смели войти? вон! пока живы! — раскричался.

А заяц:

— Потише! Мы не просто к вам, а по делу: пришли предупредить. Пронюхал про ваши дела царь и послал войско: велено вас изловить и предать злой смерти. Прячьтесь скорее, а не то все равно убьют. Не верите? Посмотрите!

Черт к окну: и правда, по полю скачут, — народу! — невесть сколько. А это была царская свита, — везли невесту.

— А куда ж я денусь-то? — оторопел черт.

— Да вот сюда! — заяц показал черту на котел.

Черт послушал да в котел.

Заяц взял крышку, крышкой его и закрыл, а сам под котлом развел огонек.

Стал огонек в огонь разгораться, стало в котле припекать.

Черту жарко, — куда жарко! — жжет.

— Ой, ой, больно!

— Тише! — останавливает заяц, — услышат, откроют, убьют ни за что! Потерпите! — а сам и еще огня прибавил.

Терпел, терпел черт, больше не может.

— Близко! Услышат! — унимает заяц, да еще дровец под котел.

Поорал, поорал в котле черт и затих — растопился несчастный.

*

Навеселе прикатила царская свита с невестой: дернули на проводинах, галдят.

А заяц, будто в жениховом доме, выходит гостям навстречу, честь честью, одна беда, не успел угощенья наготовить.

— Есть только суп у меня вон в том котле, не пожелаете ли?

Гости не прочь: с дороги перекусить не мешает. И угостил их заяц супом — развар чертячий! — каждому гостю по полной чашке.

А как кончили суп, повел заяц гостей жениховы богатства показывать.

Ведет заяц в первый покой: там золото, драгоценные камни.

— Это приданое за невестой: когда женился женихов старший брат, за невестой ему досталось.

Входят в другой покой: там полно человечьих костей.

— Это чего?

— А это вот что: напились гости на свадьбе старшего брата, безобразничали, буянили, за то и казнены.

Ведет заяц в третий покой: а там — полужив-полумертв.

— А это?

— Тоже гости: напились на свадьбе среднего брата, задирали, безобразничали, а за то заточены навечно.

Переглянулись гости — как бы беды не нажить, в голове-то с проводин у всякого муха! — да тихонько к дверям, пятились, пятились — да в дверь, там вскочили на коней да без оглядки лататы по домам, и про невесту забыли.

*

Сбегал заяц за старухой.

И стали жить-поживать старухин сын с царевной да старуха в большом богатстве.

При них и заяц жить остался.

Перенесла ему старуха с родимого поля камушек его, на этом любимом камушке и отдыхал заяц.

У старухина сына родился сын. Со внучонком старуха, а пуще заяц возился.

Так и жили дружно.

Захотелось заяцу испытать, чувствует ли старухин сын благодарность или, как это часто среди людей бывает: пока нужен ты — юлят перед тобой, а как сделано добро, за добро же твое первые и наплюют на тебя.

Притворился заяц больным, лег на свой камушек любимый, лежит и охает.

Сын старухин услышал: что-то плохо с зайцем.

— Чего, — говорит, — тебе, Иваныч, надо? Может, сделать чего, чтобы полегчало. Скажи, что нужно?

А заяц и говорит:

— Вот что, сходи-ка ты к ламе, в пещере спасается, и спроси у пещерника: он все знает. Да иди обязательно песками, а назад горой.

Старухин сын сейчас же собрался и пошел по песчаной дороге пещерника искать.

А заяц скок с камушка да по другой, по горной и прямо в пещеру. Сел там, сидит, как лама — пещерник, молитвы читает.

Отыскал старухин сын пещеру, не узнал в потемках зайца, думал: это лама — пещерник.

— Чего тебе надо, человече?

— Заболел у меня благодетель. Скажи, чего надо, чтобы помочь ему?

— У тебя сын есть?

— Есть.

— Вырежь у него сердце и накорми больного: будет здоров.

Пошел сын старухин горной дорогой, едва ноги тащит.

А заяц скок из пещеры да песками, вперед и пришел. И опять улегся на камушек, лежит, охает.

Вернулся старухин сын.

— Был у ламы?

— Был.

— Что же он сказал?

А тот молчит.

— Чего же ты молчишь?

Молча отошел старухин сын от камушка, взял нож и начал точить.

— Чего ты хочешь делать?

— А тот знай точит.

И наточил нож, покликал сына.

— Раздевайся!

Разделся мальчонка: не понимает.

— Чего ты хочешь делать? — крикнул заяц.

Старухин сын поднял нож и показал на сына.

— Его —

— Зачем? — заяц приподнялся.

— Сердце сына моего тебя исцелит.

— И тебе не жалко?

— Мне? Мне и тебя жалко: ты для меня все сделал. Потеряю тебя, навсегда потеряю, а сына даст мне Бог и другого.

Тогда заяц поднялся со своего камушка и открыл старухину сыну всю правду.

— Хотел испытать тебя. Теперь — верю.

И в тот же день заяц убежал в лес.

А они стали жить-поживать и счастливо и богато.

Подружились волк, обезьяна, ворона, лисица да заяц и стали жить вместе в одной норе. Жили ничего, да год подошел трудный, весь хлеб подъели, а про запас ничего нету.

Терпели, терпели, а выкручиваться надо.

— Ты, Иваныч, самый у нас первый, ты все знаешь, выручи! — пристали к заяцу звери.

— Дайте, братцы, подумать, сам вижу, дело наше плохо.

Ну и стал заяц думать: туда сбегает, сюда сбегает — зайцы бегом думают, — и говорит приятелям:

— Не горюйте, братцы, я нашел лазейку, живы будем.

А сидел у царя лама, по-нашему чернец, сколько дней и ночей все молитвы над царем читал. И подходил ламе срок восвояси убираться и, конечно, не с пустыми руками. Вот этим ламой и задумал заяц поживиться.

— Выйдет лама от царя, а я на дорогу. Буду под носом у него кружиться, подбегу так близко, только руку протяни. Лама соблазнится, погонится за мной. Далеко не убегу, буду его обнадеживать. Он мешок свой с плеч сбросит,

подберет полы да налегке и пойдет сигать по полю, а вы хватайте мешок и тащите в нору. Понимаете?

— Понимаем, Иваныч.

— Живо хватайте мешок и тащите в нору! — повторил заяц.

Одному только намекни и уж говорить не надо, все поймет, другому один раз сказать довольно, а третьему, чтобы втемяшить в башку, обязательно надо повторить и не раз.

— И тащите мешок в нашу нору! — повторил заяц.

Царь ламу за молитвы вознаградил щедро: с таким вот мешищем вышел лама от царя, Бога благодарил, — теперь ему от царской милости пойдет житье сытое.

А заяц, как сказал, так и сделал.

Заяц обнадежил ламу, соблазнился лама — захотелось зайца поймать, а когда приятели ухватили мешок, заяц ушел от ламы.

*

Приволокли звери мешок в нору, тут и заяц вернулся.

И сейчас же мешок смотреть.

Развязали мешок, а в мешке чего только нет: и съедобного всякого — пироги, оладьи, печенье, и из носильного платья порядочно — штаны, сапоги, четки, и свирель такая из человечьих косток и бубен.

— Вот что, братцы, — сказал заяц, — по-моему, нашу находку следует использовать вовсю. Ты, серый, надевай-ка сапоги и иди в стадо: в сапогах тебя всякий баран за пастуха примет, и ты пригонишь целое стадо, тогда нам и горя мало, с таким запасом надолго будем едой богаты!

ты, обезьяна, напяливай-ка штаны и иди в царский сад, залезай на яблоню и рви, сколько влезет, а яблоки в штаны складывай. Полные накладешь, возвращайся, опорожнишься, и за грушу примешься. И варенья наварим и пастилы всякой наделаем, будет сладкого у нас на загладку вдоволь!

Ты, ворона, надевай на шею четки, садись у дворца на

березу, да грамотку подвесь на ветку и каркай. Заприметят тебя и всякому будет в диво: «Что это, скажут, за ворона такая в четках!» — и понесут тебе пирожных, конфетов, пряников, леденцов, а ты не моргай, все бери. Будет с чем нам чай пить!

Ну, а ты, лисица, забирай свирель да бубен, отправляйся в поле, где живут твои лисы, лисята и лисенки, труби, свисти, барабань — сбежится к тебе весь твой род лисий, ты их и веди с собой. Будет нас большое сборище, будет нам весело!

Выслушали звери зайца — умные речи любо и слушать! — и принялся всяк за свое дело.

Напялил волк сапоги, да в стадо, идет гоголем: так вот сейчас и побегут за ним бараны, баранины-то будет, объешься! Да не тут-то: бараны, как завидели волка, шарахнулись кто куда, а за ними овцы. На шум выскочили пастухи, да с палкой на волка. Пустился волк улепетывать, а сапоги-то не дают ходу, — едва выбрался.

Обезьяна в штанах забралась на царскую яблоню, полные штаны наклала яблоков и только было собралась спускаться, бегут ребятишки. Увидели на яблоне в штанах обезьяну, загалдели, закричали, да камушками и ну в нее. Цапается обезьяна с яблони, а штаны мешают, ни туда, ни сюда, уж кое-как понадсадилась да с ветки прыгнула. Вот грех, чуть было ребятам в лапы не попалась!

А ворона в четках взлетела на березу, подвесила грамотку и закаркала, — поверила, так сейчас вот ей и потащут лакомства. А было-то совсем наоборот. Увидали ворону, да камнем. Ворона хотела взлететь, а четки за сук запутались, выдраться не может. Только чудом выскочила и уж едва жива полетела.

И с лисой тоже неладное стало. Как затрубила она, забарабанила и уж куда там в сборище собираться, пустились от нее все звери улепетывать, собственные лисята и лисенки убежали без оглядки.

Идут товарищи печально: у кого глаз подбит, у кого ноги не тверды, у кого бок лупленный. Сошлись у норы и поведали друг другу о своем горе.

— Заяц — обманщик! Заяц подстроил все это нарочно, чтобы сожрать одному добычу. Давайте-ка его, братцы, отлупцуем хорошенько.

А заяц, проводив товарищей, засел на мешок, наелся хлеба и сыру и всяких печений, весь мешок подчистил. Нашел в мешке красную краску, вымазал краской себе губы, десна, и прилег в уголку, ровно б разболелся.

Нагрянули товарищи с кулаками, а заяц и слова им сказать не дал.

— Ну, братцы, и хитрящий же этот самый лама: мешок-то у него с наговором. Я всего этакую малюсенькую корочку пожевал, так что же вы думаете? — кровь горлом так и хлынула.

Звери смотрят: точно, кровь, — и на губах и во рту кровь. Сердце-то у них и отошло. И принялись они за зайцем ухаживать. Уложили они зайца, закутали потеплее, — ко водицы подаст, кто чего.

— Ой, Иваныч! И как это тебя Бог спас, долго ль до беды. Какой ты неосторожный! — ходили звери на пяточках, ухаживали за зайцем.

А про себя уж ни слова: уж как-нибудь подживет, не стоит зайца расстраивать.

Ночью заяц потихоньку выбрался из норы и убежал.

*

Проснулись наутро товарищи, а зайца нет.

— Заяц убежал, заяц — обманщик!

— Сожрал весь мешок и притворился больным. Обманщик!

— Пойдемте, ребята, изловим его и отлупим. Чего в самом деле?

И пошли ловить зайца.

Долго не пришлось приятелям путешествовать: заяц тут же забрался на гору и сидит, плетет корзину.

Завидели приятели:

— А! — кричат, — попался! Так-то ты по-приятельски с нами. Опять нас обманул: мы из-за тебя натерпелись, а

ты мешок сожрал, да еще больным притворился, мошенник!

— Что такое? Какой мешок? Каким больным? Ничего не понимаю. Кто вы такие? Чего вам от меня, зайца, надо? — заяц отставил корзинку.

— Кто такие? Сам знаешь! Слава Богу, по твоей милости пострадали. Кто такие!..

— Да позвольте, я вас в первый раз вижу. Вы ошиблись. Над вами мудровал какой-то другой заяц. Зайцев на свете много и все разные зайцы. Есть зайцы — плетут корзинки, есть зайцы — разводят огонь на льду, а есть зайцы — над дураками мудруют. Я из тех зайцев, которые плетут корзинки, видите! А с вами жил какой-то особенный заяц. Давеча пробежал тут один заяц и спустился вон с этой горы в долину.

— Извините, пожалуйста, мы ошиблись.

— Ну, что делать, бывает. А это, пожалуй, тот самый и есть заяц.

— Не можете ли указать нам дорогу, по которой пробежал тот самый заяц? Уж больно нам хочется изловить его и отлупить хорошенько: он — заяц плут и обманщик.

— Да вон она дорога, — показал заяц ушами, — с горы и вниз. Только мудрено изловить вам этого самого зайца, больно уж прыток. Хотите, я вам скажу одно средство, и заяц будет в ваших лапах. А то ваше дело пропало, нипочем не догнать.

— Мы на все готовы.

— Ну, вот что: я посажу вас в корзину, спущу с горы, и вы будете в долине куда раньше вашего зайца.

Заяц открыл корзинку. И когда звери кое-как втиснулись, закрыл крышку, крепко увязал корзинку лычком, да с горы вниз и ахнул.

Что только было, — корзинка ударялась о камни, и не помнят звери от страха, как, наконец-то, очутились они на дне.

Слава Богу, кончилось. Попали куда-то да вылезти-то не могут, — корзинка лыком туго скручена: не выйти! Уж

ковыряли, ковыряли, доковырялись-таки и вышли на свет Божий.

Вышли в чем душа, а заяц-то, приятель-то их сердечный, сидит — он самый, ей Богу, сидит на льду и греется у огонька, мошенник!

— Какой заяц-то наш умница, без него нам никогда бы не настигнуть плута. Ишь себе греется, мерзавец!

И звери бросились к зайцу.

— А! попался! Не выпустим.

Заяц ничего не понимает.

— Что такое? Что вам нужно?

А они так и наступают.

— Нет, брат, вилять нечего. Научил ты нас уму-разуму, едва живы остались, да еще и больным притворился. Дай Бог здоровья зайцу — есть зайцы, которые плетут корзинки! — заяц нам твой след указал, мошенник!

— Понимаю, вас обманул какой-то заяц и убежал! Постойте, только что спустился с горы заяц и спрятался в той вон скале. Должно быть, это и есть тот самый заяц.

— Извините, пожалуйста, опять мы обознались! Мы ищем этого самого зайца, который спрятался в скале.

— А вы очень хотите поймать этого самого зайца?

— Поймать и отлупить хорошенько! — сказали приятели разом.

— За этим дело не станет, только вам придется перебыть ночь, а на рассвете вы двинетесь и сцапаете вашего зайца. Присаживайтесь-ка к огоньку. Вы должны сидеть тихонько, не шуметь и громко не разговаривать, а то заяц услышит, забоится и убежит.

Приятели стали покорно рассаживаться на льду.

— Тише! — прикрикнул заяц, — повторяю, будете шуметь и разговаривать, не видать вам зайца.

*

Тишком да молчком сидели звери и с ними заяц.

Заяц все подбрасывал дров и от костра лед таял, и вода подтекла под хвосты. Приятели мокли, а боялись шевель-

нуться — боялись спугнуть зайца: заяц услышит, забоится и убежит.

Среди ночи дрова все вышли, костер погас и вода стала замерзать.

— Пойти, сходить за дровами, — поднялся заяц, — ну, я пойду, а вы сидите смирно.

Пошел заяц за дровами и пропал.

Ждать-пождать, нет зайца, не возвращается, пропал.

Сидят звери одни, зуб на зуб не попадает, а уж светать стало.

— А что, братцы, не надул ли нас этот заяц?

Шепотком, потом погромче, потом во весь голос заговорили звери: решили приятели, не дожидаясь зайца, самим идти на свой страх к скале и сцапать того самого обманщика зайца.

И опять беда, попробовали подняться, ан, хвосты примерзли!

И натерпелись же бедняги, уж и так, и сяк, едва отодрались: у кого кончика нет, у кого из середины клок на льду остался, у кого основание попорчено, — инда в жар бросило.

Ощипанные, продрогшие — лица нет! — бежали товарищи по льду к скале.

А заяц-то ихний сидит себе у колодца, а в лапах камень.

— Чего ж ты нас обманул, бессовестный!

— И не думал, вы сами во всем виноваты. Я набрал хворосту, иду к костру, тут вы чего-то зашумели, заяц испугался и бежать. Я погнался. А заяц не знает, куда деваться, вскочил в этот колодец и сидит на дне, притаился. Хотите посмотреть зайца?

Приятели за зайцем потянулись к колодцу.

А и в самом деле, на дне колодца они увидели заячью ушатую мордочку —

— А это он, наш обманщик! Он самый! — обрадовались товарищи.

— Сколько часов сижу я здесь с камнем и караулю, — сказал заяц, — одному никак невозможно. Хотите доконать вашего зайца, бросайтесь все разом. Когда скажу: три! — разом соскакивайте в колодец, и заяц — ваш.

Звери приготовились.

— Раз, два, три! — крикнул заяц.
И разом все четверо кинулись в колодец.
И уж назад никто не вернулся:

ни волк,
ни обезьяна,
ни ворона,
ни лисица.

А заяц пошел себе из долины в гору, все ходче и прытче, мяукал, усатый.

Жил-был медведь и было много у него медвежатов. Медведь один — дела по горло: встанешь утром, иди по дрова, за детьми некому и присмотреть.

И раздумался медведь: неладно так — без призору медвежата, мало ли грех какой, и подерутся, и зверь какой обидит, обязательно надо глаз.

Насушил медведь мешок сухарей, взвалил мешок на плечи и пошел в путь-дорогу: отыщет он человека, человек и будет его медвежатам за няньку.

Навстречу медведю ворон.

— А! медведь! Куда пошел?

— Ищу человека, медвежатам няньку. Без призору невозможно, а мне дела по горло, приходится по делу отлучаться.

— А что это у вас в мешке?

— Сухари.

— За три сухарика я, пожалуй, готов присмотреть за твоими медвежатами.

— Сухариков мне не жалко, — усумнился медведь, — а ловко ль ты нянчить-то будешь?

— Очень просто: кар-гар! кар-гар! — закаркал ворон.

— Нет, такая нянька не подходяща.

И пошел медведь дальше.

Навстречу медведю коршун.

— А! медведь! Куда пошел?

— Ищу человека, медвежатам няньку. Без призору невозможно.

— А что это у вас в мешке?

— Сухари.

— Ну, что ж, за три сухарика я согласен нянчить.

— Трудно тебе их нянчить-то! — усумнился медведь и в коршуне.

— Чего трудного-то? — и коршун закричал по-коршуньи: в ушах засверлило.

Медведь и разговаривать не захотел, пошел дальше.

Навстречу медведю заяц.

— А! Куда, Миша?

— Ищу человека, медвежатам няньку. Сам знаешь, без призору невозможно, а мне и так дела по горло, приходится из дому отлучаться.

— А что это в мешке-то?

— Сухари.

— Дашь сухари, буду нянькой.

— Да ты сумеешь ли нянчить-то?

— Еще бы, мне, да не суметь! Останусь я с твоими медвежатами. «Медведюшки, скажу, милые, мои медвежатушки-косолапушки, тихо сидите, не ворчите, лапками не топочите, вот вернется из леса батя, принесет меду-малины: соты-меды сахарные, малина сладкая». Буду им говорить, буду их поглаживать по спинке, по брюшку по мяконькому. «И! медвежатки, у! медвежатушки-косолапушки!»

Медведь слушал — слушал, растрогался.

— Ну, Иваныч, согласен: хорошо ты нянчишь.

— Еще бы! — заяц зашевелил усами, — ну, давай мешок посмотрим.

Развязал медведь мешок, заяц всунул туда мордочку, перенюхал сухарики и остался очень доволен.

— Я согласен.

Взвалил медведь мешок на плечи — зайцеву плату — и повел зайца в свою берлогу к медвежатам.

— Вот вам, медвежата, нянька, слушайтесь!

И возгнездился заяц в медвежьей берлоге на нянячью должность.

*

Поутру ушел медведь по дрова. Слава Богу, теперь ему очень беспокоиться нечего: заяц присмотрит.

А заяц, как только медведь из берлоги, скок к медвежатой кровати да всем медвежатам головы и оттяпал, положил головы рядком на кровати, прикрыл одеялом, — только носики торчат. А сам сгреб туши да в котел, налил воды и поставил суп медвежий варить.

И пока суп варился, прибрал заяц берлогу, медвежатые мордочки молоком измазал, закусил сухариком и присел к огоньку старье медвежье чинить.

Вернулся медведь в берлогу.

— А вернулся! А я медвежат молодых накормил и спать. Да, тут купцы ехали, оставили говядинки. Я суп варю. Садись-ка: поди, проголодался?

— Спасибо, Иваныч, проголодался! — свалил медведь дрова и к котлу.

И принялся суп хлебать.

Известно, с голодухи-то навалился, ничего не соображает и медвежьего духу не учуял, а как стал насыщаться, в нос и пахнуло. А тут, как на грех, зачерпнул ложку, а на ложке медвежий пальчик.

Вскочил медведь и прямо к кровати, отдернул покрывало — нет медвежат, одни мордочки медвежьи!

И догадался — замотал головой — догадался да на зайца, а заяц скок из берлоги и — поминай, как звали!

*

Бежит заяц, выскочил в поле. Бежит полем прытче, — а за ним медведь лупит.

Навстречу пастух.

— Ай, пастух, спрячь от медведя: медведь вдогон, хочет съесть.

— А полезай в мешок!

Заяц — в мешок, а медведь тут-как-тут.

— Где заяц?

— Какой заяц?

— А такой, давай зайца!

— Да нету никакого, — уперся пастух, — нет и нету.

— Врешь, мерзавец! А еще пастух! Съем, давай зайца!

Пастух испугался, развязал мешок, заяц выскочил и — прощайте!

Бежит заяц полем, — за зайцем медведь.

Навстречу человек: копает гусиную лапку — коренья.

— Послушай, добрый человек, спрячь от медведя: медведь меня съесть хочет.

— А садись в мешок!

Заяц вскочил в мешок, а медведь тут-как-тут.

— Давай зайца!

— Какого зайца?

— Съем!

Ну, тот испугался, развязал мешок, а заяц прихватил горстку кореньев, да бежать.

Бежит заяц, — за зайцем медведь.

Навстречу тигр.

— Еронимыч, отец, сделай милость, спрячь: медведь гонится, хочет меня съесть!

— Садись ко мне в ухо.

Заяц скокнул и прямо в ухо к тигру, там и притаился.

А медведь тут-как-тут.

— Подай сюда зайца!

— Зайца?

Уставился тигр на медведя, медведь на тигра.

— Убью!

— Посмотрим.

Да друг на друга, и сцепились, только клочья летят.

Бились, бились и пал медведь под тигром.

А заяц, как увидел, что медведю крышка, выскочил из тигрова уха.

— Спасибо, Еронимыч, дай Бог тебе здоровья.

— Послушай, заяц, ты, сидючи у меня в ухе, ровно жевал чего-то?

А заяц коренья грыз — гусиную лапку.

— Я, Еронимыч, глазом питался.

— А дай попробовать!

Заяц подал тигру коренья — гусиную лапку.

Съел тигр.

— Вкусно! Нет ли еще, Иваныч?

— Что ж, можно. Только теперь твой будет.

— Валяй, я и с одним глазом управлюсь.

Заяц глаз у него и выковырял, спрятал себе, подает опять корешков.

Съел тигр.

— Вкусно! Знаешь, Иваныч, я еще съел бы!

— Да взять-то неоткуда.

— А коли и правый выколупать?

— Что ж, можно и правый.

— А когда я слепцом сделаюсь, будешь ли ты меня водить, Иваныч, слепца-то?

— Еще бы! Я тебя так не оставлю. Поведу тебя по дорогам ровным да мягким, где ни горки, ни уступа, ни колючек. Так и будем ходить.

— Спасибо тебе, Иваныч, ну, колупай!

Заяц выковырял у тигра и правый глаз и уж подает не корешков, а глаза тигровы.

Тигр съел, но без удовольствия.

— Что-то не то, больно водянисто.

— Глаз и есть водянистый, чего ж захотел? Ну, а теперь в дорогу.

И повел заяц слепого тигра.

*

Не по мягким ровным дорогам, — по кручам, по камням, по колючке, нарочно вел заяц слепого тигра:

— Ох, Иваныч, ой, тяжко!

А заяц нарочно выбирал дурные дороги и не давал передышки.

Пришли к пещере.

Заяц посадил тигра на край, спиною — в пропасть, сам собрал хворосту, развел огонь перед тигром.

— Не жарко ли, Еронимыч? подвинься немного!

Тигр попятился и очутился на самом краешке.

Заяц подложил огоньку.

— Подвинься-ка еще, Еронимыч!

Тигр еще попятился и ухнул в пропасть. Да, падая, ухватился зубами за дерево и повис над пропастью.

И хочет тигр зайца на помощь позвать, да ничего не выходит, только мычит.

— Еронимыч, где ты? — кличет заяц.

А тот мычит.

— Еронимыч, подай голос! да где же ты?

— Я тут! — крикнул тигр.

Сук выскользнул изо рта, и угодил тигр в самую пропасть, да там и расшибся.

*

Бежит заяц —

Навстречу купец.

— А! купец! я убил тигра, не хочешь ли шкуру?

— А где она?

— А вон, у пещеры.

— Ну, спасибо.

Оставил купец товар на дороге, а сам к пещере за тигровой шкурой.

Бежит заяц —

Навстречу пастух.

— А! пастух! Под горой у пещеры купец шкуру снима-

ет с тигра, товар на дороге оставил, хочешь попользоваться?

— Спасибо!

И побежал пастух купцов товар шарить.

Бежит заяц —

Навстречу волк.

— А! серый! Пастух ушел за добычей — купцов товар без хозяина на дороге, стадо пастухово без призора, ступай, поживишься.

— Спасибо, спасибо.

И побежал серый волк пастухово стадо чистить.

Бежит заяц —

Навстречу ворон.

— А! ворон! Волк побежал пастухово стадо чистить, волчата одни. Не желаешь ли полакомиться?

— Спасибо.

И полетел ворон к волчиной норе волчат клевать.

Бежит заяц —

Навстречу старуха с шерстью.

— А! бабушка! ворон улетел волчат клевать, попользуйся вороньим гнездом — соломы тебе будет довольно.

— Спасибо, Иваныч, дай тебе Бог здоровья.

Старушонка положила шерсть за кустик, побрела к вороньему гнезду гнездо снимать.

Бежит заяц —

А на него ветер — —

— А! Ветер Ветрович! Старуха пошла за вороньим гнездом, не желаешь ли поиграть с шерстью, эвона за кустиком трепыхтает.

— Спа-си-бо.

Ветер подул на дорогу, выдул старухину шерсть, закрутил, завеял, растрепал ее бородой и! — понесся — —

*

А там купец снял с тигра шкуру, вернулся со шкурой на дорогу, где товар оставил, а товара нет — пастух унес! — и погнался купец за пастухом — —

Пастух пришел с купцовым товаром к стаду, хвать, а волк овцу угнал, и погнался пастух за волком — —

Волк приволок овцу к норе, а у волчат глаза выклеваны — пропали волчата! — и погнался волк за вороном — —

Ворон поклевал волчат и назад в гнездо, а гнезда-то нет, старуха на дрова сняла, и погнался ворон за старухой — —

Старуха снесла гнездо к себе в избу, вернулась на дорогу, хвать, а ветер несет ее шерстку, и погналась старуха за ветром — —

Ветер дул, завивал старухину шерсть, гнал ее полем, свистел, играл —

Ветер дул и кружил — —

И увидел заяц — по дороге в ветре кружилось:

купец,
пастух,
волк,
ворон,
старуха.

И как увидел заяц — смотрел — смотрел и захохотал.

Захохотал заяц и так хохотал заяц — от хохота разорвалась губа.

четыре зверя
сошлись у дерева:
слон, обезьяна, заяц, ворон.

без головы жить невозможно!
кому быть старшим?

я слон, я помню дерево чуть от земли:
я старший!
слон стал под деревом,
ничем не сдвинешь.

нет, я постарше!
и обезьяна прыг на ветку
и уцепилась над слоном.

я заяц, видел, как первые листочки
на дереве зазеленели:
я всех старше!
да скок —
и стал над обезьяной.

нет, ворон старше:
я принес зерно,
а из зерна и дерево пошло,
и ворон взлетел над всеми.

так и живут четыре зверя:
слон,
обезьяна,
над обезьяной заяц,
а над зверями выше
ворон.

1916—1922

Лалазар

КАВКАЗСКИЙ СКАЗ

Посвящаю С.П. Ремизовой-Довгелло

ЗОЛОТОЙ СТОЛБ

Армянская

Жил-был старик со старухой. Изба их стояла у озера и такая древняя, давным бы давно развалилась, да большой толстый столб посередке подпирал потолок, на нем все и держалось.

Старики только Бога благодарили.

И сколько лет стоял столб, держал избу, и ничего, и вдруг заговорило.

— Я попов сын! — сказал столб.

Так сказал он в первый раз на Благовещение, потом под Пасху и в третий раз на Рождество.

— Я попов сын!

Старики не знали, что и думать. Сколько лет жили, а такого, чтобы бревно заговорило, никогда не слыхали.

И почему вдруг заговорило?

И уж пробовали старики сами со столбом заговаривать, то старик подойдет, то старуха, а то и вместе примутся

приставать, но столб стоял, как стоял, поддерживал потолок да крышу.

— Должно, к беде какой! — решили старики.

И вот в Ильин день разразилась гроза с большим ливнем, и ливнем дочиста смыло все: ни бревна, ни щепинки, — пустое место, — прощай избушка! И как еще старики-то уцелели!

И пришлось им на старости лет искать себе другое место.

А стояла неподалеку старая заброшенная черная баня, баню век не топили, в ней старики и поселились.

Старик и говорит старухе:

— Пойду-ка я, Ануш, по бережку поброжу, посмотрю наш столбик: унесло его водой к попу или тут где прибило?

А тем временем попов сын старшой проезжал по берегу, увидел толстенное бревно — столб стариков, — думает себе: «на дрова годится!» — забрал к себе на телегу и повез к отцу в дом на другой конец озера.

Пришел старик к берегу. Утихло озеро, и весь берег открытый лежал. Но сколько ни ходил старик, сколько ни смотрел, след как будто и был, а столба никакого.

И вдруг увидел по следу в колдобине золото — десять золотых.

Вот чудеса! Подобрал старик золото и домой в свою баню.

И говорит старухе:

— Столба нет, а вот тебе принес что.

Старуха взглянула, да так и ахнула.

— Золото!

— Десять золотых. На-ка, посчитай.

Сосчитала старуха, верно — десять.

— Я, старуха, к попу наведаюсь, посмотрю на столб, знать, к нему попал!

И на другой же день снарядился старик.

Приходит на попов двор, а у сарая под навесом лежит столб. Узнал его старик, как не узнать, столько лет!

— Ну, так я и думал, и недаром говорил он: «Я попов сын!» — так и есть попов!

Во дворе, кто с чем, — поповы ребята по хозяйству управлялись.

Поздоровался с ними старик и говорит:

— Принесите мне, ребята, пилу.

— На что тебе, дедушка, пила?

— А вот этот столб пилить, он у нас в избе много лет стоял, избу поддерживал. Распилите его с концов, сами увидите.

Послушали старика, принесли пилу.

И как стали ребята столб пилить, пила скрып да скрып, а на землю золото.

И что же вы думаете, — полон столб золота!

— Откуда это ты узнал, дедушка?

Тут им старик рассказал, как трижды говорил столб: «Я попов сын!» — да невдомек было, к чему, — одно, что недаром.

Вышел и сам поп, а был он человек справедливый.

— Твое счастье, дедушка, бери половину.

А старик и слышать не хочет: не его столб, не ему и золотом владеть. Да и страшно: столб-то не простой.

И сколько ни уговаривали: уперся старик, и нипочем! Даже осерчал, и ушел домой.

Жалко стало попу старика, знал поп, — старик в большой нужде. Вот и придумал он, как поделиться добром: велел невесткам испечь каравай, вынуть весь мякиш и набить хлеб золотом.

От хлеба грешно отказываться, примет старик хлеб, будет и у старика золото.

Невестки постарались, и на другой день были готовы двадцать караваев. Поп понапихал в них золота, — половину всего золота, и отрядил ребят к старику.

Наложил каждый по пяти караваев в кошель и понесли.

И случись такой грех по дороге, и оставалось-то всего ничего до стариковой бани, — напали разбойники.

— Чего несете? — остановили разбойники.

Поповы ребята не сплошали.

— Несем, — говорят, — хлеб одному бедному старичку.

— Покажи!

Развязали кошель — и точно, хлеб.

Развязали другой — и там хлеб.

А были разбойники очень голодны, от хлебного-то духу еще больше засосало.

— Давайте, братцы, — говорит самый их разбойник главный, — давайте закусим хлебца! — взял каравай, разломил, а из него золото.

Ну, тут разговаривать много не стали, живо всех до одного положили, и ускакали с богатой добычей.

Настал вечер, а сыновей все нет.

Забеспокоился поп: давно бы им пора домой. А потом подумал, — верно, старик угостил их и ночевать оставил. И лег спать.

Наутро по обедне сел поп чай пить: вот придут! А их все нет. Затревожился, — не беда ли? — вышел из ворот посмотреть.

И пошел по дороге, и увидел: лежат на дороге и все четверо мертвы.

Поплакал, потужил отец, похоронил сыновей.

Не надо ему теперь и золота.

«Эх, — думал поп, — было б мне отдать старику все его золото — его столб, не случилось бы беды!»

А старик со старухой все в своей бане.

Задумали старики припрятать куда поскрытней свое золото — десять золотых — не ровён час, разбойники!

И припрятал старик.

А как-то хватились проверить, — туда-сюда, — и хоть убей, не помнит.

Так и запроторил.

«Эх, — думал старик, — было б мне отдать попу и это золото: его ведь столб, не случилось бы беды!»

А разбойники с голодухи объелись хлебом и до табора не доехали, — порастеряли золото.

Так прахом все и пошло.

САРКСИ-ШУН

Армянская

Знаешь, за Армянским базаром есть церковь Сурб-Саркиса? Так вот у святого Саркиса был пес — «шун», Сарки-шун, умный такой, хороший пес, всегда при церкви находился, и все его любили и вроде как за мудреца почитали.

И однажды пропал пес. Туда-сюда, нет нигде, потом уж нашли: убит.

Убит! Очень все горевали: такой ведь умный был пес, хороший.

И положено было в память его всякий год справлять пост — неделю Саркси-Шун.

В неделю Саркси-Шун обыкновенно на ночь выставляли на двор горшок каши, и замечают: останется след лапы на камне, значит, Саркси-Шун помнит, приходил.

И всякий год постились всю неделю.

Но сколько ни старались: горшок как на ночь поставят, так не тронут до утра и остается, а следа и звания не бывало! Не вспоминал Саркси-Шун.

Или испытывал?

Или усердия не было такого, кто ж знает?

А был один парень — весельчак: где б ни показался, куда ни придет, только и слышно, — лясы да смех. И за то парня любили, и был он в дому желанный гость.

Вот к ночи говорит мать:

— Сын мой, нынче неделя Саркси-Шун, надо выставить на двор кашу: пусть Саркси-Шун придет поесть.

— Хорошо, мать, все будет.

И, как улеглась мать, взял он горшок с кашей и за дверь.

А был у него конь. Подвел он коня к каше, поднял его ногу да копыто и опустил в горшок. И остался след на камне.

То-то обрадует мать!

Поутру будит его мать:
— Вставай, сын, иди, посмотри-ка: Саркси-Шун сам приходил, — его след!

И пошла молва:
— Саркси-Шун приходил, оставил след!

И повалил народ к их дому смотреть след.
От калитки до приступки, где стоял горшок с кашей, и вправду виден был след.
Все смотрели, верили, и видели:
— Его след!
И была большая радость.
Помнил, значит, Саркси-Шун, не забывал их.
А парень — весельчак, еще пуще смешил и смеялся.
И еще веселее было от его смеха.

ЦАРЬ НАРБЕК

Армянская

Жил-был молодец, охотник, стрелок первый — Тархан.
Задумал Тархан жениться, да нет ему жены по сердцу: какую ни встретит, все не его, все не такая — и мила, да не чиста, и чиста, да не люба.
А был у Тархана волшебный конь — Раши. Оседлал он коня и поехал из города прочь.
— Живите, мне у вас не житье!
И — как поехал!

На безлюдье в лесу у старой часовни построил себе дом Тархан и стал себе жить-поживать один в лесу.

Утром с солнцем встает, умывается из лесного ручья, постоит в часовне, помолится, а потом на охоту. И весь день на охоте. Оленя ль убьет или лань, очистит — шкуру выбросит, вырежет хороший кусок и домой. А дома его никто не ждет. Даже собаки не было.

Один, да с ним конь.

И наскучила Тархану одинокая лесная жизнь.

Там, в городе, от людей никуда не денешься, а тут, в лесу, от себя не уйдешь.

Заскучал Тархан, — и не мил ему лесной ручей, старая часовня не молитвенна, и охота не в охоту, и сам суровый неизменный лес постыл.

И покинул Тархан свой лесной дом, повернул коня с родной земли на чужую сторону.

Вот заехал Тархан далеко в дальнюю деревню. У околицы стоит девица: проводила ли кого, дожидает ли?

Соскочил Тархан с коня, поздоровался.

— Что, красавица, принимаешь гостя?

Обернулась, посмотрела на него.

— У меня, — говорит, — шесть братьев и все шестеро, как ты, такие. Отведи коня в сарай, вином тебя угощу. Только не могу я быть с тобой, пока братья не вернутся.

Вечером вернулись братья и всяк с своей добычей: кто с медведем, кто с оленем, кто с лосью, кто с волком.

Увидали братья Тархана — сидит Тархан за столом, вино распивает — и прямо с расспросом: кто такой, зачем и откуда?

— Как величать тебя, брат наш седьмой?

— Я вам не брат, я с чужой стороны, Тархан.

— Кем же ты желаешь быть нам? — спросил старшой.

— А хочу я взять замуж вашу сестру.

И не думали братья, не сговаривались, ударили по рукам и в ту же ночь свадьбу сыграли.

Простилась сестра с братьями. Посадил ее Тархан к себе на коня, да только и видели.

И! как мчал их конь с чужой стороны через горы, через

реки, в родную землю, где у лесной часовни тихий ручей течет и ни души кругом, один неизменный лес.

*

Хорошо было житье в лесу на безлюдье у лесного ручья.

С солнцем вставал Тархан, шел в часовню, постоит на молитве, а потом на охоту. И весь день на охоте и только к вечеру с добычей домой. Дома встречает жена. И пока он готовит ужин, жена час-другой водит коня и, поводив, уберет и накормит. Тут и стол готов. Поджидает жену Тархан. И входит она, целует его, молятся вместе и ужинать.

Хорошо было житье в лесу у лесного ручья.

А проходил по тем местам непроходным чужой молодец, тоже охотник, так, не чета Тархану, млявый. И видит, сидит на крылечке жена Тархана. Долго стоял молодец, все глядел на жену Тархана и ушел, прошел лес, вышел к городу, в город шел, а в глазах неизменно: на крылечке жена Тархана.

Что ему делать? Отыскал он в городе старуху-ворожбуху. И рассказал старухе, как встретил и не может забыть, а кто она, чья, не может сказать.

— Как бы так, бабушка, сделать, познакомиться с ней?

— Можно, — сказала старуха, — это жена Тархана, живут на безлюдье. Это можно.

И обещала старуха: она купит товару, с коробом пойдет к тем местам непроходным, зайдет у ручья в часовню, станет молиться, ее окликнет жена Тархана, ну, и все тогда будет.

— Будьте покойны!

Дал молодец старухе на товар денег, простился и стал себе ждать-поджидать добрых вестей.

Как сказала старуха, так все и сделала. С коробом пробралась она до лесного ручья, зашла в часовню, стала молиться. Окликнула ее с крылечка жена Тархана. Вышла старуха из часовни, сбросила с плеч короб, раскрыла его, развернула товары.

— Не купите ли? — а сама так и смотрит.

Стала жена Тархана рассматривать товары.

Стала ей старуха свое выговаривать.

— Ой, какая, — говорила старуха, — день-то деньской все одна! Какая красивая, а живешь, ровно зверь, одна в лесу. Ты слыхала ли про царя Нарбека? — царь такой самый первый! Вот пойдешь за него замуж, вот тебе будет жизнь. Будешь царицей, — жена царя Нарбека! Да разве можно такой в лесу жить, и все одна. И кто твой муж? Да царь Нарбек твоего мужа схватит и, как яблоко, сдавит, только сок потечет. Вот он какой, царь Нарбек!

Молча слушала старуху жена Тархана, перебирала товары, а уж глаза где-то далеко бродили.

— А как, бабушка, устроить это дело, я хочу к царю Нарбеку!

А старухе этого-то только и надо, и рассказала старуха жене Тархана, что ей перво-наперво делать, чтобы попасть к царю Нарбеку.

— Вернется муж, — учила старуха, — а ты не выходи, ты не встречай и коня его не бери водить, а спросит, все и скажи: что, мол, ты за человек такой? и где мы живем? и разве мне такое надо?

— И я попаду к Нарбеку?

— Попадешь обязательно. Сам придет.

Взвалила старуха к себе на плечи короб и пошла, понесла от крылечка добрые вести.

Осталась одна жена Тархана и с ней дума одна: дума о царе Нарбеке.

Уж едва дождалась она вечера. Места себе не находит. Все ей постыло: и дом, и текучий лесной ручей, и часовня, и лес. Так бы с землей и сравняла. Нет, и по шейку поставь ее в золото, ни за что не останется. Едва дождалась она мужа: и увидела, а не вышла, увидела — не встретила и коня не взяла.

— Что такое? что случилось? — ничего Тархан понять не может.

С сердцем крикнула мужу:

— Обманщик! Обманул ты меня! Думала я, нет никого

на белом свете сильнее и нет больше такого, как ты, и что же? Царь Нарбек лучше тебя!

— Ладно, — сказал Тархан, — я вот поеду сейчас и увидим! Будет тебе голова Нарбека.

Да как свистнет, да таким свистом, и на посвист стал его Раши, конь волшебный, — как и дня не бывало.

Вскочил Тархан на коня, крепко плетью ударил.

— Завтра же к утру в царство царя Нарбека!

Конь рванулся, только ветер свистит —

*

Только ветер свистит —

Только ветер —

Конь, как ветер —

И что в сутки, то в час. Ночь пролетела. Уж заря занимается.

Верный, к утру конь домчал Тархана и у дворцовых ворот Нарбека стал.

Спрыгнул с коня Тархан у дворцовых ворот, поводил коня — пар так и валит! Сам коня водит, сам кричит во весь голос, зовет Нарбека.

— Выходи, выходи, царь Нарбек, хочу с тобой драться!

А стоял у крыльца стражник, слышит, кто-то недобро кличет, заглянул, — человек какой-то чужой, — да скорее к царю.

— Какой-то человек у ворот коня водит, сам царя лает: «Хочу, говорит, драться с царем!»

— А поди и скажи ему, — сказал Нарбек, — пускай идет во дворец, выпьем вина, а потом уж, коли такая охота, будем драться. Мне все равно.

Пошел стражник к воротам, отворил ворота и передал Тархану царское слово.

— Да что ж это, — сказал Тархан, — это я-то пойду вино пить, я хочу драться! Еще пойдешь, свяжете, обманете, я живьем не дамся!

Три раза посылал Нарбек, три раза ходил от царя к Тархану стражник и всякий раз одно и то ж.

И надоело Тархану с этим вином — «иди вино пить, а потом драться!» Привязал он коня у ворот и пошел во дворец, — будь, что будет!

На крыльце встретил Тархана сам царь, поздоровался и, как гостя, ввел в свою царскую горницу.

— Что, по какому делу пожаловал? — и просит к столу.

А на столе кувшин, так и манит — —

Присел Тархан к столу — ничего не поделаешь! — и рассказал все по правде, как они жили с женой в лесу на безлюдье и как хорошо они жили, и потом как жена его встретила, и как ему горько от ее неправых упреков.

Засмеялся Нарбек.

— Ну, и молод же ты, Тархан, ничего еще не понимаешь! — налил гостю вина и себе взял чарку.

Сидел Тархан за столом, пил вино, а и вправду, ничего-то не мог понять.

— Знаешь, — сказал Нарбек, — первая жена моя померла, и я женился на другой. Был я очень богат, а когда женился, стал беднеть. Много было у меня лошадей, много табунов. И кормил я лошадей кишмишом, — хорошие были кони! И вот стал я замечать, стали мои кони худеть. Позвал я конюха.

«Что, — говорю, — за причина с конями? Коли кишмиша не хватает, можно еще добавить!»

Конюх мне в ноги.

«Не вели, — говорит, — казнить, вели слово молвить!» — ну, и порассказал.

И что же оказалось! Всякую ночь ровно в полночь приходила моя жена к конюху и приказывала оседлать лошадей для себя и для матери, — моей тещи. И с конюхом всякую ночь выезжали они в лес. А в лесу разбойники жили — двенадцать разбойников, шайка, — и как раз к этим разбойникам они и приезжали. Там им встреча, там уж их ожидают — и шла гульба до третьих петухов, а потом домой. И всякий раз конюху попадало: либо кулаком, либо плетью по морде.

Я ему и говорю:

«Вот что, давай-ка мне свою одежу, и лягу я нынче в твоей каморке».

Еще с вечера обрядился я конюхом, жду полночи. И в полночь, как говорил конюх, так и вышло, пришла жена, велела лошадей оседлать. Ну, у меня загодя все было приготовлено, и сейчас же поехали, и прямо в лес к тем разбойникам. И шла гульба до третьих петухов. Пришло время домой ехать. С полпути я схватился.

«Как быть, — говорю, — я там уздечку забыл!»

«А, — говорят, — забыл!» — да по морде: то одна, то другая.

А делать нечего, вернуться мне надо. Я и вернулся. Вхожу в разбойничий дом, а там пьяным-пьяно. А была у меня хорасанская шашка — чуть ударишь, пополам перережет. Тут я их всех двенадцать — всем головы прочь, да в сумку, и с сумкой домой. Не нагнал уж, один приехал. Поблагодарил конюха.

«Отнеси, — говорю, — сумку, положи ко мне под кровать!» — а сам снял конюхову одежу и пошел к себе.

Наутро вызываю жену. Пришла жена.

«Что тебе надо? Что ты меня беспокоишь?»

«Ох, — говорю, — какой я сон видел! А снилось мне, будто ехал я с тобой да с тещей в лес, заехали к разбойникам, а возвращаясь, забыл я у них уздечку, сказал тебе, и ты меня крепко ударила, вот какой сон дурной! — а сам руку под кровать, вытащил сумку, развязал, вывалил головы, — а не знаешь ли этих?»

«Не знаю».

«Двенадцать, — говорю, — а это вот тринадцатая!» — да шашкой ее по шее.

К теще я сам пошел и сумку понес — тринадцать голов. Разбудил тещу. Рассказал ей сон. Вывалил головы. Тоже не узнает.

«И эту не узнаешь?» — показываю на тринадцатую.

Не узнает.

Тут прибавил я к тринадцати и четырнадцатую!

Сидел Тархан, опустив голову, слушал царя Нарбека, а мысли там были, у лесного ручья в лесном доме.

— Ну, — сказал Нарбек, — поезжай-ка скорее домой, желаем тебе всего хорошего! — и проводил гостя до самых ворот.

Стрелой летел конь. Не за счастьем спешил Тархан. Теперь понял он, только не верил, верить не хотелось. За бедой спешил Тархан.

И когда достиг он ручья, как он просил, чтобы все было не так, чтобы его обманул Нарбек — и сердце билось, как его просьба.

Никто его не встретил, никто его не ждал.

И вошел он в дом и увидел жену: была жена с молодцом, так себе, млявый такой.

Схватил Тархан шашку: кого наперед?

— Стой! Это сам царь Нарбек! — закричала жена.

И вспомнил Тархан о коне, о своем верном коне: надо коня поводить! — бросил шашку и вышел.

А тот, Нарбек, в чем был, лататы.

Так и остался Тархан с женою жить-поживать у лесного ручья на безлюдье. День на охоте, а вечером вернется домой, гость уж сидит, какой Нарбек.

Хорошо житье на безлюдье, там лесной ручей течет и часовня стоит и кругом один лес неизменный.

ПОД ПАВЛИНОМ

Грузинская

Жили-были два брата. И была у них сестра красавица. Жила она у братьев. И так ее они любили, и такая ей была вера: найдет ли кто из них на дороге чего и сейчас же к ней — она разделит.

Пришло время, поженились братья. А делиться не захотели, одной семьей жили, и с ними сестра.

Любили братья своих жен, верили им, а сестру любили пуще и вера ей была крепче: с ней они выросли, первую

думу думали — она от них никогда не отступит, и они ее не покинут. И как было до женитьбы, так и осталось: найдет ли кто из них на дороге чего и сейчас же к ней — она разделит.

И стало женам братьев обидно, закипело сердце: отомстят они свою обиду — изведут сестру.

А какая была она красавица, — ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!

И решили так: кинуть жребий и кому из них выпадет, у того ребенка зарежут, а кровяной нож золовке в карман сунут.

И как решили, так и сделали: зарезали дитё, а кровяной нож золовке в карман сунули.

Утром просыпаются чуть заря.

— Вайме! Вайме! Кто убил?

Повскакали братья.

— Кто убил?

И давай искать.

Перерыли братья весь дом, ничего не нашли, а нашли у сестры — нашли у сестры кровяной нож.

Посмотрела сестра на братьев — верная на любимых.

— Что ж, — сказала, — такая судьба моя!

Раздели ее братья донага, отрубили руки, привязали ей на спину мертвого ребенка, вывели за ворота, там и пустили.

*

А какая была она красавица, — ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!

Идет она, — мертвый ребенок за плечами, как камень, и рук у ней нет, — идет она — свою судьбу приняла, да с сердцем не сладишь! — и плачет, и так она плачет — из слез ручей течет.

Куда ей дорога и кто ее примет, верную, с неверной судьбой?

Идет она — и так она плачет — из слез ручей течет.

Целый день она шла и к вечеру пришла к царскому саду. Головой раздвинула ежевику и в кустах заснула. Чуть стало светать, проснулась, — мучила жажда. Тихонько пробралась она на арбузную грядку, облюбовала арбуз поспелее, легла, и прямо зубами. А насытилась, и опять в ежевику.

Утром явились в царский сад садовники, смотрят — царская грядка попорчена, оглядели, в толк не возьмут.

— Что за черт! След человечий, а укус зверя.

И приходят к царю с отчетом.

— Ну, что, ребята, — спрашивает царь, — как мой сад? Все ли в порядке?

— Ничего, — говорят, — все благополучно, только грядку с арбузами кто-то попортил, кто не знаем: укус зверя, а след человечий.

— Подстеречь и схватить! — сказал царь.

Еще с вечера, помня царский наказ, залегли садовники в арбузную грядку и навострились: подстеречь и схватить! Прошел вечер — нет никого, и ночь — нет никого, а чуть стало светать, вышла несчастная из ежевики, тут ее и схватили. Ребенка мертвого со спины отвязали и в саду зарыли у арбузной грядки, а ее наутро к царю.

— Поймали!

— Поймали!

Смотрит царь, что за чудеса? — и вовсе не зверь, а уж такая красавица, ты все горы пройди, а такой не найдешь! — и только что рук нет, руки обрублены.

Пришел царевич, да как увидел, и уж не может глаз отвести.

— Батюшка, — говорит, — я на ней женюсь!

— Что ты, — унимает царь, — на безрукой?

— Ничего, — и так пристал, так пристал, — ничего да ничего!

— Ну, Божья воля, бери! — согласился царь, благословил их.

И женился царевич на несчастной, и так полюбил ее, и так ей поверил: дело без нее не сделает, думу без нее не подумает, вот как!

Ждал уж царевич себе наследника и все беспокоился, и

такое случилось — война. Простился царевич с женою и поехал — на войне без него невозможно, там ему первое место — грузинский царевич!

А уезжая, наказал царевич народу:

— Что бы ни было, что бы ни родилось, берегите, вернусь — рассужу!

С тем и поехал.

*

Шла война, гремела громкая. Везде, во всех делах был первым царевич. Не жалел своей жизни ради родной земли и народа. А пока шла война, родился у царевича сын. И не виданно дело — волоса золотые: волос к волосу вся голова золотая, и что другой в год растет, он в час.

На царских крестинах собрался народ, и написали письмо к царевичу на войну о его диковинном сыне и дали письмо старику.

— Иди, дедушка, с миром, передай письмо царевичу и, что знаешь, все расскажи.

А этот самый старик, Бог его знает, шел, шел и как раз возьми да и заночуй у ее братьев. Ну, а жены их, как услыхали, зачем и куда бредет прохожий, давай его угощать.

И не помнит старик, как спьяну заснул, и не помнит, где спал: ли на воле, ли в избе? Утром поднялся, очухался и дальше в путь, и сам того не знает, что письмо-то несет подменное: братнины жены не дуры, у него у сонного письмо вынули, да свое написали.

Пришел старик на войну, разыскал царевича, поздравляет.

— Родился у тебя сын: золотые волосы, и что другой в год растет, он в час! — и подает письмо.

Смотрит царевич, а в письме пишут:

родился щенок чего с ём делать

Переспросил старика. Клянется и божится старик: правду сказал.

— Так скажи, чтобы ждали, приеду, рассужу! — и письмо написал передать народу.

А этот самый старик, Бог его знает, шел, шел и опять и с этим письмом угодил к ее братьям. А там ему, как белому свету, так рады, и так наугощался старик, наутро едва поднялся, — уж и сам не рад.

Приходит старик домой. Собрался народ.

— Ждать нам царевича, — сказал старик, — сам приедет, сам рассудит! — и подает письмо.

Смотрят письмо, а в письме написано:

гоните взашей не подходяча

Что делать? Не оставлять же! Привязали мальчонка к груди несчастной, вывели за город на дорогу, там и пустили.

*

А какая была она красавица, — ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!

Идет она — родной ребенок на груди, как камень, и жалко — идет она, и за что ее гонят? — и плачет, и так она плачет — из слез ручей течет.

Куда ей дорога и кто ее примет, невинную, с виновной судьбой?

Идет она — и так она плачет — из слез ручей течет.

Целый день она шла, и попадается ей навстречу татарин. Посмотрел, посмотрел на нее, отвязал ребенка, швырнул на дорогу.

— Иди за мной!

И пошла — куда ж ей безрукой? — пошла она за татарином.

А сама все оглядывается, жаль ей ребенка: на дороге один валяется, как голышок-камушек придорожный.

Шли и шли, и пришли к реке, ну, как Кура. И просит она напиться. Нагнулся татарин воды набрать, а она его сзади, как пхнет ногой, он — в речку, и потонул.

Потонул татарин, одна осталась на берегу.

И видит: на берегу весь в белом на белом коне — во лбу звезда.

— Нагнись и выпей из Куры горсть воды!

Нагнулась – послушала, а сама себе думает:

«Господи, как я могу в горсть взять, когда рук нет?»

Еще ниже нагнулась, смотрит, а у нее руки, — ее белые руки, как прежде.

Зачерпнула воды в горсть, напилась.

Да скорей на дорогу, туда, где ребенок лежал.

А как он обрадовался, уцепился ручонками за ее белы руки.

— Мама моя, мамочка! — и смеется и тельцем дрожит весь.

И пошли они вместе, за руку крепко, — уж ни в жизнь не расстанутся!

Приходят в большую деревню. Встречается им старуха.

— Где бы нам, бабушка, переночевать?

— А идите ко мне, у меня просторно.

И приютила их на ночь.

В той деревне наутро собиралось большое собрание выбирать старшину.

Оставила она сына на старуху, сама выбежала на народ посмотреть.

Стал народ в круг, достали павлина, подкинули: на кого павлин сядет, тому и быть старшиной.

Летал, летал павлин и сел ей на голову.

— Это не считается! — загалдел народ, — чужая! Кидай еще раз.

И снова кинули.

И снова павлин сел ей на голову.

— Гони ее, что она тут мешает! — пуще загалдели.

Она и пошла, в дом пошла к старухе, где оставила сына: крепко спал ее сынок с дороги.

Стала она его люлюкать, стала его голубить.

А в доме в крыше сделано было окно, чтобы свет в доме был. И в это светлое окно залетел павлин и сел ей на голову.

И слышит она, бежит народ. Растворили дверь, вошли старики, и как увидели ее с павлином, поклонились.

— Твоя судьба. Быть тебе старшиной.

Вывели к народу. Окружил народ.

— Быть тебе старшиной! — сказали враз.

— Грамотная?

— Грамотная.

— Ну, и с Богом!

Так она старшиной и сделалась.

И любил ее народ, и такая ей была вера, пуще всех.

*

Стала она старшиной и большие пошли урожаи, такие большие, что последний бедняк не знал куда девать хлеба.

А о ту пору помер старый царь, вернулся царевич с войны и царем сделался. И поехал царь по своему царству хлеб закупать и приехал как раз в эту большую деревню.

— Почем хлеб цените?

— А поди, — говорят, — спроси старосту.

Ну, царь и пошел. Да не признать ему своей жены: без рук ведь была.

Столковались о цене.

— Поди, отправь хлеб, — сказала она, — а потом приходи ко мне ужинать.

А сама ощипала дичину — какаби и хохоби — петушка да курочку, поставила жарить.

Живо обделал царь свое дело, распорядился с хлебом, и уж идет к старшине ужинать, а она жарит.

И пока какаби и хохоби жарились, стала она сказку сказывать о двух братьях и сестре, все про себя, до того самого места, как старшиной она сделалась и пришел к ней царь ужинать.

— Глазынько лопни, правду я говорю, — поднялась она, — правду я говорю?

— Правду! — пропищали какаби и хохоби, жареные, и без голов, совсем уж готовые.

Тут поднялся царь — узнал!

И повез ее к себе, несчастную и таланную, жену свою — грузинскую царицу с сыном-царевичем.

МТЕУЛЕТИНСКИЕ КАМНИ

Грузинская

Давным-давно, где лежат теперь камни и нет человеку проходу, ни зверю прорыску, когда-то Нина пасла стада, тут и изба ее стояла, — тут укрывалась она на ночь.

И полюбил Нину горный дух — великан.

А Нина любила Михако.

И вот однажды подстерег великан их нежную встречу.

Задымилось каменное сердце. Но как! И не унять ему каменного сердца.

Или камнем расплющить на месте, когда Нина целовала Михако, а Михако ей клялся в верной любви…

— Я только и живу для тебя, Нина.

— Михако!

— Мое счастье — жить для тебя, Нина.

— Михако!

— И больше ничего мне не надо.

Нет, в любое время он мог бы убить их!

И видел, как и после смерти, обнявшись, неразлучно будут витать их души над горами, — верный Михако и любимая Нина.

Нет, сделать так, чтобы она прокляла его душу, — показать ей верность человеческой верной любви! — и тогда одинокая душа ее одна подымется на белую гору, любимая Нина.

В одно из свиданий Нины и Михако горный дух великан поднял с белой горы белый легкий снег и тихо засыпал избушку.

И когда наутро они увидали, что отрезаны от мира, им и горя мало: и пусть занесено кругом, и пусть все дороги заложены — они одни в целом мире, верный Михако и любимая Нина.

И день прошел в поцелуях.

И не заметили, как ночь пронеслась.

А наутро смотрят: все также.

И загрустил Михако.

— Михако!

Нет ему пути.

— Михако, ты клялся… Михако! И мое счастье — быть с тобой!

Нет ему пути на волю.

И ни клятвы, ни ласки не рассеют тяжких дум.

Уныло прошел день. А так тяжка была долгая ночь.

Настал третий день — смотрят: снег, те же сугробы, и не пройти и не выйти.

И завыл от голода Михако.

Ничего ему не надо!

Он кинжалом рассек ногу любимой Нины и впился губами в струившуюся кровь.

А там каменное сердце великана стало так горячо, как горяча струившаяся кровь, и захохотал он.

Вот она, его верная правда, вот человеческая верность!

И от смеха его посыпались камни тяжелые, — летели камни, как легкий снег, засыпали черным снежную долину.

И увидел великан — выше белой горы неслась душа за белую гору, и такая печальная, и такая беспросветная, одна одинокая, любимая Нина.

А когда пришли откопать из-под снега избушку, ничего уж там не было, кругом одни камни.

И с тех пор нет человеку проходу, ни зверю прорыску, — одни камни.

БЕКОВ МЕД

Татарская

Бил молодой пастух мать-старуху, бил да приговаривал:

— Иди, старая карга, к беку, скажи, чтоб дочь за меня отдал!

Сам брал кувшин с мацони (вроде простокваши) и шел в степь к стаду.

Ну, мыслимо ли дело, у бека просить такое? Старуха побои терпела: легче от своего, чем от бека.

И вот однажды, отколотив мать, взял пастух кувшин и ушел в степь, гоня стадо.

И случилось, — дождь. Что делать? Степь, никуда не схоронишься. Вылил он мацони наземь, снял с себя все, запихал в кувшин, сам сел на кувшин, да так на кувшине и переждал ливень.

Показалось солнышко, тут он опять оделся и идет, как ни в чем не бывало, а кругом грязища.

Навстречу шайтан.

— Ва! Шел дождь, а ты сухой?!

— Как видишь!

— Скажи секрет, почему?

— Эге, чего захотел! Нет, ты какой свой мне скажи, тогда и я скажу.

— Ладно. Вот тебе молитва: если скажешь ее на еду врага, украдешь язык.

— Ладно. А ты, коли сухим хочешь быть в дождь, носи всегда с собой кувшин с мацони.

— Ва! — Шайтан плюнул с досады и пошел.

Так и разошлись.

*

Вернулся пастух домой и застал мать: собиралась куда-то старуха, в руках чашка с медом.

— Что такое? Откуда такой мед?

— Беку, —сказала старуха, — велел бек достать.

— Дай сюда!

Взял он из рук чашку да молитву шайтанью и прочитал над медом.

— Ну, ступай, мать, к беку.

И пошла старуха.

С медом-то куда хочешь, с медом и к беку — пожалуйте!

— Ну, что, старуха, хорошего меда принесла?

— Сам, батюшка, отведай! — поклонилась старуха беку, поставила перед ним чашку.

Бек сунул в мед палец, обсосал хорошенько.

— Хор-хóро-хррр... — хрипит, языком крутит, надсаживается, а ничего уж, — жен-на-нна!!! — только и выпалил.

Прибежала бечиха, видит, — бек, как бек, мед перед беком, чашка и палец в меду, — сама и сунь палец в мед попробовать.

— Что-то-то-то... — да как на весь дом вовсю, — караул!

Тут, кто был, дворовые, лекаря, соседи — все к беку.

И первым делом палец в мед: пробовать. А как попробует кто, и готово дело: ровно тебе там защемит чего, и нипочем не повернуть языком.

И такое поднялось, такой гвалт, — не то режут, не то пожар.

Прибежал стражник. Да понять-то ничего не поймешь, одно: мед — в меду все.

И тоже медку отведал. Да к приставу.

— Ваш-ст-ссс-чи-чи... — чивит, свистит, выпучил глаза.

Пристав к беку.

А там не только в доме, а и на улице такое творится, не дай Бог.

— В чем дело?

Все на мед.

Ну, и пристав палец в чашку.

И готово, зачивил.

Ходит пастух да посмеивается — известно, когда у богача что случится, бедняка не позовут! — ходит пастух, сам посмеивается.

Мучился бек с лекарями, уж они ему и то, и другое, над языком его мудрили: и шелковинкой-то его перевязывали и щипчиками дергали, и перышком, и волоском щекочут, а ничего не выходит.

И не вытерпел, объявил бек: тому, мол, кто его вылечит, даст он что угодно.

А пастух тут-как-тут.

— Отдай за меня дочку, вылечу.

Ну, конечно, бек и всех дочерей отдать рад, только бы вылечил.

Взял пастух чашку, — пальцем-пальцем, а уполовинили-таки порядочно! — что делать, и над тем, что есть, пошептал он над медом отговор и дает беку на пальце.

И как только обсосал бек пастухов палец, так все опять и вернулось.

А тут и все, кто был, дворовые, лекаря, соседи, и стражник, и пристав, и бечиха сейчас же на пастухов медовый палец — и как рукой сняло, заговорили разом по-прежнему.

И отдал бек за пастуха свою дочку.

1914—1922

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 577. — Кавказские сказки. — Все шесть сказок сообщил мне Николай Андреевич Чернявский, автор прекрасного стиха о Николе, сборник «В год войны», Пгр., 1915 г. Нынче по весне грех вышел, забыл он на извозчике свою тетрадку, да так и пропала. А в ней много чего было записано кавказского, по памяти не упомнить. Благодарю его за сообщения.

Стр. 579. — Золотой столб. — Сказывал Аршак сторож в Бакурьянах (Красная церковь), толмачом был сын священника Валериан Иасонович Лобадзе, записал Н. А. Чернявский.

Стр. 583. — Саркси-Шун. — Сказывал иеромонах Кресто-

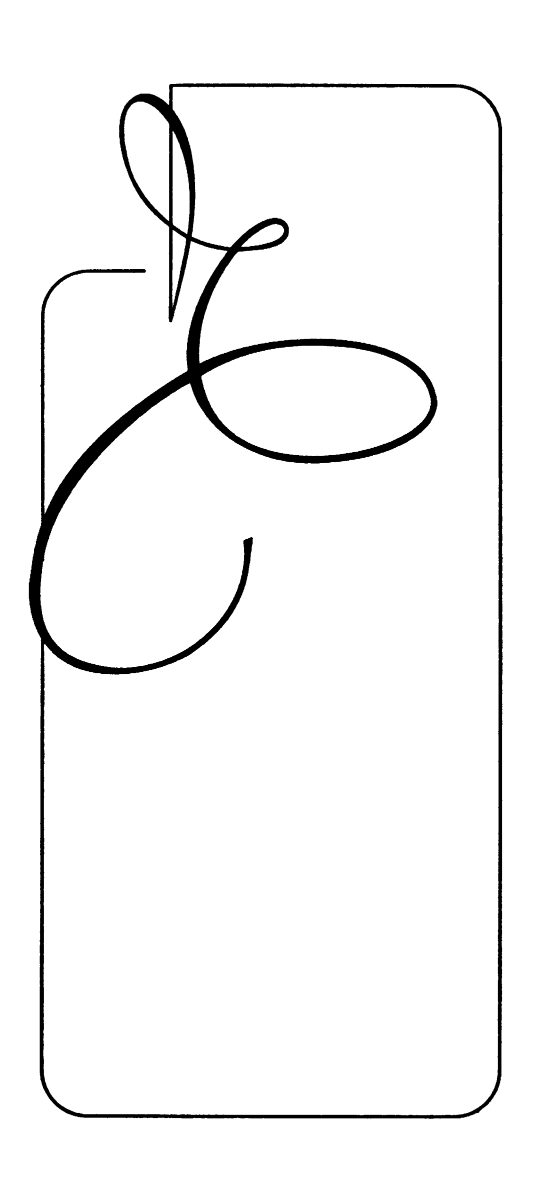
вого монастыря (Джварис Сагдари) Иларион. Записал Н. А. Чернявский. «Шун» — пес. «Сурб» — церковь.

Стр. 584. — Царь Нарбек. — Сказывал старший стражник Сергей Матвеевич Долмазов, крестьянин селения Коды. Записал Н. А. Чернявский. «Раши» — конь волшебный.

Стр. 591. Под павлином. — Сказывал бывший псаломщик Сионского собора (Тифлис), духанщик, уста (ремесленник) Леван Пхавадзе. Сказывана сказка в Крестовом монастыре (Джварис Сагдари), где жил и помер Мцыри Лермонтова. Записал гардемарин Иван Степанович Исаков. «Какаби и хохоби» — горная курочка и петушок. Ср.: А. Н. Афанасьев, Русские народные сказки, под ред. А. Е. Грузинского. Изд. Т-ва И. Д. Сытина, М., 1914 г. Т. IV. № 158; Н. Е. Ончуков, Северные сказки, записки Имп. Рус. Географ. Общ. по отдел. этногр., XXXIII т. С.-Пб., 1908 г. № 80.

Стр. 598. — Мтеулетинские камни. — Со слов Ваньки Праведникова, которому сказывал русский техник в Гудауре, по Военно-Грузинской дороге, тридцать лет живущий там. Записал Н. А. Чернявский. «Михако» — Михайла.

Стр. 600. — Беков мед. — Сказывал помещик Пири-Рустамов в Караязах (Тифлисской губ. Тифлисского уез.). Записали гардемарин Иван Степанович Исаков и прапорщик Его Величества Драгунского Нижегородского полка Павел Андреевич Чернявский (9 IX 1895 — †14 I 1916 г.). Павел Андреевич заходил ко мне нынче осенью в день производства своего в прапорщики, только что вернулся с войны и с Георгием, и с первого взгляда и слова очень полюбился мне, и после я все вспоминал его и рассказывал о нем, какой он прекрасный. Окна вставлял я на зиму, с замазкой возился, помогал мне вместе с братьями своими Игорем Андреевичем и Николаем Андреевичем. И не могу я постигнуть, как это все вышло, и тужу и жалею о его смерти.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ*

М. Г. г. редактор. Покорно прошу, не откажите напечатать следующее мое разъяснение в ответ на обвинение меня в плагиате, появившееся в вечернем выпуске «Биржевых Ведомостей» от 16 июня 1909, № 11160 и затем частью перепечатанное, частью стилизованное, частью на все лады пересказанное другими газетами: «Новым Временем», «Петербургской Газетой», «Русским Словом», «Голосом Москвы», «Ранним Утром» и многими провинциальными. До сего времени я не имел возможности сделать этого разъяснения отчасти по причине чисто личного характера, отчасти потому, что летние месяцы проводя далеко от центров, в деревне, я волей-неволей очутился в стороне от всяких интересов и жизни литературно-газетного круга.

В целях разъяснения вынужден коснуться некоторых задач и приемов моего творчества. Работая над материалом, я ставил себе задачей воссоздать народный миф, обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, колядках, суевериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах и апокрифах. Так вышли две мои книги: Посолонь (изд. «Золотое Руно», М. 1907) и Лимонарь (изд. «Оры», СПб. 1907), так выходит собирающаяся книга К морю океану, отдельные главы которой появлялись в периодических изданиях (Верба и Ночь у Вия в «Русской Мысли», Каменная баба в «Северном Сиянии», Ховала и Белун — в «Золотом Руне» и т. д.). Кроме воссоздания народного мифа, — этой первой и главной задачи моего творчества — мне представлялась и другая, когда материал приобретал для меня значение самого по себе: я пытался дать художественный пересказ. Укажу на появившиеся в печати сказки: Ослиные уши, Мышонок, Мужик-медведь, Чудесные башмачки, Собачий хвост, Лев-зверь, Небо пало.

* Печатается по изданию: Золотое руно. 1909. № 7—8—9. С. 145—148.

Различные задачи при обработке материала само собой вызывали различные приемы. В первом случае, — при воссоздании народного мифа, когда материалом может стать потерявшее всякий смысл, но все еще обращающееся в народе, просто-напросто, какое-нибудь одно имя — Кострома, Калечина-Малечина, Спорыш, Мара-Марена, Летавица — или какой-нибудь обычай, вроде Девятой пятницы, Троецыпленицы, — все сводится к разнообразному сопоставлению известных, связанных с данным именем или обычаем фактов и к сравнительному изучению сходных у других народов, чтобы в конце концов проникнуть от бессмысленного и загадочного в имени или обычае к его душе и жизни, которую и требуется изобразить. Во втором случае, — при художественном пересказе, когда по сличении всех имеющихся налицо вариантов какой-нибудь народной сказки материалом является облюбованный, строго ограниченный текст, все сводится к самой широкой амплификации, т. е. к развитию в избранном тексте подробностей или к дополнению к этому тексту, чтобы в конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить облюбованный текст, в этом вся хитрость и мастерство художника. Насколько удалось мне выполнить поставленные мною задачи, предоставляю судить мастерам.

В целях же разъяснения вынужден сказать несколько слов о том особенном значении, которое я придаю примечаниям, снабжая ими отдельные мои произведения и мои книги. Надо заметить, что в русской изящной литературе, при допущении самого широкого пользования текстами народного творчества, существует традиция, не обязывающая делать ссылки на источники и указывать материалы, послужившие основанием для произведения. Для примера укажу, начав с верхов нашей литературы, хотя бы на Гоголя, у которого, как известно, наиболее яркие лирические места в «Тарасе Бульбе» состоят из переложения народной песни — малорусской думы — и однако без всяких ссылок на какую-нибудь песню (см. сочинения Н. С. Тихонравова, т. 3-й, ч. 2-я); далее, замечательные легенды и сказания Лескова, как известно, основаны на прологах и однако без всякой ссылки на какой-нибудь пролог; наконец, совсем уже на скромном конце литературы популярные сказки Авенариуса суть бесхитростные переложения народных сказок и однако без всякого указания, что сказки — народные. Такова традиция. И лишь историки литературы показывают нам, как и над чем работал тот или иной писатель, произведения которого стали классическими, а имя — именем России.

Ставя своей задачей воссоздание нашего народного мифа, выполнить которую в состоянии лишь коллективное преемственное творчество не одного, а ряда поколений, я, кладя мой, может быть, один-

единственный камень для создания будущего большого произведения, которое даст целое царство народного мифа, считаю своим долгом, не держась традиции нашей литературы, вводить примечания и раскрывать в них ход моей работы Может быть, равный или те, кто сильнее и одареннее меня, пытая и пользуясь моими указаниями, уже с меньшей гратой сил принесут и не один, а десять камней и положат их выше моего и ближе к венцу. Только так, коллективным преемственным творчеством создастся произведение, как создались мировые великие храмы, мировые великие картины, как написались бессмертная «Божественная комедия» и «Фауст».

Указанием на прием и материал работы, — что достижимо до некоторой степени примечаниями в изящной литературе, а среди художников — раскрытием дверей в мастерские и посвящением, — может открыться выход к плодотворной значительной работе из одичалого и мучительно-одинокого творчества, пробавляющегося без истории, как попало, своими средствами из себя, а попросту из ничего, и в результате — впустую.

Как сказано, из моего опыта применения описанного выше приема художественного пересказа я отдал в печать несколько сказок, и, следуя своему правилу, приложил к сказкам примечания: или в виде ссылки на материал, — такое примечание имеется к Ослиным ушам, «Нов. Журн. для всех», № 3, январь 1909, — или, ставя подзаголовок Народная сказка; такой подзаголовок имеется к Чудесным башмачкам, «Слово», № 75, 29-го марта 1909, к Собачьему хвосту, «Всемирная Панорама», № 2, 1 мая 1909, к Льву-зверю, «Журнал Копейка», СПб., май 1909. Две же сказки, — Мышонок, «Сборник Италии», изд. Шиповник, СПб., 1909, и Небо пало, «Всемирная Панорама», № 5, 1909, — появились в печати по совершенно случайной причине без всяких примечаний.

Автор письма в редакцию «Биржевых Ведомостей», добросовестно выписав текст из этих сказок, совпадающий с текстом народных сказок, из которых одна записана М. М Пришвиным от старухи Марьи Петровны в деревне Корельские Острова Олонецкой губ., другая — Н. Е Ончуковым от неизвестной старухи в Шуньге Олонецкой губ., «Сборник Н. Е. Ончукова Северные сказки — Записки Имп. геогр. Общ. по отделу этнографии, т. XXXIII, СПб., 1908», и опустив в Мышонке мне принадлежащую характеристику действующих в сказке старика и старухи, а в Небо пало — мне принадлежащую сентенцию, — лисицыну мудрость, — именно как раз то, что составляло всю цель моего пересказа, вывел против меня обвинение в плагиате.

Автор письма в редакцию «Биржевых Ведомостей», величая меня русским писателем, «успевшим составить себе имя», а стало быть, зная мои произведения, не мог не знать, какое важное место я отвожу в моих

произведениях примечаниям, где наряду с объяснениями старорусских, почерпнутых из памятников слов и коренных слов, употребляемых среди простого русского народа, и всяких неологизмов я ничуть не скрывал и тех источников и материалов, на которых основывался, а стало быть, не найдя к Мышонку и к Небо пало никаких примечаний и ссылок, он не имел никакого права заключать об умысле с моей стороны выдавать художественный пересказ очень известных народных сказок за мои собственные. Кроме того, автор письма в «Биржевые Ведомости», взяв на себя право уличать в таком тяжком и позорном преступлении, каким является плагиат, уж, конечно, прежде всего должен быть осведомлен в истории русской изящной литературы, по традициям которой, повторяю, примечания при пользовании текстом народного творчества не обязательны.

Что же касается намеков и утверждений, опорочивающих мое имя и позорящих мою честь, то я считаю невозможным для себя входить в какие-либо рассуждения и оставляю это на совести автора письма.

Примите уверения и проч.

Алексей Ремизов.

Москва, 29-го августа 1909 г.

О СКАЗКАХ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА

«.. народ обретает мифологию не в истории, наоборот, мифология определяет его историю, или, лучше сказать, она *не* определяет его историю, а есть его судьба (как характер человека — это его судьба); мифология — это с самого начала выпавший ему жребий».

Ф. В. Й. Шеллинг. Введение в философию мифологии

Сказка занимает исключительно важное место в обширном наследии Ремизова. По степени интереса к этому жанру ему нет равных в русской литературе. Только в 1900–1910-е годы Ремизов пересказал «на свой лад и голос» несколько сотен фольклорных сказок, объединив их в десяток сборников. Более того, он превратил сказку в особую тему своего творчества: коллизия «взаимоотношений» с фольклорными материалами стала одним из ключевых сюжетов ремизовского мифа о самом себе, легла в основание размышлений писателя о культуре, истории, языке, собственной поэтике. Сказочные мотивы и сюжетные ходы обнаруживаются в большинстве его произведений других жанров.

Чем объясняется столь пристальное внимание к сказке и такое обилие переложений подлинных фольклорных текстов в репертуаре ремизовской прозы? Ведь на рубеже 1900–1910-х годов, к моменту, когда эта тенденция его творчества проявилась в полной мере, Ремизов уже опубликовал ряд романов, повестей, рассказов и был довольно известным литератором. Причем не только в узком, однако весьма влиятельном, определявшем тогдашнюю культурную ситуацию околосимволистском кругу, к которому сам принадлежал, но и среди более широкой читающей публики.

Между тем в этом, на первый взгляд, весьма необычном предпочтении пересказа чужих текстов оригинальному авторскому творчеству отразилась сама эпоха начала XX века с ее кризисом сознания, культуры и общественных отношений. Революция выходила на авансцену русской жизни, и предчувствие грядущих катаклизмов создавало особую духовную атмосферу.

Как и многие интеллигентные юноши его времени, Ремизов отдал дань увлечению социал-демократическими идеями и даже был сослан за это на Русский Север, однако довольно быстро разочаровался в революционной деятельности. Вместе с тем он не утратил самого интереса к общественной проблематике, который переместился из области политики в сферу культуры.

Осознание кризисного состояния культуры, деградации старых идеологических и социальных форм породило символизм как новое направление философской мысли, реализующее свои идеи в сфере художественной практики. Последнее объяснялось поисками такого языка, который позволил бы выстроить и описать принципиально новую культурную парадигму. И хотя Ремизов занимал обособленную позицию, впрямую не обнаруживая своей связи с этим направлением, его реакция на проблему культуры вполне вписывалась в круг символистских идей.

В своем программном «Письме в редакцию» (см. Приложения) Ремизов предлагал обратиться к народному мифу, который артикулирует архаические формы социальной и культурной жизни, «воссоздать» его полный «текст», реконструировав утраченные фрагменты по сохранившимся фольклорным и этнографическим материалам, а затем ввести в актуальный культурный оборот, восстановив тем самым связь современности с традицией. По мысли писателя, это позволит преодолеть негативные последствия индивидуализма в искусстве, сделать коллективное творчество продуктивной основой общественного устройства.

Понятый таким образом пафос социальности, который пронизывал не только произведения, но и литературно-бытовое поведение писателей-модернистов, долгое время не воспринимался критикой и читателями. Они привыкли к тому, что общественная проблематика является прерогативой политиков и революционеров, а так называемые декаденты с их крайним индивидуализмом и романтизмом погружены в психологические глубины человеческой личности, обращены к мистическим истокам мироздания, запечатленным в древних мифологиях, и совершенно не интересуются современностью. Между тем именно они неоднократно пытались смоделировать новые социальные отношения — «сизигию» в терминологии Вяч. Иванова, когда к духовному союзу двух присоединяется сначала третий, затем четвертый, пятый и т. д., и так на интеллектуально-мистической основе постепенно объединяется все общество, что позволяет сделать личность активным субъектом социума, не разрушая ее индивидуальной обособленности. Эта жизнетворческая установка породила многочисленные «треугольники» (например, Мережковский — Гиппиус — Философов, Сабашникова — Вяч. Иванов — Л. Д. Зиновьева-Аннибал, А. А. Блок — Л. Д. Блок —

Андрей Белый), а также кружки, подобные аргонавтическому или Обществу друзей Гафиза.

Не менее острое «социальное любопытство» Ремизова побудило его создать собственную игру — Обезьянью Великую и Вольную Палату, в рамках которой пародировались как жизнетворческие устремления символистов, так и их конкретные «опыты» в этой сфере, и предлагалось свое решение проблемы.

Бытовое поведение писателя, прославившегося своими мистификациями, было пронизано игрой. Ее «сюжетные ходы» и психологические реакции окружающих переносились затем в ремизовские произведения. Этот художественный прием достиг своего расцвета в 1920–1930-е годы, однако имел более раннее происхождение. Особую роль в его становлении сыграла именно сказка.

Среди других фольклорных жанров сказка в наибольшей степени отвечала идеологическим и стилистическим установкам Ремизова. Если взглянуть на нее как на некий «единый» текст, состоящий из бесконечного множества «фрагментов», то становится очевидным, что сказка в целом описывает своего рода парадигму общественного и бытового поведения, так как содержит набор социальных норм и запретов, в которых выражается «душа народа», система его нравственных представлений и ценностных установок. Сказка репрезентирует эту систему ценностей и потому является квинтэссенцией социального.

С другой стороны, она вербальна и «драматургична» по своей природе, основана на действии и диалоге, хотя передается рассказчиком прежде всего как повествование о некоем событии, и потому в собственно фольклорных текстах реплики персонажей, как правило, включены в его речь. Ремизов тонко почувствовал эту особенность сказки и перевел ее в «драматический» регистр. В его переложениях текст очень часто строится как диалог персонажей (ярким примером тому может служить цикл «Русские женщины» и другие сказки сборника «Докука и балагурье»).

Язык сказки уникален, так как передает живую разговорную речь, являющуюся здесь еще и объектом художественной обработки. Недаром в народной традиции так ценятся хорошие сказочники. Причем, несмотря на «коллективный» характер фольклора, их творчество воспринимается как вполне индивидуальное.

Не менее важно для Ремизова и то, что слово как таковое нередко становится темой сказки: зачастую она посвящена происхождению какого-либо родового имени, названия мифологического персонажа или зоологического вида (например, птицы ремеза). Сказок такого типа довольно много в ремизовской «Посолони».

Рубеж XIX—XX веков отмечен осознанием исключительной ценности народной культуры, и прежде всего живой фольклорной традиции,

которая все еще продолжала бытовать в крестьянской среде, но уже превратилась в объект серьезного научного изучения. В этот период ученые и фольклористы-любители активно собирают фольклорные тексты; публикуется ряд новых сборников, содержащих в том числе и обширные своды сказок, записанных в разных губерниях России (например, «Северные сказки» Н. Е. Ончукова, сборники братьев Соколовых и Д К. Зеленина). В работах таких исследователей, как Е. В. Аничков и Д. К. Зеленин, предпринимаются попытки описать народную мифологию и выстроить ее общую концепцию. Для начала века характерно также стремление классифицировать фольклорные жанры, осмыслить сказку как целостное явление.

Последняя научная установка не прошла мимо внимания Ремизова. В своем творчестве он систематизирует народные сказки, по-своему интерпретирует их место в русской культуре и предлагает собственную классификацию, которая, конечно же, не совпадает со строго научной, хотя и отталкивается от фольклористических представлений своего времени. Нельзя забывать, что, культивируя образ и поведение сказочника-сказителя, Ремизов ни на минуту не выходит за рамки литературного поля. Свою задачу он видит в демонстрации типологической общности фольклора и литературы, установлении между ними более прочной связи в контексте современного словесного творчества.

Не менее важной новацией в художественной практике своего времени была сама «подача» сказочного материала. Размышляя над литературными жанрами, Ремизов нашел наиболее точный эквивалент народной сказке в так называемом календарном (святочном или пасхальном) рассказе, который в свою очередь сам восходит к фольклорным представлениям о характере этих праздников. Некоторые тексты (например, входящие в «Заветные сказы») писались и исполнялись автором на Святках. Тем самым воспроизводилась ситуация бытования святочного рассказа в устной традиции. Следуя традиции литературной, Ремизов помещал свои сказки в специальных новогодних и пасхальных номерах периодических изданий. Причем таким образом было впервые опубликовано большинство подобных произведений. Это позволяет сделать вывод о том, что отдельные сказки воспринимались писателем прежде всего как календарные тексты. Однако то же самое происходило и со сборниками ремизовских сказок, которые нередко выпускались издателями, в отличие от писателя исходившими не столько из идеологических, сколько из коммерческих соображений, именно накануне Рождества. Таким образом, Ремизову удалось утвердить свои пересказы народных сказок в сознании современников именно как святочные рассказы, что с точки зрения истории этого литературного жанра было бесспорным нововведением.

Однако отдельные сказки сами по себе не были конечной целью его

литературного замысла. По мере накопления материала писатель объединял их в циклы, а затем создавал из последних сложные монтажные конструкции, которыми являются его сборники. Причем не только отдельные тексты, но и сами сборники, как правило, имеют печатный источник, выступающий в качестве идеального прообраза и одновременно формальной модели. Для «Докуки и балагурья» таким источником являются «Северные сказки» Ончукова, для «Укрепы» — садовниковские «Сказки и предания Самарского края», а для «Заветных сказов» — «Русские заветные сказки» А. Н. Афанасьева. Основная идея каждого сборника распадается на ряд тем, представленных в отдельных циклах и контрапунктически сопряженных друг с другом в композиционном целом книги. Сами темы этих сборников впоследствии получили развитие в ремизовской прозе эмигрантского периода. Более того, как стало очевидно теперь, писатель затронул в них ключевые проблемы литературы XX века, такие, как экология культуры, проблема пола, феминизм, пацифизм, трансформации религиозных представлений в светском обществе и т.д.

Первая ремизовская книга «Посолонь» (1907) была удачно найденной формой для культурологических построений. Ее композиция воспроизводит годовой сельскохозяйственный цикл, который осмыслен в так называемом «народном календаре», отражающем систему мифологических представлений об основах мироустройства и обязательных ритуальных действиях, обеспечивающих гармоничное функционирование социума. Лирический характер «Посолони», в которой доминирует мир детства, не противоречит ее «социологической» тенденции. Многие архаические обряды со временем трансформировались в детские игры, в процессе которых ребенок получает общие представления о структуре мироздания и правилах поведения в обществе. Таким образом, Ремизов акцентирует здесь социальный аспект мифа. Несомненный читательский успех этой книги во многом способствовал продолжению работы писателя с фольклорным материалом.

Следующий сборник «Докука и балагурье» (1914) стал своеобразным собирательным образом русской сказки. Его главным действующим лицом является уже не миф, а герой народной сказки и сам народ как ее создатель. Именно по этому принципу отдельные сказки группируются в циклы. В «Докуке и балагурье» ремизовский социум состоит из скоморохов, воров, нежити и нечисти, царей, женщин. Кроме того, здесь помещен еще и раздел «Мирские притчи», куда вошли сказки нравоучительной направленности.

Эта тема получила развитие в следующем сборнике «Укрепа» (1916), где нравственные проблемы рассматриваются в свете событий первой мировой войны. Пожалуй, из всех сказочных сборников именно «Укрепа» была наиболее тесно и непосредственно связана с современ-

ной историей. Недаром здесь уже ощущаются те качественные сдвиги в ремизовской прозе, которые привели к созданию такого сложного произведения, как хроника «Взвихренная Русь».

В 1918 году цикл сказок о русских женщинах был дополнен рядом новых текстов и опубликован как самостоятельный сборник. Эта книга по-своему уникальна. Ремизов создает в ней собирательный образ русской женщины, предлагая своеобразный перечень черт национального женского характера «от высокого до злого». Ничего подобного ни до, ни после не было в русской гендерной литературе.

Во второй половине 1910-х годов внимание Ремизова переключается на сказки «нерусские» (сборники «Сибирский пряник», «Ё», «Лалазар»). Впоследствии, «закрывая» в своем творчестве тему сказки как жанра большим сводным сборником «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым» (1923), писатель предполагал в pendant к нему опубликовать сборник «Сказки нерусские» (макет этого неосуществленного издания хранится в его фонде в Пушкинском Доме).

Среди других ремизовских сборников особо выделяются «Заветные сказы» (1920). Их неизбежное появление в его творчестве отражает реальное место текстов подобного рода в фольклорной традиции. Вместе с тем, писатель проявлял интерес к святочному действу как широко распространенному в разных слоях современного общества древнему ритуалу, в котором важную роль играли скоромные сказки. С другой стороны, в начале XX века проблема пола была чрезвычайно модной и разрабатывалась в произведениях представителей того самого литературно-философского круга, к которому принадлежал Ремизов. Этот сборник стоит под знаком В. В. Розанова, ремизовского близкого приятеля, философа, оказавшего влияние не только на его идеологию, но и на стиль.

Ремизов продолжал заниматься сказкой и в эмиграции. Однако этот жанр более не занимал в его творчестве столь же существенного места, как в «петербургский период».

При всем интересе к архаике, Ремизов — безусловный новатор в области литературных форм, и в первую очередь языка. В известном смысле именно *Слово* является главным героем его сказок. Его отношение к мифу — это позиция художника, который волен распоряжаться материалом по своему усмотрению. «Восстанавливая» миф из осколков, запечатленных в слове, он создает не научные реконструкции, а собственные неологизмы. Так, ярким примером является слово «клекс» из одноименной сказки сборника «Укрепа». «Клекс» — метаморфоза областного слова «клеск» (рыбья чешуя) — характерная ремизовская «языковая шутка», провоцирующая читателя на игру звуковыми ассоциациями (клекс—клякса—кляп... и т. п.). Такие примеры в его творчестве можно множить до бесконечности.

Алексей Ремизов внимательно вглядывается в фольклорный текст, подмечает характерные языковые обороты и обязательно вводит их в свою сказку. Вместе с тем, его пересказы — *авторские* произведения, в которых легко улавливается ремизовская интонация. Особая стилистическая атмосфера этих текстов складывается из областных слов, просторечий, неологизмов, а также из разнообразных оттенков словоупотребления, рождающих ощущение многомерного изображения на плоскости, изображения, созданного магией *Слова,* того самого, о котором Ремизов как-то сказал: «И я представляю себе момент, когда на земле не осталось уст, чтобы произнести слово, и тогда оно поднимется вверх самозвуча».

И Ф Данилова

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящем издании в хронологической последовательности выхода в свет воспроизводятся восемь сборников сказок А. М. Ремизова, относящихся к «петербургскому периоду» его творчества (1905—1921) Отказ от принятого в академическом литературоведении принципа последней редакции текста как окончательной авторской воли продиктован тем, что Ремизов мыслил свои мелкие произведения монтажными элементами более крупных художественных единств, которыми для него в случае со сказкой были сборники (или циклы) (Эти сборники являются метонимическими по своей природе сложными монтажными конструкциями) Отдельные сказки выступали в роли самостоятельных произведений при публикации в периодических изданиях. Но в рамках сборника они были подчинены общей идее, обуславливались контекстом и обретали тем самым дополнительные коннотации. Кочуя из сборника в сборник, такие тексты каждый раз меняли систему собственных смысловых акцентов и редактировались автором исходя из потребностей общей стилистической задачи данной книги Поэтому в отношении творчества Ремизова нельзя говорить об окончательной редакции в общепринятом смысле, ибо все редакции его произведений выступают как равноценные. Предпочтение сказок «петербургского периода» вызвано гем, что именно в 1900—1910-е годы сформировалась ремизовская концепция сказки и был создан основной корпус текстов этого жанра. Шесть из восьми сборников («Посолонь», «Докука и балагурье», «Укрепа», «Русские женщины», «Сибирский пряник» и «Заветные сказы») были выпущены в Петербурге. Еще два («Ё» и «Лалазар») по внелитературным причинам не смогли выйти в свет в виде планировавшихся отдельных изданий в России и были опубликованы Ремизовым в 1922 году в Берлине. Воспроизводятся в данном томе по этим публикациям.

Особый случай представляет книга «Русские женщины» (1918). Первые восемнадцать сказок этого сборника сначала были опубликованы в виде одноименного цикла в «Докуке и балагурье» (1914), а еще пять в «Укрепе» (1916) Поэтому в настоящее издание включены лишь те сказки из книги «Русские женщины», которые не вошли в их состав. Однако читатель может получить о ней общее представление, обратившись к двум вышеназванным сборникам, публикуемым полностью. Подробная информация о местоположении сказок в структуре «Русских женщин» содержится в преамбуле, предпосланной комментарию к этой книге.

В конце отдельных произведений сохраняются авторские даты. Если дата отсутствует под текстом, она специально оговаривается в комментариях в том случае, когда мы располагаем информацией о времени написания сказки.

Тексты воспроизводятся в соответствии с нормами современной орфографии, но с сохранением специфических особенностей авторского стиля (в том числе некоторых устаревших и просторечных орфографических вариантов). Авторская пунктуация сохраняется полностью, так как Ремизов придавал ей исключительное значение, настаивая на интонационном принципе своей прозы. Выделения в тексте (разрядка и т. п.) соответствуют авторским.

Особую роль в сборниках играют ремизовские примечания. Если в «Посолони» стилистически и функционально они служат продолжением основного текста, то в «Докуке и балагурье» и в «Укрепе», кроме собственно информативной функции, выполняют еще и художественную, так как сам способ подачи материала (азбучно-хронологические таблицы) является имитацией норм научной публикации Тем самым Ремизов еще раз подчеркивает тесную связь своих произведений с фольклорными источниками, а также ориентацию отдельных сборников на конкретные научные издания народных сказок. В книге «Русские женщины» ввиду неполноты ее состава подобный азбучный указатель источников не воспроизводится. В тех случаях, когда в других изданиях цикла («Лалазар») или в рукописных редакциях (повесть «Что есть табак») имеются примечания Ремизова, содержащие важную информацию для понимания данного произведения, мы интерполируем их в основной текст, специально оговаривая это в преамбуле.

В Приложениях помещен ответ Ремизова на обвинение в плагиате, прозвучавшее в статье «Писатель или списыватель?», опубликованной за подписью Мих. Миров в газете «Биржевые ведомости» 16 июня 1909 года (№ 11160. С. 5—6). Этот инцидент вызвал широкий резонанс в столичных литературных кругах. Ремизовское «Письмо в редакцию» стало первым программным выступлением писателя, проливающим свет на его задачи в области мифотворчества и принципы поэтики. Впервые оно было напечатано в газете «Русские ведомости» (1909. 6 сент. № 205. С. 5). Воспроизводится нами по другой публикации в журнале «Золотое руно» (1909. № 7—8—9. С. 145—148).

В историко-литературной части комментария приводятся сведения об истории воплощения замысла отдельных сборников, фактах литературной борьбы, автокомментарии, отзывы критики, свидетельства современников и т. п. В комментариях к отдельным сказкам указывается первая публикация (за исключением сборников «Докука и балагурье» и «Укрепа», где эта информация содержится в авторских азбучных временниках-указателях); автографы и другие рукописные материалы, если таковые имеются; а также тексты-источники. Под текстом-источником Ремизов подразумевал не сюжет, а конкретный вариант (один или несколько) текста, поэтому другие фольклорные варианты нами не оговариваются. В «Посолони» в качестве источника зачастую выступает не словесный текст, а игрушка, игра, обряд, рисунок или какой-либо отдельный этнографический

мотив Поэтому в комментарии к сборнику источники не указываются Информация о некоторых из них содержится в авторских примечаниях В тех случаях, когда существуют современные переиздания фольклорных сборников, на которые опирался Ремизов (Ончукова, Соколовых, «Русских заветных сказок» Афанасьева), указывается только номер сказки и ее название Кроме того, в комментарии поясняются имена исторических лиц, названия мифологических персонажей, диалектизмы, просторечные слова, устаревшие выражения, значение которых неясно из контекста. После примечаний помещен список сокращений.

Пользуясь случаем, хочу выразить глубокую признательность Светлане и Валерию Давыдовым за деятельное участие, без которого эта работа не состоялась бы. Благодарю всех коллег, способствовавших мне в комментировании ремизовских сказок, и особенно А. М. Грачеву и Е. Р. Обатнину Отдельное спасибо Г. В. Обатнину, предоставившему в мое распоряжение свои материалы о сказках, не включенных Ремизовым в сборники. Особое спасибо М В. Безродному за докуку умственную, балагурье веселое и пример в науке. А также Андрею Харкевичу и Никите Сапову, помогавшим мне комментировать Гоносиеву повесть.

ПОСОЛОНЬ

Сказки

(Ч. 1. Посолонь; Ч. 2. К Морю-Океану)

Печатается по изданию: Сочинения. СПб.: Шиповник, [1911]. Т. 6. Сказки (вышло в свет в феврале 1912 года).

Рукописные источники: 1) Наборная рукопись. Т. 6 Сочинений Алексея Ремизова (ИРЛИ. Ф. 79. Архив Р. В. Иванова-Разумника); 2) «Посолонь» — черновые и беловые автографы, авторские иллюстрации, наборные рукописи отдельных глав для издания 1930 года <1929—1930> — ЦРК АК Кор. 12. Папки 2—8.

К самым ранним произведениям, вошедшим впоследствии в сборник, относятся сказка «Медведюшка», датированная Ремизовым 1900 годом (впервые: Новый путь 1903. № 6; с подзаголовком: Галин сон), и стихотворение «Наташе», под которым стоит дата 1902 год (впервые. Северный край (Ярославль) 1903. 6 мая № 118. С. 2; под названием: Над колыбелькою). В первом из них сначала подразумевалась племянница писателя Галя (Галина Николаевна Ремизова), а во втором — другая его племянница Ляляшка (Елена Сергеевна Ремизова; 1902—1976). 1 ноября 1902 года Ремизов просил П. Е. Щеголева переслать в Москву «Колыбельную песню» и замечал по ее поводу: «<...> она предназначена была племяннице Еленочке, я послал, но письма не получили» (Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Ч. 1. Вологда (1902—1903) / Вступит. статья, подгот. текста и коммент. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 144). При последующих публикациях в составе «Посолони» этот текст был переадресован писателем собственной дочери Наташе (1904—1943). Еще одиннадцать из двадцати четырех сказок пер-

вой редакции «Посолони» (1907) были предварительно опубликованы в журнале «Золотое руно» (1906 № 7—9, 10) В марте 1906 года Ремизов предложил тогдашнему заведующему литературным отделом этого журнала С А. Соколову сказку «Котофей Котофеич», которая была отклонена по причине якобы трудности ее перевода на французский язык (в «Золотом руне» все тексты печатались на двух языках) 31 марта 1906 года Соколов писал Ремизову «Присылайте нечто, что поддается переводу, и, если возможно, без областных слов» (РНБ Ф 634 Оп. 1 Ед. хр 203 Л. 5). Вскоре писатель отослал в «Руно» цикл «Весна-красна», из которого (вследствие отсутствия места в журнале) были отобраны пять сказок, опубликованных затем в № 7—9 (см. письмо Соколова Ремизову от 25 мая 1906 года Там же Л. 7) В начале июля Соколов покинул «Золотое руно», так как редактированием журнала пожелал лично заняться его владелец Н. П. Рябушинский Фактическую редакторскую работу по литературному отделу выполнял при нем А А Курсинский, креатура В Я. Брюсова В середине июля Ремизов прислал им еще три «посолонных» цикла «Лето красное», «Осень темная» и «Зима лютая», из которых сам Рябушинский отобрал шесть сказок для № 10, вновь отклонив «Котофея Котофеича», правда, по несколько иной причине — «слишком детского характера» этой сказки (см письмо Рябушинского Ремизову от 24 июля 1906 года: РНБ Ф 634 Оп 1 Ед хр. 192 Л 1) Из этого письма явствует, что тогда же Ремизов предложил Рябушинскому опубликовать «Посолонь» отдельным изданием, на что получил обнадеживающий ответ: «< ..> сейчас решительно не могу сказать ни „да", ни „нет". Время такое, что даже невозможно печатать собственный журнал, что же касается будущего, то скорее „да!"» (Там же) Уже 3 октября 1906 года Рябушинский сообщал Ремизову, что готов издать «Посолонь» к Рождеству, если немедленно получит ее полную рукопись (Там же. Л. 2) А 17 октября окончательно подтверждал свое намерение опубликовать книгу в количестве 2000 экземпляров (Там же. Л. 3). 9 ноября 1906 года Курсинский писал Ремизову о ходе издательской работы над книгой, в частности, о том, что уже набранную «Посолонь» правит корректор «Руна» Б. К. Зайцев и что следует поторопиться с чтением высылаемых вскоре гранок, вставками и примечаниями, так как Рябушинский категорически настаивает на ее выпуске «недели за две до Рождества» (РНБ Ф 634 Оп. 1. Ед. хр 135. Л. 9) В результате Ремизов так и не дождался авторской корректуры, а в середине декабря 1906 года «Посолонь» вышла в свет (см. сообщение о том, что книга «выходит на ближайших днях», в письме Курсинского Ремизову от 11 декабря 1906 года: Там же. Л. 11). Она стала первым отдельным изданием ремизовских произведений. На титульном листе значился 1907 год. Еще в журнале «посолонные» сказки были опубликованы с иллюстрациями художника Н. П. Крымова, который оформил и саму книгу. Вскоре в «Золотом руне» была помещена миниатюра «У лисы бал» (1907. № 11—12) с иллюстрацией М. В. Добужинского (между С. 71 и 72). По свидетельству последнего, она написана под впечатлением от народной игрушки из коллекции художника: «Ремизов, бывая у меня, вдохновился одной (игрушкой. — *И Д*) и написал забавные стишки, мне посвященные, „У Лисы

бал"» (Добужинский М. В. Воспоминания. М., 1987. С. 277). Впоследствии рисунок Добужинского «У лисы бал» стал украшением ремизовской коллекции игрушек (об этом см.: Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. (Творимый апокриф) // Утро России. 1910. 7 сент. № 243. С. 2). В «Посолони» Ремизову удалось найти исключительно точную форму подачи своих сказок, основанных на этнографических материалах, в которых описываются народные архаические обряды. Ее композиция воспроизводит календарно-обрядовый цикл. Ничего подобного ни до, ни после в русской литературе не было. Недаром на протяжении всей жизни писатель неизменно подчеркивал свое особое отношение к этой книге Так, например, в дарственной надписи на экземпляре «Посолони» С. П Ремизовой-Довгелло он отмечал: «Первая книга моя „бескорыстная", всегда хочется что-то сказать, о чем-то передать, с чем-то борешься, что-то защитить, а тут — в этой книге — так просто так. Так птицы поют (как нам — людям — кажется: «бескорыстно») Память большая — начало» (Кодрянская. С. 168). «Посолонь» — пожалуй, единственная книга Ремизова, которая была столь единодушно восторженно воспринята как критикой, так и ближайшим окружением писателя. 8 января 1907 года Вяч. Иванов писал Ремизову: «Мы очень счастливы иметь, наконец, в руках Вашу дивную „Посолонь" и сердечно благодарим Вас. Для меня же „Посолонь" — одна из светлых страниц жизни. такое значение придаю я Вам и Вашей книге, и такую цену имеет в моих глазах то отношение Ваше ко мне, которое напечатлелось на этой книге» (Переписка В.И. Иванова и А. М. Ремизова / Вступит. статья, прим. и подгот. писем А. Ремизова — А. М. Грачевой; Подгот. писем Вяч. Иванова — О. А. Кузнецовой // Вячеслав Иванов. Материалы и исследования. М., 1996. С. 91). Действительно, в известной степени «Посолонь» была декларацией эстетических и дружеских привязанностей писателя, отразившихся в посвящении отдельных текстов конкретным лицам, а книги в целом (в первой редакции) — Вяч. Иванову. Общую тональность откликов на «Посолонь» выразил Лев Шестов, писавший Ремизову в январе 1907 года: «От людей слышал, что ты сказки пишешь, но читать их не приходилось. Сейчас — уже книжку всю прочел, почти не отрываясь, как получил от почталиона. От души поздравляю тебя! Чуде<с>но! Настоящий артист. <...> Язык прямо поразительный. <...> первые сказки прямо бесподобны. Такое чувство природы — в каждом слове слышится и чувствуется. Позавидовал я, грешным делом, тебе и твоим занятиям» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым / Публ. и прим. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // Русская литература. 1992. № 3 С 175). В своем разборе ремизовской книги Андрей Белый задал ряд тем, к которым неизменно возвращались последующие рецензенты. Прежде всего он оценил «Посолонь» как проявление новой тенденции в литературе, стремящейся «найти в глубочайших переживаниях современных индивидуалистов связь с мифотворчеством народа» (Белый А. [Рец.] Алексей Ремизов. Посолонь. Издание журнала «Золотое Руно». Москва. 1907 год // Критическое обозрение. 1907. № 1. С. 35). Особое внимание было обращено на мастерство Ремизова-стилиста: «Каждая его миниатюра производит впечатление драгоценного камушка. *Камушек*

искрится, переливается светом — любо-весело! Но чем больше вглядываешься в этот камушек, тем больше любуешься филигранной работой, начинаешь ценить подбор фраз, упиваешься их музыкой, восхищаешься словами. Неологизмы тонко перемешаны с хорошими, забытыми русскими словами. Нет той неуклюжести в построении слов, которая претит нам даже у В. Иванова. Все у Ремизова легко, прозрачно, весело» (Там же С. 36) С. Городецкий пародирует этот отклик Белого, что, впрочем, не отражается на общей положительной оценке «Посолони»: «<...> кирпич, который он несет, хороший, настоящий, не то, что у „несомненных" поэтов и поэтесс <...>. Кирпич Ремизова это его язык. <...> Она тем и сильна, что ее образы естественны, не на прокат взяты, а сами пришли» (Г о р о д е ц к и й С. Алексей Ремизов. «Посолонь». 1907. Изд. журнала «Золотое Руно» // Перевал. 1907. № 4. С. 61—62) Наиболее развернутый отзыв на книгу принадлежит М. Волошину. Здесь также звучат определения, примененные к «Посолони» Белым: «„Посолонь" — книга народных мифов и детских сказок. Главная драгоценность ее — это ее язык. Старинный ларец из резной кости, наполненный драгоценными камнями Сокровища слов, собранных с глубокой любовью поэтом-коллекционером» (В о л о ш и н М. Лики творчества. Алексей Ремизов «Посолонь» Изд. «Золотого Руна». 1907 г. // Русь. 1907. 5 апр С. 3). В этой рецензии «Посолонь» рассматривается как мировоззренческая альтернатива ранним произведениям Ремизова, книга, открывшая новые грани его творчества: «После старых реальных романов Ремизова, этих невыразимо мучительных издевательств над человеческой душой в „Пруде", „Часах", „Серебряных ложках", сказочная книга „Посолонь" со всеми ее чудовищами кажется отрадным отдохновением» (Там же). Кроме того, подчеркивается, что вся книга ориентируется на народное мифологическое сознание: «Для того, чтобы понять и оценить сказочную фауну „Посолони", необходимо дойти до истока каждого из мифов, собранных там. Надо познать первобытную реальность каждого из ее персонажей» (Там же). Рецензия Волошина стала первым развернутым литературным портретом Ремизова и определила последующую тенденцию воспринимать его как писателя, назначение которого «быть сказочником-сказителем» (Там же) К началу 1910-х годов «Посолонь» была дополнена рядом новых сказок и включена в шестой том собрания сочинений Ремизова. В письме от 21—22 октября 1910 года он сообщал В. Я. Брюсову: «<...> Шиповники взялись выпустить в год (1911—12) 6 томов. И приходится не переделывать, а редактировать старое и корректировать <...>» (Б р ю с о в В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым (1902—1912) / Вступит. статья и коммент. А. В. Лаврова; Публ. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // Лит. наследство. 1994. Т. 98. Кн. 2. С. 209). В шестой том первая редакция «Посолони» (1907) вошла в переработанном виде. Ее четыре раздела сохранили здесь свои названия и композиционное построение, но были дополнены рядом новых текстов Так, если раздел «Весна-красна» в точности повторяет издание 1907 года, то в «Лето красное» вместо новеллы «Чур» введена новая сказка «Кикимора», раздел «Осень темная» расширен этюдом «Плача» и сказкой «Разрешение пут», так же как раздел «Зима лютая» по-

полнился сразу двумя — «Морщинка» и «Пальцы». Сказки второй редакции «Посолони» публиковались до включения в состав шестого тома в различных повременных изданиях Сказка «Морщинка» в 1907 году вышла отдельной книгой в издательстве «Шиповник» с иллюстрациями М. Добужинского. В 1908 году в газете «Свободная мысль» (№ 52) был помещен следующий анонс: «А. Ремизов уезжает на лето в Соловки. Наряду с изучением Беломорской старины писатель займется подготовкой к печати новой книги „К Морю-Океану", которая явится продолжением „Посолони". Книга выйдет осенью и будет заключать в себе сказки и мифы, для взрослых и детей». А в 1909 году в петербургском «Альманахе 17» под общим заглавием «Из книги „К Морю-Океану"» были помещены три сказки — «Пчелы» (другое название «Божья пчелка») , «Ремез — первая пташка» и «Проливной дождь». Однако замысел в целом был осуществлен лишь в рамках собрания сочинений. Здесь к первой части («Посолонь») присоединен новый цикл «К Морю-Океану», состоящий из двух разделов: «Мышиными норами» и «Змеиными тропами». Особенностью этого цикла является отличный от «посолонного» принцип композиционного построения, при котором тексты объединяются сквозной сюжетной линией сказочного путешествия и постоянными героями (Котофей Котофеич, Алалей и Лейла). Такое жанровое направление было заложено уже в двух последних сказках «Посолони» (1907) — «Зайчик Иваныч» и «Котофей Котофеич», где появляется мотив волшебного приключения. Обособленность этих текстов в составе «Посолони» 1907 года была сразу же отмечена Л. И. Шестовым, который писал Ремизову: «Две последние, большие немножко беднее: зато для детей хороши» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым. С. 175). Присутствие этих сказок именно в первой части шестого тома Сочинений («Котофей Котофеич» под названием «Зайка») имело для Ремизова принципиальное значение, так как они выполняли функцию «текстов-связок» с циклом «К Морю-Океану». Сама идея «Посолони» обрела во второй редакции совершенно новый смысл. Если в первой редакции основной акцент был сделан на «календарном» характере книги, то с присоединением «К Морю-Океану» выявилась новая смысловая доминанта, ранее уже присутствовавшая в тексте в качестве важного, но несколько «затушеванного» структурного элемента. В издании 1907 года основное повествование обрамлялось стихотворным посвящением Наташе «Засни, моя деточка милая!» и «Колыбельной песней». Таким образом, «посолонные» сказочки как бы рассказывались здесь засыпающему ребенку «на сон», как это принято в народной, да и не только в народной, бытовой традиции С появлением второй части стало очевидно, что действие «Посолони» постепенно перемещается в пространство сна; и именно в зазеркалье сна совершается чудесное путешествие к Морю-Океану, жанровым эквивалентом которого служит уже не обряд, игра, считалка или песенка, а волшебная сказка На жанровую противоположность двух частей «Сказок» шестого тома (такое общее заглавие имели в нем «Посолонь» и «К Морю-Океану») обратил внимание проф А В Рыстенко. «Интерес к старым обрядам, вырождающимся и превращающимся в детские игры и забавы, с одной стороны; дети, детский мир — с другой, — вот

две силы, определявшие и направлявшие творчество Ремизова в области пьес, подобных собранным в VI томе его сочинений» (Рыстенко А. В. Заметки о сочинениях Алексея Ремизова. Одесса, 1913 С. 66). В этой монографии Рыстенко справедливо отмечает скрытую автобиографическую основу цикла «К Морю-Океану». Впоследствии Ремизов утверждал: «„Посолонь“ и „К Морю-Океану“, в сущности, рассказы о знакомых и приятелях моих из мира невидимого — „чертячьего“» (Алексей Ремизов о себе // Ремизов А. Избранное / Сост., прим и предисл. А. А. Данилевского. Л., 1991. С 548). О поэтической природе ремизовского таланта, раскрывшейся в этих сказках, восторженно отзывался Б. Садовской: «Большая ошибка считать Ремизова только беллетристом, только рассказчиком, — он поэт, и поэт большой, подлинный. Книга лирики его — это „Посолонь“ и „К морю-океану“ — целый том, переполненный красотами неоценимой прелести: колчан перламутровый, полный жемчуга и самоцветных камней» (Садовской Б. Настоящий // Современник. 1912. № 5. С. 308). Примечательно, что, по мнению Садовского, книгами «Посолонь» и «Лимонарь» Ремизов подтвердил свою причастность к эстетике символизма: «Как поэт метафоры, понимаемой в смысле символа, Ремизов должен быть причислен к писателям-символистам, и в этом отношении он, как воссоздатель национального творчества, может быть назван поэтом будущего» (Там же. С. 309) К числу нововведений шестого тома Сочинений относятся примечания Работа над ними велась еще в пору создания первой редакции «Посолони» (1907) В письме к В. Я. Брюсову от 25 ноября 1906 года Ремизов делился своими планами· «Посылаю „Калéчину-Малéчину“ . Если не выйдет какого-нибудь недоразумения, то она должна попасть в книгу „Посолонь“. А книгу обещал издать Рябушинский к Рождеству. <...> В конце книги помещу примечание (Беру за образец издание «Венка»). Боюсь своих несуразностей Насколько могу, напишу строго» (Брюсов В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым С. 201—203) Небольшой комментарий к «посолонным» сказкам был впервые опубликован в «Золотом руне» (1906. № 7—9), но в книгу 1907 года так и не вошел. В недатированном письме, относящемся к концу ноября — началу декабря 1906 года, Курсинский писал Ремизову: «<...> я думаю, что примечания лучше не печатать в отд<ельном> изд<ании>. А то Вы опять рассердитесь за насекомое, которое любит котов кусать (т. е. за «блохи»-опечатки. — *И Д*)» (РНБ Ф 634 Оп. 1. Ед.хр 135. Л. 14) И так как корректуры писатель от редакции так и не дождался, самоуправство Курсинского осталось в силе 17 сентября 1908 года в газете «Новая Русь» (№ 33) было помещено следующее сообщение: «В „Золотом Руне“ будут напечатаны большие примечания к „Посолони“, книге Ремизова, написанные самим автором и снабженные рисунками художника М. Добужинского, и будут даны объяснения словам, непонятным для простых смертных». Но и эти примечания не появились на страницах журнала, и только в 1912 году были напечатаны в составе шестого тома Отсылки к научным источникам не соответствуют в них современным нормам библиографического описания, однако мы оставляем ремизовские примечания почти в нетронутом виде (ведь «Посолонь» — не научное, а

художественное сочинение), внеся лишь одно самое необходимое пояснение в угловых скобках. Находясь в эмиграции, Ремизов, вместе с другими своими книгами, еще раз опубликовал «Посолонь» в 1930 году в парижском издательстве дочерей Рахманинова Татьяны и Ирины «ТАИР», сделав для этого издания новую редакцию (третья редакция сборника републикована нами в 1996 году). 19 апреля 1929 года он выступил на традиционном, пятом по счету авторском вечере с чтением отрывков из сочинений русских писателей, а также собственных произведений, в том числе и нескольких сказок из «Посолони». В печатной программе вечера Ремизов резюмировал свои многолетние размышления на эту тему: «В поэме (т. е. в «Посолони». — *И Д.*) представлена русская мифология, как она в веках сложилась и донесена русским народом в песнях, играх и сказках. Автор идет по русской земле и встречает не „мертвые души", а живых духов земли, воздуха и воды: все эти духи живут на русской земле, говорят по-русски и как-то входят в русскую долю, чаруя и крася закатом, сумерками и зорями» (цит. по: Письма А. М. Ремизова к В. В. Перемиловскому / Подгот. текста Т. С. Царьковой; Вступит. статья и прим. А. М. Грачевой // Русская литература. 1990. № 2 С. 212). Работа над «Посолонью», в том числе и ее иллюстрирование автором, продолжалась вплоть до самой смерти писателя Воистину, она стала книгой, прошедшей через всю его жизнь, тем краеугольным камнем, который лег в основание ремизовского творчества.

С. 3. *Ремизова (урожд. Довгелло) Серафима Павловна* (1876—1943) — жена А. М. Ремизова; профессионально занималась русской палеографией, читала специальный курс в Сорбонне. Ей посвящены многие книги писателя. В настоящем томе лишь один сборник «Заветные сказы» не имеет такого посвящения.

ПОСОЛОНЬ

С. 5. *Иванов Вячеслав Иванович* (1866—1949) — поэт, драматург, критик, теоретик символизма, филолог-классик В конце 1900-х — начале 1910-х годов Ремизова связывали с ним дружеские отношения, а также общие интересы в области мифотворчества О реакции Иванова на посвящение ему «Посолони» см. в преамбуле к настоящему комментарию.

З а с н и, м о я д е т о ч к а м и л а я!

Впервые опубликовано: Северный край (Ярославль). 1903. 6 мая. № 118. С. 2; под названием : «Над колыбелькою».

Рукописные источники: «Над колыбелью. Наташе» — автограф — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед.хр. 33.

С. 7. *Наташа* — Ремизова Наталья Алексеевна (1904—1943), дочь писателя. Образ маленькой Наташи — Зайки, Лейлы; ее «детские» слова (Ведмедюшка, Алалей-Алексей, афта); игрушки, которые собирал для нее отец и которые стали героями «посолонных» сказок, — важные составляющие неповторимого мира ремизовской книги. Подробнее о ее взаимоотношениях с родителями см., напри-

мер, главы «Посолонь» и «Наташа Ремизова» в книге Н. В. Резниковой «Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове» (Berkeley, 1980. С. 32—59).

ВЕСНА-КРАСНА

Монашек

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 7—9. С 121—122.

Рукописные источники: «Монашек» — автограф <1926> — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед хр. 3.

Красочки

Впервые опубликовано· Золотое руно. 1906 № 7—9. С. 122—123.

Рукописные источники: «Красочки». Либретто для пантомимы — автограф рукой Г Л. Ловцкого <1912> — РГАЛИ Ф 2730 Оп. 1. Ед хр. 4 Л 2—4.

С. 12. *Зажига* — тот, кто поджигает, подстрекает к чему-либо, зачинщик.

Кострома

Впервые опубликовано Золотое руно. 1906 № 7—9. С 124—125.

Рукописные источники: 1) «Кострома». Сказка — автограф <1926> — ИРЛИ Ф. 256. Оп. 1. Ед.хр. 4; 2) Отрывок о Костроме — автограф — РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед хр. 92.

С. 13. *Овин* — строение для сушки хлеба в снопах при помощи огня, который разводится в специальной яме или курной печи.

Айда — пошли.

С. 14. *Лататы* — слово, выражающее звук при беге.

Кошки и мышки

Впервые опубликовано· Золотое руно 1906. № 7—9. С. 125—126.

С. 17. *Кон* — место игры или пляски, хоровода.

Гуси-лебеди

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 7—9. С. 127; под названием: «Гуси».

Кукушка

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907.

Рукописные источники: «Картинки, сказки и про Петьку». № 6. Кукушка — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 571.

С. 20. *Запашный* — душистый, с сильным запахом.

У лисы бал

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907.

Рукописные источники: «Картинки, сказки и про Петьку». № 3. У лисы бал — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 571.

ЛЕТО КРАСНОЕ

Калечина-Малечина

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907.

Рукописные источники: 1) «Калечина-Малечина» — автограф — РГАЛИ.

Ф. 420. Оп. 1. Ед.хр. 32; 2) «Калечина-Малечина» — автограф рукой В. А. Сенилова <1900-е годы> — РГАЛИ. Ф. 952. Оп. 1. Ед. хр. 668.

С. 23. *Городецкий Сергей Митрофанович* (1884—1967) — поэт, прозаик, критик. Его сборники «Ярь» и «Перун», основанные на фольклорном материале, вышли в свет одновременно с книгой «Посолонь» в 1907 году. Поэтому во многих рецензиях на произведения как Ремизова, так и Городецкого, писателей объединяли в «устойчивую пару» по сходству творческих интересов, проявившемуся в обращении к фольклорной традиции (подробнее об этом см.: Доценко С. Н. Два подхода к фольклору: Городецкий и Ремизов // Литературный процесс и проблемы литературной культуры. Таллинн, 1988. С. 51—54). Некоторое время Ремизов был связан с Городецким приятельскими отношениями (см. об этом в письмах Городецкого к Ремизову 1906—1912 годов: РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 95).

Черный петух

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 10. С. 39—40.

Рукописные источники: «Белун и другие сказки». № 2. Черный петух — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 574.

С. 24 *Тын* — деревянный сплошной забор, частокол

С. 25. *Клеть* — холодная (неотапливаемая) половина избы, через сени, или отдельное строение, чулан, кладовая, летом в ней спят, там же кладут новобрачных.

С. 26. *Соха* — вилообразная (т. е. раздвоенная на конце) палка, шест или жердь, такая палка — рассоха — является обязательным элементом одноименного сельскохозяйственного орудия.

Верея — столб, на который навешивается створка ворот; иногда так называют воротные крючья и петли

Богомолье

Впервые опубликовано: Тропинка. 1906. № 10. С. 469—470.

Рукописные источники: 1) «Богомолье» — автограф <1905> — ИРЛИ. Ф. 256 Оп. 1. Ед.хр. 2; 2) «Богомолье» — автограф <1927> — ИРЛИ Ф 256. Оп. 1. Ед. хр. 27; 3) «Картинки, сказки и про Петьку». № 7. Богомолье — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172 Ед.хр. 571.

С. 27. *...то медведя, то козла начнет представлять...* — Аллюзия на святочные игрища; Медведь и Козел — святочные маски.

Уморились — здесь: устали.

...Господи помилуй пел... — Молитвенный стих, обычный рефрен всякой просительной молитвы.

Купальские огни

Впервые опубликовано· Золотое руно 1906 № 10. С 41.

Рукописные источники· «Белун и другие сказки» № 5 Купальские огни — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ Ф 172 Ед.хр 574

С. 28. *Погост* — здесь· кладбище

С. 29 *Развилистый* — образующий развилину, вилы, т. е. раздваивающийся.

С. 29. *Ярый* — огненный, красный.

Руно — здесь имеются в виду корни дуба.

С. 30. *Зобатый* — здесь: глядящий с жадностью.

Насыпной перстенек — т. е. украшенный мелкими камешками.

Ледящий (ледащий) — тощий.

Алатырь — мифический бел-горюч камень, который лежит на морском дне или на острове Буяне; упоминается в сказках и заговорах.

Воробьиная ночь

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907.

Рукописные источники: «Белун и другие сказки». № 6 Воробьиная ночь — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед хр. 574.

С. 31. *Рахманный* — вялый, хилый, смирный, простоватый, глуповатый; однако употребляется также и в совершенно другом значении: веселый, разгульный, щеголь.

Раскунежиться — расстонаться, разохаться, разгореваться.

С. 32. *Ворушить* — ворочать, шевелить, копаться или рыться в чем-либо.

Борода

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907.

Рукописные источники: «Белун и другие сказки». № 7. Борода — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 574.

С. 32. *Тын* — см. прим. к С. 24.

Спасов день — церковный праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, отмечается 6 августа ст. ст.; именуется также Яблочным Спасом, так как в этот день в церковь для благословения приносят яблоки и другие фрукты и овощи, а также мед, которые до того (за исключением огурцов) в прежние времена не употребляли в пищу, считая это грехом.

С. 33. *Кон* — см. прим. к С. 17.

Илья Громовник — Имеется в виду св. пророк Илия, память которого церковь отмечает 20 июля ст. ст. С древних времен в народном сознании этот святой стал заместителем Зевса и Перуна. Считается, что он разъезжает по небу в огненной колеснице, мечет громы и молнии, а также посылает на землю дождь, способствуя ее плодородию

Кикимора

Впервые опубликовано: Северные цветы ассирийские. М., 1905. Вып 4 С. 76.

Рукописные источники: 1) «Кикимора» — автограф — РГАЛИ Ф 420. Оп. 1. Ед.хр. 12; 2) «Белун и другие сказки» № 8. Кикимора — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 574.

С. 34. *...с ужимкою крещенской маски...* — Подразумеваются святочные маски.

Бабье лето

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 10. С. 42.

С. 36. *Озимь* — хлеб, высеваемый осенью и зимующий осенним всходом под снегом.

С. 37. *Угóда* — то, что приятно, полезно, нравится, нужно, желанно.

Змей

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 10. С. 43—44.

Рукописные источники 1) «Змей» — автограф <1927> — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед.хр 27, 2) «Картинки, сказки и про Петьку». № 8. Змей — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 571.

С. 38. *Воздвиженье* — церковный праздник Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, отмечается 14 сентября ст. ст.

С. 39. *Покров* — церковный праздник Покрова Пресвятыя Богородицы, отмечается 1 октября ст. ст.

Разрешение пут

Впервые опубликовано· Чортов лог и Полунощное солнце. СПб., 1908 С. 266—267.

Плача

Впервые опубликовано: Курьер. 1902. 8 сент. № 248. С. 3, под названием: «Плач девушки перед замужеством»; под псевдонимом: Н. Молдаванов. Эта публикация была первой в писательской биографии Ремизова. Впоследствии он неизменно подчеркивал, что лирический характер этого текста определил направление и тональность его дальнейшего творчества.

Троецыпленица

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907.

С. 42. *Троецыпленица.* — Описание обряда «моления кур» (см. прим. Ремизова) было отмечено известным фольклористом Н. Е. Ончуковым как безусловное достижение писателя, свидетельствующее о его глубоких знаниях в области этнографии. 16 апреля 1907 года он писал Ремизову: «Очень благодарю Вас за присылку „Посолони“. Вчера же всю книжку прочел и подивился основательному знакомству автора с этнографической литературой. Даже „Троецыплятницу“ выкопали! <...> Такого усердного читателя, как Вы, нынче поискать» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед.хр. 47).

Свайка — толстый гвоздь или шип с большой головкой; при *игре в свайку* его берут в кулак, за стержень или хвост, и броском втыкают в землю, стремясь попасть в кольцо.

С. 43. *Корчага* — большой глиняный или чугунный горшок.

Онуча — кусок ткани, которым оборачивают ногу перед тем, как одеть на нее сапог или лапоть; портянка

Зга — темь, потемки, темнота.

Ночь темная

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907

Рукописные источники: «Белун и другие сказки». № 9. Ночь темная — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед хр. 574.

С. 44. *Инда* — так что, даже.

С н е г у р у ш к а

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 10. С. 45; под названием: «Снегурочка».

С. 46. *...крохотная с белыми волосками.* — Прототипом Снегурушки является дочь писателя Наташа.

С. 47. *Ведмедюшка* — «детское» слово Наташи Ремизовой. Известен рисунок писателя «Натуся с ведьмедюшком» (1905), изображающий маленькую Наташу с игрушечным медведем (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 4. Ед.хр. 27).

Алалей — Так Наташа Ремизова в раннем детстве выговаривала имя отца Алексей. Во вторую часть «Посолони» Ремизов ввел в качестве главных действующих лиц Алалея и Лейлу (ее прототипом была все та же Наташа) Имя Лейла возникло по созвучию с именем Алалей и, благодаря «восточным» обертонам, вызывающим у читателя ассоциации со сказками «Тысячи и одной ночи», придало этой паре волшебный колорит. В начале 1911 года писатель работал над либретто балета «Алалей и Лейла» (его развернутый план сохранился в письме Ремизова к И. А. Рязановскому от 9/22 января 1911 года: РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед.хр. 31. Л. 15). Музыку для балета должен был написать А. К. Лядов. Однако в конце концов постановка так и не состоялась. Само драматическое сочинение Ремизова, для которого он впоследствии изобрел особое жанровое определение «русалия», было опубликовано, вместе с другой «русалией» «Ясня», в Берлине в 1922 году отдельным изданием Подробнее об этом эпизоде творческой биографии писателя см.: Встречи С. 167—170.

ЗИМА ЛЮТАЯ

К о р о ч у н

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1906. № 10. С. 45—46.

М е д в е д ю ш к а

Впервые опубликовано: Новый путь. 1903. № 6. С. 56—63; с подзаголовком: «Галин сон».

Рукописные источники: «Картинки, сказки и про Петьку». № 5. Медведюшка — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 571.

С. 51. *Ломовые* — лошади, вместе с извозчиком и специальной телегой, предназначенные для перевозки тяжестей.

М о р щ и н к а

Впервые опубликовано отдельным изданием: Морщинка. СПб., 1907.

С. 57. *Кургузка* — куцое животное.

С. 62. *Драла́* — пуститься наутек, побежать.

П а л ь ц ы

Впервые опубликовано: Тропинка. 1909. № 1. С. 18—19; под названием «Сказка о пальцах».

Рукописные источники: «Пальцы». Сказка — журнальная вырезка <1919> — РГАЛИ. Ф. 600. Оп. 2. Ед.хр. 81. Л. 2.

Зайчик Иваныч

Впервые опубликовано: Тропинка. 1906. № 8 С. 393—408; под названием: «Сказка о Медведе, трех сестрах и Зайчике Иваныче».

С. 64. *Клеть* — см. прим. к С. 25.

...отмалчивался зайчик, поводил малиновым усом... — «Прототипом» этого персонажа является игрушка из коллекции Ремизова «Заяц-малиновые усы». В интервью газете «Утро России» писатель дал следующую характеристику своему зайцу: «У него медведь отъел хвост по доброте своей медвежьей и малиной усы вымазал. Заяц против силы не пойдет» (Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2.). А корреспонденту «Огонька» так объяснил его «замусленность, затертость»: «Сколько он ночей с ребенком спал, сколько ему сказок рассказывал!» (*А*. В волшебном царстве. А. М. Ремизов и его коллекция // Огонек. 1911. № 44. С.[11]).

С. 65. *Прикурнуть* — прилечь отдохнуть, уснуть на короткое время, свернувшись, скорчась.

С. 69. *Бисерные кошельки.* — Имеются в виду шитые бисером кошельки, фамильные раритеты, принадлежавшие С. П. Ремизовой-Довгелло. Н. В. Резникова упоминает эту коллекцию, описывая парижскую квартиру Ремизовых: «В углу, перед иконами горела лампадка, освещая розовым светом бисер, развешанный по стенам. Большая часть бисера вывезена из родного дома Серафимы Павловны Ремизовой, урожденной Довгелло (литовский дворянский род). Мать ее — Самойлович, они потомки гетмана. Бисерные изделия — искусная работа бабушек, теток, крепостных девушек: тончайшее рукоделие иглой или крючком: кошельки («бисерные кошельки» в сказке из Посолони), картинки, шкатулка, чубук» (Резникова Н. В. Огненная память. С. 23). 13 февраля 1906 года, в то самое время, когда Ремизов работал над «Посолонью», С. А. Соколов, тогдашний редактор «Золотого руна», обратился к нему с просьбой предоставить эти «старинные вышивки» для публикации их фотографий в журнале (см.: РНБ. Ф. 634.Оп. 1. Ед.хр. 203. Л. 3). И вскоре такие снимки появились в «Золотом руне» (1906. № 3. С. 26, 28—29).

Летось — т. е. прошлым летом или в прошлом году.

Зайка

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907; под названием: «Котофей Котофеич».

С. 71. *Петушок-золотой-гребешок* — игрушка, принадлежавшая Наташе Ремизовой. Писатель упоминает ее в письме к В. Я. Брюсову от 9 января 1906 года: «<...> Наташу не покажу Вам. Она за тридевять земель от Петербурга. Покажу только ее спутников: лягушку-квакушку, медведюшку, да петушка — золотого гребешка» (Брюсов В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым. С. 194).

С. 73. *Отдушник* — отверстие в печи для выпуска тепла.

Кум — крестный отец по отношению к родителям и другим близким родст-

венникам своего восприемника, а также по отношению к крестной матери; эта связь взаимообразна: так как все участники кумовства состоят в духовном родстве, на них распространяется общее поименование.

С. 74. *Ужотко* — погодя, позже, после, как будет пора, не теперь.

Мурло — рыло, морда, рожа.

С. 76. *Шесток* — площадка перед русской печью, между устьем и топкой, куда, в левый заулок, загребается жар, а посередине иногда разводится огонь под таганом (железным обручем на ножках).

С. 77. *Бисерные кошельки* — см. прим. к С. 69.

С. 78. *Фунт* — мера веса, равная 0,40951241 кг; отменена в 1918 году.

С. 79. *Жог* — жулик, плут, воришка.

...Артамошку — гнусного да Епифашку — скусного. — О чрезвычайной популярности «Посолони» в ближайшем литературном окружении писателя, когда ее персонажи превращались в имена нарицательные и широко использовались в бытовом мифо- и жизнетворчестве не только самим Ремизовым, свидетельствует следующий пассаж из парижского письма к нему М. А. Волошина конца 1900-х годов: «Мы об Вас постоянно говорим и вспоминаем (мы = я со своим кузеном Яксом живу — Вы его у Вяч. Иван<ова> видели). Когда мы обед себе готовим, то это у нас называется „макароны в плевательнице (солененькие)", а „petits beurres" известны под именем собачьих будок [т. е. тех, что съели Артамошка с Епифашкой на С. 80. — *И. Д.*]. Артамошкой с Епифашкой у нас состоят Ал. Толстой с женой. Они очень милые и нисколько не обижаются и даже сами друг друга так называют. Толстой теперь стал стихи гораздо лучше писать. Мы с ним очень подружились. Он в Петербурге прикидывался совсем иным — взрослым. А относительно котов у нас очень хорошо: в мастерской стеклянная крыша и на ней все происходит. Коты матерые черные, в ошейниках и с бубенчиками. Одного третьего дня при мне под воротами брили: здесь такие специальные котобреи и песьи цирульники (что собак подо львов стригут) ходят. А раз в лунную ночь у нас кошка на крыше рожала. Толстой иногда к ним на крышу лазит, чтобы их валерьяновыми корешками кормить» (ГЛМ. Ф. 227. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 1—1, об.).

Медвежья колыбельная песня

Впервые опубликовано: Посолонь — 1907; под названием: «Колыбельная песня».

Рукописные источники: «Картинки, сказки и про Петьку». № 4. Медвежья колыбельная — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 571.

Ремизовская песенка является переводом латышской народной колыбельной «Айя-жу-жу, лача берни...». Подробнее об истории этого текста см.: Тименчик Р. Литературные приключения латышской колыбельной // Даугава (Рига). 1983. № 9. С. 119—120.

К МОРЮ-ОКЕАНУ

МЫШИНЫМИ НОРАМИ

Котофей Котофеич

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 11—12 С. 46—49; под названием: «Кот Котофей Котофеич отпускает нас к Морю-Океану».

С. 93. *...тигр — железные ноги ~ птица — железный клюв...* — Игрушки из коллекции Ремизова, который так охарактеризовал их в своем интервью П. Кожевникову: «<...> Птица — один клюв, Лунь-птица. Когда она пролетает, начинает светить луна. Зверь-тигр-железные ноги (живет в пустыне ледовитой)» (Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2).

Байбак — степной сурок.

Алалей и Лейла — см. прим. к С. 47.

Посолонь — см. прим. Ремизова к С. 5.

С. 94. *На Алексея — человека Божьего с гор потекла вода...* — Церковный праздник преподобного Алексия человека Божия отмечается 17 марта ст. ст. В народе этот святой именуется также Теплым, потому что около дня его памяти усиливается весеннее тепло, и в горах начинается таянье снегов. На этом представлении основаны пословицы: на «Алексея человека Божия — с гор потоки» и на «Алексея — с гор вода».

С. 95. *Залесная безрукая баба.* — Имеется в виду игрушка из коллекции Ремизова «Солнечная Баба — трехголовая кукла с карими глазами из смолы». По мнению писателя: «Такая, должно быть, стояла в великой Биармии (Перми). В старых мифологиях говорится, что был в Перми идол Солнечной Бабы, и ему поклонялись. Смола сливная (древесный клей) у нее вместо глаз, и одно лицо воплощает материнство, другое — ребячество, а третье — ярь, исступление, гнев» (*А.* В волшебном царстве. А. М. Ремизов и его коллекция. С. [11]).

С. 98. *Сват* — состоящий в свойстве; обычно так взаимно зовут друг друга родители молодых и их родственники.

Баутчик — говорун, краснобай, рассказчик, баильщик.

Волк-Самоглот

Впервые опубликовано: Всеобщий журнал. 1911. № 2. Стлб. 89—96.

С. 100. *Стена холста* — раздел основы поперек, 6—10 аршин (в одном аршине 0,711 метра), конец холста.

С. 101. *Шведская могила* — так до сих пор в Новгородской и Петербургской (Ленинградской) областях называют древние варяжские могильники-курганы.

Поемный берег — пойменный, заливаемый вешней водой.

Наброжий — случайно встреченный.

Хитник — злой, нечистый дух.

Лядащик — от *ляд:* дух пакостей, нечистый, черт.

Ярун — злой, лютый, жестокий или же обитающий в яру нечистый дух.

С. 101. *Шпыня* — от *шпынь*· шпенек, колючка, острый шип, а также шут, насмешник, балагур.

С. 102. *Кот-и-лев.* — Прототипом этого персонажа послужил приятель Ремизова, журналист Александр Иванович Котылев (?—1917). Ремизов нередко упоминает о нем в своих автобиографических книгах: «<...> мой благодетель и кум Александр Иванович Котылев — король петербургского шантажа, газетной утки и скандала» (Встречи. С. 14). И пишет о методах, которыми пользовался Котылев, покровительствуя писателю, — «не только убеждением, но, как узнал я потом, и мордобоем» (Кукха. С. 81). Котылев был одним из участников нашумевшего в 1909 году скандала в связи с обвинением Ремизова в плагиате. Подробно излагая эту историю в книге «Встречи. Петербургский буерак» и говоря о роли заступника, которую принял на себя Котылев, Ремизов описывает стиль его поведения следующим образом: « — Мерзавцу, — возгласил Котылев <...> — в театре публично набьем морду. <...> А ведь Котылев, вдруг сказалось, убежден, что я содрал сказку, и попался» (Встречи. С. 24). Предлагая свою этимологию фамилии Котылева (кот-и-лев), Ремизов, безусловно, учитывал семантику кота и льва в народной мифологии (хитроумие первого, сила и независимость второго). В позднейших мемуарных книгах образ Котылева подверстывался под эти определения, а столь удачно найденный в «Посолони» мифологический эквивалент имени стал квинтэссенцией его характера.

С. 103. *Лядащий* — см. прим. к С. 101 и одновременно к С. 30.

Весенний гром

Впервые опубликовано: Луч света. 1909. 15(28) янв. № 1. С. 3.

Рукописные источники: «Белун и другие сказки». № 3. Весенний гром — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 574.

С. 105. *Троица.* — Церковный праздник св. Троицы отмечается в воскресенье на Неделе Пятидесятницы, восьмой по счету после Пасхи.

Ремез — первая пташка

Впервые опубликовано: Альманах 17. СПб., 1909. С. 161—162.

Рукописные источники: «РЕМЕЗ и другие сказки». № 1. Ремез — первая пташка — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 572.

С. 105. *...знает много мудреных докук, балагурья...* — т. е. «бесконечных» (докучных) стишков или сказок, а также веселых, потешных рассказов (балагурья). Ср. название следующего большого сборника сказок Ремизова «Докука и балагурье» (1914).

Инда — см. прим. к С. 44.

Угор — место, идущее в гору; кряж по берегу реки; крутой, высокий берег реки.

С. 106. *...про Ремеза — первую пташку!* — Образ птицы ремеза, впервые появившийся в этой новелле, со временем становится одной из ключевых мифологем в автохарактеристике Ремизова, которая впоследствии развивалась и дополнялась в ряде других текстов (см., например: Ремизов А. Ремез-птица // Альманах «Гриф». 1903—1913. М., 1914. С. 136). В частности, именно к назва-

нию этой птицы, а не к глаголу «ремизить», писатель возводит этимологию своей фамилии (см. об этом: Алексей Ремизов о себе С. 548, Подстриженными глазами. С. 233—234) Подробнее о роли птицы ремеза в его приватной мифологии см.: Безродный М. В. Об одной подписи Алексея Ремизова // Русская литература. 1990. № 1. С. 226.

С. 106. *Ремезить* — суетиться, торопиться, егозить, лебезить.

Белун

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1907. № 7—9. С. 74.

Рукописные источники. 1) «Белун» — журнальный оттиск <1907> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед.хр 1; 2) «Белун и другие сказки». № 1. Белун — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 574.

С. 107. *Белун* — в белорусских преданиях старец в белых одеждах, с белой бородой и посохом, который является только днем и выводит заблудившихся из леса; в его образе соединились черты бога-солнца и бога-громовника (Перуна и Даждьбога). См. об этом: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. М., 1868. Т. 2. С. 93—94.

Украсливый — ясный, теплый и тихий, солнечный.

Собачья доля

Впервые опубликовано: Солнце России. 1911. № 10(50). С. 8. Позже эта сказка дала название сборнику рассказов Ремизова, Е. Замятина, И. Соколова-Микитова, В. Шишкова и В. Ирецкого «Собачья доля» (Берлин, 1922), где и была вновь републикована.

Рукописные источники: «РЕМЕЗ и другие сказки». № 2. Собачья доля — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 572.

С. 108. *Погода* — непогода, ненастье; дождь, снег, метель, буря (в этих значениях слово употреблялось на Руси повсеместно, кроме западных и южных областей).

Божья пчелка

Впервые опубликовано: Альманах 17. СПб., 1909. С. 159—160; под названием «Пчелы».

Рукописные источники: «РЕМЕЗ и другие сказки». № 3. Пчелка — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 572.

С. 110. *Ярый* — см. прим. к С. 29.

Лузь, лузи — луг, луга.

Зоря́ или *Луговая зоря́* — растение чечина, жабник, кленовый или сильный цвет, лютик.

Спасов день — см. прим. к С. 32.

С. 111. *Затрясье* — трясина, болото.

Кочкорье — болото, покрытое кочками.

...соловецкий угодник Зосима и другой угодник Савватий... — Преп Савватий (умер в 1435 году) предсказал возникновение Соловецкого монастыря Его

мощи были перенесены на Соловецкий остров основателем Соловецкой обители преп. игуменом Зосимой (умер в 1478 году). По преданию именно Зосима и Савватий первыми ввели пчеловодство. Поэтому они повсеместно считались покровителями как самих пчел, так и бортничества. В праздник Благовещения, в Вербное и Светлое Христово Воскресение между заутренями и обеднями на пасеках и перед иконой «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие» служили специальный молебен об изобилии пчел и сохранении их в ульях.

С. 111. *Вёдро* — ясная, тихая, сухая и вообще хорошая погода.

Проливной дождь

Впервые опубликовано: Альманах 17. СПб., 1909. С. 163.

Рукописные источники: «Белун и другие сказки». № 4. Проливной дождь — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 574.

Колокольный мертвец

Впервые опубликовано: Свободным художествам. 1910. № 1. С. 22—24.

С. 112. *Подоконница* — та, что прогуливается или толчется под чужими окнами, заглядывает и подслушивает.

С. 113. *Зыбун* — трясина, зыбкая почва; болото, которое качается под ногами.

С. 114. *Сив-чубарый* — мешаная, нечистая конская масть: примесь рыжей шерсти к серой или к черной.

Полунощник — северо-восточный ветер, норд-ост.

Граять — каркать.

С. 115. *Колотило* — клепало, железная доска, в которую стучат сторожа; а также то, чем колотят. Иногда используется в качестве набата вместо колокола.

...на посту оскоромился... — т. е. нарушил пост; начав поститься, поел скоромного (мясной или молочной пищи).

Задушницы

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 1. С. 42.

С. 117. *Зеленая неделя* —неделя Святых Отец, седьмая после Пасхи.

Ангел-хранитель

Впервые опубликовано: Северное сияние. 1909. № 4. С. 44—45.

С. 117. *Утолоченый* — притоптаный, прибитый.

Кряковистый — кряжистый, здоровый, крепкий.

Стреконуть — прыгнуть, прянуть, скокнуть, сигануть.

Прыскучий зверь — рыскучий, дикий.

Истяжный — сухой

С. 118. *Ходовая тропа* — предназначенная для пешеходов или скотопрогонная, т. е. та, по которой не ездят.

Великий четверг — четверг на Страстной неделе.

Спорыш

Впервые опубликовано: Журнал театра Литературно-художественного общества. 1909. № 6. С. 10.

С. 121. *Гулливый* — разгульный, праздничный.

Лютые звери

Впервые опубликовано: Всеобщая газета. 1911. 31 дек. (1912. 13 янв.). № 827. С. 1—2.

Рукописные источники: «РЕМЕЗ и другие сказки». № 4. Лютые звери — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 572.

С. 121. *Верховский Юрий Никандрович* (1878—1956) — поэт, критик, литератор; нередко упоминается Ремизовым в автобиографической прозе, переписке, дарственных надписях под прозвищем Слон Слонович. Ср. в дарственной надписи А А. Блоку на книге «Заветные сказы» «Воспоминание о старине допотопной, когда на острове водился слон (Ю. Верховский) <...>» (Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 21). Введение прозвища, употребимого в узком кругу приятелей и знакомых писателя, вносит в текст интимный элемент, в нем расставляются дополнительные акценты, понятные только посвященным в «домашнюю» мифологию Ремизова. Этот прием впоследствии стал излюбленным в его творчестве.

С. 122. *Сивый* — темно-сизый, серый и седой, темный с сединой.

С. 123. *Слон Слонович* — см. прим. к С. 121.

Грива — хребет, гребень, гряда, в том числе и несколько возвышенная над низменностью или болотом.

С. 124 *Опростать* — опорожнить, очистить, освободить от чего-либо.

Ведогонь

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 1. С. 43.

С. 127. *Посторонь* — по сторонам, возле, близ, у, при.

Рудеть — становиться рыже-бурым или темно-красным.

Утреник — весенний или осенний мороз по ночам, до восхода солнца.

Доступить — приблизиться, подойти, приступить.

Пегий — пестрый, двуцветный: в светлых пятнах по темному полю, или наоборот.

С. 128. *Зазимье* — заморозки, первые морозы, ранняя пороша, первый снежок.

Летавица

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1909. № 4. С. 46—50; под названием: «Ночь у Вия».

С. 129. *...это терем старого Вия.* — Один из ранних примеров использования образной системы Гоголя, в том числе цитат из его произведений, в качестве самостоятельных мифологем. Наиболее последовательно этот прием был реализован Ремизовым в книге «Огонь вещей» (Париж, 1954).

С. 130. *Червонный* — красный, алый, ярко-красный.

...громы Ильинские... — см. прим. к С. 33.

С. 131. *...у Троице-Сергия, в Соловках у Белого моря...* — т. е. в Троице-Сергиевой лавре и в Соловецком монастыре.

На Бориса и Глеба. — Церковный праздник памяти первых русских святых

князей Бориса и Глеба (умерли в 1015 году), отмечается 24 июля ст. ст.

С. 132. *Охолонуть* — остыть.

Бесприкладный — небывалый.

С. 133. *Сиверко* — холодно; резкий, холодный ветер, северный или северо-восточный, зимой во время сильного мороза; сырая, пронзительная погода

ЗМЕИНЫМИ ТРОПАМИ

Копоул Копоулыч

Впервые опубликовано: Жатва. М., 1911. С. 13—15; под названием: «В Кощеевом царстве».

С. 134. *Меч-самосек* — игрушка из коллекции Ремизова.

Недолукий — хилый, хворый, слабый в работе.

С. 135. *...на Наума...* — память св. пророка Наума отмечается 1 декабря ст. ст.

Никольщина — так называемая братчина, т. е. совместный молебен всем приходом, завершающийся обильным обедом, устроенным в складчину, который приурочен к дню памяти св. Николая, 6 декабря ст. ст. (Никола Зимний) или празднику Перенесения мощей святителя чудотворца Николая, 9 мая ст. ст. (Никола Вешний). Особенно пышные Никольщины устраивались во время храмового праздника.

...много всяких докук и балагурья... — см. прим. к С. 105.

Чуфыриться — чваниться, важничать.

Упырь

Впервые опубликовано: Всеобщий ежемесячник. 1911. № 1. С. 19—21.

С. 136. *Наброжая* — см. прим. к С. 101.

Поземелица — метель снизу, вьюга от земли.

Закуделить — дуть.

Сытовый — от *сыть*· пища, все, что насыщает

С. 137. *Ржавец* — ржавое болото

Шары-бары — болтовня.

С. 138. *Колодья* — лежачие деревья в лесу.

Сон-трава

Впервые опубликовано: Ремизов А. Сочинения. СПб., [1911] Т. 6. С. 208—209.

Верба

Впервые опубликовано: Русская мысль. 1908. № 6 С 191—192

С. 140. *Я, последний и самый любимый, рожденный в Купальскую ночь...* — Ремизов подразумевает здесь самого себя: он был последним ребенком в семье и родился 24 июня ст. ст. в ночь на Ивана Купалу

Радуница

Впервые опубликовано: Речь. 1908 1(14) июня № 130 С. 2.

Каменная баба

Впервые опубликовано: Северное сияние. 1909. № 4. С. 46—47.

Рукописные источники: «РЕМЕЗ и другие сказки». № 5. Каменная баба — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 572.

С. 143. *Аржаной* — ржаной.

Соха — см. прим. к С. 26.

С. 144. *Духов день.* — Церковный праздник Сошествия Святого Духа, отмечается на следующий день после Троицы (см. прим. к с. 105), в понедельник.

Лужанки

Впервые опубликовано: Свободным художествам. 1910. № 1. С. 22.

Крес

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1908. № 1. С. 41—42.

С. 146 *Дыбучие мхи* — растущие в топком болоте, трясине.

Нежит

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1907. № 7—9. С. 73—74.

Рукописные источники: «Нежит» — журнальный оттиск <1907> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 1.

С. 148. *Егорьевы росы* — выпадающие 23 апреля ст. ст., в праздник св. великомученика Георгия Победоносца (Егорий Вешний); Юрьевой росой называется также освящаемая в этот день вода, которая, по народным представлениям, благотворно влияет на произрастание злаков в окропляемых ею полях.

С. 149. *Сыченый* — послащенный медом.

Ярый — см. прим. к С. 29.

Яр — обрывистый берег реки.

Коловертыш

Впервые опубликовано: Утро России. 1910. 8 сент. № 244. С. 2.

С. 150. *Коловертыш.* — Игрушка из коллекции Ремизова, представлявшая из себя голову на деревянном стержне. По словам писателя, он стоит «на камне сольвычегодском — всему помогает, ведьмин помощник» (Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2).

С. 151. *Вепрь* — дикий кабан.

...Шумку волки съели... — Действительный случай с любимой собакой художника Б. М. Кустодиева, которая постоянно жила в «Теремке», на его даче в Костромской губернии. Дочь Кустодиева Ирина вспоминала об этом происшествии: «В 1907 году в „Теремке" написан и мой портрет с собакой Шумкой (находится в Куйбышевском художественном музее). Шумка жил там постоянно, сопровождал папу на охоту. <...> (Шумку потом зимой съели волки; мы долго о нем вспоминали и горевали о его печальном конце)» (Борис Михайлович Кустодиев: Письма Статьи. Заметки. Интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. Воспоминания. Л., 1967. С. 316). Ремизов дружил не только с самим художником, который сделал несколько портретов писателя, но и с его детьми Ириной и Кириллом, поэтому он близко к сердцу воспринял печальную судьбу Шумки и не раз упоминал его в своих произведениях.

С. 152. *Кресало* — огниво

Х о в а л а

Впервые опубликовано: Золотое руно. 1907. № 7—9. С. 74—75.

Рукописные источники: «Ховала» — журнальный оттиск <1907> — РГАЛИ Ф. 420 Оп. 5. Ед.хр. 1.

С. 153. *Рига* — молотильный сарай с овином, крытый ток с сушилом

С. 154. *Страфил-птица.* — Игрушка из коллекции Ремизова «Красноглазая птица Строфиль», которая «молится Богу за морем» (см.: К о ж е в н и к о в П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2). Ср. упоминание Ремизовым этой мифической птицы в письме М. В. Сабашниковой от 19 января 1907 года· «В день Вашего Рождения Маргарита Васильевна восхотела Страфил-птица — всем птицам мать — попеть в огнепалимой башне на Ваших руках <. .>» (ИРЛИ Ф 562. Оп 5. Ед.хр. 97).

М а р а - М а р е н а

Впервые опубликовано· Цветник ОР. Кошница первая СПб., 1907 С 31—35

М а р у н

Впервые опубликовано: Свободным художествам. 1910. № 1. С. 24—25.

Рукописные источники: «РЕМЕЗ и другие сказки». № 6. Марун — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 572.

С. 156. *Ильинская муха* — считается, что после Ильина дня (20 июля ст. ст.) мухи перестают кусаться.

С. 156—157. *Далеко на море ~ есть острова Оланда — скалистый остров Бур-Бурун* — С 30 июля по 20 августа 1910 года Ремизов отдыхал на Аландских островах (о. Нагу и о. Вандрок) в Финляндии (см.: Р е м и з о в А. М. Адреса его и маршруты поездок. 1905—1912 // РНБ Ф. 634 Оп 1 Ед.хр. 3 Л. 14). С этими островами связано появление Маруна в ремизовской коллекции игрушек. Ср · «В центре коллекции, на столе, на картонном пьедестале находится „Марун“ (от лат. слова mare) — сучок с наростом, недавно найденный писателем на скале, на острове Вандроке, чрезвычайно напоминающий собой фантастическую харю. Это морское существо, царь острова Бур-Бурун (или Вандрока) Под ним его меч и щит» (К о ж е в н и к о в П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2) Далее здесь же упоминаются «две „каменные“ (роговые) рыбы: „Симпа“ и „Флюндра“, на которых держится остров „Бур-Бурун“».

Ягель — олений мох.

Р о ж а н и ц а

Впервые опубликовано: Зритель 1908. № 1. С. 2—3.

С. 157. *Денница* — утренняя звезда, заря.

С. 158. *Бесталанная* — несчастливая.

Б о л и - Б о ш к а

Впервые опубликовано: Северное сияние 1909. № 4 С. 48—49; под названием: «К Морю-Океану».

ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ

Народные сказки

Печатается по изданию: Докука и балагурье: Народные сказки. СПб.: Сирин, 1914 (вышло в свет 1 января 1914 года).

В книгу включены ремизовские обработки подлинных народных сказок, сделанные между 1905 и 1912 годами и публиковавшиеся тогда же в повременных изданиях и литературных сборниках (см. азбучный временник-указатель. С. 334—336). По свидетельству самого писателя, источником его интереса к фольклору стали первые детские впечатления от сказок «глухонемого» печника, няньки и особенно кормилицы — калужской песельницы и сказочницы Евгении Борисовны Петушковой, образ которой запечатлен в книгах «Докука и балагурье» и «Русские женщины» (об этом см.: Подстриженными глазами. С. 28; глава «Первые сказки»). Новое соприкосновение с народной культурой и непосредственными носителями фольклорной традиции произошло во время ссылки в Вологодскую губернию (1900—1903) в городе Усть-Сысольске. По мотивам зырянской мифологии была написана книга «Чортов лог и Полунощное солнце» (опубликована в 1908 году), после чего, как писал Ремизову К. Ф. Жаков 21 января 1908 года, за ним закрепилась репутация человека «не безучастного к „сказаниям" Зырян» и к «исчезающей „народной поэзии" Севера» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед.хр. 105). В начале 1905 года Ремизовы поселились в Петербурге, где вскоре познакомились с рядом собирателей и исследователей фольклора, в том числе с писателем М. М. Пришвиным, фольклористом и этнографом Н. Е. Ончуковым, академиком А. А. Шахматовым (подробнее об этих контактах см.: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову / Вступит. статья, подгот. текста и прим. Е. Р. Обатниной // Русская литература. 1995. № 3. С. 157—209; И в а н о в а Т. Г. Н. Е. Ончуков (Любительская линия в фольклористике) // Иванова Т. Г. Русская фольклористика начала XX века в биографических очерках. СПб., 1993. С. 178—179; Шахматову посвящена глава «Магнит» в книге «Подстриженными глазами»). Ремизовские пересказы вызвали горячее сочувствие в этой среде, чего нельзя сказать о критиках «нововременского» толка, летом 1909 года спровоцировавших инцидент с обвинением писателя в плагиате (см. помещенный в Приложениях ответ Ремизова на это обвинение, в котором он сформулировал свой подход к фольклорным материалам и принципы работы с народными сказками). Фольклористы, напротив, высоко ценили его бережное отношение к семантике архаического образа, а также безупречное языковое чутье и предлагали собственные записи сказок для литературной обработки (см., например: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову. С. 166). Сами записи предполагалось выпустить отдельным изданием. 16 апреля 1907 года Н. Е. Ончуков писал Ремизову: «Сочту не долгом, а удовольствием доставить свои сказки Вам, как только они выйдут из печати. Такого усердного читателя, как Вы, нынче поискать» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед.хр. 47). Сборник «Северные сказки» вышел в свет в конце 1908 года и вскоре

был предоставлен в распоряжение Ремизова Пришвиным (см. его письмо от 3 января 1909 года: Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову. С. 166) Пришвин обращал внимание Ремизова на особенно интересные, с его точки зрения, тексты для пересказа, а также передавал мнения своих знакомых, в частности, предложение И. А. Рязановского разработать конкретные тексты (№ 75 и 119) из этого сборника. Книга Ончукова имеет исключительно важное значение для «Докуки и балагурья». Она выступает не только в функции «протографа», из которого писатель заимствует тексты для пересказов, но и представляет самостоятельную ценность именно как свод сказок Русского Севера и в этом качестве соотносится с ремизовским сборником. Внутренняя ориентация на «Северные сказки» как целостное явление подчеркивается и тем, что Ремизов вводит в «Докуку и балагурье» пересказы собственных фольклорных записей (московской, сольвычегодской и грязовецкой), обнаруживая таким образом свою причастность к миру собирателей и исследователей народной сказки. О начале работы над книгой Ремизов вспоминал: «На праздник Рождества Христова началась докука с того, что мне очень понравились сказки — материалы сказочные почти недоступные и непонятные, не только рассказать, а часто и досказать — это моя задача» (Кодрянская. С. 166). К концу 1911 года начался процесс объединения отдельных сказок в циклы (в основном, по 2—3 сказки), которые публиковались в периодической печати. Впоследствии тексты большинства первоначальных циклов были перераспределены по разным отделам сборника. Приблизительно тогда же возникло и будущее название книги. 24 января 1912 года Ремизов писал М. М. Гаккебушу: «<...> есть у меня четыре сказки <...>. Основа сказок народная. „Плетение словес“ мое. Сказки могут быть напечатаны или каждая самостоятельно — I) Горе злосчастное, II) Кумушка, III) Обреченная, IV) Жадень-пальцы, — или все вместе, объединенные общим заглавием: ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ <...>» (РГАЛИ. Ф. 2571. Оп. 1. Ед.хр. 305). Это название наиболее точно выражает основную идею «Докуки и балагурья» как собирательного образа русской народной сказки, ведь «докучной» называется «бесконечная» сказка, а балагурство — «шутливая, забавная беседа» — передает атмосферу ее бытования в народной среде. Группируя тексты по шести разделам, Ремизов предлагал свою классификацию русской сказки. В названиях первых четырех разделов обозначены главные герои этих циклов: русские женщины, царь Соломон и царь Гороскат, воры, хозяева (т. е. представители мира низшей демонологии и прочая нежить). Пятый раздел «Мирские притчи» состоит из сказок, по своему пафосу тяготеющих к нравоучительной литературе. Шестой раздел «Глумы» (т. е. потеха, забава, шутки, смех) имеет кольцевую композицию: он открывается и заканчивается сказками про скоморохов, которые воспринимаются не только как персонажи этих двух сказок, но и как рассказчики остальных шести сказок цикла. Завершает книгу колядный стих, подчеркивающий ее хронологическую и жанровую приуроченность к Святкам, ибо, с точки зрения Ремизова, именно сказка является фольклорным эквивалентом литературного святочного рассказа. Авторские примечания в этом издании озаглавлены «Сказ». Ремизов впервые оформля-

ет их в виде азбучного временника-указателя, который одновременно выполняет и чисто информативную функцию, и имитирует научные формы подачи комментария. Тем самым еще раз подчеркивается некая условная «пограничность» подобного жанра, его причастность двум разным сферам современной культуры. После выхода в свет «Докуки и балагурья» писатель продолжал работать над сказочным материалом. Впоследствии цикл «Русские женщины» вырос в самостоятельную книгу, опубликованную под тем же названием в 1918 году (см. ниже). В 1923 году в Берлине вышел в свет расширенный и дополненный вариант «Докуки и балагурья» — «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым». Эта книга стала своеобразной «репликой» другого знаменитого собрания сказок — «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, и окончательно утвердила актуальность фольклора в русской прозе XX века.

РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Рукописные источники: «Образы русской женщины» — макет сборника; машинопись, газетные вырезки <1956> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед хр. 15.

Суженая

Рукописные источники: «Суженая» — автограф <1920—1930-е годы> — ЦРК АК. Кор. 12. Папка 11.

Текст-источник: Ончуков. № 120. Жена из могилы.

С. 185. *Советный* — рассудительный, разумный.

...на Кузьму-Демьяна. — Церковный праздник свв. бессребреников Косьмы и Дамиана, отмечается 1 июля ст. ст.

С. 186. *Красная горка* — первое воскресенье после Великого поста; название восходит к языческому празднику весны. С этого дня разрешается совершать браковенчание.

Желанная

Тексты-источники: Ончуков. № 96. Проклятóй внук; № 170. Пропавший молодой.

С. 189. *Инда* — см. прим. к С. 44.

Обреченная

Текст-источник: Ончуков. № 147. На роду написано.

С. 189—190. *Постоялый двор* — обычно придорожная гостиница, где дают приют как людям, так и лошадям.

С. 190. *...на семнадцатый ангельский день...* — т. е. в день ангела, или именины, которые в старой России обычно праздновались, в отличии от дня рождения.

Кум — см. прим. к С. 73.

Жалостная

Текст-источник: Ончуков. № 104. Жалостливая девка.

С. 192. *Стоскнуться* — соскучиться.

П о т е р я н н а я

Текст-источник: О н ч у к о в. № 184. Купеческая дочь и дворник

С. 193. *Целовальник* — кабатчик, сиделец в питейном доме при откупной и казенной продаже вина; назывался целовальником, хотя не присягал и потому не целовал крест во время присяги.

Рюхи (чушки, свинки) — другое название древней мужской игры городки, когда на землю ставят фигуры из коротких деревянных чурок и разбивают их броском деревянной палки длиной около 80 см; эта игра изображает взятие укрепленного «города» во время войны

С 194. *Шантряп* — оборванец.

Затавокать — разговориться, разболтаться.

Р о б к а я

Рукописные источники· «Сказ и росказни». № 2 Покойный дружок — автограф — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1 Ед хр. 21

Текст-источник· О н ч у к о в. № 289 Покойный дружок.

С. 196 *Взáболь* — на самом деле.

О к л е в е т а н н а я

Текст-источник: О н ч у к о в. № 80 Оклеветанная сестра.

С. 198. *Советно* — здесь: в согласии, дружно.

Зáрно — завидно.

О т ч а я н н а я

Текст-источник: О н ч у к о в. № 294. Кушак.

С. 206. *Спица (спичка)* — здесь: деревянный гвоздь в стене, на который вешают платье.

П о п е р е ч н а я

Рукописные источники: «Колдунья» — автограф — РНБ. Ф. 777. Ед. хр. 54.

Текст-источник: О н ч у к о в. № 247. Жена колдунья.

С. 207. *Уховёртка* — медная лопаточка для добывания серы из уха, которая вешается на тот же шнурок, что и нательный крест.

С. 209 *Гривенник* — монета достоинством десять копеек.

С. 210. *...воды наговорной...* — т. е. воды, над которой произнесен заговор, обладающей чудесной силой.

Л и х а я

Текст-источник: О н ч у к о в. № 95. Лихая баба и чорт.

С. 212. *Вереск* — здесь: верещанье.

Инда — см. прим. к С. 44.

Ломотить — не давать покою.

...колдуном найдись... — т. е. назовись колдуном.

С. 213. *Стреха* — крыша.

Б р а т н и н а

Текст-источник: О н ч у к о в. № 71. Сестрица просела.

С. 215. *Жагалюхи* — ящерицы.

П о д р у ж к и

Рукописные источники: «Подружки» — автограф <1912> — ЦРК АК. Кор. 12. Папка 1б.

Текст-источник: О н ч у к о в. № 288. Анюшка и Варушка.

С. 219. *Рыбник* — пирог с рыбой.

К р а с н а я с о с е н к а

Рукописные источники: «Красная сосенка и другие сказки». № 1. Красная сосенка — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 576.

С. 221. *Осьметки* — ошметки, обноски.

Вишневый клей — древесный клей; не горючий; растворяется в воде, а не в спирте. Упоминается Ремизовым в связи с его «игрушечной» коллекцией: из вишневого клея изготовлено «янтарное ожерелье» игрушки под названием «Трехликая солнечная дева» (К о ж е в н и к о в П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2).

К у м у ш к а

Текст-источник: О н ч у к о в. № 285. Покойная кумушка.

С. 223. *Летось* — см. прим. к С. 69.

В о р о ж е я

Рукописные источники: «Сказ и росказни». № 3. Ворожея — автограф — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 21.

Текст-источник: О н ч у к о в. № 191. Ворожея.

С е р д е ч н а я

Рукописные источники: «Красная сосенка и другие сказки». № 6. Сердечная — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 576.

Текст-источник: № 286. Покойный муж.

С. 226. *Странник-калика (калика перехожий)* — так называли странников, убогих, слепцов, которые сочиняли и исполняли духовные стихи.

О т г а д ч и ц а

Рукописные источники: «Красная сосенка и другие сказки». № 5. Отгадчица — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 576.

Текст-источник: О н ч у к о в. № 94. Старуха отгадчица.

С. 226. *Пожня* — сенокосный луг.

С. 227. *Хватовщина* — имущество, добытое нечестным путем (от *хватать*).

Д о г а д л и в а я

Текст-источник: О н ч у к о в. № 205. Бабьи заповеди.

С. 231. *Повойник* — платок.

С. 232. *Инда* – см. прим. к С. 44.

Драла — см. прим. к С. 62.

ЦАРЬ СОЛОМОН И ЦАРЬ ГОРОСКАТ

Ц а р ь С о л о м о н

Текст-источник: О н ч у к о в. № 46. Сын Давыда — Соло́мон.

С. 238. *...молил попутной п о с о б н ы...* — т. е. молил о попутном ветре.

Царь Гороскат

Текст-источник: Ончуков. № 49. Царь Пётр и хитрая жена.

С. 239. *...ни двора постоялого...* — см. прим. к С. 189—190.

С. 240. *Золотник* – мера веса, равная 1/96 фунта (фунт — около 0,4 кг).

Ширинка — полотенце.

Бёрдо — часть ткацкого станка.

...мастера и блоху подковать... — отсылка к сказу Н. С. Лескова «Левша» (1881).

...из царей царь первый... — в сказке речь идет о Петре I.

С. 242. *Лынды лындать* – уклоняться от работы.

ВОРЫ

Воры

С. 246. *Амбар* — строение для хранения зерна, муки и других припасов.

С. 247. *Драла* – см. прим. к С. 62.

Разбойники

Текст-источник: Ончуков. № 45. Муж-еретик и разбойники.

С. 249. *Святой Егорий* — народное наименование св. великомученика Георгия Победоносца.

Росстань — перекресток.

Подорожник — здесь: тот, кто промышляет разбоем и воровством по дорогам.

Жулики

Тексты-источники: Ончуков. № 168. Вор; № 169. Благодарность покойника.

С. 253. *Схохотнуться* — испугаться, растеряться.

С. 255. *...на всю Фонтанку улицу.* — Шутливая имитация «народной топографии» Петербурга: подразумевается набережная реки, а не улица.

Собачий хвост

Текст-источник: Ончуков. № 14. Сиротина — собачий хвост.

С. 259. *Ледащий* — здесь: хилый.

Стакнуться — сговориться.

С. 261. *Инда* — см. прим. к С. 44.

Барма

С. 265. *Пошабашить* — здесь: отдыхать после окончания работы.

С. 266. *Драла* – см. прим. к С. 62.

Вор Мамыка

Текст-источник: Ончуков. № 197. Вор Мамыка.

ХОЗЯЕВА

Леший

Текст-источник: Ончуков. № 227. Большая Лумпа.

Водяной

Текст-источник: Ончуков. № 231. Чертовы коровы.

Черт

Текст-источник: Ончуков. № 229. Бочка с золотом.

С. 279. *Васильев вечер.* — Имеется в виду вечер 1 января ст. ст. В этот день церковь празднует память св. Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской, отчего в народе он именуется Васильевым днем. Так как этот день знаменует не только самый разгар Святок, но и начало года, принято ходить по дворам с колядными песнями, поздравлять с новолетием, обильно закусывать (в обязательный набор праздничных блюд входит свинина, и потому св Василий считается покровителем этого домашнего животного), а также гадать о суженом, о будущем счастье и благополучии.

Лигостай страшный

Текст-источник: Ончуков. № 40. Смерть.

С. 280. *Скýпа* — откуп, взятка.

С. 281. *Лигостай страшный* — в тексте фольклорной записи: *переслíговатый,* т. е. с тонкою, перетянутой талией.

С. 283. *Долить* — одолевать.

Хлоптун

Текст-источник: Ончуков. № 87. Хлоптун.

С. 285. *Хлоптун* — колдун после смерти; может явиться в семью и жить пять лет, а потом начинает есть скотину.

Обороть — узда.

Мертвец

Текст-источник: № I. Народ живушшый грех обманывать, а мёртвый важнее ешшо (Васильев А. Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / Изд. А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. I. С. 118—119).

МИРСКИЕ ПРИТЧИ

Рукописные источники: «Рыбовы головы и другие сказки» <1. Рыбовы головы; 2. Ослиные уши; 3. Мышонок; 4. Лев-зверь; 5. Горе злосчастное> — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 575.

Муты

Текст-источник: Ончуков № 194. Шишко и старцы.

С. 289. *Бурак* — берестяное ведерко с деревянной крышкой.

Инда — см. прим. к С. 44.

Берестяный клуб

Рукописные источники: «Берестяной клуб» — автограф <1910-е годы> — РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 2. Ед. хр. 92.

Текст-источник: Ончуков. № 192. Берестяный клуб.

С. 290. *Вить клуб* — свивать что-либо в клубок, в данном случае березовую кору.

З а о в ц у

Тексты-источники: О н ч у к о в. № 292. За овцу; № 293. Леший увел.

С. 291. *Складия* — складчина, взнос доли (деньгами или припасами) для общих расходов.

С. 292 *Перемет* — рыболовная сеть, которая ставится на кольях.

С. 293. *О конец Филиппова заговенья...* — накануне Рождества, после дня св. апостола Филиппа (14 ноября ст. ст.), когда начинается Рождественский (или Филипповский) пост (заговенье).

Полуволок — лесная дорога между селеньями, на которой нет жилья.

Г о с п о д е н з в о н

Текст-источник: О н ч у к о в. № 195. Старик и крестьянин.

С. 295. *Калика прохождающий* — см. прим. к С. 226.

З о л о т о й к а ф т а н

Текст-источник: О н ч у к о в. № 188. Кафтан с золотом.

С. 297 *Калика прохождающий* — см. прим. к С. 226.

Ч у ж а я в и н а

Текст-источник: О н ч у к о в. № 189. Святой работник.

Ч а е м ы й г о с т ь

Текст-источник: О н ч у к о в № 115. Гость.

П а с х а л ь н ы й о г о н ь

Текст-источник· О н ч у к о в . № 113. Чудесный огонь.

Р ы б о в ы г о л о в ы

Текст-источник. О н ч у к о в. № 72. Рыбьи головы.

С. 303. *Рыбник* — см. прим. к С. 219.

О с л и н ы е у ш и

Текст-источник· О н ч у к о в. № 185. Ослиные уши.

М ы ш о н о к

Текст-источник: О н ч у к о в. № 190. Мышонок.

Л е в - з в е р ь

Текст-источник: О н ч у к о в. № 161. Хмель.

Г о р е з л о с ч а с т н о е

Рукописные источники: «Сказ и росказни». № 1. Горе злосчастное — автограф — РГАЛИ Ф 420 Оп. 1. Ед. хр 21.

Текст-источник: О н ч у к о в. № 249. Нужда.

С. 311. *Амбар* — см. прим. к С. 246.

ГЛУМЫ

С к о м о р о х

Рукописные источники: «Скоморошьи сказки». № 1. Царевна Лисава — автограф — РНБ Ф 1012. Ед. хр 7.

Текст-источник № 1 О царе и портном (Сказки Приложение к заметке С. В. Максимова // Живая старина 1897 Вып 1 С 112—113).

С. 314. .. *собрались все малюты скурлатые* .. — имя нарицательное «малюты скурлатые» образовано здесь от имени Малюты Скуратова, руководившего опричниной при Иване Грозном; в народном представлении он был воплощением бесовского начала в человеке.

С. 315. *Шелом* – желоб по коньку крыши, под который запускается тес, или брус, к которому он пришивается.

Меженный — здесь: страдный.

П ё с - б о г а т ы р ь

Текст-источник: № V. Про охотника и Егория Храброго (В а с и л ь е в А. Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / Изд. А. М Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. I. С. 126—128).

С. 317. *Инда* — см. прим. к С. 44.

С. 317—318. *...сам Егорий на белом коне среди белых волков*... — 23 апреля ст. ст. (в день памяти св. Георгия Победоносца) крестьяне выгоняли скот на пастбище, поэтому св. Егорий назывался «загонщиком» скота, а также считался хранителем его от волков и повелителем самих волков, которые иногда именовались «псами».

Л е т ч и к

Рукописные источники: «Хлебный голос и другие сказки». № 6. Летчик — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед хр. 573.

Текст-источник: О н ч у к о в. № 199. Лопарь на небе.

С. 321. *Дряп* — болото.

М у ж и к - м е д в е д ь

Текст-источник: О н ч у к о в № 174. Мужик-медведь.

Ч у д е с н ы е б а ш м а ч к и

Текст-источник: О н ч у к о в. № 56. Вшивые башмачки.

Ж а д е н ь - п а л ь ц ы

Текст-источник: О н ч у к о в. № 280. Жадные сыновья.

Н е б о п а л о

Текст-источник: О н ч у к о в. № 216. Нёбо пало.

М е д в е д ч и к

Рукописные источники: «Скоморошьи сказки». № 2. Медведчик — автограф — РНБ. Ф. 1012. Ед. хр. 7.

Текст-источник: II. Случай при большой дороге (В а с и л ь е в А. Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева / Изд. А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. Вып. I. С. 119—122).

С. 328. *Филиппов пост* — см. прим. к С. 293.

Постоялый двор — см. прим. к С. 189—190.

С. 331. *Коляда* — см. прим. к С. 279.

УКРЕПА

Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе

Печатается по изданию. Укрепа. Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе Пгр : Лукоморье, 1916.

В сборник «Укрепа» вошли сказки, написанные по большей части в 1914-м, а также в 1915 году. Только три из них («Солдат-доброволец», «Белая Пасха» и «Клекс») восходят к ончуковскому собранию «Северные сказки», сыгравшему ключевую роль в формировании предшествующего сборника сказок Ремизова «Докука и балагурье» (1914). Для «Укрепы» почти столь же значимо другое известное издание — «Сказки и предания Самарского края», подготовленное Д. Н. Садовниковым. Причем чаще всего писатель обращается к текстам, записанным от жителей г. Симбирска П. С. Полуэктова, Е. Г. Извощиковой и особенно Абрама Новопольцева. В 1914—1915 годах все ремизовские сказки были опубликованы в периодической печати (см. его азбучный временник-указатель. — С. 434—436), а в конце 1916 года петроградское издательство «Лукоморье» выпустило и сам сборник. Вокруг его выхода в свет разгорелся некий «скандал» (Ремизов упоминает о нем в своем временнике: Р е м и з о в А. М. Помесячная роспись петроградских адресов, мест и времени поездок по России и за границу. 1913—1919 // ИРЛИ Ф. 256. Оп. 2. Ед хр. 6. Л. 14) Вероятно, одной из причин этого инцидента была задержка как с самим печатаньем книги, так и с высылкой авторских экземпляров писателю (см. об этом в письмах Ремизову М. Бялковского: Р е м и з о в А. М. Переписка редакций и издательств «Аргус», «Лукоморье», «Народоправство» и др. в связи с изданием его произведений. 1913—1919 // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 25, 27). Циклизация разрозненных сказок будущего сборника началась уже в 1914 году. Так, в письме к В. Н. Гордину от 26 августа 1914 года Ремизов упоминал свою рукопись — сказки «Земные тайности» (РНБ. Ф. 124. Ед. хр. 3614. Л. 14). А в письме к А. И. Тинякову, датированном Михайловым днем (т. е. 8 ноября) 1915 года, сетовал: «У меня Николины сказки лежали в Ниве больше году» (РНБ. Ф. 774. Ед. хр. 33. Л. 46, об.). Это последнее сообщение особенно любопытно, так как является одним из ранних свидетельств начала систематической работы Ремизова над большой темой своего творчества — легендарным образом Николая Чудотворца в русской культуре, которая впоследствии нашла отражение в таких его книгах, как «Николины притчи» (1917), «Никола Милостивый» (1918), «Звенигород окликанный» (1924), «Три серпа» (1927) и «Образ Николая Чудотворца» (1931). Первые четыре включали в себя и Николины сказки, опубликованные в «Укрепе». Другой не менее важной новацией сборника по сравнению со всеми предыдущими были так называемые солдатские сказки, помещенные в основном в первом разделе «Страдной России» (впоследствии они составили специальный раздел в итоговом сборнике 1923 года «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым»). Их появление в ремизовском сказочном репертуаре именно в 1914 году далеко не случайно. Первая мировая война застала Ремизовых в Германии, откуда они,

вместе с другими русскими, были этапированы «в телячьем вагоне» (выражение самого писателя) до порта на Балтике и затем через Скандинавию вернулись в Петербург (об этом см : Р е м и з о в А. М. Помесячная роспись адресов, мест и времени поездок по России и за границу. 1913—1919 Л 2) Начало войны произвело на Ремизова неизгладимое впечатление. Впоследствии в дарственной надписи жене на книге «За святую Русь» он вспоминал о тогдашней «взбити чувств» и охватившем его «чувстве конца» (Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 19). Вернувшись в Россию, Ремизов обнаружил ура-патриотическую истерию, совершенно не совпадавшую с его собственными апокалиптическими настроениями. Вместе с тем позицию писателя нельзя назвать сугубо пацифистской, так как война представлялась ему пусть и ужасной, но судьбой, которую следует принять и пережить. Именно так Ремизов оценил пафос своего сборника в дарственной надписи на «Укрепе» С. П. Ремизовой-Довгелло· «Это в самый разгар войны в самый быт войны, когда война стала для некоторых выгодной и все приспособились — отвратительное время и вот за это-то и наступила расплата — революция. И это надо помнить и понимать — ничего даром не делается в мире» (Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 19) И хотя он принципиально не писал «на злобу дня», охотнее апеллируя в своем творчестве к древности, все же тема войны не могла не волновать писателя со столь выраженным социальным темпераментом, пусть и облеченным в игровые, а не в политические формы Поэтому Ремизов и обратился к материалу солдатских сказок. Причем попытался раскрыть тему солдата, каким его видит народ (хитрым и ловким, отнюдь не безгрешным, способным обмануть не только черта, но и саму смерть), поместив ее в контекст более общей нравственно-философской проблематики. Идея сборника отражена в его композиции и сформулирована в подзаголовке «Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе», т. е. данность «страдной России» соотносится здесь с «земными тайностями» одушевленной материи, воплощенной народным сознанием в образы низшей демонологии, и с тайнами духа, высоким нравственным императивом христианского смирения со страдой мира («На все Господь»). Такой подход к теме не отвечал тогдашним настроениям в обществе. Не случайно, рецензент не понял ремизовской мысли: «Начать с того, что мораль многих сказок более, чем сомнительна. Вряд ли утверждает святость сказка о пустыннике, соблазненном дьяволом на блуд и убийство, но спасенного от ада благодаря тому, что он вовремя перекрестился («Награда»); <...> или о том, что захочет Господь, — даст в награду за терпение богатство, захочет — назад отнимет («На все Господь!») <...>» (Л е в и д о в М и х. [Рец.] А. Ремизов. «Укрепа» // Летопись. 1916. № 2. С. 350). Позже писатель развивал тему войны и революции в основном за пределами своих сказочных сборников. А сказки «Укрепы», как это обычно бывает у Ремизова, продолжали кочевать из книги в книгу. Они включались в такие сборники, как «Русские женщины» и «Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым». Кроме того, сохранились макеты неосуществленного издания маленьких сборников по шесть–восемь сказок, среди которых есть и книжечка под названием «Хлебный голос

и другие сказки», куда включены пять текстов из «Укрепы» (ИРЛИ Ф 172. Ед. хр. 573)

СЛОВО

С. 339 *Háслуд* — наледь, вода, выступившая поверх льда на водоеме, а также второй пласт льда, если натечная вода замерзла

от далекого Озера Святого до Ипатия . — Имеется в виду озеро Светлояр (Светлое озеро) в Семеновском уезде Нижегородской губернии Существует легенда о граде Китеже, скрывшемся в этом озере при приближении войска хана Батыя. Видеть Китеж и слышать колокольный звон его церквей могут только люди праведной жизни. Светлояр особо почитается старообрядцами Интерес к сектантству в символистской среде побудил некоторых знакомых Ремизова совершить путешествие к Светлому озеру. Так, например, Мережковские посетили его в июне 1902 года (см. об этом Гиппиус З. Н. Светлое озеро Дневник // Новый путь. 1904. № 1, 2), а М. М. Пришвин побывал здесь летом 1908 года (еще до этой поездки, в 1900 году, он написал повесть «У стен града невидимого»). Глубина исторических ассоциаций и поэтическая законченность образа Светлого озера, на дне которого до срока сокрыт священный Китеж-град, способствовали тому, что эта легенда стала одной из ключевых идеологем в историософских построениях символистов. *Ипатий* – т. е. Ипатиево-Троицкий мужской кафедральный монастырь первого класса, находившийся во времена Ремизова в одной версте от г. Костромы. Основан около 1330 года на месте явления Божьей Матери среди других и одному из родоначальников рода Годуновых татарскому мурзе Чете (в крещении Захарию), вследствие чего Годуновы на протяжении многих веков способствовали процветанию монастыря. Именно в этом монастыре 14 марта 1613 года Михаил Федорович Романов согласился вступить на царский престол.

...врага промелёдили... — здесь: помедлили с расправой над врагом (от *меледить* — медлить, мешкать).

...лето ведреное... — т. е. сухое и ясное (от *вёдро* — ясная, тихая, сухая и вообще хорошая погода).

С. 340. *...от реки, вырытой шведской рукой...* — Вероятно, Ремизов подразумевает один из каналов так называемой Мариинской водной системы, тянущейся от Онеги и Белого озера до Волги; например, канал вдоль Ладожского озера от Шлиссельбурга до Новой Ладоги.

...до подземного под Костромою-рекой годуновского хода... — Имеется в виду одна из легенд, связанных с историей Ипатиевского монастыря (см. о нем выше в прим. к С. 339), которую мог рассказать Ремизову его близкий друг, юрист и «книгочей», археолог, архивист, собиратель документов по истории России, организатор Румянцевского археологического и этнографического музея в г. Костроме в 1910—1914 годах Иван Александрович Рязановский (1864 или 1869 — после 1927). Ремизов посетил его в Костроме в 1912 году. Рязановский

был прототипом нескольких центральных персонажей ремизовской прозы 1910-х годов. Оценку его роли в возрождении русской словесности в начале XX века писатель дал в главе «Книжник» своей мемуарной книги «Подстриженными глазами» (С. 153—155).

С. 340. *...хранимое пречистым Покровом...* — т. е. хранимое заступничеством и молитвой Богородицы. Покров или омофор Пресвятой Богородицы — покрывало, с которым она предстательствовала и молилась за людей. Церковный праздник Покрова Пресвятыя Богородицы отмечается 1 октября ст. ст.

СТРАДНОЙ РОССИИ

Страдной России

При первой публикации в журнале «Отечество» (1915. № 8. С. 9) ремизовский автограф этого пасхального слова был воспроизведен факсимиле перед печатным текстом.

С. 341. *Страдной России* — т. е. борющейся.

Страда — тяжелая работа и всякого рода лишения, а также пора уборки урожая; в данном случае подразумевается «жатва» на поле брани.

Христова ночь — ночь со Страстной субботы на Светлое Христово Воскресение.

Трудники — здесь: мученики.

Николин завет

Текст-источник: № 8. Божье письмо (Из Олонецких легенд / Записи Г. И. Куликовского и В. Х. // Этнографическое обозрение. 1891. № 4. С. 198).

С. 341. *За Онегой - гремучим морем...* — Имеется в виду Онежское озеро. В тексте-источнике место действия еще больше конкретизировано — «в Каргополе».

С. 342. *И случилось на Николу...* — Подразумевается церковный праздник особо почитаемого на Руси святителя и чудотворца Николая, который отмечается 6 декабря ст. ст. В простонародном обиходе именуется «Никола Зимний». Подробнее об интересе Ремизова к этому святому см. в преамбуле к наст. сборнику.

...престол в их селе... — т. е. в селе находится храм, посвященный св. Николаю, и потому этот праздник отмечается здесь как храмовый или престольный (от *престол* — столик в алтаре, перед царскими вратами, на котором совершается таинство Евхаристии; так как его священность распространяется и на само место, в дореволюционной России, если по каким-либо причинам церковь упразднялась, над престолом воздвигали часовню).

...стоит под колоколом старик... — В иконографии, а также в легендах и преданиях св. Николай изображается в виде старика-странника.

А старик только смотрит ~ милостиво... — Еще один намек на Николая Чудотворца. В легендарной традиции бытует представление об особом милосердии св. Николая, считающегося заступником от всех бед и несчастий, и потому он часто именуется Милостивым (см. об этом, например, в притче Ремизова

«Никола Милостивый»: Николины притчи. Пгр.; М., 1917. С 63—67) В тексте-источнике вместо св. Николая под колоколом стоит сам Господь Однако ремизовская версия не противоречит степени почитания этого святого на Руси, так как он считается первым после Бога, более того, в православных церквах еженедельно по четвергам ему совершается особая служба наряду с апостолами.

С. 342. *...им бы только чаю, кофию попить.* — Ср в тексте-источнике: «скажи им, чтобы не грешили: на гармонике бы не играли, не крутились бы, *чаю, кофию не пили бы*» (курсив мой. — *И Д*).

С. 343. *И пошел он из родного погоста...* — В тексте-источнике герой отправляется в Соловецкий монастырь, где через два года у него наконец «расходятся» руки *Погост* здесь — село как часть церковного прихода.

За родину

Текст-источник: Садовников № 110 *а, е* Про Стеньку Разина

С. 343. *Ухачи* — т. е. ухари, удальцы.

Камень завечный. — Вероятно, от *заветный*, т. е. заповедный или зарочный, обладающий волшебными свойствами.

И Саропский лес приклонился перед ним... — Ремизов цитирует здесь текст-источник.

С. 344. *Взбулчать* — встревожиться, переполошиться (от *взбулгачиться*).

Гвал — шум, крик, гам, суматоха.

Гамить — кричать, громко говорить.

Солдат-доброволец

Рукописные источники: «Солдат-доброволец». Сказка — автограф — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 22.

Тексты-источники: Ончуков. № 156. Солдат доброволец; № 279. Иван-солдат.

С. 345. *Дряби* — здесь: болота.

С. 348. *Самоход* — т. е автомобиль. Характерный для Ремизова прием: введение в сказочное пространство реалий современного быта.

С. 349. *Прощелыга* — плут, мошенник.

Доля солдатская

Текст-источник: Садовников. № 80. Солдат и черт.

С. 352. *...а тут послали выбивать штыками...* — т. е. в штыковую атаку.

Неделя ~ за год показалась. — Скрытая отсылка к тексту-источнику: там договор между солдатом и чертом был заключен на год.

...да стрекача из окопов... — т. е. убежал.

Шишок

Тексты-источники: 1) № 3. Солдат и черт (Литовские легенды / Записи Меч. Довойны-Сильвестровича и М. Борейши // Этнографическое обозрение. 1891. № 3. С. 233); 2) Разд. II. Духи. № 3. Водяной (Колчин А. Верования крестьян Тульской губернии // Этнографическое обозрение. 1899. № 3. С. 28).

С. 352. *...угодники-то нынче ~ на войну ушли!* — Ремизов подразумевает прежде всего св. Николая, обычно именуемого угодником Божьим; он считается

не только заступником за всех страждущих, но и хранителем на водах, так как прославился чудесами на море, что важно для сюжета данной сказки.

С. 353. *Шишок* — от *шишига,* т. е бес и вообще злой дух В тексте-источнике у А. Колчина речь идет о водяном, который назван здесь в соответствии с устойчивой фольклорной традицией чертом. Шишигой именуют также коми-пермяцкий женский мифологический персонаж, обитающий в воде. Ремизов мог почерпнуть эту информацию в работе И. Н. Смирнова «Пермяки» (Известия Общества археологии, истории и этнографии при Имп. Казанском университете Казань, 1891. Т. 9. Вып 2. С. 275), тем более что в начале 1910-х годов имел контакты с казанским профессором В. Н. Ивановским, а подобного рода общение обычно сопровождалось получением труднодоступных этнографических материалов. Само слово «шишок», скорее всего, ремизовский неологизм, результат соединения мужского персонажа водяного с женским шишигой.

Солдат

Ремизов предполагал заключить этой сказкой, дав ей другое название «Солдат и смерть», небольшой сборник из шести произведений «Рыбовы головы и другие сказки», макет которого хранится в фонде Института истории искусств в Рукописном отделе Пушкинского Дома (см.: ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 575).

Текст-источник: № 16. Солдат и смерть (Афанасьев А. Н. Народные русские легенды. М., 1914. С. 135—160). Афанасьев приводит три варианта этой сказки, в том числе два из собрания В. И. Даля. Ремизов контаминирует в своей версии все три текста.

С. 354. *Какой такой табак!* — В тексте-источнике речь идет не только о табаке, но и о вине. Подробнее о теме табака в творчестве Ремизова см. наш комментарий к повести «Что есть табак» (сборник «Заветные сказы») в наст. издании.

Пощунять — пожурить, усовестить.

С. 358. *Заячья доля* — имеется в виду так называемая заячья капуста, растение с кислыми листьями, употребляемое у восточных славян в пищу в сыром виде.

За русскую землю

С. 360. *...на Невском...* — главная магистраль Петербурга Невский проспект.

Ратники — ополченцы, как правило, земского войска, которые подлежат призыву исключительно в военное время Сам Ремизов тоже был ратником. Осенью 1916 года, в то время, когда публиковалась «Укрепа», он был призван на военную службу, освидетельствован в Клиническом военном госпитале, где находился с 24 октября по 6 декабря, и временно освобожден от воинской повинности по состоянию здоровья. Подробнее об этом см.: Ремизов А. М. Помесячная роспись адресов, мест и времени поездок по России и за границу. 1913—1919 // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед.хр. 6. Л. 4, 9, 16; письма Ремизова к И. А. Рязановскому от 12 и 24 декабря 1916 года (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 8, 9); Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым / Вступит. заметка, подгот. текста и примеч. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // Русская литература. 1992. № 4 С. 120.

С. 361 *...у Литейного. .* — один из основных проспектов в центральной части Петербурга, пересекающий Невский пр под прямым углом

у Аничкова моста .. — каменный трехпролетный мост через Фонтанку по Невскому пр , сооруженный по проекту И. Ф Буттаца на месте моста XVIII века в 1839—1841 годах и украшенный оградой, выполненной по рисунку А. П. Брюллова, а также знаменитыми четырьмя бронзовыми скульптурными группами укротителей коня работы П. К. Клодта (установлены в 1849—1850 годах).

...кормилицей моей была солдатка... — Ремизов имеет в виду свою кормилицу Евгению Борисовну Петушкову (см. о ней в главе «Первые сказки». Подстриженными глазами С. 27—33). Впоследствии писатель утверждал, что именно кормилица пробудила в нем интерес к фольклору и стала эталоном подлинно народного рассказчика: «Читая потом записи сказок в этнографических сборниках, я все прислушивался, я искал среди строчек, я хотел вспомнить те первые, и случалось, вдруг слышу — и тогда я писал не по тексту, а с голоса калужской песельницы и сказочницы, Евгении Борисовны Петушковой» (Там же. С. 32).

У Знаменья... — Подразумевается церковь Входа Господня в Иерусалим, располагавшаяся на углу Невского и Лиговского проспектов напротив Николаевского (ныне Московского) вокзала Она была построена в 1794—1804 годах по проекту Ф. И. Деменцова. В этом храме находилась особо почитаемая в народе икона Знамения, написанная в Новгороде в 1175 году греком Христофором Семеновым. Именно поэтому церковь гораздо более известна под неофициальным названием Знаменская, которое было распространено на прилегающие к ней улицу (ныне ул. Восстания) и площадь перед Николаевским вокзалом (ныне пл. Восстания). В 1938 году церковь была закрыта, а через два года взорвана В 1957 году на ее месте построена станция метро «Площадь Восстания» (см · А н т о н о в В. В., К о б а к А. В. Святыни Санкт-Петербурга Историко-церковная энциклопедия: В 3 т. СПб , 1994. Т. 1. С 172—174)

С. 362. *. .переходили площадь мимо памятника к вокзалу...* — Имеется в виду Знаменская площадь перед Николаевским вокзалом (см. предыдущее прим), на которой в 1906 году был установлен памятник Александру III работы Паоло (Павла Петровича) Трубецкого. После революции он был демонтирован и чудом избежал переплавки. Долгое время находился во внутреннем, служебном, дворе Русского музея. В настоящее время помещен перед центральным входом в Мраморный дворец, где ранее стоял ленинский броневик. При первой установке памятник был воспринят современниками весьма негативно как потому, что русское общественное мнение между революциями 1905 и 1917 годов было довольно критически настроено по отношению к самодержавию, так и по причинам эстетического характера Сейчас стало очевидно, что это лучшая конная статуя России в XX веке, более того, выдающееся произведение мирового искусства.

Белая пасха

Тексты-источники: Ончуков № 233. Поп Пасху забыл; № 260 Рождество или Пасха?

С. 363. *Поморье* — территории Архангельской губернии, примыкающие к западному берегу Белого моря. Ончуковские сказки, послужившие Ремизову фольклорным источником, записаны на Летнем берегу Белого моря. В первой из них (№ 233) местом действия названо Поморье.

...придет Спиридон, станут дни прибывать на овсяно зерно... — Речь идет о дне памяти преп. Спиридона, епископа Тримифийского, который отмечается 12 декабря ст. ст. и приходится на зимнее солнцестояние. В народе Спиридон называется поворотом, так как с этого дня солнце поворачивает на лето. Считается, что на Спиридона медведь переворачивается в берлоге на другой бок, а день прибавляется на воробьиный скок или на овсяное зерно. Последнее представление Ремизов почерпнул непосредственно из текста-источника (№ 260).

...кутня с виньгом... — вихрь, метель; от *кутить* — кружить, крутить, вихрить (о ветре, погоде), и *винуть* —дунуть.

Закуделить — дуть.

Обух — противоположная лезвию часть топора, образующая проушину для топорища.

С. 364. *Овин* — см. прим. к С. 13.

Забойни — снег, прибитый ветром к строению или в овраг, а также собственно сугроб.

ЗЕМНЫЕ ТАЙНОСТИ

Хлебный голос

Рукописные источники: «Хлебный голос» Сказка — автограф — РГАЛИ. Ф 420. Оп. 3. Ед.хр 7, а также № 1 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 573).

Текст-источник: № 10. Какой голос дальше слышен? (Из Олонецких легенд / Записи Г. И. Куликовского и В. Х. // Этнографическое обозрение. 1891. № 4. С.198).

С. 365. *Сноха* — то же, что невестка, жена сына.

Большуха — здесь: главная, старшая.

...у Андроньева... — Имеется в виду московский монастырь, основанный во второй половине XIV века учеником Сергия Радонежского преп. Андроником; назван по имени своего основателя. Сам Ремизов, москвич по рождению, в детстве ходил в Андрониев монастырь на богомолье. Воспоминания об этом нашли отражение во многих произведениях писателя и стали непременным атрибутом автобиографического героя (см., например, рассказ «Богомолье» из «Посолони», роман «Пруд», мемуарную книгу «Подстриженными глазами»).

Соколинки — т. е. Сокольники.

Г о л - к а м е н ь

Рукописные источники: «Гол-камень» (фрагмент) — автограф — РНБ. Ф.634. Ед.хр. 6. Л. 1; ЦРК АК. Кор. 12. Папка 11.

Текст-источник: С а д о в н и к о в. № 73 О ведьме.

С. 366. *...а голос мужичий ~ словно с дубу рвет...* — Точная цитата из текста-источника.

...месяц не раз скрадывала, я людей портила' — Обычные обвинения в адрес ведьм.

П ч е л я к

Рукописные источники. «Пчеляк» — автограф с авторской правкой <1912> — РНБ. Ф. 634. Ед.хр 6. Л. 1—2; а также: № 2 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (ИРЛИ Ф 172 Ед.хр. 573).

Тексты-источники: С а д о в н и к о в. № 74 *в*. Про пчеляков, № 116 *а*. О фармазонах.

С. 366. *Пчеляк* — т. е. заводчик пчел, пчеловод. В «Сказаниях о знахарстве» (главка «Пчельное дело») И. П. Сахаров отмечает: «Пчельное дело в селениях почитается самым таинственным, важным и, сверх того, не для всех доступным занятием. Люди зажиточные, хозяйственные, имеющие до ста и более ульев, всегда, по народной молве, состоят в дружественной связи с нечистою силою. Мнения поселян о пчельном деле столь разнообразны, что одни избирают для него покровителями св. угодников, другие обрекают водяному дедушке. Пчельники, приверженцы этого последнего мнения, называются в селениях *ведунами, дедами, знахарями.* <...> Ведуны думают, что пчелы первоначально образовались в болотах, под рукою водяного дедушки. <...> Знахари полагают, что все пчелы первоначально отроились от лошади, заезженной водяным дедушкою и брошенной в болото» (цит. по: Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. М., 1990. С. 98, 99). В тексте-источнике № 74 *в* пчеляк впрямую назван колдуном; здесь особо подчеркивается: «А известное дело, если у кого пчел такая пропасть, так это неспроста» (С. 245). Эпизод с лягушкой, раздувающейся до размеров быка, заимствован Ремизовым из второго текста-источника (№ 116 *а*). В первом фигурирует просто огромная лягушка, да и сам пчеляк здесь менее кровожаден· он предлагает лошеводу всего лишь съесть тот мед, который отрыгнула лягушка. В фольклорной традиции лошадь и пчела устойчиво связаны друг с другом и соответствуют середине мирового древа.

С. 367. *Гумно* — место, где ставят хлеб в снопах и где его молотят, крытый ток.

У р в и н а

Текст-источник: С а д о в н и к о в. № 72 *е*. О мертвецах.

С. 368. *Жупел* — горючая сера; горящая смола, жар и смрад.

С. 369. *...как запел петух, так сквозь землю и провалились...* — Здесь отражено общемифологическое представление о петухе как символе света, солнца, с

восходом которого, под влиянием его очистительной силы, вся нечисть и нежить вынуждена покидать землю

С 369 *Инда* — см прим к С. 44

Урвина (рвина) — вообще то, что вырыто заступом яма, готовая могила

К а б а ч н а я к и к и м о р а

Текст-источник: С а д о в н и к о в. № 70. Про кабачную кикимору.

С. 369. *Кикимора* — мифологическое существо, живущее в доме и вредящее людям; днем сидит невидимкою за печью, а проказит по ночам; происходит из умерших некрещеными детей и младенцев, убитых своими матерями.

...на юру... — на бойком, открытом месте, торжище или шумном базаре.

Целовальник — см. прим. к С. 193.

.. усышку вина и рассыропку — т. е. убыль (от *усыхать*) и разбавление (от *рассыропить*).

Откупная контора — ведающая откупами, в том числе арендой кабаков с вином и водкой, так как продажа последних находилась в дореволюционной России в монополии у государства.

С. 370. *Полуштоф* — четырехугольная стеклянная бутыль с коротким горлышком, содержащая определенную меру жидкости, объем которой был разным в ту или иную эпоху.

Протака́ять — т. е. подтвердить верность своих слов (от *та́кать*); возможно, здесь употреблено также в значении «польстить».

С. 371. *Дистаночный* — начальник округа (иногда определенного пространства вообще) либо смотритель участка дороги, реки (от *дистанция*)

.. в чело на заслонку. — Так называется большой дугообразный проем в русской печи, ведущий к ее устью, которое, после того как печь протопится, закрывают заслонкой

Поверенный — здесь: проверяющий, инспектор по откупам

С. 372. *Инда* — см. прим. к С. 44.

С. 373. *Постоялый двор* — см. прим. к С. 189—190.

М а г н и т - к а м е н ь

Текст-источник: С а д о в н и к о в. № 103. Старик и царская дочь.

С. 375. *...а достань ты мне магнит-камень ..* — Мифологическое представление о чудодейственных свойствах магнита, способного притягивать к себе железо, восходит к глубокой древности. До сих пор оно широко бытует в детской среде. Ремизов, в свое время, тоже не остался равнодушным к таинственному магниту, о чем впоследствии рассказал в мемуарной книге «Подстриженными глазами» (С. 194—203; глава «Магнит»).

С. 376. *Инда* — см. прим. к С. 44.

Зааминить — здесь: заклясть молитвой, которая заканчивается возгласом «аминь!».

...Господа исповедал — здесь в значении «проверил», «испытал»

Я й ц о я г и н о е

Текст-источник· № XXII. Балдам-пахал и Арьяндива (Р у д н е в А Д Хори-бурятский говор (Опыт исследования, тексты, перевод и примечания) СПб., 1913—1914. Вып 3 Перевод и примечания С. 074—077, сер. «Издания Факультета Восточных языков Императорского С.-Петербургского Университета». № 42. Вып. 3). Текст записан от Галана Ниндакова, бурятского мальчика тринадцати лет, который был увезен своим учителем в дацане Агваном Доржиевым в Петербург и летом 1911 года гостил у Руднева на даче под Выборгом. Галан слышал этот чрезвычайно популярный в ламаистской среде рассказ от ламы Кежингинского дацана Шойвана. В своей сказке Ремизов скрупулезно следует тексту-источнику, однако «русифицирует» его, снабжая характерными деталями православного монастырского быта, который изображается здесь, как и в повести «Что есть табак», в пародийном ключе (см. об этом наш комментарий к сборнику «Заветные сказы» в наст издании) «Яйцо ягиное» близко «Табаку» и по своей теме: обращение от нечестия к правой вере.

С. 376. *Трошка-на-одной-ножке* — действующее лицо народной сказки «Пустой барабан» (С а д о в н и к о в. № 9).

Соломина-воромина — персонаж детской считалки.

С. 376—377. *Старая лягушка хромая* — фарфоровая игрушка с отбитой лапкой из коллекции Ремизова, которую ему подарила З. Н. Гиппиус 25 сентября 1905 года (об этом см.: Кукха. С. 22). В «Посолони» она появляется в сказке «Зайка» (см. ремизовское примечание к С. 72).

С. 377. *Балдахал-чернокнижник.* — В тексте-источнике он назван Балдам-пахал. Ремизов убрал из этого имени три буквы, отчего в нем отчетливо зазвучали как прославленный Пушкиным персонаж русских сказок Балда, так и слово «нахал», емко характеризующее темперамент героя. Балдам-пахал — реальное историческое лицо, которому приписываются некоторые буддийские сочинения. По версии текста-источника, он родился из яйца (и с этим, вероятно, связан не поясняемый здесь смысл имени героя), но не от Бабы-яги, а от ведьмы, воспитавшей его без участия каких-либо чудесных помощников. В записи Руднева сказано, что мальчик стал «очень великим книжником, все знающим и очень сведущим в еретических учениях» (С 074), после чего мать отвела его в монастырь Наландра-хит для состязания на религиозные темы Впоследствии, «приняв веру», он «составил великое сочинение» взамен «изгаженных книг» и «сделался великим книжником-ученым» (С 077)

Яга-баба — Эта инверсивная форма имени Бабы-яги заимствована Ремизовым из народной сказки «Рыси», текста-источника его сказки «Несчастная» (другое название «Младена матерь»; написана, как и «Яйцо ягиное», в 1915 году) из сборника «Русские женщины», где колдунья называется «ягáбова» или «Яга-баба» (см.: Е д е м с к и й М. Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии в 1905—1908 гг // Живая старина. 1912 [1914] Вып II—IV. № 14. С 248).

Шахлатый — косматый.

С. 377. *...у южных — Василиан ~ у западных, главных, — Мелетий.* — Ремизов полностью повторяет описание монастыря в тексте-источнике, однако у ворот там стоят безымянные «великие книжники».

...Мурину от блуда ~ Вонифатию от пьянства ~ Антипе от зуба. — Подразумеваются специальные молитвы, или заговоры, от блуда, пьянства и зубной боли. Действительно, преп. Антипию, «зубному исцелителю», молились о прекращении зубной боли, а великомученику Вонифатию от пьянства (примеры таких заговоров см.: Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / Собр. М. Забылиным. М., 1880. С. 342, 364). Между тем Ремизов вводит в этот ряд пародийный элемент, так как св. Мурин, который оберегал бы от блуда, народной традиции не известен; это якобы имя собственное произведено здесь от нарицательного «мурин», что значит «арап, негр, чернокожий», в фольклорных текстах муринами иногда называются черти.

Замутиться — т. е. лишиться чистоты веры; впасть в несогласие, ссоры, раздоры.

С. 378. *Келейник* — послушник или монах, служащий монашествующему лицу. В данном случае Митрофан находится в послушании у старца, пребывая с ним на горе в бдении (т. е. в духовном созерцании), так же как в тексте-источнике Арьяндива является учеником ламы, который, взойдя на гору, углубился в книги.

Ушки — пельмени.

С. 379. *Пря* — спор.

С котом под мышку ... — Далее эта скрытая метафора будет реализована: кот погонится за мышкой.

...достал кувшин, напихал ~ всякой дряни, да и полощет... — В тексте-источнике символический смысл этого жеста еще более акцентирован. Арьяндива говорит Балдам-пахалу: «А когда ты омываешься снаружи, то как же очистятся внутренние твои скверны?» (С. 076).

С. 380 *...и вдруг поднялся над землею и понесся.* — В комментарии к тексту-источнику Руднев дает мотивировку этого полета со слов А. Доржиева: Балдам-пахал полетел для того, чтобы получить помощь от своего покровителя (С. 0114).

...в некое новое лето... — Ср. в тексте-источнике: «в будущие времена» (С. 077)

С. 381. *...книги, загаженные им в заточении...* — Отсылка к тексту-источнику: в заточении Балдам-пахал «испражнялся и мочился» на священные книги (С. 076).

Трудник — работающий на монастырь по обету, бесплатно.

С п р ы г - т р а в а

Рукописные источники. «Спрыг-трава» (фрагмент) — автограф с авторской правкой <1912> — РНБ. Ф. 634. Ед.хр. 6. Л. 2, а также: № 3 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (ИРЛИ. Ф. 172 Ед.хр 573).

Тексты-источники: С а д о в н и к о в № 75. Про Иванов цвет; № 113. Мельник-знахарь

С. 381. *Дошлый* — хитрый, пройдоха, а также знающий.

...*на Ивана Купалу*... — Речь идет о церковном празднике рождества св Иоанна Крестителя, отмечаемом 24 июня ст. ст. Он приходится на день летнего солнцестояния и поэтому в народной традиции соединяется с древним языческим праздником, который именуется Иванов день или Иван Купала В ночь с 23 на 24 июня выбирают себе брачную пару, очищаются огнем, прыгая через костры, и водой, купаясь в водоемах Кроме того, считается, что травы, собранные на Ивана Купалу, обладают целебными и чудесными свойствами. Существует поверье, что в Купальскую ночь расцветает папоротник, способный открывать клады. Именно этой теме и посвящена ремизовская сказка, в которой подробно описывается как сам способ добыть цветок папоротника, так и морок, насылаемый на его собирателя нечистыми духами, охраняющими клады, а в Иванову ночь, по поверью, свободно разгуливающими по земле Ремизов родился 24 июня Поэтому в его мифопоэтической системе Иван Купала выполняет важную функцию Купальская тема лейтмотивом проходит через все его творчество Более того, этим фактом своей биографии писатель объясняет собственный дар сказочника.

Спрыг-трава — сказочная, чудесная трава, от которой открываются замки и запоры, а также даются клады; обычно этим именем называется цветок папоротника

Морголютки — нечистые духи (от *морготь* — смрад, чад, дым); Ремизов заимствовал это слово из текста-источника № 113.

С 382. *Жигать* — палить, истреблять огнем.

Банные анчутки

Рукописные источники: «Банные анчутки». Сказка — автограф <1914> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1 Ед.хр. 5.

Тексты-источники· Садовников. № 69 *а* и *г*. Про бани.

С 382. *У банника есть дети — банные анчутки*... — Банником называется мифологический персонаж, род домового, который обитает в банях. По народным представлениям у него нет детей. Этот мотив является авторской новацией Ремизова, так как банные анчутки и есть банники В тексте-источнике они описываются так: «<. .> в бане видели чертей, банных анчуток, кикиморами что прозываются. Мохнаты, говорят, а голова-то гола, будто у татарчат; стонут » (№ 69 *г* С 231—232).

С 383 *Кикиморы* — см прим к С 369.

Душа — Имя героини заимствовано из текста-источника № 69 *г*, хотя сама история Души, которая встречалась в бане с мертвой матерью, не имеет отношения к ремизовской сказке. Писатель контаминирует несколько рассказов о случаях с разными девками в бане, создавая собирательный образ. Характеристика Души «девка бесстрашная», как и весь эпизод шитья рубашки, восходит к № 69 *а*

Корчага — см. прим к С. 43.

Истопили на девишник баню — Накануне свадьбы совершают ритуальное

мытье в бане, обряд очищения, который в тексте-источнике (№ 69 *г*) называется «размывать невесте усы» В ремизовском тексте этот мотив трансформируется в «щекотанье усов девкам» банными анчутками.

С. 383. *...поет что есть голосу не-весть-что...* — Ср. в № 69 *г*: «поет что есть голосу похабщину» (С. 232).

...хоркают по-меринячьи — т. е. издают звуки в подражание мерину (холощеному жеребцу).

С. 384. *...кум Бублов печник...* — Этот персонаж заимствован из № 69 *г*. В контексте данного повествования особенно знаменательна его профессия, так как в народных представлениях печники нередко считаются ведунами, связанными с домовым

Хмыль — шмыг.

...в лепетки... — здесь: в клочки; выражение восходит к № 69 *г*.

Нужда

Текст-источник: Садовников. № 67. Про нужду.

С. 385. *Инда* — см. прим. к С. 44.

Бугрина — бугор.

С. 386. *Выстегнуть* — здесь: выпрячь из саней.

Впрягайся в корень, а я на пристяжку! — То есть на место коренной лошади (по центру) и пристяжной (сбоку).

.. *царь первый Петр.* — Текст-источник не имеет отношения к циклу сказок о Петре I, в нем вообще фигурирует барин, а не царь.

Морока

Рукописные источники: № 4 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед.хр. 573).

Текст-источник: Садовников. № 25. Морока.

С. 387. *...загану я тебе загадку...* — Все царские загадки заимствованы Ремизовым из текста-источника.

С. 388. *Четвертной билет* — купюра достоинством двадцать пять рублей.

Ан — здесь: а это.

С. 389. *Надзиратель Борисов* — персонаж взят Ремизовым из текста-источника.

С. 390. *Чай* — вероятно, думаю, надеюсь.

Полати — лежанка на печи.

...сказки-то я ведь не хорошими словами сказываю... — Ср. в тексте-источнике: «я сказки-то ведь пома́терно сказываю» (С. 119).

С. 391. *...и до света ушел.* — В тексте-источнике концовка несколько иная: старик приказал выгнать солдата, и тот ушел «куда знает, а старик и топерь помирает» (С. 119).

Клад

Рукописные источники: № 5 в составе макета неосуществленного издания сборника «Хлебный голос и другие сказки» (ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 573).

Текст-источник: № 112 *т* Про клады

С. 391 *Лоха* — От какого имени собственного образовано имя персонажа, не ясно Возможно, Ремизов подразумевал здесь слово «лох» — разиня, шалопай, или же имел в виду его другое, офенское, значение — мужик, крестьянин вообще

Нешто — здесь разве.

Лутошка — липа, с которой снята кора; она сохнет и вся чернеет

. *..на паре в разнопряжку* . — т. е на паре лошадей, запряженных последовательно каждая в свой воз одна за другой

С. 392. *Кипень* — белая пена от кипения

Шина — здесь: железный обруч, туго набиваемый на обод колеса

Горн — род печи с широким челом и с мехом для накаливания и иногда плавки.

С. 393. *Голица* — кожаная рукавица.

Онуча — см. прим. к С. 43.

С. 394. *Амбар* — см. прим. к С. 246.

Короб — лубяной (т. е. липовый) сундук.

С. 395. *...ни рукой ему двинуть ~ а язык и не ворочается...* — Этот пассаж заимствован из текста-источника

П у п е н ь

Текст-источник: С а д о в н и к о в. № 112 *н*. Про клады.

С 395. *Понаслыху* — т е. понаслышке, руководствуясь людской молвой

Пупень — Вероятно, Ремизов подразумевает здесь камень, пуп земли В тексте-источнике бабы вырыли кинжал и пистолет.

.. *идет по валу старичок...* — В тексте-источнике бабы сами обращаются к начётчику-чернокнижнику, который «по черной книге прочитал» им, что нужно делать, а в конце сказки объяснил, что клад ушел в землю.

Нешто — см. прим. к С. 391.

С. 396 *Козобан* — Очевидно, ремизовский неологизм. соединение козла и кабана в одно существо. В тексте-источнике не упоминается.

Чекуша — то же, что *чека*, т. е. засов, затычка, гвоздь.

Прядать — здесь: моргать

.. *от усердия, думали* .. — т е полагали, что от усердия в посте и молитве.

К л е к с

Текст-источник: О н ч у к о в № 230 Рыбий клеск.

С. 396. *Погост* — здесь: церковь; *погост* — место вокруг церкви, на котором бывает и кладбище.

Клекс — рыбья чешуя. В тексте-источнике: кле*ск*.

С. 396—397. *Пасха* — освященный сыр или специальный творог, которым разговляются после пасхальной заутрени.

На все Господь

Текст-источник: № 15. Побывальшинка (Зеленин Д. К. Великорусские сказки Пермской губернии. Пгр., 1914; см. также научное переиздание этого сборника СПб., 1997).

С. 398 *Балаган* — любое временное строение для хранения товаров, ремесленных работ или промысла; здесь· землянка.

С 399 *Кум* — см. прим к С 73.

Посмотрел Ипат через правое плечо. — По народным представлениям за правым плечом человека неотступно стоит Ангел-хранитель, а за левым — черт, который караулит его душу. Именно поэтому плюют исключительно через левое плечо, т. е. в лицо дьяволу.

Покумиться — т. е. стать кумовьями.

Стряпка — стряпуха, кухарка.

С. 401. *Риза* — здесь: ткань, в которую восприемник принимает младенца от купели во время крещения.

Престол — имеется в виду столик.

С. 402. *...диким местом Уралом.* — Эта географическая реалия позаимствована Ремизовым из текста-источника.

С. 403. *...лег под святые...* — т. е. лег под образа.

Голова

Текст-источник. Садовников. № 100 Разбойничья голова

С. 404. *...отпросился у отца на богомолье...* — В тексте-источнике сын попросил отца женить его, женился и идет по дороге с женой.

С. 405. *Грешен, хотел его порешить.* — В фольклорном источнике старик признается, что удавил разбойника. У Ремизова же кара предполагается за нравственный грех, согрешение помыслом, а не поступком.

Подожок

Текст-источник: Садовников № 105. Дорогой подожок.

С. 405. *Подожок* — вероятно, подразумевается небольшой ручной жернов (от *под*).

Айда — см прим. к С. 13.

Полуштофчик — см прим. к С. 370.

Оттрудился

Текст-источник· № VI. Как Бог наказал сына за матерь (Васильев А Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф Н Календарева / Изд А М Смирнов // Живая старина 1911. Вып 1 С. 128—130) Название своей сказки Ремизов позаимствовал из предпоследней фразы текста-источника: «*оттрудился* за материну обиду» (С. 130).

С. 408. *Пасха* — см. прим к С. 396—397.

Заря перегорелая

Текст-источник: Садовников. № 90. Перегорелая заря.

Глухая гропочка

Текст-источник Садовников № 89 Миколай угодник и охотники

Заяц съел

Текст-источник: № 5 Поп-завидущие глаза (Афанасьев А Н Народные русские легенды М., 1914 С 84—89)

С. 412 *Кошель* — мешок, котомка

Айда — см прим к С. 13.

С. 413. *...сказались, что лекаря..* — т е назвались лекарями

С. 414 *Фунт* — см прим к С. 78

Праведный судья

Текст-источник: Садовников № 96 О праведном судье.

С. 415 *Постоялый двор* — см прим к С. 189—190

Жерёбая — т е беременная жеребенком

С 416 .. *проста ее кобыла* — т е пустует.

Скоморошик

Рукописные источники: «Скоморошьи сказки». № 3. Скоморох — автограф — РНБ Ф. 1012. Ед. хр 7.

Текст-источник· Садовников. № 98 Вавило-скоморох.

С 418 *Кромá* — краюха, наружный ломоть или горбушка хлеба

С. 419 *Вершковый* — от *вершок* — старая русская мера длины, употреблявшаяся до введения метрической системы мер, один вершок равен 44,45 мм

Награда

Текст-источник: Садовников № 97. Пустынник и дьявол

С 421 *Базучий* — скотский, вероятно, от *баз* – скотный двор

С. 422—423 *Погляди-ка мне через левое плечо! ~ через правое плечо!* — См. прим к С. 399

Семь бесов

Этот заключающий сборник рассказ принципиально отличается от всех других, вошедших в «Укрепу» В нем повествуется о якобы имевшем место в реальной жизни эпизоде из биографии самого писателя, относящемся ко времени его пребывания в ссылке на Русском Севере Впоследствии на правах подлинного мемуарного свидетельства в переработанном виде, но под тем же названием он был включен в книгу воспоминаний «Иверень» (С. 185—190) Такой прием, когда к фольклорному по своим источникам материалу подключается текст из сферы мифопоэтической, в основе которого лежит мифологизированный автобиографизм, и тем самым они уравниваются в пространстве книги, свидетельствует не только о расширительном толковании Ремизовым понятия «сказка», но и о начале принципиально нового с точки зрения литературной стратегии этапа в его творчестве, подготовленного работой над русским фольклором Таким образом, «Укрепа» в известном смысле выступает в роли связующего звена между ремизовской прозой 1910-х годов и его большими «монтажными» произведениями 1920—1930-х годов

С. 423 .. *серебряный кремлевский я с а к...* — последний колокол Ивановской колокольни в московском Кремле (другое название Иван Великий, построена в 1600 году,) звон которой имел особую мелодию и назывался «красным звоном». В церковном уставе этот колокол именуется «кандея» и представляет из себя «маленький звонец, которым дается знать звонарю на колокольне о времени благовеста или звона Он повешен не на колокольне, а на восточной стене Успенского собора» (Р ы ч и н Ф. И Путеводитель по московской святыне. М, 1890. С. 144) Упоминается Ремизовым в заключительной главе книги «Взвихренная Русь» (С 521)

Царь-колокол — отлит из бронзы мастерами И. Ф. и М. И. Моториными в 1733—1735 годах; имеет массу свыше 200 тонн; в 1836 году был установлен около Ивановской колокольни в московском Кремле

Усолье — соляной завод; здесь подразумевается некая конкретная топографическая реалия.

Винокуров с замоскворецких Толмачей — автобиографический персонаж, получивший в «Иверне» фамилию Подстрекозов. Ремизов родился в Замоскворечье, в доме своего отца в Малом Толмачевском переулке, находившемся в приходе Николы в Толмачах.

...гостя московского... — т. е. московского купца.

С. 424 *Костров Веденей Никанорыч* — прототипом этого персонажа является Федор Иванович Щеколдин, фигурирующий в «Иверне» под своим настоящим именем. Подробнее о его взаимоотношениях с Ремизовым см : Д в о р н и к о в а Л. Я. Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // Алексей Ремизов: Исследования и материалы. СПб., 1994. С. 231—237.

С. 426 *Нешто* — см прим. к С. 391.

...с лествицы скувырнешься — В сочинении преп. Иоанна Лествичника (ок. VI в. н. э ; память празднуется 30 марта ст. ст) «Лествица райская», являющимся руководством к иноческой жизни, последняя описана как путь непрерывного восхождения по лестнице духовного самосовершенствования, состоящей из 30 ступеней, которым соответствуют 30 глав «Лествицы». Именно эту лествицу подразумевает здесь Ремизов.

С. 427. .. *дошел бы до рассмотрения дел человеческих и рассуждения.* — Исключительно значимая для Ремизова идеологема, с которой он неизменно связывал особенности своей поэтики. Ср., например: «В мистических школах учили „рассмотрению" вещей, это значит, поставить или расположить факты в порядке, а затем высшая ступень — „рассуждение" вещей; тут начинается проникновение в самое сердце живого существа событий. „Рассуждение" вещей просто не дается, механически научиться нельзя» (К о д р я н с к а я. С. 134); «Рассмотрение слов: на глаз и ухо. Рассуждение слов. сочетание» (Там же. С. 135)

С. 429 *Бесстудие* — бесстыдство.

...прошла пора венца... — Подразумевается время от Богоявления Господня

(6 января ст. ст.) до Масленицы, считающееся наиболее благоприятным для заключения браков, разрешенного в этот период церковью

С. 429. *Самоедь* — так в старину называли лопарей (саамов), а затем это поименование было распространено также на ненцев, селькупов и другие народы Севера

Семь седмиц — семь недель Великого поста

. .*к Стефану Великопермскому* — Св Стефан Пермский (ок 1340—1396) прославился обращением языческих народов Русского Севера, в том числе коми (зырян), в христианство С 1383 года был епископом этого края Повсеместно, в Перми, Вычегде, Усть-Выми и других городах, ставил храмы Здесь подразумевается храм, ему посвященный Память этого святого отмечается 26 апреля

Куафер — парикмахер

С. 430. ...*ударили к деяниям* — По уставу перед пасхальной заутреней читают «Деяния апостолов».

С. 431. *Плащаница* – ткань с изображением положения Спасителя во гроб.

Служебник Иовский – Имеется в виду служебник первого Московского патриарха Иова (1589—1605), который был издан при его жизни в Москве в 1602 году (см.: З е р н о в а А. С. Книги кирилловской печати М., 1958 № 18)

Параеклисиарх – пономарь (Словарь русского языка XI—XVII вв М , 1980. Вып 7. С. 41)

Канбанарий — колокольная звонница (Там же)

Камбан — колокол (Там же)

Клепать – бить в доску, клепало (Там же)

С. 433. *Ризы* — здесь: одежда священника

. *кто пропустит и девятый час*. . — Цитата из Слова отца церкви св Иоанна Златоуста (IV в н э), которое читается в конце пасхальной заутрени.

Из книги
«РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
Народные образы

Печатается по изданию: Русские женщины: Народные образы. СПб.: Скифы, 1918.

Рукописные источники: 1) «Образы русской женщины» — макет сборника; машинопись, газетные вырезки <1956> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 15; 2) «Русские женщины» — печатный текст с авторской правкой — Собрание Резниковых (Париж).

Сказки о русских женщинах создавались с 1909 по 1918 год. Тогда же многие из них были опубликованы в периодических изданиях, а также в сборниках «Докука и балагурье» (1914), «Укрепа» (1916) и «Среди мурья» (1917) В последнем цикл назывался «Женская доля». Помещенный здесь авторский комментарий свидетельствует о том, что к 1917 году идея самостоятельной книги уже оформи-

лась в сознании писателя: Ремизов перечисляет не только ранее опубликованные, но и шесть нигде не публиковавшихся сказок, а предлагаемые вниманию читателя в новом сборнике характеризует как «дополняющие это собрание» (Среди мурья. С. 231). В начале 1917 года он обратился с предложением напечатать книгу «Русские женщины в народных сказках» в московское «Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых», однако получил отказ, мотивированный тем, что она не подходит для включения в предполагаемую серию издательства (см. ответ Ремизову М. Лукина от 15 февраля 1917 года: Ремизов А. М. Переписка с редакциями и издательствами «Разум», «Северные записки», «Унионо» и др. в связи с изданием его произведений. 1909—1920 // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 12—12, об.). В самом начале 1918 года к редакционной работе над сборником приступило дружественное Ремизову петроградское издательство «Скифы» (см. об этом в письме Р. В. Иванова-Разумника от 20 января 1918 года: Письма Р. В. Иванова-Разумника к А. М. Ремизову (1908—1944 гг.) / Публ. Е. Обатниной, В. Г. Белоуса и Ж. Шерона // Иванов-Разумник: Личность. Творчество. Роль в культуре: Публикации и исследования. СПб., 1998. Вып. II. С. 95). 1 июня 1918 года издательство уведомило его о поступлении книги в продажу (ИРЛИ. Ф. 256 Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 40). Окончательное, более лапидарное название сборника — «Русские женщины» (ранее так назывался цикл сказок в «Докуке и балагурье»), безусловно, является отсылкой к известной поэме Некрасова, так как Ремизов развивает ту же тему русской литературы. О замысле своей книги он говорит в дарственной надписи С. П. Ремизовой-Довгелло: «Тут все, что русским народом сказано. О матери, сестре, жене. От желанного до злого» (Волшебный мир Алексея Ремизова С. 20) Более подробно писатель раскрывает идею сборника в предисловии к немецкому переводу (1923), которое цитируется по-русски в библиографической статье об этом издании· «Открытый к слову русского народа, пользуясь записями изустных рассказов, я сказываю сказку о России — о матери, о сестре, о жене Русская женщина проходит со своей разной долей, каждая неся свою тайну. И первая тайна — тайность сердца — любовь· любовь — васильковое поле! — щедрое одаряющее сердце; и любовь — там брошенный в подвал' — безвыходно бьющееся сердце. Марья — с бессмертной суженой любовью и Маша — разлученное кукующее сердце. Любава — с беззаветной воскрешающей любовью, и Маша — чудодейное мудрое сердце. Нелюбая Сошка, и отчаянная Маша — бессчастная доля! Федосья — родное сердце, а любовью крепка до смерти, и верная Ульяша. Какою береженною думой одумана любовь сестры к брату, и как жестоко и какая горечь в слове о подружьей любви — Варушки и Анюшки И та же беспощадность к ревнивой клевещущей любви Варвары. От старого до малого — от бабушки-ворожеи, Карасьевны и Кондратьевны до девчонки-сказочницы Машутки и умницы Ульки. От человека-женщины до лешачихи и водянихи и рыси-Наташи, разлученной с мужем и сыном. Я слышу, Россия — мать, сестра и жена — голосом русской земли сказывает свою волшебную сказку» (Благонамеренный (Брюссель) 1926 Кн. 2. С. 165).

Первые восемнадцать сказок, вошедшие ранее в цикл «Русские женщины»

сборника «Докука и балагурье», и пять сказок, помещенных в сборнике «Укрепа» («Бесстрашная» — под названием «Банные анчутки», «Обиженная» — под названием «Урвина», «Шавая» — под названием «Гол-камень», расположенные в «Русских женщинах» между сказками «Несчастная» и «Сердитая», а также «Пупень» и «Хлебный голос», расположенные между сказками «Клещавая» и «Костяной дворец»), в настоящем издании воспроизводятся в составе этих сборников (см. выше). Алфавитный указатель текстов-источников не воспроизводится.

Лепетливая

Тексты-источники: Соколовы. № 14. Болтливая баба; № 107. Хигрой мужицек.

С 439 *Яз* — род плетны, устанавливаемого поперек реки, к которому крепится специальная корзина для ловли рыбы.

Вятерь — корзина с колокольцем, прикрепляемая к язу (см. выше).

Верша — то же, что и вятерь (см. выше)

Кляпцы – капкан.

Сеночи — сегодня.

С. 440. *Айда* – см. прим. к С. 13

Мудрая

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано: Петроградская газета. 1915. 25 дек. № 354 С. 18.

Текст-источник: Соколовы. № 11. Покупка ума.

С. 444. *Отводи́ны* – обед в доме невесты на второй день свадьбы.

С. 446 *Коты́* – кожаная или валяная обувь, которая привязывается к ногам с помощью длинных шнуров.

С. 447 *Ризье* — здесь· одежда ка́к таковая (от *риза*).

Сдобиться — нарядиться.

Верная

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано. Новая жизнь. 1915. № 12. С. 59—64.

Текст-источник: Соколовы. № 17. Верная жена.

С. 449 *Неражчикая* — невзрачная, неказистая.

Умница

Рукописные источники: «Красная сосенка и другие сказки». № 2. Умница — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 576.

Текст-источник: Соколовы. № 64. Как девки на беседе сидели (Былица).

С. 455 *Банник* — см прим к С. 382.

Певун — здесь: петух.

Лешая

Сказка написана в 1916 году.

Впервые опубликовано Орловский вестник. 1916. 3 июля № 143 С 2—3.

Рукописные источники: «Красная сосенка и другие сказки» № 3 Лешая — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172 Ед хр. 576

Текст-источник: С о к о л о в ы. № 124. Лесной и швець.

С. 456. *Изразок* — здесь: образец.

Н е с ч а с т н а я

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 20. С. [3—4]; под названием «Младена матерь».

Рукописные источники: «Красная сосенка и другие сказки». № 4. Несчастная — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ. Ф. 172. Ед. хр. 576.

Текст-источник: № 14. Рыси (Е д е м с к и й М. Семнадцать сказок, записанных в Тотемском уезде Вологодской губернии, в 1905—1908 гг. // Живая старина. 1912 [1914]. Вып. II—IV. С. 248—249).

С е р д и т а я

Текст-источник: С о к о л о в ы. № 45. Сердитая барыня.

Н е л ю б а я

Сказка написана до 1917 года.

Текст-источник: С о к о л о в ы. № 71. Как баба давилась. (Правда).

С. 464. *Чистый понедельник* — первый день Великого поста.

Д о ш л а я

Сказка написана до 1917 года.

Текст-источник: С о к о л о в ы. № 70. Как мужик бабу уходил. (Правдошная).

Д р у г

Сказка написана до 1917 года.

Текст-источник: С о к о л о в ы. № 99. Охотник и разбойник.

Т о л о к н о

Сказка написана до 1917 года.

Тексты-источники: С о к о л о в ы. № 1. Никола Дубленской; О н ч у к о в. № 50. Костя и № 139. Никола Дубенский; № LXVIII. Никола Дуплянской (А ф а н а с ь е в А. Н. Русские заветные сказки. Валаам, Год мракобесия. С. 194—198).

П р о к л я н у т а я

Сказка написана в 1916 году.

Впервые опубликовано: Вятская речь. 1916. 25 дек. № 269. С. 2—3.

Текст-источник: С о к о л о в ы. № 28. Мельник и его сын.

Х и т р а я

Текст-источник: № 1. Повесть у премудрых женах, которая жена медведя грамоте научила Глава 5-я (А ф а н а с ь е в А. Н. Повести о мудрых женах // Летописи русской литературы / Изд. Н. Тихонравов. М., 1863. Т. 5. С. 86—87).

С. 478. *Паремия* – места из Священного Писания, читаемые на вечернем богослужении.

Л у к а в а я

Текст-источник: № 2. Како жена мужа прелукавила. Глава 6-я (А ф а н а с ь е в А. Н. Повести о мудрых женах. С. 87—88).

К л е щ а в а я

Текст-источник: № 4. Как жена мужа поминала. Глава 8-я (А ф а н а с ь е в А. Н. Повести о мудрых женах. С. 88—89).

С. 482. *Семитка* — две копейки серебром.

К о с т я н о й   д в о р е ц

Сказка написана в 1916 году.

Впервые опубликовано: Лукоморье. 1916. № 40. С. 7.

Рукописные источники. «Хлебный голос и другие сказки». № 8. Костяной дворец — макет сборника, печатные вырезки — ИРЛИ Ф 172. Ед хр 573.

Текст-источник. № 4. [Костяной дворец] (Восемь сказок Вятской губернии. (Записи Е. В. Поповой, Д К. Зеленина и М. И. Сунцовой) // Живая старина. 1912 [1914]. Вып. II—IV. С 278—279; запись Д К. Зеленина)

Т у ш и ц а

Текст-источник. С о к о л о в ы. № 92. Мое путешествие.

С. 485. *...я в бабки снаряжаюсь...* — т. е. иду к роженице; *бабка* — здесь: повивальная бабка.

К у к у ш к а

Сказка написана до 1917 года.

Текст-источник: № 5. Про раков [Легенда о происхождении раков] (Восемь сказок Вятской губернии. С. 279; запись Д. К. Зеленина).

СИБИРСКИЙ ПРЯНИК

Большим и для малых ребят сказки

Сибирские сказки

Печатается по изданию Сибирский пряник: Большим и для малых ребят сказки. Пб.: Алконост, 1919.

Рукописные источники: 1) «Сибирский пряник» — автограф и авторизованные печатные вырезки <1918> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 20, 2) «Сказки нерусские» — газетные и журнальные вырезки с авторской правкой и рисунками (10) в двух тетрадях <1914—1922> — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед хр 9; 3) «Чакхчыгыс-таасу», «Люди и звери», «Белый ворон», «Три брата», «Волк» — беловой автограф и машинопись <1922> — ЦРК АК Кор. 12 Папка 1б.

Ремизов начал работу над циклом не позже первой половины июня 1916 года, хотя впоследствии под примечаниями во втором издании «сибирских сказок» «Чакхчыгыс-таасу» (1922) поставил дату «1917—1921 г.» Уже 17 июня 1916 года он писал редактору журнала «Огонек» В А. Бонди «Посылаю рукопись для Огонька сказку Белого Ворона Максимилиану Станиславовичу Проперу. Ему же пишу прошение <. .> о прибавке гонорара. <...> Я вынужден сделать это в трудное время и особенно трудное для пишущих не о военном» (РНБ. Ф 90 Ед. хр. 27. Л. 14) «Белый ворон» — первоначальное название чукотской сказки «Эйгелин», к которому Ремизов вернулся и во всех публикациях, последовавших за выходом «Сибирского пряника» В августе 1916 года «Белый ворон» был впер-

вые опубликован в № 32 «Огонька» Это единственная сказка «сибирского» цикла, имеющая печатный текст-источник (см. об этом ниже). Причем заимствован он из того же выпуска «Живой старины», что и тексты-источники цикла «Е», над которым Ремизов работал летом 1916 года (см. преамбулу к этому циклу) Почти через два года, 11 апреля 1918 года, Г. Лебедев писал Ремизову: «<...> в субботу к Вам собирается Дм Соловьев, исследовавший манегров, карагисов, эрочей Хочет поговорить относительно карагисских сказок и о многом другом» (Р е м и з о в А. М. Переписка редакций и издательств «Аргус», «Лукоморье», «Народоправство» и др. в связи с изданием его произведений // ИРЛИ. Ф. 256. Оп 2. Ед. хр. 24. Л. 5; письмо на бланке петроградской газеты «Вольная Сибирь») Вероятно, именно весной 1918 года Дм. К. Соловьев передал Ремизову для обработки свои неопубликованные записи двух карагасских и трех манегрских сказок, а также предоставил ему сведения этнографического характера, которые впоследствии были помещены в примечаниях. Якутские сказки, полученные писателем от С. А. Новгородова, очевидно, тоже никогда не публиковались. Уже во второй половине мая 1918 года все восемь сказок цикла (за исключением «Эйгелина») были опубликованы в два приема (№ 6 и 7) в редактируемом давним приятелем Ремизова М. М. Пришвиным Литературном отделе «Россия в слове» еженедельника «Воля народа». Вскоре в непериодическом издании Театрального отдела Наркомпроса «Игра» (1918. № 2. Ч. 1. С. 1—4; Ч. 2. С. 26) ремизовский «сказ» «Серкен-Сехен» был еще раз опубликован как вставной номер — песенка Рубабы (Пролог, картина 2) из пьесы-сказки В. Э. Мейерхольда и Ю М. Бонди «Алинур». Сама пьеса была помещена на С. 1—25, а в первой части «Игры» на С. 1—4 напечатаны ноты этой песенки с ремизовским текстом (музыка Анатолия Канкаровича). В том же номере «Игры» был опубликован и цикл «Е Заяшные сказки (Тибетские)» (Ч. 2. С. 33—56) Соседство этих двух текстов нашло отражение в песенке Рубабы: «руки-ноги» Серкен-Сехена здесь — «заяшный ус», а не «усики», как в алконостовской редакции (в «Чакхчыгыс-таасу» Ремизов вернулся к прежнему варианту — «заячий ус»). В 1919 году цикл был впервые опубликован в полном составе петербургским издательством «Алконост» под названием «Сибирский пряник». Обложка этой книги была выполнена по эскизу самого Ремизова. В интервью журналу «Вестник литературы» он сообщал: «<...> „Сибирский пряник" — начало затеи моей написать большую книгу „Великая Сибирь", куда бы вошли заветные сказки сибирских народов» (Вестник литературы 1919. № 8 С. 4) Этот монументальный замысел так и не был осуществлен. Между тем название ремизовского цикла отсылает читателя не только к сибирской теме. В 1916 году писатель принимал участие в сборнике в пользу общества «Детская помощь», который назывался «Пряник осиротевшим детям» и был украшен фрагментами оттисков костромских и ярославских пряничных досок из собрания близкого друга Ремизова И. А. Рязановского (ранее Ремизов всячески способствовал изданию двух альбомов оттисков этих пряничных досок, а затем рецензировал их). Знаменательно, что к 1918 году относится и одно из «рабочих» названий цикла «Лалазар» — «Кавказский пряник», транс-

формировавшееся в «Кавказский чурек» в процессе подготовки к публикации в издательстве «Алконост», где сборник должен был выйти практически одновременно с «Сибирским пряником» (подробнее об этом см в преамбуле к сборнику «Лалазар» — С. 701—702) Все это создает особую смысловую интригу, так как связывает два цикла, устанавливая между ними род «диалога», и одновременно является апелляцией к внелитературному контексту ремизовского творчества данного периода. Когда в 1922 году «Сибирский пряник» был переиздан Александром Шрейдером в берлинском издательстве «Скифы» (см. об этом· *Lampl H* Zinaida Hippius an S P. Remisova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach 1978 Bd 1. S. 190), Ремизов изменил название сборника, использовав для него имя шамана из сказки «Стожары» — Чакхчыгыс-таасу, что значит Трескучий камень (Сибирский пряник С. 11) или Кремень (Чакхчыгыс-таасу. С. 32; само якутское имя шамана писатель убрал из текста сказки, сделав название сборника абсолютно непонятным читателю, что, вероятно, должно было символизировать «закрытость» данной этнокультурной традиции для европейца) Кроме того, один из подзаголовков «сибирские сказки» трансформировался здесь в духе прочих сказочных циклов пореволюционного периода в «сибирский сказ» Наконец, в этом издании была полностью изменена последовательность текстов и сделана большая стилистическая правка О содержательной стороне ремизовского цикла Марк Слоним писал в своей рецензии: «„Чакхчыгыс Таасу" — ряд небольших сибирских сказок. Большинство из них космогонического характера Почти все очень любопытны не только как этнографический материал для изучения верований и мифов тунгузов и чукчей, но и как литературные произведения» (М С. [С л о н и м М.] Последние книги А. Ремизова // Воля России (Прага). 1922 № 20. С. 24). Несмотря на выход двух сборников, писатель продолжал публиковать отдельные сказки своего «сибирского» цикла в периодике. В том же 1922 году сказка «Эйгелин» под названием «Белый ворон Чукотская сказка» была напечатана в парижской газете «Последние новости» (1922. 21 янв. № 542), а в 1925 году сказки «Судьба» (под другим названием — «Волк») и «Три брата» были опубликованы в № 36 рижского журнала «Наш огонек» под общим заглавием «Карагасские сказки». Впоследствии Ремизов предполагал включить «сибирские сказки» в книгу «Сказки нерусские» Макет этого неосуществленного издания (две тетради с вклеенными в них газетными и журнальными вырезками, подвергнутыми авторской правке, и десятью рисунками на обложках и шмуцтитулах) хранится в фонде Ремизова в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ИРЛИ Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 9) Цикл называется здесь «Память сказка. Сибирские» (Л. 100). В сами тексты внесена стилистическая правка, а их последовательность вновь изменена (см. Л. 100—128). На Л. 3, где помещен перечень циклов данного сборника с росписью входящих в них текстов, напротив сибирских сказок слева имеется ремизовская помета «последняя редакция». Кроме «сибирского» цикла, в этот сборник должны были войти две арабские, две негритянские, семь подкарпатских (басаркуньих), две кабильские сказки, а также тибетские (заяшные) сказки из цикла «Е» (Л. 62—94) и кавказские сказки из цикла «Лалазар», который Ремизов

намеревался воспроизвести здесь без каких-либо изменений (см Л 130—142).

Про крота и птичку

Впервые опубликовано: Воля народа 1918 № 6 С. 15

Ср. другую сказку о птице в наст. томе «Ремез — первая пташка» (Посолонь. С. 105—106).

Стожары

Впервые опубликовано. Воля народа 1918 № 6 С. 15.

С. 491. *Стожары* — созвездие плеяд

С. 492. *...на Ивана Купалу*. . — см прим к С 381.

Камлает — шаманит, гадает, ворожит (от сиб *кам* — шаман)

Доха — род шубы или тулупа мехом наружу

Проух — отверстие, в которое вставляется топорище

Серкен-Сехен

Впервые опубликовано: Воля народа 1918. № 6 С. 15—16.

С 493. *Росстань* — перекресток, до которого обычно провожают отправляющихся в путь, где расстаются

Брылы — губы.

Судьба

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918 № 6 С. 16.

С. 493. *Тутарь* — в качестве имени героя выбрано прозвище рассказчика этой сказки (см. комментарий Ремизова — С. 510).

Три брата

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 6 С. 16.

Люди и звери

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 7. С. 12.

Люди, звери, китайская водка и водяные

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 7. С. 12—13

С. 498. *Паголинки* — чулки без носков или же часть чулка, обнимающая голень (от *голень*).

Китайская шапка

Впервые опубликовано: Воля народа. 1918. № 7. С. 13—14.

С. 499. *Касяки Ойлягир* — т. е. Касяки из рода Ойлягир; о его происхождении см. сказку «Люди и звери» (С. 495—496)

Рогатая пальма – нож на древке, рогатина (сиб.).

Эйгелин

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 32. С. [8—11]; под названием «Белый ворон».

Текст-источник: Чукотская сказка // Живая старина 1912 [1914] Вып. II—IV. С. 495—502 (разд «Восточные сказки», записана И П Толмачевым) Второй абзац ремизовского примечания к «Эйгелину» почти полностью совпадает с редакционным пояснением к этой сказке (С. 495) Так как публикация сопровождается подробными подстрочными примечаниями И П Толмачева, мы сочли возможным процитировать их ниже с указанием в скобках номера страницы

С. 501. *Эйгелин* — в тексте-источнике у героя нет имени, он называется здесь парень. В первой редакции сказки («Белый ворон») героя зовут Номульга.

Обутки — «то же, что обувь. Здесь мягкие кожаные башмаки из оленьей шкуры (снятой с ног оленя)» (С. 495).

С. 502. *Булат* — нож из азиатской узорочной стали.

Батас — «большой (длинный) нож» (Там же).

...впереди камень... — «слово камень в северной Сибири очень часто употребляется вместо слов гора или хребет» (С. 496).

С. 503. *Яр* — «крутой обрывистый берег или просто обрыв, чаще земляной» (Там же).

...молодежь пинала мяч... — «здесь — игра в мяч, вполне отвечающая футболу» (Там же).

...две другие показались Эйгелину... — здесь: понравились.

С. 505. *Полог* — «внутреннее помещение в руйте в виде небольшой палатки из оленьих шкур, в котором собственно и живет чукотская семья. Руйта же играет скорее роль крытого двора или амбара, где сохраняются все хозяйство и припасы семьи, а также в плохую погоду находят приют себе и собаки» (С. 498).

С. 506. *Пекуль* — «нож, употребляемый у чукчей исключительно женщинами. Он имеет форму более или менее правильного полумесяца с режущим выгнутым краем и с рукояткой, прикрепленной у середины вогнутого края. Это будет скорее режущая лопатка, напоминающая русскую сечку, чем нож в обычном смысле этого слова» (С. 499).

С. 507. *...дорогие бобры, росомахи...* — «росомахи и бобры очень ценятся чукчами, так что ввозятся на Чукотский полуостров: первые из Якутской области, вторые из Америки» (С. 501).

...мертвая валялась в тундре... — «чукчи обыкновенно вывозят своих покойников в тундру и бросают их здесь на добычу хищным зверям и птицам» (С. 500).

С. 508. *Камлать* — см. прим. к С. 492.

С. 509. *Погодно* — «ненастно» (С. 501).

...помазаться свежей кровью... — «новобрачных мажут свежей кровью при совершении брачной церемонии» (Там же).

...от возка до самого полога тюленей... — в тексте-источнике: «от балка до полога в чуме лахтаки». И. П. Толмачев делает к этому месту следующее примечание: «Лахтак — морской зверь, зоологическую породу которого по рассказам трудно выяснить. Возможно, что это особая крупная порода тюленей» (Там же).

ЗАВЕТНЫЕ СКАЗЫ

Печатается по изданию: Заветные сказы. Пб.: Алконост, 1920 (на обороте титульного листа обозначено· «Настоящее издание отпечатано в количестве трехсот тридцати трех нумерованных экземпляров»).

Цикл создавался в течение шести лет с 1906 по 1912 год. Первый «сказ» — Гоносиева повесть «Что есть табак» — был написан на Святках 1906 года в селе Берестовец Борзненского уезда Черниговской губернии, где в семье родных Серафимы Павловны жила дочь Ремизовых Наташа. Вскоре он был прочитан в Петербурге в присутствии К. А. Сомова, Л. С. Бакста и А. Н Бенуа. Это чтение носило ритуальный характер, так как было частью традиционного святочного действа в доме писателя. Сохранились письма, проливающие свет на то, что происходило во время таких праздничных «сборищ». К примеру, приглашая А. Н. Бенуа посетить его в Крещенский сочельник 1908 года, «когда в полночь чудо из чудес бывает — звери заговаривают по-человечьи», Ремизов писал «5 Генваря по обычаю прошлых лет празднуем Голодную Кутью и гадаем, вручая судьбу свою Козлу, который зримо присутствует и руководит гостями» (РНБ. Ф 137. Ед хр. 1467). В честь Козла сам хозяин исполнял ритуальный танец козловак. «Как жаль, что я не видел, как Вы плясали на святках козловак, — писал Ремизову Андрей Белый 10 января 1906 года. — Я, быть может, мог бы дать полезные сведения на этот счет: (как же, я ведь и музыку к козловаку сочинил — одной рукой наигрывать надо)» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 57). Подобной атмосфере как нельзя лучше соответствовал ремизовский «святочный рассказ» По свидетельству самого писателя, замысел «Табака» возник под впечатлением «сеанса» в доме К. А Сомова, где демонстрировалась «эрмитажная редкость» кн Потемкина-Таврического, изготовленная «в точном размере и со всеми отличительными подробностями, с родимым пятном у „ствола расширения“» по воле императрицы Екатерины II «для назидания обмельчавшему потомству». Впоследствии именно этот «сеанс» стал тем «закладным камнем», на котором был выстроен ремизовский вариант мифа о петербургском периоде собственной литературной карьеры и шире — о Серебряном веке русской культуры, запечатленный в его книгах «Кукха», «Встречи», а также в специально написанном по просьбе Г. Чижова-Холмского рассказе «О происхождении моей книги о табаке» (Paris, 1983). Работая над Гоносиевой повестью, Ремизов пользовался широким спектром источников, прежде всего многочисленными сказаниями «о происхождении табака». В своих филологических штудиях писатель опирался на концепции академика А. Н. Веселовского Его работа «Разыскания в области русского духовного стиха» содержит наиболее важный материал для ремизовской повести. Стилистика «Табака» восходит к книге «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святые Горы Афонския Инока Парфения» (М , 1856), откуда заимствован и ряд бытовых деталей жизни на Афоне, обыгрываемых в ироническом ключе. В начале 1907 года писатель предпринял первую попытку опубликовать свой «апокриф» в журнале «Золотое руно». В ответ на это предложение редактор литературного отдела А. А. Курсинский писал Ремизову 5 марта 1907 года «Что касается „Табака“, то напечатать его, по моему мнению, было бы удобно, если бы Руно захотело прекратить свое существование, но, т<ак> к<ак> такого желания у него пока нет, то, конечно, он не будет напечатан» (РНБ Ф 634 Оп 1 Ед. хр 135) К декабрю того

же года возник новый проект — выпустить Гоносиеву повесть отдельным изданием с иллюстрациями Сомова (см. об этом в письме К. А. Сомова Ремизову от 16 декабря 1907 года — РНБ Ф 634. Оп. 1 Ед. хр. 207) В 1908 году этот замысел был осуществлен совладельцем издательства «Сириус» С. Н. Тройницким, опубликовавшим повесть в количестве 25 экземпляров с тремя сомовскими иллюстрациями, моделью для которых послужила все та же «эрмитажная редкость». (В рукописной «традиции» ремизовских «сказов» и в первой публикации «Табак» посвящается Константину Андреевичу Сомову, однако в книге «Заветные сказы» это посвящение, как и посвящение «Царя Додона» в редакции 1912 года проиллюстрировавшему сказку Льву Баксту, снято.) Каждый экземпляр предназначался конкретному владельцу, что создавало вокруг этого издания особую атмосферу «причастности». Одним из «избранных» был В Я. Брюсов В неопубликованном письме к Ремизову от 25 марта 1908 года он называл книгу «истинно-царским подарком» и особо подчеркивал· «Мне очень дорого, что среди двадцати пяти лиц, выбранных Вами из числа всех Ваших знакомых, Вы не забыли меня» (ГЛМ Ф 227 Оп 1 Ед хр 10) Позже Брюсов был включен и в список лиц, которым предназначались именные экземпляры неосуществленного издания сказки «Царь Додон» (см письмо Ремизова к И. А Рязановскому от 21 сентября 1912 года — РНБ Ф 634 Оп 1 Ед. хр. 31 Л 48). Рецензенты сразу же причислили эту книгу к разряду раритетов Так, например, Н Шигалеев писал· «Обыкновенно книжка, прежде чем сделаться библиографической редкостью, должна многое-многое пережить. < .> А эта вот книжечка родилась и сразу безболезненно стала библиографической редкостью <...>. Об ней говорят, ее желают, ее экземпляра нельзя купить и за тысячу рублей <...>» (Шигалеев Н «Табак» Алексея Ремизова Книжка для курящих // Весна. 1908 № 4 С [7]) Далее он приводил большие цитаты из «Табака», попутно выделяя его стилистические достоинства· «Книжечка прелюбопытная. Но интерес ее не в содержании, а в форме, в духе, в стиле сказа, в увертливости оборотов, в богатстве языка. <.. > Алексей Ремизов его понимает, любит, холит И его старинное монастырское сказание о табаке вещица филигранной чеканки. <...> автор <...> искусно держится стиля старинных монастырских сказаний. <...> Цель книжки <. .> отнюдь не устрашение курильщиков Цель ее <...> любование стилем, духом, языком» (Там же С [7–8]) Кроме того, в той же «Весне» (1908 № 6 С. [10]) за подписью Е Либерберг была помещена «антисимволистская» пародия на «Табак» «Витцлипутцли (Посвящ А Ремизову, автору сказания о «Табаке»)» Другой рецензент М Волошин тоже привел выдержку из ремизовского текста и отметил его стиль· «Это мастерски сделанная монастырская повесть, крепкий монашеский анекдот, который мог зародиться лишь в волосатом мозгу матерого, сильно выпившего монаха А Ремизов с обычным искусством сплел тонкую бисерную вязь редких чеканных, отшлифованных, искусно подобранных слов, и это мастерство языка составляет красивый контраст содержанию самой повести Образцово описание монастыря» (М В [Волошин М] [Рец] // Русь 1908 17(30) апр № 105 С 5) Гораздо более сдержанный отзыв о «Табаке» прозвучал в анонимной ре-

цензии на четвертый номер еженедельника «Весна»: «Интересны выдержки из составляющей библиографическую редкость „книжки“ Ал. Ремизова „Табак“, которой, будто бы, нельзя уже купить даже за 1000 рублей! Только потому, что издана в 25 экземплярах. Нельзя сказать, чтобы эта вещь была из лучших повестей Ремизова. Скорее наоборот. Лучше того, что собрано им в „Лимонаре“, он не дал, и „Табак“ не исключение. Если в прежних его рассказах чувствовалась фантазия, яркий темперамент, то здесь, кроме любования народным стилем, коллекцией редких старинных, народных словечек, ничего нет» (см.: Новая Русь. 1908. 20 сент. (3 окт). № 36. С. 3—4) Несколько ранее газета «Речь» подробно пересказала содержание повести и особо отметила «хорошие» иллюстрации Сомова (см: Речь. 1908 2(15) апр. № 79. С. 5) Обильное цитирование в рецензиях свидетельствует о том, что «спрос» на эту книгу был достаточно высок, а мизерный тираж не мог удовлетворить даже круг ближайших знакомых писателя. Поэтому существовали списки «Табака». Некоторые из них, например, список из собрания РГАЛИ (Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 27), список для Литературного музея Ф. Ф. Фидлера или список в коллекцию Н. П. Рябушинского, были мастерски выполнены полууставом самим автором (о двух последних см. в письмах Ремизова к И. А. Рязановскому от 14 февраля и 14 марта 1910 года, 11/24 октября 1911 года — РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31). Кроме того, «сказы» копировали для себя и некоторые знакомые писателя. Один из таких списков принадлежал Л. Н. и Е. И. Замятиным и был воспроизведен с рукописи Ремизова (см.: РНБ Ф 292. Ед. хр. 23). Под общим заглавием «Святочные рассказы» здесь были объединены «Что есть табак» (с примечаниями автора) и сказка «Царь Додон», написанная на Святках 1907 года и тоже исполнявшаяся на одном из святочных «сборищ» в доме писателя. В 1908 году в газете «Межа» (№ 1) был помещен анонс «закрытого издания в количестве 25 экземпляров» сказки «Царь Додон» с рисунками Л С. Бакста. В нем сообщалось, вероятно со слов самого Ремизова, что «материалом для сказки послужило народное сказание, тема сказки: — „Пушкинский царь Никита“ — наоборот». Действительно, аллюзии на сказки Пушкина, причем не только на «Царя Никиту», ощутимы в ремизовском тексте. Впрочем, следует отметить, что писатель апеллирует здесь и к другим образцам русской «потаенной» литературы XIX века, например, когда называет главного героя своей сказки Лукой, без сомнения, в память о герое знаменитой поэмы «Лука Мудищев» Однако издание 1908 года, которое было объявлено также в журнале «Золотое руно» (1908 № 10. С. 75), так и не состоялось. Новая редакция «Додона» была написана в Костроме в 1912 году (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 5). Тогда же близкий друг Ремизова И. А. Рязановский пытался издать эту сказку в Костроме и Ярославле, а Л. С. Бакст намеревался перевести ее на французский язык и опубликовать в Париже; в 1913 году появилась возможность сделать это в Петербурге. Но ни один из этих замыслов так и не был осуществлен (подробнее об этом см. в письмах Ремизова И. А. Рязановскому за 1909—1912 годы — РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 31, а также Рязановского к Ремизову за 1912—1920 годы — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 180). Перипетии с изданием сказки на рубеже 1900—1910-х

годов послужили поводом для своеобразной «акции» Ремизова В 12-м (рождественском) номере журнала «Заветы» за 1913 год он опубликовал рассказ «Оказион», где описал святочные «сборища» в собственном доме Один из героев «Оказиона» рассказывает собравшимся сказку о царе Додоне, а именно, ее «цензурное» начало. Таким образом Ремизов публикует фрагмент своего текста и тем самым соотносит собственное «заветное» творчество с судьбой «Русских заветных сказок», намекая на известный эпизод из истории их издания Афанасьев включил «печатные» начала некоторых сказок («Мужик, медведь, лиса и слепень», «Собака и дятел») в свои «Народные русские сказки» (Вып. 1—8, 1855—1863), а «непечатные» их продолжения появились только в составе «Народных русских сказок не для печати», опубликованных под названием «Русские заветные сказки» Отдельное издание «Царя Додона» состоялось лишь после публикации в составе «Заветных сказов» в 1921 году в том же «Алконосте», скрывшемся под маркой «Обезьяньей Великой Вольной Палаты» Почти одновременно с первым объявлением об этой сказке в столичных газетах и журналах появились анонсы рассказа «Подарок турецкому Султану», действие которого «развертывается в эпоху „Тысячи и одной ночи"» (см · Новая Русь 1908. 10(23) сент. № 26. С 5, Речь. 1908 10(23) сент. № 216 С 5, Слово 1908 12(25) сент № 560 С 5; Золотое руно 1908 № 7—9 С 124) Его также предполагалось издать отдельно, однако проект не был осуществлен В 1920 году этот текст был впервые опубликован в составе цикла «Заветные сказы» под другим названием («Султанский финик») и датируется здесь 1909 годом И, наконец, в 1912 году была написана последняя сказка ремизовского цикла — «Чудесный урожай» Ее источник фольклорный и заимствован из афанасьевского сборника «Русских заветных сказок» (сказка № 31) Жанровый репертуар цикла отсылает к тем локусам в культуре, которые были средоточием «заветной» проблематики· фольклор — апокриф — светская литература — восточная сказка в ее восприятии романтизмом. Причем в самой его композиции (в издании 1920 года более поздний по времени написания «Царь Додон» предшествует «Табаку», а «Чудесный урожай» — «Султанскому финику», т. е тексты литературного извода обрамляют «фольклорные») реализована любимая ремизовская идея «включения» народной традиции в актуальный литературный процесс. Дальнейшая история издания «заветных сказов» не менее «драматична». Она подробно изложена Ремизовым в рассказе «О происхождении моей книги о табаке» (С. 48—52) и в книге «Встречи» (С. 49—81). Однако это повествование можно дополнить некоторыми деталями. В недатированном письме, относящемся, скорее всего, к весне 1919 года, Ремизов обращался к П. Е. Щеголеву· «Арзамас (т. е., вероятно, С. М. Алянский. — *И Д.*) хочет издавать Табак и Додона. У них есть и бумага и типография. Но надо все поскорее Очень Вас прошу, возьмите все· и рукописи „Додона" и „Табачную" и Бакстовы картинки, — все. И надо передать Вл. Н. Гордину» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1479—1610. Л. 223). А 12 марта 1919 года повторил свою просьбу: «выдайте табак, додона, картинки к Додону Бакста, чудесный урожай, султанский финик художнику Николаю Николаевичу Купреянову» (Там

же. Л. 224). Тогда же в каталоге книгоиздательства «Алконост», помещенном в том числе и в конце ремизовского сборника «Сибирский пряник», появилось сообщение о том, что печатается «по подписке» его книга «„Скрижали“. Заветные сказки». Но тут возникли некие бюрократические препоны. 6 марта 1920 года Ремизов записал в своем дневнике: «Видел во сне Ионова будто лежит у него на столе разрешение на мои книги — печатать» (Дневник С 489) И все же сборник вышел в свет в 1920 году под другим названием «Заветные сказы» и был украшен отпечатанной типографским способом на шмуцтитуле «обезьяньей лавровой грамотой», выполненной стилизованным полууставом самим писателем, в которой указывалось, что «эта книга посвящается обезьяньей великой и вольной палате». Критик «Вестника литературы» А. Кауфман отметил ее в обзорной статье «Литературное производство и сырье (Новогодние размышления и итоги)» (Вестник литературы. 1921. № 1(25). (Январь). С. 2) Однако на этом история цикла не закончилась 27 января 1921 года Ремизов подал прошение в Петербургское отделение Государственного издательства: «Прошу разрешить напечатать апокрифическую повесть мою Что есть табак и сказку о царе Додоне с рисунками Сомова и Бакста в количестве 300 экземпляров каждую на правах рукописи» (РНБ Ф 634 Ед. хр. 36) И вскоре сказка «Царь Додон» была опубликована, а вот Гоносиеву повесть издать не удалось. Существенную роль здесь сыграл неожиданно возникший инцидент, впоследствии неоднократно описанный Ремизовым: курьер, относивший рукопись и клише в типографию, решил продемонстрировать картинки приятелям и развернул сверток прямо на улице; сомовские иллюстрации возмутили окруживших его любопытствующих прохожих, среди которых оказались «какие-то из рабоче-крестьянской инспекции» В результате на другой день к заведующему Госиздатом И. И Ионову явилась «делегация от партийных баб»: «у наших детей нет учебников, а тут какую-то похабщину издают, бумагу тратят» (цит по: Волшебный мир Алексея Ремизова С 21) И издание было приостановлено Тогда же отголоски этого инцидента дошли до эмигрантской прессы В статье «Советская цензура, частно-издательская инициатива и судьбы русской литературы» П Витязев сообщал, что, среди прочего, комиссар печати Петрограда Лисовский запретил печатать «Скрижали» А М Ремизова (Русская книга (Берлин) 1921 № 7—8. С. 13). В конце 1921 года, выехав из России, Ремизов намеревался осуществить это издание заграницей и потому в письме из Берлина просил Михаила Алексеевича Дьяконова забрать оставшиеся у Ионова клише сомовских рисунков к «Табаку» (РНБ Ф 1124. Ед хр 8 Л. 1, об). Более того, он сделал новую — «шарлоттенбургскую» — редакцию цикла (об этом см : Русский Берлин. С. 186) Однако и этот проект не был осуществлен. Так завершилась история прижизненной публикации «Заветных сказов» В дарственной надписи на книге С. П Ремизовой-Довгелло писатель подчеркивал: «<. .> только величайшее невежество и щелиная узость увидит здесь кощунство и похабство — нет, это первый камень для создания большой книги Русского Декамерона Я знаю, мне не суждено это сделать — не успею, но я вижу такую книгу, и начало ее будет не чума, а 18—19 год Опыт русский Вот в какой обстановке расскажет Россия

свою быль и небыль» (Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 21; дарственная надпись сделана 7 октября 1922 года).

В настоящем издании после повести «Что есть табак» помещены примечания, которые были сделаны Ремизовым в собственном списке «Святочных рассказов» и затем «слово в слово, буква в букву» повторены в замятинском списке (цит. по этому списку: РНБ. Ф. 292. Ед. хр. 23. Л. 19, об — 23, об) Здесь сохраняется ремизовская «ненормативность» письма (отсутствие унификации в орфографии и пунктуации), имитирующая памятники древнерусской словесности, и купируются лишь авторские указания на страницы рукописи, к которым относятся отдельные примечания. Слова, подчеркнутые в рукописи, выделены нами курсивом. Цитаты воспроизводятся по рукописи, где они не всегда соответствуют источнику, так как в некоторых случаях Ремизов контаминирует основной текст с примечаниями. В угловых скобках помещены наши уточнения и дополнения к ремизовскому библиографическому аппарату.

Царь Додон

Впервые опубликовано. Заветные сказы. С. 9—36; другие прижизненные публикации: 1) начало сказки в составе рассказа «Оказион» (Заветы 1913. № 12. С. 13—34; Весеннее порошье. СПб.: Сирин, 1915. С. 237—243); 2) Царь Додон. СПб.: Обезьянья Великая Вольная Палата [«Алконост»], 1921.

Рукописные источники 1) «Святочные рассказы». 1906—1907 <Что есть табак. Гоносиева повесть; Царь Додон. Сказка> — список, сделанный [Л. Н. Замятиной ?] с подлинной рукописи автора и правленный Е. И. Замятиным <конец 1900-х годов> — РНБ. Ф. 292. Ед. хр. 23 Л. 24—38; на Л. 38 другое название сказки: «Сказка о царе Додоне, дочери его Алене, Луке Водыльнике и трех удалых молодцах»; 2) «Царь Додон». Сказка — машинопись с правкой автора <1912> — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 5; на обложке зачеркнуто другое название: «Не-весть-что сказка о царе Додоне К<остром>а 1912»; 3) «Царь Додон» — гранки с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 26.

С. 515. *В некотором царстве ~ царствовал сильный и могучий царь Додон.* — Ср. с зачином пушкинской «Сказки о золотом петушке». Имя царя — Додон, — бесспорно, восходит к этому тексту. Причем главный текст-источник сказки Ремизова — «Царь Никита и сорок его дочерей» — сознательно завуалирован здесь отсылкой к другой пушкинской сказке.

Разными диковинками славился Додонов двор, и шла его слава далеко .. — Описание диковинок царя Додона является аллюзией на чудеса Гвидонова двора из пушкинской «Сказки о царе Салтане» и одновременно «реестром» волшебных предметов и чудесных помощников русских народных сказок. Кроме того, Ремизов упоминает здесь игрушку из собственной коллекции — *птицу-колпалицу* (по версии писателя, она возила Ивана-царевича, который «отрезывал ей в пищу мясо от своих икр»; см. об этом· Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова С. 2) Так в сказку вводится автобиографический мотив, тем самым подчеркивается «сопричастность» автора Додонову двору.

С. 517. *...мамки да няньки научают этому делу невест...* — В «Кукхе» Ремизов вспоминает о совместной с В. В. Розановым затее «собрать и иллюстрировать всю мудрую науку, какую у нас на Руси в старые времена няньки да мамки хорошо знали, да невест перед венцом учили, ну и женихов тоже», в книге «О любви» (С. 52).

И только с сыпильным мешочком... — Подобный «сыпильный» «мешочек с канфорой» упоминается Ремизовым в «Кукхе» (С. 111; глава «Блудоборец»).

С. 519. *...когда Додон молод был и большие войны вел...* — аллюзия на царя Дадона из «Сказки о золотом петушке».

...даже богоявленской... — т. е. воды, освящаемой в день Богоявления Господня, 6 декабря ст. ст.; богоявленская вода считалась чудодейственной.

С. 520. *Красная горка* — см. прим. к С. 186.

А как разложил всю до последнего кончика... — «Обратная» параллель к пушкинскому «Царю Никите...»: то, чего «не доставало» его сорока дочерям, у единственной дочери царя Додона было в избытке.

С. 522. *Инда* — см. прим к С. 44.

С. 523. *.. а головку ~ двенадцать волков вот как теребят.* — Деталь заимствована из народной сказки «Волшебное кольцо», вошедшей в «Русские заветные сказки» А. Н. Афанасьева под № 32. Волков в этой сказке семь, а вместо мошкары — мухи.

...тянули, тянули ~ насилу вытащили... — Намек на известную народную сказку про репку; характерный для Ремизова прием: расширение фольклорного и литературного контекста своей сказки за счет использования узнаваемых читателем языковых клише.

И я там был . — Традиционная сказочная концовка и одновременно отсылка к «Сказке о царе Салтане» и «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях». Таким способом Ремизов еще раз акцентирует пушкинский субстрат «Царя Додона» и выстраивает своеобразную «кольцевую композицию» литературных подтекстов

Что есть табак. Гоносиева повесть.

Впервые опубликовано: Что есть табак. Гоносиева повесть. СПб.: [«Сириус»], 1908.

Рукописные источники. 1) «Выписка из книги „Табак“» — автограф <26.XII.1908> — РГАЛИ. Ф. 6. Оп. 1. Ед. хр. 111; 2) «Святочные рассказы». 1906—1907 <Что есть табак. Гоносиева повесть; Царь Додон. Сказка> — список, сделанный [Л. Н Замятиной ?] с подлинной рукописи автора и правленный Е. И. Замятиным <конец 1900-х годов> — РНБ. Ф. 292. Ед. хр. 23. Л 1—19; 3) «Что есть табак. Гоносиева повесть». 1906 — автограф <1907> — РГАЛИ. Ф. 420 Оп. 1 Ед хр. 27 (подробное описание этого автографа см. в комментарии М. Козьменко к циклу «Заветные сказы» в кн.: Эрос. Россия. Серебряный век. М., 1992. С. 241—242); см. также: «Отрывок о табаке» — автограф <после 1917> —

ГЛМ. Ф. 19. Ед. хр. 81; ИРЛИ Ф 79 (Архив Р. В Иванова-Разумника), ЦРК АК. Кор. 11. Папка 13

Тексты-источники· 1) «Повесть о тютюне» и две румынские народные легенды из Буковины (Веселовский А Н Разыскания в области русского духовного стиха СПб, 1883 С 85—89, разд VI Духовные сюжеты в литературе и народной поэзии румын Приложения, Сб ОРЯиС Имп Академии наук Т. XXXII. № 4), Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святыя Горы Афонския Инока Парфения. В четырех частях. М , 1856.

С. 524. *...произрастает он из червоточного трупа блудницы ~ его внутренностям — потрохам смердящим* — Этот пассаж восходит к преамбуле Веселовского, помещенной перед «Повестью о тютюне» Ремизов неточно цитирует его в своих примечаниях (см. С. 536) Ср · «<...> как у нас он (табак. — *И Д*) произрастает из трупа блудницы, так у румын из тела дьявола, повесившегося от несчастной любви, в Малороссии из трупа Иродиады, у сербов — из внутренностей Ария» (Веселовский А Н Указ. соч. С. 86) Говоря о дьяволе, повесившемся от несчастной любви, Веселовский подразумевает первую легенду из Буковины, в которой рассказывается о том, как «однажды два демона захотели взять себе в жены дочь одного боярина, но местный священник отказался обвенчать ее с ними», тогда старший демон «пошел и повесился на одном тополе», но дерево «швырнуло его *ни весть куда*» (курсив мой. — *И. Д.*), упав на землю, он «обратился в селитру и порох», а затем из его трупа выросло «множество тютюна» (С. 88). Следует также отметить, что мимо внимания Ремизова не прошла и упомянутая Веселовским русская раскольничья легенда о происхождении табака из трупа античной блудницы, уподобляемой здесь блуднице апокалиптической (см : Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко, под ред Н. Костомарова. Сказания, легенды, повести, сказки и притчи. СПб., 1860 Вып 2. С. 434—435)

...на Иродиаду валят, будто из ее костей ветренных. — В то время, когда писалась Гоносиева повесть, Ремизов работал над книгой «Лимонарь» (1907), куда вошел «апокрифический рассказ» «О безумии Иродиадином, как на земле зародился вихорь», основанный на народной легенде, согласно которой за свой танец Иродиада потребовала от царя Ирода голову Иоанна Крестителя, за что была наказана Богом: начав танец, она не могла остановиться и превратилась в вихрь. Так на земле появился ветер.

...Арию заушенному... — По версии народной легенды, основатель раннехристианской ереси, получившей название «арианство», александрийский священник Арий был «заушен» (т. е. бит рукою по щеке) св. Николаем Мирликийским на Константинопольском соборе 381 года за отрицание догмата о Троице. Этот сюжет Ремизов использовал в своей притче «Никола Угодник» (1907), вошедшей во вторую редакцию книги «Лимонарь» (1912)

Повесть, которую я расскажу вам, любимые мои... — В тексте-источнике «повесть о тютюне» имеет целых четырех рассказчиков: она поведана безымян-

ным «древним старцем» некоему «святому иерусалимскому отцу»; затем переведена с латинского на молдавский язык великим даскалом Иерусалимским Кир Сильвестром, «собравшим» ее «из многих писаний святых иерусалимских отцов»; и, наконец, передается от первого лица как «поучение», начинаясь словами· «Послушайте, *любимые мои*, благословенные, многополезное христианам поучение, особливо тем, кто впадет в этот грех и дьявольский соблазн и станет *пить тютюн*» (С. 86; курсив мой. — *И Д*). Ремизов «убирает» двух «посредников» между «древним старцем» и рассказчиком, произносящим «поучение» и излагающим историю обретения «Повести о тютюне». С этим последним и идентифицируется в зачине рассказчик Гоносиевой повести, который тоже говорит «от себя» лишь в самом начале, а затем только передает рассказ древнего старца. (Любопытно, что в тексте-источнике употреблено выражение «пить тютюн», встречающееся (естественно, в русском варианте: «пить табак») в Житии пламенного «табакоборца», главы церковного раскола протопопа Аввакума Ремизов высоко ценил его как писателя, основоположника той линии развития русской литературы, к которой себя причислял) Еще одним прототипом рассказчика, безусловно, является инок Парфений, ведь его «Сказание ..» тоже цитируется в Гоносиевой повести. Тем более что сам Парфений некоторое время находился в расколе и в полной мере разделял известную раскольничью «табакобоязнь» («никонианская» церковь не приветствовала употребление табака, но и не преследовала его столь же настойчиво, как старообрядческая). Об этом свидетельствует, в частности, его одобрение строгого запрета употреблять табак (за нарушение виновный изгонялся из монастыря), установленного архимандритом афонской Нямецкой обители великим старцем Паисием. Кроме того, Парфений бывал в Буковине, где мог слышать приводимые Веселовским легенды о табаке, а значит, их пересказывать.

С. 524. *...некий древний старец Гоносий...* — Имя Гоносий не встречается в святцах Скорее всего, оно тоже восходит к «Разысканиям...» Веселовского. В разделе «Румынские, славянские и греческие коляды», который следует сразу же за Приложениями с «Повестью о тютюне», в главе «Святочные маски и скоморохи» упоминается св. Генесий — мим и мученик при Диоклетиане, считавшийся покровителем французских корпораций жонглеров и менестрелей в средние века. Здесь же Веселовский анализирует ту специфическую роль, которую играли мимы и скоморохи в средневековых праздничных процессиях, восходящих к дохристианским январским календам и на русской почве имеющих аналогом святочные игрища. Причем особо подчеркивает их связь с древним фаллическим культом «византийские скоморохи чернят свои лица сажей, как древние фаллофоры, <..> вакхический фаллус становится атрибутом мима» (С. 132). Кроме того, на Руси скоморохи известны как медведчики — они ходили с медведем (кстати, Медведь, наряду с Козлом, одна из главных святочных масок), и как рассказчики сказок Ремизов неоднократно пересказывал сказки о скоморохах и составлял из них особые циклы «скоморошьих сказок» (см., например, цикл «Глумы» в книге «Докука и балагурье»). Известно, что Гоносиева повесть не

только писалась на Святках, но и исполнялась во время «святочных сборищ» в Петербурге как часть ритуала наряду с ряженьем, «козлогласованием» (выражение из Славянской Кормчей по списку 1282 года) и танцем «козловаком» Тем самым воссоздавалась ситуация рассказывания «святочного» текста (им мог быть и «страшный» рассказ, и скоморошья сказка) в народной традиции. Связь ремизовской повести со Святками неоднократно подчеркивалась самим автором (см., например, название в списке Замятиных). И потому Гоносия, рассказ которого произносится Ремизовым как святочный, можно соотнести с мимом Генесием, тем более, причисленным к лику святых, пусть и не православной, но все-таки христианской церковью. Важно и то, что Веселовский особо акцентирует факт почитания св Василия Великого во время святочных празднеств (день его памяти приходится на 1 января ст. ст) Ведь во второй буковинской легенде о табаке именно св. Василий является настоятелем той самой обители, в которой происходит действие, и принимает в нем активное участие. Нельзя не учитывать и других коннотаций имени Гоносий. Возможно, Ремизов подразумевал здесь и греческое «гонос» (γόνοζ) — происхождение, род, что вполне отвечает матримониальному характеру Святок, но, конечно же, и «гнозис» (γνϖσιζ), т. е. знание, так как и сам Гоносий, и его прототип древний старец из «Повести о тютюне» по своей святости сопричастны Логосу и потому, в отличии от других персонажей, заранее знают, что Саврасий — дьявол

С. 524. *...до полвека лет ~ простоявший ~ у гроба Господня...* — В «Повести о тютюне» древний старец живет «75 лет в пещере, что зовется Аравией», и выходит на свет только для того, чтобы «пойти поклониться святому гробу Господа нашего И. Христа» (С. 86).

...на Судимой горе на самой плеши... — Место действия Гоносиевой повести имеет множество прототипов Так, в «Повести о тютюне» демон Галаф сеет табак на горе Кармиле. Но «судимой» горой, безусловно, является Афон (Святая гора), на котором в ожидании Страшного суда православные иноки спасаются во множестве скитов и монастырей. (В ремизовской повести пародируется монастырский быт, а механизм пародии предполагает замену большого на малое, множественного на единичное, поэтому здесь фигурирует только один монастырь.) Сам Ремизов в поздних мемуарах подчеркивал, что его повесть рассказывается от лица монаха-святогорца (см., например: Р е м и з о в А. О происхождении моей книги о табаке. С. 43). Наконец, судной горой, в древности предназначавшейся для казней, является Голгофа (череп). Причем свое название она получила «вероятно, по сходству <...> с формою черепа» (Библейская энциклопедия. М., 1891. С. 167). То есть может ассоциироваться с плешью. Но Ремизов подразумевает в этом пассаже и другой, абсценный смысл слова «плешь» (головка члена), намекая тем самым на «заветный» характер своей повести.

...кроме молитвы, ничего не помнили и ни крошки в рот не брали ~ квасу не пили ~ а питались лишь от благоухания своего .. — Контаминация нескольких пародийно переосмысленных пассажей из «Сказания...» инока Парфения. Так, рассказывая о жизни в русском монастыре на Афоне, он пишет: «Каждый день

исповедуют свои помыслы отцам своим духовным. Каждую неделю причащаются Св. Таин Тела и Крови Христовой. Пищи же употребляют весьма мало. <...> всегда бывает в простые дни одна пища вареная, а другая что-либо из овощей: или соленые маслины, или ино что. Свою часть мало кто съедает. Иногда поставляют и вино, но мало кто его пиет, и то пополам с водою. <...> Квасу же и не знают какой он есть» (С. 195—196). А про Молдавского князя и господаря Скарлата Каллимаха, с помощью которого построен этот монастырь, сообщает: «<...> князь сам был великий постник, не ел ни рыбы, ни сыру, ни деревянного масла, не пил ни чаю, ни кофею, ни вина; только и пищи употреблял теплую воду с медом и хлебом» (С. 220). Знаменательно, что жесткое ограничение в пище и питье, в том числе отказ от кваса и даже воды, описывается и у протопопа Аввакума (см. «О том: как постились Пустозерские узники — Аввакум, Лазарь, Федор и Епифаний»). В другом месте Парфений подробно рассказывает о «невиданной в России» афонской традиции «обретения» (т. е. изъятия из могилы) костей через три года после погребения. По этим костям определяют степень святости усопшего старца: «Которых кости обретаются желтые и светлые, яко восковые или елейные, противного запаха не испущающие, а иногда и *благоуханные*, те признаются за людей богоугодных» (С. 189, курсив мой. — *И. Д.*).

С. 524. *...играючи с небесными птицами, зверями и зайцами.* — Отсылка к Нагорной проповеди (Мат. 6, 26); такое использование Священного Писания восходит у Ремизова к традиции святочного кощунства.

Било — доска и колотушка, набат. Парфений отмечает, что на Афоне к вечерне благовестят и «по-русски» — в колокол, и «по-святогорски» — колотят в доску (С. 112).

Вервие — т. е. веревка.

С. 525. *Медуза мордастоногая* — Медуза Горгона, взгляд которой обращает в камень; ее голова окружена волосами из шевелящихся змей.

...утешая ~ гласом своим сладкопесневым. — «Сладкопеснивне» в источниках называются сирины, а не Алконост См. примечание Ремизова на С. 536.

...открывались нетленные мощи... — Парфений упоминает в своей книге многие случаи «открытия костей» и подробно описывает один из них, когда во время всенощной «из сухой кости, из главы, из тех отверстий, где были уши» истекло «неизреченное благоухание», так как при жизни этот инок любил слушать слово Божие (С. 191).

Ра́ка — ковчег для мощей. На Афоне они не помещались в раку, а складывались в специальные открытые стеллажи — костницы.

...хоть топор повесь... — Далее излюбленный Ремизовым прием — реализация этой метафоры.

Угомон — покой, тишина, отдых, сон, про последний говорят: «угомон тебя возьми».

...песоподобный монах Саврасий... — Имя Саврасия восходит, скорее всего, к гиппониму Савраска (кличка лошади светло-гнедой с желтизною масти) и указы-

вает как на его половую мощь, так и на связь с нечистой силой (лошадь в фольклорной традиции посвящена водяному). Ссылка на «песоподобие» — типичный для Ремизова прием ложной мотивировки.

С. 525. *Так ни кожи, ни рожи, высокий и постный, одна челюсть большая, другая поменьше, а нос громадный...* — Портрет Саврасия заимствован из «Повести о тютюне». Древний старец так описывает демона Галафа· «встретил я на пути высокого мужа одна челюсть была у него больше, другая меньше и нос громадный» (С. 86). Кроме того, Ремизов актуализирует здесь не только основное, но и эвфемистическое значение слова «нос». Подробнее об этом лейтмотиве в его творчестве см.: Б е з р о д н ы й М Генезис лейтмотивов у А. М. Ремизова // Русская филология. Вып. 5: Сб. студ науч. работ филол. фак. Тарту, 1977. С. 98—109.

С. 526. *Вретище* — одежда из грубого холста, рубище.

Поналетят мухи ~ и почнут ходить... — В «Кукхе» этот мотив Ремизов возводит к рассказу Розанова: «летом после обеда прилег на диван в халате, замечтался, и села сюда муха и стала ходить, не согнал — ходит и ходит — —» (С. 22).

Улива — здесь: жидкость, синоним «кукхи» в ремизовской «обезьяньей» терминологии.

...зря Саврасиево действо... — Намек Ремизова на название собственной пьесы «Бесовское действо над некиим мужем, а также смерть грешника и смерть праведника, сиречь прение Живота со Смертью» (1907), разоблачающий перед «посвященными» истинную сущность Саврасия.

Хитон — в библейские времена нижняя одежда у священников, которая надевалась на голое тело, как рубашка, и была с рукавами; в Библии так иногда называется и одежда вообще.

...пришла зима, установился санный путь... — Отсылка к русским метеорологическим реалиям. Однако и Парфений, отмечающий, что, когда в России «бывает зима, холод, мороз, во святой Горе Афонской, напротив, самый приятный воздух, трава зеленая и цветы цветут», рассказывает о случившемся здесь десятидневном снегопаде (С. 168).

В келии у Саврасия стояла печурка... — Парфений между прочим замечает, что в кельях на Афоне «печей нет, только некоторые русские себе поделали» (С. 196).

Этими мравиями он и пользовал плешь... — В «Кукхе» Ремизов упоминает о том, что в Исповеднике (Чине исповедания) содержится рассказ «о падении с мравием, и о проч. из монастырской практики» (С. 22). Кроме того, в этом пассаже «игра» с эвфемистическим смыслом слова «плешь» и словом «пользовать» в значении «лечить».

С. 527. *Нюх.* — Старец Нюх наделен в ремизовском повествовании чертами св. Василия Великого из второй буковинской легенды о табаке. Подробнее об этом см. ниже. Имена старцев — Нюх и Дух — тоже намек на благоуханное дьявольское зелье.

С. 527. *Акафист* — церковное хвалебное песнопение в честь Господа, Богоматери и святых.

С. 528. .. *до Великого Четверга — Страстей Господних* — То есть до четверга на последней, Страстной неделе Великого поста.

Заголя зад.. — Далее, несмотря на то что действие происходит под Пасху, описывается кощунственная оргия, которая сродни именно святочным беснованиям с их «блудосмесительным» смыслом. Так, игумен, наигрывающий на сопели, уподобляется скомороху. Здесь же в неявной форме упоминаются и маски («кошачьи морды строят», «собачьи морды строят»). И все собравшиеся в храме, включая старца Нюха, исполняют бесовский танец «козловак».

Четверговая свеча — ее зажигают в храме во время чтения страстей Христовых в Великий Четверг на Страстной неделе Великого поста, а затем стараются с огнем донести до дома, где зажигают от нее лампады; этой свече приписывают особое значение: ее дают в руки умирающим, зажигают во время грозы, трудных родов и т. д.

С. 529. *Русалочий Великдень* — четверг на так называемой Русальной неделе (седьмая после Пасхи неделя Святых Отцов), когда справляется Семик. В этот день собирают травы, украшают дома березками, плетут венки, гадают о будущем и поминают «заложных покойников», в том числе и русалок. По некоторым данным, этот праздник связан с древними языческими Русалиями, а значит, с разгулом нечистой силы.

С. 530. .. *а след ~ не то козий, не то медвежий...* — Намек на главные святочные маски Козу и Медведя.

...опекиши лепешечками... — здесь скрытая тавтология: опекиш — лепешка.

...долбя ~ огородные тыквы .. — В «Повести о тютюне» этот мотив связан не с блудом, а с возникновением табака. Демон Галаф рассказывает старцу, что, желая сотворить себе самим благоухание, он и другие демоны собрались на горе Кармиле, «положили тыкву, и все нап....ли в нее, и сказали, что имеющее из нее выйти будет нам благоуханием. Мы размололи одну из тыкв и сделали это семя — тютюн, и он будет нам благоуханием» (С. 87).

...грибом пухлым... — В народном сознании гриб ассоциируется с фаллосом; именно это значение и подразумевает здесь Ремизов.

Петров день — праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, отмечается 29 июня ст. ст.

С. 531 *Саврасий ~ говорил ~ через великую свою трость ~ шепотом в самое ухо..* — Цитата из «Повести о тютюне». Старец рассказывает, что демон Галаф «с великой тяготой ответил мне так, что посредством длинной трости и сквозь нее прошептал мне на ухо» (С. 87) Предложенная Ремизовым мотивировка такого способа общения в тексте-источнике отсутствует.

...ходили стаями... — Возможно, это автобиографическая деталь: в «Кукхе» Ремизов приписывает обыкновение ходить в гости «стаей», т. е. большой компанией, Л. И. Шестову (см. С. 25).

С. 531. *...нападала ~ икота...* — В народной традиции икота считается нечистым духом, насылаемым чародеями по ветру; бес вселяется в человека и мучает его. Далее Ремизов цитирует один из заговоров на икоту.

Канон — ряд песнопений, расположенных по особому правилу.

...до самых лук морских — т. е. до морских заливов.

Успеньев день — праздник Успения Пресвятыя Богородицы, отмечается 15 августа ст. ст.

С. 532 *Пелены* — платы с нашитым на них крестом для покрытия престола и жертвенника в храме.

...вострил свое око недремное. — Недреманное или Всевидящее око, изображаемое в лучах вписанным в треугольник, символизирует промысел Божий, всеведение.

Присноблаженство — здесь· истинное блаженство.

С. 533. *Прелесть* — здесь· совращение от дьявола.

...при начале Херувимской Саврасий скрывался. — Эта деталь заимствована Ремизовым из второй буковинской легенды о табаке. На то, что один из монахов, всегда присутствовавший на божественной службе, «скрывался из церкви всякий раз при начале Херувимской», обратил здесь внимание сам настоятель монастыря св. Василий (С. 88—89) В этой легенде именно он совершает и другие действия: запечатлевает выходы крестом, приказывает бросить в овраг деготь и камень. *Херувимская* — церковная песнь, начинающаяся словами: «Иже херувимы».

...запечатлев крестным знамением все входы и выходы... — Почти точная цитата из второй буковинской легенды о табаке. Ср.: св. Василий «запечатлел знамением креста все входы и выходы церкви» (С. 89).

...всепетым гласом своим... — т. е. всеми и всюду воспеваемым.

...увидев выходы, запечатленные крестом ~ а на куполе тоже крест. — Ремизов вновь цитирует здесь вторую буковинскую легенду о табаке. Ср.: «Дьявол, не подозревавший, что ему уготовано, пожелал выйти, когда началась Херувимская, но, увидев выход запечатленный крестом, быстро вернулся к окнам; когда и там оказались кресты, он поспешил на верх купола, но <...> и купол был запечатлен крестом» (С. 89).

...мякинным своим брюхом.. — Здесь подразумевается менее употребимое значение слова «мякина» — плевелы.

И пролилось нечто дегтем... — Ср. во второй буковинской легенде о табаке: «Дьявол <...> не будучи в состоянии выйти <...> вдруг пролился среди церкви, обратившись в деготь» (С. 89). Напомним, что в первой буковинской легенде старший демон обращается в селитру и порох.

Уды — здесь подразумевается пенис (от *уд* — любая часть тела в отдельности, член).

...велел игумен ~ взять деготь и камень ~ и бросить в глубокий овраг. — Точная цитата из второй буковинской легенды о табаке (С. 89), за од-

ним исключением· вместо игумена здесь, естественно, фигурирует св Василий, впрочем, тоже игумен монастыря в этой легенде.

С. 533. . *родинку у ствола расширения.* — Деталь восходит к «эрмитажной редкости» — копии пениса кн. Потемкина-Таврического, демонстрировавшейся в доме художника К. А. Сомова на специальном «сеансе», куда был приглашен и Ремизов. По его собственным словам, именно этот раритет послужил стимулом к написанию Гоносиевой повести и стал ее главным героем. Подробнее об «эрмитажной статуэтке» см. в преамбуле к наст. циклу.

Клир — весь церковный причт, т е. все священно- и церковнослужители монастыря.

Лазарь — о воскресении Лазаря см.: Иоан 11, 1—44.

С. 534. *Омыла умершие...* — Далее описывается кощунственное погребение, при котором «последнее целование» отдается непристойной части, заместившей собою целое. Подобная профанация церковной обрядности характерна для святочной традиции. Именно на нарушении нормы, на пародировании социальных институций и регламентированного поведения строится святочное действо.

Справив кутью... — т. е. совершив поминальную трапезу.

Так лежали бренные останки в сырой земле всю зиму до весны. — Парфений сообщает о том, что афонский обычай откапывать кости умерших «имеется и в Молдавии, такожде в Валахии, в Болгарии и по всей Греции, токмо не повсюду откапываются тела умерших через три года по смерти, а через большее число лет, напр , в Молдавии через семь лет» (С. 190) В ремизовском пассаже этот факт переосмыслен в пародийном ключе· срок погребения не увеличен, а, наоборот, уменьшен.

люди ропатые — В «Сказании об индейском царстве» «рогатые». Публикуя этот текст, Н. С. Тихонравов сделал подстрочное примечание «ропатые», внесенное в ремизовских примечаниях к Гоносиевой повести в основной текст в скобках (см. С. 537). Сам Ремизов остановился на варианте Тихонравова, вероятно, произведя слово «ропатые» от «ропата́» (иноверческая церковь, капище, кумирня), т. е. люди иной веры, тем более что далее они именуются травоядцами — вегетарианцами (в самом источнике речь идет о разных людях: ропатых и травоядцах).

Древодоры (дромадеры) — одногорбые верблюды.

По весне зацвела могила цветом невиданным. — В первой буковинской легенде табак растет из трупа старшего демона, во второй из дегтя, брошенного в овраг, а в «Повести о тютюне» этот мотив отсутствует

С. 535. *И собралась уж братия мощи открывать...* — см. прим. к С. 525

...без всякого похлебства... — т. е. без поблажки, попустительства

И пошел ~ табак от востока до запада ~ смердя рты ~ пособник начинаний дьявольских.. — Контаминация цитат из разных мест «Повести о тютюне»

Чудесный урожай

Впервые опубликовано· Заветные сказы. С. 73—87.

Рукописные источники: «Чудесный урожай» — автограф — РГАЛИ Ф 420 Оп 1 Ед. хр. 28.

Текст-источник· № 31 Посев хуев ([А ф а н а с ь е в А Н.] Русские заветные сказки Валаам, Год Мракобесия. С 52—57).

С 538. *Колки* — здесь эвфемизм; *колок* — деревянный гвоздь с плоской головкой; в «заветной» фольклорной традиции это слово часто используется как эквивалент абсценному обозначению пениса, в тексте-источнике последнее употреблено впрямую. В конце сказки Ремизов еще раз вернется к этому значению «оно, как загнутый гвоздь».

С 539. *Инда* — см прим. к С. 44.

С. 540. *Сахарная бумага* — относится к разряду писчей; здесь подразумевается и другое значение слова «сахарная» — сладкая; в тексте-источнике тип бумаги не конкретизируется.

Стержень — еще один эвфемизм, обозначающий фаллос.

Султанский финик

Впервые опубликовано: Заветные сказы. С. 89—98.

Рукописные источники: «Султанский финик» — автограф с авторской правкой — РГАЛИ. Ф. 420 Оп. 1. Ед. хр 23.

Ё

Тибетский сказ

Печатается по изданию: Ё: Тибетский сказ. Берлин: Русское творчество, 1922.

Рукописные источники: «Заяшные сказки». (Тибетские) — автограф и авторизованные печатные вырезки <1918> — РГАЛИ. Ф. 420 Оп 1. Ед. хр 10

Сказки о зайце, входящие в эту книгу, написаны « в 1916 г., летом в Москве на Собачьей площадке» (см. примечание Ремизова· Игра. 1918 № 2 С 56) В 1916—1918 годах они публиковались в журналах «Огонек» и «Лукоморье», а также в газете «Воля страны» В августе 1917 года в журнале «Огонек» (№ 31. С. 485—490) под общим заглавием «Ё — Алексея Ремизова — Тибетские народные сказки» были напечатаны сразу три текста: «Заячья защита», «Заячья губа» и «Заячий указ». Смысл названия этого цикла Ремизов пояснил в примечании. «заяц по-тибетски — Ё» (Там же. С. 485). Впервые полностью «тибетский» цикл был опубликован в 1918 году в «непериодическом издании» Театрального отдела Наркомпроса «Игра» (№ 2. Ч. 2. С. 33—56), которое выходило под редакцией П. Мироносицкого и было посвящено «воспитанию посредством игры». 12 июля 1922 года в дарственной надписи С П. Ремизовой-Довгелло на берлинском издании «Ё» писатель вспоминал: «Эти заяшные сказки — я помню впервые в Кре-

четниках читал Сергею (брат Ремизова — *И Д.*) <...>, лето 1916 г. Потом уж в 18-м году Порфирий Петрович Мироносицкий приходил на остров поправлять эти сказки для Игры ТЕО <.. >» (цит по: Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 22). В этом издании цикл назывался «Ё Заяшные сказки (Тибетские)». Как и в более ранних публикациях, отдельные тексты тоже имели здесь названия· «Заячья защита», «Заяц благодетель», «Разные зайцы», «Заячий указ», «Заячья губа», «Звериное дерево». В конце было сделано примечание, несколько отличающееся от опубликованного ранее в журнале «Огонек», с указанием фольклорного источника ремизовских сказок: «В основу сказок о зайцевых деяниях (заяц по-тибетскому — е) положены тибетские сказки, записанные Г. Н. П о т а н и н ы м — „Живая Старина" 1912 г., вып II–IV. Зайца этого самого я во сне видел. так, беленький, усатый, ничего особенного, у дверей и в окнах мясной и зеленной много таких висит, а еще больше по лесу бегает, — хвостик шариком, а лапки с коготком, как щеточки. <...>» (С. 56) В том же номере «Игры» (Ч. 1. С. 14—17) была помещена анонимная статья «О тибетских сказках А. М. Ремизова». Подробно описав публикацию Потанина в специальном выпуске «Живой старины», посвященном памяти братьев Гримм и потому содержащем исключительно сказочные материалы, автор статьи предлагал сравнить подлинные тибетские сказки с ремизовскими обработками, для чего приводил два фольклорных текста. По его мнению, писатель мастерски справился со своей задачей: «Из сообщенных тибетским ламою сказок внимание русского писателя А. М. Ремизова привлекли пять (Так! — *И. Д.*) сказок, принадлежащих к разряду сказок о животных. Сказки эти отличаются особенностями, свойственными всем вообще сказкам т. наз. животного или звериного эпоса: животные в них очеловечены и наделены теми же свойствами, что и человек. Отличительною особенностью тибетских сказок можно назвать только одну: хитростью и пронырливостью наделен в них не шакал, как у индусов, и не лиса, как у европейских народов, а заяц. Поэтому, несмотря на экзотичность своего происхождения, тибетские сказки носят общечеловеческий характер и легко могут быть перенесены на любую почву. Именно это и сделал с ними А. М. Ремизов, перенеся их на русскую почву. Произведенная А. М. Ремизовым работа приблизила сказки к русскому читателю, сделала их более доступными и более привлекательными для читателя сравнительно с точным, почти подстрочным переводом Г. Потанина» (С. 15). Тем временем Ремизов предпринимал и другие попытки предать гласности свой цикл. Так, например, в его архиве сохранилась датированная 1919 годом машинописная копия договора с Издательским отделом Просветительного общества «Культура и Свобода» о публикации «бывших в печати» «Заяшных Сказок. (Тибетских)» в Литературно-художественном альманахе для детей (Р е м и з о в А. М. Переписка редакций и издательств «Аргус», «Лукоморье», «Народоправство» и др. в связи с изданием его произведений // ИРЛИ Ф 256 Оп. 2 Ед хр. 24 Л 21) Этот проект не был осуществлен Зато 17 октября 1920 года Ремизов выступил с публичным чтением «Заячьих сказок» в малом зале консерватории (см. об этом: Дневник. С. 498). Однако первое отдельное издание цикла появилось все же без ведома автора в

1921 году в Чите под маркой издательства «Скифы» (оно восходит к публикации в «Игре»). Надписывая книгу С. П Ремизовой-Довгелло 7 октября 1922 года, Ремизов отмечал· «Эта книга издана в Чите, в Дальне-Восточной Республике и цена 25 к. золотом. Редчайшее издание Такой один экземпляр перед самым нашим отъездом Ерошин прислал мне из Сибири, а гонорара так и не дождался С этой книгой связано наше ожидание что решит наша судьба — останемся в Петербурге или уедем. И уехали» (Волшебный мир Алексея Ремизова С 21) В августе 1921 года Ремизов навсегда покинул Россию. Вскоре, в рождественском и новогоднем номерах парижской газеты «Последние новости» (1921. 25 дек. № 520; 1922. 1 янв. № 526), он вновь опубликовал «заяшные сказки». В 1922 году вышло в свет второе и последнее прижизненное отдельное издание цикла Книгу выпустило берлинское издательство «Русское творчество», Литературным отделом которого заведовал давний петербургский знакомый Ремизова гр А Н Толстой (тогда же «Русское творчество» опубликовало еще две ремизовские книги· «Повесть о Иване Семеновиче Стратилатове» и «Сказки обезьяньего царя Асыки») Новое издание «Е» значительно отличалось от всех предыдущих Из сказки «Заяц благодетель» исчезло пояснение этимологии названия цикла (подобный прием писатель использовал во втором издании «Сибирского пряника», относящемся к тому же «берлинскому периоду»; см. об этом в нашей преамбуле к сборнику — С. 675). Впервые были сняты названия отдельных сказок и примечание автора, а под текстом проставлена дата «1916—1922». Кроме того, изменилась последовательность текстов: сказка «Заячий указ» помещена здесь второй, сразу же после сказки «Заячья защита», в которой повествуется о том, откуда у зайца там много ума. Стоит отметить, что, создавая образ зайца, Ремизов ориентировался не только на публикацию Потанина, но и на работу Н Ф Сумцова «Заяц в народной словесности» (Этнографическое обозрение. 1891 № 3. С 69—83; этот номер «Этнографического обозрения» был хорошо известен писателю), где на широком этнографическом материале (от Востока и России до Европы и Америки) продемонстрирована связь в народных представлениях зайца с архаическим лунным божеством, чем объясняется демонический характер этого мифологического персонажа, его положительная или отрицательная оценка в зависимости от предпочтения лунарной или солярной мифологии тем или иным этносом. Некоторые мотивы сказок о хитром зайце Ремизов использовал в своем позднем творчестве (см. об этом· Л у р ь е Я. С. А. М. Ремизов и древнерусский «Стефанит и Ихнилат» // Русская литература. 1966. № 4. С. 177; прим 9) Тема «заяшных сказок» чрезвычайно занимала писателя в начале 1920-х годов Не случайно в сборнике современной русской прозы под редакцией Вл Лидина «Литературная Россия» (М., 1924. Т. 1) вместе с автобиографией Ремизова в качестве образца его творчества был приведен фрагмент сказки «Заячий указ». Позднее писатель предполагал включить «Ё» в книгу «Сказки нерусские» (подробнее об этом проекте см. в преамбуле к сборнику «Сибирский пряник» — С. 675). О том, что Ремизов продолжал работать над циклом, свидетельствует его первое постсоветское издание «Докука-сказка. Заяц. Тибетские сказки», осуществленное по

авторской рукописи из архива дочери ремизовского парижского знакомого Юрия Дориомедова (правда, публикаторы Л. Барыкина и Н Листикова ошибочно полагают, что цикл написан во время второй мировой войны, однако это обстоятельство не умаляет самого факта работы над ним). В послевоенные годы Ремизов составил книгу сказок «Павлиньим пером», куда включил и цикл «Е». При жизни автора этот сборник так и не был опубликован. Впервые издан Н. Ю. Грякаловой в 1994 году.

«Созвал Бог всех зверей »

Впервые опубликовано Огонек 1917. № 31 С 485—486; под названием «Заячья защита».

Текст-источник· № 20. Цикл «Ронгу чжу» Булюк 6 (Потанин Г. Тибетские сказки и предания // Живая старина 1912 [1914]. Вып. II—IV. С. 433—434; разд. «Восточные сказки»). Свою публикацию Г. Н. Потанин предварил следующим пояснением: «Тибетские сказки записаны во время моего пребывания в китайской провинции Сы-чуань, в городе Тарсандо (Да-цзян-лу), на восточной границе Тибета, в 1893 году. Самое значительное число записей с тибетского было сделано со слов ламы из монастыря Дочжичжа, который находится близ города Тарсандо выше города на левом берегу реки, протекающей через город. Имя этого ламы мне не удалось узнать; он был гуртеном (прорицателем) при монастыре Дочжичжа, население города знало его под именем гуртена. Это был богатый и грамотный лама Он ездил в Монголию, говорил по-монгольски и провел несколько лет в нашем Забайкалье Он помнил еще одно русское слово: матушка. На русский язык рассказы ламы переводил мой спутник Будда Рабданович Рабданов, бурят из Забайкалья» (С. 388). Действительно, все сказки, переложенные впоследствии Ремизовым, в том числе и цикл «Ронгу чжу», были рассказаны Потанину ламой из Дочжичжа, что дало повод редакции тома указать в специальном примечании на книжное (т. е. не подлинно фольклорное) происхождение этих записей (Там же). Сам Потанин пояснял, что «Ронгу чжу» — «сборник сказок вроде монгольского сборника Шиддикюр» (С. 434), причем Ронгучжу (в текстах его имя пишется слитно) выступает в роли рассказчика сказок цикла. Юноша, который несет Ронгучжу в Лхасу, не должен смеяться над его рассказами, иначе тот мгновенно вновь вернется на свое дерево, что в конце концов и происходит. По словам Потанина, «рассказчик, передав шесть булюков, добавил, что юноша наконец внес свою ношу Ронгучжу в Лхасу, внес ужо в дом, но и тут Ронгучжу вырвался у него из рук; как юноша ни старался удержать Ронгучжу, в его руках от Ронгучжу осталось только три волоса. Но и этого было достаточно для благополучия Лхасы; если в настоящее время буддизм процветает в Лхасе, то благодаря тому, что в ее стенах находятся три волоса Ронгучжу» (Там же)

С. 549. *Слушай, Кузьмич...* — здесь и далее имена персонажей служат «русифицирующим» элементом ремизовского пересказа. Так, заяц в более ранних произведениях писателя нередко именуется Зайчик Иваныч; имена Волк Волко-

вич и Лисавна восходят к русской народной сказке; а именем тигра — Еронимыч — обозначается экзотичность этого персонажа для русского фольклора, причем отсылкой к оппозиции Восток — Запад (Иероним имя западное, а тигр водится на Востоке) подчеркивается неразличение этих двух традиций, их равная «чуждость» русской.

С. 551. *...ловко от тигра отбоярился...* — ср. заключительный пассаж в тексте-источнике: «Так заяц оказал благодеяние человеку, снабдив его большим умом и избавив зверей от большого несчастья. Если б не он, то у тигра рождалось бы по девяти тигрят ежегодно и тигры так размножились бы, что не осталось бы на земле других тварей» (С. 434).

«Овца жила тихо-смирно...»

Впервые опубликовано: Огонек 1917. № 31. С. 489—490; под названием «Заячий указ».

Текст-источник: № 20. Цикл «Ронгу чжу». Булюк 4 (Потанин Г. Тибетские сказки и предания. С. 429—430).

С. 552. *...красный ярлычок от чайной обертки...* — ср. в тексте-источнике: красная бумажка от чайной оболочки» и «клочок чайной оболочки» (С. 430). Заменив «клочок» на «ярлычок», Ремизов актуализировал оба значения слова «ярлык»: «бумажка с надписью, прикрепляемая к товару» и «грамота татарского хана» (подробнее об этом см. ниже).

...говорит ~ толстым голосом. — т. е. низким; ср. в тексте-источнике: «строгим голосом» (С. 430)

Орлец — круг из ткани, постилаемый подножием архиерею при посвящениях и богослужениях, с изображением града как выражения его епископства во граде и орла как символа чистого и правого богословского учения по аналогии с символическим изображением апостола Иоанна.

От царя обезьяньего Асыки велено... — царь Асыка, центральный персонаж мифотворчества Ремизова, впервые появляется в его пьесе «Трагедия о Иуде, принце Искариотском» (1908). С этого момента писатель начинает создавать жизнетворческий миф о царе Асыке, «верховном властителе всех обезьян и тех, кто к ним добровольно присоединился» («о нем никто ничего не знает, и его никто никогда не видел»), который управляет Обезьяньей Великой и Вольной Палатой — «обществом тайным» (см. «Манифест» царя Асыки и «Конституцию» Обезвелволпала; цит. по: Взвихренная Русь. С. 272, 273). Строго регламентированная структура Обезвелволпала пародировала систему сословных отношений: «Семь князей. Семь старейших кавалеров-вельмож, ключарь, музыкант, канцелярист и сонм кавалеров и из них служки и обезьяньи полпреды» (Там же. С. 273). Обладателями этих титулов были многие представители литературного и бытового окружения писателя. Сам Ремизов в течение пятидесяти лет выполнял функции канцеляриста Обезвелволпала, взимал хабар (дань) и составлял именные грамоты, подписываемые царем Асыкой «собственнохвостно». Кроме Манифеста и Конституции существуют также Труды Обезьяньей Великой и Воль-

ной Палаты, среди которых «Сказки обезьяньего царя Асыки» (Берлин, 1922), «Царь Додон» (Пг., 1921; эта книга вышла в издательстве «Алконост» под маркой «Обезьяньей Великой Вольной Палаты»), цикл «Семидневец» (включен в книгу «Шумы города» (Ревель, 1921)), а также «Заветные сказы» (Пг , 1920) (см.: Обезьянья Великая и Вольная Палата. Материалы фантастического общества. 1920-е — 1950 // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 50) Ремизов пишет об Обезвелволпале в своих книгах «Ахру Повесть петербургская» (Берлин, 1922. С 49—51), «Кукха» (С. 38—40), «Взвихренная Русь» (С. 272—277, 293—297), «Встречи» (С. 154—155) См также: Морковин В. Приспешники царя Асыки // Československa rusistika. 1969 Т. 14 Seč 4 S 178—184, Гречишкин С С. 1) Архив А. М. Ремизова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год Л., 1977. С. 32—34, 2) Царь Асыка в «Обезьяньей Великой и Вольной Палате» Ремизова // Studia slavika. 1980. Т 26 С. 173—177: Доценко С Н Почему обезьяна кричит петухом. (Об одном мотиве у А Ремизова) // Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». 22—24 марта 1991 г. Тарту, 1991. С. 76—78; Вашкелевич Х. Канцелярист обезьяньего царя Асыки Алексей Ремизов и его Обезвелволпал // К проблемам истории русской литературы XX века. Краков, 1992. С. 41—50; Безродный М. Об обезьяньих словах // Новое литературное обозрение. 1993. № 4. С. 153—154, Обатнина Е. Р. 1) Канцелярист Обезвелволпала // Арс. 1993. № 2. С. 92—95; 2) «Обезьянья Великая и Вольная Палата»: игра и ее парадигмы // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 185—217; 3) «Обезьянья Великая и Вольная Палата» А. М. Ремизова: история литературной игры. СПб., 1998 (автореферат канд. дис.). В собственно литературный обиход Ремизов вводит царя Асыку только в начале 1920-х годов незадолго до своего отъезда из Петербурга, а затем все более активно, живя в Берлине. Именно поэтому в ранних редакциях сказки заяц произносит: «От царя государя и великого князя велено...» (см.: Огонек. 1917. № 31. С. 490; Игра. 1918. № 2. Ч. 2. С. 48, 49), пародируя тем самым словесные формулы официальной жизни имперской России. В тексте-источнике фигурируют нейтральные выражения «царский указ» и «царь» (С. 430).

С. 553 *...указ с печатью...* — в тексте-источнике волк говорит лисе: «он, ведь, печатанный указ прочитал мне» (С. 430); такая трансформация «печатанного указа» в «указ с печатью» — типичный для Ремизова прием в работе над «устным словом» рассказчика фольклорной сказки.

Сидит заяц на красной тряпочке, как на орлеце, в лапках красный чайный ярлычок — Ремизовское «пародийное» мифотворчество вполне отвечает здесь сатирическому элементу текста-источника, в котором присутствует близкий писателю мотив ложных фетишей Впервые эта тема прозвучала у Ремизова в рассказе «Эпитафия» (Северные цветы. 1903. № 3. С. 115—116; под названием «Коробка с красной печатью» вошел в цикл «В плену», опубликованный во втором томе Собрания сочинений), где роль мнимой ценности отведена другой никчемной вещи — коробке из-под конфет с официальной красной сургучной печатью Мотив красной печати восходит к роману Ф. М. Достоевского «Идиот» Она

появляется в сцене чтения Ипполитом своей статьи на даче у князя Мышкина в Павловске «И вдруг, совершенно неожиданно, он вытащил из своего верхнего бокового кармана большой, канцелярского размера, пакет, *запечатанный большою красною печатью* (курсив мой. — *И Д*). <...> Эта неожиданность произвела эффект в не готовом к тому или, лучше сказать, в *готовом*, но не к тому обществе. <...> Все подходили, иные еще закусывая; пакет с красною печатью всех притягивал, точно магнит». Далее Ипполит обращается к Мышкину· «И видите, как все интересуются; все подошли; все на мою печать смотрят, и ведь не запечатай я статью в пакет, не было бы никакого эффекта! Ха-ха! Вот что она значит, таинственность!» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1973 Т. 8. С. 318—319). Любопытно, что Ипполит решает сыграть в *орлянку*, чтобы определить, стоит ли ему читать статью. Гипнотическое воздействие разнообразных фетишей власти становится особенно актуальным для Ремизова в революционную эпоху (см , например, его четверостишие в письме к А А. Блоку 1920 года: Неизвестный Блок / Вступит ст. и публ. И. Е Усок // Лит. газета 1988. 3 авг. № 31(5201) С. 6). С приходом к власти большевиков ремизовская сказка обретает новое звучание, высвечивая абсурдное в бытовой и политической жизни революционной России Мотив красной тряпочки, на которую заяц встает, «как на орлеца», утверждая этим жестом истинность произносимого им указа (см. прим. к С. 553), воспринимается как пародийное обыгрывание «методов» революционных «преобразований», а сцена, когда он читает указ царя Асыки по красному ярлычку от чайной обертки, — как травестирующая поведение комиссаров с их декретами и мандатами. Таким образом, введя в берлинскую редакцию царя Асыку, Ремизов переакцентировал подоплеку своей сказки с общечеловеческой на актуальную историческую проблематику.

С. 553 *Драла* — см прим. к С. 62.

«Жила-была старуха..»

Впервые опубликовано· Воля страны. 1918. 28 янв. № 12. С. 2; под названием «Заяц благодетель. (Тибетская сказка)».

Текст-источник: № 19. Заяц (по-тиб. е) (Потанин Г. Тибетские сказки и предания. С. 416—419).

С. 554. *Вишневый клей* — см. прим к С. 221. Ремизов упоминает вишневый клей в связи со своей коллекцией игрушек, в которой, между прочим, есть и разные зайцы. «Заяц-малиновые усы» — «он спит одним глазом, а другим стережет рукописи писателя», и «Заяц-одноух» — один из трех «Мудрых зверей», «советчиков в делах» (Кожевников П. Коллекция А. М. Ремизова. С. 2)

С. 556 *А в том монастыре ~ чудил один ~ и давай лупить* — Этот пассаж является еще одним свидетельством «игрового» характера «заячьего» цикла. Не случайно, он цитируется в главе «Цвофирзон» (главка «Z. V. S. Эсхатокол») книги Ремизова «Мерлог» (см.: Минувшее. Исторический альманах. М.: Прогресс; Феникс, 1991. Вып 3. С. 218) Роль верхового, отправленного в монастырь

голышом, отведена здесь приятелю Ремизова, художнику и директору Русского музея в Праге в 1920—1930-е годы Н. В Зарецкому. Причем в самой главе повествуется о вымышленном «свободном философском содружестве» Цвофирзоне, которым Ремизов с успехом мистифицировал русский Берлин в 1921—1923 годах (подробнее об этом см.: Там же С 201—204; 244)

С. 556. *...у святого камня навешено было много всяких холстов и лоскутки шелковые...* — здесь контаминация русской и тибетской традиции: в тексте-источнике герои едут мимо кумирни, у которой повешено «много пожертвованных шелковых материй» (С. 417).

С 557. *. буду волочить по земле веревку...* — Потанин комментирует это место так: «Оставляемый след на земной поверхности в виде черты, как указание направления для следующих сзади см. в Записк. Вост.-сиб. Отдела Геогр Общ. по Этн., т. I, вып. I, стр. 45 и 56» (С. 419).

Сембо — дьявол Ср. в тексте-источнике: «Приходят в место, где жил *сембо*, дьявол» (С. 417) Ремизов превращает здесь имя нарицательное в имя собственное.

. пускал поветрия — т. е. насылал эпидемии.

С. 558. *Проводины* — здесь: проводы.

С. 559. *...в голове-то ~ у всякого муха!..* — характерный для Ремизова стилистический прием; в данном случае реализация метафоры «ходить под мухой».

...без оглядки лататы... — т. е. убежали без оглядки (простореч.).

«П о д р у ж и л и с ь в о л к, о б е з ь я н а, в о р о н а...»

Впервые опубликовано: Лукоморье. 1917. № 7. С. 11—12, под названием «Разные зайцы. Тибетская сказка».

Текст-источник: № 20. Цикл «Ронгу чжу». Булюк 3 (П о т а н и н Г. Тибетские сказки и предания С. 426—429).

С. 562. *.. и свирель такая из человечьих косток и бубен* — Имеются в виду *гандан* и *думбур* Потанин поясняет это место текста-источника так: «*Гандан* свирель из человеческой кости; *думбур* небольшой бубен» (С. 426) В более ранних редакциях Ремизов употреблял оба эти слова вместе с потанинским комментарием (см.: Лукоморье. 1917. № 7. С. 11; Игра 1918 № 2. Ч. 2. С. 43)

С. 564. *Нашел в мешке красную краску...* — в тексте-источнике она называется чжума (С. 427). См. прим. к С. 571.

С. 567. *Инда* — см. прим. к С. 44.

«Ж и л-б ы л м е д в е д ь...»

Впервые опубликовано· Огонек. 1917. № 31. С. 486—489; под названием «Заячья губа».

Текст-источник: № 20. Цикл «Ронгу чжу». Булюк 5 (П о т а н и н Г. Тибетские сказки и предания. С. 430—433).

С. 569. *.. кар-гар! кар-гар!.* — в свое звукоподражание Ремизов вводит «восточный» нюанс: «по-тибетски» ворон каркает «га! га!» (см. текст-источник, С. 431).

С 569   *и коршун закричал ~ в ушах засверлило* — В тексте-источнике коршун кричит· «сэрь! сэрь!» (С 431) Ремизов передает здесь этот крик через слуховую реакцию на него

С. 571. *...копает гусиную лапку — коренья* — В тексте-источнике «человек, копающий чжуму» (С 431) Потанин делает к этому месту следующее пояснение: «*Чжума* корни гусиной лапки, Potentilla anserina, которые жители Тибета употребляют в пищу» (Там же)

С. 575. *...от хохота разорвалась губа* — В тексте-источнике «рот лопнул» (С 433). Потанин считает, что это намек на раздвоенную верхнюю губу у зайца.

«Четыре зверя сошлись у дерева. »

Впервые опубликовано· Огонек. 1916 № 52. С. [10] (рождественский номер: 25 декабря 1916 — 7 января 1917); под названием «Звериное дерево (Тибетская статуэтка)». Ремизов опубликовал этот текст в «Огоньке» при непосредственном участии редактора журнала В. А. Бонди (см. его письмо к В. А. Бонди от 26 ноября 1916 года: РНБ. Ф. 90. Ед. хр. 27. Л. 15, об.).

Текст-источник: № 14. Дерево Тунбачжи (Потанин Г. Тибетские сказки и предания. С. 408). В редакционном примечании к тексту отмечается, что это чрезвычайно распространенный рассказ, имеющийся уже в каноническом сборнике джатак палийского буддийского канона. Существуют многочисленные изображения «звериного дерева», причем не только на рисунках, но и, как отмечает Потанин, в виде металлических статуэток (С 408). Затем он приводит европейские и монгольские параллели этому рассказу о «пирамиде из зверей, стоящих друг на друге» (С. 409). «Воссоздавая» текст-источник, Ремизов вводит в свою сказку выпущенный в нем «монолог» обезьяны, которая, однако, упоминается при перечислении зверей. Птица текста-источника превращается у него в ворона. Кроме того, прозаическому тексту в первой редакции Ремизов придает форму стиха, когда публикует свой цикл полностью, что делает эту сказку своеобразной «виньеткой», графическим акцентом сборника.

ЛАЛАЗАР

Кавказский сказ

Печатается по изданию· Лалазар. Кавказский сказ Берлин Скифы, 1922

Рукописные источники: 1) «Среди мурья» — наборный экземпляр сборника с авторской правкой <1916> — ГЛМ. Ф. 156 РО 3687; 2) «Кавказский пряник» — авторизованные печатные вырезки <1918> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1 Ед хр 11.

Большинство «кавказских сказок» написаны в 1915 году; только одна из них («Золотой столб») датируется 1914 годом. В 1915 и 1916 годах отдельные тексты публиковались в журналах «Аргус» и «Огонек», а также в «Невском альманахе», причем в журнале «Огонек» (1916. № 20. С. [1—4] (под общим заглавием «Лясы» были помещены сразу три сказки будущего цикла) вместе со сказкой «Младена

матерь», другое название «Несчастная» — см прим. на С. 672) Впервые полностью цикл был опубликован под названием «Кавказские сказки» в книге «Среди мурья» (М.: Северные дни, 1917). От окончательной редакции эта публикация, помимо мелких стилистических разночтений, отличалась несколько иной последовательностью текстов: сказка «Сарки-шун» была помещена здесь после сказки «Под павлином»; возможно, это объясняется тем, что Ремизов первоначально считал «Сарки-шун» грузинской сказкой, а тексты внутри цикла располагал по их национальной принадлежности в алфавитном порядке (армянские, грузинские, татарская сказки); перенос произошел после того, как выяснилось, что это армянская сказка. Кроме того, здесь имелись примечания, которыми прежде сопровождались и публикации в периодике. По свидетельству Ремизова, книга «Среди мурья» «вышла в самый первый день революции — в 1917 г. 23 февраля. И как-то сразу пропала: ее ни у кого не было и не купить нигде и ни одного отзыва» (Кодрянская. С. 162; ср. также дневниковую запись Ремизова от 10.III.1917: Дневник. С. 424; следует отметить, что, мифологизируя собственную творческую биографию, Ремизов сознательно «сдвигает» здесь дату выхода «Среди мурья» на первый день Февральской революции, тогда как из переписки с ним издательства «Северные дни» явствует, что к 22 февраля 1917 года книга уже вышла в свет (см.: Ремизов А М. Переписка с редакциями и издательствами «Разум», «Северные дни», «Унионо» и др. в связи с изданием его произведений // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 25. Л. 15, 19)). Вскоре Ремизов предпринял попытку опубликовать цикл отдельной книгой. В 1919 году петербургское издательство «Алконост» предполагало выпустить ее под названием «Кавказский чурек». Однако замысел не был осуществлен. О причинах этого писатель упоминает в дарственной надписи С. П. Ремизовой-Довгелло, сделанной на экземпляре «Лалазара» 7 октября 1922 года: «Как я мечтал издать эту книгу в России в 19-м году. Все было собрано, стали набирать и когда набор кончали, вышло постановление, типографию реквизировали, и все пропало. Так мне передавал Алянский судьбу „Чурека“» (цит. по: Кодрянская. С. 159). Только в 1922 году в берлинском издательстве «Скифы» Александр Шрейдер наконец опубликовал цикл отдельным изданием (без примечаний) под названием «Лалазар. Кавказский сказ» (см. об этом: Lampl H. Zinaida Hippius an S. P. Remizova-Dovgello. S. 190). В цитированной выше дарственной надписи Ремизов упоминал свою работу над обложкой: «Обложка произошла от пасхальных яиц: красили яйца, из краски на бумагу клали — краска расплывалась и выходили цветы», — и объяснял смысл названия: «Весенний цвет Лалазар» (Кодрянская. С. 159). Впоследствии писатель предполагал включить цикл «кавказских сказок» в книгу «Сказки нерусские» (подробнее об этом неосуществленном издании см в преамбуле к сборнику «Сибирский пряник» — С. 675) Публикуя «Лалазар» по берлинской редакции, мы сочли необходимым поместить после основного текста примечания из сборника «Среди мурья» (С. 230—231), соответствующим образом изменив их последовательность, так как здесь содержатся важные сведения о текстах-источниках ремизовских сказок.

З о л о т о й с т о л б

Сказка написана в 1914 году

Впервые опубликовано· Невский альманах Жертвам войны. Писатели и художники Птгр., 1915 С. 64—66 (издание «Общества русских писателей для помощи жертвам войны» (Петроград), отпечатано в типографии Т-ва И Д Сытина (Москва)). Эта публикация упоминается в письме Ремизова к В Н Гордину от 30 августа 1915 года (РНБ Ф 124. Ед. хр. 3614 Л. 19)

Рукописные источники: Беловой автограф (ИРЛИ. Ф. 377. Оп. 3 Ед. хр. 590) представляет собой наборную рукопись с авторской правкой, предназначавшуюся для «Невского альманаха», здесь же приложена корректура от 14 марта 1915 года с авторской правкой, которая соответствует опубликованному в «Невском альманахе» варианту текста.

С. 579. *...на Благовещение...* — Благовещение Пресвятой Богородицы, отмечается 25 марта ст ст

С. 580 . *в Ильин день* . — праздник св пророка Илии, отмечается 20 июля ст ст

Черная баня — т е без трубы, та, что топится «по-черному», когда дым стелется под потолком и выходит в волоковое окно

...Пойду-ка я, Ануш . — во всех других редакциях, в том числе и в автографе, имя старухи было «русифицировано» — Ондревна.

Колдобина — глубокая выбоина по дороге, обычно залитая водой.

С. 581. *Кошель* — см. прим к С. 412.

С 582 *Запроторил* — затерял, запропастил, запрятал и позабыл куда. В корректуре первой публикации Ремизов сделал правку: запр*а*торил (см.: ИРЛИ. Ф. 377. Оп 3. Ед хр 590), однако уже во второй редакции (Среди мурья С. 164) отказался от этого варианта в пользу приводимого В. И Далем в его «Толковом словаре живого великорусского языка»

С. 583 *Табор* — здесь лагерь, бивак

С а р к с и-ш у н

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано Огонек. 1916 № 20 С. [1—2] В этой публикации сказка называлась «Шун-Саркиси»; так же именовался в тексте ее главный герой — пес святого Саркиса, другое существенное смысловое разночтение. церковь называлась в этой редакции Сурп-Саркиси. Кроме того, как явствует из комментария и подзаголовка сказки в первой публикации, а также из подзаголовка во второй редакции (Среди мурья С 179), Ремизов первоначально считал ее грузинской. Впоследствии, в дарственной надписи С. П Ремизовой-Довгелло от 7 октября 1922 года, он определил смысл этой сказки так: «Вл Мих. Зензинов заметил Тер-Погосяну: почему армянские сказки все глупые А я скажу (я так и сказал) самая проникновенная — армянская Столб золотой и Саркси-Шун. В Саркси-Шуне — вера и по вере все и радость, по которой красен мир» (цит. по: Волшебный мир Алексея Ремизова. С. 22).

С. 583. *Лясы* — шутки, остроты, потешные росказни.

Царь Нарбек

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано: Аргус. 1915. № 6. С. 9—22. 25 октября 1915 года В. А. Регинин сообщал Ремизову: «Художник отдал предпочтение для иллюстраций первой сказке» (Ремизов А. М. Переписка редакций и издательств «Аргус», «Лукоморье», «Народоправство» и др в связи с изданием его произведений // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 24. Л. 22). Таким образом, выбор текста для публикации в журнале сделал С. Лодыгин, рисунки которого были помещены в ремизовском тексте В этой публикации сказка называлась «Царь Нар*и*бе*г*» и имела подзаголовок «кавказская сказка»; главный герой носил здесь имя Тар*и*хан, будущая жена и царь Нарибег угощали его чаем, а не вином. Указанные разночтения сохранялись и во второй редакции (Среди мурья), хотя подзаголовок был изменен на «армянская»; кроме того, в эту редакцию был впервые введен образ волшебного коня Раши.

С 586. *Млявый* — слабый, хилый, тщедушный (от *млеть*)

С. 588. *..сам царя лает...* — т е. ругает, поносит.

С 590. *Хорасанская шашка* — изготовленная в персидской провинции Хорассан, славившейся оружейными мастерами.

С 591. *Лататы* — см. прим. к С. 559.

Под павлином

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано: Среди мурья. С. 172—178.

С. 598. *Таланная* — счастливая, удачливая (от *талан*).

Мтеулетинские камни

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано: Огонек. 1916 № 20. С. [2].

Беков мед

Сказка написана в 1915 году.

Впервые опубликовано: Огонек. 1916. № 20. С. [2—3].

С. 601. *Шайтан* (татарск.) — черт.

Чивить — издавать звук, подобный чириканью воробья (от *чивиль* — воробей).

Примечания

Чернявский Николай (Колау) Андреевич (1892?—1942? или 1947?) — поэт, собиратель русского и кавказского (прежде всего грузинского) фольклора, переводчик с грузинского. Учился в первой мужской гимназии в Тифлисе, где его преподавателем французского языка и литературы был М. Зданевич, отец И. Зданевича (Ильязда); затем был студентом Казанского университета. В 1915 году впервые выступил в печати в петроградском альманахе «В год войны» и в

«Сборнике студенческого литературного кружка при Казанском университете». В 1918—1920 годах, вместе с А. Крученых, И. Терентьевым и И Зданевичем, входил в тифлисскую футуристическую группу «41°». В 1927 году в Тифлисе вышел сборник его стихов «Письма».

Ремизов познакомился с Чернявским в 1912 году (см рекомендательное письмо казанского профессора В. Н Ивановского к Ремизову: РНБ Ф 634 Ед хр. 116). Сохранились письма Чернявского Ремизову, относящиеся к периоду работы последнего над циклом «кавказских сказок» (см : Чернявский Николай А. Письма (9) Алексею Михайловичу Ремизову. 30 февр 1914 — 3 марта 1917 // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр 226; фрагмент письма от 21 апреля 1915 года опубликован: ЛН. 1982 Т. 92. Кн. 3. С. 447). Эти письма свидетельствуют о том, что Ремизов всячески способствовал первым выступлениям Чернявского в печати, а тот вошел в ближайшее окружение писателя и включился в его «домашнюю игру» (например, в письме от 21 апреля 1915 года Чернявский сообщал о Вятской ярмарке свистулек и игрушек и предлагал пополнить ими коллекцию Ремизова, а письмо от 4 февраля 1917 года подписал своей «животной кличкой» Мардарий Турьев) Кроме того, Чернявский снабжал Ремизова фольклорным материалом и принимал непосредственное участие в создании «кавказских сказок». Так, 16 марта 1915 года он писал из Вятки: «Вот, уважаемый Алексей Михайлович, обещанные сказки. <...> Если примечания к сказкам недостаточно ясны или их мало, благоволите сообщить» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 226. Л. 5). После публикации цикла Чернявский продолжал предлагать Ремизову «кавказский» материал. В частности, 4 февраля 1917 года он писал из Екатеринослава: «Слышал я, что вышел сборник „Среди Мурья“. Ожидаю получить его из собственных рук с приложением руки. <...> Прислать ли записанный мной от того же стражника С. Долмазова, что и Нарибега рассказал, армяно-татарский вариант Лермонтовского „Ашик-Кериба“?» (Там же. Л. 8). А 3 марта 1917 года уточнял: «Я ошибся, это не вариант, а версия. Как Вы увидите, очень древняя, т. к. в ней приведены остатки татарской песни. Вместо Хадерилиаза (Св Георгия), как у Лермонтова, здесь Ваш знакомец Сурп Саркис (Св Саркис). Мугиль-Хесгери, невеста, названа иначе, Бек — также» (Там же. Л. 9). В этом же письме упоминается «маленькая грузинская легенда» тифлисской рассказчицы, переданная Чернявским Ремизову для обработки (Там же), а также высказывается надежда, что удастся получить утерянные легенды, тетрадку, которую Ремизов упоминает в своих примечаниях (Там же. Л. 10, об.). Однако какими-либо сведениями о дальнейшей работе писателя над материалами Чернявского мы не располагаем. Чернявский упоминается Ремизовым как персонаж снов в книге «Взвихренная Русь» (Париж, 1927. С. 161—162) и в Дневнике (С. 452, 453, 479)

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

ГЛМ — Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва).

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел (Санкт-Петербург).

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург).

ЦРК АК — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло.

Печатные источники

Волшебный мир Алексея Ремизова — Волшебный мир Алексея Ремизова: Каталог выставки. СПб., 1992.

Встречи — Ремизов А. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.

Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.

Дневник — Ремизов А. Дневник 1917—1921. Подг. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1994. С. 407—549.

Иверень — Ремизов А. Иверень. Ред., послесл. и коммент. О. Раевской-Хьюз. Berkeley, 1986.

Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Кукха — Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.

Ончуков — Северные сказки (Архангельская и Олонецкая губ.). Сборник Н. Е. Ончукова. СПб., 1908.

Подстриженными глазами — Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж: YMCA-Press, 1951.

Посолонь — 1907 — Ремизов А. Посолонь. М.: Изд. журнала «Золотое руно», 1907.

Русский Берлин — Флейшман Л., Раевская-Хьюз О., Хьюз Р. Русский Берлин: 1921–1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте. Paris: YMCA-Press, 1983.

Садовников — Садовников Д. Н. Сказки и предания Самарского края. СПб., 1884.

Соколовы — Сказки и песни Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. М., 1915.

Среди мурья — Ремизов А. Среди мурья. М.: Северные дни, 1917.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗИМА ЛЮТАЯ

К МОРЮ-ОКЕАНУ

МЫШИНЫМИ НОРАМИ

ЗМЕИНЫМИ ТРОПАМИ

МИРСКИЕ ПРИТЧИ

ГЛУ́МЫ

УКРЕПА. *Слово к русской земле о земле родной, тайностях земных и судьбе*

СТРАДНОЙ РОССИИ

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 2

ДОКУКА И БАЛАГУРЬЕ

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **И. А. Шиляев**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Н. Д. Бучарова**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Сдано в набор 16.05.2000. Подписано в печать 06.09.2000. Формат 84x108/32. Бумага офсетная. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,91 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 42,39 (в т. ч. вкл. 0,04).
Тираж 5000 экз. С-26. Заказ № 453. Изд. инд. ЛХ-196.
Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.
Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.